ШЕДЕВРЫ МИСТИКИ ШЕДЕВРЫ МИСТИКИ ШЕДЕВРЫ

НА ГРАНИЦЕ
МИСТИКИ
И РЕАЛЬНОСТИ

КИНГ
БЛЭТТИ
ГЕЙМАН
ВУЛФ
и другие



999

АНТОЛОГИЯ
СТРАХА

ЭКСМО

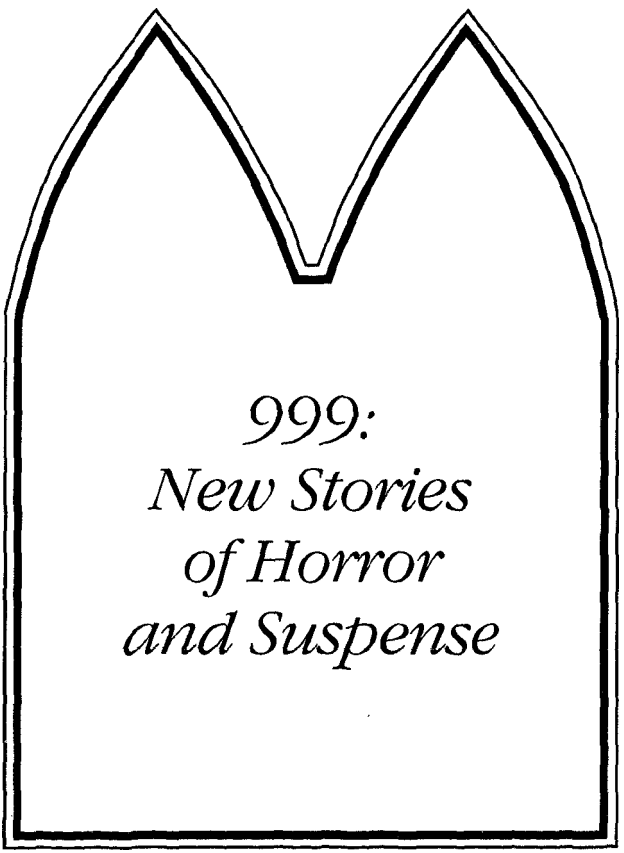
СТИВЕН
КИНГ
У. Блэтти, Н. Гейман, Д. Вулф и другие



999

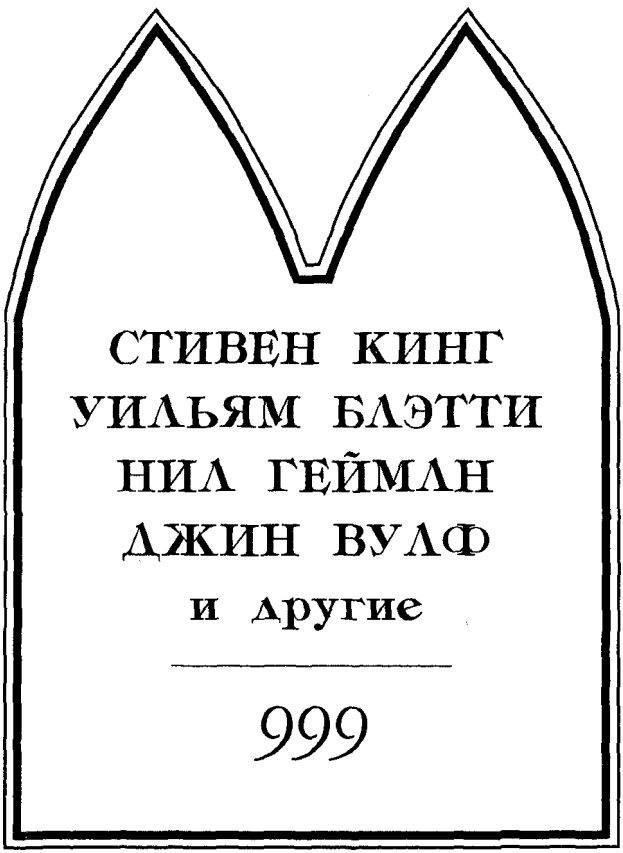
ШЕДЕВРЫ МИСТИКИ ШЕДЕВРЫ МИСТИКИ ШЕДЕВРЫ


СТИВЕН КИНГ
УИЛЬЯМ БАСТЕР
НИЛ ГЕЙМАН
ДЖЕЙН ЮАФ
999



999: New Stories of Horror and Suspense

МОСКВА
ЭКСМО
Санкт-Петербург
«ДОМИНО»
2005



СТИВЕН КИНГ
УИЛЬЯМ БЛЭТТИ
НИЛ ГЕЙМАН
ДЖИН ВУЛФ
и другие

999

МОСКВА
ЭКСМО
Санкт-Петербург
«ДОМИНО»
2005

УДК 82(1-87)
ББК 84(0)6-445
Д 11

999: New Stories of Horror and Suspense

999. Collection copyright © 1999 by Al Sarrantonio

Составитель серии *А. Жикаренцев*

Оформление серии художника *А. Саукова*

Серия основана в 2003 году

Художник *И. Жмайлова*

Д 11 **999:** Избранные произведения / Пер. с англ. — М.: Изд-во Эксмо, СПб.: Изд-во Домино, 2005. — 864 с. — (Шедевры мистики).

ISBN 5-699-12422-5

999 — зеркальное отражение Числа Зверя. О явлении в мир дьявола и его слуг и чудовищных последствиях их визита для человека и человечества рассказывают на страницах этой знаменитой Антологии Страха Стивен Кинг, Уильям Питер Блэтти, Нил Гейман, Дэвид Моррелл и другие звезды мировой литературы, работающие в пограничном жанре — между мистикой и реальностью.

УДК 82(1-87)
ББК 84(0)6-445

ISBN 5-699-12422-5

© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2005

Стивен Кинг

ДОРОЖНЫЙ УЖАС ПРЕТ НА СЕВЕР



огда Ричард Киннелл впервые увидел эту картину на дворовой распродаже в Розвуде, она его не напугала.

Наоборот. Она ему сразу понравилась. Сразу заворожила. И он подумал еще, как ему повезло, что он совершенно случайно набрел на такую замечательную штуковину, которая рождала в душе какое-то особенное ощущение. Но уж точно — не страх. И только потом Киннелл понял («потом, когда было уже слишком поздно», как написал бы он сам в одном из своих романов, пользующихся у читающей публики неизменным и прямо-таки ошеломляющим успехом), что ощущения, рожденные этой картиной, очень напоминали те, что он испытывал в юности по отношению к некоторым запрещенным законом наркотическим препаратам.

Киннелл заехал в Розвуд по дороге из Бостона, куда его пригласили на конференцию писателей Новой Англии с эпохальным названием «Опасные стороны популярности» под эгидой PEN. Он давно уже понял, что PEN умеет найти достойные темы для обсуждения. На самом деле ему это даже нравилось. На таких мероприятиях он, как гово-

© Перевод. Т. Покидаева, 2005.

рится, отдыхал душой. От Дерри до Бостона было двести шестьдесят миль, но Киннелл решил, что поедет сам, на машине. Конечно, он мог бы полететь на самолете, но в последнее время работа над очередной книгой неожиданно застопорилась, и ему хотелось какое-то время побыть одному, чтобы спокойно подумать, как преодолеть творческий кризис. А тут как раз выдался подходящий случай.

На конференции Киннеллу задавали все те же вопросы, которые, по его собственному мнению, люди, близкие к литературе ужасов, вообще не должны задавать писателю. Спрашивали, где он берет сюжеты для своих романов и не бывает ли страшно ему самому, когда он работает над своей книгой. Из Бостона Киннелл выехал по мосту Тобин-бридж и сразу свернул на шоссе № 1. Он никогда не ездил по скоростным автобанам, когда хотел подумать над разрешением назревших проблем. Скоростные трассы вгоняли его в странное состояние: как будто ты спишь и в то же время бодрствуешь. Состояние спокойное и даже приятное, но не особенно конструктивное в творческом плане. А вот дорога, идущая по побережью, с постоянными остановками у светофоров... она действовала на Киннелла, как песчинка, попавшая в устрицу. Создавала как раз то ненавязчивое раздражение, которое способствует работе мысли. А иногда даже рождает жемчужину.

Хотя критики творчества Ричарда Киннелла в жизни бы не додумались употребить это сравнение. В одном из номеров «Эсквайра» за прошлый год появилась статья Брэдли Симонса про «Город кошмаров». Статья начиналась так: «Ричард Киннелл снова порадовал многочисленных почитателей. Король ужасов испытал очередной приступ неудержимой словесной рвоты и выдал нам энный шедевр. Сие извержение озаглавлено "Город кошмаров"».

Киннелл уже проехал через Ревир, Молден, Эверетт и Ньюберипорт. Сразу за Ньюберипортом, чуть к югу от границы штатов Массачусетс и Нью-Хэмпшир, располагался маленький аккуратненький городок — Розвуд. Отъ-

ехав примерно на милю от центра города, Киннелл заметил, что на лужайке перед одним двухэтажным коттеджем разложены в ряд всякие штуки явно дешевого вида. К электрической плитке мутно-зеленого цвета была прикреплена картонка с надписью: «ДВОРОВАЯ РАСПРОДАЖА». По обеим сторонам узкой улицы стояли припаркованные автомобили. Между ними оставался тот самый проезд типа «захочешь — протиснешься», который матерно поминают нетерпеливые водители, не подверженные таинственному обаянию дворовых распродаж в маленьких городках. Но Киннелл как раз обожал дворовые распродажи. Особенно ему нравилось рыться в коробках со старыми книгами, которые иногда попадались на этих домашних базарчиках. Он протиснулся в узкий проезд и поставил свою «ауди» первой в линии машин, смотрящих в сторону Мэна и Нью-Хэмпшира.

На распродаже было достаточно людно. Человек десять—двенадцать бродили по донельзя замусоренной лужайке перед деревянным коттеджем, выкрашенным в серый и синий цвета. Слева от залитой бетоном дорожки, прямо на улице, стоял большой телевизор. Подставкой ему служили четыре мусорные корзины, но мусор в них, кажется, не бросали принципиально. На телевизоре красовалась очередная картонка: «КУПИ ЧТО-НИБУДЬ — НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ». Электрический шнур — тугой, как струна,— тянулся от телевизора в дом через распахнутую переднюю дверь. Тут же, в тени большого зонта с надписью «CINZANO», стояло пластиковое кресло. В кресле сидела толстая тетка. Перед ней — маленький карточный столик с коробкой из-под сигар, перекидным блокнотом и еще одной картонкой, на которой было выведено от руки: «ОПЛАТА ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ. ПРОДАННЫЕ ТОВАРЫ ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ». Телевизор работал. Крутили очередную мыльную оперу, где все шло к тому, что красавец-герой и красавица-героиня сейчас займутся крайне небезопасным сексом. Толстая тетка мельком взгля-

нула на Киннелла и снова уставилась в телевизор. Секунду она таращилась на экран, а потом опять повернулась к Киннеллу. И уставилась уже на него. Причем открыв рот.

Ага, читательница-почитательница, — подумал Киннелл, оглядывая лужайку в поисках картонной коробки со старыми книжками в мягких обложках, которая непременно должна была быть где-то здесь.

Книжек он не нашел. Зато увидел картину, прислоненную к гладильной доске и подпертую для устойчивости двумя пластиковыми корзинками. У Киннелла перехватило дыхание. Он сразу понял, что эту вещь он возьмет.

Сдерживая возбуждение, он небрежно шагнул к картине и опустился перед ней на одно колено. Это была акварель, безупречная с точки зрения техники. Впрочем, техника Киннелла как раз и не интересовала (что не раз отмечали прилежные критики, бравшиеся за разбор его книг). В произведениях искусства он ценил прежде всего *содержание*. Причем чем больше оно «пробивало», тем лучше. Киннелл любил, чтобы произведение рождало тревогу. И, если судить по такому критерию, картина была выше всяких похвал. Стоя на коленях между пластиковыми корзинами, набитыми всякой всячиной, он провел пальцами по стеклу, закрывавшему акварель. Потом огляделся, надеясь обнаружить еще нечто подобное, но *такая* картина была одна — все остальное являло собой стандартный для домашних базарчиков набор: пухлощекие куколки, молитвенно сложенные ладони и резвящиеся собачки.

Киннелл опять стал разглядывать акварель в рамочке под стеклом. Мысленно он уже переставил свой чемодан на заднее сиденье в салоне, а картину бережно уложил в багажник.

На картине был изображен молодой человек за рулем мощной спортивной машины — может, «гранд-ама», а может, и GTX, в общем, какой-то машины с откидным верхом — на мосту Тобин-бридж на закате. Откидной верх был поднят, и поэтому черный автомобиль походил на не-

доделанный кабриолет. Молодой человек пристроил левую руку поверх боковой дверцы с опущенным стеклом, а правую небрежно держал на руле. Закатное небо над Тобин-бридж в желтых и серых подтеках с ярко-розовыми прожилками было похоже на громадный синяк. Жидкие светлые волосы свисали сосульками на низкий лоб, молодой человек ухмылялся, и сквозь приоткрытые губы были видны его зубы. Только это были не зубы, а самые настоящие клыки.

Может быть, он их специально затачивал, — подумал Киннелл.— *Может быть, он маньяк какой-нибудь. Людоед.*

Ему это ужасно понравилось: сама идея, что людоед едет по Тобин-бридж на закате. В шикарном «гранд-аме». Он знал, что подавляющее большинство из тех, кто присутствовал на писательской конференции PEN, наверняка бы подумали: *Ага, самая что ни на есть подходящая картинка для Рича Киннелла. Небось, повесит ее над столом для вдохновения. Такое перышко, чтобы пощекотать в старой поизносившейся глотке на предмет очередной порции неудержимой рвоты.* Но ведь это самое подавляющее большинство были просто невеждами — во всяком случае, в том, что касается его собственных книг. И мало того: они носились со своим невежеством, обожали его, холили и лелеяли — непонятно, с какого перепугу. Точно так же, как некоторые холят, лелеют и обожают зловредных и глупых маленьких собачонок, которые облаивают гостей и время от времени норовят укусить почтальона за пятку. Картина понравилась Киннеллу не потому, что он писал романы ужасов. Он писал романы ужасов потому, что ему нравились вещи типа этой картины. Восторженные читатели часто присылали ему всякую ерунду — в основном картины. Большую часть этих картин Киннелл просто выбрасывал на помойку. И вовсе не потому, что они были плохими. А потому, что они были скучными и предсказуемыми. Но вот один парень из Омахи как-то прислал ему маленькую керамическую фигурку: вопящая от страха

обезьянка высовывает голову из холодильника. И эту вещицу Киннелл оставил. С точки зрения художественного мастерства фигурка была исполнена из рук вон плохо, но в ней был элемент неожиданности. Какое-то странное *соприкосновение,* которое затронуло Киннелла и, как говорится, придало ему ускорение. В картине тоже что-то такое было. Только сильнее. *Гораздо* сильнее.

Киннелл уже потянулся к картине. Ему хотелось взять ее прямо сейчас — сию же секунду,— засунуть под мышку и объявить, что он берет эту вещь. Но тут у него за спиной раздалось:

— Простите, ведь вы Ричард Киннелл?

Он резко выпрямился и обернулся. Прямо за спиной стояла толстая тетка, загораживая большую часть обзора. Киннелл заметил, что, прежде чем подойти к нему, тетка подкрасила губы ярко-красной помадой и теперь улыбалась этакой кровоточащей улыбкой.

— Да, это я,— улыбнулся он в ответ.

Толстуха указала глазами на картину:

— Мне бы следовало догадаться, что вы сразу к ней и направитесь,— проговорила она с глуповатой улыбкой.— Она прямо *ваша.*

— Да, действительно.— Киннелл изобразил самую лучезарную из своих «парадно-выходных» улыбок.— И сколько вы за нее хотите?

— Сорок пять долларов,— тут же отозвалась тетка.— Скажу вам по правде, я сначала хотела семьдесят. Но она никому не нравится, да. Пришлось сбавить цену. Если вы завтра за ней вернетесь, я и за тридцатку, наверное, отдам.— Улыбка на лице тетки растягивалась все шире, а излучаемое ею радушие приняло прямо-таки устрашающие размеры. Киннелл даже заметил, что в уголках теткиных губ пузырится слюна.

— Нет, лучше я рисковать не буду. А то вдруг ее все-таки купят до завтра,— сказал он.— Я вам выпишу чек. Прямо сейчас, не откладывая.

Теткина улыбка растянулась почти до ушей, и тетка теперь стала похожа на какую-то нелепую пародию на Джона Уотерса. О, божественная Ширли Темпл!

— Вообще-то я не должна брать чеки. Ну да *ладно*,— произнесла она тоном скромницы-школьницы, поддавшейся наконец на настойчивые уговоры сексуально озабоченного приятеля.— И уж коли вы достали ручку, может, заодно мне автограф дадите, для дочки? Ее Микела зовут.

— Красивое имя,— отозвался Киннелл на автомате.

Он взял картину и вернулся следом за толстой теткой к карточному столику. Действие на экране сменилось. Похотливая парочка временно уступила место изголодавшейся старушенции, которая шумно и жадно поглощала мюсли.

— Микела читает все ваши книги,— сказала толстуха.— И откуда вы только берете эти свои безумные идеи?

— Не знаю.— Киннелл растянул губы в улыбке.— Они просто приходят, и все. Удивительно, да?

Толстуху, заправлявшую на распродаже, звали Джуди Даймент. Она жила в соседнем доме. Когда Киннелл спросил, не знает ли она случайно, кто написал картину, она сказала, что знает. Ее написал Бобби Хастингз, и из-за этого Бобби Хастингза она теперь тут и сидит. Продает вещи, которые когда-то принадлежали ему.

— Единственная его картина, которую он не сжег,— сказала Джуди.— Бедняжка Айрис! Вот кого мне действительно искренне жаль. А Джорджу, по-моему, все равно. И я точно *знаю*, что он так и не понял, почему Айрис решила продать этот дом.

Она закатила глаза, изображая классический взгляд, апеллирующий к собеседнику: мол, вы только представьте себе такое. Киннелл вручил ей чек, а Джуди протянула ему блокнот, куда она аккуратно записывала все вещи, которые ей удавалось продать, и суммы, которые она за них получала.

— Напишите, пожалуйста, что-нибудь для Микелы,— попросила она, вновь расплывшись в приторно-сладкой, глуповатой улыбочке.— Ну, пожалуйста.

Эта улыбка была для Киннелла как старый знакомый, который вдруг вновь возник в твоей жизни, хотя ты-то втайне надеялся, что он давно умер.

— Ага-ага,— рассеянно отозвался он и быстренько изобразил в блокноте свое стандартное обращение к поклонникам типа «спасибо читателю за внимание». Он не следил за своей рукой. Даже не думал о том, что пишет. Он уже двадцать пять лет раздавал автографы, процесс был доведен до полного автоматизма.— Расскажите мне про эту картину. И про Хастингзов тоже.

Джуди Даймент скрестила на груди пухлые руки с видом человека, готового продекламировать благодарным слушателям свою любимую историю.

— Бобби было всего двадцать три года, когда этой весной он покончил с собой. Можете себе представить? Он был из тех молодых людей, кого называют измученными гениями. Но при этом жил дома с родителями.— Она вновь закатила глаза, апеллируя к Кеннеллу. Мол, вы только подумайте, и бывает же такое на свете.— У него было таких картин семьдесят, если не все восемьдесят. Не считая набросков. Он их в подвале держал, у себя.— Джуди указала взглядом на коттедж, а потом вперилась в картину с парнем зловещего вида, мчащимся по мосту Тобин-Бридж на закате.— Айрис... это мать Бобби... она говорила, что почти все его творения были просто ужасными. Еще похуже, чем это. Говорила, что от его картин у нее волосы дыбом встают.— Джуди понизила голос до шепота, покосившись на женщину, которая рассматривала разрозненный набор столового серебра и весьма неплохую коллекцию старых пластиковых стаканчиков из «Макдоналдса» с кадрами из фильма «Дорогая, я уменьшил детей».— Говорила, что там были всякие сексуальные сцены.

— О нет,— сказал Киннелл.

— А самые жуткие вещи он стал писать, когда пристрастился к наркотикам,— продолжала Джуди Даймент.— Когда он покончил с собой... повесился у себя в подвале, где обычно писал картины... там нашли больше сотни этих маленьких пузыречков, в которых продают кокаин. Нет, наркотики — это ужасно! Верно, мистер Киннелл?

— Ужасно.

— В общем, по-моему, в какой-то момент он просто дошел до точки. И решил эту точку поставить, чтобы дальше не мучиться. Собрал все свои наброски и картины... кроме вот этой вон, как оказалось... свалил на заднем дворе и сжег. А потом повесился у себя в подвале. К рубашке он приколол записку: «Мне не вынести то, что со мной происходит». Какой ужас, да, мистер Киннелл? Разве бывает что-то страшнее?

— Нет, не бывает,— отозвался Киннелл. Причем сказал он это искренне.

— Как я уже говорила, Джордж остался бы жить в этом доме, если бы сумел настоять на своем,— продолжала Джуди Даймент. Она вырвала из блокнота листок с автографом для Микелы, положила его рядом с чеком Киннелла и задумчиво покачала головой, словно недоумевая, как такое возможно, что подписи на обоих листах совпадают.— Но мужчины, они не такие, как женщины.

— Правда?

— Конечно. Не такие чувствительные и ранимые. Под конец от Бобби Хастингза остались лишь кожа да кости. Он даже не мылся. Грязный был... от него, знаете, пахло... в одной и той же футболке все время ходил. В черной такой, с фотографией «Лед Зеппелин». Глаза у него были красные. На щеках — щетина, которую и бородой-то не назовешь. И весь запрыщавел. Все лицо было в угрях, как у подростка. Но Айрис любила его. Все равно любила. Мать всегда будет любить своего ребенка, во что бы он ни превратился.

Женщина, которая разглядывала столовое серебро и стаканчики из «Макдоналдса», все-таки выбрала кое-что для себя — подставочки под стаканы с кадрами из «Звездных войн» — и подошла к столику, чтобы расплатиться. Миссис Даймент взяла у нее пять долларов, аккуратно записала себе в блокнот: «НАБОР КУХОННЫХ ПОДСТАВОК. РАЗРОЗН. ВСЕГО — 12», после чего вновь повернулась к Киннеллу.

— Они переехали в Аризону,— продолжала она.— У Айрис там родственники, во Флагстаффе. Я знаю, что Джордж сразу начал искать работу... он чертежник-конструктор... вот только не знаю, нашел уже что-нибудь или нет. Но если нашел, то думаю, в Розвуд они уже не вернутся. Она попросила меня продать кое-какие вещи... она — это Айрис... и сказала, что я могу взять себе двадцать процентов за хлопоты. А ее деньги отправить ей чеком. Только, боюсь, денег немного получится.— Миссис Даймент вздохнула.

— Картина просто великолепная,— сказал Киннелл.

— Да. Жалко, что он их сжег, все остальные свои работы. Так бы хоть что-то было интересное. А то большая часть всех вещей, которые я тут пытаюсь продать,— обычный домашний хлам, только на выброс и годный. А это что?

Киннелл перевернул картину. На задней стороне рамки была приклеена какая-то бумажка.

— Наверное, название.

— И что там написано?

Киннелл приподнял картину, так чтобы Джуди было удобно самой прочитать надпись. Получилось так, что картина оказалась как раз на уровне его глаз, и Киннелл воспользовался случаем, чтобы еще раз ее рассмотреть. И снова его захватило пронзительное ощущение чего-то потустороннего, заключенного в этой в общем-то непритязательной акварели; молоденький мальчик за рулем мощной спортивной машины, ребенок со зловещей и искушенной усмешкой и омерзительными заточенными зубами.

А ведь оно очень подходит, название,— подумал он.— *Лучше и не придумаешь, как ни старайся.*

— «Дорожный Ужас прет на север»,— прочла Джуди вслух.— А я ее и не заметила, эту штуку, когда мои мальчики таскали вещи. *Это* название, да?

— Наверное.

Киннелл не мог оторвать взгляд от усмешки блондинистого мальчика на картине. *Я кое-что знаю,*— говорила эта усмешка.— *Я знаю что-то такое, что тебе никогда не узнать.*

— Да, действительно сразу поверишь, что парень, который все это изобразил, явно прибалдел от наркоты,— с огорчением проговорила Джуди. Киннелл отметил, что огорчение было искренним.— Неудивительно, что он покончил с собой и разбил мамино сердце.

— Я, кстати, тоже еду на север,— сказал Киннелл, запихивая картину под мышку.— Спасибо за...

— Мистер Киннелл?

— Да?

— Могу я взглянуть на ваше водительское удостоверение? — Это было сказано совершенно серьезно. Безо всякой издевки и даже не по приколу.— Я должна записать номер на вашем чеке. Так надо.

Киннелл поставил картину на землю и полез за бумажником.

— Пожалуйста. Без проблем.

Женщина, которая купила подставочки под стаканы с кадрами из «Звездных войн», уже было направилась к своей машине, но задержалась перед телевизором на лужайке — засмотрелась на мыльную оперу. Когда Киннелл проходил мимо, женщина покосилась на картину у него в руках.

— Надо же,— проговорила она.— И ведь кто-то купил это уродство. Кошмарная вещь. Я ее каждый раз вспоминаю, когда свет гашу, и меня прямо дрожь пробирает.

— Да? И чего в ней такого уж жуткого? — спросил Киннелл.

Тетушка Киннелла, тетя Труди, жила в Уэллсе, примерно в шести милях к северу от границы штатов Мэн и Нью-Хэмпшир. Киннелл съехал с шоссе на дорогу, которая огибала городскую водонапорную башню (ту самую, ядовито-зеленого цвета, с забавной табличкой-призывом жирными буквами высотой фута четыре: «СОХРАНИМ МЭН ЗЕЛЕНЫМ. ДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ»), и уже через пять минут зарулил на подъездную дорожку к аккуратному маленькому тетушкиному домику. На лужайке, разумеется, не было никакого включенного телевизора, водруженного поверх мусорных корзин,— только цветочные клумбы, настоящая страсть тети Труди. Киннеллу уже давно хотелось отлить, но он не стал останавливаться по дороге. Зачем останавливаться в придорожной закусочной, если можно заехать к тетке и там с комфортом сходить в туалет, а заодно послушать свежие семейные сплетни? Тетя Труди всегда была в курсе всего, что происходит в семье, и знала, что, где и кто. И, конечно, ему не терпелось показать ей свое новое приобретение — картину.

Тетя вышла ему навстречу, крепко обняла и «обклевала» все лицо своими фирменными быстрыми поцелуйчиками, которые стойко ассоциировались у Киннелла с чем-то птичьим и от которых его в детстве всегда трясло.

— Сейчас я тебе кое-что покажу,— сказал Киннелл.— Тебя так протащит, что ты из чулков своих выпрыгнешь.

— Интересная мысль,— развеселилась тетя Труди и с улыбкой уставилась на племянника, обхватив локти ладонями.

Киннелл достал из багажника картину. Тетю действительно протащило, но не так, как рассчитывал Киннелл. Она вдруг страшно побледнела. Киннелл в жизни не видел, чтобы люди бледнели вот так — словно вся краска разом сошла с лица.

— Жуткая вещь, нехорошая,— натянуто проговорила тетя, и было заметно, что она изо всех сил старается, чтобы не дрожал голос.— Мне не нравится. Наверное, я по-

нимаю, чем она привлекла *тебя*, Ричи. Только ты-то *играешь* в свои кошмары, а здесь оно все настоящее. Убери ее лучше обратно в багажник, сделай тете приятное. А когда будешь ехать через Сако, я тебе очень советую: остановись на мосту и брось ее в реку.

Киннелл обалдело уставился на тетю. Он никогда не видел ее такой. Тетя Труди плотно сжимала губы, пытаясь унять дрожь. И она уже не держала себя за локти — нет, она буквально вцепилась ладонями в локти, как будто пыталась сдержать себя, чтобы не сорваться с места и не убежать. Она как-то вдруг постарела и из крепкой шестидесятилетней женщины превратилась в дряхлую девяностолетнюю старуху.

Киннелл не мог понять, что происходит.

— Тетя? — осторожно проговорил он, уже начиная тревожиться.— Что-то не так?

— Вот *это* не так.— Она оторвала правую руку от левого локтя и ткнула пальцем в картину.— Удивительно даже, что ты сам ничего не чувствуешь — при твоем-то богатом воображении.

Нет, *кое-что* Киннелл чувствовал. Определенно чувствовал. Иначе бы не стал отваливать за картину сорок пять долларов. Но тетя Труди чувствовала что-то другое... или что-то сверх того, что чувствовал он сам. Киннелл повернул картину к себе (до этого он держал ее так, чтобы тетушке было удобнее смотреть) и еще раз взглянул на нее. И увидел такое, от чего у него перехватило дыхание, как от удара под дых. Внутри все оборвалось.

Картина *переменилась*. Не сильно, но все же переменилась. Улыбка белобрысого парня растянулась шире, заточенные людоедские зубы стали видны еще лучше. Теперь он прищурился посильнее, и от этого вид у него стал еще более искушенным и еще более злобным.

Неуловимая перемена в улыбке... губы, растянутые чуть пошире, так что острые зубы видны еще лучше... другой

прищур... другой взгляд... черты, которые очень зависят от субъективного восприятия. Такие вещи не запоминаешь в точности, всегда есть вероятность, что ты просто ошибся. Тем более что Киннелл не особенно-то и *приглядывался* к картине, когда ее покупал. Да и миссис Даймент совершенно его уболтала. Она была явно из тех непомерно общительных женщин, которые так тебя заговорят, что потом в голове еще долго будет зудеть.

Но была еще одна вещь, которую никак нельзя было списать на фокусы памяти и субъективного восприятия. Пока картина лежала в багажнике, молодой человек сдвинул левую руку — которую он поначалу держал поверх дверцы,— и теперь Киннелл разглядел татуировку, которой не было видно раньше. Обагренный кровью кинжал, оплетенный виноградными листьями. А под ним — надпись. Киннелл разобрал только два слова: «ЛУЧШЕ СМЕРТЬ». Но вовсе не обязательно быть популярным писателем — автором многих бестселлеров, чтобы сообразить, что там написано дальше. В конце концов, «ЛУЧШЕ СМЕРТЬ, ЧЕМ БЕСЧЕСТЬЕ» — это как раз та вещь, которую бесноватые дорожные странники, приносящие только несчастья, типа этого парня с людоедской усмешкой, обычно и вытатуировывают у себя на руке. *А на другой руке — туза пик или цветок в горшочке,* подумал Киннелл.

— Тебе она очень не нравится, тетя? — спросил он.

— Очень не нравится.

И тут Киннелл заметил еще одну любопытную вещь. Тетя Труди, оказывается, отвернулась и теперь делает вид, что с интересом смотрит на улицу (хотя на улице не было ничего интересного: обычная сонная и пустынная улица, разморенная жарким послеобеденным солнцем), лишь бы только ненароком не взглянуть на картину.

— Отвратительная картина. Давай ты ее уберешь, и пойдем в дом. Сдается мне, тебе надо кое-куда зайти.

Как только Киннелл убрал акварель в багажник, тетя Труди сразу воспряла духом и, как говорится, вновь обрела свою прежнюю savoir-faire*. Они немного поговорили о матери Киннелла (живет в Пасадене), о его сестре (в Батон-Руже) и о его бывшей жене Салли (в Нашуа). Салли была дамой самостоятельной и не без прибабахов. Она держала приют для бездомных животных в здоровенном жилом автоприцепе и выпускала два ежемесячных журнала. В «Гостях с того света» публиковались статьи о всяких астральных делах и якобы правдивые истории из жизни духов и привидений. В «Пришельцах», как явствует из названия, печатались рассказы людей, которые так или иначе общались с инопланетянами. Киннелл давно уже не посещал никаких сборищ, на которых писатели встречаются с восторженными читателями, помешанными на фэнтези и ужасах. Как он иногда говорил знакомым, для одной жизни одной Салли вполне достаточно.

Когда он наконец собрался ехать, была уже половина пятого вечера. Тетя пошла проводить его до машины. Она настойчиво зазывала его остаться поужинать, но Киннелл решил не терять день.

— Если я выеду прямо сейчас, то успею проехать большую часть пути до темноты.

— Ладно,— сказала тетя.— И ты прости, что я так разругала твою картину. *Конечно,* она тебе нравится. Тебе всегда нравились... всякие странные вещи. Просто *мне* она показалась... какой-то не такой. Может быть, я чего-то не понимаю. Но это *лицо...*— Она невольно поежилась.— Ужасное лицо. Как будто ты на него смотришь... и чувствуешь, что он тоже на тебя смотрит.

Киннелл улыбнулся и чмокнул тетушку в кончик носа.

— Тетя, ты просто чудо. У тебя у самой богатейшее воображение.

---

* Сметливость, живость (*фр.*).— *Примеч. пер.*

— Ну да, это у нас семейное. Кстати, не хочешь еще раз сходить в туалет на дорожку?

Он покачал головой.

— Я же не для этого заезжал.

— Да? А для чего ты тогда заезжал?

— С тобой побеседовать, тетушка,— улыбнулся Киннелл.— Ты у нас все про всех знаешь: кто хороший, а кто плохой. И ты не боишься рассказывать то, что знаешь.

— Ладно, езжай уже.— Тетя пихнула его в плечо, изображая досаду. Но на самом деле она была очень довольна.— На твоем месте я бы поторопилась домой. *Я бы,* наверное, с ума сошла, доведись мне ехать одной в темноте с этим противным и злобным парнем, пусть даже он и лежит в багажнике. Я хочу сказать, ты его зубы видел? *Ну вот!*

Киннелл все-таки выехал на автобан, чтобы выгадать в скорости, и гнал как сумасшедший до самой заправки «Грей». На заправке он решил остановиться и еще раз взглянуть на картину. Должно быть, тетушкина тревога передалась и ему, как зараза. Впрочем, он был уверен, что дело не в этом. Просто не давало покоя одно неприятное ощущение. И вот теперь Киннелл мучился: показалось ему или картина действительно переменилась?

В кафе на заправке предлагали стандартный набор гурманских закусок — гамбургеры и газировка в банках. На заднем дворе была оборудована маленькая уютная площадка со столиками и даже садик для выгула собак. Киннелл запарковался рядом с фургончиком с номерами штата Миссури. Заглушил двигатель. Сделал глубокий вдох, на пару секунд задержал дыхание — и выдохнул. Он специально поехал в Бостон на машине, чтобы спокойно подумать, как преодолеть творческий «затык» и возобновить работу над книгой. И вот ирония судьбы. По дороге туда он усиленно размышлял о том, как отвечать, если на конференции ему зададут очень правильные и заковыристые вопросы. Но ни-

кто ему этих вопросов не задал. Когда присутствующие уяснили, что *нет*, он *не знает*, откуда берутся его сюжеты, и что *да*, его самого иногда пугают его измышления, они потеряли всяческий интерес к его творчеству и стали выспрашивать, где найти подходящего литагента.

И вот теперь, по дороге домой, он только и думает, что об этой проклятой картине.

Неужели картина и вправду *переменилась*? Но если так — и нарисованный парень действительно сдвинул руку, так что Киннелл сумел прочесть надпись-татуировку, которую не было видно раньше,— тогда самое время садиться писать статью для одного из журналов Салли. Или даже серию статей с продолжением. Но с другой стороны, если картина не переменилась, тогда... что тогда? Галлюцинация приключилась на нервной почве? Бред собачий. С чего бы ему вообще нервничать? Чувствует он себя замечательно. Жизнь удалась. У него все в порядке. Во всяком случае, *было* в порядке, пока не попалась эта картина, которая буквально зачаровала его, и теперь это очарование превратилось в какую-то странную, темную одержимость.

— Ладно, блин, успокойся. Просто в тот раз ты не рассмотрел как следует.— Киннелл произнес это вслух и вышел из машины. Что ж, может быть. Может быть. В конце концов, у него в голове «замыкает» не в первый раз. Все это фокусы восприятия. Тем более ему это вроде бы и по штату положено. Он ведь писатель, и пишет ужасы, и иногда его воображение немного...

— Заносит,— буркнул Киннелл себе под нос и открыл багажник. Достал картину, взглянул на нее. И пока он смотрел — секунд на десять забыв о том, что человеку вообще надо дышать,— он вдруг понял, что эта картина его пугает. По-настоящему. Как иногда нас пугает неожиданный тихий шорох в кустах. Как иногда нас пугает какое-нибудь неприятное насекомое, которое может ужалить, если его спровоцировать.

Теперь парень с картины улыбался ему — да, именно *ему*, а не просто так, Киннелл был в этом уверен на сто процентов,— и улыбка была безумной, и заточенные людоедские зубы обнажились во всей красе, до самых десен. Глаза у парня горели и в то же время как будто смеялись. А вот моста Тобин-бридж не было и в помине. И Бостона, который виднелся вдали, тоже не было. И закатного неба не было. Теперь на картине царили темень и ночь. Громадный черный автомобиль и его бесноватого водителя освещал лишь тусклый свет единственного фонаря, отбрасывавшего маслянистые отблески на дорожный асфальт и на хромированные детали автомобиля. Черный автомобиль (скорее всего все же «гранд-ам») въезжал в маленький городок у шоссе № 1. Киннелл узнал это место. Он сам проезжал там еще сегодня.

— Розвуд,— пробормотал он себе под нос.— Это же Розвуд.

Дорожный Ужас прет на север, все правильно. По шоссе № 1 — той же дорогой, что и Киннелл. Парень по-прежнему держал левую руку на боковой дверце с опущенным стеклом, но теперь он повернул ее так, что татуировка была не видна. Но Киннелл знал, что она там есть. Ведь знал же? Ну да.

Блондинистый парень походил на фаната «Металлики», который сбежал из дурдома, куда его упекли за преступление, совершенное в невменяемом состоянии.

— Боже правый,— прошептал Киннелл, и впечатление было такое, что эти слова произнес не он, а кто-то другой. Его вдруг охватила внезапная слабость, как будто все силы разом покинули тело — утекли, точно вода из дырявого ведра. Киннелл тяжело опустился на бетонный поребрик, отгораживающий стоянку от садика. Он неожиданно понял, что есть одна правда, которую он почему-то не видел раньше, когда писал свои жуткие книги. В реальной жизни, когда человек вдруг сталкивается нос к носу с чем-то таким, что противоречит его здравому смыслу, он отзывается имен-

но так. Тебе кажется, будто ты истекаешь кровью и умираешь. Только кровь течет не из тела, а из мозгов.

— Неудивительно, что он покончил с собой, этот парень, который *такое* нарисовал,— выдавил Киннелл, не в силах оторвать взгляд от картины. От этой жестокой и дикой усмешки. От этих глаз, проницательных и остекленевших одновременно.

«К рубашке он приколол записку,— сказала тогда миссис Даймент.— *"Мне не вынести то, что со мной происходит". Какой ужас, да, мистер Киннелл? Разве бывает что-то страшнее?»*

Нет, не бывает.

Действительно, не бывает.

Киннелл поднялся, не выпуская из рук картину, и пошел через садик для выгула собак. Он сосредоточенно глядел себе под ноги, чтобы не наступить на собачьи «дела». На картину он не смотрел. Ноги дрожали и подгибались, но вроде пока держали. Впереди — там, где кончалась лужайка и начинались деревья,— молодая красивая девушка в белых шортах и красном топике без рукавов с завязочками на шее выгуливала коккер-спаниеля. Она улыбнулась Киннеллу издалека, но тут же поджала губы. Наверное, было у него в лице что-то такое, что заставило ее испугаться. Она пошла влево. Причем быстрым шагом. Спаниелю это не понравилось. Он изо всех сил упирался, но девушка тащила его за собой, натягивая поводок. Бедный пес кашлял и хрипел.

Сосновая роща на задах лужайки спускалась в болотистую низину, где пахло гнилыми листьями и разлагающимися телами мертвых зверей. Ковер из сухих сосновых игл давно превратился в придорожную мусорную свалку: повсюду валялись обертки от гамбургеров, пластиковые стаканчики, смятые салфетки, банки из-под пива, пустые бутылки и сигаретные пачки. Киннелл заметил использованный презерватив, который лежал, словно дохлая змейка, рядом с разорванными в клочья дешевенькими трусика-

ми с надписью «ВТОРНИК», стилизованной под неровный школьный почерк.

Киннелл углубился подальше в рощу. Здесь он рискнул еще раз взглянуть на картину. Он заранее подготовил себя к тому, что она может опять перемениться. Он даже не исключал возможности, что она будет двигаться, как в кино. Картина не двигалась. И, похоже, не изменилась. Но от этого Киннеллу легче не стало. Ему хватило одного только взгляда на лицо блондинистого парня. На эту зловещую, совершенно безумную улыбку. На эти заостренные зубы. Парень с картины как будто хотел сказать Киннеллу: *Эй, старик, знаешь чего? Мне покласть на ваш гребаный мир, который вы называете цивилизованным. Я — человек* настоящего *поколения X. И новое тысячелетие — вот оно, здесь, за рулем этой самой раздолбанной вздыбленной колымаги.*

Киннелл вспомнил, что сказала тетя Труди, когда увидела эту картину. Она сказала: выбрось ее в реку Сако. И теперь Киннелл понял, что тетя была права. Правда, Сако осталась уже в двадцати милях позади. Но...

— Болото тоже сойдет,— сказал он.— Вполне сойдет.

Киннелл поднял картину высоко над головой, как спортсмен поднимает какой-нибудь кубок или другой победный трофей, позируя перед фотографами, и отшвырнул ее от себя. Она полетела над склоном, пару раз перевернулась — рамка сверкнула, отразив тусклый свет заходящего солнца,— и ударилась о ствол дерева. Стекло разлетелось. Картина упала на землю и медленно съехала вниз по сухому слону, устланному ковром из сосновых иголок, прямо в заросли камыша на болоте. Наружу остался торчать только один уголок рамки. Но если к нему не приглядываться, то его почти и не было видно. Остались только осколки стекла на склоне, совершенно не бросающиеся в глаза на фоне другого мусора.

Киннелл развернулся и пошел обратно к машине. Теперь ему стало легче. Он знал, как справляться с такими

делами, и уже настраивал себя на то, что просто забудет про этот случай, «задвинет» подальше в темный чулан сознания и сделает вид, что ничего вообще не было.. Ему вдруг пришло в голову, что именно так, вероятно, и поступает подавляющее *большинство* людей, которым пришлось столкнуться с чем-то подобным. Обманщики с непомерно богатым воображением и психопаты, которым мерещатся всякие страсти, записывают свои измышления, рассылают по журналам типа «Гостей с того света» и утверждают, что все это чистая правда. Но те, кто действительно соприкоснулся с потусторонним, молчат себе в тряпочку и убеждают себя, что ничего не было. Потому что если в твоей жизни появляются такие трещины, когда реальность разъезжается по швам, надо что-то делать. Если вовремя это не остановить, трещины превратятся в провалы, куда в конце концов все и рухнет.

Обернувшись, Киннелл заметил ту самую красавицу со спаниелем. Она настороженно наблюдала за ним с безопасного — как она, должно быть, надеялась — расстояния. Девушка заметила, что он на нее смотрит, поспешно отвела глаза и направилась к ресторанчику на заправке. Ей снова пришлось тащить за собой упирающегося спаниеля. Шла она напряженно, изо всех сил стараясь не вилять бедрами.

Ты, наверное, думаешь, что я псих. Да, красотка? — подумал Киннелл. Он только сейчас заметил, что оставил багажник открытым. И теперь он зиял, как беззубая пасть. Киннелл раздраженно захлопнул багажник.— *И не ты одна, я так полагаю. Ты и еще половина из тех, кто читает романы ужасов. Но я не псих. Я совершенно нормальный. Просто я совершил ошибку. Остановился на дворовой распродаже, которую должен был проезжать не глядя. Любой мог бы так ошибиться. Ты, например, могла бы. А эта картина...*

— *Какая* картина? — сказал Киннелл вслух, обращаясь к закатному небу. Он даже выдавил из себя улыбку.— Лично я никакой картины в глаза не видел.

Он уселся за руль своей «ауди», завел двигатель и взглянул на индикатор топлива. Бензина осталось меньше полбака. До дома точно не хватит, придется еще заправляться. Но Киннелл решил, что заправится где-нибудь в другом месте. Сейчас ему хотелось лишь одного: отъехать как можно дальше — *как можно* дальше — от этого места, где он оставил картину.

Сразу на выезде из Дерри улица Канзас-стрит переходит в шоссе Канзас-роуд. За пределами городских предместий (одно слово, предместья, а так — настоящая сельская местность без намеков на город) шоссе превращается в обыкновенный проселок, Канзас-лейн. Немного подальше, там, где Канзас-лейн проходит между двумя межевыми столбами, гудронированное покрытие сменяется гравием. То есть одна из самых загруженных и оживленных улиц Дерри уже через восемь миль к западу превращается в узкую проселочную дорогу, проложенную по пологому склону холма. Лунными летними ночами она вся сверкает, напоминая призрачные пейзажи из поэзии Алфреда Нойеса. На вершине холма стоит нескладный, но все равно симпатичный дощатый сарай с зеркальными окнами — с виду вроде конюшня, но на самом деле гараж с тарелкой спутникового телевидения на крыше, направленной прямо к звездам. Один остроумный корреспондент из «Дерри ньюс» назвал это строение «домом, который построил Гор»... кстати, совсем *не имея* в виду вице-президента США. Ричард Киннелл называл его просто домом. И в тот вечер он подъехал к дому с чувством несказанного облегчения. Он устал ужасно. Ощущение было такое, что с тех пор, как сегодня в девять утра он проснулся в отеле «Бостон-Харбор», прошел не день, а неделя по меньшей мере.

Никаких больше дворовых распродаж, — сказал себе Киннелл, глядя на луну.— *Отныне и впредь.*

— Аминь,— заключил он, закрыл машину и направился к дому. Наверное, стоило бы загнать машину в гараж,

но Киннелл решил, что черт с ней. Сейчас ему хотелось лишь одного: выпить чего-нибудь крепкого, быстренько перекусить — разогреть какую-нибудь ерунду в микроволновой печи — и завалиться спать. Причем спать желательно без сновидений. Чтобы поскорее закончился этот день.

Он вставил ключ в замок, открыл дверь и отключил сигнализацию, набрав комбинацию цифр на панели у двери: 3817. Потом включил свет в прихожей, перешагнул через порог, закрыл за собой дверь, обернулся, мельком глянул на стену, где в рамочках под стеклом висели обложки всех его книг и... закричал. То есть *мысленно* закричал. В уме. С губ не сорвалось ни звука — только испуганный вздох. Потом раздался глухой удар и тихий металлический лязг. Это ключи выпали из его ослабевшей внезапно руки и шлепнулись на ковер.

«Дорожный Ужас прет на север», который сейчас должен валяться в камышах на болоте за автозаправочной станцией «Грей», висел на стене в прихожей.

В доме Киннелла.

Картина вновь переменилась. Парень уже никуда не ехал. Его машина стояла припаркованной на подъездной дорожке к коттеджу, где проходила дворовая распродажа. Вещи, предназначенные на продажу, по-прежнему были расставлены на лужайке: мебель, посуда, всякие керамические безделушки (собачки, курящие трубку, голозадые пупсики и рыбы с моргающими глазами). Только теперь двор был залит светом луны — все той же похожей на череп луны, что висела в небе над домом Киннелла. Как и днем, телевизор стоял на улице. И он был включен. Бледный свет от экрана падал на траву, на опрокинутое пластиковое кресло и на то, что лежало рядом. Это была Джуди Даймент. Вернее, ее бездыханное тело. И даже не тело, а только *часть*. Голову Киннелл увидел не сразу. Она стояла на гладильной доске, и мертвые глаза блестели при свете луны, точно две тусклые монеты в полдоллара.

Задние фары «гранд-ама» представляли собой красно-розовое пятно размытой акварели. В первый раз Киннелл увидел машину с картины сзади. Там, на багажнике, была надпись, выполненная в старинном готическом стиле. Два слова: «ДОРОЖНЫЙ УЖАС».

Все правильно,— тупо подумал Киннелл.— *Все логично. Это не он, а его машина. Хотя, наверное, разница не велика.*

— Так не бывает,— прошептал он себе под нос.

Но ведь было же. Было. Может быть, ничего подобного *не случилось бы* с кем-то другим, кто не настолько открыт для таких вещей. Но с Киннеллом это *случилось*. Ошарашенно глядя на картину, Киннелл вдруг вспомнил табличку на столике у Джуди Даймент. Там было написано: ОПЛАТА ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ (хотя у *него* Джуди все-таки взяла чек, пусть даже на всякий случай, и записала номер его водительского удостоверения). Но там было написано и кое-что еще:

ПРОДАННЫЕ ТОВАРЫ ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ.

Киннелл прошел мимо картины в гостиную. У него было такое чувство, будто он здесь посторонний. Чужой в собственном теле. Он поймал себя на том, что разум — сам по себе, независимо от него — лихорадочно ищет, как отгородиться от происходящего. Ищет — но не находит.

Киннелл включил телевизор и декодер спутниковой антенны и настроился на канал V-14. Все это время он буквально физически ощущал присутствие картины в доме. Нет, не думал о ней, просто чувствовал, что она рядом, эта картина, которая каким-то непостижимым образом опередила его и проникла в дом.

— Знала, как срезать дорогу,— произнес Киннелл вслух и рассмеялся.

На этот раз на картине не было ужасного белобрысого парня. Однако за рулем «гранд-ама» чернела какая-то размытая тень — наверняка это был он. Дорожный Ужас за-

кончил дела в Розвуде. И попер дальше на север. И его следующая остановка...

Киннелл не стал додумывать эту мысль. Он заставил себя обрубить ее прежде, чем она оформится у него в мозгах и он осознает, *что* это может значить.

— В конце концов, я не знаю. Может быть, мне все это мерещится,— сказал он, обращаясь в пустоту. Он думал, что звучание собственного голоса поможет ему успокоиться. Но голос дрогнул, сорвался на хрип, и в итоге Киннелл еще больше перепугался.— Вполне может статься, что...

Он не знал, как закончить фразу. В голову лезла только строка из одной старой песни, которую в свое время исполнял кто-то из подражателей раннего Фрэнка Синатры в стиле «псевдохипхоп»: *Вполне может статься, что это начало чего-то* ЗНАЧИТЕЛЬНОГО...

В телевизоре тоже играла песня. Вернее, даже не песня, а пока только вступление. И не Синатра, а Пол Саймон. На голубом экране горели белые буквы, как на мониторе компьютера: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НОВОСТНУЮ ЛЕНТУ НОВОЙ АНГЛИИ. Далее шла подробная инструкция, как делать запрос, но Киннеллу незачем было ее изучать. Он давно уже «баловался» с новостным телетекстом и знал, что надо делать. Он набрал нужную комбинацию цифр, ввел номер своей, кредитной карты и код региона: 508.

— Вы заказали прочтение новостей по (секундная пауза) центральному и северному регионам штата Массачусетс,— произнес электронный голос.— Спасибо...

Киннелл положил телефонную трубку на рычаг и повернулся к телевизору. На экране уже возник логотип Новостной ленты Новой Англии. Он нетерпеливо прищелкнул пальцами.

— Ну давай же, давай.

Экран моргнул, и синий фон сменился зеленым. Появилось первое сообщение. Что-то насчет пожара в жилом доме в Тонтоне. Потом последовал краткий отчет об

очередном скандале вокруг собачьих бегов. Потом — прогноз погоды на завтра: тепло и ясно. Потихонечку Киннелл расслабился и начал уже сомневаться: может, там ничего и нет, на стене в прихожей. Может, ему просто все это привиделось. В конце концов, он ужасно устал после долгой дороги — вот и лезет в башку всякая ерунда. Но тут телевизор пронзительно забибикал, и на экране возникли слова «ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ». Киннелл уставился на экран.

НЛНА телетекст 19 АВГУСТА/20:40 В РОЗВУДЕ ЗВЕРСКИ УБИТА ЖЕНЩИНА, ПОМОГАВШАЯ ОТСУТСТВУЮЩЕЙ ПОДРУГЕ. 38-ЛЕТНЯЯ ДЖУДИТ ДАЙМЕНТ УСТРОИЛА ДОМАШНЮЮ РАСПРОДАЖУ ВЕЩЕЙ ПО ПОРУЧЕНИЮ СВОЕЙ СОСЕДКИ. НЕИЗВЕСТНЫЙ ПРЕСТУПНИК ЗАРУБИЛ МИССИС ДАЙМЕНТ ТОПОРОМ. СОСЕДИ НЕ СЛЫШАЛИ НИЧЕГО ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО. ТРУП ОБНАРУЖИЛИ ТОЛЬКО В ВОСЕМЬ ВЕЧЕРА, КОГДА СОСЕД ИЗ ДОМА НАПРОТИВ — ДЭВИД ГРЭЙВЗ — ПРИШЕЛ ВОЗМУЩАТЬСЯ, ЧТО ВО ДВОРЕ ПЕРЕД ДОМОМ У МИССИС ДАЙМЕНТ СЛИШКОМ ГРОМКО РАБОТАЕТ ТЕЛЕВИЗОР. МИСТЕР ГРЭЙВЗ ГОВОРИТ, ЧТО ТЕЛО БЫЛО РАСЧЛЕНЕНО. «ЕЕ ГОЛОВА ЛЕЖАЛА НА ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКЕ,— СКАЗАЛ ОН ПОЛИЦИИ.— ЭТО БЫЛО УЖАСНО. ТАКОГО КОШМАРА Я В ЖИЗНИ НЕ ВИДЕЛ». МИСТЕР ГРЭЙВЗ ГОВОРИТ, ЧТО НЕ СЛЫШАЛ НИ КРИКОВ, НИ ШУМА БОРЬБЫ: ТОЛЬКО ЗВУК ТЕЛЕВИЗОРА И — НЕЗАДОЛГО ДО ТОГО КАК ПОЙТИ К МИССИС ДАЙМЕНТ — РЕВ МОЩНОГО АВТОМОБИЛЯ, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ОСНАЩЕННОГО ГЛУШИТЕЛЕМ, КОТОРЫЙ ОТЪЕЗЖАЛ ОТ СОСЕДНЕГО ДОМА ПО ШОССЕ №1. ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ, ЧТО АВТОМОБИЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ УБИЙЦЕ...

Да, за одним исключением.

Это — не подозрение, а непреложный факт.

Дыша тяжело — не как загнанный зверь, но уже близко к тому,— Киннелл бросился в прихожую. Картина действительно была там. И она снова переменилась. Теперь на ней были видны лишь два ослепительных белых круга — передние фары,— за которыми только угадывались темные очертания автомобиля.

Он едет дальше,— сказал себе Киннелл. И тут он все же *подумал о* тете Труди — милой тетушке Труди, которая все про всех знала: кто хороший, а кто плохой. О замечательной тетушке Труди, которая жила в Уэллсе, в каких-нибудь сорока милях от Розвуда.

— Пожалуйста, Господи, пусть он поедет по побережью,— сказал Киннелл вслух, протянув руку к картине. То ли ему опять показалось, то ли фары и вправду слегка раздвинулись, как будто нарисованная машина действительно мчалась вперед... но как бы крадучись, неуловимо для глаза, как минутная стрелка движется по циферблату.— Пусть он свернет на шоссе, которое по побережью идет. Пожалуйста.

Он сорвал картину со стены и метнулся в гостиную. Камин, естественно, был заставлен экраном. Пройдет еще месяца два, если не больше, прежде чем понадобится его топить. Киннелл отшвырнул экран и засунул картину в камин. При этом он расколол стекло — которое уже разбивалось однажды, в роще за заправочной станцией — о железную подставку для дров. Потом Киннелл бросился в кухню, на ходу размышляя о том, что он будет делать, если то, что он думает сделать сейчас, опять не поможет.

Должно помочь,— твердил он себе.— *Должно, потому что... должно. Просто должно, и все.*

Он распахнул кухонные шкафы и принялся лихорадочно рыться по полкам. Опрокинул открытую пачку овсяных хлопьев. Рассыпал соль. Уронил бутылку с уксусом. Бутылка разбилась о раковину, и в нос и глаза Киннеллу ударили едкие пары.

Здесь ее нет. Того, что нужно, здесь нет.

Он вбежал в туалет. Глянул за дверью. Ничего. Только пластиковое ведерко и жидкость для мытья ванны. Так. Тогда на полочке у сушилки. Ага, вот она. Рядом с брикетами угля.

Горючая жидкость.

Киннелл схватил бутылку и поспешил обратно в гостиную. Проходя через кухню, он мельком глянул на телефон на стене. Наверное, стоило задержаться и позвонить тете Труди. Киннелл очень хотел позвонить. Тетя всегда ему доверяла. Она не станет задавать лишних вопросов. Если любимый племянник позвонит на ночь глядя и скажет, что ей надо срочно уехать из дома, уехать прямо *сейчас*, то она так и сделает... но что, если блондинистый парень с картины за ней погонится? Что, если он рванет следом?

А он так и сделает. Киннелл *знал*, что он так и сделает.

Он пролетел через гостиную и остановился перед камином.

— Господи боже, нет,— прошептал он.

На картине за растрескавшимся стеклом больше не было света фар, направленных прямо на зрителя. Теперь «гранд-ам» ехал вниз по крутому изгибу дороги, которая могла быть только съездом со скоростного шоссе. Лунный свет переливался, как жидкий шелк, на черных боках автомобиля. На заднем плане виднелась водонапорная башня. И слова, написанные на ней, легко читались при ярком свете луны. «СОХРАНИМ МЭН ЗЕЛЕНЫМ. ДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ».

Киннелл плеснул на картину горючей жидкостью, но не попал с первого раза. Руки тряслись, и жидкость просто растеклась по той части стекла, которая осталась целой. Пятно замутило складной верх Дорожного Ужаса. Киннелл сделал глубокий вдох, примерился и плеснул опять. На этот раз жидкость попала точно на дырку в разбитом стекле и просочилась под рамку. Она пошла бурыми разводами по акварели, въедаясь в бумагу, растворяя краску.

Киннелл взял декоративную спичку из кувшинчика на каминной полке, зажег, чиркнув по кирпичам под очагом, засунул в дырку в стекле. Картина загорелась мгновенно — пламя охватило «гранд-ам» и водонапорную башню на заднем плане. Стекло, еще остававшееся в рамке, разом почернело и лопнуло, разлетевшись брызгами горящих осколков. Киннелл затоптал их ногами, поспешив погасить пламя, пока оно не подожгло ковер.

Он подошел к телефону и набрал номер тетушки Труди, даже не сознавая, что по щекам у него текут слезы. На третьем гудке сработал автоответчик. «Привет,— поздоровался он голосом тети Труди.— Я знаю, что мне не стоит этого говорить, дабы не поощрять грабителей, но меня нет дома. Я поехала в Кеннебанк смотреть новый фильм с Харрисоном Фордом. Если вы собираетесь меня грабить, пожалуйста, не забирайте мою коллекцию фарфоровых поросят. Если хотите мне что-то сказать, говорите после сигнала».

Киннелл дождался сигнала и наговорил, очень стараясь, чтобы голос его не дрожал:

— Тетя Труди, это Ричи. Когда вернешься домой, позвони мне, ладно? В любое время, пусть даже и поздно.

Он повесил трубку, взглянул на экран телевизора и снова набрал номер Новостной ленты телетекста, только на этот раз задав код штата Мэн. Пока компьютер на том конце линии обрабатывал заказ, Киннелл вернулся к камину и поворошил кочергой сморщенные, почерневшие останки картины. Запах был просто ужасный — по сравнению с ним едкий запах пролитого уксуса казался просто божественным ароматом,— но Киннеллу было уже все равно. Картины больше не было. Она превратилась в пепел. И ради этого можно стерпеть что угодно.

А если он снова вернется, Дорожный Ужас?

— Не вернется.— Киннелл поставил кочергу на место и вернулся к телевизору.— Я уверен, что он не вернется.

И все-таки каждый раз, когда сообщения на новостной линии начинались по новому кругу, Киннелл прочитывал их очень внимательно. От картины остался лишь пепел на кирпичах под очагом... и в новостях не появлялось никаких сообщений о зверском убийстве пожилой женщины в Уэллсе, Сако или Кеннебанке. Но Киннелл все равно продолжать следить за телетекстом, как будто где-то подспудно едва ли не ждал, что на экране появится что-то вроде: «ГРАНД-АМ» НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ ВРЕЗАЛСЯ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЕННЕБАНКСКИЙ КИНОТЕАТР. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, ПОГИБЛО ОКОЛО ДЕСЯТИ ЧЕЛОВЕК. Но ничего подобного не появилось.

В четверть одиннадцатого зазвонил телефон. Киннелл схватил трубку:

— Алло?

— Это Труди. С тобой все в порядке, мой хороший?

— Да, все в порядке.

— А то у тебя голос какой-то странный,— сказала тетя.— Дрожит... да и вообще, не такой какой-то. Что случилось? Это все из-за нее? — И тут тетя сказала такое, что повергло Киннелла в леденящий ужас, но все-таки не удивило: — Это все из-за этой картины, которая так тебе нравилась, да? Из-за этой проклятой картины?

Киннелл вдруг успокоился. Может быть, потому что тетя оказалась такой проницательной... ну и, конечно же, из-за того, что с ней ничего не случилось.

— Да, может быть,— сказал он.— Меня как-то так колотило всю дорогу до дома. И я ее сжег. В камине.

Она все равно скоро узнает про Джуди Даймент,— твердил предательский внутренний голос.— *У нее нет спутниковой тарелки ценой в двадцать тысяч долларов, но она получает «Юнион-лидер», и завтра же эта новость будет на первой полосе. Тетя умная женщина и сразу сообразит что к чему.*

Да, все верно. Но дальнейшие объяснения могут подождать и до утра, когда возбуждение немного спадет... когда

он, возможно, найдет способ, как ему поразмыслить над всем, что случилось, не сходя при этом с ума... и когда он будет уверен, что все закончилось и Дорожного Ужаса больше нет.

— Вот и славно,— с нажимом проговорила тетя.— И знаешь что? Ты бы и пепел развеял тоже.— Она на секунду умолкла и продолжила, понизив голос: — Ты за меня волновался, да? Потому что ты мне показывал эту картину?

— Да, немножечко волновался.

— Но теперь тебе лучше?

Киннелл откинулся в кресле и закрыл глаза. Ему действительно стало легче.

— Э... как кино?

— Замечательно. Харрисон Форд изумительно смотрится в форме. Вот если бы он еще как-то убрал эту шишку на подбородке...

— Спокойной ночи, тетя Труди. Завтра поговорим.

— Поговорим?

— Да. Я так думаю,— сказал Киннелл.

Он положил трубку на место, встал, подошел к камину и еще раз пошевелил кочергой пепел. Картина сгорела почти вся. Остался только кусок крыла черного автомобиля и обугливший клочок дороги. Но это, наверное, уже не страшно. Может быть, именно так и надо было поступить с самого начала? В конце концов, именно так и следует изничтожать сверхъестественных посланцев зла — жечь их огнем. Ну да. Он сам использовал этот сюжетный ход в нескольких своих книгах. В частности, в «Отбывающем поезде» — романе про железнодорожный вокзал, населенный призраками.

— Вот именно,— произнес Киннелл вслух.— Гори, детка, гори.

Он подумал о выпивке, которую обещал себе на подъезде к дому. Выпить, конечно, стоило. Но тут Киннелл вспомнил пролитый уксус (который уже, наверное, впитался в

рассыпанные овсяные хлопья — ну и мысли иной раз приходят в голову!) и решил, что лучше сразу лечь спать. В романах ужасов — к примеру, в романах Ричарда Киннелла — герой, переживший подобное приключение, не спит до утра. Потому что не может заснуть.

Но жизнь — это не книга. В жизни люди ложатся спать и засыпают вполне нормально.

•

На самом деле он задремал уже в душе, привалившись спиной к стене и не успев даже смыть шампунь. Вода била его по груди. Киннеллу снился сон. В этом сне он снова попал на дворовую распродажу. В телевизоре, установленном на мусорных корзинах, показывали Джуди Даймент. Ее голова была на месте, но Киннелл видел, что она пришита к телу грубыми халтурными стежками, как будто пришивал ее неумелый хирург. Шов шел вокруг шеи, точно кошмарное ожерелье.

— Вы смотрите Новостную ленту Новой Англии, версию обновленную и исправленную,— сказала миссис Даймент, и когда она заговорила, Киннелл, который всегда видел яркие и живые сны, на самом деле *увидел*, как швы у нее на шее натягиваются и расслабляются при каждом слове.— Бобби Хастингз сжег все свои картины. *Все* до единой, включая и *вашу*, мистер Киннелл... а она *ваша*, как вы сами, я думаю, уже поняли. Проданные товары возврату не подлежат, вы ведь читали уведомление. Вы еще радуйтесь, что я взяла у вас чек.

Сжег все свои картины. Ну да. Все правильно. Он и должен был сжечь их все,— подумал Киннелл в своем водянистом сне.— *«Мне не вынести то, что со мной происходит», вот что он написал перед смертью. А когда человек доходит до предела и жжет за собой все мосты, вряд ли он станет медлить и размышлять, не спасти ли от пламени что-то одно — то особенное, что достойно остаться. А ведь ты действительно что-то такое особенное вложил в свой «Дорожный Ужас прет на север».*

Да, Бобби? И, наверное, сам того не желая. Просто так получилось. Случайно. Ты был очень талантливым, я это понял сразу, но талант здесь вообще ни при чем. В том, что касается этой картины.

— Есть вещи, которые сохраняются навсегда,— говорила из телевизора Джуди Даймент.— Они возвращаются снова и снова, как бы ты ни старался от них избавиться. Они возвращаются. Они липнут к тебе, как зараза.

Киннелл протянул руку и переключил канал, но, как оказалось, по всему диапазону шла только одна передача: «Шоу Джуди Даймент».

— Можно сказать, он пробил брешь в основании Вселенной,— говорила она теперь.— Он, это Бобби Хастингз. И оттуда вывалилось вот *такое*. Замечательно, правда?

Ноги Киннелла поехали по скользкому кафелю. Он мгновенно проснулся. Хорошо еще, что не упал.

Он зажмурился — мыло попало в глаза, и глаза защипало (пока он спал и видел сон, шампунь стек на лицо густыми белыми ручьями). Он набрал воду в ладони и плеснул на лицо. А когда набирал воду снова, вдруг услышал какой-то звук. Какое-то сбивчивое тарахтение.

Не будь идиотом,— сказал он себе.— *Здесь только шум воды в душе. И больше ты ничего не слышишь. Тебе просто кажется.*

Или нет?

Киннелл протянул руку и выключил воду.

Он по-прежнему слышал это непонятное тарахтение. Глухое и мощное. И звук доносился откуда-то с улицы.

Киннелл вылез из душа и прошел, даже не вытеревшись, к себе в спальню на втором этаже. Он так и не смыл шампунь с волос, и впечатление было такое, что он стал седым, пока дремал в душе,— как будто сон про Джуди Даймент заставил его поседеть.

И зачем я вообще останавливался на этой проклятой распродаже? — спросил он себя. Но ответа на этот вопрос он не знал. И, наверное, не знал никто.

Когда Киннелл встал у окна, что выходило на подъездную дорожку к дому — на ту самую дорожку, которая лунными летними ночами искрилась, как призрачные пейзажи из поэзии Алфреда Нойеса,— звук снаружи стал громче.

Он отодвинул занавеску и выглянул на улицу. Он вдруг поймал себя на том, что думает о своей бывшей жене Салли, с которой познакомился в 1978 году на международной встрече писателей и читателей фэнтези. О Салли, которая теперь живет в автоприцепе и выпускает два ежемесячных журнала: «Гости с того света» и «Пришельцы». Пока Киннелл смотрел на дорогу, эти названия наложились у него в сознании, как двойная картинка в стереоскопе.

Ему явился пришелец, который был явно гостем с того света.

«Гранд-ам» с картины стоял перед домом. Из двух хромированных выхлопных труб вырывались клубы белого дыма и медленно растворялись в воздухе. Надпись на багажнике, выполненная старинным готическим шрифтом, ясно читалась при свете луны. Дверца с водительской стороны была открыта. Но это еще не все. Судя по свету, льющемуся на ступени крыльца, передняя дверь в доме Киннелла была открыта тоже.

Забыл запереть ее на замок,— подумал Киннелл, вытирая со лба мыльную пену вдруг онемевшей и потерявшей всякую чувствительность рукой.— *Забыл поставить на сигнализацию... хотя вряд ли бы это спасло. Для этого парня не существует замков и сигнализаций.*

Что ж, может быть, Киннеллу и удалось направить его прочь от тетушки Труди, и это было уже кое-что. Но сейчас эта мысль не принесла ему облегчения.

Гости с того света.

Глухое тарахтение мощного двигателя в 442 лошадиные силы, не меньше. С баком на четыре барреля, усиленными клапанами и прямой инжекцией.

Киннелл — голый и мокрый, с головой в мыльной пене — медленно развернулся, не чувствуя под собой ног, и

увидел картину. Именно там, где и думал увидеть: на стене над кроватью. «Гранд-ам» стоял на подъездной дорожке у его дома, дверца с водительской стороны была открыта, а из хромированных выхлопных труб валил дым. Под этим углом Киннеллу была видна дверь его дома, открытая нараспашку, и длинная тень человека на полу прихожей.

Гости с того света.

Гости с того света и *пришельцы*.

Теперь Киннелл слышал шаги. Тяжелые шаги — вверх по лестнице. Он знал, что блондинистый парень носит мотоциклетные сапоги. Ему не надо было этого видеть. Люди, которые делают на руках татуировки ЛУЧШЕ СМЕРТЬ, ЧЕМ БЕСЧЕСТЬЕ, носят только мотоциклетные сапоги. И курят только «Кэмел» без фильтра. Подобные вещи — они как закон, обязательный к исполнению.

Да, и еще нож. У него обязательно есть с собой нож. Большой и острый. Что-то вроде мачете. Подходящая штука для того, чтобы снести человеку голову одним размашистым ударом.

И он наверняка сейчас улыбается, обнажая свои заточенные людоедские зубы.

Киннелл все это *знал*. Не зря же он сам навыдумывал столько ужасов.

У него было богатое и живое воображение.

— Нет,— прошептал Киннелл, вдруг осознав, что он совершенно голый. Только теперь до него дошло, что его бьет озноб.— Нет. Пожалуйста, уходи.

Но шаги приближались. Конечно, они приближались. Такому парню, как этот — с картины,— нельзя просто сказать: «Уходи». Потому что он все равно не уйдет. Потому что, по законам жанра, истории так не кончаются.

Киннелл слышал, что белобрысый уже поднялся по лестнице. С улицы доносился рев незаглушенного двигателя «гранд-ама».

Парень шел по коридору. Его сбитые каблуки поскрипывали по натертому паркету.

Киннелла как будто парализовало. Неимоверным усилием воли он скинул с себя оцепенение и бросился к двери, чтобы запереть ее, пока эта *тварь* не вошла. Но он поскользнулся на лужице мыльной воды и на *этот раз* не устоял на ногах. Он упал на спину и увидел, как распахнулась дверь. Увидел тяжелые мотоциклетные сапоги. Парень с картины неторопливо направился туда, где лежал Киннелл — голый и мокрый, с головой в мыльной пене. А на стене над кроватью висела картина, и на картине «Дорожный Ужас» стоял припаркованным у его дома, и дверца с водительской стороны была открыта.

И все переднее сиденье автомобиля было залито кровью. *Кажется, мне придется выйти на улицу,* подумал Киннелл и закрыл глаза.

Дэвид Морелл

ГОТИКА НА РИО-ГРАНДЕ



Когда Ромеро наконец заметил на дороге кроссовки, до него дошло, что он уже несколько дней их видел. По дороге в город вдоль Олд-Пекос, мимо глинобитных стен Женского клуба Санта-Фе, слева. Подъезжая к баптистской церкви стиля кантри справа, он доехал до гребня холма и увидел пару кроссовок на желтой разделительной полосе. Вот тогда и свернул свою полицейскую машину на грунтовую обочину.

Хмурясь, вылез он из машины и положил большие пальцы на ремень с кобурами, не замечая рева проезжающих машин и разглядывая эти самые кроссовки. Связанные шнурками, сзади фирменный ярлык «Найк». Одна лежала на боку, показывая, насколько износилась подошва. Но вчера их на дороге не было, сообразил Ромеро. То была пара кожаных сандалий. Он вроде бы их мельком отметил про себя. А позавчера? Женские туфли на высоких каблуках? Точно не вспомнить, но какая-то пара обуви тут лежала. Что за?..

Дождавшись перерыва в потоке машин, Ромеро подошел к разделительной полосе и всмотрелся, будто пытаясь

© Перевод. М. Левин, 2005.

разрешить загадку. Какой-то пикап перевалил через гребень слишком быстро, чтобы его заметить, и ветром от него на Ромеро рвануло тренч. Он еле обратил внимание, занятый кроссовками. Но тут еще один грузовик пронесся через перевал, и Ромеро понял, что лучше бы отойти с дороги. Отцепив от пояса дубинку, он просунул ее под шнурки и поднял кроссовки. Ощущая их вес, он переждал проезжающий мини-фургон, потом вернулся к своей машине, отпер багажник и бросил туда кроссовки. Наверное, решил он, с другими туфлями здесь было точно так же. Мусоросборщик или кто-нибудь из городских служб остановился и убрал их. Сейчас середина мая. Скоро туристский сезон развернется вовсю, и нехорошо, если гости будут видеть на дороге мусор. Ромеро решил выбросить кроссовки в мусорный ящик, когда доедет до участка.

Следующий пикап, переваливший через холм, гнал не меньше пятидесяти. Ромеро влез в полицейский джип, врубил сирену и остановил нарушителя, когда тот уже проехал на красный свет у самой Кордовы.

Ему было сорок два года, и пятнадцать из них он служил в полиции Санта-Фе, но тридцати тысяч долларов, которые он зарабатывал каждый год, не хватало на дом в Санта-Фе — слишком там высокие цены на недвижимость, и потому он жил в пригородном Пекосе в двадцати милях к северо-востоку, где раньше жили его отцы и деды. Жил он, конечно, в том же доме, где жили родители, пока пьяный водитель, едущий не по той полосе, ударил в их машину на полной скорости. Этот скромный дом когда-то стоял в тихом районе, но полгода назад в квартале от него построили супермаркет, и всю округу заполонил шум и сутолока автомобилей. Женился Ромеро в двадцать лет. Жена его работала агентом страховой компании в Пекосе. Двадцатидвухлетний сын жил с ними и работы не имел. Каждое утро Ромеро вел с ним разговоры насчет поиска работы. За ними следовали другие разговоры, в ходе кото-

рых жена Ромеро ему объясняла, что он слишком суров к мальчику. Как правило, они с женой уходили из дому, уже не разговаривая друг с другом. Ромеро, когда-то подтянутый и спортивный, звезда футбольной команды школы, порядком обрюзг от чрезмерного количества еды навынос и долгих часов за рулем. Этим утром он заметил у себя на висках седину.

К тому времени, как Ромеро разобрался с превысившим скорость пикапом, ограблением дома, куда его послали составлять протокол, и карманником, которого ему удалось поймать, он уже забыл о кроссовках. Потом его отвлекла драка между давно враждовавшими соседями — один опередил другого на автостоянке у ресторана. Потом он оформлял бумаги в участке, присутствовал на отчетной летучке в конце дня, и его не надо было сильно уговаривать опрокинуть по пиву с коллегами, вместо того чтобы сразу мобилизоваться на двадцатимильный путь к домашним сложностям. Домой он попал в десять, когда жена и сын давно уже поели. Сын шлялся где-то с приятелями, жена уже легла спать. Он поел, что осталось, глядя в телевизоре повторение старой комедии трюков, которая и при первом-то просмотре не была смешной.

На следующее утро, выехав на холм у баптистской церкви, Ромеро напрягся при виде пары мокасин, валяющихся на разделительной полосе. Резко съехав на обочину, он открыл дверь и поднял руки, останавливая движение, подобрал мокасины, вернулся к джипу и поместил их рядом с кроссовками.

— Обувь? — спросил сержант в участке.— О чем ты?

— На Олд-Пекос. Каждое утро там пара обуви.

— Упали, наверное, из мусоровоза.

— И так каждое утро? И только пара обуви, ничего больше? К тому же те, что я нашел сегодня, почти новые.

— Ну, кто-то переезжал, и они с грузовика упали.

— Каждое утро? — повторил Ромеро.— Эта вот пара — «Коул хаис». Такие дорогие мокасины никто не бросит поверх груза.

— Какая разница? Туфли и туфли. Кто-то балуется.

— Конечно,— сказал Ромеро.— Кто-то балуется, не иначе.

— Дурацкая шутка,— решил сержант.— Чтобы люди думали, чего это туфли валяются на дороге. Ты вот задумался. Шутка сработала.

— Ага,— подтвердил Ромеро.— Дурацкая шутка.

На следующее утро это была пара потрепанных рабочих сапог. Когда Ромеро увидел их, въехав на гребень холма у баптистской церкви, он нисколько не удивился. На самом деле он только не знал, что за обувь будет сегодня лежать.

Да, если это шутка, она точно удается, подумалось ему. Кто бы это ни делал, а человек этот жуть до чего настойчивый. Кто?

Эта проблема изводила его весь день. Между расследованием наезда (водитель скрылся) на Сент-Франсис-Драйв и взломом картинной галереи на Каньон-Роуд он несколько раз возвращался к холму на дороге Олд-Пекос и проверял. Пока там ничего не появилось. Насколько можно было понять, шутник бросает там обувь днем. Если так, то план, который обдумывал Ромеро, был бессмысленным. Но вернувшись на холм в восьмой раз и не увидев обуви, он сказал себе, что у него есть шанс.

План этот обладал достоинством простоты. Он требовал только целеустремленности, а этого было навалом. Кроме того, неплохая причина отложить возвращение домой. Поэтому, прихватив с собой четвертьфунтовый бургер с жареной картошкой, банку колы и пару больших контейнеров кофе из «Макдоналдса», Ромеро направился на Олд-Пекос в густеющих сумерках. Поехал он на своей машине — пятилетнем джипе «чероки», поскольку нет смысла

привлекать внимание. Пост наблюдения он решил установить на автостоянке баптистской церкви, откуда открывался отличный вид на Олд-Пекос. Да, но ночью, когда его машина будет единственной на стоянке, это вызовет подозрения. А вот напротив церкви Олд-Пекос пересекается с Ист-Люпита-роуд. Тихий жилой район, и если поставить машину там, будут видны все проезжающие по Олд-Пекос. А сам он, наоборот, будет иметь нормальный вид в потоке проезжающих машин.

Да, это подходит. Фонари есть на Олд-Пекос, на Ист-Люпита их нет. Сидя в темноте и прожевывая бургер с картошкой, потребляя для бодрости кофеин в виде колы и кофе, он сосредоточился на освещенном гребне холма. Какое-то время фары проезжавших машин здорово мешали. Когда машина проезжала, Ромеро всматривался в интересующий участок дороги, но только успевали глаза привыкнуть, проезжали новые фары, и он опять всматривался, не выбросили ли чего из машины. Правая рука лежала на ключе зажигания — чтобы сразу повернуть ключ и врубить передачу, правая нога готова была нажать на газ. Для передышки он включал радио на пятнадцатиминутные промежутки, осторожно, чтобы не посадить аккумулятор. Теперь машины проезжали редко, следить за дорогой стало проще. Но после одиннадцати и передачи новостей, в которой главным событием был пожар в квартале магазинов Де Варгас, он понял недостаток своего плана. Кофеин. Напряжение от наблюдения за дорогой.

Ему нужно было в уборную.

Но он же там был, когда закупал еду.

Это было тогда. А с тех пор ты выпил два двойных кофе.

Ну, я же должен был, чтобы не заснуть...

Он поежился. Напряг мышцы живота. Можно было бы облегчиться в контейнер от напитка, но он их все смял и засунул в пакет, где были раньше бургер и картошка. Пузырь ныл. Фары ехали мимо. Обуви никто не выбрасывал. Ромеро повернул ключ зажигания, включил фары и погнал

к ближайшей общественной уборной на Сент-Майкл-Драйв у круглосуточной бензоколонки, поскольку почти все рестораны и закусочные закрывались в одиннадцать тридцать.

Когда он вернулся обратно, на дороге лежали два ковбойских сапога.

— Час ночи почти! Почему ты так поздно?

Ромеро рассказал жене насчет обуви.

— Обувь? Ты с ума сошел?!

— У тебя вообще ничего любопытства не вызывает?

— Вызывает. Сейчас мне очень любопытно, считаешь ли ты меня действительно такой дурой, чтобы я поверила, будто ты действительно приехал домой так поздно из-за пары найденных на дороге обносков. Любовницу себе завел?

— Вид у тебя неважный,— сказал сержант.

Ромеро безнадежно пожал плечами.

— Всю ночь где-то веселился?

— Если бы.

Сержант стал серьезным.

— Опять дома неприятности?

Ромеро чуть не рассказал ему все как было, но, вспомнив безразличие, которое проявил тогда сержант, понял, что особого сочувствия здесь не получит. Скорее наоборот.

— Да, опять.

В конце концов, надо признать, его поступки этой ночью были несколько странными. Тратить личное время на сидение в машине три часа в ожидании... чего? Если шутник хочет продолжать бросать ботинки на дорогу, так что? Пусть тратит на это свое время. Чего же я буду тратить свое, чтобы его поймать? Хватает настоящих преступлений, которые надо раскрывать. И что я ему предъявлю, если поймаю? Выброс мусора в неположенном месте?

Всю свою смену Ромеро предпринимал определенные усилия, чтобы не оказаться возле Олд-Пекос. Пару раз за длинный день, допрашивая свидетелей нападения, взлома, карманной кражи или скверной аварии на Пасео-де-Перальта, он бывал близок к тому, чтобы завернуть на Олд-Пекос по пути с происшествия на происшествие, но нарочно выбирал другой путь. Время менять привычки, сказал он себе. Время сосредоточиться на том, что в самом деле важно.

В конце смены его сморил недосып предыдущей ночи. С работы он ехал вымотанный. Надеясь на тихий домашний вечер, он ехал в плотном потоке сквозь пыль нескончаемого строительства на Герильос-роуд, доехал до федеральной дороги 25 и свернул на север. Закат подсветил горы Самгре-де-Кристо* кровью — когда-то за этот цвет они и получили название от первых испанских колонистов. «Через полчаса задеру ноги вверх и открою пиво»,— подумал Ромеро. Проехал развилку с Сент-Франсис-драйв. Знак подсказал ему, что следующий поворот — Олд-Пекос, через две мили. Он выбросил это из головы, продолжая любоваться закатом, представил себе предстоящее пиво и включил радио. Сводка погоды сообщила, что сегодня максимальная температура была семьдесят пять**, что обычно для середины мая, но наступает холодный фронт, и ночная температура упадет до сорока*** градусов с возможными заморозками в низинах. Диктор предложил укрыть все недавно приобретенные нежные растения. Обычно морозов не бывает после 15 мая, но...

Ромеро свернул на Олд-Пекос.

А какого черта, в самом деле? Просто посмотреть и удовлетворить собственное любопытство. Кому от этого вред? Въезжая на холм, он с удивлением заметил, что сердце у

---

* Кровь Христова (*исп.*).

** По Фаренгейту (примерно 24 по Цельсию).

*** Около 4 по Цельсию.

него колотится чуть быстрее. Он что, рассчитывает найти еще ботинки? Или его беспокоит, что он целый день болтался поблизости и не нашел времени проверить? Появился гребень холма, и у Ромеро сперло в груди дыхание. Он сделал глубокий вдох...

И медленно выдохнул, заметив, что на дороге ничего нет. Вот так, сказал он себе. Это стоило того, чтобы сделать крюк. Я доказал себе, что зря потратил бы время, если бы заехал сюда во время дежурства. Теперь можно ехать домой, и не будет грызть неутоленное любопытство.

Но дома, пока они с женой смотрели телевизор и ели жареных цыплят (сын был где-то с друзьями), Ромеро было неспокойно. Он никак не мог избавиться от мысли, что тот, кто выбрасывал ботинки, снова будет это делать. Так что же, этот паразит меня перехитрил? Тебя? Ты о чем? Он же понятия не имеет, кто ты такой. Ладно, тогда он думает, что перехитрил того, кто подбирал ботинки. Что в лоб, что по лбу.

Пиво, которое так предвкушал Ромеро, показалось ему водой.

Конечно же, на следующее утро, черт бы его взял, вдоль разделительной линии валялась пара кожаных женских туфель в пяти ярдах друг от друга. Хмурый Ромеро блокировал утреннее движение и сунул их в багажник к остальным. «Так где же этот хмырь берет всю эту обувь? — спросил себя Ромеро.— Туфли почти новые. И мокасины, которые я подобрал, тоже. Кто же выбросит новую обувь, даже ради дурацкой шутки?»

В конце дня Ромеро позвонил жене и сказал:

— Сегодня задержусь на работе. У нас один человек по болезни не вышел на вечернюю смену, я его заменю.

Он подогнал кое-какую бумажную работу, потом съездил в ближайшую «Пицца-хат» и купил среднего размера «пепперони» с грибами и маслинами навынос. Еще взял большую колу и два больших кофе, но на этот раз, усвоив

прошлый урок, запасся галонной емкостью для облегчения. Кроме того, прихватил с собой транзистор с наушниками, чтобы слушать радио и не думать о подсаживании аккумулятора.

Уверенный, что ничего не забыл, он поехал к своему посту. В Санта-Фе тоже есть грунтовые дороги, и Ист-Люнита — одна из них. Окруженная кустами сумаха и оливковыми деревьями, она шла среди редких глинобитных домов, и движение на ней было очень слабое. Припарковавшись за углом, Ромеро видел напротив себя церковь, и колокольня напоминала ему миссию в индейской деревне. За Солнечной горой и грядой Аталайа закат горел тем же кровавым цветом, что и в прошлый раз.

Мимо неслись машины. Рассматривая их, Ромеро надел наушники и переключил приемник со служебной волны на вещание. Найдя передачу, где общались со слушателями (действительно ли угроза окружающей среде так велика, как шумят экологи?), он стал попивать колу, заедая пиццей, и следить за движением.

Через час после темноты он понял, что точно забыл очень важную вещь. Накануне передавали предупреждение о понижении ночной температуры, даже о возможных заморозках, и сейчас Ромеро чувствовал, как ползет холод вверх по ногам. Хорошо, что есть горячий кофе. Он обхватил себя руками, жалея, что не захватил куртку. Пар от дыхания оседал на ветровом стекле, и его приходилось протирать платком. Ромеро опустил окно, чтобы ветровое стекло не запотевало, но в машине стало еще холоднее, и он начал дрожать. Лунный свет, отраженный снегом на вершинах гор, особенно на лыжной трассе, создавал ощущение еще большего холода. Ромеро включил мотор и радиатор, чтобы согреться, и все это время не сводил глаз с проезжающих время от времени машин.

Одиннадцать часов, и ботинок пока нет. Он напомнил себе, что в позавчерашнюю ночь это случилось примерно

в это время, когда ему пришлось покинуть свой пост ради похода в уборную. Вернувшись через двадцать минут, он обнаружил ковбойские сапоги. Если тот, кто это делает, работает по системе, то есть шанс проверить это в ближайшие полчаса.

Сиди и терпи, велел он себе.

Но, как и две ночи назад, кола и кофе свое дело сделали. К счастью, он принял меры на этот случай заранее. Взяв пустой баллон, он поставил его под рулем, отвернул крышку и начал мочиться, но тут же ему пришлось прищуриться на свет приближающихся фар, отражавшихся в стекле заднего вида.

Мышцы мочевого пузыря напряглись, прервав струю. Хотя Ромеро был уверен, что водитель не разберет, что он делает, все же он быстро завернул крышку и поставил баллон на пол пассажирской стороны.

«Давай проезжай!» — мысленно подгонял он подъезжающую машину. Ему отчаянно хотелось продолжить свое дело, и он дождаться не мог, пока машина проедет, свернет на Олд-Пекос и скроется из виду.

Фары остановились у него за спиной.

Что еще за?..

Замигали огни на крыше, и Ромеро понял, что позади у него — полицейская машина. Отвлекаясь от неодолимой телесной потребности, он опустил боковое стекло и положил руки на руль, чтобы приближающийся полисмен успокоился, увидев их на виду.

Заскрипел гравий грунтовой дороги под сапогами. Слепящий свет фонаря ударил в машину Ромеро, осветив пустую коробку из-под пиццы, задержавшись на желтой жидкости в пластиковом баллоне.

— Могу я взглянуть на ваши права и регистрацию, сэр?

Ромеро узнал голос.

— Все путем, Тони. Это я.

— Кто я?.. Гейб?

Луч фонаря ударил в лицо Ромеро.

— *Гейб?*

— Единственный и неповторимый.

— Какого дьявола ты тут делаешь? К нам поступили несколько жалоб, что сидит тут в машине какой-то подозрительный тип, будто приглядывается к окрестным домам.

— Это всего лишь я.

— И в позапрошлую ночь тоже ты был?

— Ага.

— Тогда нам тоже жаловались, но когда мы приехали, той машины уже не было. Чего это ты делаешь?

Стараясь не кривиться от давления в животе, Ромеро ответил:

— Веду наблюдение.

— Мне никто ничего ни про какое наблюдение не говорил. Что это все...

Понимая, как долго придется объяснять странно звучащую правду, Ромеро сказал:

— Тут были попытки вломиться в эту церковь. Я смотрю, не попробует ли кто-нибудь еще раз.

— Ну и задание! Сидеть тут всю ночь — это же уссаться просто!

— Ты не представляешь себе, как ты прав.

— Ладно, я поехал, пока тебя не засветил. Удачной охоты.

— Спасибо.

— А в следующий раз скажи начальнику смены, чтобы нас предупредил и мы не лезли демаскировать.

— Скажу обязательно.

Полисмен сел в свой джип, отключил мигалку, объехал машину Ромеро, помахал рукой и вырулил на Олд-Пекос. Ромеро тут же схватил свой баллон и облегчался не меньше полутора минут. Когда он, закончив, откинулся со вздохом на спинку, ощущение покоя продолжалось лишь до тех пор, пока он не глянул снова на Олд-Пекос.

Ругаясь последними словами, он выскочил и бросился на дорогу к паре мужских ботинок — на этот раз «Рокпортов» — лежащих со связанными шнурками посреди дороги.

— Ты сказал Тони Ортега, что тебе приказали вести наблюдение за баптистской церковью? — с нажимом спросил сержант.

Ромеро неохотно кивнул.

— Что это еще за фигня? Тебя никто ни на какое наблюдение не ставил. Сидишь там ночью в машине, действуешь подозрительно... ну, если у тебя нет на то серьезной причины, пеняй на себя!

У Ромеро не осталось выбора.

— Ботинки.

— Чего?

— Ботинки, которые я все время нахожу на Олд-Пекос.

Сержант выслушал объяснение, вытаращив глаза.

— Тебе мало служебного времени? Ты еще бесплатно проработал две ночи ради такой дурости, что...

— Ну, я понимаю, что это слегка необычно...

— *Слегка?*

— Тот, кто бросает эти ботинки, играет в какую-то игру.

— А ты хочешь составить ему компанию.

— Это как?

— Он бросает ботинки, ты их подбираешь. Он опять бросает. Ты снова подбираешь. Играешь в его игру.

— Да нет, это не так...

— А как? В общем, слушай. Хватит тебе болтаться возле той улицы. Кто-нибудь тебя подстрелит как бродягу и будет прав.

В конце смены возле шкафчика Ромеро была свалена груда старой обуви. Из столовой донеслось ржание.

— Я полицейский Ромеро, мэм; боюсь, вы нервничали из-за меня прошлую ночь и еще две ночи до того. Это я сидел в машине и наблюдал за церковью на той стороне улицы. Нам поступили сведения, что туда кто-то собирается вломиться. Кажется, вы *меня* приняли за взломщика. Я только хотел заверить вас, что моя припаркованная там машина никому в вашей округе не угрожает.

— Я полицейский Ромеро, сэр; боюсь, вы нервничали из-за меня прошлую ночь и еще две ночи до того.

На этот раз у него было все под контролем. Все, больше ни колы, ни кофе, хотя пластиковый баллон он прихватил на всякий случай. И куртку взял с собой, хотя опасность заморозков миновала наконец и ночи стали теплее. И поел он заранее плотнее, умяв *буррито гранде кон полло* от «Фелипе» — лучшего ресторана с мексиканской едой навынос во всем городе. Сидя в машине, Ромеро слушал по полицейскому приемнику все ту же передачу со звонками от слушателей. Они все никак не слезали с экологических тем.

— Когда я был пацаном, я плавал в речке. И ел рыбу, которую ловил. Сейчас для этого надо быть психом.

Недавно стемнело. Проносились фары машин. Ботинок не было. Нет ботинок — нет проблемы. Ромеро приготовился проявить терпение. Вошел в ритм ожидания. Вряд ли что-нибудь случится до обычного времени — до одиннадцати. Наушники приемника давили виски. Ромеро снял их и стал регулировать, и тут пара фар пронеслась мимо, направляясь направо, из города. Одновременно еще одна пара фар пронеслась им навстречу, в город. У Ромеро было опущено стекло, и сквозь шум моторов донесся четко различимый стук чего-то о землю, и за ним сразу второй. Машины уехали, а Ромеро, разинув рот, смотрел на два стоящих на дороге туристских ботинка.

Ни фига себе...

Шевелись!

Он повернул ключ зажигания и рванул рычаг передач. Не переводя дыхания, бросил машину вперед, разбрасывая задними колесами гравий и грунт, но, выезжая на Олд-Пекос, должен был моментально решить ключевой вопрос. Какой водитель бросил ботинки? Какая машина? Правая или левая?

За городом у него нет власти. Тогда левая! Шины взвизгнули по бетону, и Ромеро рванулся за уходящими хвостовыми огнями. Дорога уходила вниз и потом поднималась к светофору у Кордовы, где сейчас горел красный, и Ромеро надеялся, что он таким и останется, но пока он догонял машину — теперь было видно, что это пикап,— светофор мигнул зеленым и пикап проехал перекресток.

Блин!

У Ромеро был с собой аварийный сигнал. Имеющий форму купола, он был погружен в прикуриватель. Ромеро выставил его в окно и забросил на крышу, где он прилип магнитной подставкой. Включив сигнал — он замигал красным,— Ромеро дал газу. Пересек перекресток, превышая скорость, рванулся за пикапом, дал звуковой сигнал и кивнул, когда пикап сбросил скорость, сворачивая к обочине.

Ромеро был не в мундире, но на поясе у него висела в кобуре девятимиллиметровая «беретта». Он еще проверил, что табличка прицеплена к карману джинсовой куртки. Наведя фонарь на груз камней в багажнике пикапа, он осторожно приблизился к водителю.

— Ваши права и регистрацию, пожалуйста.

— А в чем дело, офицер?

Водитель был англосакс, молодой, лет двадцати трех. Тощий. Короткие светло-русые волосы. Одет в красно-коричневую клетчатую ковбойку. Даже сидя кажется высоким.

— Вы очень быстро ехали на перевале перед церковью.

Молодой человек оглянулся, будто напоминая сам себе, что только что проехал холм.

— Права и регистрацию,— повторил Ромеро.

— Уверен, что не превышал разрешенной скорости,— заявил водитель.— Там же сорок?

Он подал в окно свои права и извлек регистрационный талон из-за солнцезащитного щитка.

Ромеро прочел имя.

— Люк Парсонс.

— Да, сэр.

Пронзительный голос, но с вежливой мягкостью.

— Почтовое отделение двадцать пять Диллон, Нью-Мексико?

— Да, сэр. Это примерно пятьдесят миль к северу. Мимо Эспаньолы и Эмбудо и...

— Я знаю, где находится Диллон. Что привело вас сюда?

— Продаю замшелые камни в киоски на обочинах федеральной дороги.

Ромеро кивнул. В этой местности камни, сложенные в пикапе, ценились и использовались в оформлении ландшафта — похожий на лишайник мох приобретал после дождя приятные приглушенные цвета. Кое-как сводящие концы с концами продавцы собирали их в горах и продавали вместе со скворечниками, самодельными потолочными балками, дровами и овощами по сезону на полянах вдоль сельских дорог, параллельных федеральной.

— Чертовски далеко от Диллона для продажи замшелых камней.

— Приходится ездить туда, где покупатели. А вообще в чем все-таки де...

— Вы торгуете и после сумерек?

— Жду до сумерек на случай, если люди, выезжающие от «Придорожного Гарри» или стейкхауса чуть подальше, захотят что-нибудь купить. Потом еду к «Гарри» поесть. У него прекрасные печеные овощи.

Ромеро ожидал не такого разговора. Он-то думал, что водитель будет напряжен, потому что проиграл игру. Но вежливость этого юноши обезоруживала.

— Я хотел сказать насчет тех ботинок, что вы бросаете из машины. За это штраф такой, что мало не пока...

— Ботинок?

— Вы это делаете уже несколько дней. Я хочу знать, почему...

— Офицер, я, честно говоря, абсолютно не понимаю, о чем вы говорите.

— О ботинках, которые вы бросаете на дорогу.

— Поверьте мне, я не знаю, что вы видели, но это был не я. Зачем мне бросать ботинки на дорогу?

Синие глаза смотрели прямо, и их невинный вид обезоруживал.

«Черт побери,— подумал Ромеро.— Не за той машиной поехал».

И внутренне вздохнул.

— Извините, что побеспокоил.

— Ничего страшного, офицер. Я понимаю, это ваша работа.

— Собираетесь сегодня проехать весь путь до Диллона?

— Да, сэр.

— Да, я уже говорил. Далекий путь для продажи замшелых камней.

— Что ж, все мы делаем то, что должны делать.

— Это точно,— ответил Ромеро.— Что ж, счастливого пути. Езжайте аккуратно.

— Я только так и езжу, офицер. Счастливо оставаться.

— Счастливой дороги.

Ромеро поехал обратно по гребню холма, подобрал ботинки и сунул их в багажник. Примерно в это время, без чего-то десять, погиб его сын.

Место аварии он проехал по дороге домой в Пекос. Мигалки, силуэты двух машин «скорой помощи» и три полицейских автомобиля на противоположной стороне федеральной дороги. Он поморщился, увидев искореженные обломки двух машин, и не мог удержаться от мысли: «Бедняги. Помоги им Бог». Но Бог не помог, и когда Ромеро

уже был дома, медэксперт показывал полиции штата бумажник, который взял с изувеченного трупа, предположительно молодого испанца.

Ромеро с женой ссорились из-за его позднего приезда, когда зазвонил телефон.

— Сам возьми! — заорала жена.— Твоя любовница, наверное!

— Я тебе еще раз говорю, нет у меня никакой...— Телефон зазвонил снова.— Да!

— Гейб? Это Рей Беккер из полиции штата. Ты сядь, ладно?

Ромеро слушал, и в животе у него рос холодный ком. Такого оцепенения у него никогда еще не было, даже когда ему рассказали о гибели родителей.

Жена увидела его лицо.

— *Что случилось?*

Он сумел справиться с дрожью и оцепенением настолько, чтобы ей сказать. Она закричала. И кричала, пока не упала в обморок.

Через две недели, после похорон, когда жена Ромеро уехала погостить к сестре в Денвер, когда Ромеро попытался выйти на работу (сержант пытался отсоветовать, но Ромеро знал, что с ума сойдет, если будет сидеть дома), диспетчер послал его на вызов, на который надо было проехать мимо баптистской церкви на Олд-Пекос. Мелькнула горькая мысль, как он был тогда поглощен той ерундой на этом самом месте совсем недавно. Чем болтаться тут и ломать себе голову над этими дурацкими ботинками, надо было побольше быть дома и уделять внимание сыну. Может, тогда не случилось бы того, что случилось.

Ботинок на дороге не было.

На следующий день и на следующий ботинок на дороге тоже не было.

Жена Ромеро так и не вернулась из Денвера.

— Тебе надо больше выходить,— сказал ему сержант.

Это было через три месяца, в субботу днем, в августе. В порядке подготовки к будущему соглашению о разводе и в попытке заглушить воспоминания Ромеро продал дом в Пекосе. На свою долю он переехал в Санта-Фе и рискнул купить в рассрочку скромный дом в районе Эльдорадо. Не помогло. Все равно на плечах лежал свинцовый груз.

— Надеюсь, ты не насчет свиданий с дамами.

— Я только сказал, что нельзя сидеть все время в доме, как в норе. Надо выбраться и как-то отвлечься. Если подумать, тебе надо и лучше питаться. Ты только посмотри, что за дерьмо у тебя в холодильнике. Прокисшее молоко, пакет с пивными банками и объедки от цыплят.

— Мне редко хочется есть.

— При таком холодильнике — еще бы!

— Не люблю сам себе готовить.

— Неужели так трудно хотя бы сделать салат? Вот что я тебе скажу. По выходным мы с Марией ездим на рынок — на Фармерз-маркет. Завтра поедешь с нами. Там овощи — свежее не бывает. Может, если у тебя в холодильнике будет приличная еда, ты...

— То, что у меня не в порядке, Фармерз-маркет не вылечит.

— Слушай, я из кожи вон лезу, пытаясь по-дружески помочь тебе. Ты мог бы хотя бы чуток пойти навстречу.

Фармерз-маркет был возле старого вокзала, за рельсовыми путями, на открытом месте, недавно приобретенном городом. Фермеры приезжали на нагруженных пикапах и вставали на отведенных им местах. Некоторые устанавливали столы и натягивали тенты. Другие торговали прямо с машин. Пробовать можно было все — от пирогов до музыки: в углу играл самодеятельный оркестр. В толпе ходил человек, одетый клоуном.

— Смотри, не так все плохо,— сказал сержант.

Ромеро апатично прошелся вдоль рядов: сидр, лекарственные травы, выращенные на воле цыплята и подсолнухи. Про себя он отстраненно признал: да, неплохо. Все годы, что он служил в полиции, он ни разу здесь не был — еще одно свидетельство, как он дал своей жизни пройти мимо. Но это сожаление вызвало в нем не желание учиться на ошибках, а лишь еще более сильную подавленность.

— Как вам эти пирожки? — спросила жена сержанта.— Их можно держать в морозильнике и разогревать, когда хочется. В порции их всего один или два, так что не будут оставаться лишние.

— Конечно,— ответил Ромеро. Ему было все равно.— Почему бы и нет?

Глаза его рассеянно скользили по толпе.

— Какие?

— Простите?

— Какие вам? С персиками или с пеканом?

— Без разницы. Выберите за меня.

Взгляд его упал на киоск, где продавались иконы из кукурузных листьев и волос, выложенные по резному дереву: Мадонны, младенцы в яслях, кресты. Искусно выложенные образы были покрашены и отлакированы. Традиционное испанское народное искусство, но внимание Ромеро привлекли не сами иконы, как бы хороши они ни были, а то, что продавал их не испанец, а молодой англосакс, будто он сам их и сделал.

— И яблочный пирог тоже хорош на вид,— сказала жена сержанта.

— И отлично.— Разглядывая высокого, худощавого продавца икон с короткими светло-русыми волосами, Ромеро добавил: — Я этого парня откуда-то знаю.

— Что? — спросила жена сержанта.

— Ничего. Я сейчас вернусь и возьму пирожки.

Ромеро протолкался через толпу. Светлые волосы юноши были подстрижены очень коротко. На худом лице выдавались скулы, отчего вид у парня был такой, будто он по-

стится. И тот же одухотворенный вид, что и на иконах, которые он продавал. Это не был болезненный вид — напротив. Загорелая кожа лучилась здоровьем.

И голос его тоже казался знакомым. Подходя, Ромеро услышал пронзительно-мягкий голос, которым молодой человек объяснял покупательнице, сколько труда и тщания требует изготовление икон.

Ромеро подождал, пока покупательница ушла со своей покупкой.

— Вам, сэр?

— Я вас откуда-то знаю, только никак не могу вспомнить.

— Я бы хотел вам помочь, но, мне кажется, мы не знакомы.

Ромеро заметил осколок хрусталя, который висел на шерстяной нити на шее молодого человека. В нем был намек на светлую голубизну, будто он взял часть синевы из глаз своего хозяина.

— Наверное, вы правы. Просто вы показались мне так ужасно...

Его отвлекло движение справа — молодой человек принес из пикапа большую корзину помидоров и устанавливал ее рядом с корзинами огурцов, перцев, моркови и других овощей на соседнем столе.

Но отвлекло его не только движение. Этот молодой человек был высок и худ, с короткими светло-русыми волосами и худощавым одухотворенным лицом. Прозрачные голубые глаза, казалось, поделились своим цветом с кусочком хрусталя, висящим на шее. Одет он был в линялые джинсы и белую футболку, как и тот, с кем говорил Ромеро. Белизна футболки подчеркивала цветущий загар.

— Да, вы правы,— сказал Ромеро первому.— Мы не знакомы. Это вашего брата я видел.

Вновь подошедший был озадачен.

— Это ведь так? — спросил Ромеро.— Вы братья? Вот почему я спутал. Но не могу вспомнить где...

— Люк Парсонс,— протянул руку второй подошедший.

— Гейб Ромеро.

Рука молодого человек была жилистой, рукопожатие крепким.

Ромеро понадобилась вся самодисциплина и тренировка, чтобы не выдать своей реакции. Мысли завертелись. Люк Парсонс? Господи, да это же человек, с которым он говорил в тот вечер, когда погиб сын и жизнь развалилась начисто. Чтобы отвлечься от воспоминаний, он пришел сюда, на рынок, и тут встретил человека, напомнившего то, что так отчаянно он пытался забыть.

— А это мой брат Марк.

— Здравствуйте.

— Простите, вам плохо?

— А что? Почему вы...

— Вы вдруг сильно побледнели.

— Это ерунда. Я просто последнее время плохо питался.

— Тогда вам стоит попробовать вот это.

Люк Парсонс показал на бутылочку с коричневой жидкостью.

— А что это? — прищурился Ромеро.

— Эхинацея, выращенная в домашних условиях. Если у вас простуда, эта штука поможет. Стимулирует иммунную систему.

— Спасибо, но...

— Когда вы почувствуете, как это вам помогло...

— Вы ее представляете, как лекарство.

— Лекарство от Бога. Ничего искусственного. Если она не улучшит ваше самочувствие, мы вернем вам деньги.

— Вот ты где! — сказал сержант.— Я тебя уже обыскался.— Он заметил бутылочку в руках Ромеро.— *Это* еще что?

— Как-то это называется... выращенная в домашних условиях...— Он не мог вспомнить.

— Эхинацея,— подсказал Люк Парсонс.

— Конечно,— сказала жена сержанта.— Я ею лечу семью от простуды. Стимулирует иммунную систему. Как рукой снимает. Боже мой, какие чудесные помидоры!

Она стала покупать, а Люк сказал Ромеро:

— Если у вас нет аппетита, это может значить, что организму нужда детоксикация. Для этого хороши обыкновенная капуста, цветная капуста и брокколи. Только органика. Никакие химикаты с ними никогда и рядом не лежали. А еще можете попробовать вот это.

Он подал Ромеро бутылочку белой жидкости.

— Молочный чертополох,— сказала жена сержанта.— Очищает печень.

— Откуда ты все это знаешь? — удивился сержант.

— Роза на нашей улице интересуется траволечением,— ответила жена сержанта, когда они втроем переходили рельсы, неся мешки с овощами.— Здесь в Санта-Фе мировая столица альтернативной медицины и религий Новой Эры. Что не можешь победить — присоединись.

— Да, вот этот хрусталь у каждого на шее. Они точно из Новой Эры,— сказал Ромеро.— Вы заметили, что у них ремни из пеньки? Ничего кожаного. Ничего животного происхождения.

— Эти ребята не едят жареных цыплят или бургеров навынос.— Сержант бросил многозначительный взгляд на Ромеро.— И здоровы, как никто из нас.

— Ладно, я понял.

— Ты только все же съешь эту зелень.

Самое странное было то, что ему действительно стало лучше. По крайней мере физически. На душе все равно было чернее полночи, но, как говорила одна из прочитанных им книг насчет помощи самому себе: «Один из способов вылечить себя — передача от тела к душе». У эхинацеи (десять капель на стакан воды, как советовал приложен-

ный листок) был горький вкус. У молочного чертополоха — еще хуже. Салаты его не насыщали. Все равно тянуло к пицце. Но надо было признать, что овощи с Фармерз-маркет были лучше, чем ему приходилось видеть. Что неудивительно. Раньше он ел овощи только из супермаркета, которые хранились там бог знает сколько, и это не считая еще времени на перевозку в грузовике. Их наверняка снимали до созревания, чтобы не сгнили по дороге в магазин, и еще вопрос, сколько их поливали пестицидами и гербицидами. Он вспомнил радиопередачу, где обсуждали насчет содержания ядов в еде. Вообще эта программа занималась проблемами окружающей среды...

Ромеро вздрогнул.

Именно ее слушал он в тот вечер в машине, когда ждал, чтобы кто-то бросил ботинки и когда погиб его сын.

Да хрен с ним! Если мне так от этого плохо, буду хотя бы есть, что хочу.

Пятнадцать минут всего понадобилось, чтобы выехать из Эльдорадо и купить приличный пакет ребрышек, жареной картошки, салата из сырой капусты с луком и от души кетчупа. Еще пятнадцать минут — и он уже сидит дома, смотрит по телевизору детектив, попивая пиво и грызя ребрышки.

Еще до десятичасовых новостей его стошнило.

— Честное слово, я держу диету. Слушай, не надо на меня так смотреть. Признаю, пару раз я ее нарушил, но это меня научило как следует. Никогда в жизни более здоровой пищи не ел.

— Пятнадцать фунтов. В этом клубе здоровья вес просто сжигается.

— Привет, Марк!

Высокий худой русоволосый юноша за овощным прилавком посмотрел на него недоуменно.

— Что случилось? — спросил Ромеро.— Я уже шесть недель прихожу сюда по субботам. Чего же ты меня теперь не узнаешь?

— Вы меня спутали с моим братом.— У парня были голубые глаза, и цвет их отзывался цветом висящего у него на шее осколка хрусталя. Джинсы, белая футболка, сияющий загар — и тонкое, одухотворенное лицо святого.

— Ну, я знаю, что вы не Люк. Его бы я узнал наверняка.

— Меня зовут Джон,— последовал ответ официальным тоном.

— Очень приятно. Я Гейб Ромеро. Мне никто не говорил, что вас *три* брата.

— На самом деле...

— Минутку, дайте-ка я догадаюсь. Если есть Марк, Люк и Джон, то должен быть и Мэтью?* Так? Ручаюсь, вас четверо.

Губы Джона слегка раздвинулись, будто улыбаться ему было непривычно.

— Угадали.

— Это было нетрудно. Делать выводы — моя работа,— пошутил Ромеро.

— Вот как? Что же это за...— Джон выпрямился, и голубые глаза его стали холодны, как звезды,— он смотрел на пробирающегося сквозь толпу Люка.— Тебе было сказано не отходить от прилавка.

— Извини, мне нужно было в туалет.

— Надо было зайти до начала работы.

— Я так и поступил, но я же ничего не мог...

— Верно. Ты ничего не мог сделать полезного, пока тебя здесь не было. У нас баклажаны кончаются. Принеси еще корзину.

— Извини, больше не повторится. Сейчас принесу.

---

* Марк, Люк и Джон и Мэтью — английское произношение имен евангелистов Марка, Луки, Иоанна и Матфея.

Люк смущенно глянул на Ромеро, потом опять на брата и отправился за баклажанами.

— Вы собираетесь что-нибудь купить? — спросил Джон.

«Ты не слишком завоевываешь друзей и влияешь на людей»,— подумал Ромеро.

— Да, я бы хотел пару этих баклажанов. А вообще с этим прогнозом ранних морозов это будут последние помидоры и перцы, нет?

Джон только смотрел и ничего не говорил.

— Так что я лучше куплю в запас,— сказал Ромеро.

Он надеялся, что с течением времени оцепенение отпустит, но каждая новая дата только была напоминанием. Рождество, Новый год. Пасха, и слишком сразу после этого — середина мая. Странно, но у него никогда не ассоциировалась гибель сына и та авария на федеральной дороге. Эмоциональная связь была с тем участком дороги на гребне холма возле баптистской церкви. Он легко признавал, что это чистый мазохизм заставляет его ездить туда все чаще по мере приближения годовщины смерти. Он был настолько одержим, что на миг даже убедил себя, будто просто оживляет сцену в своем сознании, что у него галлюцинации, когда впервые почти за год снова увидел на дороге пару ботинок.

Туристских ботинок до лодыжек, цвета ржавчины. Это было так внезапно, что он затормозил, не в силах оторвать глаз. То, что он увидел, заставило его резко дать по тормозам, почти не слыша визга шин идущей сзади машины, которая чуть не врезалась в джип. Весь дрожа, он выскочил, пригнулся, вгляделся еще пристальнее и бросился к рации.

В ботинках были ноги.

С воем прилетела полицейская машина, полисмены направили движение в объезд по обочине. Ромеро стоял со своим сержантом, начальником полиции и судмедэксперт-

том, глядя, как делают свою работу ребята из криминалистической лаборатории. Его джип стоял там, где он его оставил, рядом с ботинками.

— Точнее скажу после лабораторного заключения,— говорил судмедэксперт,— но по гладкой поверхности среза я полагаю, что ноги были отделены чем-то вроде мощной электро- или бензопилы.

Ромеро закусил губу.

— Что-нибудь еще можете прямо сейчас сказать? — спросил начальник полиции.

— На дорожном покрытии нет крови, а это значит, что кровь на ботинках и на ногах уже высохла, когда их здесь выбросили. Изменение цвета тканей тела свидетельствует, что от момента преступления до избавления от улики прошло не меньше двадцати четырех часов.

— Кто-нибудь еще что-нибудь заметил?

— Размер ботинок,— сказал Ромеро.

Все посмотрели на него.

— У меня размер десятый. Эти, похоже, седьмого или восьмого. Я предполагаю, что жертвой была женщина.

Те же полисмены, что бросили когда-то кучу старой обуви возле шкафчика Ромеро, теперь хвалили его за чутье. Хотя он и выбросил давно все ботинки, скопившиеся в багажнике его патрульной и своей машины, никто его за это не ругал. В конце концов, столько прошло времени и кто мог знать, что эти ботинки будут настолько важны? Все же он помнил, что это была за обувь, и помнил, что стал ее замечать почти год назад, где-то около пятнадцатого мая.

Но никаких гарантий, что год назад ботинки бросало то же лицо, что выбросило сейчас отрезанные ноги. Все, что могла сделать следственная группа,— работать с тем немногим, что было на руках. Как и подозревал Ромеро, патологоанатом окончательно подтвердил, что жертва была женского пола. Преступник — турист, который приезжает в Санте-Фе каждый год в мае? Если да, не совершало

ли это лицо аналогичных преступлений в других местах? Справки из ФБР подтвердили, что многочисленные убийства с ампутациями совершаются каждый год по всем Соединенным Штатам, но ни одно из них по почерку не совпадает с данным. А как сообщения об исчезновениях? По штату Нью-Мексико проверили и отвергли все, но поиск ширился, и выяснилось: в Штатах каждый месяц исчезает столько тысяч людей, что следственной группе только сниться может нужное количество работников, чтобы их проверить.

Тем временем Ромеро был включен в группу наблюдения за дорогой Олд-Пекос. Каждую ночь он с прибором ночного видения наблюдал с крыши баптистской церкви. В конце концов, убийца держался своей системы, он будет еще выбрасывать ботинки, и быть может, не дай бог, в них тоже будут отрезанные ноги. Если Ромеро заметит что-то подозрительное, он только и должен будет прочесть номера машины и по рации предупредить спрятанную у дороги полицейскую машину. Но ночь проходила за ночью, и сообщать было нечего.

Неделей позже был найден красный «сатурн» с нью-гемпширскими номерами, брошенный возле пересохшего ручья к юго-западу от Альбукерка. Машина была зарегистрирована на имя тридцатилетней женщины по имени Сьюзен Кроувелл, выехавшей со своим женихом в автомобильную поездку тремя неделями раньше. За последние восемь дней ни она, ни ее жених не контактировали с друзьями или родственниками.

На смену маю пришел июнь, потом июль. Завтрак с блинчиками по случаю Четвертого Июля на исторической площади прошел с обычным успехом. Через три недели на том же месте открылся испанский рынок, местные художники выставили свои картины, иконы и деревянные скульптуры. Наплыв туристов был меньше, сенсационные публикации об отрезанных ногах кое-кого отпугнули. Но

через месяц имел место точно такой же, только больше по размеру, индейский рынок, и воспоминания явно уже стерлись, поскольку на площадь собрались обычные тридцать тысяч туристов — полюбоваться ювелирными и гончарными изделиями коренных американцев.

Ромеро во время этих событий был на дежурстве, следя, чтобы соблюдался должный порядок. Но какие бы ни давали ему задания, мысли его всегда возвращались к Олд-Пекос. Иногда по ночам он не мог туда не приезжать. Тогда он выезжал на Ист-Люпита, смотрел на свет фар проезжающих по Олд-Пекос машин и размышлял. Ничего он не ожидал теперь, когда уже приближалась осень, но это место помогало ему сосредоточиться, собраться с мыслями и каким-то странным образом создавало ощущение близости к сыну. Иногда церковь на той стороне улицы заставляла его обращаться к молитве.

Однажды мимо него проехал знакомый пикап, нагруженный замшелыми камнями. Ромеро помнил его по той ночи, когда погиб сын, и по многим субботним дням, когда из него выгружали корзины с овощами на рынке Фармерз-маркет. Он никогда не переставал ассоциировать его с теми ботинками. Да, все это время он был уверен, что остановил не ту машину. Не было никакой причины бросаться в подозрения, что Люк Парсонс имеет хоть какое-то отношение к убийству Сьюзен Кроувелл и ее жениха. Он, конечно, все равно рассказал следственной группе о той ночи в прошлом году, и они проверили Люка Парсонса со всей возможной тщательностью. Он и трое братьев жили со своим отцом на ферме в долине Рио-Гранде к северу от Диллона. Были они трудягами, жили сами по себе и ни в какие неприятности не лезли.

У Ромеро не было причин останавливать проезжающую машину, но это не значило, что он не может за ней следовать. Он выехал на Олд-Пекос и поехал следом, не выпуская хвостовых огней машины из виду по дороге в город.

Она свернула у капитолия штата и поехала по Пасео-де-Перальта до заправки на другом конце города.

Ромеро выбрал колонку рядом с пикапом, вышел из джипа и притворился удивленным, увидев своего соседа.

— Привет, Люк, я Гейб Ромеро. Как жизнь?

Тут он и в самом деле удивился, поняв свою ошибку. Это был не Люк.

— Джон? Я вас не узнал.

Высокий, худой, русоволосый молодой человек смерил его взглядом. Посмотрел на кобуру с пистолетом на поясе Ромеро. На рынке Фармерз-маркет он всегда был без нее.

— Я не знал, что вы служите в полиции.

— А какая разница?

— Никакой, если не считать, что мои овощи в безопасности, когда вы рядом.

Суровые черты лица Джона уничтожили весь юмор его шутки.

— И ваши замшелые камни тоже.— Ромеро указал на кузов пикапа.— Продавали их на проселке возле федеральной дороги? Обычно это работа Люка.

— У него сейчас есть другая работа.

— Да, теперь, когда вы сказали, я вспоминаю, что не видел его последнее время на рынке.

— Извините, у меня был трудный день и мне еще далеко ехать.

— Да, конечно. Не хотел вас задерживать.

Люк не появился на рынке Фармерз-Маркет ни в эту субботу, ни в следующую.

Конец октября. Ночью был убийственный мороз, а утром в горах лежал снег. Поскольку Фармерз-маркет в этом году уже закрылся и суббота у Ромеро оказалась свободной, почему бы не поехать покататься?

При ярком, холодном и ясном солнце Ромеро выехал на хайвей 285. Он перевалил гребень холма возле модер-

нистского здания оперного театра Санта-Фе и спустился между утыканными сосной и можжевельником склонами в многоцветную пустыню, где овраги и столовые горы театральной декорацией уходили к снежным горам по обе стороны. «Неудивительно,— подумал он,— что Голливуд столько вестернов здесь наснимал». Он проехал казино «Верблюжий камень» и казино «Город золота», проехал вечное строительство развязки, которая вела на запад к Лос-Аламосу.

Но он не свернул к городу атомной бомбы, а поехал дальше на север, минуя Эспаньолу, и снова переменился ландшафт, холмы теснее сошлись к дороге — узкий хайвей пролегал между стенами долины Рио-Гранде. «СМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! ОБВАЛЫ» — гласил дорожный знак. «Вот именно, я и собираюсь смотреть внимательно»,— подумал он. Слева, частично заслоненная облетевшими деревьями, текла легендарная Рио-Гранде, неспешно наслаждаясь осенью, обтекая повороты, журча над камнями. На той стороне реки стояла Эмбудо, бывалая станция дилижансов. В ее исторических зданиях находились теперь мини-пивоварня и ресторан.

Он миновал ее, направляясь все так же к северу, и долина стала сужаться. По обе стороны дороги появились фермы и виноградники, занявшие ущелья, где отложился плодородный ил эпохи оледенения. Ромеро остановился в Диллоне, проверил, что пистолет не виден из-под застегнутой на молнию ветровки, и спросил в местном магазине, не знает ли кто-нибудь, где находится ферма Парсонсов.

Через пятнадцать минут ему объяснили дорогу. Но он не прямо поехал на ферму, а выехал на площадку обозрения и подождал, пока рядом не остановился патрульный автомобиль. Утром еще по дороге он позвонил по сотовому и связался с казармами полиции штата дальше к северу, в Таосе. Объяснив, кто он такой, он попросил диспетчера прислать на встречу с ним патрульную машину.

— Я не предвижу никаких осложнений,— сказал Ромеро мрачноватому полицейскому, стоя с ним возле машин и глядя, как бежит на дне пропасти Рио-Гранде.— Но на всякий случай.

— Так что же вы от меня хотите?

— Просто припаркуйтесь на обочине хайвея. Удостоверьтесь, что я вернулся с той фермы.

— Это вас ваш отдел сюда послал?

— Расследование по личной инициативе. Интуиция.

У полицейского выразилось на лице откровенное сомнение.

— Сколько вы там пробудете?

— Учитывая, насколько они недружелюбны, недолго. Минут пятнадцать. Мне просто нужно ощущение этого места.

— Если я получу вызов на происшествие на дороге...

— Вы должны будете поехать. Но я был бы очень благодарен, если вы вернетесь и проверите, что я нормально уехал. По дороге в Санта-Фе я заеду в магазин в Диллоне и оставлю весть, что все в порядке.

Сомнение на лице полицейского не исчезло.

— Я давно работаю над этим делом,— сказал Ромеро.— Очень вас прошу, я действительно буду благодарен за помощь.

Грунтовая дорога начиналась сразу за знаком: ТАОС, 20 МИЛЬ. Она вела влево от хайвея и уходила вниз по склону к плодородному дну долины. К северу и западу долину обрамляли высокие склоны. Черную, плодородную почву окружали ухоженные изгороди. Да, Парсонсы точно трудяги, надо отдать им должное. Холода только еще наступят, а поля уже убраны и все готово к весне.

Дорога уходила на запад к амбару и сараям, аккуратным, свежепокрашенным. Простой бревенчатый дом, тоже белый, с остроконечной металлической крышей, свер-

кающей под осенним солнцем. За домом река почти тридцати футов шириной и пешеходный мост, ведущий к облетевшим осинам и кустам, уходящим круто вверх.

Подъехав ближе, Ромеро увидел в амбаре движение: кто-то слезал с лестницы, ставя на землю банку с краской. Еще кто-то появился в открытых дверях. Третий вышел из дому. Они ждали перед домом, пока Ромеро подъедет и остановится.

Впервые он увидел трех братьев вместе, и их похожесть, светловолосая, худощавая, голубоглазая, поражала еще больше. Все они были в одинаковых джинсовых комбинезонах поверх одинаковых синих шерстяных рубашек.

Но Ромеро уже знал их достаточно, чтобы отличить одного от другого. Стоящий слева брат, лет девятнадцати — наверное, и есть тот, кого он еще не видел.

— Я так понимаю, что вы Мэтью.

Ромеро вышел из машины и направился к ним, протягивая руку.

Никто не протянул руку ему навстречу.

— Я не вижу Люка,— сказал Ромеро.

— Он занят,— ответил Джон. Черты его лица окаменели.

— Зачем вы приехали? — спросил Марк.

— Я ехал в Таос, а когда оказался поблизости, решил заехать и спросить, нет ли у вас овощей на продажу.

— Ваше присутствие нежелательно.

— Слушайте, что это за отношение? Я думал, что такого хорошего покупателя, как я, вы рады были бы видеть.

— Уезжайте.

— Неужели вы ничего не хотите продать?

— Мэтью, пойди в дом и принеси мне телефон. Я вызову полицию.

Юноша кивнул и повернулся к дому.

— Ну и ладно,— сказал Ромеро.— Я уезжаю.

Полицейский появился на хайвее, когда Ромеро отъезжал.

— Спасибо за поддержку.

— Ты меня лучше не благодари. Только что дали насчет тебя вызов. Не знаю, что ты там сделал, но ты их здорово достал. Диспетчер сказал, что, если ты появишься еще раз, они просят тебя арестовать за нарушение границы частного владения.

— ...прокурор города,— представил начальник полиции.

Рукопожатие более чем лишенное энтузиазма.

— А это мистер Дейли, поверенный мистера Парсонса,— сказал начальник полиции.

Еще более холодное рукопожатие.

— С мистером Парсонсом вы определенно знакомы.

Ромеро кивнул Джону.

— Я перейду прямо к делу,— начал Дейли.— Вы преследуете моего клиента, и он требует это прекратить.

— Преследую? Погодите-ка, я никого не...

— Задержание без причины транспортного средства, принадлежащего семье моего клиента. Запугивание моего клиента и его братьев в различных местах их работы. Физическое преследование моего клиента на дороге. Конфликты с ним в общественных местах. Вторжение в частное владение и отказ покинуть его, когда это было вам предложено. Вы лезете во все, что делает мой клиент, и он хочет, чтобы это прекратилось, иначе он подаст в суд на вас и на город. Присяжные не любят копов, работающих от себя и на себя.

— Работающих от себя и на себя? Послушайте, что вы имеете в виду?

— Я здесь не для того, чтобы это обсуждать.— Дейли встал, предложив жестом Джону сделать то же самое.— Мой клиент полностью в своем праве. У нас не полицейское государство. Вы лично, ваш департамент и город предупреждены. Еще один инцидент, и я собираю пресс-конфе-

ренцию, чтобы каждый потенциальный присяжный знал, почему мы подаем иск.

Бросив последний огненный взгляд, Дейли вышел из комнаты. Джон последовал за ним почти сразу, но не раньше, чем бросил на Ромеро презрительный взгляд, от которого у того лицо загорелось гневом.

В кабинете стало тихо.

Прокурор города прокашлялся.

— Думаю, мне не нужно вам говорить, чтобы вы держались подальше.

— Но я же ничего не сделал плохого!

— Вы за ним ехали? Являлись к нему домой? Просили поддержки полиции в Таосе, когда вторгались в чужие владения?

Ромеро отвел глаза.

— Вы находились вне своей юрисдикции и действовали полностью от своего имени.

— Эти братья как-то связаны с...

— Их проверили и нашли, что все чисто.

— Я не могу объяснить. Меня все время грызет такое чувство...

— У *меня* тоже есть своеобразное чувство,— сказал прокурор.— Оно подсказывает мне, что если вы не прекратите превышать власть, вы окажетесь на улице, не говоря уже о том, что и в суде тоже, где будете объяснять присяжным, почему преследуете братьев, которые будто сошли с плаката о пользе труда и семейных ценностей. Мэтью, Марк, Люк и Джон — Господи помилуй! Если бы это не выглядело как признание вины, я бы рекомендовал отстранить вас немедленно.

Ромеро стал получать самые гнусные задания. Если снежная буря обрывала провода на перекрестке и движение надо было регулировать вручную, он был на эту работу первым в списке. Любая работа снаружи в плохую погоду

предназначалась именно для него. Начальник полиции явно намекал ему, что неплохо бы уйти по собственному.

Но у Ромеро была секретная защита. Жар, который обжег лицо, когда Джон бросил на него уничтожающий взгляд, не прошел. Он остался, разлился, овладев его телом. Регулировать движение по колено в снегу в леденящий ветер при температуре около нуля?* Запросто. Гнев согревал его не хуже печи.

Джон Парсонс надменно решил, что победа за ним. Ромеро был намерен ему отплатить. Пятнадцатого мая. Примерно тогда появились впервые ботинки два года назад и отрезанные ноги в прошлом году. Начальник полиции намеревался понаблюдать за этим участком Олд-Пекос, но никто не верил, будто убийца будет настолько глуп, чтобы быть настолько предсказуемым. А Ромеро точно не собирался быть предсказуемым. Он не будет играть в игру Джона и рисковать своей работой, болтаясь возле Олд-Пекос, чтобы Джон проехал мимо и потом заявил, что его снова преследуют. Нет, Олд-Пекос его больше не интересует. Мля пятнадцатого дня он будет в другом месте.

Под Диллоном. В долине Рио-Гранде.

Планировал он это достаточно загодя. Прежде всего — объяснить свое отсутствие. Отпуск. Он его в прошлом году не брал. Сан-Франциско. Он там еще никогда не был. А город должен быть весной особенно красив. Начальник был доволен — наверное, думал, Ромеро хочет подыскать там работу.

Во-вторых, его объекты знают, на какой машине он ездит. И он поменял свой пятилетний зеленый джип на трехлетний синий «форд-эксплорер».

В-третьих, нужно снаряжение. Прибор ночного видения, в который он смотрел с крыши церкви на Олд-Пекос, так оживлял тьму, что он купил себе такой же в магазине,

---

* Около 18° по Цельсию.

где продавали списанное военное снаряжение. Потом пошел в магазин видеокамер и купил мощный объектив-насадку с увеличением для своей тридцатипятимиллиметровой. Запасы еды и воды на несколько дней. Одежда. Что-то, в чем все это нести. Туристские ботинки достаточно прочные, чтобы выдержать весь этот вес.

Его отпуск начался тринадцатого мая. Когда он последний раз был в Диллоне, осень успокоила Рио-Гранде, но весеннее таяние снегов расширило ее и углубило, покрыв пеной гнева. Белую воду окаймляли зеленые деревья и кусты, а туристы на плотах пролетали по клубящимся каналам, подпрыгивая на скрытых под водой камнях. Проезжая мимо въезда на ферму Парсонсов, он боялся, что кто-нибудь из братьев может случайно выехать и заметить его, но потом напомнил себе, что этой его машины они не знают. Он глядел на жирную черную землю слева, на далекие белые строения, на сверкающую металлическую крышу дома. На дальнем конце фермы бурная вода вздулась так высоко, что почти поглотила пешеходный мост.

Он остановился, оставив между собой и фермой еще пару миль. Площадка для отдыха слева под тополями выглядела вполне подходяще. Там стояло еще несколько машин, все пустые. Плотовики-туристы, решил он. К концу дня кто-нибудь приедет забрать машины. Среди приезжающих и уезжающих его машина может вполне остаться незамеченной. Чтобы никто не заинтересовался, чего это машина здесь стоит и не утонул ли владелец, он оставил на приборной доске записку: «Ушел побродить вдоль реки. Вернусь через пару дней».

Открыв дверь багажника, он надел тяжелый рюкзак, застегнул ремни, запер машину и пошел вниз по крутому склону, скрывшись в кустах. Несколько вечеров подряд он тренировался дома ходить с полным рюкзаком, но кирпичные дорожки мало подготовили его к неровной земле, где теперь нужно было с трудом пробираться,— камни,

дыры, бурелом, и каждый шаг, казалось, добавляет рюкзаку веса. И к тому же он тренировался прохладными вечерами, а теперь, в полдневную жару, когда была предсказана температура далеко за восемьдесят*, пот лил градом и одежда прилипала к телу.

Рюкзак весил шестьдесят фунтов. Без него он наверняка добрался бы до реки за десять минут. Сейчас этот путь занял двадцать. Не так уж плохо, решил Ромеро, слушая рев реки. Вынырнув из подлеска, он поразился, как высоко поднялась вода, как быстро течет река, как подавляет ее мощь. Течение было таким быстрым, что даже создавало ветерок, за который он был благодарен, когда поставил рюкзак и расправил затекшие плечи. Потом попил воды из фляжки. Холодная при выезде из дома вода стала противно теплой и приобрела металлический привкус.

Давай работай, напомнил он сам себе.

Добраться до машины без рюкзака много времени не заняло. Ромеро в спешке отпер машину, вытащил еще один мешок, запер машину снова и отнес второй мешок на берег на пять минут быстрее, чем первый. В мешке был резиновый плотик, и когда он был надут из баллона со сжатым воздухом, в нем хватило места для Ромеро и его рюкзака. Проверив, что последний надежно закреплен, Ромеро поглядел на бушующую воду, вдохнул, выдохнул и столкнул плот в реку.

Ледяная вода заплескалась вокруг. Если бы не ежедневная нагрузка на тренажерах, ему никогда бы не хватило силы грести так быстро и сильно то с одной, то с другой стороны, не давая плоту вертеться. Но река несла быстрее, чем он думал. Он уже был в середине, но как он ни старался, другой берег не приближался. Непонятно, чего он больше боялся — перевернуться или что не успеет добраться до берега раньше, чем река вынесет его к ферме. Господи, если они меня увидят...

---

* Около 27° по Цельсию.

Он заставил руки работать на полную мощь. Прищуриваясь, глядя сквозь брызги, он увидел, что река поворачивает влево. У дальнего берега течение было послабее. Лихорадочно работая веслом, он почувствовал, что плот несется на берег. Десять футов. Пять. Он собрался. Когда плот ударил в берег, Ромеро перевалился через передний бортик, рухнул на илистый берег, чуть не бухнулся в воду, устоял, и выволок плот на берег.

Рюкзак лежал в воде внутри плота. Ромеро быстро расстегнул державшие его ремни и вытащил на сушу. С дна рюкзака стекала вода. Ромеро только надеялся, что водонепроницаемые пакеты, в которые он упаковал еду, одежду и снаряжение, выполнили свое назначение. Видел его кто-нибудь? Он оглядел гребень склона сзади и берег впереди — кажется, никого. Он перевернул плот, вылил воду, затащил плот за кусты и спрятал. Потом положил в него несколько тяжелых камней, чтобы его не унесло ветром, вернулся и берегу и проверил, что плота не видно. Но медлить некогда. Он забросил рюкзак на плечи, превозмогая боль в мышцах, и отправился в путь.

Через три часа пути по тропе вдоль гребня, идущего параллельно реке, он закончил трудное, медленное, долгое восхождение. Поросль кустов была чахлой, камни скатывались под рифлеными подошвами ботинок. В пятнадцати ярдах от вершины он снял рюкзак и размял руки и плечи. С лица капал пот. Отпив из фляжки противной теплой воды, Ромеро припал к скалам и пополз вверх. Осторожно выглянул из-за края. Внизу виднелся белый амбар и сараи. Металлическая крыша дома блестела на солнце. Участки земли были покрыты всходами, из которых Ромеро с этого расстояния узнал только латук. Никого не было видно. Он нашел расселину, лег в нее и втащил за собой рюкзак. Два скальных выступа маскировали его голову, когда он выглядывал между ними. Река, поле, ферма, амбар, еще поля. Прекрасный наблюдательный пункт.

И все еще никого не видно. Наверное, кто-то из них в Санта-Фе. Пока ничего не происходит, самое время заняться обустройством. Он достал прибор ночного видения, камеру и объектив с увеличением. Водонепроницаемые пакеты сработали — снаряжение было сухим. Как и еда и спальный мешок. Промокли только запасные джинсы и рубашка, которые он как раз взял на случай, если понадобится переодеться в сухое. Их он разложил на солнце, еще раз глянул на ферму — все спокойно — и набросился на еду. Сыр, пшеничные крекеры, морковные ломтики и на десерт, от которого слюнки потекли,— сушеные абрикосы.

Пять часов. Один из братьев прошел из дома к амбару. Трудно сказать кто, но Ромеро решил, что через объектив камеры разглядел Марка.

Шесть тридцать. Подъехал кажущийся отсюда крошечным пикап. Он стал больше, когда Ромеро подкрутил увеличение, и он узнал вышедшего из машины Джона. Из амбара вышел Марк. Из дома вышел Мэтью. Джон выглядел чем-то недовольным. Марк что-то сказал, Мэтью молчал. Все вошли в дом.

Сердце Ромеро забилось сильнее от приятного сознания, что он наблюдает за своей дичью, а они его не видят. Но радость поутихла, когда сгустились сумерки, в доме зажегся свет и больше ничего не происходило. После заката резко похолодало. Изо рта пошел пар, Ромеро надел куртку и перчатки.

«Может, я просто зря время теряю»,— подумал он.

А вот и черта с два. Еще не пятнадцатое.

Температура продолжала падать. Ноги в джинсах замерзли, и он скользнул в приятное тепло спального мешка, пожевал еще сыра с крекерами и переключился с камеры на прибор ночного видения. Прибор осветил тьму, все стало зеленым. Огни в окнах лучились. Один из брать-

ев вышел из дому, но разрешение прибора было слишком грубым, и Ромеро не мог определить, кто это. Этот человек вошел в амбар и вернулся в дом через десять минут.

Один за другим погасли огни. Дом стал темным.

«Кажется, на время спектакль окончен»,— подумал Ромеро. Ему представилась возможность вылезти из мешка, спуститься по склону и облегчиться за кустом. Когда он вернулся, дом был так же тих и неподвижен, как и когда он уходил.

Он снова напомнил себе, что сегодняшний день не важен. Завтрашний, быть может, тоже. Но *после* него — пятнадцатое.

Проверив, что до пистолета и сотового телефона можно дотянуться рукой (все домашние удобства с собой), он поглубже влез в спальник и снова навел прибор ночного видения на ферму. Ничего.

Скоро от холода глаза стали тяжелеть.

Хлопнула дверь.

Рывком подняв голову, Ромеро заморгал на яркий утренний свет. Выскользнув из мешка, он поглядел вниз через объектив камеры. Из дома вышли Джон, Марк и Мэтью. Они прошагали к ближайшему полю, где рос латук. Зеленые ростки блестели отражением солнца на растаявшем инее. У Джона был тот же недовольный вид, что и накануне, и он что-то раздраженно говорил братьям. Марк что-то ответил. Мэтью промолчал.

Ромеро нахмурился. Слишком уже много раз не возникает Люк. Что с ним случилось? Настроив объектив, он смотрел, как все трое уходят в амбар. Ему не давал покоя еще один вопрос. Полицейский рапорт сообщал, что братья работают на своего отца и эта земля принадлежит ему. Но прошлой осенью, когда Ромеро приезжал на ферму, его там не было.

И вчера не было.

И сегодня утром.

Так где же его черти носят? Этот самый отец как-то замешан в истории с ботинками и...

А что, если отец и Люк не на ферме, потому что они где-то в другом месте и сейчас как раз...

Чем больше было вопросов, тем больше запутывались мысли.

Он напрягся, увидев отражение какого-то блеска на растаявшем инее возле двери амбара. Нахмурился сильнее, когда зайчик забегал, как живой. «О господи!» — стукнуло ему в голову, когда он понял, что это, и быстро убрал камеру с гребня. Он был на западном склоне, а солнце на востоке, и оно отражалось от объектива. Если зайчик показался, когда братья были снаружи...

Холодный воздух показался еще холоднее. Оставив камеру с насадкой под гребнем, он осторожно поднял голову и оглядел амбар. Через пять минут трое братьев вышли оттуда и принялись за работу. Наблюдая за ними, Ромеро открыл пластиковый пакет с шоколадом, пшеничными крекерами, изюмом и орехами, которые смешал дома, и стал жевать смесь, запивая водой. После ночного холода вода снова стала прохладной, но фляжка была почти пуста. У него было с собой еще две, и какое-то время он на них продержится. Но в конце концов придется спуститься к реке и наполнить фляжки через фильтр, а бактерий убьют йодные таблетки.

После полудня все братья были на одном поле, Мэтью пахал на тракторе, а Джон с Марком собирали камни, которые зима выдавила на поверхность, и относили их к пикапу.

«Я зря время теряю,— подумал Ромеро.— Они просто фермеры, и бог с ними».

А зачем тогда Джон добивался, чтобы меня уволили?

Он стиснул зубы. Теперь, когда солнце за спиной, можно снова использовать насадку. Он осмотрел ферму, при-

стально вглядываясь в братьев. Вечер был повторением предыдущего. К десяти дом погрузился в темноту.

«Еще один день,— подумал Ромеро.— Завтра пятнадцатое. Ради этого дня я и приехал».

Удар привел его в сознание. Окатила волна боли, от которой завертелись мысли. От звука третьего удара глаза заволокло красным. Оглушенный, Ромеро пытался одолеть шок внезапного нападения и вывернуться из спального мешка. Удар по плечам отбросил его в сторону. Его окружили три силуэта на фоне звездного неба, тяжелое дыхание клубами пара вырывалось изо ртов, когда они снова заносили палки для удара. Он схватился за пистолет, попытался высунуть его из мешка, но тяжелый удар выбил оружие из онемевшей сразу же руки за миг до того, как от удара дубиной по лбу зазвенело в ушах и глаза закатились под лоб.

Он медленно приходил в себя. В голове пульсировала боль. На лице кровь. Запах крови. Медный. Раздражающий ноздри запах прелой соломы под щекой. Свет солнца сквозь щели в амбаре. Амбар. Он вертится. В животе ком.

Кислый запах рвоты.

— Мэтью, зови Джона,— сказал Марк.

Торопливые бегущие шаги из амбара.

Ромеро потерял сознание.

Следующий раз он очнулся, прислоненный в углу спиной к стене, с поднятыми коленями, голова болтается, на грудь капает кровь.

— Мы нашли вашу машину,— сказал Джон.— Вижу, вы меняете модели.

Отдающийся эхом голос слышался издалека, но когда Ромеро поднял мутные глаза, Джон был прямо перед ним.

Он читал записку, оставленную Ромеро на приборной доске.

— Ушел побродить вдоль реки. Вернусь через пару дней.

Ромеро заметил, что его пистолет торчит у Джона за поясом.

— Что будем делать? — спросил Марк.— Полиция придет его искать.

— Ну и что? — ответил Джон.— Мы были в своем праве. Поймали человека с пистолетом, который ночью нарушил границу наших владений. Мы защищались и скрутили его.— Джон смял записку.— Но полиция за ним не придет. Там не знают, где он.

— Нельзя знать наверное,— возразил Марк.

Мэтью стоял молча возле закрытой двери амбара.

— Еще как можно,— ответил Джон.— Если бы это была полицейская операция, не нужна была бы эта записка. Он бы не беспокоился, что кто-то найдет его брошенную машину. На самом деле и машина-то ему была бы не нужна. Полиция его довезла бы до точки выброса. Он действует на свой страх и риск.

Мэтью нервно шевелил пальцами и только смотрел.

— Я прав, офицер Ромеро? — спросил Джон.

Пытаясь собрать вертящиеся мысли, Ромеро сумел заставить голос работать.

— Как вы узнали, что я там наверху? — спросил он.

Никто не ответил.

— Зайчик от объектива камеры, да?

Голос Ромеро звучал, будто горло забило галькой.

— Пылал, как святой дух на Пятидесятницу,— ответил Джон.

У Ромеро распух язык так, что он еле смог произнести:

— Воды хоть дайте.

— Мне это не нравится,— сказал Марк.— Отпусти его.

Джон повернулся к Мэтью:

— Ты слышал? Принеси ему воды.

Мэтью замялся в нерешительности, потом открыл дверь и побежал к дому.

Джон снова повернулся к Ромеро.

— Почему вы не хотите прекратить? Откуда такая настойчивость?

— Где Люк?

— Вот видите, это я и имею в виду. Вы чертовски настойчивы.

— Нам нет нужды это продолжать,— предупредил Марк.— Посади его в машину. Пусть едет. Пока ничего непоправимого не случилось.

— А ты думаешь, не случилось?

— Ты только что сказал, что мы были вправе напасть на чужака с пистолетом. Когда мы поняли, кто это, было слишком поздно. Судья отменит обвинение в нападении.

— Он вернется.

— Не обязательно.

— Я тебе гарантирую. Вернетесь ведь, офицер Ромеро? Да, вернетесь.

Ромеро вытер кровь с лица и не ответил.

— Конечно, вернетесь,— заключил Джон.— Такова ваша натура. И когда-нибудь вы увидите то, что вам видеть не следует. Если еще не увидели.

— Ничего больше не говори,— предупредил Марк.

— Хотите знать, что все это значит? — спросил Джон у Ромеро.

Ромеро снова стер кровь с лица.

— Думаю, вам надо дать то, что вы хотите,— сказал Джон.

— Нет! — возразил Марк.— Это надо немедленно прекратить. Я не уверен, что он сам по себе. Если здесь участвует полиция... Слишком это рискованно. Прекрати.

К амбару приближались торопливые шаги. Только Ромеро посмотрел на вошедшего Мэтью с кувшином воды.

— Дай ему,— сказал Джон.

Мэтью осторожно приблизился, будто человек, опасающийся дикого зверя. Поставив кувшин у ног Ромеро, он отпрыгнул назад.

— Спасибо,— сказал Ромеро.

Мэтью не ответил.

— Почему ты всегда молчишь? — спросил Ромеро.

Мэтью ничего не сказал.

У Ромеро побежали мурашки по коже.

— Ты не можешь говорить!

Мэтью отвернулся.

— Конечно же! Когда я был тут осенью, Джон тебе велел принести телефон, чтобы позвонить в полицию. Тогда я не подумал.— Ромеро подождал, пока вертящиеся мысли чуть успокоятся.— Я решил, что он посылает самого слабого, чтобы если я затею свалку, он с Марком справились бы.— В легких у Ромеро стало пусто. Он сделал несколько глубоких вздохов.— Но все время, что я наблюдал за домом, ты не сказал ни слова.

Мэтью все смотрел в сторону.

— Ты немой. Вот почему Джон послал тебя за телефоном. Потому что ты сам не мог вызвать полицию.

— Перестаньте дразнить моего брата и пейте воду.

— Я его не дразню. Я просто...

— *Пейте!*

Ромеро потянулся за кувшином, поднял его к губам и стал глотать, не обращая внимания на кислый вкус засохшей рвоты, желая только очистить рот и вымыть гальку из горла.

Джон достал из кармана ветровки чистый носовой платок и бросил его Ромеро.

— Смочите его водой и протрите лицо. Сотрите кровь. Мы не звери. Нет необходимости унижать ваше достоинство.

Не ожидая такой любезности, Ромеро сделал, как ему было сказано. Чем больше как с человеком они с ним будут обращаться, тем больше шансов выбраться отсюда. Он отчаянно пытался найти способ как-то отовраться.

— Вы ошибаетесь насчет неучастия в этом деле полиции.

— Да?

— Конечно, это не официально. Но поддержка у меня есть. Я сказал своему сержанту, что собираюсь сделать. Договор таков, что, если я не буду звонить ему по сотовому каждые шесть часов, он будет знать, что что-то случилось. И тогда он с парой друзей из полиции придет сюда меня искать.

— Ну-ну. Это факт?

— Да.

— Тогда почему вам ему не позвонить и не сказать, что у вас все в порядке?

— Потому что у меня не все в порядке. Я понятия не имею, что тут происходит, и мне вдруг стало ясно, можете мне поверить, что меньше всего мне хочется это знать. Я просто хочу отсюда убраться.

В амбаре вдруг стало очень тихо.

— Я сделал ошибку.— Ромеро с трудом встал на ноги.— Второй раз я ее не сделаю. Я уйду. Вы меня видите последний раз.

С трудом сохраняя равновесие, он сделал шаг из угла.

Джон внимательно на него смотрел.

— Что касается меня, я сюда больше ни ногой.— Ромеро сделал шаг к двери.

— Я вам не верю.

Ромеро шагнул мимо него.

— Вы лжете и о телефоне, и о своем сержанте,— сказал Джон.

Ромеро шел дальше.

— Если я ему в ближайшее время не позвоню...

Джон загородил ему дорогу.

— ...он приедет меня искать.

— И здесь он вас найдет.

— Удерживаемого против моей воли.

— И нас обвинят в похищении? — Джон расставил руки.— Отлично. Мы расскажем присяжным, что лишь пытались вас напугать, чтобы вы больше за нами не шпионили. Я согласен рискнуть — суд нас оправдает.

— *О чем это ты говоришь?* — спросил Марк.

— Посмотрим, придут ли в самом деле друзья ему на выручку.

«Вот, блин!» — подумал Ромеро. И сделал еще один шаг к двери.

Джон вынул из-за пояса пистолет Ромеро.

— Нет! — сказал Марк.

— Мэтью, помоги Марку открыть люк.

— Это надо прекратить! — крикнул Марк.— *Тебе мало того, что сталось с Мэтью и Люком?*

Как вдруг срабатывает туго закрученная пружина, так Джон развернулся и ударил Марка с такой силой, что сбил с ног.

— С каких пор ты командуешь в этой семье?

Вытирая кровь с губ, Марк злобно посмотрел на него снизу вверх.

— Я не командую. Командуешь ты.

— Это правда. Я старший. Таков закон. Если бы тебе было предназначено командовать этой семьей, ты бы родился первым.

Марк только смотрел.

— Ты хочешь пойти против закона? — спросил Джон.

Марк опустил глаза.

— Нет.

— Тогда помоги Мэтью открыть люк.

У Ромеро мелко задрожали мышцы живота. Пока Джон держал его под прицелом, он смотрел, как Марк и Мэтью прошли в дальний левый угол, где только вдвоем смогли отодвинуть с дороги бочку с зерном. Они подняли люк, и Ромеро мельком успел подумать, что, толкая снизу, нет ни одного шанса открыть люк, на котором стоит бочка.

— Спускайтесь,— велел Джон.

У Ромеро еще сильнее закружилась голова. Пытаясь справиться с этим ощущением, он понимал, что должен что-то сделать, пока не ослабел еще сильнее.

Если бы Джон хотел меня убить, он бы сделал это сейчас.

Он бросился к наружной двери.

— Марк!

Что-то ударило Ромеро по ногам, зацепило, сбило с ног лицом на пол.

Марк бросил дубинку.

Трое братьев подняли его, бессильного, как никогда в жизни, и он обвис у них в руках, не в состоянии вырываться, а они проволокли его по пыльному полу и сунули в люк. Не успел бы он схватиться за лестницу, упал бы вниз.

— Вам было бы неприятно остаться без воды.— Джон протянул ему вниз кувшин.

Снизу тянуло холодком. Охваченный ужасом Ромеро увидел, как опускается над ним люк, и услышал скрежет задвигаемой на место бочки.

«Помоги мне Бог»,— подумал он.

Но он не остался в полной темноте. Вглядевшись вниз, он увидел слабый свет и осторожно спустился по лестнице, неуклюже, из-за кувшина в руках. Внизу оказался короткий туннель, и Ромеро прошел по нему. Влажный запах земли щекотал ноздри. Свет стал ярче, когда Ромеро приблизился к его источнику в небольшой оббитой фанерой комнате, где стояли деревянные стол и стул. Пол тоже был выстелен фанерой. Свет исходил от голой лампочки, закрепленной прямо на массивной потолочной балке. Войдя внутрь, Ромеро увидел слева лежанку, на ней лежали чистая подушка и одеяло. Справа в глубокой дыре стоял ящик, накрытый туалетным сиденьем. Ромеро решил, что сходит с ума.

Из отдушины в дальней стене шел ветерок, теперь ставший слабее, когда люк подвала закрылся. Ромеро подумал, что вентиляционный ход должен быть длинным и с заглушкой у входа, так что, если он будет звать на помощь, никто не услышит, даже находясь близко к владе-

ниям братьев. Из отдушины шло достаточно воздуха, чтобы Ромеро мог не бояться удушья. Много чего можно было бояться, но хотя бы не этого.

Фанера на полу и на стенах потеряла цвет от старости. А вот подушку и одеяло принесли сюда недавно — когда Ромеро поднес их к носу, он почувствовал запах свежевыстиранного белья, уже заглушаемый запахом глины.

Братья не могли знать, что я здесь окажусь. Они ожидали кого-то другого.

Кого?

Он почувствовал еще какой-то запах. Попытался убедить себя, что это лишь его воображение, но избавиться от ощущения, что стены источают сладковатую вонь страха от многих, здесь побывавших, он не мог.

У него самого от страха так пересохло во рту, что пришлось сделать несколько больших глотков воды. Поставив кувшин на стол, он всмотрелся в находящуюся напротив дверь. Обыкновенная старая деревянная дверь, вертикальные планки, перехваченные горизонтальными досками сверху, снизу и в середине, но эта дверь внушала предчувствие. Он знал, что должен ее открыть, что должен узнать, нет ли там выхода на свободу, но было страшное предчувствие, что на той стороне его ждет какой-то несказанный ужас. Он велел ногам двигаться. Они не подчинились. Он велел правой руке взяться за ручку. Она тоже отказалась.

Вращение в мыслях усилилось от коротких быстрых вдохов. Ромеро понял, что вогнал себя в гипервентиляцию и с усилием заставил себя дышать нормально. Несмотря на прохладу подвала, с лица капал пот. А во рту пересохло, как никогда.

Он глотнул еще воды.

Открой дверь!

Тело неохотно повиновалось, дрожащие ноги перенесли его через камеру, трясущаяся рука поднялась к ручке двери. Он потянул ее на себя.

Ничего не произошло, и он было подумал, что дверь заперта, но когда он потянул сильнее, дверь скрипнула и медленно отворилась, и глинистый запах ударил в ноздри раньше, чем глаза привыкли к темноте.

На страшный миг ему показалось, что перед ним трупы. Он чуть не отшатнулся, беззвучно вскрикнув, пока остатки здравого смысла не велели ему всмотреться сильнее, потому что он видит только набитые джутовые мешки.

И корзины.

И полки, набитые...

Овощами.

Картофель, свекла, брюква, лук.

Боже мой, так это же просто овощехранилище под амбаром. Морщась от запаха плесени, Ромеро стал искать другую дверь. Он простучал стены, надеясь услышать звук пустоты, говорящий о другой комнате за стеной, может быть, даже выходе наружу.

Ничего обнадеживающего он не нашел.

— Офицер Ромеро? — позвал голос со стороны люка.

Ромеро вышел из овощехранилища и закрыл дверь.

— Офицер Ромеро? — Голос был похож на голос Джона.

Ромеро вышел из камеры и остановился в середине коридора. Из открытого люка падал бледный свет.

— Что?

— Я принес вам еду.

На полу возле лестницы стояла корзина. Очевидно, Джон спустил ее на веревке и вытащил веревку раньше, чем позвал Ромеро.

— Я не голоден.

— На вашем месте я бы поел. В конце концов, вы же не знаете, когда я принесу вам еду в следующий раз.

Пустой желудок Ромеро свело судорогой.

— Кроме того, я положил вам в корзину книгу, чтобы не было скучно. Д. Г. Лоуренс. Вполне уместное чтение, по-

скольку он жил на ранчо чуть севернее Таоса. И даже там похоронен.

— Плевать мне на него! Что вы собираетесь со мной делать?

Ромеро сам испугался, услышав, как дрожит его голос.

Джон не ответил.

— Если вы меня сейчас отпустите, я забуду обо всем, что здесь было. Пока еще не сделано ничего такого, чего нельзя поправить.

Люк закрылся, луч бледного света исчез.

Заскрежетало дно задвигаемой на место бочки.

Ромеро хотелось завопить.

Он взял корзину и просмотрел ее содержимое. Хлеб, сыр, нарезанная морковь, два яблока... и книга. Потрепанный том в твердой обложке, которую давно уже содрали. Название на титуле: Д. Г. Лоуренс, «Избранные рассказы». Закладка на рассказе под названием «Та, которая уехала». Страницы этого куска книги так часто переворачивали, что верхние уголки почти стерлись.

Там, куда пришлись удары по голове, было такое чувство, что туда вогнали по лому. Ромеро, часто дыша, с усилившимся головокружением, вернулся в камеру. Корзину он поставил на стол, потом сел на лежанку в такой слабости, что ему очень хотелось лечь, но он сказал себе, что должен прочитать рассказ. Что можно точно сказать про Джона — это человек серьезный. Рассказ должен быть важен.

Ромеро открыл книгу. Зрение на миг мучительно раздвоилось. Он заставил себя сфокусировать глаза, и проблема исчезла так же быстро, как появилась, зрение прояснилось. Но он знал, что это. Сотрясение.

Нужно в больницу...

Сосредоточься, мать твою!

«Та, которая уехала».

Действие происходило в Мехико. Рассказывалось о женщине, жене богатого промышленника, владельца прибыльных серебряных рудников в Сьерра-Мадре. У нее были

чудесные сын и дочка. Муж ее обожал. У нее было все, о чем только можно мечтать. И все равно она задыхалась, она чувствовала себя собственностью своего мужа, будто муж и дети владели ею, как вещью. И каждый день она все больше и больше времени сидела одна и смотрела на горы. Что там? Наверное, что-то чудесное. Тайные деревни, быть может. И однажды она поехала покататься верхом и не вернулась.

Ромеро бросил читать. Его изнурил травматический шок. Трудно не дать опуститься гудящей голове. И снова свело пустой желудок. «Надо поддержать силы»,— подумал Ромеро. Заставив себя встать, он подошел к корзине с едой, пожевал моркови и откусил кусок свежего хлеба с хрустящей коркой. Запил водой и вернулся к лежанке.

От перерыва легче не стало. Столь же изнуренный, как раньше, он снова открыл книгу.

Женщина уехала в горы. Она взяла с собой еды на несколько дней и ехала все вверх и вверх, предоставив лошади выбирать дорогу. Выше и выше. Мимо сосен, осин и тополей, и наконец, когда стала реже растительность и голова кружилась от высоты, ее встретили на тропе индейцы и спросили, куда она едет. В тайные деревни, ответила им она. Увидеть их дома и узнать их богов. Индейцы проводили ее в пышную долину, где были деревья, река и группа низких домишек, светлых на солнце. Жители деревни приняли ее радушно и обещали научить.

Зрение Ромеро снова раздвоилось. Это напугало его, и он попытался свести изображения. Очевидно, сотрясение прогрессирует. От страха он стал еще слабее. Ему хотелось лечь, но он знал, что, если заснет, может уже и не проснуться. Звать на помощь — мелькнула паническая мысль.

Кого? Здесь никто не услышит. Даже эти братцы.

Заставив себя встать, он подошел к столу, откусил еще кусок хлеба, заел яблоком и сел дочитывать рассказ. Он был уверен, что этим рассказом ему что-то хотят сообщить, но пока он еще не понял что.

У женщины было такое чувство, что все это во сне. Жители деревни хорошо с ней обращались, приносили ей цветы и одежду, еду и напиток, сделанный из меда. Она проводила дни в приятной апатии. Никогда она еще не спала так долго и глубоко. Каждый вечер звучала гипнотическая песнь барабанов. Менялись времена года. Осень сменилась зимой. Выпал снег. Солнце гневается, сказали жители деревни в самый короткий день года. Надо отдать солнцу луну. Они отнесли женщину в алтарь, сняли с нее одежду и всадили ей в грудь нож.

От последней шокирующей страницы у Ромеро голова дернулась вверх. Смерть женщины тем сильнее потрясала, что женщина знала о ее приближении и сдалась ей, не пыталась сопротивляться, почти радовалась ей. Как будто была не в себе, в трансе.

Ромеро вздрогнул. Веки снова отяжелели, и он подумал о медовых напитках, которые жители деревни ей приносили.

Наверняка они были с зельем.

«О черт!» — подумал он. Вся сила воли понадобилась ему, чтобы поднять тяжелую голову и вглядеться в корзину и кувшин на столе.

К пище и воде было подмешано сонное зелье.

Струйка страха прошла через сознание — единственное чувство, которое он еще мог ощутить. Голова онемела так, что перестала болеть. Руки и ноги существовали где-то отдельно. Сейчас отрублюсь, отстраненно мелькнула мысль.

Он начал укладываться.

Нет.

Нельзя.

Нет.

Подними задницу с этой лежанки! Заснешь — умрешь!

В голове крутилось колесо, но он поднялся, шатаясь, на ноги. Качнулся к столу. Навалился на него. Чуть не перевернул. Выпрямился. Бросился к туалетному сиденью. Со-

гнулся. Сунул палец в горло. Выблевал поглощенную пищу и воду.

Вывалился в коридор, шатнулся к лестнице, схватился, повернулся, зашатался, прошел обратно, до двери в овощной погреб, коснулся, повернулся и захромал к лестнице.

И снова.

Продолжай ходить. Ты должен ходить.

И снова.

Ты должен стоять на ногах.

Колени подгибались. Он заставил их выпрямиться.

Перед глазами серело. Он на подгибающихся ногах шел вперед, нащупывая дорогу руками.

Никогда в жизни не было ничего труднее. Он и не знал, что у него хватит силы воли и решимости на такое. «Я не сдался! — повторял он про себя. Это стало мантрой.— Я не сдался!»

Время неслось полосами, забытье висело постоянной пеленой. Где-то посреди этого испытания зрение прояснилось, ноги стали держать. Он разрешил себе надеяться, когда вернулась головная боль — это выветривалось зелье. Он уже не качался — ходил.

И продолжал ходить, настраивая себя. Я должен быть готов, повторял он. Ум прояснялся, но недоумение оставалось. Зачем Джону нужно было, чтобы он прочел рассказ? Как предупреждение не есть и не пить?

Или, быть может, это было объяснение того, что происходит. Предлагаемый выбор. Избавь себя от муки страха. Вкуси от щедрот земных и сдайся, как та женщина.

Черта с два!

Ромеро вылил воду в туалетное сиденье. Она смыла туда рвоту, и теперь будет не так сразу ясно, как он поступил. Потом он оставил кусочек хлеба и несколько ломтей моркови. Пообкусал яблоки и сплюнул куски, оставив огрызки. Все остальное от отнес в овощной погреб и спрятал в самом темном углу за корзинами с картошкой.

Посмотрел на часы. Когда его сюда спустили, было одиннадцать часов утра. Сейчас почти полночь. Услышав тихий скрип отодвигаемой бочки, он лег на лежанку, закрыл глаза, свесил руку на пол и попытался смирить частое дыхание, чтобы казалось, что он в отключке.

— Осторожно. Он может и притворяться.

— Еда почти вся съедена.

— Не загораживай мне линию огня.

Его схватили руками, подняли. Он обвис мертвым грузом, позволяя выволочь себя в коридор. Что-то бормотал, будто возражая против того, что его будят. Его обвязали веревкой, один из братьев поднялся по лестнице и стал тянуть, а другие его подняли. В амбаре они сняли веревку, и он снова пошевелил головой и что-то забормотал.

— Посмотрим, сможет ли он стоять,— сказал Джон.

Ромеро позволил себе заморгать глазами.

— Он приходит в себя,— заметил Марк.

— Тогда он сможет нам помочь.

Его вынесли на открытое место. Он мотал головой, будто проснувшись от ночного холода. Его сунули в кузов пикапа. Двое братьев сидели с ним, третий вел машину. Ночь была такой холодной, что он позволил себе задрожать.

— Да, точно приходит в себя,— сказал Джон.

Машина остановилась. Его подняли и вынесли в поле. Позволив себе чуть разлепить веки, Ромеро поразился, как ярка луна. Поле было то самое, где накануне братья пахали и убирали камни.

Его поставили на ноги.

Он притворился, что шатается.

Сердце стучало. Он знал, что в ближайшее время придется что-то сделать. До сих пор он был перед ними тремя беспомощным. В амбаре было слишком тесно, чтобы затевать схватку. Нужно открытое место, где можно будет бежать. Кажется, это будет именно это поле. Потому что теперь не оставалось сомнений, что его намереваются убить.

— Поставь его на колени,— сказал Джон.

— Еще не поздно все прекратить,— ответил Марк.

— Ты утратил веру?

— Я...

— Отвечай! Ты утратил веру?

— ...Нет.

— Тогда поставь его на колени.

Ромеро дал опустить себя на землю. Сердце колотилось так, что он испугался, как бы оно не выскочило из ребер. В колени больно впились острые камни. Он не мог себе позволить реагировать.

Его толкнули вперед, на четвереньки. Как животное. Шея была открыта.

— Докажи веру свою, Марк.

Тихий скрежет — нож вынули из ножен.

Он блеснул при луне.

— Возьми,— сказал Джон.

— Но...

— Докажи веру свою.

Долгая напряженная пауза.

— Правильно,— сказал Джон.— Господь наш, прими эту жертву за славу земли твоей и щедрость ее. Да напоит кровь...

Ощутив еще один острый камень, теперь под ладонью, Ромеро схватил его, извернулся и ударил ближайший силуэт изо всех сил по голове. Раздался ужасный хруст, силуэт застонал и осел, а Ромеро, вскочив на ноги, выдернул нож из рук Марка и вогнал ему в живот. И тут же бросился на оставшегося брата, в котором узнал Джона, потому что у него был в руке пистолет. Но Ромеро не успел ударить, как Джон шагнул назад и прицелился, и Ромеро оставалось только метнуть в него нож. Он попал, но ранил Джона или нет — Ромеро не разглядел. По крайней мере он заставил Джона отшатнуться и сделать еще шаг назад, сбив прицел, и выстрел пропахал землю, а Ромеро уже бежал мимо пикапа, на дорогу, к дому.

Джон выстрелил снова. Пуля ударила в пикап.

Ускоряясь, подгоняемый страхом, Ромеро увидел впереди огни дома и ушел влево, чтобы не быть силуэтом мишени на светлом фоне. Третий выстрел. Пуля свистнула мимо, разбив в доме окно. Он напряг ноги до максимума, в груди жгло огнем. Дом становился все больше, и тут сзади послышался рев мотора пикапа. Надо уйти с дороги. Он взял еще левее, перелез через ограду и побежал через поле спаржи, сбивая нежные ростки.

Мелькнул свет фар, пикап остановился. Четвертый выстрел разорвал тишину долины. Джон не без оснований считал, что в этой пустынной местности соседи вряд ли услышат. Или забеспокоятся. Кто-то стреляет по койотам.

Пятый выстрел ужалил Ромеро в левое плечо. Быстро и хрипло дыша, он побежал зигзагом. И в то же время наклонился вперед и прибавил скорости насколько мог, только не разгибаясь. Добежал до следующей изгороди, протиснулся между брусьями и опять в поле, круша очередные всходы — на этот раз редиска, отметил он краем сознания.

Рев пикапа приближался по дороге.

Ему ответил другой рев, несущаяся мощь Рио-Гранде, к которой Ромеро бежал. Огни дома остались справа. Он миновал их, бросаясь в темноту за фермой. Река гремела все громче.

Почти на месте. Если бы только...

Пылая фарами, пикап бросился наперерез.

Еще изгородь. Ромеро бросился между брусьями с такой силой, что ударился раненым плечом, но не обратил внимания — луна освещала ему путь к пешеходному мосту. Он рванулся вперед, слыша сзади шум мотора. Вздымающаяся река отразила свет фар, свирепость белых гребней манила. С победным криком Ромеро достиг моста. Шаги его загрохотали по настилу. Ноги скользили на промокших от брызг досках, мост качался, его захлестывало водой. Ромеро оступился, качнулся, чуть не свалился в реку,

но восстановил равновесие. Мимо просвистел выстрел, угодив туда, где он только что пробегал. Ромеро уже был за мостом и нырнул в кусты, пробираясь к темноте справа. Джон дал еще два выстрела туда, где скрылся в кустах Ромеро, а тот припал к земле, отчаянно стараясь не шуметь и пытаясь перевести дыхание.

В горле жгло. Грудь ныла. Он коснулся левого плеча и ощутил смесь холодной жидкости с теплой: вода и кровь. Его трясло. Неостановимо. Фары грузовика осветили Джона, идущего по мосту. Пистолет в правой руке. И в левой что-то. Это что-то вдруг вспыхнуло: сильный фонарь. Он обшаривал кусты. Ромеро еще сильнее прижался к земле.

Джон пошел по мосту.

— Я посчитал точно так же, как и вы! — крикнул он, перекрывая рев реки.— Восемь выстрелов! Выходя из машины, я проверил обойму! Семь патронов, и еще один в стволе!

В любой момент фонарь мог высветить укрытие Ромеро. Он схватил камень, благодаря Бога, что ранен в левое плечо, а не в правое, и метнул. Камень отскочил от моста. Ромеро уже бросился вверх по течению, когда Джон выстрелил туда, где он был.

На этот раз Ромеро не стал останавливаться. Камни против пистолета — это не дело. Может, и повезет, но он в этом сомневался. Джон знал, в каком направлении находится Ромеро, и только он рискнет высунуться, чтобы бросить камень, Джон получит хороший шанс ослепить его фонарем и пристрелить.

Продолжай идти вверх, сказал он себе. Заставь Джона тебя преследовать.

Он бросил еще камень, не целясь, но Джон не стал стрелять вслепую. Отлично, подумал про себя Ромеро, продираясь сквозь темные кусты. Пока Джон следует за ним, все отлично.

«Плот,— подумал он.— Они нашли мой лагерь. Нашли машину».

А плот они нашли?

В темноте трудно было сориентироваться. Там был изгиб реки. Да. И склон с одной стороны приближался к воде.

Ромеро бросился вперед, стараясь как можно больше шуметь, чтобы Джон обязательно бросился за ним. Пусть думает, что Ромеро в панике. Для усиления иллюзии он бросил еще один камень по крутой дуге, туда, где Джон его выслеживал.

Ветка хлестнула по лицу, он не обратил внимания. Только рвался вперед, заметил изгиб берега и, когда споткнулся о плот, чуть не врезался головой в один из камней, которые напихал в плот для тяжести.

Фонарь Джона мигал позади, ощупывая кусты.

Быстрее!

Ловя ртом воздух, Ромеро снял куртку, напихал ее большими камнями, которые уже были внутри плота, и стащил плот в воду. Джон внизу по течению услышал и направил на него фонарь, но Ромеро уже успел нырнуть в кусты, глядя, как течение подхватило плот и понесло вниз. В лунном свете и луче фонаря выпирающая куртка была очень похожа на притаившегося внутри плота человека, который рассчитывает таким образом скрыться от пуль.

Джон бросился к реке и выстрелил. Потом еще раз, ярко полыхнув дульной вспышкой, но выстрелы были еле слышны за ревом реки, который заглушил и шум, когда Ромеро бросился из кустов и налетел на Джона, локтем раненой руки передавив ему горло, а здоровой рукой ухватившись за руку с оружием.

От силы удара они оба свалились в воду. Тут же их подхватило течением, ошеломляюще свирепым и холодным. Голову Джона затянуло под воду. Вцепившись в противника и стараясь удержать его внизу, Ромеро одновременно боролся с течением, уносившим его во тьму. Поток поднял его вверх и бросил вниз. Холод был так яростен, что все тело сразу онемело. И все равно он продолжал стискивать горло Джона и пытаться вырвать у него пистолет.

Мимо мелькнуло здоровенное бревно, течение задирало его конец. Джон вырвался на поверхность, Ромеро ушел под воду. Руки Джона придавили его вниз. Ромеро судорожно стал отбиваться ногами, услышал, как вскрикнул от боли Джон, и выскочил на поверхность. В пяти футах от него Джон старался удержаться на поверхности и одновременно наводил пистолет. Ромеро нырнул. Услышав выстрел, Ромеро добавил к силе течения собственные усилия и вынырнул справа от Джона, схватив его за руку с пистолетом, выкручивая.

«Сукин ты сын,— подумал Ромеро.— Если мне суждено здесь подохнуть, я и тебя прихвачу с собой».

Он потянул Джона под воду. Их ударило об камень, от боли Ромеро вскрикнул под водой. Ловя ртом воздух, он выскочил на поверхность. Увидел, как стоящий перед ним Джон наводит пистолет. Увидел фары пикапа, освещавшие мостик. Увидел огромное дерево, застрявшее в узком промежутке между рекой и мостом. Джон не успел выстрелить, как Ромеро налетел на ветвь. Через миг в него же врезался Джон. Прижатый к веткам силой течения, Ромеро потянулся к пистолету, который Джон навел в упор. И тут лицо Джона исказилось от неожиданной боли — огромный булыжник упал на него с моста и расколол череп.

Ромеро не сразу понял, что на мостике над ним стоит Мэтью. Его слишком парализовало ужасом при виде потока крови, залившего лицо Джона. Через миг течением принесло бревно, ударившее Джона в грудь и унесшее его под ветки. На миг в свете фар Ромеро показалось, что он видит торчащее из груди Джона бревно, но тут Джон, дерево и бревно оторвались от моста и скрылись в белой воде. Уносимый вместе с ними, Ромеро поднял руку, пытаясь схватиться за мост. Не смог. Пролетая в потоке под мостом, выходя с другой стороны, он напрягся, ожидая удара камнем, который лишит его сознания, как что-то его схватило. Руки. Мэтью лежал животом на настиле моста,

вытянувшись как мог далеко, и держал Ромеро за рубашку. Ромеро стал помогать ему себя вытащить, стараясь не глядеть на разбитый лоб и правый глаз Мэтью, куда пришелся удар камня Ромеро. Схватившись за его руки и подтягиваясь, Ромеро почувствовал, как скользят какие-то осколки по правой ноге, и потом он и Мэтью рухнули на настил моста, хрипло дыша и пытаясь перестать дрожать.

— Ненавижу его,— сказал Мэтью.

Минуту Ромеро был уверен, что слух его обманывает, что после выстрелов и рева реки он слышит звуки, которых нет.

— Ненавижу его,— повторил Мэтью.

— Боже мой, ты говоришь!

Как выяснилось потом, впервые за двенадцать лет.

— Ненавижу его, ненавижуненавижуненавижуненавижуненавижуненавижуненавижу!

Освобожденный от молчания, давившего его почти две трети жизни, Мэтью безостановочно болтал всю дорогу, когда они шли посмотреть, что с Марком, и обнаружили, что он мертв, когда они возвращались в дом и Ромеро вызывал полицию штата, когда они переодевались в сухое и теплое и Ромеро обрабатывал раны Мэтью, и когда они ждали полицию, и когда поднялось солнце и полиция кишела повсюду на ферме. Истерическая литания Мэтью становилась все стремительнее и визгливее, и наконец врачу пришлось ввести ему успокоительное и его увезли на машине «скорой помощи».

В группе был и тот полицейский, у которого Ромеро тогда просил помощи. Узнав, что произошло, из Санта-Фе прибыли начальник полиции и сержант. К тому времени уже начали раскопки и показались тела. Во всяком случае, то, что от них осталось, когда всю кровь выцедили на поле и разрезали тела на куски.

— Боже милостивый, сколько их? — спросил полицейский штата, когда в почве полей стали находить все боль-

ше и больше фрагментов тел в разных стадиях разложения.

— Это происходит столько, сколько Мэтью себя помнит,— ответил Ромеро.— Его мать умерла, когда он родился. Она лежит под землей на одном из полей. Отец умер от сердечного приступа три года назад. Они его просто где-то здесь похоронили. Каждый год в день средней даты последних морозов, пятнадцатого мая, они приносили кого-нибудь в жертву. Чаще всего бездомных, которых никто не хватится. Но в прошлом году это были Сьюзен Кроувелл и ее жених. Их угораздило проколоть шину прямо рядом с фермой. Они пошли сюда и попросили разрешения позвонить. Когда Джон увидел номера не этого штата...

— Но зачем? — спросил начальник полиции в смятении, а в полях находили все больше и больше фрагментов.

— Дать жизнь земле. Об этом и был рассказ Д. Г. Лоуренса. Плодородие земли и смена времен года. Я думаю, что Джон так пытался объяснить своим жертвам, почему они должны умереть.

— А ботинки? — спросил начальник полиции.— Не понимаю, при чем здесь ботинки.

— Их выбрасывал Люк.

— Четвертый брат?

— Да. Он лежит где-то поблизости; покончил с собой.

У начальника полиции был такой вид, будто его сейчас стошнит.

— Всю весну, пока овощи вызревали до продажи, Люк разъезжал по фермам до Санта-Фе, продавая замшелые камни. Каждый день он проезжал по Олд-Пекос. Дважды в день проезжал мимо баптистской церкви. Психологически он был под тем же давлением, что и Мэтью, но Джон не подозревал, насколько он близок к срыву. Эта церковь стала попыткой Люка к отпущению грехов. Однажды он увидел на дороге возле церкви старые ботинки.

— Вы хотите сказать, что первый раз их выбросил не он?

— Нет, это кто-то решил пошутить. Но они навели его на мысль. Он увидел в них знак божий. Через два года он стал выбрасывать там обувь жертв. Она всегда была проблемой. Одежда разлагается довольно быстро. Но ботинки — гораздо дольше. Джон велел ему бросать их в помойку где-нибудь в Санта-Фе. Люк не мог себя заставить это делать — как не мог заставить себя войти в церковь и помолиться за свою душу. Но он мог бросать обувь около церкви в надежде, что будет прощен и что жертвы его семьи обретут спасение.

— А на следующий год он бросил ботинки вместе с ногами,— сказал сержант.

— Джон не знал, что он их взял. Когда узнал, он посадил Люка под замок. Однажды утром Люк вырвался наружу, ушел в поля, встал на колени и перерезал себе горло от уха до уха.

Наступило молчание. Снаружи, у кучи свежевывернутой земли, кто-то крикнул, что нашли еще фрагменты тел.

Ромеро взял отпуск по болезни. Четыре года он раз в неделю ходил к психиатру. Когда он слышал, как кто-нибудь объявляет себя вегетарианцем, он отвечал: «Да, я тоже был вегетарианцем, но теперь я плотоядный». Конечно, на одном мясе существовать он не мог. Организму человека нужны витамины и минералы, которые дает растительная пища, и хотя Ромеро пытался заменить их витаминными таблетками, оказалось, что нельзя прожить без объема, даваемого этой самой растительной пищей. И потому он мрачно ел овощи, но при этом всегда думал о тех восхитительных, неимоверно больших сияющих, очень здорового вида помидорах, огурцах, перцах, баклажанах, канусте, бобах, горохе, моркови и редиске, которые продавали братья Парсонсы. Вспоминая, чем их удобряли, он жевал, жевал, жевал, но овощи всегда застревали у него в горле.

Нил Гейман

СУВЕНИРЫ И СОКРОВИЩА: ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ



ожете назвать меня ублюдком, если хотите. Это верно, причем во всех смыслах. Мама родила меня через два года после того, как ее заперли ради «ее собственной пользы», и было это в 52-м, когда за пару горячих почек с местными парнями можно было заработать диагноз: клиническая нимфомания, после чего вас убирали с глаз долой — «для защиты вас самих и общества» — всего лишь по указу «высшей инстанции» в лице двух врачей. Один из двоих был ее отцом, моим дедом, а второй — его партнером, с которым они делили врачебную практику в Северном Лондоне.

Так что, кто был мой дед, я знаю. А вот мой отец... им мог быть кто угодно, кто соблудил с матерью в здании или на участке «Приюта Святого Андрея». Чудное словечко, а? *Приют.* Хочешь не хочешь, подумаешь об убежище: этакое тихое местечко, где тебя укроют от полного опасностей и жестокости старого доброго большого мира. Та еще дыра, этот приют. Я съездил поглядеть на него в конце семидесятых, перед тем как его снесли. Там все еще воняло мочой и сосновым дезинфицирующим средством для мытья пола. Длинные, темные, плохо освещенные коридоры с грез-

© Перевод. А. Комаринец, 2005.

дьями крохотных, похожих на камеры комнатушек. Если б вы искали ад, а нашли «Святого Андрея», вы б не разочаровались.

В ее истории болезни говорится, что она раздвигала ноги для кого придется, но я в этом сомневаюсь. Она ведь тогда сидела взаперти. Так что тому, кто захотел бы ей вставить, сперва пришлось бы обзавестись ключом от ее камеры.

Когда мне было восемнадцать, я последние свои летние каникулы перед университетом провел в охоте за теми четырьмя, кто с наибольшей вероятностью мог быть моим отцом: два санитара психиатрички, врач тюремного отделения и управляющий приютом.

Маме было всего семнадцать, когда за ней закрылись двери. У меня есть маленькая — под размер бумажника — черно-белая ее фотография, снятая прямо перед тем, как ее заперли. Мама опирается о крыло спортивного «моргана», припаркованного на какой-то сельской дороге. Она улыбается, вроде как кокетничает с фотокамерой. Ты была просто красоткой, мама.

Я не знал, который из четверых был мой папочка, и поэтому убил всех. В конце концов, каждый ее трахал: я заставил их в этом признаться, прежде чем прикончил. Лучше всех был управляющий, этакий краснолицый упитанный старый Казанова, и таких, как у него, подкрученных вверх усов а-ля Пуаро, я уже лет двадцать как не видел. Я наложил ему жгут из его же гвардейского галстука. Изо рта у него полетели пузырьки слюны, а сам он стал синий, как невареный омар.

В «Святом Андрее» были и другие мужчины, кто мог бы оказаться моим отцом, но после этих четверых я перегорел. Я сказал себе, что разобрался с четырьмя наиболее вероятными кандидатами и что, если я перебью всех и каждого, кто мог забить матери, дело кончится бойней. Так что я завязал.

На воспитание меня отдали в соседний детдом. Если верить ее истории болезни, маму стерилизовали сразу пос-

ле моего рождения. Никому не хотелось, чтобы такие гадкие, мелкие, как я, происшествия помешали еще чьему веселью.

Мне было десять, когда она покончила с собой. Это было в 64-м. Мне было десять лет от роду, и я еще играл в «каштаны»* и воровал потихоньку сладости в кондитерских, когда она, сидя на линолеумном полу своей камеры, пилила себе запястья осколком битого стекла, который бог знает где раздобыла. Она и пальцы себе раскроила тоже, но своего добилась. Ее нашли утром — липкую, красную и холодную.

Люди мистера Элиса наткнулись на меня, когда мне было двенадцать. Замначальника детдома считал нас, мальцов, своим личным гаремом секс-рабов с исцарапанными коленками. Соглашайся и окажешься с больной попкой и шоколадкой «Баунти». Будешь трепыхаться, проведешь пару дней взаперти с взаправду больной попкой и сотрясением мозга в придачу. Мы его прозвали Старой Соплей, потому что он начинал ковырять в носу, как только решал, что мы не видим.

Его нашли в гараже его дома в его собственном синем «моррис миноре»: дверцы заперты, и кусок ярко-зеленого садового шланга идет прямо от выхлопной трубы в окно спереди. Коронер постановил «самоубийство», и семьдесят пять мальчишек вздохнули свободней.

Но Старая Сопля за годы труда на ниве воспитания малолетних оказал пару услуг мистеру Элису, когда, скажем, следовало позаботиться о приезжем иностранном политике со склонностью к мальчикам или заезжал с визитом главный констебль**. Потому мистер Элис послал пару своих следователей — просто убедиться, что все тип-топ. Когда

---

* «Каштаны» — английская детская игра, в которой одним привязанным на веревочке каштаном бьют по другим.— *Примеч. пер.*

** Главный констебль — в Великобритании начальник полиции в графстве, городе.— *Примеч. пер.*

же они сообразили, что единственно возможный преступник — двенадцатилетний мальчишка, они едва штаны не намочили со смеху.

Однако мистер Элис был заинтригован и потому послал за мной. Это было еще в те дни, когда он гораздо чаще принимал во всем личное участие. Полагаю, он надеялся, что я окажусь хорошеньким, но тут его ждал печальный сюрприз. Я и тогда выглядел, как сейчас: худой, словно щепка, профиль — что топор, и уши — как ручки у кастрюли. Больше всего мне в нем тогдашнем запомнилось то, какой он был огромный. Тучный. Надо думать, он был в ту пору еще довольно молод, хотя тогда мне так не казалось: он был взрослый и потому враг.

Явилась пара громил и забрала меня после школы — по дороге домой. Я поначалу едва не обделался, но от громил не пахло законом — за моей спиной уже было четыре года игры в прятки со Старым Билли*, и бобби в штатском я чуял за сто ярдов. Они отвезли меня в крохотную скудно обставленную серую контору в переулочке за Эджвер-роуд.

Стояла зима, и на улице было почти темно, и в конторе была полутьма, если не считать маленькой лампы, отбрасывающей круг желтого света на письменный стол. Необъятных размеров человек за столом царапал что-то шариковой ручкой внизу страницы телекса. Потом, закончив, он поднял на меня глаза. Оглядел меня с головы до ног.

— Сигарету?

Я кивнул. Он протянул мне «Питер Стайвесент» в мягкой пачке, и я взял одну. Он дал мне прикурить от золотой с черным зажигалки.

— Ты убил Ронни Полмерстона,— сообщил он мне. В голосе не было и намека на вопрос.

Я промолчал.

---

* Старый Билли (англ. сленг 50-х гг.) — полиция.— *Примеч. пер.*

— Ну? Ты ничего не собираешься сказать?

— А что тут можно сказать? — сообщил я в ответ.

— Я до этого дошел, только услышав, что он был на заднем сиденье. Он не сел бы назад, собирайся он покончить с собой. Он сидел бы за рулем. Думаю, ты подсунул ему «мики»*. Потом запихнул в «мини» — нелегко, наверное, пришлось, он не слабый был мужик,— а вот «мики» и «мини» это и впрямь здорово,— потом отвез его домой, заехал в гараж, к тому времени он уже крепко спал, а ты подстроил самоубийство. Ты не боялся, что тебя заметят за рулем? Двенадцатилетнего мальчишку?

— Темнеет рано,— отозвался я.— И я ехал переулками.

Он хмыкнул. Задал мне еще пару вопросов — о школе, о детдоме, о том, что мне интересно, и все такое. Потом вернулись громилы и отвезли меня назад в детдом.

Неделю спустя меня усыновила пара по фамилии Джексон. Он был специалистом по международному торговому праву, она — экспертом по самообороне. Думаю, они никогда не видели друг друга до тех пор, пока мистер Элис не свел их, чтобы они меня воспитали.

Не знаю, что он во мне увидел в ту первую встречу. Должно быть, какой-то потенциал. Потенциальную лояльность. Я — лояльный человек. Не стоит ошибаться на этот счет. Я — человек мистера Элиса, душой и телом.

Разумеется, на самом деле его имя не мистер Элис, но я с тем же успехом мог бы называть его и настоящим именем. Разницы никакой. Вы все равно о нем не слышали. Мистер Элис — один из десяти самых богатых людей в мире. Скажу вам вот что: вы и о других девяти ничего не слышали. Их имена не появятся ни в одном из списков ста самых богатых людей мира. Никаких там биллов гейтсов или султанов Брунея. Я говорю о *настоящих* деньгах. На свете есть люди, которым платят больше, чем вам за всю

---

* «Мики» (*англ.* сленг 50-х гг.) — спиртной напиток с примесью наркотика.— *Примеч. пер.*

жизнь доведется увидеть, только за то, чтобы ни словечка не проскользнуло о мистере Элисе в газетах или по телику.

Мистер Элис любит владеть вещами. И, как я вам уже сказал, одна из вещей, которыми он владеет, я. Он — отец, которого у меня никогда не было. Это он достал мне папки с историей болезни мамы и сведения о четырех наиболее вероятных кандидатах на роль папочки.

По окончании университета (степень с отличием в экономике и международном праве) я сделал себе подарок: поехал и отыскал моего деда-врача. До тех пор я встречу с ним все оттягивал. Она была чем-то вроде стимула.

Ему оставался год до пенсии, этому старику с топорным лицом и в твидовом пиджаке. Год стоял 1978-й, и некоторые доктора еще ездили на дом. Я следовал за ним до высотки на Мейда-Вейл. Подождал, пока он одарит кого-то там своей врачебной мудростью, и остановил, когда он выходил, помахивая черным саквояжем.

— Привет, дедушка,— сказал я.

Нет особого смысла пытаться выдать себя за кого-то другого. Не с моей внешностью. Он был точная копия меня через сорок лет. Та же до черта безобразная физиономия, только волосы поредели и стали песочно-серыми, а у меня еще была густая и мышино-русая шевелюра. Он спросил, что мне надо.

— Ты вот так взял и запер маму,— сказал я ему.— Не больно-то хорошо это было с твоей стороны.

Он предложил мне убираться или что-то в этом роде.

— Я только что получил степень,— отозвался я.— Тебе следовало бы мной гордиться.

Он сказал, что знает, кто я, и что лучше мне убраться немедленно, или он натравит на меня полицию и меня засадят.

Я вогнал ему нож в левый глаз — прямо в мозг — и, пока он задыхался потихоньку, забрал его старый, телячьей кожи бумажник — в общем, в подарок на память и чтобы выглядело все как ограбление. Именно там, в бумажнике,

я нашел фотографию мамы, черно-белую, улыбающуюся и кокетничающую с камерой двадцать пять лет назад. Интересно, кому принадлежал «морган»?

Через парня, который меня не знал, я сбыл бумажник перекупщику, а потом купил его в лавке, когда за ним никто не пришел. Аккуратный чистый след. Не один умник попался на сувенире. Иногда я спрашиваю себя, не убил ли я в тот день своего отца, не только деда. Не думаю, что он бы мне сказал, даже если бы я спросил. Да и какая разница, верно?

После этого я пошел на постоянную работу к мистеру Элису. Пару лет заведовал делами в Шри-Ланке, потом провел год в Боготе на импорте-экспорте, вкалывая, как прославленный коммивояжер. Домой в Лондон я вернулся как только смог. Последние пятнадцать лет я выступал в основном как спец по конфликтам и по сглаживанию трений в проблемных областях. Спец по конфликтам. Круто звучит.

Как я говорил, чтобы никто и никогда о тебе не услышал, нужны настоящие деньги. Никаких там глупостей а-ля руперт мердок, который ест с рук у коммерческих банков. Вам никогда не увидеть мистера Элиса в глянцевом иллюстрированном журнале, показывающим фотографу свой глянцевый новый дом.

Помимо бизнеса основной интерес мистера Элиса — секс, вот почему я стоял тогда у входа на станцию Эрлз-Корт с сине-белыми бриллиантами на 40 миллионов американских долларов в карманах макинтоша. В особенности и чтобы быть точным, интерес мистера Элиса к сексу ограничивается отношениями с очень привлекательными молодыми людьми. Нет, не поймите меня неправильно: я не хочу, чтобы вы думали, что мистер Элис какой-то там гомик. Он и не педик, ничего такого. Он — нормальный мужик. Просто нормальный мужик, который любит трахать других мужиков, вот и все. В мире всякой твари по паре, скажу я вам, что оставляет и мне простор и раздолье.

Как в ресторане, где каждый заказывает из меню что-то другое. Chacun a son gout*, простите мне мой французский. Так что все счастливы.

Это было в июле, пару лет назад. Помнится, я стоял на Эрлз-Корт-роуд, смотрел на вывеску «Эрлз-Корт стейшн» и размышлял, откуда взялся апостроф в названии станции, если его нет в названии района, а потом принялся смотреть на наркоту и алкашей, тусующихся на тротуаре у станции, и все это время высматривал, не появится ли «ягуар» мистера Элиса.

Бриллианты во внутреннем кармане макинтоша меня нисколько не тревожили. Я не похож на мужика, у которого есть что-то, ради чего его стоило бы грабить, и я вполне могу о себе позаботиться. Так что я пялился на наркоту и алкашей, убивая время до появления «ягуара» (надо думать, застрявшего посреди дорожных работ на Кенсингтон-Хай-стрит), и спрашивал себя, почему наркоманы и алкоголики сбираются на мостовой у станции подземки «Эрлз-Корт».

Полагаю, наркоту еще можно понять: они ждут дозы. Но что, черт побери, тут делают алкаши? Никто не обязан передавать тебе пинту «гиннеса» или бутылку средства для растирания. И сидеть на мостовой или прислоняться к стене здесь неудобно. Будь я алкоголиком, решил я, в такой чудесный день отправился бы в парк.

Неподалеку пакистанский паренек лет восемнадцати-двадцати оклеивал внутренность стеклянной телефонной будки визитками проституток — ТРАНССЕКСУАЛ С ФОРМАМИ, НАТУРАЛЬНАЯ БЛОНДИНКА, ГРУДАСТАЯ ШКОЛЬНИЦА и СТРОГАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА ИЩЕТ МАЛЬЧИКА ДЛЯ БИТЬЯ. Заметив, что я пялюсь, он бросил на меня сердитый взгляд. Потом, закончив, перешел к следующей будке.

---

* На вкус и цвет товарищей нет.

У обочины затормозил «ягуар» мистера Элиса, и, сделав несколько шагов, я открыл дверцу и сел назад. Это неплохая машина, ей всего года два. У нее есть класс, но на улице — пройдешь мимо и не заметишь.

Шофер и мистер Элис сидели впереди. На заднем сиденье со мной был пухлый человечек, стриженный под ежик и в кричащем клетчатом костюме. Он напомнил мне несостоявшегося жениха в фильме пятидесятых годов, того, которого под конец бросают ради Рока Хадсона.* Я кивнул ему, на что он протянул руку, которую потом убрал, когда я как будто ее не заметил.

Мистер Элис нас не представил, что меня вполне устраивало, поскольку я точно знал, кто он. Я его нашел, на деле я же его и поддел на крючок, хотя он этого никогда не узнает. Он был профессором древних языков в одном из университетов Северной Каролины. Он считал, его одолжил британской разведке госдепартамент США. Ему так сказали, когда вызвали в департамент. Жене профессор сказал, что едет читать доклад на конференции по хеттскому языку в Лондоне. Такая конференция действительно имела место. Я сам ее организовал.

— Почему ты, черт побери, ездишь в подземке? — вопросил мистер Элис.— Не для того же, чтобы сэкономить деньги.

— Я бы думал, что тот факт, что я минут двадцать стоял на углу в ожидании вас, в точности объясняет, почему я не езжу на машине,— сообщил я ему. Ему нравится, что я не падаю тут же на спину и не виляю хвостом. Я — пес с характером.— Средняя скорость транспортного средства по улицам Центрального Лондона в дневное время не изменилась за четыреста лет. Она по-прежнему меньше десяти миль в час. Если есть подземка, спасибо, поеду лучше на поезде.

---

* Рок Хадсон (1925–1985 (от СПИДа)) — американский актер, игравший по большей части героев-любовников, остался в истории кино в основном благодаря внешности.— *Примеч. пер.*

— Вы не водите машину в Лондоне? — спросил профессор в крикливом костюме. Храни нас Господи от вкуса американских ученых. Назовем его Маклеодом.

— Я вожу ночью, когда улицы пусты,— сказал я ему.— После полуночи. Люблю ездить по ночам.

Опустив окно, мистер Элис закурил небольшую сигару. Я не мог не заметить, что руки у него дрожат. От предвкушения, думаю.

А мы все ехали через Эрлз-Корт, мимо сотни высоких зданий красного кирпича, претендующих на роль гостиниц, и сотни еще более жалких строений, приютивших пансионы и ночлежки, по хорошим улицам и по дурным. Иногда Эрлз-Корт напоминает мне одну из тех старух, которые еще встречаются время от времени и которые держатся до боли благопристойно и чопорно, пока не пропустят пару рюмок, а тогда уже начинают танцевать на столах и рассказывать всем в пределах досягаемости, какими горячими штучками они были, когда отсасывали за деньги в Австралии или Кении или в какой другой экзотической стране.

Не думайте, что мне нравится это место, откровенно говоря, это далеко не так. Эрлз-Корт слишком неустойчив, сплошной транзит. Дома, события, люди — все приходит и уходит чертовски быстро. Я не романтик, но в любой день предпочту Саут-Бэнкс или Ист-Энд. Ист-Энд — вот это место, здесь, и нигде больше, все и начинается, и хорошее, и дурное. Это и утроба, и анус Лондона; они всегда поблизости друг от друга. А Эрлз-Корт — ну я даже не знаю что. Любая анатомическая аналогия обваливается, стоит вам здесь очутиться. Думаю, это потому, что Лондон безумен. Синдром расщепления личности, не иначе. Все эти мелкие городки и поселки, которые разрослись и вдавились друг в друга, чтобы создать единую метрополию, но так и не забыли своих старых границ.

И вот шофер тормозит на улочке, ничем не отличающейся от любой другой, перед высоким домом, стоящим

в ряду таких же высоких стандартных домов. Отличие только в том, что этот, возможно, когда-то был гостиницей, да еще в том, что пара окон в нем заколочены.

— Вот этот дом,— сказал шофер.

— Верно,— отозвался мистер Элис.

Обойдя машину, шофер открыл дверь для мистера Элиса. Мы с профессором Маклеодом вышли без посторонней помощи. Я оглядел улицу. Беспокоиться не о чем.

Я постучал, и мы стали ждать. От нечего делать я улыбнулся и кивнул глазку в двери. Щеки мистера Элиса побагровели, и руки он держал скрещенными перед промежностью, чтобы не осрамиться. Завелся старикан.

Ну и со мной такое бывало. Со всеми нами. Только мистер Элис — другое дело, он может себе позволить потакать своим слабостям.

Я так на это смотрю: одни люди нуждаются в любви, другие — нет. Думаю, учитывая всех и вся, мистер Элис — на деле из тех, что «нет». И я тоже. Со временем начинаешь распознавать своих.

И мистер Элис — прежде всего гурман.

С приглушенным звяканьем отодвинулся засов, дверь открыла старуха, каких обычно описывают как «отталкивающего вида». Одета она была в бесформенную черную хламиду, а лицо с мешками под глазами как будто состояло из сплошных углов и морщин. Я вам скажу, как она выглядела. Случалось вам видеть картинки с изображениями булочек с корицей, которые, как говорят, похожи на мать Терезу? Вот так она и выглядела, как плюшка с корицей с двумя коричневыми глазами-изюминами, глядевшими с ее корично-плюшечного лица.

Старуха сказала что-то на языке, которого я даже не распознал, а профессор Маклеод, запинаясь, ответил. Оглядев подозрительно по очереди каждого из нас, карга скорчила рожу и махнула нам заходить. А потом с грохотом захлопнула за нами дверь. Я закрыл сперва один глаз, по-

том другой, давая им возможность привыкнуть к полумраку внутри дома.

Все здание воняло, как распроклятая полка с пряностями. Буквально все в этом деле мне решительно не нравилось; есть что-то в иностранцах, когда они настолько иностранные, как эта ведьма, от чего у меня мурашки ползут по коже. Проходя вслед за этой плюшечной летучей мышью, которую я начал мысленно называть мать-настоятельница и которая вела нас теперь все вверх и вверх по лестнице, я видел и других черноробых женщин, выглядывающих на нас из-за дверей и поворотов коридоров. Ковровая дорожка на лестнице давно уже вытерлась, и подошвы моих ботинок, отрываясь от нее, издавали чавкающие звуки. По стенам осыпающимися комьями свисала старая краска. Это был истинный муравейник, он просто сводил меня с ума. Мистеру Элису не следует приезжать в такие места, в дома, где его нельзя по-настоящему защитить.

Одна за другой в полном безмолвии выглядывали на нас скрюченные карги, а мы все поднимались пролет за пролетом. Старая ведьма с корично-плюшечным лицом говорила с профессором Маклеодом, бросала время от времени несколько непонятных слов, а он, пыхтя и отдуваясь от отдышки, отвечал ей как мог.

— Она хочет знать, привезли ли вы бриллианты? — прохрипел профессор.

— Скажи ей, мы поговорим об этом после того, как осмотрим товар,— ответил мистер Элис. Он не задыхался, и если в его голосе и слышалась легкая дрожь, то это была дрожь предвкушения.

Мистер Элис, насколько мне лично известно, поимел половину подающих надежды кинозвезд-мужчин и больше мужчин-моделей, чем те, на кого вы вообще трясли прибором; он поимел самых хорошеньких мальчиков пяти континентов. Никто из них не знал в точности, кто именно их трахает, но всем им очень хорошо заплатили за труды.

Под самой крышей дома, наверху последнего пролета деревянной без дорожки лестницы оказалась дверь на чердак, а по обеим сторонам ее, будто дубы-близнецы, высились две великанши в черных одеждах. Судя по виду, каждая их них продержалась бы пару раундов против борца сумо. В руках у каждой — и я не шучу — красовался скимитар: они охраняли Сокровище шагинаи. И несло от них, как от пары дряхлых кляч. Даже в полумраке я разглядел заплаты и пятна на их робах.

Мать-настоятельница подступила прямо к ним, белка лицом к лицу с двумя питбулями, а я глядел на их бесстрастные лица и размышлял, откуда они такие взялись. Они вполне могли быть родом с Самоа или из Монголии. Или их вытащили с какой-нибудь фермы по разведению уродов в Турции, а может, в Иране или Индии.

По слову старухи стража освободила проход, и я толкнул дверь. Дверь была не заперта. Я заглянул внутрь, так, на случай неприятностей, вошел, огляделся и кивнул: мол, все чисто. Так что я стал первым мужчиной в этом поколении, кому довелось увидеть Сокровище шагинаи.

Он стоял на коленях у походной койки, голова его была опущена.

Легендарные, вот как надо бы называть шагинаи. Это значит, я никогда в жизни о них не слышал и не знал никого, кто бы слышал, а когда я начал разыскивать их, даже те, кто о них слышали, не верили в их существование.

— В конце концов, дорогой друг,— сказал мой ручной академик из России, передавая мне свой отчет,— вы говорите о расе людей, единственное свидетельство существования которых — полдюжины строк у Геродота, стихотворение в «Тысяче и одной ночи» и речь в «Рукописи, найденной в Сарагосе». Едва ли это можно назвать надежными источниками.

Но слухи дошли до мистера Элиса, и он заинтересовался. А если мистер Элис чего хочет, то я, черт побери, делаю что могу, чтобы он это получил. В данный момент, глядя на

Сокровище шагинаи, мистер Элис выглядел таким довольным, что казалось, того и гляди лопнет от счастья.

Юноша встал. Из-под кровати до половины выглядывал ночной горшок с лужицей ярко-желтой мочи на дне. Роба юноши была из белого хлопка, тонкая и очень чистая. Еще на нем были голубые шелковые шлепанцы.

В комнате было жарко. Горели с громким шипением два газовых рожка, по одному на каждой стене чердака. Мальчик жары как будто не чувствовал. Профессор Маклеод начал сильно потеть.

Согласно легенде, мальчик в белых одеждах — на вид лет семнадцати, не больше восемнадцати — был самым красивым мужчиной на земле. Нетрудно поверить.

Мистер Элис подошел к юноше и принялся осматривать его, будто фермер, выбирающий на рынке теленка: заглянул в рот, попробовал мальчика, заглянул в глаза и в уши, взял его за руки и осмотрел пальцы и ногти, а потом, совершенно деловито, приподнял подол белой робы, чтобы проинспектировать его необрезанный пенис, прежде чем повернуть парня кругом и оглядеть состояние его зада.

И все это время глаза и улыбка Сокровища светились радостью и белизной.

Наконец мистер Элис притянул юношу к себе, чтобы поцеловать — медленно и мягко — в губы. Потом отодвинулся, провел языком по его рту, кивнул и повернулся к Маклеоду.

— Скажи ей, мы его забираем,— сказал мистер Элис.

Профессор Маклеод защелкал и запыхтел что-то матери-настоятельнице, и лицо карги разошлось морщинами коричного счастья. Потом она протянула руки.

— Она хочет, чтобы ей теперь заплатили,— перевел Маклеод.

Я медленно запустил руки во внутренние карманы макинтоша и вытащил сперва один, потом второй два черных бархатных мешочка и оба протянул карге. В каждом мешочке хранилось по пятьдесят безупречных бриллиан-

тов D и E класса, совершенной огранки, каждый — весом свыше пяти карат. Большинство их было скуплено за бесценок в России в середине девяностых. Сотня бриллиантов, сорок миллионов долларов. Старуха вытряхнула несколько штук на ладонь, потыкала в них пальцем. Потом, ссыпав бриллианты назад в мешочек, кивнула.

Когда бархатные мешочки исчезли в складках ее робы, она прошла к лестнице и что было сил выкрикнула что-то на своем непонятном языке.

И по всему дому под нами поднялся вопль, будто разом взвыл цельный клан баньши. Под завывания мы спускались по лестницам, под завывания шли по этому мрачному лабиринту, и юноша в белых одеждах возглавлял процессию. Честное слово, волосы у меня на затылке вставали дыбом от этого воя, а от вони влажного гниения и пряностей я едва не давился блевотиной. Ненавижу иностранцев.

Прежде чем выпустить его из дому, женщины завернули юношу в пару одеял, опасаясь, что он подхватит простуду, несмотря на палящее июльское солнце. Мы запихнули его в машину.

Я проехался с ними до подземки, после чего вышел.

Следующий день, который пришелся на среду, я провел, разбираясь с бардаком в Москве. Слишком много самонадеянных ковбоев. Я молился, что смогу разобраться со всем этим, не выезжая на место лично: от их кормежки у меня запор.

С возрастом я езжу все меньше и меньше, и если уж на то пошло, мне этот город никогда особо не нравился. Но я еще могу применить себя в деле, когда понадобится. Мистер Элис сказал, что боится, что Максвелла придется убрать с доски. Я сказал, что займусь этим сам и ничего больше не желаю об этом слышать. От Максвелла всегда можно ждать чего угодно. Мелкая рыбешка с большим ртом и гнилым характером.

Самый удовлетворительный всплеск, какой мне доводилось слышать.

К вечеру среды я был натянут, как пара вигвамов, так что позвонил знакомому мужику, и на квартиру в Барбикене мне привезли Дженни. Это привело меня в сносное настроение. Хорошая она девчонка, эта Дженни. И совсем не гулящая. За словами следит и дело знает.

Я был очень-очень нежен с ней той ночью, а потом сунул ей банкноту в двадцать фунтов.

— Но это совсем ни к чему,— пыталась возразить она.— Все улажено.

— Купи себе что-нибудь шальное.— Я взъерошил ей волосы.— Это шальные деньги.

На что она улыбнулась, как школьница.

В четверг был звонок от секретаря мистера Элиса, мол, все удовлетворительно и я должен заплатить профессору Маклеоду.

Мы поселили профессора в «Савое». Так вот, большинство доехало бы подземкой до Чэпинг-Кросс или набережной Виктории и прошли до «Савоя» по Стрэнду. Не по мне. Я доехал до вокзала Ватерлоо и прогулялся на север через мост Ватерлоо. Это на пару минут дольше, но вид ни с чем не сравнимый.

Когда я был мальчишкой, один из ребят в дортуаре детдома рассказывал, что если задержать дыхание и дотянуть так до середины моста над Темзой, то там можно загадать желание и оно обязательно сбудется. Мне никогда не о чем было желать, но я проделываю это как упражнение для дыхалки.

Из телефонной будки у опоры моста Ватерлоо (ГРУДАСТУЮ ШКОЛЬНИЦУ НУЖНО НАКАЗАТЬ. СВЯЖИ МЕНЯ — ПРИВЯЖИ МЕНЯ. НОВЕНЬКАЯ БЛОНДИНКА В ГОРОДЕ) я позвонил в номер Маклеода. Сказал, чтоб спускался вниз, я встречу его на мосту.

Его костюм был, если такое возможно, в еще более кричащую клетку, чем во вторник. Он отдал мне коричнево-

желтый конверт, набитый компьютерными распечатками: что-то вроде самопального разговорника шагинаи-английского. *«Ты голоден?» «Пора мыться». «Открой рот».* Все, что может потребоваться мистеру Элису.

Я убрал конверт в карман макинтоша.

— Как насчет того, чтобы поглядеть город? — спросил я, и профессор Маклеод ответил, что всегда хорошо осматривать город с тем, кто в нем родился.

— Эта работа — филологический курьез и лингвистическое наслаждение,— сказал Маклеод, пока мы шли по набережной Виктории.— Шагинаи говорят на языке, у которого есть много общего и с арамейской, и с угро-финской группой. Это — язык, на котором мог бы говорить Христос, реши он составить послание первобытным эстонцам, К тому же в нем очень мало заимствованных слов. У меня есть теория, что они, наверное, не раз и не два были вынуждены внезапно спасаться бегством. Моя оплата при вас?

Я кивнул. Достал из кармана пиджака свой старый, телячьей кожи бумажник, а оттуда узкую ярко раскрашенную картонку билета.

— Вот и он.

Мы подходили к мосту Блэкфрайарз.

— Он настоящий?

— Конечно. Государственная лотерея Нью-Йорка. Билет вы купили ни с того ни с сего в аэропорту перед вылетом в Англию. Результаты огласят в субботу вечером. Неделя должна выдаться неплохой. Уже сейчас больше двадцати миллионов долларов.

Он убрал лотерейный билет в собственный бумажник — черный и блестящий и вздувшийся от пластика, а бумажник убрал во внутренний карман пиджака. Его руки то и дело возвращались к карману, оглаживали его — так владелец, сам того не сознавая, удостоверялся, что сокровище на месте. Он был бы великолепной добычей для любого карманника, который пожелал бы узнать, где этот лох держит ценные вещи.

— За это надо выпить,— возвестил Маклеод.

Я согласился, что да, надо, но указал, что такой день, как этот — с сияющим солнцем и свежим бризом с моря,— слишком жалко терять в пабе. Так что мы отправились в винный. Я купил бутылку «Столичной», пакет с апельсиновым соком и пластиковый стаканчик ему и пару банок «гиннеса» себе.

— Дело в мужчинах, понимаете,— сказал профессор, когда мы уже сидели на деревянной скамейке лицом к Саут-Бэнксу на той стороне Темзы.— Очевидно, их не так много. Один-два на поколение. Сокровище шагинаи. Женщины — хранительницы и опекунши мужчин. Они вскармливают их, лелеют, берегут от зла. Говорят, Александр Македонский купил себе любовника у шагинаи. И Тиберий тоже, и по меньшей мере два Папы Римских. По слухам, один такой был у Екатерины Великой, но думаю, это враки.

Я сказал ему, что думал, будто шагинаи — это из области сказок.

— Я хочу сказать, только подумайте. Целая раса людей, единственное достояние которой — красота их мужчин. Так что раз в столетие они продают одного из своих мужчин за сумму, которая позволит племени протянуть еще сотню лет.— Я отхлебнул «гиннеса».— Как по-вашему, женщины в том доме — это все племя?

— Сомневаюсь.

Он долил в пластиковый стакан на палец водки, плеснул еще сока и поднял в мою сторону стакан.

— Мистер Элис,— сказал он,— он, наверное, очень богат.

— Что да, то да.

— Я не голубой,— Маклеод был пьянее, чем думал, на лбу у него проступили капли пота,— но я трахнул бы мальчишку прямо на месте. Он самое красивое — не знаю, как даже назвать,— что я когда-либо видел.

— Думаю, он в порядке.

— Вы не трахнули бы его?

— Не в моем вкусе,— отозвался я.

По дороге за нами проехало черное такси; оранжевый огонек, означающий «свободно», был отключен, хотя сзади никого и не было.

— А что же тогда в вашем вкусе? — поинтересовался профессор Маклеод.

— Маленькие девочки,— ответил я.

Он сглотнул.

— Насколько маленькие?

— Лет девять. Десять. Быть может, одиннадцать или двенадцать. Как только у них отрастает грудь и волосы на лобке, у меня уже не встает. Меня уже не заводит.

Он поглядел на меня так, как если бы я сказал ему, что мне нравится трахать дохлых собак, и какое-то время молчал, только пил свою «Столичную».

— Знаете,— сказал он наконец,— там, откуда я приехал, подобного рода вещи противозаконны.

— Ну, здесь тоже к этому не слишком благосклонны.

— Думаю, мне следует возвращаться в отель,— сказал он.

Из-за угла вывернула черная машина, на этот раз оранжевый огонек светился. Подозвав ее жестом, я помог профессору Маклеоду сесть назад. Это — одно из наших Особых Такси. Из тех, в которые садишься и больше уже не выходишь.

— В «Савой», пожалуйста,— сказал я таксисту.

— Слуш'юсь, начальник,— отозвался он и увез профессора Маклеода.

Мистер Элис хорошо заботился о мальчике-шагинаи. Когда бы я ни приходил на совещания или доклады, мальчик всегда сидел у ног мистера Элиса, а мистер Элис крутил в пальцах, и гладил, и играл его черными кудрями. Они обожали друг друга, любому было видно. Это смотрелось

глупо и сентиментально, и, должен признать, даже для бессердечного ублюдка вроде меня, трогательно.

Иногда ночами мне снились женщины шагинаи, эти отдающие мертвечиной, похожие на летучих мышей карги, бьющие крылами и устраивающиеся по насестам в огромном и гниющем старом доме, который был одновременно и Историей Человечества, и «Приютом Святого Андрея». Взмахивая крылами, некоторые взмывали вверх, унося в когтях мужчин. А мужчины сияли, как солнца, и лица их были слишком прекрасны для людских взоров.

Я ненавидел эти сны. Такой сон — и весь следующий день насмарку, точно как в, черт побери, аптеке.

Самый красивый человек на земле, Сокровище шагинаи, протянул восемь месяцев. А потом подхватил грипп.

Температура у него поднялась до сорока четырех, легкие наполнились водой, он тонул посреди суши. Мистер Элис собрал с полдюжины лучших врачей со всего света, но парнишка просто мигнул и погас, как старая лампочка, так все и кончилось.

Думаю, они просто не слишком уж крепкие. Растили их, в конце концов, для другого, не для выносливости.

Мистер Элис взаправду принял это близко к сердцу. Он был безутешен: рыдал, как дитя, все похороны напролет, слезы катились у него по лицу, будто у матери, которая только что потеряла единственного сына. Небо мочилось дождем, так что, если не стоять с ним рядом, даже и не узнаешь. Мне это кладбище стоило пары взапрямь хороших ботинок, так что настроение у меня было прескверное.

Я сидел в квартире на Барбикэн: практиковался в метании ножа, сварил спагетти с соусом по-болонски, посмотрел футбол по телику.

Той ночью у меня была Элисон. Приятного было мало.

На следующий день я взял десяток хороших парней и отправился с ними в дом в Эрлз-Корт поглядеть, не осталось ли там кого еще из шагинаи. Должны же еще где-то

быть молодые мужчины племени. Простая логика, и ничего больше.

Но штукатурка на гниющих стенах была заклеена краденными рок-плакатами, и во всем доме пахло опиумом, а не пряностями.

Крольчатник-лабиринт был забит австралийцами и новозеландцами. Сквоттеры, надо думать. Мы застали их в кухне за отсасыванием наркотического дыма из горлышка разбитой бутылки «лимонада Р. Уайта».

Мы обшарили дом с подвала до чердака в поисках хоть какого-нибудь следа женщин шагинаи, хотя бы чего-нибудь, что они оставили по себе, какой-нибудь зацепки, чего угодно, чем порадовать мистера Элиса.

Мы не нашли ничего, совершенно ничего.

Все, что я унес с собой из дома в Эрлз-Корт,— воспоминание о груди девчонки, обкурившейся до забвения, спящей голой в комнате наверху. И никаких штор на окнах.

Стоя в дверном проеме, я глядел на нее чуть дольше, чем следовало, и эта картинка отпечаталась у меня в мозгу: полная с черным соском грудь, тревожный овал в едко-желтом свете уличных фонарей.

Деннис Л. Маккиернан

ТЬМА

Темно — всегда,
Свет только прячет Тьму.
Дэнниел Киен Маккиернан



акси въехало в открытые чугунные ворота и покатило по подъездной дороге, обе стороны которой чернели в морозящем мраке плакучими ивами. Харлоу на заднем сиденье наклонился вперед, чтобы лучше видеть.

У-у-ух ты!

Лунные лучи косо падали на снег, там и сям высвечивали причудливо постриженные деревья и кусты, отражались от льда декоративного пруда, ложились на снег, укрывавший восьмиугольную крышу беседки над прудом. Впереди показался дом — старинный, белый, двухэтажный, изящных пропорций.

«По меньшей мере двадцать — двадцать пять комнат. Может быть, по одной на каждый год моей жизни!»

Когда такси остановилось перед крыльцом, Харлоу увидел, что в дверях, загораживая глаза от яркого света фар, стоит кто-то. В обтянутой перчаткой руке поблескивали ключи.

Харлоу вышел из машины.

— Мистер Максон?

© Перевод. И. Гурова, 2005.

Высокий седовласый мужчина шагнул вперед по единственной широкой ступеньке перед дверью, снял перчатку и протянул руку, показав в улыбке крупные зубы. Он сказал:

— Мистер Уинтон, я полагаю?

Они обменялись рукопожатием. Ладонь и пальцы Максона были очень холодными.

Таксист извлек из багажника дешевый чемодан и поставил на широкую ступеньку.

— С вас шестнадцать долларов.

— Припишите к моему счету, Родди,— сказал Максон.

Таксист приложил палец к козырьку фуражки и забрался в свою машину.

Когда такси отъехало, Максон побрякал ключами и негромко произнес:

— Так приступим,— и повернулся к двери.

Подхватив свой чемодан из искусственной кожи, Харлоу последовал за ним и переступил порог в тот момент, когда Максон щелкнул выключателем. Этот звук повторился всюду в доме, и свет залил вестибюль и комнаты за ним, как внизу, так и наверху.

— Ах ты...— Харлоу поставил чемодан, сощурился от слепящей яркости и посмотрел на нотариуса, чье лицо в этом сиянии выглядело бледным, землистым, почти как у трупа.

— Ваш двоюродный дед, Харлоу, был крайне своеобразным человеком, и вы — последний в его роду.

— Да, но такое освещение... Счет за электричество должен быть колоссальным.

— Он может себе это позволить... то есть мог.

Максон закрыл дверь и снял пальто.

— Как сможете и вы, если захотите. Будь дом моим, я бы отказался от этой иллюминации и вернул бы дому его изящество и уютность, что вы также можете себе позволить. Собственно говоря, в пределах разумного вы вообще можете себе ни в чем не отказывать. Завещание вашего

деда ограничивает вас лишь в одном: согласно его условиям, родственник, который ему наследует, должен жить тут или лишиться всего: капитала, дома, ну, словом, всего.

— Никаких возражений,— сказал Харлоу со смехом.— Но, господи, неужели должны гореть все лампы? Нельзя ли погасить часть?

— Боюсь, что нет,— ответил Максон, покачав головой.— Они либо все горят, либо все гаснут.

Харлоу поднял бровь.

— И этот выключатель один на них всех?

— Нет, но каждый выключатель в доме зажигает или гасит их все. Насколько я понимаю, они все подсоединены к одному пульту, и лампочки загораются и гаснут одновременно. То же можно делать и с помощью дистанционного управления — то есть зажигать и гасить свет во всем доме разом.

— Пульт дистанционного управления как у телевизора?

Максон кивнул.

— Дайте-ка мне вашу парку, и осмотрим дом.

Харлоу стянул куртку, отдал ее Максону, и нотариус открыл дверцу в озаренный светом стенной шкаф.

Глаза у Харлоу полезли на лоб.

— Как? И стенные шкафы тоже?

— Даже и они,— ответил Максон, вешая пальто и куртку. Он было протянул руку к чемодану, но Харлоу сказал:

— Нет-нет, разрешите, я сам.— И поставил чемодан в шкаф. Максон улыбнулся энергичному молодому человеку.

— Ну-с, приступим к осмотру.

Все комнаты, все помещения в доме освещались панелями, вделанными в потолки и стены. Обставлены комнаты были очень скудно, а немногочисленные предметы меблировки были из литого стекла, или прозрачной пластмассы, или сходных материалов. А там, где стояла обычная мебель, панели располагались так, чтобы свет падал и под нее. Панели сияли даже под огромной старомодной кроватью.

— Чудовищам тут негде притаиться,— заметил Харлоу.— Даже чуланы от них застрахованы.

Когда они обошли комнаты первого этажа, Харлоу спросил:

— И во всем доме так?

Максон кивнул и повел его на кухню, где панели светили и внутри шкафчиков, хотя полки и дверцы были из прозрачного стекла, как и посуда на этих полках. Прозрачными были и разные кухонные принадлежности, хранившиеся в ящиках, освещенных изнутри. Освещены снаружи и внутри были также плита, холодильник и прочее оборудование.

— Ого-го-го! — сказал Харлоу.

— Именно,— ответил Максон и открыл дверь в ярко освещенный гараж. Внутри помещался большой работающий на бензине генератор «Хонда». Его выхлопная труба из прозрачной пластмассы вела к вентиляционному отверстию в стене. Он не работал, однако мог быть включен в любую минуту. Еще в гараже стоял «БМВ» — от него к стене вел электрический кабель, и внутри машина была ярко освещена.

— Даже автомобиль?

Снова Максон кивнул.

— В багажнике стоят на подзарядке аккумуляторы, обеспечивающие внутреннее освещение.

Перчаточник, багажник, пространство под сиденьями, внутри приборной доски, под капотом — все озарялось многочисленными лампочками.

Харлоу нахмурился:

— Со всем этим светом внутри машины разве мог он ездить с наступлением темноты?

— Нет,— ответил Максон.— С наступлением темноты он никуда не ездил. Но хотел быть готов на всякий случай.

— На случай чего?

Максон пожал плечами:

— На случай необходимости, я полагаю.

— Он всегда был таким? Я ведь ничего о нем не знаю. Я вообще не знал даже, что у меня был двоюродный дед, пока вы не нашли меня.

— Большая удача,— сказал Максон.— Не то все это досталось бы штату Массачусетс. Не отыщи я вас.

— Ну, я очень этому рад. Но все-таки: он всегда был таким?

— Нет. В молодости, примерно в ваши годы, он путешествовал по всему миру. Африка, Индия, Тибет, Восток, по пустыням и дебрям — ну, где хотите. Он побывал повсюду. А потом вдруг покончил с путешествиями. Заперся в этом доме. Нанял монтеров, чтобы осветить в нем каждый уголок. Путеводный свет во тьме, фигурально выражаясь. Соседи прозвали этот дом «маяком».

Когда они вернулись в кухню, Харлоу вздохнул.

— Да уж, что так, то так. Нигде ни единой тени. Он боялся темноты?

— Возможно,— сказал Максон, направляясь по коридору в вестибюль.— Как я упомянул, он никогда не выходил из дома с наступлением сумерек.

— Интересно, что он делал бы, если бы электроэнергию отключили? — сказал Харлоу, оглядываясь по сторонам.

Максон открыл стенной шкаф и ответил, надевая пальто:

— Да ничего. В этом случае включились бы аккумуляторы, потом заработал бы генератор в гараже.

— А! — Харлоу проводил Максона до двери, а когда нотариус вышел в снежную мглу ноябрьского вечера, спросил его: — Да, кстати, отчего он умер?

— Сердце не выдержало. Экономка нашла его в комнате развлечений. Он, кажется, смотрел какую-то телевизионную программу.

Харлоу ткнул большим пальцем через плечо.

— При таком бешеном свете?

Максон сделал неопределенный жест.

— Хм,— задумчиво произнес Харлоу.— Тем не менее жаль, что я не был с ним знаком. Возможно, он мне понравился бы.

— Вполне возможно. Он похоронен на семейном кладбище в дальнем конце участка.— Максон взглянул на часы.— Ну меня ждут в другом месте. Я заеду завтра вечером, и мы займемся всякими формальностями, в частности, вашим банковским счетом.

— А... Нельзя ли заняться ими днем? Без этого бешеного света?

— Сожалею, Харлоу. До завтрашнего вечера у меня просто нет ни минуты свободной.

— Я не знал... Ну, так завтра вечером. А когда точно?

— Скажем, в восемь?

— Мне подходит.

— Ах да! — сказал Максон, пошарив в кармане пиджака.— Это ваши.— Он протянул Харлоу кольцо с ключами.— Ну, я пойду. Спокойной ночи.

— Погодите! Как вы доберетесь?

— Это недалеко,— ответил Максон.— А мне невредно размять ноги.

Харлоу следил, как нотариус удаляется по подъездной дороге. Хотя луна по-прежнему сияла, он, казалось, растворился среди теней. Когда Максон исчез из виду, Харлоу закрыл дверь и вернулся внутрь озаренного светом дома.

Следующие три дня Харлоу знакомился с домом и участком площадью пятьдесят четыре акра. Отыскал семейное кладбище, нашел в рощице к северу развалины старой хижины, немножко посидел в занесенной снегом беседке, озирая свой новый мир. И все это время он размышлял о своем будущем. Впервые в жизни у Харлоу появились деньги. Нет, конечно, бродягой он не был никогда, но вот иметь — практически ничего не имел, даже родственников — ни матери, ни отца, ни приемных родителей, и воспитывался (если тут подходит это слово) в детском при-

юге. И вот теперь все это изменилось: у него появились родственники, которых, правда, он никогда не видел, но тем не менее родственники, похороненные здесь же рядом на довольно обширном семейном кладбище, где на многих могильных плитах не было ни дат, ни имен. И пусть: благодаря одному из них, прежде неведомому ему двоюродному дедушке, теперь он мог тратить деньги не считая. Ему двадцать пять, он достаточно богат, а от него требуется просто жить в этом чудесном доме... то есть доме, который станет чудесным, как только он избавится от этого бешеного света — он решил последовать совету Максона и вернуть дому его былой изысканный уют. А потом он сможет подумать и о том, чтобы найти какое-нибудь занятие, сделать карьеру, хотя Максон и сказал, что ему больше никогда не придется работать.

Он нанял экономку и кухарку, но они отказались оставаться в доме на ночь, жалуясь, что свет уж слишком яркий. Однако Харлоу подозревал, что дело не только в этом,— он часто замечал, как они о чем-то шепчутся, а кухарка, католичка с латиноамериканской кровью в жилах, часто осеняла себя крестным знамением.

Хотя монтеры, краснодеревщики и специалист по интерьерам трудились полные рабочие дни, потребовалось почти три месяца, чтобы дом Харлоу обрел нормальный вид. Световые панели были убраны, стены и потолки отремонтированы, нормальные розетки и выключатели установлены, бешеный свет сменился мягким сиянием изящных ламп, стеклянную мебель заменила дубовая. Жуткую пластмассовую полупрозрачную мебель, посуду и прочее Харлоу пожертвовал благотворительной организации, а их место заняли сработанные со вкусом и удобные изделия. Кроме того, «БМВ» вновь превратился в нормальный автомобиль: мощные внутренние светильники были сняты, аккумуляторы с подзарядным устройством убраны из багажника. Харлоу сохранил только генератор: электричество ведь может отключиться в любую минуту.

Пока шли все эти работы. Генри, один из мастеров, сообщил, что он исправил центральный пульт.

— Это же была устарелая модель «Икс-тридцать». А она с приветом.

— Приветом?

— Ну, с недостатком. Просчет в схеме.

— Какой же?

— Ну, понимаете, в случае падения напряжения реле не срабатывает. Свет гаснет, но аварийное переключение не срабатывает потому, что «Икс-тридцать» все еще регистрирует напряжение, пусть совсем слабое.

— Вот как?

— Ну да. Беда-то небольшая: надо было просто нажать аварийную кнопку на пульте дистанционного управления. Аварийные лампы загорелись бы и горели, пока напряжение не восстановилось бы.— Генри перекусил еще один проводок.— Ну, а «Икс-сорок» такого не допустит.

— А не случилось ли это с моим дедом? Падение напряжения, имею я в виду.

Генри пожал плечами и продолжал возиться с проводками.

Тут Харлоу позвали решить, какой узор на сервизе ему больше по вкусу.

Работа продолжалась.

И продолжалась.

Пока наконец не завершилась.

Когда последний рабочий — водопроводчик — убрал чемоданчик с инструментами в свой «пикап» и укатил, Харлоу повернулся и вошел в свой теперь уютный и удобный дом.

Прокричав всему миру, что его творение живет, ликующий Колин Клайв ухватился за край лабораторного стола и возвел глаза к небу с благоговением, торжеством и недоверчивым изумлением.

«Черт, до чего мне нравится старая киноклассика!»

Харлоу развалился в сделанном на заказ кресле перед телеэкраном, на котором сменялись черно-белые кадры. И тут...

— Какого дья...

Уголком глаза Харлоу заметил перемещение тьмы в тускло освещенной комнате, однако когда он обернулся, то ничего не увидел, то есть ничего, кроме сплетения теней у кушетки.

«Хм-м... мерцание экрана».

И все-таки у него по коже побежали мурашки от неясного дурного предчувствия. В дрожащем свете — история Франкенштейна развивалась дальше — Харлоу поднялся на ноги и осмотрел затемненную комнату. Ничего. Никого. Полная пустота, если не считать мерцания и теней.

Подавив смутную тревогу, Харлоу прошел на кухню. Достал бутылку «Сэма Адамса» и сделал большой глоток. Захватив пиво с собой, он вернулся к телевизору и начал смотреть на запуск змеев в грозовые пронизанные молниями тучи.

Прошла ничем особенным не отмеченная неделя, потом вторая. Но на третьей Харлоу по вечерам все чаще краешком глаза замечал какое-то быстрое движение, однако, взглянув прямо, видел только лежащие тени.

И снова он ощущал неясную тревогу.

Теперь Харлоу приближался к неосвещенным комнатам с легким трепетом.

«Иди же, идиот! Бояться нечего. Просто инстинктивная реакция, закодированная в генах. Отрыжка эпохи пещерных людей, а может, и времени, когда мы еще не слезли с деревьев. Не страх темноты, а страх неизвестного».

И все равно он чувствовал, что нечто таится в тенях позади него или подстерегает в тенях впереди.

«Черт, у меня слишком разыгралось воображение!»

Потом наступила ночь, когда Харлоу в парализованном состоянии между бодрствованием и сном застонал от ужа-

са, потому что нечто темное стояло во тьме в ногах его кровати, черное на черном — нечто зловещее, нечто безмолвное, нечто следящее за ним.

Сердце у него отчаянно колотилось, он обливался потом, его стоны переходили в испуганные завывания, но тут Харлоу заставил себя полностью проснуться и, задыхаясь, начал нашаривать выключатель лампы на тумбочке, наконец нашел его, включил свет и не увидел никого и ничего — вообще ничего в ногах своей кровати.

«Господи, я начинаю пугаться теней!»

Совсем измученный, Харлоу заснул еще очень не скоро.

На следующий день Харлоу приобрел собаку, ротвейлера. Но пес словно занервничал в непривычной обстановке — во всяком случае, так решил Харлоу,— и в дом его пришлось затаскивать буквально силком. При первом же представившемся ему случае пес выскочил за дверь. Больше Харлоу его не видел.

«Сукин сын!»

Во время ремонта Харлоу установил в доме систему сигнализации, подключенную к каждой двери, к каждому окну, а несколько нижних комнат были снабжены детекторами, регистрировавшими теплоту тела плюс движение. Он сам несколько раз нечаянно включал систему, пока не запомнил все коды и не перестал забывать, когда ее следует отключить. И чертов вой электронной сирены заставлял его подпрыгнуть чуть не до небес. Но он был единственным человеком, вообще единственным, кто включал сигнал тревоги, поступавший в пункт охраны, а оттуда в полицию.

Как-то вечером после прогулки Харлоу, войдя в дом, открыл дверцу стенного шкафа...

— Черт! — завопил он и отпрыгнул, потому что в темноте нечто черное извернулось и исчезло. Сердце грозило выскочить у него из груди, и он зажег лампочку внутри шкафа. Ничего — только два костюма на вешалке. Харлоу

выключил лампочку и задвигал дверцей взад-вперед, следя за ее тенью. Нет, то было что-то другое.

Дни шли за днями, и Харлоу продолжал замечать какое-то движение во тьме, а иногда кто-то или что-то маячило во мраке в ногах его кровати.

«Черт, неудивительно, что мой дедушка устроил такую иллюминацию в этом до... О господи! Но погодите!»

Он подошел к телефону и набрал номер.

— Говорит Харлоу Уинтон. Попросите его позвонить мне. Да, именно У-и-н-т-о-н. У него есть мой номер.

Вечером телефон зазвонил.

— Уинтон слушает... А, Артур, спасибо, что позвонили... Да-да, у меня все прекрасно... Что?.. Совершенно верно... Скажите... мой дед, в каком положении его нашли? То есть вы говорили, что он... Да, конечно. Смотрел телевизор. Но откуда вы... Ах так. Пульт дистанционного управления в руке? Телевизионного? О господи... Нет-нет. Никакой особой причины. Чистое любопытство,— Харлоу вздохнул и посмотрел по сторонам.— Спасибо, Артур. Да-да, спасибо.

«Черт! Он схватил телевизионный пульт, а не включавший свет!»

Харлоу положил трубку и отошел от бюро, в первый раз заметив, какой черной была тень под ним.

После ответного звонка Максона все пошло еще хуже. Ощущение, что нечто маячит во тьме у него за спиной или ждет среди теней соседней комнаты, стало нестерпимым. Теперь Харлоу, прежде чем войти в темную комнату, просовывал руку в дверь и нащупывал выключатель, а затем таким же маневром гасил свет в комнате, из которой уходил. А иногда ему казалось, что краешком глаза он замечает, как тени, извиваясь, ползут за ним.

А иногда ему казалось, что он слышит медленное дыхание. Но когда он прислушивался... тишина.

«О господи! Я схожу с ума или тут правда что-то прячется? А если что-то тут прячется... если здесь есть что-то, тогда мне нужно выбраться отсюда. Но погоди... Нет, я не

могу уехать. Я же все потеряю. Я должен жить здесь, в этом доме, в доме, где мой дед умер в темноте... от ужаса, я полагаю. Или, может быть, его убило ОНО?

Проходили дни. Проходили ночи. И страхи Харлоу росли и росли. И по мере того как усиливался его ужас перед тьмой, крепло и его желание избавиться от этого ОНО.

«Мне необходимо покончить с ним. Но как? Снова установить все эти панели? Вернуть бешеный свет? Эту безобразную прозрачную мебель? Нет уж! Я отделался от чертова хлама и ни за что его не верну. К тому же этот способ использовал мой дед и чего добился? Погиб. Был убит ужасом. Нет, я хочу, чтобы ОНО исчезло навсегда, а не просто пряталось от света».

У него в животе словно угнездился колючий ком, и каждый день, каждую ночь впивался все сильнее, сильнее... Харлоу почти перестал есть и начал худеть. Руки у него дрожали не переставая.

И он разговаривал сам с собой. Шепотом.

И он совсем измучился, потому что ему не удавалось уснуть днем, как он ни пытался. В приюте их отправляли спать в десять вечера, а утром будили в шесть, и он уже не мог иначе. Однако, хотя спать он ложился, как обычно, он не мог заставить себя погасить свет и спал с горящей лампой — если это можно было назвать сном. Дверь стенного шкафа была открыта, и в нем тоже горел свет.

А потом наступила ночь, когда Харлоу прыгнул в постель с расстояния двух-трех шагов, лишь бы не приблизиться ко тьме под кроватью.

«Господи, что со мной? Я же не ребенок!»

Но он продолжал прыгать в кровать издалека. А просыпаясь даже при солнечном свете, прыгал на пол как мог дальше.

И он начал заикаться.

А по ночам время от времени он слышал, как ОНО бродит по комнатам, по коридорам, вверх-вниз по лестнице. Он был уверен в этом. И да — слышал он не приглушен-

ные, крадущиеся шаги, но змеиные шорохи, будто холодный ветер ворошил сухие листья.

И с проходящими днями и ночами Харлоу все больше превращался в обтянутый кожей скелет, а чернота двигалась и шуршала, извиваясь среди теней, и ОНО рыскало во тьме.

А его экономка и кухарка по-прежнему отказывались ночевать в доме, теперь жалуясь, что в нем слишком темно. Они уходили, когда солнце еще только касалось края горизонта, и возвращались, когда оно было уже высоко в небе.

Был ветреный мартовский вечер, когда в дверь позвонили, и Харлоу, зажигая по дороге свет всюду, где проходил, вошел в вестибюль, открыл ее и увидел на пороге Максона.

— Те-те-те, Харлоу,— сказал седовласый нотариус.— Что-то вы похудели, побледнели. Плохо спите?

— Быстрее, быстрее, А-Артур, входите же. Там т-т-темно. Входите же!

— Я бы не стал, Харлоу. Телохранитель, чтобы защищать вас от теней!

Харлоу захихикал. Вздрогнув при этих звуках, он хлопнул себя ладонью по губам. Потом зашептал сквозь растопыренные пальцы:

— С-с-совсем свихнулся?

Было неясно, сказал ли он это себе или Артуру Максону.

— Вы не обращались к врачу?

— К психиатру, а?

— Нет. К терапевту. Вы выглядите постаревшим лет на двадцать.

И снова Харлоу захихикал.

— Вы меня тревожите, мой мальчик. Вам необходимо поднабраться сил.

— Я п-п-подумываю в-в-выбраться отсюда. Тут что-то водится. Что-то жуткое.

— Ах, Харлоу, не говорите так! Вы же потеряете огромное состояние. К тому же я многие долгие годы занимался делами этого владения и, конечно, буду и дальше служить его интересам еще многие долгие годы. А потому, мой мальчик, я хочу, чтобы вы остались и занялись своим здоровьем. Это наилучший выход для всех.

Артур настаивал, чтобы Харлоу не сдавался, а просто занялся собой, а Харлоу зажимал рот ладонью, чтобы удержать хихиканье, на чем разговор и исчерпался.

Вечер завершился тем, что Харлоу, стоя почти в центре ярко освещенного вестибюля, смотрел, как Артур широким шагом удаляется от дома, чтобы раствориться во тьме ночи.

Шли недели, тени двигались, и чернота дышала, и что-то стояло во тьме за ней. И на протяжении этих недель Харлоу продолжал чахнуть, теряя последние силы в накатывающихся волнах страха. И все чаще он принимался бессмысленно бормотать вслух, шептать сквозь хихиканье. Тем не менее он цеплялся за одну разумную мысль... или казавшуюся ему разумной.

«Я хочу, чтобы ОНО, чем бы ОНО ни было, не просто исчезло, а нашло бы смерть».

Харлоу начал перебирать в уме типы оружия — пистолеты, дробовики, ружья — такое, какое убивает наверняка. И тут он вспомнил, как Гарри Кэллахан говорил, что револьвер сорок четвертого калибра — самое мощное ручное огнестрельное оружие в мире, способное напрочь отстрелить голову.

«Мне такое и нужно — чтобы отстрелить ему голову напрочь».

И тут же Харлоу столкнулся с неразрешимой проблемой: как убить то, чего не видишь, то, что бежит от света?

«Как я сумею выстрелить в это? Мне же надо знать, где ОНО. Мне нужно ясно его видеть. Но я же не способен видеть в тем...

Погоди! Вот оно! Прибор ночного видения! Или как он там называется? Неважно. То, чем пользуются в армии, чтобы видеть в темноте. Вроде очков. Надеваешь их на голову, как этот тип в «Молчании ягнят»... Баффало Билл... Ага! Баффало Бил,— и они стократ усиливают даже самый слабый свет...»

Голова его переполнилась мыслями, планами, и Харлоу в эту ночь почти не сомкнул глаз. Он сидел на кровати, закутавшись в одеяло под подбородок, и хихикал, радуясь своему тайному плану, а потом прижал ладонь к губам, чтобы не выболтать все вслух... и следил, как бесшумные тени скользят вверх по ступенькам и по стенам коридора за открытой дверью спальни, сразу за пределами света.

На следующий день он купил револьвер сорок четвертого калибра, оружие Грязного Гарри. Продавец рекомендовал пятидесятикалиберного «Орла Пустыни», но Харлоу заявил, что ему нужен «смит-вессон» сорок четвертого калибра. Причем немедленно. Продавец заметил машину тощего пугала и, увидев у него в руке толстую пачку банкнот, тут же временно закрыл магазин, опустил шторы и зажег все лампы — как потребовало пугало с проваленными глазами, пятясь от самых прозрачных теней. Тогда продавец сказал, что один-единственный раз он готов сделать исключение и продать револьвер сейчас же. Никаких проволочек. Никакого разрешения. А к тому же у него оказались и очки ночного видения — за хорошую цену. Лазерный прицел Харлоу отверг: хотя красный луч был и очень тонок, это тем не менее был свет, и он мог вспугнуть ОНО.

Унимая дрожь в руках, Харлоу поехал домой, внимательно следя за тем, чтобы ненароком не превысить скорость, не забыть включить сигнал поворота, и свято соблюдал все прочие правила уличного движения. Он не хотел, чтобы регулировщики остановили его машину. Нет, ни в коем случае! Они ведь могли отобрать пистолет!

Он изнывал от нетерпения, ожидая, чтобы экономка и кухарка наконец убрались, а тогда, слыша, как колотится

сердце, сел к кухонному столу и зарядил «смит-вессон», вложив разрывные пули в каждую камору.

«Будет только справедливо, если я убью ОНО в комнате развлечений. Ведь там ОНО воспользовалось падением напряжения и убило моего деда, когда реле не сработало и свет погас. Убило его ночью, во тьме, именно так, как я его убью».

Харлоу взял очки ночного видения, надел их и приладил к голове, старательно избегая случайно включить усилитель.

«Ни в коем случае нельзя перегрузить очки, пока еще светло. Лучше дождаться глубокой ночи. Да, именно глубокой ночи. Вот когда я это сделаю. Когда тьма заполнит все уголки и закоулки в доме. Честная игра и все такое прочее».

Харлоу испустил смешок, хриплый от страха, но тут же плотно сжал губы, чтобы не выдать тайны.

Уже приближалась полночь, когда — с револьвером в руке, с очками на лбу — Харлоу вышел из кухни, зажигая лампы впереди, гася их позади.

«Не хочу, чтобы где-то осталась горящая лампа, когда я щелкну последним выключателем и погружу все во тьму».

Его сердце стучало от ужаса.

Но потные пальцы сжимали револьвер сорок четвертого калибра.

Наконец он вошел в комнату развлечений.

Ловя ртом воздух, он прошел по ней, гася все лампы, кроме одной, и тени прокрадывались внутрь, сгущались вокруг.

Весь скользкий от пота, ощущая сухость во рту, Харлоу вытер ладони о брюки и взвел курок.

Протянул дрожащую руку к выключателю последней лампы... и заколебался.

«Ну, давай, Харлоу! У тебя револьвер, у тебя очки. Ты разделаешься с этой мразью».

Еле дыша, Харлоу погасил последнюю лампу.

Чернота заполнила комнату.

«Господи Иисусе, я не могу... ОНО...»

Сдержав вопль, Харлоу сдернул очки на глаза и включил их. Усилитель света заработал на полную мощность, и Харлоу увидел...

«Господи, я вижу!»

...в конусе поля зрения зеленоватые прозрачные очертания предметов. Но все равно, он же видит!

Держа перед собой тяжелый револьвер со взведенным курком, Харлоу резко поворачивал голову туда-сюда, выглядывая, высматривая... что? Он не знал. То, что прячется там. ОНО.

— В-выходи, задница! — крикнул он пронзительным, надрывающимся голосом.— К-к-козел трахнутый!

Налево-направо направлял он конус своего поля зрения.

И вдруг он понял...

«Господи, ОНО позади меня!»

...и стремительно обернулся, и увидел...

Харлоу пошатнулся, его кишки и мочевой пузырь опорожнились, револьвер выпал из его пальцев, ударился об пол, и грохот выстрела затерялся в воплях ужаса: он кричал, кричал, кричал...

Когда такси скрылось в темноте холодной октябрьской ночи, двадцатидвухлетняя Глория взяла свой дешевый чемодан и последовала за седовласым мужчиной в красивый старинный дом. Негромкое пощелкивание — и свет залил вестибюль и комнаты за ним, как внизу, так и наверху. Максон с хищной улыбкой на землистом лице труна повернулся к пышущей здоровьем девушке и сказал:

— Ваш двоюродный дед, мисс Уиллоуби, был крайне своеобразным человеком, и вы последняя в его роду.

Нэнси А. Коллинз

БЛЮЗ СОМОВЬЕЙ ДЕВЧОНКИ



лайджар наш — из тех южных городишек, где ход времени не так чтоб сильно чувствуешь, может, потому это, что не особо заметна смена времен года — между зимой и летом разница градусов в пять, не больше. А может, потому, что ежели вы — бедняк, голь перекатная, вроде большинства местных, для вас десяток-другой лет — не ахти какая разница. Да и лет сто— двести — тоже, уж коли на то пошло.

А две вещи для Флайджара уж и вовсе не меняются — нищета и река. К Миссисипи городок цепляется, все равно как негритенок к матушкиной юбке,— еще бы, ведь любые заработки местного народа — хорошие ли, нет, это уж другое дело — к старушке Миссисипи привязаны, что фартук — к поясу хозяюшки. Эх, было время, был городок портом, барки да баржи сюда заходили, плавали туда-сюда по реке. Да что говорить — дело уж прошлое, все, что осталось от старых добрых деньков теперь,— полусгнивший причал деревянный да пирс полуразрушенный.

И очень удобно: обломки эти заходят в реку аж на несколько сот футов, а там окуни, лини, сомы даже — хоро-

© Перевод. Н. Эристави, 2005.

ший бесплатный приварок для любого рыбака, у кого терпения да сноровки достанет, это вам, если слушать станете, и Сэмми Херкимер подробно распишет, а уж он-то — лучший, верно, флайджарский рыболов.

Мест славных много — выбирай не хочу, но у Сэмми любимое — на Пароходной Излучине. От городка, правда, далековато — в миле, не меньше, а потому причал в таком состоянии, что успевай глядеть, куда ступаешь, но оно и неплохо — значит, местные не больно сюда суются, в самый раз для Сэмми. И вот сидит он однажды эдак, посиживает, чай ледяной из термоса прихлебывает, и вдруг — глянь, а рядом — вот кого увидеть не ожидал — Хоп Армстронг!

Хоп у нас — что-то вроде пижона здешнего. Так уж его Господь создал — по части внешности не просто хорошо, а вроде и слишком, а насчет честолюбия — извините. На гитаре там поиграть, за счет дамочки какой поесть-попить — это он с полным удовольствием, никто не угонится, но вот поработать там или вроде того — нет, это не для Хопа.

— Хос-с-поди, Хоп! — хохнул Сэмми, удивленный до крайности.— Ты что здесь забыл-то? Дома у тебя пожар или что?

— Можно и так сказать,— ответствовал Хоп мрачно.— Баба моя говорит, хоть раз чего на ужин в дом принеси.

— Уж до этого дошло? — вскинул брови Сэмми.

Нынешняя бабенка Хопа — Люсинда Соломон, та, которая местный салон красоты держит. Красивая, и дела у нее идут — лучше некуда, по флайджаровским меркам, конечно. А уж жестка — что твой кулак, норов — круче не бывает, и, говорят в городишке, ладить с Люси для Хопа — первая в жизни его работа из тяжких.

Оглядел Сэмми, какие у парня снасти, и смешно ему сделалось — это ж надо додуматься, гитарку свою на реку приволок, а сеть рыболовную взять и не подумал! Покачал

головой да и снова на реку стал глядеть. Помолчали они этак, помолчали, а потом старик и заговорил.

— Знаешь, Хоп, отчего это место назвали Пароходной Излучиной?

— Я так полагаю, что река здесь излучину дает, а по этой излучине раньше пароходы ходили,— пожал плечами Хоп.

— Ну и это, конечно, да только не так все просто. Давно это было. Пароход один большой ходил вверх-вниз по реке. «Цветок дельты» назывался. Шикарный, в каютах — карнизы мраморные, люстры хрустальные, ручки дверные позолоченные. Весь народ-то как услышит, что «Цветок дельты» идет, так из домов выбегает да поля бросает, чтоб только, значит, поглядеть. А потом средь бела дня вот на этом самом месте «Цветок дельты» и затонул, прям у всех на глазах.— И Сэмми указал на середину реки.

— А почему затонул-то? — Хоп заинтересовался, любопытство в голосе появилось.

— По правде сказать, никто и не знает. Кто говорит — котел взорвался, кто — пожар на борту случился. Может, бревно какое плавучее днище проломило. Столько времени прошло, кто теперь поймет? Да только бабка моя другое говорила. Клялась, что «Цветок дельты» сомовьи девчонки сгубили.

Хоп так на старика и вытаращился.

— Шутки со мной вздумал шутить, Сэмми?

— Вот уж нет, сэр! — Сэмми даже головой затряс для верности.— Сомовьи девчонки всегда в этих местах жили — раньше черных, раньше белых, раньше индейцев даже. В реке и живут, на дне, где ила много. До пояса — как есть женщины, а ниже — огромные сомы. От людей подальше держатся. Вообще-то они ничего, не злые, но люди говорили, «Цветок дельты» одну из них в колесо случайно затянул, аж на куски ее разорвало.

Обернулся Хоп, глянул на старика с интересом.

— А сам-то ты, Сэмми, хоть одну сомовью девчонку... ВИДЕЛ?

— Нет, сам не видел. Я и не искал их, по правде-то. Да и бабка моя говорила — коли не находят тех дураков, что ночью в реке купаются, сомовьих девчонок это работа. Они утопленников подбирают, в иле хоронят, пока не сгниют. Гнилое-то мясо им есть легче...

Хопа перекосило.

— Да ладно тебе! Мало того что моя бабенка меня сюда отправила, так еще ты здесь про сомовьих девчонок болтаешь, как они мертвяков лопают!

— Ну, извиняйте. И в мыслях не было, что такой ты у нас чувствительный.

Снова помолчали, а после Сэмми на гитару кивнул.

— Ты ж вроде на рыбалку пришел, на кой бренчалку-то приволок?

— Человек что — одновременно два дела делать не может, по-твоему?

— Может-то может, да я бы не советовал. Рыбу распугаешь.

— Или сомовью девчонку приворожу,— ухмыльнулся Хоп.

— Да уж коли у кого получится, так это у тебя.— Сэмми вздохнул, заглянул в ведро.— Ну ладно, половил, на сегодня будет. Поплетусь-ка я домой, как раз к ужину почистить и поспею. Ежели сомовьих девчонок привораживать надумаешь, Хоп, так удачи тебе. И смотри здесь.

— Ты тоже поглядывай, Сэмми,— процедил лениво Хоп, а сам так на реку и глядит.

Надобно признать, на реке в солнечный, вот как нынче, денек Хопу было совсем не плохо. Жарко, да не слишком, а от воды — ветерок славненький... и потом, хоть здесь-то бабе этой чертовой за ним не уследить.

Ох, не из тех Люсинда женщин, которым легко угодить, совсем не из тех. Когда не в духе — так и вовсе с нею не ужиться, а не в духе-то она теперь почитай всегда. Понимать начинал Хоп — верный признак, что конец приходит

его сладким денечкам безделья да житья у миз Соломон как у Христа за пазухой, да не в его манере это — соскакивать, не имея за кого теперь зацепиться. Только вот беда — на его вкусы да запросы маловато во Флайджаре подходящих дамочек, особо не покидаешься, и выходит, что как ни кинь, а придется ему еще с Люсиндой горе погоревать. Ну и ладно, Пароходная Излучина — от городка далеко, в самый раз, чтоб Люсинде понять, как он спину гнет, трудится — или не трудится,— лишь бы на закате на столе ужин стоял. Ему ж лучше.

Размышляя этак, вынул он из коробочки со снастью свою раскладную удочку, разложил да и вставил в щель меж щербатыми досками. Крючок приладил, наживку прицепил и забросил леску подальше, в мутную реку. Одним глазом на поплавок посматривает, а сам, глядь, к деревяшке ближайшей уже привалился и гитару к груди прижимает.

Было ль в жизни у Хопа такое время, когда музыка ему нелегко давалась? Пожалуй, что и нет. Пешком под стол ходил — и тогда что хотел, то с гитарой и делал, в точности по задумке. Как с бабами — так и с музыкой. На гитаре играть — как дышать, как есть, это вам не хлопок собирать, не трактором править!

Хоп пригляделся к речной глади — до чего же спокойной кажется, уж до того широка, глазами ее силы, пожалуй, и не определишь. Только потому и понимаешь, до чего могуча, что видишь, как огромные бревна плавучие в мгновение ока мимо проносятся. Иногда цельные стволы дубовые к Мексиканскому заливу несутся, друг друга обгоняют. Сегодня — поспокойнее, и бревна, что вниз по течению плывут,— со шпалы железнодорожные, не больше.

Ну, никак не выкинуть из головы байку, что Сэмми рассказал. Не в сомовьих девчонках дело — слыхал он про это, брехня все. А вот про «Цветок дельты» — да-а, это ему прямо в сердце запало. Интересно, а каково оно было-то — тогда жить, когда пароходы плавали, шиком да блеском клоповники вроде Флайджара ослепляли?

И подумать только, самый шикарный из старых добрых колесных пароходов вот прямо тут жизнь свою и закончил, камушком добросить отсюда, где сидишь, вся эта красотища — да разом в миссисипскую грязную воду! А он-то, Хоп, только и видывал на реке, что баржи-плоскодонки да катерки случайные, редко-редко когда — яхточки залетные. Да уж, не те корабли, какие воображение потрясают да сердечко колотиться заставляют. Чтоб на баржу поглядеть, народ пятки сбивать не станет, это уж верно.

Хоп подивился — любопытно бы знать, а осталось на дне Пароходной Излучины ну хоть что от «Цветка дельты»? Да разве теперь узнаешь... Уж коли река секрет какой хранит, так раскрывать его не торопится. И все ж таки, а славно помечтать — вот бы разглядеть сейчас в воде пароходную палубу!

Ну так прямо и видишь этот самый плавучий дворец, беленький, что твоя хлопковая головка, а трубы — ну точно бочки, дымят, как сигары плантаторские, и плывет себе, катит по Миссисипи, а наверху — красотки-южанки в юбках на обручах, по верхней палубе прогуливаются, перья на шляпах дрожат, что птички в клетках, а в салоне — другая жизнь, там шулера пароходные в костюмчиках молексиновых, в цилиндрах беленьких серебряные доллары да золотые десятки на столы игорные мечут. И сам он среди прочих, одет — как в «Унесенных ветром», тоже мне, Кларк Гейбл, на палубу выходит, шляпу перед дамочками приподымает, а потом в шикарный салон, на бал вечерний. Эх, и житуха ж была в те времена!

И вот, стал-быть, танцует призрачный Хоп под хрустальными люстрами с дамочкой, которая — ну точь-в-точь Вивьен Ли, а настоящий Хоп тем временем ловкими пальцами музыку подбирает. Конечно, «Доброй ночи, Айрин» в те времена в ходу еще не была, но ведь он же просто мечтает, и нечего придираться.

Играл Хоп, играл да вдруг на середине реки вроде как шевеление наметилось. Глянул он — а с места, где он си-

дит, кажется, будто пловец какой посреди излучины вынырнул, в том самом месте, где, Сэмми болтал, «Цветок дельты» на дно ушел. Вынырнул пловец — да сразу и снова нырнул. Быть такого не может!

В Миссисипи кунаться — для здоровья так же полезно, как зажженным фитилем динамитным вместо нитки в зубах ковырять. Частенько случается, что дурак какой в сосиску нажрется да и хвалится, переплыву, мол, реку. Войдет в воду — да и пропадет футах в десяти от берега без следа. Коли семье повезет, так, может, и всплывет через пару дней, миль на пятьдесят пониже по течению, за сучья дерева-плавуна зацепившись, а уж раздуло так, что свиньи от человека не отличить. Только не похоже было то, что Хоп увидел, на мертвяка, на поверхность всплывшего. Главное, на одном месте держалось, по течению не плыло. Прикрыл Хоп от солнца глаза ладонью, разглядеть получше хотел — а там уж и нет ничего. Тут поплавок у него задергался, на крючок что-то попалось, он и стал ближе к берегу смотреть. Гитару отложил, тянет за удочку, вытянул, а на крючке — сом, фунтиков этак на десять.

Да уж, нынче вечером Люсинде придираться не к чему будет, что верно, то верно.

Стал он домой собираться, снасти на одно плечо повесил, гитару — на другое нацепил, а все ему не по себе. Ну, прям напасть какая-то — все мерещится, что наблюдает за ним кто-то — и не сом, что на крючке с пояса свисает.

Лежал Хоп ночью в постели — Люсинда рядышком посапывала — да и раздумался.

А может, то, что Сэмми про сомовьих девчонок говорил, и не простая байка? Помнится, сам он прочел в журнальчике — с желтой обложкой, в парикмахерской листал,— рыбу вон одну тоже все сказкой считали, а пару лет назад в дальней стране ее и поймали! И вообще, да кто он таков, чтоб решать, есть ли сомовьи девчонки, нет ли их,

коли сроду никого не видел, кто б побывал на дне Миссисипи и живым оттуда вернулся?..

На следующий день Хоп сам на рыбалку идти вызвался, Люсинде и понукать не понадобилось.

Решил — а попытаю-ка я снова удачи на Пароходной Излучине! Пришел к доку, видит — нет никого, сразу на душе полегчало. Забрался на док, в точности как вчера, полчаса проторчал, все ждал, не случится ли что, а потом удочку отложил, а гитару подобрал — надо ж как-то время скоротать.

Только «Полночный стон» до середины доиграл — слышит, а возле пирса словно рыбина огромная плеснула. Глянул он, чтоб, значит, понять, отчего шум-то,— и такое увидел, еще бы чуть — и бренчалку свою в воду б уронил.

Футах в ста от дока голова человеческая из воды высунулась. Охнул Хоп от изумления, дыхание занялось, а голова-то и ушла снова в илистую воду, тихо ушла, и кругов на том месте не пошло. Минуты не прошло — задергалась Хопова леска, да так сильно — чуть удочку в реку не уволокло.

Пятнадцатифунтового сома притащил в тот вечер домой Хоп, Люсинда восхищается, а он молчит про то, что на реке видел. Ровно подсказал кто — что б оно такое ни было, там, на Пароходной Излучине, держи-ка ты это при себе!

На третий-то день Хоп и леску в воду забросить не позаботился. Понял уже, что эту тварь речную все к доку тянет. Точно не светляки, которых он как наживку использует, черт подери.

Подобрался он к самому краю причала, аккуратненько, разболтанных да дырявых досок остерегаясь. Сел, ноги с причала свесил. Поразмыслил, посомневался с минутку, а потом и решил — лучше «Грязных вод» тут не выбрать.

И вот в точности как тогда, только до середины песни дошел — а оно, чудо это, и выплыло. У Хопа сердце-то колотится, аж дух захватывает, а он играть себя заставляет.

Не хочет спугнуть, значит. Как первую песню закончил, не остановился, сразу на «Пони блюз» перешел.

Сначала, пока играл, на струны глядел, старался вид сделать, что, дескать, и не замечает, слушает ли его кто. Но уж на «Вокруг луны» не сдержался, рискнул, поглядел в сторону этой самой — а она прямо внизу, под ногами его болтающимися! На него уставилась, а глазища — огромные, черные, вроде как одни зрачки.

Поразился Хоп — до чего сомовья девчонка на человека походит. Сэмми-то такого нарассказал, он и вообразил незнамо что, рыбину в парике кудрявом, а тут — нетушки. Дьявол, да в церкви бабенкам до этой — как до небес!

Губастая она, конечно, по-рыбьи, и рот огромный, жуть, а вместо носа — две щели, но если на этом не заострять — нет, ДАЛЕКО не уродина. Волосы, правда, нечесаные — кошмар, и в кудряшках растрепанных чего только не напутано — водоросли, моллюски живые, все на свете. А что там ниже плеч — в воде не видать, только жабры и заметил, как они у самой шеи открываются да закрываются.

А глядит-то сомовья девчонка на него как — Хоп только и засмеялся в душе. Рыба она наполовину, нет ли — а уж таких вот выражений у женщин на рожицах Хоп навидался, это да. Крепко, похоже, зацепил он деваху эту, а теперь — самое, значит, время ее подмаслить.

Заглянул Хоп сомовьей девчонке в самые глаза, усмехнулся.

— Ну, привет, рыбонька. Послушать, как я играю, пришла?

У сомовьей девчонки мечтательность с лица слетела — удивилась вроде. Оглядывается, смущается, словно и как сюда попала — невдомек, а потом назад метнулась, ни дать ни взять — дельфин на хвосте.

— Не уплывай! Пожалуйста! — кричит Хоп, руку протянул, чтоб ее только остановить.

И ведь скажи на милость — не уплыла сомовья девчонка, назад повернула, разглядывает его с интересом, а сама

плещется себе в Миссисипи, то туда, то сюда, ну точь-в-точь — малышка в бассейне на дворе.

— Нечего тебе меня бояться, рыбонька,— заулыбался Хоп по-доброму.— Уж не обижу. Может, еще малость для тебя поиграть? — И гитару поднял, ей показал..

Девчонка сомовья поняла. Закивала радостно, руку мокрую вытянула, пальцем перепончатым в гитару тычет. Еще пуще Хоп заулыбался — сделайте одолжение, с того самого места «Вниз по реке» начал, где раньше остановился.

Когда солнце садиться стало, у Хопа руки прямо отваливались, по пальцам кровь текла. Сыграл сомовьей девчонке понемножку из всего что умел — блюзы, блюграсс, хонки-тонки, песни ковбойские, даже колыбельных парочку — надо ж было узнать, что сомовьей девчонке понравится, а что — нет. Оказалось — на блюзах она прямо помешанная, оно и понятно: блюз-то ведь не где-нибудь — на берегах Миссисипи рожден!

Отложил он наконец гитару, девчонка сомовья нырк — и прямо в мутную воду. И минуты не прошло — из воды огромаднейший сом вылетел, как из пушки выпущенный, и на причал плюхнулся. Подобрал Хоп бьющуюся рыбину да головой-то покачал.

Сказал:

— Благодарю, конечно, только не этого мне надо.— Бросил рыбину обратно в реку, вынул из кармана доллар серебряный, двумя пальцами зажал, покрутил, чтоб под солнцем закатным заблестел.— Хочешь, чтоб еще для тебя играл — и мне дай чего хочу, а я, милая, вот этого желаю.

Тут девчонка сомовья снова на поверхность всплыла, так на монету и уставилась, а после опять нырнула. Хоп стоит, с ноги на ногу переминается. Минута прошла, две — от сомовьей девчонки ни слуху ни духу. Может, пережал он малость, слишком рано давить на нее стал?

И вдруг ему что-то в самую грудь стукнуло — тяжелое, мокрое, на доски упало, зазвенело металлом. Наклонился Хоп, поднял кружочек чеканный, а руки так и трясутся.

Грязь да ил с монеты отер — а она не серебром отливает, блеском золотым светится!

Охнул он от радости — и тотчас озираться стал, уж не заметил ли кто его удачи, но нет, на причале он — один-одинешенек, то есть ежели только людей, конечно, считать. Вот ведь счастье какое привалило!

И все это — за песенку несчастную.

Лето, стало быть, шло, а Хоп на Пароходную Излучину и вовсе зачастил, на утренней заре приходил, до вечерней сидел, а уходит — в карманах мокро, да зато не пусто. Иногда, конечно, в доке Сэмми Херкимер рыбачил, тут уж хочешь не хочешь — жди, пока старый хрен уберется, но это редко когда случалось, а обычно — не о чем печалиться.

Люсинде, ясно, поначалу ох и подозрительно стало, с чего это он вдруг рыбаком заделался, но видит — домой приходит, духами от него не пахнет, воротник проверяла — в помаде не вымазан, ну и успокоилась — чем бы дитя ни тешилось. Не знала Люсинда про банку из-под «Фолджерса», у гаража зарытую, золотыми да серебряными монетами набитую, и про сумку побрякушек золотых, что в поленнице за домом спрятана, тоже не ведала. А с какой это радости Хопу ей про богатство свое тайное рассказывать — чтоб пытать начала, откуда взял да что там поделывал?

Ну да, Люсинде хоть словцо про сомовью девчонку шепни — к завтрему весь Флайджар, от стариков глухих до детишек малых, на причале выстроится, на всем на чем хошь играя, банджо ли, гармошке ли губной,— чтоб только к удаче чужой примазаться. Нетушки, коли Хопа спросить, так мало ему радости без нужды счастью своему вредить!

А как не останется у Рыбоньки (так он ее прозвал) чем за песни платить, выкопает он свою банку кофейную, подхватит рюкзачок, от золотишка едва не лопающийся,— и вперед, в большой город, в Джексон там или Гринвилл. Черт,

да чего там — в Чарлстон можно податься или в сам Нью-Орлеан! Да какая разница куда, главное, чтоб дамочки были помоложе да пошикарнее, не то что во Флайджаре хреновом, и чтоб пивом по воскресеньям торговали. Судя по тому, как Рыбонька во время последних концертов себя вела, и гадать особо не надо — скоро поскребыши хвостом сметать станет, ежели можно так выразиться.

Дерганая стала, нервничает, то пугается чуть что, лягушка квакнет — а она уже на дно, то глазищами своими уставится, поцелуйчики воздушные посылает. Он, Хоп, может, и не очень образованный, но уж в бабах-то он разбирается, черт подери, изучил, а Рыбонька сейчас — типичная бабенка, у которой с монетой туговато становится.

Пошел Хоп на Пароходную Излучину — а сам твердо решил: все, последняя это его серенада для сомовьей девчонки и последний денек во Флайджаре, в дыре проклятой. Золото у него уж есть, а впереди, в широком мире, небось где-то и слава ждет, стоит только руку протянуть.

Посмотрел Хоп на небо, на тучи серые поморщился. С самого утра дождик льет, то припустит, то прекратит, а уж как тропинку развезло единственную, что к причалу на Пароходной Излучине ведет,— жуть. Противно, конечно, в грязи по колено барахтаться, но, может, оно и неплохо — в такие поганые деньки можно не беспокоиться, не шныряет ли кто поблизости.

Хоп ремень от гитары поудобнее через плечо перекинул да и пошел поскорее к берегу. Ну вот, значит, и причал заброшенный, скользкий, дрянь, а что ж делать — сел поудобней на краешек, привык уже, ноги над водой свесил и заиграл «Посади на могилке моей цветы».

Вот сейчас Рыбонька появится. Всплывает на поверхность ярдах в пятнадцати, стоит ему заиграть, потом поближе подбирается, замирает, глядит, как птичка, змеей зачарованная. Ох, знает он такие взгляды, навидался у да-

мочек, когда на танцульках играл. Ясно, скажи он слово — Рыбонька в крапиву кинется, да что там — в огонь жгучий войдет!

Закончил он первую песню, глаза на воду скосил — а сомовья девчонка отчего-то ждать себя заставляет. Задумался Хоп — может, не слышит она его? Он же не знает, где она живет,— хотя сильно похоже на то, что далеко от Пароходной Излучины не заплывает. Может, мелодию сменить, черт ее знает, мало ли, может, ей «Хлопковые поля» не покатили? Сменил — нет, не показывается. Хоп еще сильней призадумался — видать, точно завязывать пора. Заиграл «Подпрыгнул дьявол» — уж из самых ее любимых.

Под ногами у него всплеск раздался, прямо под водой — разглядеть можно — фигура возникла, за столбом причальным прячется. Ухмыльнулся Хоп понимающе: робертджонсоновы блюзы — они на баб прям как колдовство действуют, ноги там у бабы или хвост — без разницы.

Позвал:

— Что это вдруг застеснялась, лапонька? Выплывай, дай хоть на личико твое поглядеть!

Возле пирса вода просто пузырями пошла, все равно как закипела. Хоп возьми да и наклонись. Глядит вниз, в мутную воду, ноги в воздухе болтаются.

— Эй, Рыбонька, это ты?

Быстро все случилось — только сердце захолонуло. Тварь чешуйчатая со ртом разинутым, зубами острыми наполненным, вылетела и челюстями, как капканом стальным, ноги Хопа и ухватила. Всего-то раз вскрикнуть и успел, тонким звериным криком захлебнуться, когда его, с гитарой вместе, в воду ледяную поволокли.

Сошлись над Хопом грязные воды старушки Миссисипи, и последнее, что он, помирая уж, увидал — девчонку сомовью. Смотрит, как он тонет, а в глазах распухших, зареванных — горе неизбывное.

Народ-то флайджаровский, когда Хоп Армстронг так с рыбалки и не вернулся, на том порешил, что подружку он

себе новую завел, издалека, да и сбежал от Люсинды, лучшую долю искать. Хотя и такие были, что подумали — напился наш красавчик беспутный и по пьяной-то лавочке в дыру между досками свалился, утоп. Поболтали, конечно, малость — но на самом-то деле, кому какая, к дьяволу, разница? А пара недель прошла — и другие темы нашлись, о чем в парикмахерской судачить.

Три месяца прошло, как Хоп исчез. Закинул Сэмми Херкимер удочку, а крючок у самого пирса вдруг за что-то и зацепись. Он сперва решил, в водорослях каких запутался. Вытащил, а на крючке — бренчалка Хопова!

Гитара. Та, что дамочек очаровывала, из юбок их вытряхивала, денежки последние из кошельков у них выскребала. Теперь-то на ней все струны полопались, гриф растрескanный, полировка вся ободрана, ровно зубами обкусана. Сэмми, инструмент изломанный с крючка снимая, только головой и покачал. Нет, не удивила его находка. Может, в том, что с Хопом бедным случилось, и его вины немного есть. Он ведь парню про сомовьих девчонок рассказал... рассказал, да не все. Про то забыл поведать, отчего это сомовьи девчонки — ЕДИНСТВЕННЫЕ русалочки, что на Пароходной Излучине обосновались.

Ох, парни, одно про них помните — большие они собственницы, а уж ревнивые...

Бентли Литтл

ТЕАТР



ез десяти девять, закрываться скоро, и Патнэму отчаянно хочется в туалет. Он сдвигает ноги, стискивает зубы. В книжном магазинчике — ни души. Последний покупатель умотал минуту назад, два часа проторчал, на цент не купил, слава богу, больше никто не пришел. Он размышляет, решает — пора, наверно, уже закрывать, точнее, это мочевой пузырь за него решает. Мистер Карр узнает — повесится, а может, и нет, наверно, старик подумает — пусть уж лучше раньше запрет, чем хоть на время бросит магазин на произвол судьбы.

Он подцепляет с полки у кассы связку ключей, торопится к двери, выбирает нужный ключ, находит, вставляет в замочную скважину, поворачивает с усилием, пока не раздается звонкий щелчок. Переворачивает знак на витрине — было «МЫ ОТКРЫТЫ», стало «ИЗВИНИТЕ, МЫ ЗАКРЫТЫ». Опрометью, галопом несется в туалет позади магазинчика.

В самый раз вовремя.

Патнэм отправился на маленький склад, туда, где вешалка, не торопясь, в блаженном облегчении. Застегивая ремень, поднял глаза и обнаружил, что глядит прямехонь-

© Перевод. Н. Эристави, 2005.

ко на узкую деревянную дверь напротив туалета. Офигеть можно. Почти месяц в магазине работает, как только каникулы начались, сюда пришел, ясно ж, видел уже эту дверь, а словно бы и не замечал.

Напрягает это почему-то.

Подошел, повернул почернелую металлическую ручку — ни черта. Дверь заперта. Оставил в покое ручку — а если ключом? Половину ключей из связки перепробовал на случай, вдруг какой подойдет, а потом подумал — нет, наверно, лучше у мистера Карра спросить. Может, там просто чулан. А может, хранилище для особо ценных книжек, да мало ли что, нечего самому себе проблемы создавать.

Он засунул ключи в карман и отправился обратно в магазин.

На следующий день, когда инвентаризацию с мистером Карром проводили, и правда спросил. Думал, старикашка ему просто расскажет, что там за дверью, объяснит скучающим, унылым тоном, как про все объяснял, где что находится. Нет, ТАКОЙ реакции никак не ожидал.

Такого страха.

Такого ужаса.

Господи, ну прям как в кино, мистер Карр на глазах побелел. Не то что со щек — с губ краска сбежала, глаза круглыми стали, смешно. В руку Патнэму вцепился, сжал, пальцы костлявые, больно — жуть.

— Ты туда случайно не заходил?

— Туда? Заходил? Да я, наоборот, спрашиваю, что там.

Мистер Карр облизнул губы.

— Я сам виноват, надо было тебе раньше рассказать.— Пальцы разжал, рука безвольно повисла вдоль тела, только голос остался испуганным.— За дверью — лестница в театр. Понимаешь, эти магазинчики...— Указал пальцем, видимо, в сторону бутика и ювелирной лавочки, что за стеной.— Когда-то были связаны между собой. А наверху — театр. Первый оперный театр в этом штате, первый, который вообще у нас в стране открылся. Потом-то владельцы

разорились, но тогда, в начале девятисотых, у них величайшие таланты выступали. Сам великий Карузо там пел, много тогдашних звезд. Но мало было настоящих ценителей, чтоб окупать такой театр, вот он и перестал существовать. Здание пустовало довольно долго, а потом кто-то его купил — разбил первый этаж на все эти магазинчики. А второй этаж и театр, конечно, просто заброшены.

Патнэм подождал в надежде услышать еще. Но нет — старик уже отворачивается, наклоняется, озирает стопки книг на полу. Патнэм не шевелится. Смотрит на руки мистера Карра, что поднимают пыльный, в кожу переплетенный фолиант. А руки дрожат, и книга вот-вот упадет. С чего бы это мистер Карр так задергался? Хотел спросить, а потом поглядел на блестящую лысину на макушке старикана в венчике тонких седых волос — и почему-то передумал.

Опустился на колени, начал помогать.

По воскресеньям Патнэм один работает. Мистер Карр по воскресеньям книги скупает, рыщет по развалам, по гаражным распродажам, по дешевым аукционам, а магазин на попечении Патнэма оставляет. Магазин как все маленькие лавчонки в центре старого города. По выходным в шесть закрывается, Патнэм дома бывает как раз к «Двадцатке самых-самых».

Но на сегодня у него другие планы.

Запер двери в пять минут седьмого. Проследил, как запоздалый студент волочет к машине кипу секондхэндовых учебников, перевернул знак, потушил свет в витрине и пошел на склад. Постоял немножко перед дверью, размышляя, чем же она отличается от двери в туалет, может, негативные вибрации уловятся? Фиги. Нормальное такое ощущение ребячьего тайного восторга. Какое всегда бывает, когда делаешь что-нибудь запретное.

Патнэм стал пробовать ключи дальше.

На четвертой попытке дверь отперлась как миленькая, и вот уже Патнэм медленно поворачивает ручку, толкает от себя. А за дверью — и вправду лестница, много-много

хлипких деревянных ступенек, покрытых серой пылью. А высокие стены — тоже деревянные. А на большущей балке в центре потолка — две голые лампочки, древние как незнамо что. Он всмотрелся в сумрак впереди, выше по лестнице — наверно, где-то там черный ход в театр, наверно, этой лестницей осветители и рабочие сцены пользовались. Пошел наверх. Перил у лестницы нет — кажется, вот-вот равновесие потеряешь, но это проходит, если за стены держаться. Один шаг — две ступеньки.

Дошел. Остановился. Впереди тянется вдаль какой-то коридор, длинный, через все здание, похоже, заканчивается где-то над бутиком, или над ювелирной лавчонкой, или за ней, над сувенирным магазином. В коридоре — темень, хоть глаз выколи, только и свету малость пробивается, который снизу, из книжного, а на том конце — черно. В темноте — участки темноты еще большей, у него такое чувство, что там — выходы из коридора в другие комнаты. Но наверняка не скажешь, больно темно; он помчался вниз по лестнице, отыскал под прилавком фонарик и — бегом назад.

Наверху он включил фонарик и посветил в коридор. Правда, проемы дверные, а дверей нет, и он сунулся в ближайший. Желтая полоска света заплясала на голых стенах, на пыльной батарее, на заложенном кирпичами окне. В дальнем конце комнаты, в левой стене — еще один проход, его шаги по паркету гулко отдаются в тишине. Направил свет в черный проем. Увидел низкую ванну, одинокий умывальник, старинный унитаз. Мгновение оглядывал ванную, ощущая странную неловкость, потом торопливо обернулся и через первую комнату вышел в коридор.

Следующий проход. И еще один. И еще.

И вот это — театр? Больше на отель смахивает. Куда из коридора ни зайдешь — везде сплошные спальни и ванные, спланированные один к одному, каждая следующая — копия предыдущей. Он продолжал исследование, чем дальше по коридору — тем тревожней на душе. Несколько ком-

нат оказались совершенно пусты, во всех остальных сохранилась мебель: кровати с высокими спинками, керосиновые лампы на ночных столиках, темные деревянные бюро, жесткие стулья. В каждой комнате — батарея и замурованное окно, когда-то, должно быть, выходившее на улицу.

Он заглянул наконец в последнюю комнату.

Увидел мертвеца, сидящего в покрытом пропыленным чехлом кресле.

Подскочил. Уронил фонарик. Чуть не закричал.

Уже собирался удирать — и вдруг в свете упавшего фонарика различил, что фигура — вовсе не человек. Оно не мертвое, оно живым-то никогда не было. Просто брюки и рубашка, увенчанные старой болванкой для париков.

Он наклонился, поднял фонарик, высветил сначала фигуру, потом прошелся лучом по комнате. Не спальня. Уже. Длиннее. Пол явно скошен вверх. Замурованное окно скрыто за плотным красным занавесом. Ни кроватей, ни тумбочек, только четыре кресла, одно, болванкой увенчанное,— лицом к двери, остальные — к стене?

Нет, не к стене.

К СЦЕНЕ.

Патнэм шагнул в комнату.

Вот, значит, что от театра осталось.

Страшно ему почему-то. Думал, увидит нечто величественное, громадное, оркестровую яму, балкон, зрительный зал — гигантский, с витыми колоннами, с креслами, бархатом обитыми. Уж никак не эту унылую узкую комнату, одинокого зрителя-болванку, жалкую, простенькую, доморощенную сцену. Все — странное, высвечиваемое неверным лучом.

ТЫ ТУДА СЛУЧАЙНО НЕ ЗАХОДИЛ?

Он направляет фонарик вверх, на сцену. А на возвышении — целый стол маленьких фигурок, с кукол размером, жуткие, уродливые твари, упакованные в тканевые и меховые прикиды. Он подходит ближе. Луч фокусируется на ближайшей фигурке. Грязная. Гнусная. Противоестествен-

ная. Голова — больше тела, и сделана вроде как из выдолбленной тыквы. А может, из батата? Или все-таки из тыквы, что-то типа этого. Глаза — глубоко посаженные камушки. Деревянный нос торчит. А зубы — настоящие, человеческие зубы, блестят в искривленной усмешкой дыре рта.

По спине мороз идет, но фонарик движется, от одной фигурки — к другой, у каждой — свое выражение, свой костюм, но все одинаково жутковатые, и все, похоже, из одних и тех же материалов. Все расставлены и рассажены так, будто застыли посреди представления.

Патнэм и подумать не успевает, а уже делает шаг к сцене. Холодно, откуда-то резким сквозняком веет, но странный перепад температуры как-то скользит по краю восприятия, у него внутри уж и так все похолодело. Он тянется пальцем к ближайшей фигурке и осторожно дотрагивается. Такая теплая. И мягкая.

Он отскочил. Даже затошнило от отвращения. Буквально отпрыгнул — лишь бы скорей от сцены подальше. Палец, которым до куклы дотронулся, чуть скользкий, и Патнэм вытягивает его перед собой, точно боится испачкаться.

Назад, к двери, осторожно, только ни к чему не прикасаться. Поганые куклы, поганый театр! Возненавидел он их страстно, странной, иррациональной ненавистью, такой даже не ожидаешь, такую и по полочкам раскладывать неохота. Одного хочется — убраться от этого места подальше. Обратно в магазин. Не надо было ему сюда подниматься. Что-то здесь... неправильное, сначала от этого страх пробрал, а теперь — необъяснимое омерзение.

Он почти бегом выбежал в коридор, а к тому времени как добрался до конца, до лестницы, уже во всю мочь несся. Снова — по две ступеньки за раз, и вниз, и захлопнуть за собой дверь, и повернуть ключ — дрожащими руками. Неплохо бы палец помыть, да уж больно не хочется в магазине находиться, нет, только не в одиночестве, только не с этой комнатой наверху, и вместо того чтоб в туалет зай-

ти, он торопливо выключает оставшийся свет, запирает дверь и уматывает.

Постоял немножко на улице возле магазина, пот льется, дыхание тяжелое. Оглядывал длинное здание. Никогда не замечал, что все лавчонки расположены в одном доме, фасады у них — совершенно разные, и уж точно бы не заметил, что есть здесь еще и второй этаж. Но теперь-то, когда он знает, очень хорошо заметны заштукатуренные кирпичные прямоугольники, замурованные окна наверху. Попытался было посчитать окна от книжного магазина и дальше, интересно, а за какими кирпичами спрятан театр, попытался — и бросил. Нет, не стоит узнавать.

Дрожа, поплелся за угол, за углом — парковка, там он машину свою оставляет.

Пять минут спустя он был уже дома. Первым делом — в ванную, палец мыть. Отскребал кожу сначала «Давом», потом — мало показалось — «Аяксом», а ощущение скользкости так до конца и не прошло. Он полез в аптечку, вынул коробочку лейкопластырей, в несколько слоев замотал палец и почувствовал себя малость получше.

— Патнэм! — Голос матери из кухни.— Это ты? Ты вернулся?

— Да! — вопит он в ответ.— Я дома! — Надо же, как странно, кричит — а голос тихим кажется.

— Скоро обедать будем!

Он идет в холл.

— Обедать... а что у нас?

Голова матери высовывается из кухонной двери.

— Цыпленок с жареной тыквой.

С ТЫКВОЙ.

Он мигает. В голове картинка: мать оглаживает тыкву, надевает на нее парик, прорезает глаза, рот, вставляет нос. Мать смотрит в холл, прямо на него. Сердце в груди падает. Почему она так на него смотрит? Что у нее за улыбочка, словно бы подозрительная?

Он отводит глаза. Бред какой-то. Сумасшествие. И все равно — мать возвращается в кухню, а он не может идти следом, страшно, страшно, что увидишь на столе у плиты. Одну из тех кукол?

Он глубоко вздыхает. Только бы руки перестали дрожать. Что ж он такое, этот театр? Что за куклы такие, отчего они его так напрягают? Почему та, другая фигура, та болванка не произвела на него впечатления, а вот куклы?.. Наоборот, теперь, когда вспоминаешь то сидящее нечто, думаешь про шмотки на стуле, про болванку для париков, взирающую на дверь, чувствуешь нелепое успокоение.

— Патнэм! Зови сестру! Есть пора!

— Щас, мам! — Голос у него уже не заторможенный, громкий, нормальный, и он направляется в гостиную, где сидит на ковре перед телевизором Дженни.

А рядом на полу — кукла с тыквенной башкой, овощная физиономия в обрамлении черных кос, огромная пасть раз и навсегда разинута в неестественной улыбке.

У Патнэма сердце — как молоток кузнечный бьет.

— Ты что здесь делаешь, с ЭТИМ? — рычит он.

Хватает куклу с пола, стискивает в руках, жмет, чувствует ладонями липкую мягкость тыквенной плоти, инстинктивно отшвыривает фигурку, наступает, давя на нее ногой.

Дженни уставилась в шоке. Зарыдала. Закричала:

— Ты — ее — убил!

Он посмотрел вниз на растерзанную игрушку. На пластиковую красоточку с малиновыми щеками и платиновыми кудрями. Обычная кукла, да таких тысячи, ни черта особенного.

Дженни все всхлипывала.

— Почему ты убил мою куколку?

Он попытался сглотнуть. Заговорить. Рот открылся, но там — не то что слов, слюны не оказалось. Еле успел добежать до туалета и наклониться над унитазом — наизнанку вывернуло.

На следующий день ему было плохо. Правда, плохо. Не прикидывался. Позвонил мистеру Карру, сказал старику, что не придет, а на другом конце провода — каменное молчание.

Он откашлялся.

— Завтра, наверно, я уже смогу прийти.

Голос у мистера Карра еле слышный:

— Все-таки побывал наверху, да? Видел театр?

Наверно, надо бы соврать, наверно, промолчать... но он смотрит на палец, замотанный лейкопластырем, и неожиданно шепчет: «Да».

Снова зависает молчание. Наконец мистер Карр выдавливает из себя: «Они не могут оттуда спуститься. И никогда не смогут».

Патнэм с сомнением качает головой — хорошо, старик его не видит.

— Я не...— пытается он.

— Я тебя предупреждал — не ходи туда.

— Я пришлю вам ключи. Я... я не могу туда вернуться.

— Вернешься,— отвечает мистер Карр печально.

— Нет уж,— Патнэм чувствует, как в глазах закипают слезы.

— Вернешься, конечно.

— Нет.— А вот теперь он уже всерьез ревет, слезы по щекам сбегают.

— Да,— мягко говорит мистер Карр.

Патнэм дает отбой. Вешает трубку. Снова снимает.

— Да,— шипит он свободным гудкам.

Единственным местом, где он мог не думать о театре и о куклах, оказался магазин. Дома, в супермаркетах, на улице — везде в глазах одно и то же, никак не избавиться. Все время ждал — вот-вот появится одна из этих фигурок, та ли, другая ли,— ждал, понимая, что ждет напрасно, ждал, почти наяву видя маленьких жутких монстров в машинах, в кустах, в туалете...

А вот на работу утром как приходишь — и будто выключатель в голове щелкает, от мыслей, от картинок сознание отключает. Только через порог переступишь — и с тобой уже все нормально, ты такой, каким раньше был, о чем угодно думать можешь, о настоящем, прошедшем, будущем, и образы этих... тварей... не пристебываются.

Он так и не поговорил с мистером Карром о том, что видел, да и старикашка про это больше не упоминал.

Иногда он думал: наверно, все на свете предопределено, предрешено, наверно, все может идти только как идет, не иначе. Такой уж сценарий, по которому он должен был найти работу в книжном магазинчике, а потом обнаружить дверь, а потом — прокрасться наверх.

Должен был увидеть театр.

Он заставлял себя подумать о другом — заставлял, потому что думать об этом страшно. Думать об этом — значит поверить в силу театра, силу его обитателей, признать их зримыми, значимыми для мира за ступеньками старой лестницы. А тогда все, во что он всю жизнь свою верил,— фигня, спасительная, успокоительная ложь и ни хрена больше.

Он убеждал себя: все случившееся — просто стечение обстоятельств, самая обычная невезуха.

И даже пытался себе поверить.

Дома — мамочка, которую колышут лишь политика да карьера, сестричка, которую, кроме игр да телевизора, вообще ни черта не колышет.

Он бродит по соседним улицам, раскатывает по всему городу, жутко, все время один, а может, он именно потому себя и насилует, заставляет этим заниматься?..

Проходил однажды мимо винного, на углу Восьмой и Центральной, а навстречу — мужик, огромный, заросший, стреб его за плечи, сам безумным взглядом по улице шарит то туда, то сюда. Брюки и пиджак — грязные, мятые, от разных костюмов, потом, перегаром и рвотой за милю

воняет. Зубы — щербатые, всех возможных оттенков желтизны.

— Где Братишка? — орет мужик.

— Какой Братишка?

— Собака моя, парень! Пес мой хренов! Ты его видал?

Патнэм мотает головой, пятится назад.

— Нет,— мямлит он,— не видел. Кажется. А к-как о-он в-выгляд-дел?

Что-то изменяется, смещается то ли в глазах у Патнэма, то ли в лице мужика, а может, просто в воздухе. Мужик ухмыляется, а зубы во рту — гнилые и кажутся внезапно какими-то ИСКУССТВЕННЫМИ.

— Дюймов шесть высотой,— говорит мужик, уже не ревет истерично, тихо говорит, уверенно, твердо.— Оранжевый, липкий и сделанный из тыквы.

Патнэм отскакивает, чуть спиной о дверь винного магазина не ударяется, чувствует, как в горле зарождается крик.

— Эй, ты.— Голос у мужика уже снова бешеный.— Большой такой черный засранец, на добермана поганого похож! Видал?

— Нет,— кричит Патнэм.— Не видел я вашу собаку!

Всю дорогу домой он бежит бегом.

Может, неделя прошла, может, больше, и его мамочка посадила в своем садике на заднем дворе кое-что новенькое.

Тыкву и ямс.

Мистер Карр теперь — еще холодней, еще суровей, еще отстраненной, чем раньше, только раз и показалось, что способен он реагировать — тогда по телефону, но теперь — все, было, да сплыло. Нет, теперь он вообще с Патнэмом не особо разговаривает, разве что пару слов по необходимости выдавит с презрительным отвращением. Похоже,

старый сукин сын просто специально его злит. Уволиться вынуждает, так Патнэму кажется.

И еще — четкое, непрестанное ощущение: словно бы хозяин магазинчика завидует ему, почему — непонятно.

Но уволиться-то он как раз и не может, хочет, да не может. Конечно, магазинчик для него — ад, кошмар, каждый день, подъезжая, взглядывает на второй этаж — и прямо все внутри переворачивается. Только магазинчик — еще и единственное его убежище от мучений, от мыслей безумных, в голове намертво засевших. И лишь под защитой этих стен может он вспоминать про болванку-зрителя — не про фигурки актеров.

Мистер Карр ли, нет ли — а работать в магазинчике ему НАДО.

Воскресенье — а ехать книжки скупать мистер Карр и не подумал. Торчит в магазине, распаковывает старые коробки, расставляет содержимое по полкам, а Патнэм, ясно, стоит за прилавком. Уже в обеденный перерыв он неожиданно понял — старика здесь нет. Нет ни у одной из полок, нет в каморке, служащей складом, нет в туалете.

А это значит, что может он быть только в одном месте.

Патнэм думает — может, сходить куда пообедать? Можно домой съездить, можно в «Макдоналдс». А может, остаться у прилавка, подождать мистера Карра?

Думает — а идет наверх.

Почему он вдруг надумал вернуться в театр — и сам толком не понимал, не было для этого никакой разумной причины, понимал же — если там все равно мистер Карр, то ни черта новенького в театре поглядеть не удастся, да и не хотелось, не хотелось глядеть, от одной мысли, что снова увидишь те фигурки, голова начинала раскалываться...

Все так — а он идет наверх.

Взял под прилавком фонарик. Мистер Карр, между прочим, дверь за собой забыл закрыть, Патнэм притворил ее за собой и — на цыпочках — вверх по ступенькам. По коридору — тихо-тихо, осторожненько, нельзя шуметь, мимо

одинаковых пустых дверных проемов... ну вот, наконец и последний. Нервы на пределе, сердце прыгает, ладони — такие мокрые, что фонарик трудно держать,— и он переводит дыхание, и переглатывает комок в горле, и направляет луч света в театр.

На мистера Карра.

Старик полулежит в самом дальнем от болванки кресле. Голый. Брюки, рубашка, туфли — все как попало свалено у ног на пыльный пол.

А по его телу в разных позах расставлены куклы.

Патнэм смотрит не отрываясь. Ведь ясно же, должен бы старик заметить фонарик, его высветивший, а — не реагирует. Касается фигурки на своем колене, потом — другой, на плече, дрожащими пальцами поглаживает тыквенные щеки, ерошит гнусные жесткие патлы.

И улыбается.

Патнэм все так же люто ненавидит и театр, и кукол, все так же сатанеет от непонятного гнева и острого отвращения, но одновременно в нем вдруг пробуждается странная зависть к мистеру Карру. Словно бы где-то глубоко внутри ему тоже этого хочется. Раздеться. Опуститься в какое-нибудь из зрительских кресел. Почувствовать близость кукол.

Он выронил фонарик и бросился бежать по коридору к лестнице.

По ступенькам — бегом. Прочь из магазина — бегом.

На следующий день он сидел дома. Когда мать сказала, что мистер Карр звонил и просил его перезвонить в магазин, ответил — для мистера Карра его никогда не будет дома.

В магазинчик он вернулся. Вот так вот. Два дня прошло — и вернулся. Сделал вид, что книжку выбирает, слава богу, мистер Карр был у прилавка по горло занят, и он долго прятался за стеллажами, но когда уже несколько часов спустя он уходил, держась в тени парочки, нагруженной рюкзаками, когда уходил... старик взглянул прямо на него.

Улыбнулся и головой покачал. Печальная вышла улыбочка. Патнэм бросился к своей машине вне себя от стыда и смутного ощущения вины.

...Во сне он был фермером, и во все стороны, на сколько глаз хватает, на мили и мили от него тянулись окружающие ферму поля. Поля, поля и поля поспевающих ямса и тыквы.

Он убил мистера Карра в воскресенье вечером, когда ушли последние покупатели, когда магазинчик закрылся. Размозжил старику голову гигантской тыквой. Обрушивал ее, тяжеленную, на хрупкие кости старческого черепа снова и снова. И снова, и снова, и снова — пока не превратилось лицо в кровавое месиво, пока не исчезли черты, пока не стала тыква в его руках бесформенно-мягкой.

Постоял над бездвижным телом старика — дыхание тяжелое, руки, одежда — все в крови. Чувствовал усталость. Чувствовал облегчение. А еще — незавершенность, недовыполненность, словно чего-то важного не хватает. Он побрел вдоль стеллажей туда-сюда, тыква все еще судорожно сжата в руках, невозможно сосредоточиться, найти недостающее стеклышко в мозаике. А потом взгляд его упал на нераспакованную коробку с книгами, на большой нож на коробке — и все мгновенно встало на место.

Он срывал книги с полок, отдирал обложки, вырывал, кромсая, страницы, пока не выросла на полу гора бумаги. Отбежал от стеллажа к телу, снял со старика все — туфли, носки, брюки, рубашку, белье.

Набил одежду бумагой, связал для верности упаковочным шпагатом.

Наконец вырезал из тыквы нечто, напоминающее человеческую фигурку. Отхватил несколько прядей собственных волос. Прилепил при помощи крови старика отрезанные волосы к мягкому тыквенному черепу.

Конечно, законченной его работу не назовешь — не произведение искусства, так, нечто полуоформленное, полупригодное, но это — лучшее, на что он способен при подобных обстоятельствах, ладно, надежда умирает последней, может, и сойдет. Он ухватил безголовое, набитое бумагой чучело и обнаженную, грубо вырезанную куклу — и понес наверх.

В театре он усадил чучело в одежде мистера Карра в кресло — возле болванки. Куклу поставил на сцену. Ненависть вернулась, но не такая отчаянная, как раньше. Отвращение точно размылось изнутри. Он принялся раздеваться, срывая с себя шмотки, торопливо сбрасывая их на пол. Мгновение просто стоял, ощущая, как странный прохладный ветерок ласкает кожу, а потом вспрыгнул на сцену. Поднял сначала куклу, которую вырезал сам, затем остальных. Растянулся на спине на пыльных досках и стал расставлять в торжественных театральных позах на собственном теле маленькие фигурки, невольно ежась от скользкой теплоты.

Последнюю фигурку — себе на грудь. И что теперь? Сначала — абсолютно ничего. И вдруг ненависть исчезла, будто испарилась, обратилась в удовлетворение. Показалось, в тишине театра он услышал эхо отдаленного пения.

Наверно, надо бы сесть, надо бы взглянуть, что происходит, но нет, слишком ему спокойно, слишком большой кайф, и он остается лежать очень спокойно, и пение — все громче, все отчетливее.

Он закрывает глаза. Он ждет.

И в темноте на сцене его тела куклы начинают представление...

Тим Пауэрс

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

За день до того, как взорвался мой дом в Санта-Ане, мне позвонили. Где-то около полудня. Я как раз возвращался из «Того», кофейни всего в трех кварталах от дома, где я всегда покупаю сандвичи с тунцом. Уходя, я оставил окно гостиной открытым и поэтому услышал звонок еще со двора. Я взбежал на крыльцо, пытаясь достать из кармана ключи и не уронить при этом пакет с сандвичами. В общем, когда я добрался до телефона в гостиной, я успел основательно запыхаться.

— Я слушаю.

В ответ — тишина. Только шипение в трубке. Была середина октября, когда жаркие ветры Санта-Аны срывают сухие стручки с рожковых деревьев, и трубка уже стала липкой. Это у меня вспотела ладонь. Я вообще очень сильно потею, когда жара. Тем более, со всем этим пивом, и постоянным стрессом, и прочими радостями.

— Я слушаю,— повторил я слегка раздраженно.— У вас там что, снова короткое замыкание?

Иногда на мой номер переводят автоматические звонки со старого заброшенного нефтехранилища в Сан-Педро. Что-то у них замыкает на станции. И я уже было ре-

---

© Перевод. Т. Покидаева, 2005.

шил, что так напрягался и несся в дом сломя голову лишь для того, чтобы ответить на очередной мертвый звонок.

Но мне все же ответили. Хриплым сдавленным шепотом. Не знаю, как понял, что это мужчина.

— Гантер! Господи боже... это... Даг Орни, мы с тобой в школе учились. Ты ведь меня помнишь?

— Даг? Орни? — В последний раз я разговаривал с ним лет двадцать назад. Странный какой-то у него голос. Может, у бедняги рак горла.— Конечно, помню! Ты где сейчас? В городе?..

— Нету времени на разговоры. Я не хотел бы... ломать твои планы.— Судя по голосу, он был чем-то очень расстроен.— Слушай, сейчас тебе позвонит одна женщина. Ты ее не знаешь. Скажи ей, что я был у тебя, но уже ушел. Буквально минуту назад ушел, хорошо?

— Какая женщина...— начал я, но услышал отбой.

Как только я положил трубку на место, телефон зазвонил опять. Я сделал глубокий вдох.

— Слушаю.

Это действительно была женщина.

— Простите, Даг Орни сейчас не у вас?

Я помню, о чем подумал. Я подумал, что ее голос очень похож на голос моей сестры, которая вышла замуж — так сказать, сочеталась гражданским браком, может быть, даже и не консуммированным до сих пор,— за одного иранца, который живет во Франции, в аэропорту Шарль-де-Голль. Впрочем, в последний раз я разговаривал со своей сестрой, когда президентом еще был Картер.

— Он только что ушел,— ответил я.

— Так я и думала.— В трубке раздался тяжелый вздох.— Ладно, я сделала все, что могла.

И снова — короткие гудки.

Мы выросли в старом викторианском особняке на Лафайет-авеню в Буффало. На третьем этаже не было ни внутренних перегородок, ни стен: когда-то здесь был бальный

зал. Впрочем, мы въехали в этот особняк, когда времена балов давно миновали, и зал приспособили под склад старой мебели. От стены до стены, от пола до потолка высотой в двенадцать футов, вдоль и поперек — все забито мебелью. Мы с сестрой были тогда совсем маленькими и частенько забирались в это темное пыльное хранилище. Лазили там, словно в джунглях, по ветхим диванам и перевернутым столам; протискивались между свернутыми коврами и под высокими креслами в стиле Регентства. Света там не было никакого, и разглядеть хоть что-нибудь можно было лишь на пятачках под запыленными окнами. Мы забирались наверх, к самому потолку, а потом снова спускались вниз и находили путь к выходу по направлению паркетных половиц. Для нас это было рискованное приключение. Проверка себя. А когда, покрытые с головы до ног пылью, мы выбирались наконец в коридор, то говорили друг другу, что, наверное, не скоро отважимся повторить подобную вылазку.

В детстве мне часто снился один и тот же кошмарный сон. Будто бы я забрался в самую сердцевину мебельных джунглей. Один, без сестры. Глубокой ночью. В кромешной тьме. Я сижу на шкафу — а может, на выдвижной кровати — где-то посередине между полом и потолком, и вдруг слышу приглушенное шуршание. Оно доносится из глубины темного зала, этого трехмерного лабиринта витых ножек столов и стульев и декоративных завитков, чью форму можно определить лишь на ощупь. Во сне я знаю: где-то там, в темноте, еще один мальчик. Грустный и одинокий мальчик, который прячется здесь уже много лет. Я знаю: он хочет со мной поиграть, показать мне свои сокровища: пряжки от старых туфель, карманные часы, старинные перьевые ручки, которые отрыл в здешних шкафах и комодах. Я всегда представлял его очень худым и бледным, и еще — я был уверен, что, если бы он все-таки вышел ко мне там, во сне, он бы никогда не приблизился к окнам,

чтобы я его не увидел. И еще я точно знал: он говорит только шепотом.

Я всегда просыпался от этого сна, когда за окном было еще темно. И лежал напряженно на кровати, не шевелясь, не открывая глаз. До рассвета. Пока солнечный свет не проникал мне под веки.

На следующий день, рано утром, я тихо-мирно лежал на травке у себя во дворе, потягивал пиво — баночный «Курс» — и щурился на солнце, пытаясь сфокусировать взгляд на кустах помидоров у белой садовой стены. Свет был очень ярким, у меня слезились глаза. И тут я услышал какой-то мелкий дробный стук — так шумит дождь в древесной листве. Я резко сел и раздвинул низко свисавшие ветви.

С неба падали осколки стекла. Я потрогал один. Он был горячим, как нагретая тарелка. За спиной что-то громыхнуло и затрещало. Я попытался вскочить, но не устоял на ногах и снова плюхнулся на траву. Сверху посыпались обломки красной глиняной черепицы, срезая ветки с кустов жасмина. Резко запахло гарью, к которой примешивался едкий запах раскрошившихся и обожженных камней. Внезапный порыв обжигающе жаркого ветра сбил меня с ног и швырнул на пластиковый садовый столик. Я упал лицом вниз, повалив в падении столик, и так и остался лежать на влажной траве, не в силах даже вздохнуть. А потом раздался оглушительный грохот, похожий на срыв басовой ноты, от которого у меня волосы встали дыбом. Причем встали конкретно — и простояли так несколько дней. Мне до сих пор не всегда удается пригладить их как надо. Не то чтобы это меня напрягает, но все-таки.

Теперь двор стал похож на поле брани. Розовые кусты были побиты комьями земли, некоторые вырваны с корнем. Керамический утенок, который был у нас вечно — сколько я себя помню,— разлетелся на сотни осколков.

Я, помню, еще как-то радовался за него: хорошо, что ему выпал случай совершить путешествие по Калифорнии — хоть какое-то разнообразие в его небогатой событиями жизни.

Восточное крыло дома, где всего пару минут назад была кухня, превратилось в руины. Полосы ободранных обоев стоймя стояли над краем крыши, словно волосы у меня на черепушке, обломки дерева и куски штукатурки разлетелись чуть ли не по всему двору. В кухне вообще не осталось ничего: ни холодильника, ни стола, ни картин на стенах. Пропан тяжелее воздуха. Он заполнил всю кухню, поднимаясь от пола, пока не добрался до маленькой, постоянно включенной горелки на плите.

Мне тоже досталось от взрыва. Смяло ребра, сожгло брови, опалило горло. И я, кажется, отравился парами радона, или асбеста, или чем там еще штукатурят стены. Потом, когда я немного очухался, я решил, что мне надо поехать к дяде, в Сан-Бернардино. Так сказать, залечить раны. В общем, я целый день трясся в автобусе. Дядя обретался в нашем старом доме — древней обшарпанной развалюхе типа классического ранчо, где мы вполне счастливо прожили почти год после переезда из Нью-Йорка. А потом мать нашла другой дом, в Санта-Ане, и купила его в рассрочку.

Керамический утенок был, наверное, первой вещью, которую мать прикупила специально для нового дома. Обычно он просто стоял во дворе — никого не трогал. Но вскоре после того, как нам с сестрой исполнилось по семь лет, утенка украли. Не сказать, чтобы мы очень расстроились. Но зато потом... спустя примерно полгода... когда он, как ни в чем не бывало, объявился у нас на лужайке... Это действительно было что-то. Потому что рядом с керамической птичкой — прямо на влажной траве — лежал фотоальбом, весь заполненный фотками. Наш утенок на фоне самых известных мест штата: утенок на клумбе у входа в Диснейленд, утенок в фуникулере канатной дороги в Сан-Фран-

циско, утенок между отпечатками ладоней Кларка Гейбла*. Впрочем, там были и снимки из совершенно ничем не примечательных мест. Например, на одном наш утенок стоял прислоненным к обычному дереву авокадо на чьем-то дворе на задах старого и обшарпанного домишки. Я так думаю, что все теперешние истории о садовых гномах, совершивших кругосветное путешествие, начались со скромных странствий нашего керамического утенка еще в пятьдесят девятом. А может, наоборот.

Дядин дом совсем не изменился с тех давних времен, когда мы с сестрой лазили здесь — на участке, задушенном сорняками, по канавам и ямам, взбираясь на высоченные клены у задней изгороди. Я с удивлением обнаружил, что на стволе одного из кленов до сих пор сохранились, вырезанные ножом, наши инициалы. На высоте в один ярд над землей, как и прежде. Сестра почему-то не захотела на них смотреть. А еще я нашел целую кипу наших старых игрушек, разбросанных в сорняках: облезлые модели деревянных бревенчатых домиков и установок для запуска ракет «Найки»**. Я собрал их и свалил в кучу у задней стены гаража, где дядя, видимо, держал пиво. Но сестра даже не подошла, чтобы на них взглянуть.

В полдень на улицах Сан-Бернардино всегда можно встретить стройных длинноногих женщин в шортах и открытых майках, с голыми плечами. Со спины они кажутся юными и фигуристыми — вечно блондинистые волосы, стройные загорелые ноги. Но когда проезжаешь мимо на автомобиле и оборачиваешься назад, то с ужасом видишь их лица — потасканные и безнадежно старые. А по

---

* Гейбл Кларк (1901–1960). Выдающийся американский актер кино и театра. Сыграл роль Рэтта Батлера в «Унесенных ветром». Американа, с. 352. Утенок сидит у знаменитого голливудского кинотеатра «Китайский театр Граумана», перед входом в который в цементе на тротуаре сохраняются отпечатки почти всех звезд Голливуда.— *Примеч. пер.*

** «Найки» — управляемая ракета класса «земля-воздух». Американа. с. 665.— *Примеч. пер.*

ночам на стоянках у баров на главной улице, под редкими скоплениями огней в клочьях натриевых испарений нет свободного места — все забито машинами. Но если проехать всю улицу из конца в конец, непременно увидишь и лошадей — штук этак пять или шесть,— привязанных к столбикам у дверей пивнушек. Дядюшка говорит, это все из-за климата. Городок ютится под ущельем Кахон в гористой пустыне Мохаве, и миражи у нас не редкость.

Я не стал возражать, когда сестра предложила свозить меня в самый большой супермаркет в округе. Впрочем, эта поездка не подняла ей настроения. Может быть, потому что я откровенно наворовал там фруктов, сыра и крекеров. В последнее время я только ими и питаюсь — от всего остального меня просто рвет. Сестра прилетела из Франции, когда узнала, что я едва не убился. Она приезжает ко мне в Сан-Бернардино всякий раз, когда ей удается одолжить у кого-нибудь из друзей старенькую машину. Она все пытается уговорить меня вернуться в Санта-Ану или поселиться где-нибудь еще, лишь бы только я не застрял в дядькином доме. На самом деле она хотела сразу отвезти меня в больницу — но я отказался. Почему-то мне стало страшно. И еще я сказал сестре, чтобы она никому не говорила, где я. И вообще решил называться чужим именем. Не то чтобы это кого-то интересовало, но все-таки...

Надо признать, семейная жизнь у моей сестренки получилась не самая радостная. Ее муж родился в той части Ирана, которая была под юрисдикцией Великобритании, и когда он попытался вернуться домой после учебы в Англии, иранцы объявили его врагом шаха; у него отобрали паспорт, а взамен дали какие-то непонятные бумаги, по которым он мог выехать из страны, но вернуться обратно — никак. Он решил ехать во Францию, добрался до аэропорта Шарль-де-Голль и там застрял: французские пограничники не впускали его без паспорта в страну, а таможенники не давали сесть на другой самолет. Так он и жил все эти годы — десятки лет — в торговом центре первого термо-

нала. Спал на пластиковой кушетке и смотрел телевизор в зале ожидания. Сердобольные стюардессы снабжали его туалетными принадлежностями из наборов для пассажиров дальних рейсов, чтобы он брился и чистил зубы. Сестра познакомилась с ним, когда шаталась по аэропорту, пытаясь убить время. (Она ездила в тур по Европе, который матушка ей подарила на окончание школы, и ее рейс задержали.) Сестра подыскала себе работу в Руасси и сняла там квартиру, чтобы быть поближе к мужу.

Я уже устал втолковывать упрямой сестрице, что ей пора возвращаться во Францию, не то она потеряет работу. Но она говорит, у нее нет выбора. Потому что теперь ко мне может пробиться только она — и больше никто. Она говорит, я почти за чертой.

Всякий раз, когда она приезжает к нам на очередной старой развалюхе, дядя норовит потихонечку улизнуть. И не он один. Когда я вывалился из автобуса у покосившихся дядюшкиных ворот — весь обожженный, глаза слезятся, горло саднит, и вообще несколько не в себе от отравления радоном,— дядя уже поджидал меня на крыльце в своей неизменной соломенной шляпе, надвинутой чуть ли не до бровей: из-под широких полей видны только роскошные седые усы. Дом был в запустении, и не дом уже, а так, пустая коробка: гулкие пустые комнаты с выдранными выключателями, на месте которых торчат оголенные провода. С прежних времен только и остался старенький телефон — черный допотопный с вертящимся диском, он стоит прямо на полу в кухне. Дядя сказал, что я могу спать в моей старой детской. Я приволок туда кипу газет и устроил себе «гнездо» в дальнем углу. Теперь я подумываю о том, чтобы перетащить свое гнездышко в. кладовую.

«Если ты здесь кого встретишь, в доме, не обращай внимания,— сказал мне дядя еще в первый день.— И не спрашивай, что они тут забыли. Вообще к ним не лезь. Может, они тут живут, я не знаю».

И я действительно натыкался несколько раз на какого-то древнего старикашку в таком, знаете, комбинезоне, который застегивается на «молнию» от лодыжек до горла. Почему-то всегда только на кухне — он стоял в уголке у раковины и тихонько плакал. Обычно я только киваю ему и прохожу мимо, шаркая по пыльному линолеуму. Нам с ним не о чем говорить. Все равно мы не скажем друг другу ничего нового. И еще пару раз я наблюдал, как в дальнем конце двора, на задах дома играют двое детишек. Пусть себе играют, решил я. Никому они не мешают. Дядя целыми днями ходил кругами за гаражом, пытаясь отыскать свое пиво. Здесь у нас тоже бывают миражи. Вернее, один неизменный мираж. Если сойти с подъездной дорожки в заросли сорняков и идти от дома — по прямой, никуда не сворачивая,— то обязательно выйдешь к дому.

«Так было всегда,— как-то раз сказал мне дядя, уставши шарить по сорнякам и присев отдохнуть на капот своего старого ветхого грузовичка.— Но как-то зимой, года два назад, я тут ходил во дворе. Темно уже было, поздно. И вроде бы все ничего, вот только в тот раз я к дому *не вышел*, да. А вышел я прямиком к розовому кусту. Помнишь, у матушки твоей были розы? Так вот... это были *те самые* розы. Цвели пышным цветом, как будто летом на дворе. И листья у них были теплые, да. В миражах время стоит — это все знают. Оно там не движется, застывает. И я, не будь дурак, сбегал к грузовичку, взял там из холодильника парочку упаковок «Будвайзера» и припрятал их под кусточком. Назавтра все стало по-прежнему: все тот же наш старый мираж "развернись кругом". Но когда он пропадает... а он иногда пропадает, да... я точно знаю, где можно добыть холодного пива».

Я кивнул пару раз, дядька кивнул тоже. Как раз после этого разговора я и собрал все наши старые игрушки и оттащил их туда, за гараж.

Вчера сестра прикатила к нам в блестящем зеленом «эдселе». Когда она резко затормозила в облаке пыли и открыла дверцу, готовясь выйти, я сразу заметил, что глаза у нее красные, заплаканные. Ехать ей было неблизко. Каждый раз она выматывалась до предела.

При взрыве мне обожгло горло, и у меня пропал голос — поэтому я подошел совсем близко к сестре, чтобы она меня слышала.

— Пойдем в дом. Там... вода,— проскрежетал я, пряча глаза. Мне было неловко, что она так напрягается из-за меня. Стаканов и чашек у нас в доме не было, но она бы могла попить из-под крана.— И печенье,— добавил я.

— Не хочу входить в дом. Мне страшно смотреть, во что он превратился,— раздраженно проговорила она.— А ведь нам было здесь так хорошо, когда мы все тут жили.— Сощурившись на солнце, она указала взглядом на бескрайний пустырь из рытвин и побуревших кочек, в который теперь превратился наш задний двор.— Пойдем лучше там поговорим.

— Какая-то ты раздражительная сегодня,— заметил я, но покорно поплелся следом по подъездной дорожке. Мимо кизилового дерева, мимо дома. Сегодня сестра надела синий сарафан, который лип к ее мокрой от пота спине.

— Почему все так вышло, Гантер? Почему именно так?

Я быстро огляделся по сторонам, но рядом не было ни единой живой души. Даже птицы — и те не парили в пустом безоблачном небе.

— Даг,— напомнил я ей хриплым шепотом, пытаясь не напрягать голос. Имя мне подсказал телефонный звонок за день до взрыва. Я подумал, что настоящий Даг Орни, где бы он сейчас ни был, все равно никогда ничего не узнает.— Ты обещала.

Мы с ней уже сошли с подъездной дорожки и углубились в буйные заросли репейника. Сестра устало пожала плечами:

— Почему все так вышло... мистер Орни?

Я ускорил шаг, чтобы нагнать ее. Я был босиком, но к моим ногам не прилипло ни единого репья. Наверное, стопы у меня мозолистые и жесткие.

— Дорого, наверное, брать напрокат классический «эдсел»? — сменил я тему.

— Дорого, да.— Ее голос был тусклым, резким.— Особенно летом, когда начинаются все эти мексиканские свадьбы. Он пятьдесят седьмого года, но в нем, должно быть, стоит новый двигатель или что там еще бывает... сегодня я даже указателей не различала на старом шоссе номер шестьдесят шесть. Всю дорогу — один Футхил-бульвар. Не знаю, смогу ли я снова приехать сюда, к тебе. Смогу ли пробиться к тебе еще раз. Даже я, твоя *сестра-близняшка,* которая *жила* здесь, с *тобой!* Даже на автомобиле из тех времен. И потом, я ведь нужна и Хакиму.— Она обернулась ко мне и топнула ногой.— Если бы он хотел, он бы нашел способ выбраться из аэропорта! И ты посмотри на себя! Черт возьми... Даг... вот скажи мне. Сколько времени будет *жить* тело в глубокой коме, даже в такой распрекрасной больнице, как Вестерн-Медикал, если его душа прячется где-то *инкогнито?*

— Ну, *душа...*

— Это явно неосвященная земля. Это что, какой-нибудь перекресток? Что ты забыл в этих репьях-сорняках?! Свое *искупление,* может быть?! — Она снова расплакалась.— *Утечка пропана.* Тогда почему тебя нашли во дворе, рядом с утенком? Ты передумал, правда? Ты пытался уйти, спастись. Замечательно! Вот и спасайся. Иди. Не зависай... на вокзале. В нигде — между здесь и там. Иди прямо сейчас. К этой дурацкой старой машине. Дай мне тебя увезти в Вестерн-Медикал, пока я еще могу. Пока ты еще можешь уехать отсюда. Ты еще можешь *проснуться.*

Я улыбнулся и покачал головой. Теперь я понял, чего боялся. Нет, не мальчика в темном бальном зале. Я боялся

рассветов. Каждый рассвет, предвещающий очередной новый день, отзывался во мне напряженным страхом. Страхом неизвестного. Тот мальчик из моих снов... он нашел способ, как спрятаться от рассветов. Но я этого не умел, и каждое утро солнечный свет безжалостно и неизбежно проникал под плотно закрытые веки, предвещая начало нового дня. Я хотел сказать сестре что-нибудь ободряющее, но она смотрела куда-то мимо меня совершенно пустыми глазами.

— Господи,— выдохнула она с благоговением, причем сейчас ее голос был почти таким же хриплым, как мой.— Это же здесь снимали, отсюда. Ну, та фотография... с утенком у дерева авокадо. В фотоальбоме, помнишь? — Она указала глазами на дом.— Сейчас там нет никакого дерева, но ты посмотри... под тем же углом вид на дом, эти окна... точно, как на фотографии. Тогда мы его не узнали, дом... потому что мы его помнили новым, недавно покрашенным, а не таким облупленным и облезлым, каким он стал теперь... каким он был на фотографии. И еще на фотографии было большое дерево на переднем плане. Оно тоже нас сбило.

Я встал рядом с сестрой и посмотрел на дом, щурясь на солнце. Свет был очень ярким, и у меня жутко слезились глаза. Похоже, сестренка была права. Если представить дерево справа, а рядом с деревом — керамического утенка, то этот вид очень напоминал вид на снимке из старого фотоальбома.

— Человек, который это снимал, стоял прямо здесь,— тихо проговорила сестра.— На этом самом месте.

Или *будет* стоять, подумал я.

Но вслух сказал совсем другое:

— Свозишь меня в супермаркет?

Когда сестренка уехала, я еще несколько раз ходил на то место и смотрел. Похоже, конечно... но я до сих пор не уверен, что это *тот самый* вид. Дело в том, что я плохо

помню то фото. Может, это действительно тот же дом. Может быть, нет. Оставалось только ждать.

Я не думаю, что попаду в супермаркет в ближайшее время. Если вообще когда-нибудь попаду. Меня раздражает сама дорога. Слишком много на ней миражей — сгустков видений в разрывах пространства, залитого резким солнечным светом, который режет глаза. Можно подумать, что в Сан-Бернардино нет ничего, кроме ходячих скелетов и одноконных фаэтонов. В тот раз вместе с крекерами и сыром я прихватил и плод авокадо. А сестра оставила мне коробку со старой отцовской одеждой, потому что мне было даже не во что переодеться — я так и ходил в опаленных брюках и прожженной рубашке. Перед отъездом она сказала, что у нее сердце кровью обливается, когда она меня видит таким ободранным и неприкаянным. Я еще не заглядывал в эту коробку, но всякому здравомыслящему человеку понятно, что там обязательно должен быть такой, знаете, старческий комбинезон, который застегивается на «молнию» от лодыжек до горла.

Теперь я знаю, что сестра наконец возвращается во Францию — к своему бедному Хакиму, застрявшему в аэропорту в Руасси. Я ей звонил. Я уже говорил, у нас на кухне стоит телефон.

— Я еду в больницу,— сказал я ей.— Так что можешь спокойно лететь во Францию.

— Гант... то есть, *Даг*... ты откуда звонишь?

— Из Санта-Аны. Я прямо сейчас сажусь на автобус и еду в больницу. Мне только надо переодеться. И еще я попробую все-таки причесаться нормально.

— Ты в Санта-Ане?! Какой у тебя там номер? Я сейчас перезвоню.

Я испугался и запаниковал. И назвал ей первый же номер, который пришел мне на ум,— мой собственный старый номер в Санта-Ане.

— Но я не хотел отнимать у тебя время,— пробормотал я.— Я просто хотел сказать...

— Но это же наш старый номер,— оборвала меня сестра.— Как могло получиться, что ты звонишь с нашего старого номера?!

— Он... его оставили в том же доме.— Если бы я еще мог потеть, я бы точно вспотел.— И те люди, которые теперь здесь живут... они разрешили мне позвонить.— Ложь давалась мне без труда. Я даже зачем-то добавил: — По-моему, я им понравился. Они меня сандвичами накормили.

— Ну еще бы! Ладно, не отходи от телефона.

Она бросила трубку. Я знал, что сейчас будет гонка — кто быстрее наберет наш старый номер. Наверное, у нее тоже был аппарат с вертящимся диском, потому что я, кажется, все-таки успел первым. В трубке раздались длинные гудки. Один, второй, третий. После четвертого я уже не сомневался, что наш старый номер все-таки снова работает. Потому что, если бы он не работал, после третьего гудка я бы услышал записанный электронный голос с уведомлением об отключении. *Ну давай же, давай,* шептал я одними губами. Я очень надеялся, что человек, который поднимет трубку на том конце линии, дослушает меня до конца и сделает то, о чем я его попрошу.

Наконец трубку взяли, и запыхавшийся голос выдохнул мне в ухо:

— Я слушаю.

Конечно, я сразу узнал этот голос, и у меня в горле встал ком.

— Я слушаю,— повторил он слегка раздраженно.— У вас что, там снова короткое замыкание?

Да, подумал я.

Это старое нефтехранилище в Сан-Педро закрылось уже много лет назад, но когда-то там стоял переключатель набора номера, который автоматически связывал базу с головной конторой, когда топливо подходило к концу. Потом всю систему вырубили, но где-то, видимо, произошло короткое замыкание, и резкий скачок напряжения в сети снова включил автоматический набор номера. Но к тому

времени бывший «пожарный» номер уже передали нам. Я так думаю, что на этом заброшенном нефтехранилище топлива нету давно, но система автоматического контроля сбоит и замечает это лишь время от времени. Конечно, нас раздражало, когда телефон начинал трезвонить совсем не по делу. Но исправить это мы были не в силах.

— Гантер! — У меня даже зубы свело, когда я произнес это имя.— Господи боже... это... Даг Орни, мы с тобой в школе учились. Ты ведь меня помнишь?

— Даг? — проговорил полупьяный мужчина, что называется, средних лет, на том конце линии. Он был явно сбит с толку. И наверное, думал, что у меня с голосом что-то не то. Может быть, даже рак горла.— Орни? Конечно, помню! Ты где сейчас? В городе?..

— Нету времени на разговоры,— выдавил я, изо всех сил стараясь не кашлять. А что если Даг Орни, *настоящий* Даг Орни, и вправду был бы в городе? Что бы тогда стал делать этот несчастный неудачник? Пригласил бы пообедать вместе и вспомнить былые денечки? — Я не хотел бы...— Тебя останавливать, но этого я вслух не сказал. Спасать тебя, черт побери. Но и этого я не сказал. А сказал я совсем другое: — ...ломать твои планы.— У меня жутко слезились глаза. Даже в сумрачной кухне.— Слушай, сейчас тебе позвонит одна женщина. Ты ее не знаешь,— проговорил я с нажимом. Мне совсем не хотелось, чтобы он пусть даже на пару секунд задумался о том, что может знать эту женщину.— Скажи ей, что я был у тебя, но уже ушел. Буквально минуту назад ушел, хорошо?

— Какая женщина...

Я бросил трубку. Сейчас узнаешь, подумал я.

Сегодня на заднем дворе появилось дядюшкино пиво — две упаковки холодного пива, прямо из холодильника в грузовичке. Розы по-прежнему свежие. Я смотрел на обрезанные стебли и пытался уразуметь, что мама срезала эти цветы всего пару часов назад. Конечно, по времени розо-

вого куста. Может быть, эти смазанные пятна белесой пыли на боках некоторых бутонов остались после прикосновения ее рук. Мы с дядей сидели прямо на земле — на пыльной подъездной дорожке — под жарким полуденным солнцем. Нас обоих пробило на слезы и сантименты. Мы пили холодный «Будвайзер», банку за банкой. Пили за тех, кого любим и кого нет сейчас с нами. Хотя в доме, весьма вероятно, уже не было никого. А двое детишек давно покинули наш запущенный двор.

Я закопал в землю косточку авокадо. В том самом месте, где на фотографии было дерево — если это и вправду была фотография именно этого дома. Пройдет время, и здесь вырастет дерево. И быть может, однажды под этим деревом появится забавный керамический утенок — заглянет по пути из Диснейленда и «Китайского театра Граумана»* по пути в тот дом, где нам с сестрой по-прежнему по семь лет. Я думаю составить ему компанию. Если он меня примет.

---

* Знаменитый кинотеатр в Голливуде. Назван по имени владельца.— *Примеч. пер.*

Джо Р. Лэнсдейл

ЛЕТО БЕШЕНОГО ПСА



овости, в отличие от слухов, не путешествовали так, как сейчас. Тогда. Без радио или газет. В Восточном Техасе. Тогда было по-другому. Что произошло в другой стране, часто там и оставалось.

Мировые новости — это было только вот то, что важно для всех нас. Нам не надо было знать ужасов, которые не касались нас, в Билджуотере, штат Орегон, или даже за границей штата в Эль-Пасо, или в северную сторону в забытом богом Амарилло.

Все, что нам теперь нужно знать,— яркие детали какого-нибудь убийства, из-за которого оно ужасно, а иначе это медленные еженедельные новости. И так повсюду, даже если убили какого-нибудь продавца бакалейной лавки в штате Мэн, который нас ни сном ни духом не касается.

Тогда, в тридцатые, в далеких странах могло случиться убийство, и вы о нем даже не узнали бы, если только оно вас не касается, потому что, как я уже сказал, новости путешествовали тогда медленнее и полиция старалась сама справиться.

С другой стороны, бывали времена, когда было бы лучше, если бы плохие новости расходились быстрее — или

© Перевод. М. Левин, 2005.

вообще расходились. Знай мы в те времена кое-что, быть может, некоторых ужасных переживаний, выпавших на долю моей семьи, удалось бы избежать.

Но что было, то было, и даже теперь, когда мне за восемьдесят, я, валяясь здесь в доме престарелых, в комнате, пропитанной запахом моего разлагающегося тела, ожидая, когда дадут еду, протертую и безвкусную, или еще чего-нибудь ожидая, со штырем в бедренной кости, а по телевизору какое-нибудь ток-шоу, набитое идиотами, я вспоминаю те времена, почти восемьдесят лет назад, и воспоминания так же свежи, как тогда.

Все это случилось в тридцать первом — тридцать втором году.

Я полагаю, что тогда были люди с деньгами, но мы в их число не входили. Была Великая Депрессия, и даже будь мы из тех, что с деньгами, покупать было бы мало что, если не считать поросят, цыплят, овощей и штапеля, а поскольку первые три продукта мы выращивали, нам оставался бы только штапель.

Папа малость фермерствовал, держал парикмахерскую, где работал почти все дни, кроме субботы и воскресенья, а еще был городским констеблем.

Мы жили в лесной глуши возле реки Сабин в трехкомнатном белом доме, который отец построил, когда нас еще не было. Крыша текла, электричества не было, дровяная печка дымила, амбар был сбит из досточек, а вокруг было полно змей.

Мы пользовались керосиновыми лампами, воду таскали из колодца, а свой стол обогащали охотой и рыбалкой. У нас было четыре акра сведенного леса и еще двадцать пять акров строевого леса и сосны. Фермерствовать и очищать наши четыре акра нам помогал мул по кличке Салли Редбэк. Была у нас машина, но папа ею пользовался только по своим констебльским делам и для воскресных поез-

док в церковь. Остальное время мы ходили пешком, или мы с сестрой ездили верхом на Салли Редбэк.

Принадлежащий нам лес и сотни акров его вокруг нашей земли кишели дичью, мошкой и клещами. В те времена в Восточном Техасе еще не весь строевой лес повырубили, и не все участки леса кому-нибудь принадлежали. Были еще мощные деревья, и много, были глухие места в лесу и вдоль реки, куда забредали только звери.

Там водились дикие кабаны, кролики, еноты, опоссумы, броненосцы, всех видов птицы и полчища змей. Иногда можно было заметить этих чертовых водяных щитомордников, плывущих косяком по реке, и злобные морды покачиваются, как наросты на бревнах. Горе тому несчастному, кто попадет между ними, и благослови Господь сердце того дурака, который верит, что если пронырнуть под ними, то ничего не будет, потому что щитомордники не могут кусаться под водой. Они не только могли, но и кусались.

И олени тоже в лесах бродили. Может, меньше, чем сейчас, когда их выращивают, как посевы, и собирают жатву на трехдневной пьянке у водопоя с помощью снайперских винтовок. Олени, которых кормят кукурузой и приучают ласкаться, как собачек, так что по ним стреляют, как в тире, и еще считают себя охотниками. Им дороже выходит застрелить оленя, привезти его труп и повесить голову на стену, чем сходить в магазин и купить столько же по весу бифштекса. Еще они любят после убоя вымазать лицо кровью и так сфотографироваться, будто считают себя воинами после этого.

Ладно, а то меня занесло в проповедь. Я рассказывал, как мы жили. И говорил, что вокруг было полно дичи. А еще там был Козлоног. Наполовину козел, наполовину человек, и он любил болтаться возле места, которое мы называли «висячий мост». Я его никогда не видел, но иногда, по вечерам, охотясь на опоссума, кажется, его слышал. Он выл

и стонал возле тросового моста, который нахально висел над рекой, качаясь на ветру в лунном свете, и лучи играли на металлических тросах, будто феи пляшут на канате.

Считалось, что он крадет скотину и детей, и хотя я не знал никого из детей, кого съели бы, кое-кто из фермеров говорил, что Козлоног крадет у них живность, и кое-кто из знакомых ребятишек клялся, что у них кого-нибудь из двоюродных унес Козлоног, и больше их не видели.

Говорили, что он не заходит дальше главной дороги, потому что там регулярно пешком и на машинах разъезжают баптистские проповедники и молятся, а потому дорога освященная. Говорили, что он не выходит из лесов, выстилающих дно долины Сабина. Не выносит возвышенностей. Ему нужно, чтобы под ногами была влажная толстая лиственная подстилка, а ноги у него с копытами.

Папа говорил, что никакого Козлонога на свете нет. Это бабьи сказки, которые по всему Югу бродят. Он говорил, что я слышал только крики зверей и шум воды, но я вам скажу: от таких звуков мороз пробирал по коже, и они были похожи на крик раненой козы. Мистер Сесил Чэмберс, который вместе с папой работал в парикмахерской, говорил, что это могла быть пантера. Они, говорил он, иногда появляются в лесной глуши, а вопит она, как женщина.

Мы с моей сестрой Томом — вообще-то она была Томазина, но мы ее все называли Томом — бродили в лесу с утра до вечера. У нас была собака Тоби, помесь гончей с терьером и еще чем-то.

Тоби был настоящий подружейный сукин сын. Но однажды летом тысяча девятьсот тридцать первого года, когда он облаивал загнанную им на дуб белку, гнилая ветка на этом дубе подломилась и стукнула его так, что он не мог шевельнуть задними ногами и хвостом. Я отнес его домой на руках. Он скулил, а мы с Томом плакали.

Отец, увидев нас, перестал пахать, снял упряжь с плеч и бросил ее на землю, а Салли Редбэк оставил стоять посреди

поля, прицепленную к плугу. Он встретил нас на полдороге, мы поднесли к нему Тоби, положили на мягкую вспаханную землю, и папа на него посмотрел. Он пошевелил ноги пса, попытался выпрямить ему спину, но Тоби только дико завывал при этих попытках.

Рассмотрев все варианты, отец велел мне и Тому взять ружье, отнести бедного Тоби в лес и избавить от мучений.

— Это не то, что я хочу, чтобы вы сделали,— сказал папа.— Но это то, что надо сделать.

— Да, сэр,— сказал я.

В наши дни это звучит жестоко, но тогда ветеринары в округе были редки, да и если бы мы захотели повезти пса к ветеринару, так денег не было. Да и любой ветеринар сделал бы то же, что предстояло сделать нам.

Что еще было по-другому: о таких вещах, как смерть, ты узнавал совсем молодым. От этого было некуда деться. Ты сам выращивал и резал цыплят и поросят, охотился и рыбачил, так что с ней ты сталкивался регулярно. Вот потому-то, думаю я, мы уважали жизнь больше, чем некоторые теперь, и ненужные страдания не должно было терпеть.

А в таких случаях, как с Тоби, от тебя часто ожидалось, что ты сделаешь дело сам, не перекладывая ответственность. Это не было произнесено вслух, но отлично всеми понималось, что Тоби — наша собака и потому это наше дело. Такие вещи считались частью познания жизни.

Мы поплакали, потом взяли тачку и положили в нее Тоби. У меня уже было с собой мое ружье двадцать второго калибра на белок, но для этого я вошел в дом и сменял его на одноствольный дробовик шестнадцатого калибра, чтобы он уж точно не мучился. Мысль застрелить Тоби в затылок, разметав его череп по всему мирозданию, не та мысль, которая вызвала у меня радостное предвкушение.

Наша там ответственность или чья, а мне было тринадцать, а Тому — всего девять. Я ей сказал, что может остать-

ся дома, но она отказалась. Сказала, что пойдет со мной. Она знала, что кто-нибудь должен мне помочь быть сильным.

Том взяла с собой лопату, чтобы похоронить Тоби, закинула ее на плечо, и мы повезли старину Тоби, он при этом скулил поначалу, но потом затих. Просто лежал в тачке, пока мы его везли, спина у него подергивалась, и он то и дело поднимал голову и нюхал воздух.

Вскоре он стал нюхать сильнее, и мы поняли, что он учуял белку. Тоби всегда, когда чуял белку, поворачивался к тебе, а потом тыкал головой туда, куда хотел идти, и тут же бросался в бег, заливаясь лаем. Папа говорил, что он нам так показывает, откуда запах, пока не скроется из виду. Ну вот, он именно так и повернул голову, и я знал, что мне полагается сделать, но я решил продлить это, дав Тоби последний раз покомандовать.

Мы свернули туда, куда он хотел, и почти сразу оказались на узкой тропе, усыпанной сосновыми иголками, а Тоби лаял как сумасшедший. Кончилось тем, что тачка уткнулась в корень гикори.

На верхних ветвях играли две жирные белки, будто дразнили нас. Я пристрелил обеих и бросил их в тачку к Тоби, и будь я проклят, если он не залаял снова, взяв след.

Тяжелая работа — катить тачку по неровному лесу и усыпанной хвоей и листвой земле, но мы именно это и делали, совсем забыв, что нам полагается сделать с Тоби.

Когда Тоби перестал брать след белок, уже близилась ночь, и мы были глубоко в лесу с шестью подстреленными белками — не хилая добыча — и полностью вымотались.

И с нами был Тоби, несчастный инвалид, и я никогда не видел, чтобы он так хорошо работал по белке. Будто Тоби знал, что должно случиться, и старался оттянуть событие, загоняя белок на дерево.

Мы сели под большим амбровым деревом и оставили Тоби в тачке с белками. Солнечный закатный свет разби-

вался в ветвях на части, как большой пирог. Тени вокруг нас вставали, как черные люди. Охотничьего фонаря у нас с собой не было. Была только луна, а она еще недостаточно хорошо светила.

— Гарри,— спросила Том,— что будем делать с Тоби?

Я как раз об этом думал.

— Вроде бы ему уже не больно,— сказал я.— И он загнал на дерево шесть белок.

— Ага,— согласилась Том,— но у него спина сломана.

— Это точно.

— Может, мы его здесь спрячем и будем каждый день носить ему еду и воду?

— Вряд ли. Это значит бросить его на милость всякого, кто тут пройдет. Его мошки с клещами заедят заживо.

Об этом я подумал, потому что сам был уже всюду покусан, и я знал, что сегодня буду сам сидеть возле лампы с пинцетом, вытаскивая их отовсюду, купаясь в керосине с последующим полосканием. Летом мы с Томом делали это чуть ли не каждый вечер.

— Темнеет,— сказала Том.

— Знаю.

— Кажется, Тоби уже не так больно.

— С виду ему лучше,— согласился я.— Но все равно у него спина сломана.

— Папа хотел, чтобы мы его пристрелили, чтобы не мучился. По-моему, он сейчас не мучается. Это ведь неправильно — застрелить его, если он не мучается?

Я посмотрел на Тоби. Сейчас он лежал неразличимым комом в тачке, накрытый тьмой. Когда я посмотрел на него, он поднял голову и пару раз стукнул хвостом по деревянному дну тачки.

— Думаю, я не смогу этого сделать. Мы вот что сделаем: отвезем его к папе и покажем, насколько ему лучше. Может, у него спина и сломана, но уже не так болит, как было. Он шевелит головой и даже хвостом, так что тело его не мертво. И его не надо убивать.

— Папа может не согласиться.

— Может, и нет, но не могу я его пристрелить, даже не попытавшись дать шанс. Слушай, он же шесть белок на дерево загнал! Мама обрадуется, когда их увидит. Мы везем его домой.

Мы поднялись, чтобы идти, и тут до нас дошло. Мы заблудились. Увлеклись погоней за белками, бежали, куда показывал Тоби, и зашли глубоко в лес и не узнавали теперь ничего знакомого. Конечно, мы не испугались — по крайней мере в тот момент. В этих лесах мы бродили все время, но сейчас было темно, и это место было нам незнакомо.

Луна чуть поднялась, и я сориентировался по ней.

— Нам сюда,— сказал я.— Так мы выйдем либо к дому, либо к дороге.

Мы тронулись в путь, спотыкаясь на корнях, обломанных сучьях и ветках, натыкаясь на деревья то тачкой, то собственным телом. Вокруг возилась какая-то лесная живность, и я вспомнил, что говорил мистер Чэмберс про пантер, и подумал насчет диких кабанов: а что если мы напоремся на кабана, который ищет желуди, и вспомнил, что мистер Чэмберс еще говорил, что сейчас плохой год по бешенству и много зверей болеют, и от всех этих мыслей так занервничал, что стал нащупывать в кармане патроны. Их оставалось три штуки.

И чем дальше мы шли, тем сильнее становилось вокруг нас движение, и я начал думать, что это держится с нами вровень. Мы замедлялись — оно замедлялось. Мы шли быстрее — оно не отставало. И не так, как это делает зверь, и даже не так, как змея, которая иногда крадется, чтобы напасть. Это было больше змеи. Оно нас скрадывало, как пантера. Или как человек.

Тоби рычал, подняв голову, и шерсть у него на шее стояла дыбом.

Я посмотрел на Тома, и при свете луны, пробивавшемся сквозь ветви, увидел, как она боится. Я знал, что она пришла к тем же выводам, что и я.

Я хотел что-то сказать, крикнуть что-нибудь тому, что было в кустах, но боялся, что это выйдет вроде сигнала, от которого оно на нас нападет.

Раньше я для страховки открыл ружье и положил его в тележку, толкая перед собой его, Тоби и белок. Теперь я остановился, вынул ружье, проверил, что в стволе есть патрон, закрыл ружье и положил палец на курок.

Тоби начал шуметь всерьез, переходя от рычания к лаю.

Я посмотрел на Тома, и она взяла у меня тачку. Ей, конечно, было трудно катить тачку по мягкой земле, но у меня не было выбора — надо было держать ружье, а бросить Тоби мы не могли — после всего, что он пережил.

То, что шумело в кустах, какое-то время не отставало, потом затихло. Мы набрали скорость и больше его не слышали. И присутствия его больше не ощущали. А раньше было так, будто за нами крадется дьявол.

Наконец я достаточно осмелел, чтобы разломить ружье, подложить его в тачку и снова взяться за ручки.

— Что это было? — спросила Том.

— Не знаю,— ответил я.

— Что-то большое.

— Ага.

— Козлоног?

— Папа говорит, что Козлонога на свете нет.

— Да, но иногда ведь он ошибается?

— Вряд ли,— ответил я.

Мы прошли еще немного, нашли сужение реки и переправились, с трудом толкая тачку. Нам не надо было ее пересекать, но здесь было подходящее место, а кто-то или что-то за нами крался и меня напугало, и я просто хотел оставить побольше расстояния между нами и этим.

Мы шли еще довольно долго и дошли наконец до зарослей, обвивавших деревья и кусты и стоявших колючей стеной. Это была стена диких роз и ежевики. Некоторые побеги были толщиной с колодезную веревку, колючки,

как гвозди, а цветы пахли сильно и сладко в ночном воздухе, почти так же сладко, как когда варится сорговый сироп.

Заросли ежевики тянулись во все стороны и окружали нас отовсюду. Мы забрели в лабиринт слишком широкий и глубокий, чтобы его обойти, и слишком высокий и колючий, чтобы перелезать; к тому же колючие стебли переплелись с низкими ветвями и нависали как потолок. Я вспомнил Братца Кролика и терновый куст, но я, в отличие от Братца Кролика, не родился и не вырос в зарослях ежевики, и еще, в отличие от Братца Кролика, не мечтал в этот куст попасть.

Я откопал в кармане спичку, оставшуюся от того случая, когда мы с Томом пытались курить сигареты из кукурузных волос и виноградных лоз. Я зажег спичку о большой палец, посветил ею, увидел широкий проход в ежевике, и не требовалось высшего образования, чтобы углядеть прорезанный в зарослях проход. Я наклонился, сунул спичку перед собой и понял, что ежевика образовывала что-то вроде туннеля футов шесть в высоту и столько же в ширину. Как далеко он тянется, я не видел, но прилично далеко.

Загасив спичку, пока она не обожгла мне руку, я сказал Тому:

— Можем вернуться назад, а можем пойти по этому туннелю.

Том посмотрела налево, увидела толстые твердые стебли ежевики, а перед нами тоже они стояли стеной.

— Назад возвращаться я не хочу из-за того, что там было. И по туннелю тоже не хочу. Мы там будем, как крысы в трубе. Может, то, что было сзади, знало, что загонит нас сюда, и ждет нас на другом конце этой ежевичной западни, как папа нам читал про этого — помнишь? Который был наполовину человек, а наполовину корова.

— Наполовину человек, наполовину бык,— поправил я.— Минотавр.

— Ага, минотварь. Может, он там и ждет, Гарри.

Я, конечно, тоже об этом подумал.

— Я думаю, надо идти в туннель. Тогда он ни с одной стороны не сможет к нам подступиться. Ему придется нападать спереди или сзади.

— А других туннелей здесь быть не может?

Об этом я не подумал. Такие просеки могут быть прорезаны в любом месте.

— У меня ружье,— сказал я.— Если сможешь толкать тележку, Тоби нас вроде будет сторожить. Даст знать, если кто-нибудь приблизится. А если что-то на нас бросится, я его развалю пополам.

— Мне ни один твой выбор не нравится.

Я взял ружье, закрыл его и взвел курок. Том взялась за рукояти тачки. Я пошел вперед, Том за мной.

Запах роз одурял. От него кружилась голова. Кое-где торчали плети с колючками, невидимые в темноте. Они рвали мою старую рубашку, царапали мне лицо и руки. Я слышал, как ругается себе под нос Том, когда ее царапают колючки. Меня радовало, что Тоби молчит — это до некоторой степени успокаивало.

Туннель в ежевике вел нас довольно долго, потом я услышал шум, туннель стал шире, и мы вышли на берег ревущего Сабина. Среди нависших деревьев появились просветы, лунный свет стал ярче и освещал все желто и густо, как цвет скисшего молока. Что там нас преследовало — не было ни видно, ни слышно.

Я минуту смотрел на луну, потом повернулся к реке.

— Мы сбились с дороги,— сказал я.— Но теперь я знаю, как быть дальше. Можно пройти по реке, но она сильно петляет, а я думаю, тут недалеко от висячего моста. Мы его перейдем, выйдем на главную дорогу, а по ней вернемся домой.

— Висячий мост?

— Ну да,— сказал я.

— Как думаешь, мама с папой волнуются? — спросила Том.

— Это можешь не сомневаться. Дай бог, чтобы они так обрадовались белкам, как я рассчитываю.

— А как будет с Тоби?

— Поживем — увидим.

Берег круто спускался к воде, и вдоль самого уреза шла едва заметная тропа.

— Так я думаю, надо будет снести Тоби и потом скатить тачку. Ты будешь ее толкать, а я пойду впереди и придержу ее снизу.

Я осторожно поднял Тоби, который жалобно взвизгнул, а Том, покачнувшись вперед, толкнула тачку. Тачка, белки, ружье и лопата перевалились через край и упали возле ручья.

— Черт тебя побери, Том!

— Я не виноватая! — пискнула она.— Она у меня вырвалась! Я маме скажу, что ты ругался!

— Только попробуй, я с тебя шкуру спущу. И ты сама всю дорогу ругалась.

Я отдал Тоби Тому подержать, пока я спущусь, найду опору для ног, и тогда она мне его передаст.

Соскользнув с обрыва, я оказался возле большого дуба у самой воды. Стебли ежевики спускались к воде и охватывали дерево. Меня пронесло мимо дерева, я выставил руку, чтобы удержаться, и тут же ее отдернул. Я коснулся не ствола дерева, даже не колючек, а чего-то мягкого.

Поглядев, я увидел в лозах ежевики серую кашу, и светившая через реку луна падала на лицо — или на то, что было лицом, а сейчас больше походило на маску повешенного, распухшее и круглое с черными дырами глазниц. Пучок волос на голове казался клоком темной овечьей шерсти, а тело было распухшим, изломанным и без одежды. Женщина.

Я видал пару игральных карт с голыми женщинами, которые показывал Джейк Стерлинг. У него всегда что-нибудь такое было, поскольку его отец был коммивояжером и торговал не только нюхательным табаком, но и тем, что называл «сопутствующий товар».

Но это было не похоже на те открытки. Те меня волновали каким-то непонятным образом, но радостно и приятно. А это меня взволновало очень понятным образом. Страхом и ужасом.

Ее груди лопнули, как гнилые дыни на солнце. Ежевичные стебли опутали распухшее тело, и кожа была серой, как сигарный пепел. Ноги ее не касались земли. Она была привязана к дереву стеблями ежевики. В лунном свете она была как жирная колдунья, привязанная колючей проволокой к массивному столбу в ожидании костра.

— Боже мой! — сказал я.

— А ты опять ругаешься,— заметила Том.

Я чуть поднялся по обрыву, взял Тоби у Тома, положил его на мягкую землю возле воды и еще раз посмотрел на тело. Том слезла вниз и увидела то, что видел я.

— Это Козлоног? — спросила она.

— Нет,— ответил я.— Это мертвая женщина.

— Она совсем без одежды.

— Том, не смотри на нее.

— Не могу.

— Надо добраться домой и сказать папе.

— Зажги спичку, Гарри. Надо рассмотреть.

Я обдумал это и полез в карман.

— У меня только одна осталась.

— Все равно зажги.

Я зажег спичку и поднял повыше. Пламя заметалось, когда у меня задрожала рука. Подойдя поближе, я всмотрелся. Было еще ужаснее, чем без света.

— Кажется, это цветная женщина,— сказал я.

Спичка погасла. Я поставил тачку на тропу, вытряхнул грязь из дула ружья, положил его, белок и Тоби обратно в

тачку. Лопату я найти не смог и решил, что она упала в реку. Это мне дорого обойдется.

— Надо идти,— сказал я.

Том стояла на берегу, пялясь на тело. Не могла глаз оторвать.

— Идем, тебе говорят!

Том оторвалась от зрелища. Мы шли вдоль берега, я толкал эту тачку изо всех своих сил, увязая в мягкой земле, пока не понял, что больше не могу. Тогда я связал ноги белок веревкой, которая нашлась у Тома, и обвязал себе вокруг пояса.

— Том, ты понесешь ружье, а я понесу Тоби.

Том взяла ружье, я подобрал Тобя, и мы двинулись к висячему мосту, где, по слухам, и жил Козлоног.

Мы с друзьями обычно держались подальше от висячего моста — все мы, кроме Джейка. Джейк ничего не боялся. Ну, надо сказать, ума у него было маловато, чтобы чего-то бояться. Что он, что его старик — отрежь им головы, они не стали бы намного глупее.

Джейк говорил, что все рассказы насчет висячего моста придумали родители, чтобы мы туда не лезли, потому что там опасно. Может быть, это было правдой.

Мост представлял собой несколько тросов, перекинутых через Сабин с берега на берег на высоком месте. К тросам крепились ржавыми металлическими зажимами и гнилыми веревками длинные доски перекладин. Не знаю, кто его сгроил, и, быть может, когда-то это был отличный мост, но теперь многих досок недоставало, а другие сгнили и потрескались, а тросы были закреплены на высоких берегах ржавыми рельсами, глубоко вкопанными в землю. Местами, там, где вода подмывала берег, рельсы выглядывали из земли. Пройдет достаточно времени, и весь мост рухнет в реку.

Когда дул ветер, мост качался, а в сильный ветер это было что-то. Я его переходил только один раз, днем, в полном

безветрии, и то было достаточно страшно. На каждом шаге он пружинил, угрожая сбросить тебя в воду. Доски трещали и стонали, как от боли. Иногда отделялся кусок гнилого дерева и падал в воду. Надо только еще добавить, что внизу было глубоко, течение здесь ускорялось, потом разбивалось о камни и падало с уступов в широкую и глубокую воду.

И вот мы стоим здесь ночью, смотрим на длинный мост, думаем про Козлонога, про найденное нами тело, про Тоби, про то, что уже поздно и что родители волнуются.

— Надо переходить, Гарри? — спросила Том.

— Ага,— ответил я.— Думаю, да. Я пойду вперед, а ты смотри, куда я шагаю. Если доска меня выдержит, должна выдержать и тебя.

Мост поскрипывал сквозь рев реки, покачиваясь на тросах, как змея, переползающая через высокую траву.

Трудно было его переходить даже тогда, когда я мог держаться за тросы двумя руками, но нести Тоби, и ночью, и Том со мной, и она еще пытается нести ружье... Да, дело не выглядело заманчивым.

А какой другой выбор? Вернуться назад по той дороге, по которой пришли, или попробовать пройти ниже по реке, где она мелеет, перейти там и вернуться к дороге и к нашему дому. Но мелеет река только через несколько миль, и по лесу идти трудно, а Тоби тяжел, и там сзади что-то за нами гонится. Я не видел другого пути — только через мост.

Я сделал глубокий вдох, ухватил Тоби покрепче и шагнул на первую перекладину.

Мост сразу сильно качнулся влево, потом обратно — еще сильнее. В руках у меня был Тоби, и потому я мог только согнуть колени и попытаться поймать качания. Качающийся мост успокаивался долго, и я сделал следующий шаг — уже осторожнее. На этот раз он качнулся не так сильно. Я вроде поймал ритм шагов.

И позвал Тома:

— Наступать надо на середину перекладины. Тогда качается не так сильно.

— Гарри, я боюсь!

— Ничего страшного,— сказал я.— Переберемся.

Я наступил на очередную перекладину, она треснула. Я успел отдернуть ногу. Кусок доски отвалился и медленно полетел в реку. Упал с сильным всплеском, течение подхватило его, он блеснул в лунном свете, и его унесло прочь. Он закружился в черной воде, перевалился через водопадик и скрылся из виду.

А я стоял и чувствовал, будто у меня дно от живота отвалилось. Потом сжал покрепче Тоби и переступил через провалившуюся перекладину на следующую. Мне это удалось, но мост затрясся, и я услышал, как вскрикнула Том. Обернувшись, я увидел, что она выпустила ружье и вцепилась в трос. Ружье упало вниз и повисло между двумя нижними тросами. Мост дико качался, бросая меня то на тросы, то от них, и я уже решил, что не миновать мне падения.

Когда мост успокоился, я опустился на колено, повернулся и посмотрел на Тома.

— Легче,— сказал я.

— Не могу отпустить руки, боюсь!

— Должна отпустить. И ружье должна подобрать.

Много времени прошло, пока Том наконец смогла нагнуться и подобрать ружье. Чуть отдышавшись, мы пошли дальше. Вот тогда мы и услышали этот шум внизу и увидели эту тварь в тени.

Она шла вдоль берега по той стороне, рядом с водой, под мостом. Ее трудно было рассмотреть как следует, потому что она держалась тени, не выходя на свет луны. Голова у нее была большая, и что-то было вроде рогов, а остальное все было темным, как угольная кладовая. Она чуть подалась вперед, будто рассматривая нас, и я увидел белки глаз и меловые зубы, сверкнувшие при луне.

— Боже мой, Гарри! — шепнула Том.— Это Козлоног! Что нам делать?

Я подумал насчет вернуться. Тогда нас будет от него отделять река, но снова придется идти через лес, и не одну милю. А если он где-нибудь переберется, то снова за нами погонится, потому что теперь я был уверен — это он преследовал нас в ежевике.

Если же мы перейдем мост, мы окажемся над ним на высоком берегу, и до дороги будет близко. Здесь его укрытие. Он заперт здесь между лесами и берегами Сабина, потому что проповедники закрыли ему выход к дороге.

— Надо идти вперед,— сказал я.

Еще раз посмотрев на белизну глаз и зубов, я стал двигаться дальше. Мост качался, но теперь у меня были более веские причины идти, и у Тома тоже.

Когда мы приблизились к той стороне, я глянул вниз, но Козлонога больше не видел. То ли смотрел не под тем углом, то ли он скрылся. И все мне думалось, что, когда я доберусь до другой стороны, он уже будет ждать, взобравшись наверх.

Но когда мы перебрались, увидели только тропу, пересекавшую густой лес, озаренный луной. И на ней — никого.

Мы пошли по тропе. Тоби был тяжел, и я старался не слишком его трясти, но так был напуган, что вряд ли с этим справлялся. Он время от времени поскуливал.

Когда мы прошли уже прилично, тропа свернула в тень, где ветви деревьев вытягивались и скрывали землю от лунного света, будто обнимая ее тьмой.

— Я так думаю, если он хочет напасть,— сказал я,— то здесь самое место.

— Так давай туда не пойдем.

— Ты хочешь вернуться обратно через мост?

— Ой, нет!

— Тогда вперед. Мы даже не знаем, идет он за нами или нет.

— Ты видел у него на голове рога?

— Что-то видел. Знаешь, что сделаем? Поменяемся. Пока не выйдем снова на открытую тропу, ты понесешь Тоби, а я — ружье.

— Мне с ружьем лучше.

— Это да, но я могу из него выстрелить, чтобы оно не свалило меня отдачей. И у меня есть патроны.

Том подумала и сказала:

— Ладно.

Она положила ружье на землю, и я дал ей Тоби. Потом подобрал ружье, и мы пошли по темному закруглению тропы.

Днем я много раз ходил по этой тропе. До самого моста, но, кроме того одного раза, я никогда через этот мост не ходил. И ночью в лесу я тоже бывал, но никогда так далеко, и обычно с папой.

Когда мы углубились по тропе в тень, никто на нас не прыгнул, но, приближаясь вновь к освещенному месту, мы услышали в лесу какое-то движение. То же самое, которое слышалось в зарослях ежевики. Рассчитанное. Идущее точно за нами.

Выйдя наконец на освещенную тропу, мы стали бояться меньше. Разумной причины для этого не было — просто ощущение. Лунный свет ничего не менял. Я оглянулся через плечо в только что пройденную нами темноту и посередине тропы, в тени, увидел его. Он стоял и смотрел.

Тому я этого не сообщил, только сказал:

— Теперь возьми ружье, а я возьму Тоби. А потом беги со всех ног туда, где дорога.

Том тупицей не была, и меня, наверное, выдали глаза, так что она повернулась и оглянулась на тень. И тоже увидела его. Он уходил в чащу. Она повернулась и отдала мне Тоби, взяла ружье и рванула вперед, как молния. Я побежал за ней, тряся беднягу Тоби, белки хлопали меня сзади по ногам. Тоби визжал, выл и скулил. Тропа стала шире,

лунный свет — ярче, показалась красная глина дороги, мы выбежали на нее и оглянулись.

Никто за нами не гнался. И движения в лесу слышно не было.

— Все в порядке? — спросила Том.

— Я так думаю. Говорят, он на дорогу выходить не может.

— А что, если может?

— Да нет, не может... в общем, я так думаю.

— Это он убил ту женщину.

— Думаю, да.

— А почему у нее такой вид?

— Иногда мертвые так распухают.

— А как он ее так изрезал? Рогами?

— Не знаю, Том.

Мы пошли по дороге — шли очень долго,— с привалами для отдыха, а еще мы помогали Тоби справить свои дела, придерживая ему ноги и хвост. Пришли мы домой уже глубокой ночью.

Нельзя сказать, что это была идеальная картина счастливого возвращения. Небо заволокло тучами, луны больше не было. Слышался стрекот цикад и кваканье лягушек где-то в низинах. Когда мы вошли во двор с Тоби на руках, папа окликнул нас, и вспугнутая сова взлетела с дуба, мелькнув черным силуэтом на фоне светлеющего неба.

— Надо бы с вас шкуру спустить,— сказал папа.

— Да, сэр,— ответил я.

Отец сидел во дворе под дубом. Этот дуб был что-то вроде нашего дерева собраний, где мы летом сидели, разговаривали и лущили горох. Отец сидел и курил трубку — привычка, которая его потом и убила. Трубка разгорелась, когда он затянул в нее пламя поднесенной спички. Запах трубки показался мне деревянным и кислым.

Мы подошли и остановились под дубом перед его креслом.

— Мать с ума сходит,— сказал отец.— Гарри, ты знаешь, что нельзя так поздно шататься, да еще с сестрой. Тебе полагается о ней заботиться.

— Да, сэр.

— Я вижу, Тоби все еще с вами.

— Да, сэр. Мне кажется, ему лучше.

— Не бывает лучше, если спина сломана.

— Он загнал шесть белок,— сказал я. Вынув карманный нож, я срезал их с пояса и подал отцу. Он в темноте взял их и положил рядом с креслом.

— У тебя есть оправдание,— сказал он, и это был вопрос.

— Да, сэр.

— Тогда ладно. Том, ты сейчас пойдешь в дом и начнешь носить воду в лохань. Она теплая, так что греть ее не надо. Ты вымоешься, после этого керосином уничтожишь все, что на тебя наползло, прополощешься — и в кровать.

— Да, сэр,— ответила она.— Только, папа...

— В дом,— велел отец.

Том поглядела на меня, положила ружье на землю и направилась в дом.

Отец пыхнул трубкой.

— Ты сказал, что у тебя есть оправдание.

— Да, сэр. Нам пришлось пострелять белок, но это не все. Там у реки тело.

— Что? — Он привстал в кресле.

Я ему рассказал все, как было. Как за нами что-то гналось, про ежевику, тело. Козлонога. Когда я договорил, отец сказал:

— Никакого Козлонога нет, Гарри. Но тот, кого ты видел — возможно, это убийца. Если будете так бродить, это можешь оказаться ты или Том.

— Да, сэр.

— Надо будет пойти посмотреть с утра пораньше. Как ты думаешь, найдешь ты это место?

— Да, сэр, но мне не хотелось бы.

— Знаю, но мне понадобится твоя помощь. Теперь иди домой, и когда Том закончит, вымойся и собери с себя клещей — их на тебе должно быть полно. Дай мне ружье, и я сделаю с Тоби то, что надо.

Я попытался что-то сказать, но не знал что. Отец поднялся, взял Тоби на руки, и я дал ему ружье.

— Чертовски не повезло хорошему псу,— сказал он.

Отец направился к сарайчику, который у нас стоял за домом возле поля.

— Папа,— сказал я.— Не мог я. Тоби — не мог.

— Ничего, сын,— сказал он и пошел к сараю.

Когда я вошел в дом, Том сидела на заднем крыльце в лохани и мама при свете висящей на балке керосиновой лампы свирепо ее оттирала. Когда я подошел, мама, не вставая с колен, обернулась ко мне через плечо. Светлые волосы ее были собраны в пучок, и выбившаяся прядь падала на лоб, закрывая глаз. Мама отвела ее в сторону мыльной рукой.

— Нечего было шататься так поздно, да еще пугать Тома рассказами про мертвое тело!

— Это не рассказ, мама.

И я пересказал ей все то же, но вкратце.

Когда я договорил, она долго молчала.

— А где твой папа?

— Он понес Тоби в сарай. У него спина сломана.

— Да, я слыхала. Жалко.

Я прислушивался, ожидая выстрела из ружья, но прошло пятнадцать минут, а выстрела все не было. Потом я услышал папины шаги, и вскоре он вышел из тени в круг света от лампы с ружьем в руках.

— Не думаю, что его надо убивать,— сказал папа. У меня сердце подпрыгнуло от радости, и я поглядел на Тома, которая пыталась выглянуть из-под рук мамы, мылившей ей голову щелоковым мылом.— Он слегка шевелит задни-

ми ногами, поднимает хвост. Может, ты прав, Гарри. Он может поправиться. Кроме того, сынок, я не лучше тебя мог это сделать. Если ему станет хуже или останется так же, то... А пока что он на вашем с Томом попечении. Кормите его и поите, и как-то помогайте ему справить свои дела.

— Да, сэр,— ответил я.— Спасибо, папа!

Папа присел на крыльце, держа на коленях ружье.

— Ты говоришь, это была цветная?

— Да, сэр.

Папа вздохнул.

— Это малость затрудняет дело,— сказал он.

Наутро я отвел папу туда по дороге до самого моста. Переходить его снова мне не хотелось. Я показал ему место на той стороне вниз по реке, где должно было быть тело.

— Ладно,— сказал папа.— Дальше я найду. Ты иди домой. А того лучше — сходи в город и открой парикмахерскую. Сесил будет гадать, куда я девался.

Я пошел домой, зашел в сарай проведать Тоби. Он ползал на брюхе, дергая задними ногами. Велев Тому за ним присматривать и как следует его кормить, я взял ключ от парикмахерской, оседлал Салли Редбэк и отправился в пятимильный путь до города.

Марвел-Крик был тогда не слишком большим городишком, как и теперь, но тогда там вообще было всего две улицы. Главная и Западная. На Западной находился ряд домов, на Главной — магазин, суд, почта, кабинет доктора, парикмахерская, которой владел мой отец, еще пара контор, а иногда — стадо бродячих свиней старика Криттендона.

Парикмахерская представляла собой однокомнатный белый дом, построенный под двумя старыми дубами. В ней хватало места на одно настоящее парикмахерское кресло и на еще одно обыкновенное с подушкой на сиденье и дру-

гой подушкой, привязанной к спинке. Папа стриг в парикмахерском кресле, а другим пользовался Сесил.

Летом дверь всегда была открыта, и от мух защищал только марлевый полог. Мухи любили на нем собираться и висеть гроздьями. Часто задувал горячий ветер.

Когда я подъехал, Сесил сидел на ступенях и читал газету. Я привязал Салли к дубу, пошел открывать дверь, а по дороге дал Сесилу краткое описание событий, сообщив, чем сейчас занят папа.

Сесил выслушал, покачал головой, щелкнул языком, и мы вошли.

Мне нравилось, как пахнет в парикмахерской. Спиртом, дезинфекцией и мазями для волос. На стене за креслом парикмахера в ряд стояли бутылки, и в них были жидкости разных цветов, желтые, красные и синие, которые слегка пахли кокосом.

Вдоль стены у двери стояла длинная скамейка, а перед ней стол с журналами в ярких обложках. Почти во всех были детективные рассказы. Я их читал при первой возможности, а иногда папа мне приносил те, которые истрепались.

Когда не было клиентов, Сесил тоже их читал, сидя на скамейке с самокруткой во рту, и был похож на персонажа из этих журналов. Крутого, беспечного, умелого.

Сесил был крупным мужчиной, и, как было мне известно из разговоров в городе и косвенно — от папы, дамы находили его красивым. Копна ухоженных рыжеватых волос, яркие глаза и приятное лицо с чуть нависшими бровями. Он приехал в Марвел-Крик месяца два назад. Папа, поняв, что он может стать конкурентом, поставил для него еще одно кресло и выделил процент.

С тех пор папа вроде как жалел об этом. Не то чтобы Сесил был плохим работником и не то чтобы папа его недолюбливал. Дело было в том, что Сесил оказался слишком хорош. Он действительно умел стричь, и довольно быстро

все больше и больше папиных клиентов стали пропускать очередь, ожидая, чтобы Сесил освободился. Все больше матерей приводили сыновей и ждали, пока Сесил их пострижет, поболтает с ними, ущипнет малыша за щеку и рассмешит его. Вот такой был Сесил. Он мог за минуту подружиться с кем угодно.

Хотя папа никогда не сознался бы, это его злило, заставляло слегка завидовать. И еще имел место факт, что когда мама приходила в парикмахерскую, она всегда смущалась под взглядом Сесила, краснела. И смеялась, когда он говорил что-нибудь, даже не смешное.

Сесил несколько раз стриг и меня, когда папа был занят, и, правду сказать, это впечатляло. Сесил любил поговорить и рассказывал разные истории о местах, где он бывал. По всем Соединенным Штатам, по всему миру. Он воевал в Первую мировую, видел самые страшные сражения. Но помимо самого факта, об этом он мало что рассказывал. Кажется, ему это было больно. Однажды он мне показал французскую монету, которую носил на шее на цепочке. Она была зазубрена от попадания пули. Она тогда была у него в кармане рубашки, и Сесил говорил, что она спасла ему жизнь.

Но если про войну он молчал, то насчет всего остального он был просто болтун. Поддразнивал меня насчет девчонок — с точки зрения папы, слишком рискованно, и папа кидал на Сесила недовольный взгляд, и я видел их обоих в зеркале над скамейкой — в которое клиент смотрит, пока парикмахер стрижет. Сесил перехватывал взгляд, подмигивал папе и менял тему. Но как-то снова подходил к ней близко, неподдельно интересуясь любой подружкой, которая у меня может быть, хотя на самом деле у меня ни одной не было. От этого у меня было чувство, будто я взрослею, принимаю участие в ритуалах и рассуждениях мужчин.

Том его тоже любила и иногда приходила в парикмахерскую просто послушать, как он будет ее развлекать и

поддразнивать. Он любил сажать ее к себе на колено и рассказывать истории обо всем на свете, а были ли они Тому интересны — не знаю, но ей был интересен Сесил, который с ней и со мной обращался, как беспутный дядюшка.

Но что куда более было интересно в Сесиле — это как он умел стричь. Ножницы были будто продолжением его руки. Они мелькали, щелкали, поворачивались и отрезали при легчайшем повороте запястья. Когда я сидел в его кресле, вокруг в солнечных лучах летали ореолом волосы и моя голова становилась скульптурой, превращаясь из нечесаной массы в произведение искусства. Сесил никогда ни на волос не промахивался, не тыкал тебе в кожу ножницами — чего папа не мог бы о себе сказать,— и когда он заканчивал стричь, когда втирал тебе в кожу ароматное масло и расчесывал волосы, когда он тебя разворачивал, чтобы ты посмотрел в зеркало у себя за спиной, ты уже не был прежним. Я чувствовал, что выгляжу старше, мужественней. Может, даже слегка похожим на этих ребят из журналов.

Когда папа заканчивал работу, причесывал, намазывал мазью и выпускал меня из кресла (он никогда меня не поворачивал посмотреть, как взрослых клиентов), я был все тем же пацаном. Только стриженым.

Поскольку в этот день папы не было, а для меня стрижка была бесплатной, я спросил Сесила, не согласится ли он меня постричь, а когда он это сделал, рукой нанес крем для бритья и прошелся бритвой возле моих ушей, снимая концы волос, которые не поддаются ножницам. Потом он руками нанес масло мне на волосы, втер пальцами в кожу затылка и шеи. Масло было теплое и приятное, и от него захотелось спать.

Не успел я слезть с кресла, как появился старик Нейшн в своем запряженном мулом фургоне и вошел внутрь со своими двумя ребятами. Мистер Этан Нейшн был крупным мужчиной в рабочем комбинезоне, с кочками волос

над ушами и в носу. Его ребята были здоровенными, рыжими его копиями с оттопыренными ушами. Все они жевали табак, имели желтые зубы и плевались, когда говорили. В основном их разговор крутился вокруг ругательств, в это время дня произносимых не часто. Стричься они не приходили никогда. Стриглись сами под горшок. Они просто любили посидеть в креслах и почитать знакомые слова в журналах, а еще — поговорить, как теперь все плохо.

Сесил, хотя и не был им другом, всегда сохранял вежливость, и, как говорил папа, он всегда любил разговаривать, даже если разговор этот с дьяволом.

Когда старик Нейшн сел, Сесил сказал:

— Гарри говорит, что произошло убийство.

Как будто он был горд распространить такую новость, но поскольку я сам поторопился ему рассказать и сам рвался выложить новости, я не мог его за это упрекнуть.

Когда слово было сказано, мне ничего не оставалось, как выложить все как есть. Ну, почти все. Почему-то я промолчал про Козлонога. Не знаю почему, но промолчал.

Когда я все рассказал, мистер Нейшн произнес:

— Оттого, что одной нигтерской шлюхой стало меньше, мир не перевернется. Был бы я в низинах, набрел бы на одну из этих баб с войлоком на голове... Не знаю, может, мне бы и самому захотелось ее сделать. Плодятся, как вши. Мечут ублюдков, как мы срем. Только, может, я бы сначала заставил ее поработать. Ну, понимаете. В том смысле, что нигтеры-то они нигтеры, но на пять минут важно только, что внутри они розовые.

Его ребята заухмылялись. Сесил сказал:

— Поаккуратнее выражайтесь,— и кивнул в мою сторону.

— Извини, сынок,— сказал мистер Нейшн.— Твой па в этом копается сейчас?

— Да, сэр,— ответил я.

— Да, его это небось расстроило. Он всегда за нигтеров беспокоится. А это просто гуталины друг друга мочат, па-

цан, и нам надо на них плюнуть. Пусть мочат, тогда нам меньше работы будет.

В этот момент что-то для меня изменилось. Я никогда не думал о личных убеждениях отца, но вдруг мне открылось, что они совсем другие, чем у мистера Нейшна, и что мистер Нейшн, хотя любит бездельничать у нас в парикмахерской, излагая свои идеи и читая наши журналы, на самом деле папу не любит. И тот факт, что этот человек папу не любит и что у папы совсем другие воззрения, чем у него, вызвал у меня гордость.

В свое обычное время пришел мистер Джонсон, проповедник, и мистер Нейшн, почувствовав себя неловко в его присутствии, запаковал себя и своих ребят в фургон и поехал дальше по дороге докучать кому-нибудь другому. После полудня вернулся папа и, когда Сесил его спросил насчет убийства, посмотрел на меня, и я понял, что надо было держать язык за зубами.

Папа рассказал Сесилу то, что я ему рассказал, и еще немного — что он считает, будто женщина не была принесена высокой водой, а была привязана ежевичными стеблями, как выставлена на витрине. Папа считал, что это сделал убийца.

Той ночью, лежа в кровати, приставив ухо к стене (Том давно уже спала), я слушал. Стены у нас тонкие, и когда было тихо и спокойно, я мог слышать разговоры мамы с папой.

— Доктор в городе даже смотреть ее не стал,— сказал папа.

— Потому что она цветная?

— Ага. Пришлось ехать в цветной квартал Мишн-Крик к тамошнему доктору.

— Она была в нашей машине?

— Ничего страшного. Когда мне Гарри показал, где она, я вернулся и поехал к дому Билли Голда. Они с братом поехали со мной, помогли мне завернуть ее в брезент, перенесли и положили в машину.

— И что сказал доктор?

— Он думает, что она была изнасилована. Груди разрезаны сверху донизу.

— О боже мой!

— Ага. И еще кое-что похуже. Доктор не был уверен, но когда он ее всю осмотрел, вскрыл, проверил легкие, он сказал, что ее, может, утопили в реке еще живой, ее унесло течением, а через день примерно — почти наверняка сам убийца — прошел по берегу, нашел ее то ли случайно, то ли намеренно и привязал к дереву ежевикой.

— Кто мог такое сделать?

— Не знаю. Даже понятия не имею.

— А доктор ее знал?

— Нет, но он привез цветного проповедника, мистера Бэйла. Тот ее знал. Звали ее Джельда Мэй Сайкс. Он сказал, что она была местной проституткой. То и дело она приходила к нему в церковь поговорить насчет бросить это дело. Он сказал, что она обретала спасение души примерно раз в месяц, а остальное время его теряла. Работала в негритянской забегаловке выше по реке. Иногда и белого клиента подцепляла.

— Так что никто не догадывается, кто мог это сделать?

— Никому до этого ни малейшего дела нет, Мэрилин. Никому. Среди цветных она мало кому интересна, а белые силы охраны правопорядка быстро дали мне понять, что я вышел за пределы своей юрисдикции. Или, как они это сформулировали: «О своих ниггерах мы заботимся сами». То есть не заботятся о них вообще.

— Если это вне твоей юрисдикции, тебе придется это дело оставить.

— Привезти ее в Мишн-Крик — это было вне моей юрисдикции, а место, где ее нашли,— вполне в моей юрисдикции. Тамошняя полиция считает, что сюда проездом заскочили железнодорожные бродяги, поразвлеклись с нею, сбросили в реку и вспрыгнули на следующий

поезд. Может, они и правы. Но если так, зачем привязывать ее к дереву?

— А не мог это сделать кто-то другой?

— Может быть, но мне сильно не нравится мысль, что в мире есть такая жестокость. А кроме того, я не верю. Я думаю, что ее убил и выставил на обозрение один и тот же человек. Я малость порыскал, пока был в Мишн-Крик. У меня там есть знакомый газетчик, Кэл Филдс.

— Это тот пожилой, у которого жена молодая? Такая горячая красотка?

— Он самый. Хороший мужик. Кстати, жена его сбежала с барабанщиком. А Кэлу все равно. У него уже новая подружка. Но вот то, что он мне рассказал, было интересно. А рассказал он, что это за полтора года третье убийство в округе. Он в газетах о них не писал, главным образом потому что убийства были зверские, но еще и потому, что убивали оба раза цветных, а его читателям на убийство цветных наплевать. Одно случилось здесь в Мишн-Крик. Тело женщины нашли в большой сухой дренажной трубе возле реки. У нее ноги были сломаны, загнуты вверх и привязаны к голове.

— Боже мой!

— Кэл сказал, что о другом до него дошли только слухи. Он дал мне имя редактора газеты для цветных. Я к нему пошел и поговорил — зовут его Макс Грин. Они дали отчет о происшествии. Он мне показал номер с той статьей. Первая была убита в январе прошлого года, чуть выше по реке от Мишн-Крик. Ее тоже нашли в реке. У нее были вырезаны половые органы и вставлены ей в рот.

— Боже мой! Но ведь между этими убийствами прошли месяцы. Это же не может быть один и тот же человек?

— Надеюсь, что может. Не хочется мне думать, что тут бродят два или три таких. Выставляет тела на обозрение и совершает с ними что-нибудь невыносимо позорное. Ду-

маю, это один и тот же человек. Грин высказал мнение, что убийца любит с ними кончать, топя в реке. Даже та, которую нашли в дренажной трубе, лежала в воде. А полиция тамошняя, наверное, права насчет того, что этот тип ездит по железной дороге. Каждое такое место было возле рельсов, поблизости к полустаночкам с забегаловкой и рабочими девицами. Но это не значит, что это бродяга или вообще человек, который много ездит. Может, он на поездах ездит только на место убийства.

— А что с тем телом, которое нашел Гарри? Кто его взял?

— Никто. Лапонька, я заплатил, чтобы ее там похоронили на цветном кладбище. Я знаю, что денег у нас нет, но...

— Ш-ш! Ты все правильно сделал.

Они затихли, я перекатился на спину и стал смотреть в потолок. Стоило мне закрыть глаза, и я видел тело женщины, разваленное и распухшее, привязанное стеблями и колючками. И видел яркие глаза и белые зубы на темном лице рогатого Козлонога. Вспоминал, как обернулся через плечо и увидел Козлонога, стоящего в тени посередине лесной тропы, глядящего мне вслед.

Наконец в мыслях я добрался до дороги и тогда заснул.

Через какое-то время наша с Томом жизнь вернулась к норме. Время — оно такое. Особенно в молодости. Оно много что может вылечить, а чего не может, то забывается или хотя бы отодвигается назад и только иногда всплывает — это вот когда мне время от времени по ночам вспоминалось, как раз перед тем, как заснуть. И наконец все это стало просто давним воспоминанием.

Папа немножко поискал Козлонога, но кроме нескольких следов под берегом и признаков, что кто-то там бродил, ничего не нашел. Но я слышал, как он рассказывал маме про ощущение, будто за ним кто-то следит, и он решил, что этот кто-то знает лес не хуже зверя.

Но необходимость зарабатывать на жизнь отменила все расследования, да и все равно мой папа был следователь никакой. Он был всего лишь констебль маленького городка, доставляющий судебные повестки и выезжающий к мертвым телам с мировым судьей. А если тела цветные, то без мирового судьи. Так что со временем убийство и Козлоног ушли в прошлое.

К осени Тоби уже начал снова ходить. Спина у него оказалась не сломанной, но были поражены нервы конечностей. Полностью он так и не оправился, но ходил, хотя и скованно, лишь по временам по непонятной причине задние ноги у него отнимались, и он их волочил. А вообще он почти все время ходить мог и даже бегал, прихрамывая и не быстро. Зато все равно оставался лучшей собакой по белке в наших местах.

В конце октября, за неделю до Хэллоуина, когда в воздухе стало прохладно, ночи прояснились и подморозились, а луна висела в небе тыквой, мы с Томом заигрались допоздна, гоняясь за светлячками и друг за другом. Папа уехал по своим констебльским делам, мама шила в доме, а когда мы с Томом наигрались, мы сели под деревом и стали болтать о том о сем и вдруг замолкли от ощущения какого-то холода. Не знаю, есть ли вообще у человека такое чувство. Может быть, просто какие-то мелочи, которые замечаешь, не осознавая. Что-то, услышанное за словами разговора. Но на самом деле это было то чувство, о котором говорил папа,— чувство, будто за тобой следят.

Я перестал слушать, что говорила Том, которая о чем-то тараторила, и медленно повернулся к лесу, а там, между двумя деревьями, в тени, но четко очерченная светом, стояла, глядя на нас, рогатая фигура.

Том, заметив, что я не слушаю, обиделась:

— Эй...

— Том,— сказал я ей,— помолчи минутку и посмотри, куда я смотрю.

— Я ничего не...— Тут она затихла, и потом прошептала: — Это он... Козлоног.

Тень резко повернулась, хрустнула сухая ветка, зашуршали листья, и она исчезла. Ни папе, ни маме мы не сказали, что видели. Это было между Томом и мной, и на следующий день мы вряд ли об этом вспомнили.

Через неделю была убита Джейнис Джейн Уиллмен.

Мы услышали об этом в ночь Хеллоуина. В городе была небольшая вечеринка для детей и всех, кто захочет прийти. Приглашения не рассылались. Каждый год подразумевалось, что вечеринка будет и можешь туда заявиться. Женщины приносили тарелки под крышкой, а мужчины — малость самогона, чтобы добавить себе в питье.

Вечеринка была у миссис Канертон. Она была вдова и держала у себя дома книги, как вроде в библиотеке. Нам разрешалось брать их на время, или можно было сидеть и читать у нее в доме, и у нее всегда бывали печенье или лимонад, и она не была против выслушивать наши рассказы и проблемы. Она была женщиной с милым лицом и большой грудью, и многие мужчины города находили ее привлекательной.

Каждый год в Хэллоуин она устраивала небольшую вечеринку для детей. Яблоки, тыквенный пирог — все, что полагается. Каждый, кто мог себе позволить пожертвовать наволочкой, делал себе костюм привидения. Кое-кто из старших ребят ускользал на Западную улицу намылить окна, вот и весь Хэллоуин. Но в те времена это было чудесно.

Папа отвез нас на вечеринку. Был прекрасный прохладный вечер, летала масса светлячков и трещали сверчки, а мы с Томом вступили в игру в прятки, и пока тот, кому выпало водить, считал, мы разбежались прятаться. Я заполз под дом миссис Канертон, под переднюю веранду. И не успел я устроиться, как ко мне залезла Том.

— Эй! — прошипел я.— Сама найди себе место!

— Я же не знала, что ты здесь! И уже поздно бежать.

— Тогда сиди тихо,— сказал я.

Сидя там, мы увидели, как к ступеням веранды идут ботинки и брюки. Это были мужчины, которые до того стояли и курили во дворе. На крыльцо они собрались поговорить. Я узнал папины ботинки, и над нами на веранде началось какое-то движение, скрип кресел, а потом я услышал голос Сесила:

— Давно она мертва?

— Я так думаю, где-то с неделю,— ответил папа.

— А кто она? Мы ее знаем?

— Проститутка,— сказал папа.— Джейнис Джейн Уиллмен. Околачивается около дорожных забегаловок возле Мишн-Крик. Подцепила не того клиента и оказалась в реке.

— Утонула? — спросил кто-то еще.

— Полагаю, да. Но перед этим помучилась.

— Ты знаешь, кто это сделал? — спросил Сесил.— Ниточки есть?

— Да нет, по-настоящему нет ничего.

— Ниггеры! — Этот голос я знал. Старик Нейшн. Он вынюхивал всюду, где давали еду или где возможна выпивка, и никогда сам ничего не приносил.— Коль ниггеры найдут в низине белую женщину, они ее используют.

— Ага,— возразил другой голос.— А чего это белая женщина будет там околачиваться?

— Да небось он ее и притащил,— сказал мистер Нейшн.— Ниггер прихватит белую женщину при первом случае. Вот ты, если бы был ниггером, разве бы так не сделал? Что у тебя дома есть? Ниггерская баба. Не, белая женщина — это для них первое дело. А потом, ежели ты ниггер и такое с ней сделал, тебе придется ее убить, чтобы никто не знал. Да вообще уважающая себя белая женщина после такого жить не захочет.

— Хватит! — сказал папа.

— Ты мне грозишь, что ли? — спросил мистер Нейшн.

— Я говорю, хватит этих разговоров,— ответил папа.— Убийца может быть и белым, и черным.

— А окажется ниггером,— сказал мистер Нейшн.— Помянешь мое слово.

— Я слышал, у тебя есть подозреваемый,— сказал Сесил.

— На самом деле нет,— ответил папа.

— Какой-то цветной,— продолжал Сесил.

— Я ж так и знал,— сказал Нейшн.— Какой-нибудь проклятый ниггер.

— Я задержал человека для допроса, вот и все.

— И где он? — спросил Нейшн.

— А знаете что? — сказал папа.— Я бы от куска пирога не отказался.

Заскрипело крыльцо, открылась марлевая дверь, и мы услышали уходящие в дом шаги.

— Обожатель ниггерский,— сказал Нейшн.

— Хватит этого! — обрезал его Сесил.

— Это ты мне, парнишка?

— Тебе. И я сказал, хватит.

На веранде началась возня, движение, потом вдруг что-то шмякнуло, и мистер Нейшн полетел на землю прямо перед нами. Мы его видели в щели между ступенями. Он смотрел в нашу сторону, но вряд ли нас видел. Под домом было темно, и он был занят другим. Вскочил он быстро, бросился к ступеням, но тут на веранде снова послышалось движение и папин голос:

— Этан, не поднимайся на веранду. Иди домой.

— Да кто ты такой, чтобы мне указывать?

— Сейчас я констебль, и если ты сюда поднимешься или будешь мне хоть сколько-нибудь надоедать, я тебя арестую.

— Ты — и кто еще?

— Я и только я.

— А его? Он меня ударил. Ты на его стороне, потому что он за тебя!

— Я на его стороне, потому что у тебя не пасть, а помойка и ты всем портишь удовольствие. Слишком много ты выпил. Иди домой и проспись, Этан. Давай по-хорошему.

Рука мистера Нейшна спустилась вниз и подобрала шляпу.

— Ты такой высокопотсав... поставленный, да?

— Просто нет смысла драться из-за ерунды,— ответил папа.

— Ладно, ты у меня посмотришь, любитель нигерский!

— Не приходи больше в парикмахерскую,— сказал папа.

— Ноги моей не будет в твоей помойке, любитель нигерский!

Мистер Нейшн повернулся и зашагал прочь.

— Сесил, ты слишком много говоришь,— сказал папа.

— Это я знаю,— ответил Сесил.

— Ладно, я хотел пирога,— сменил тему папа.— Войду в дом и попробую еще раз. А когда я вернусь, нельзя ли, чтобы разговор шел о чем-нибудь совсем другом?

— Меня устраивает,— сказал чей-то голос, и снова послышался звук открываемой двери. Сначала я подумал, что все ушли внутрь, но потом я понял, что папа и Сесил остались на веранде и папа что-то говорит Сесилу.

— Извини, я не должен был так тебя осаживать.

— Ничего,— ответил Сесил.— Ты был прав. Я слишком много говорю.

— Ладно, забудем.

— Конечно! Кстати, Джейкоб, подозреваемый... ты думаешь, это он?

— Нет, не думаю.

— А ему ничего не грозит?

— Пока нет. Я могу просто его отпустить, и никто и знать не будет, кто это был. Пока что мне с ним помогает Билл Смут.

— Ну ладно, еще раз прости, Джейкоб.

— Все путем. Пошли наконец пирога попробуем.

Мы ехали на машине домой с набитыми животами — яблоки, пирог, лимонад. Окна были опущены, октябрьский ветер свеж и насыщен запахами леса. Мы ехали по извилистой лесной дороге, ведущей к нашему дому, и меня начало клонить в сон.

Том уже спала, уронив голову на грудь. Я привалился к стенке машины и тоже стал дремать. Потом я услышал, что мама разговаривает с папой.

— У него был ее кошелек? — спрашивала мама.

— Да, и он оттуда деньги вынул.

— Так это, может быть, он?

— Он говорит, что рыбачил, увидел кошелек и плавающее платье и вытащил кошелек удочкой. Увидел там деньги и взял. Он говорит, будто понимал, что кошельки из реки не вылавливают, а на нем не было имени, и всего пять долларов, которые бы все равно пропали. Он говорит, будто даже не думал, что кого-то убили. Так вполне могло быть. Лично я ему верю. Старого Моуза я знаю всю жизнь. Он меня учил рыбу ловить. Сам он вообще чуть ли не живет на реке в лодке. Мухи не обидит. К тому же ему семьдесят лет, и здоровье у него не очень. Жизнь он прожил тяжелую. Жена у него сбежала сорок лет назад, и он так этого и не пережил. Сын у него пропал, когда был подростком. Тот, кто изнасиловал эту женщину, должен быть очень силен. Она была молода, и, судя по виду тела, схватка была нешуточная. У человека, который это сделал, должно было хватить сил, чтобы... в общем, она здорово изрезана. Как и та, другая. Распороты груди. Рука отрезана у запястья. Мы ее так и не нашли.

— Боже мой!

— Извини, родная. Не хотел тебя расстраивать.

— А как ты нашел кошелек?

— Зашел навестить Моуза. Как всегда, когда бывал на реке. Кошелек лежал у него на столе в хижине. Пришлось его арестовать. Не знаю, надо ли было. Может, надо было просто взять кошелек и сказать, что я его нашел. Понимаешь, я ему верю. Но у меня нет доказательств ни «за», ни «против».

— А раньше Моуз ни в чем не был замешан?

— Когда сбежала его жена, кое-кто думал, что он ее убил. Она много себе позволяла. Таков был слух. Ничего не выяснилось.

— Но могло быть, что он это сделал?

— Наверное, могло быть.

— А что там было с его сыном?

— Парнишку звали Телли. Он был с детства не в себе. Моуз говорит, что потому жена от него и сбежала. Не могла вынести помешанного мальчишку. Парень пропал через четыре или пять лет после этого, и Моуз никогда об этом не говорил. Кое-кто думал, что его он тоже убил, но это тоже только слухи. Белые говорят про черных... так, как говорят. Я лично верю, что жена у него сбежала. Парень был не особо умен и тоже мог сбежать. Он любил бродить по лесам и у реки. Мог утонуть, мог свалиться в какую-нибудь дыру и не выбраться.

— Но все равно все эти истории Моуза не красят?

— Не красят.

— И что ты будешь делать, Джейкоб?

— Не знаю. Запирать его в суде я опасаюсь. Это ведь не настоящая тюрьма, и разойдись весть, что тут замешан черный, дальше никто особо рассуждать не станет. Я уговорил Билла Смута разрешить мне держать Моуза в его сарае для наживки.

— А Моуз может убежать?

— Вообще-то мог бы. Но у него не то здоровье, родная. И он верит мне, что я расследую это дело и докажу, что он

невиновен. Вот оттого я и нервничаю. Я же не знаю как. Думал обратиться в полицию Мишн-Крик, потому что у них опыта больше, но у них, знаешь, тоже эмоциональное отношение. Ходит слух, что тамошний шериф из Клана или был там когда-то. Честно говоря, я не знаю, что делать.

Я снова начал уплывать в сон. И думал про Моуза. Это был старый цветной, который ходил по берегу с тростью. В нем была примесь белой крови. Волосы рыжие, а глаза зеленые, как весенние листья. Обычно он рыбачил с весельной лодки. Жил он в хижине у берега милях в трех от нас. Жил на пойманную рыбу и подстреленных белках. Иногда, когда у нас бывал удачный день на охоте или на рыбалке, папа заходил к Моузу и давал ему белку или немного рыбы. Моуз всегда был рад нас видеть, или так казалось. Еще год назад я с ним рыбачил, пока Джейк не сказал мне, что так не делают. Нехорошо, чтобы тебя все время видели с ниггером.

Когда я это вспомнил, мне стало стыдно, даже живот свело. Моуз учил еще папу ловить рыбу, и я с ним ходил рыбачить, и вдруг я бросил его только из-за того, что сказал Джейк.

Я снова вспомнил Козлонога. Вспомнил, как он стоял под висячим мостом, глядя на меня вверх из тени. Вспомнил, как он стоял возле дома и смотрел. Это Козлоног убил тех женщин — я это знал. А отвечать за это придется Моузу.

И вот тогда, в машине, овеваемой прохладным октябрьским ветром, у меня и начал вырабатываться план, как найти Козлонога и освободить Моуза. И еще несколько дней после того я его обдумывал и, кажется, набрел на то, что казалось мне хорошей идеей. Наверняка оно таковой не было. Просто понятие тринадцатилетнего мальчишки о плане. Но все это не имело значения. Очень скоро дела повернулись к худшему.

Был понедельник, и в этот день папа не ходил в парикмахерскую. Он уже поднялся и покормил скотину, и рассвет уже виднелся среди деревьев, и папа позвал меня помочь поднести воду от колодца к дому. Мама в кухне готовила овсянку, бисквиты и жарила шпик на завтрак.

Мы с папой взяли по ведру воды и понесли к дому, когда я вдруг спросил:

— Папа, ты еще не придумал, что будешь делать со старым Моузом?

Он ответил не сразу.

— Откуда ты про это знаешь?

— Я слышал, как вы с мамой говорили.

Он кивнул, и мы пошли дальше.

— Навсегда я его там оставить не могу. Кто-нибудь на него наткнется. Думаю, его придется перевести в здание суда или отпустить. Против него нет улик — так, косвенная шелуха. Но цветной, белая женщина и тень подозрения... Он до честного суда не доживет. Я должен быть сам уверен, что он этого не делал.

— А ты уверен?

Мы были уже на заднем крыльце, и папа поставил ведро на землю и мое рядом с ним.

— Ты знаешь, думаю, что да. Если никто не узнает, кого это я арестовал, он сможет и дальше жить, как жил. У меня ничего на него нет. Ничего реального. Всплывет еще что-нибудь, настоящая улика — я буду знать, где его найти.

— Моуз не мог убить этих женщин. Он сам-то еле ходит, папа.

Я увидел, как он покраснел.

— Да, ты прав.

Он поднял оба ведра и занес их в дом. Мама уже поставила еду на стол, и Том уже сидела за ним, щуря глаза, будто готовая в любой момент уронить голову в овсянку. Обычно надо было бы идти в школу, но сейчас учитель уволился, а другого еще не успели нанять, так что идти нам с Томом в этот день было некуда.

Наверное, еще и поэтому папа попросил меня после завтрака пойти с ним. И еще — я думаю, ему не хотелось быть одному. Он мне сказал, что решил пойти и выпустить Моуза.

Мы поехали к Биллу Смуту. У Билла был ледник возле реки. Это была просто большая комната, набитая опилками и льдом, и люди приезжали за ним на машинах и на лодках по реке. Он успешно этим льдом торговал. Сразу за ледником стоял домишко, где жил Билл с женой и двумя дочерьми. У дочек был такой вид, будто они свалились с дерева, стукаясь по дороге лицом о каждую ветку, а потом воткнулись головой в землю. Они всегда мне улыбались, и я от этого нервничал.

За домом мистера Смута стоял сарай — на самом деле просто большой старый навес. Тут, по словам папы, и держали Моуза. Подъезжая к дому мистера Смута вдоль реки, мы увидели, что двор полон машин, фургонов, лошадей, людей и мулов. Все еще было раннее утро, и солнце светило сквозь деревья, как рождественская иллюминация, и река была красна от утреннего солнца, и такими же красными были люди во дворе.

Сначала я подумал, что у мистера Смута большой наплыв покупателей, но когда мы подъехали, я увидел выходящую из сарая группу. Она состояла из мистера Нейшна, его двоих сыновей и еще одного, которого я видал в городе, но не знал, как зовут. Между ними шел Моуз. На самом деле не шел — его тащили, и слышно было, как мистер Нейшн поминает «проклятого ниггера», и тут папа вышел из машины и стал проталкиваться сквозь толпу.

Коренастая женщина в цветастом платье и квадратных ботинках, с заколотым на голове пучком волос заорала ему:

— Будь ты проклят, Джейкоб, что прятал тут этого ниггера после того, что он сделал!

Тут я понял, что мы в середине толпы, и она смыкается вокруг, оставляя только просвет для Нейшна с его шайкой, которые тащили Моуза.

Он выглядел древним, сухим и узловатым, как старая коровья шкура в рассоле. Голова была окровавлена, глаза вылезали из орбит, губы рассечены. Ему уже прилично досталось.

Когда Моуз увидел папу, его зеленые глаза вспыхнули:

— Мистер Джейкоб, не давайте им ничего делать, я же никому ничего не сделал!

— Все в порядке, Моуз,— сказал папа, и повернулся к мистеру Нейшну: — Нейшн, не лезь не в свое дело!

— Это наше дело,— ответил мистер Нейшн.— Когда наши женщины не могут ходить спокойно, чтобы их какой-нибудь ниггер не уволок, тогда это наше дело.

Из толпы раздался согласный гул.

— Я задержал его только потому, что он может навести на убийцу,— сказал папа.— Я сюда пришел его выпустить. Мне ясно, что он ничего не знает.

— А вот Билл говорит, что у него был кошелек этой женщины,— сказал Нейшн.

Папа повернулся к мистеру Смуту, который не выдержал его взгляда и отвел глаза. И только тихо сказал:

— Джейкоб, я им не говорил, что он здесь. Они сами знали. Я только сказал, почему ты его сюда посадил. Я хотел объяснить, но они не слушали.

Папа только посмотрел на мистера Смута долгим взглядом. Потом повернулся к мистеру Нейшну.

— Отпусти его.

— В наше время мы умели обращаться с плохими ниггерами,— сказал мистер Нейшн.— И очень просто. Тронет ниггер белого — и ты его вешаешь, и больше он никого не тронет. Ниггерскую проблему надо решать быстро, а то каждый ниггер будет думать, что может насиловать и убивать белых женщин, когда захочет.

Отец спокойно произнес:

— Он заслуживает честного суда. Мы не можем никого карать.

— Черта с два не можем! — крикнул кто-то.

Толпа сомкнулась теснее. Я повернулся к мистеру Смуту, но его уже не было видно.

— А теперь ты уже не такой высокопоставленный, а, Джейкоб? — спросил мистер Нейшн.— Так что перди отсюда с твоей любовью к ниггерам!

— Отдай его мне,— ответил отец.— Я его возьму. Чтобы его судили честно.

— Ты говорил, что его отпустишь,— сказал Нейшн.

— Я это обдумал. Да.

— Никто его никуда не отпустит, разве что на конце веревки!

— Вы его не повесите.

— Заба-авно,— протянул Нейшн.— А я думал, мы именно это и сделаем.

— Тут не Дикий Запад,— сказал отец.

— Это точно,— согласился Нейшн.— Тут берег реки с деревьями, а у нас есть веревка и плохой ниггер.

Во время разговора папы с мистером Нейшном один из ребят Нейшна куда-то исчез, а теперь появился снова, держа в руках веревку с петлей. Петлю он накинул на голову Моуза.

Папа шагнул к ним, схватил веревку и сдернул ее с Моуза. Толпа заревела, как раненый зверь, и все навалились на отца, колотя руками и ногами. Я попытался броситься в драку, но мне тоже досталось, и я помню дальше только, как лежал на земле, видел бьющие ноги и слышал, как Моуз кричит и зовет отца, а когда я посмотрел в ту сторону, его волокли по земле с веревкой на шее.

Кто-то схватил конец веревки и перебросил через толстую ветку дуба, и толпа дружно стала выбирать веревку, вздергивая Моуза. Он схватился за веревку руками, и ноги его задергались.

Папа поднялся, шатнулся вперед, схватил ноги Моуза и поднял вверх. Но мистер Нейшн ударил его ногой в ребра, и папа упал, и Моуз рухнул вниз с хрустом и снова за-

бил ногами, сплевывая пену. Папа попытался подняться, но на него набросились и стали бить. Я встал и побежал к нему. Кто-то сзади ударил меня по шее, и когда я очнулся, никого уже не было, кроме меня и папы, который все еще был без сознания, и над нами висел Моуз, вывалив язык, длинный и черный, как набитый бумагой носок. Глаза его выкатились, как две зеленые хурмы.

Я встал на четвереньки, и меня стало рвать, пока внутри ничего не осталось. Меня схватили за бока чьи-то руки, и я подумал, что опять будут бить, но тут я услышал голос мистера Смута:

— Спокойней, парень. Спокойней.

Он попытался меня поднять, но я не мог стоять. Тогда он оставил меня сидеть на земле и подошел к папе. Повернув его лицом вверх, он оттянул веко.

Я спросил:

— Он...

— Нет, все в порядке. Ему просто досталось несколько хороших ударов.

Папа зашевелился. Мистер Смут помог ему сесть. Папа поднял глаза на Моуза. И сказал:

— Христа ради, Билл, срежь ты его оттуда.

Моуза похоронили у нас во дворе, между амбаром и полем. Папа сделал ему деревянный крест, и вырезал на нем «МОУЗ», и поклялся, что раздобудет денег на надгробный камень.

После этого папа уже не был таким, как раньше. Он хотел бросить работу констебля, но те небольшие деньги, что он получал, были нам нужны, и потому он остался, хотя божился, что еще раз что-нибудь такое — и он это дело бросит.

Осень сменилась зимой, и убийств больше не было. Те, кто помогал линчевать Моуза, утешали себя сознанием собственной правоты. Плохого ниггера убрали. Женщины больше не будут погибать — особенно белые женщины.

Из них многие были папиными клиентами, и больше они в парикмахерской не появлялись. А остальных почти всех стриг Сесил, и папе доставалось очень мало работы, так что он в конце концов дал Сесилу ключ и увеличил ему пай, а сам приходил только изредка. Переключился на работу на ферме, на рыбалку и охоту.

Когда настала весна, папа, как всегда, начал посадки, но о всходах говорил мало, и я мало слышал его разговоров с мамой, но иногда, поздно ночью, через стену, я слыхал, как он плачет. Не объяснить вам, как это больно — когда плачет твой отец.

В школе весной появился новый учитель, но решили, что занятия до осени не начнутся, пока идет посадка растений. Сесил начал учить меня стричь, и я даже уже мог кое-что делать в парикмахерской — в основном стричь ребят моего возраста, которым нравилась сама идея, что я это делаю. Деньги я приносил домой маме, и когда я ей их отдавал, она чуть не плакала.

Впервые в моей жизни Депрессия стала ощущаться мною как Депрессия. Мы с Томом все еще ходили на охоту и рыбалку, но возрастной разрыв между нами становился заметнее. Мне должно было исполниться четырнадцать, и я ощущал себя таким старым, как Моуз.

Пришла и ушла весна, и она была приятна, но лето навалилось мстителем — горячее, как адская сковорода, и река обмелела, и рыба не хотела клевать, и белки с кроликами в это время года были червивыми, так что пользы от них было мало. Всходы сгорели, а чтобы мало не показалось, в середине июля возникла большая вспышка бешенства. Лесные звери, домашние собаки и кошки падали ее жертвами. Ужасно было. Люди стали стрелять бездомных собак на месте. Мы держали Тоби поближе к дому и в прохладе, поскольку считалось, что бешенство собака может подцепить не только от укуса больного зверя, но и просто от жары.

В общем, люди стали называть это лето летом бешеного пса, и оказалось, что они были правы не только в том смысле, в котором думали.

Клем Сумшн жил от нас в десяти милях по дороге — там, где отходил проселок от тогдашнего главного хайвея. В наше время это не назвали бы хайвеем, но это была главная дорога, и если с нее свернуть, стараясь пересечь наш лесной перешеек и выехать к Тайлеру, проедешь мимо дома Клема, который стоял у реки.

Дом Клема выходил задней стеной на реку и устроен был так, что все исходящее из Клема и его семьи попадало прямо в реку. Так делали многие, хотя некоторым, вроде моего отца, это не нравилось. Такое было в том месте в то время понятие о канализации. Отходы вываливались сквозь дыру на речной берег, а когда вода поднималась, она уносила все это безобразие. Когда не поднималась, в кучах жили мухи, покрывая ее своими телами, блестя как драгоценности в протухшем шоколаде.

У Клема был придорожный киоск, где он продавал кое-какие овощи, и в тот жаркий день, о котором я говорю, ему вдруг понадобилось отойти по случаю легкого расстройства желудка и оставить в киоске сына Вильсона.

Сделав свое дело, Клем свернул самокрутку и вышел посмотреть на кишащую мухами кучу — быть может, в надежде, что река ее унесла хоть частично. Но было сухо, куча была больше, а вода ниже обычного, и что-то бледное и темное валялось на куче лицом вниз.

Клем с первого взгляда решил, что это здоровенная распухшая всплывшая кверху брюхом зубатка. Из огромных придонных обитателей, о которых ходят слухи, что они хватают маленьких собак и детей.

Но у зубаток нет ног.

Клем потом рассказывал, что, даже заметив ноги, он не сообразил, что это человек. Слишком оно было непривычное, распухшее для человека.

Но, осторожно спустившись по склону холма, думая только, как бы не вступить в продукт, который он со своей семьей все лето наваливали на берег, он уже понял, что это точно разбухшее тело женщины, лежащей лицом вниз во влажной черноте, и мухи в таком же восторге от трупа, как и от кучи отбросов.

Клем сел на лошадь и приехал к нашему двору вскоре после этого. Тогда было не так, как сейчас, когда тут же приезжают медэксперты, а копы бегают и меряют так и сяк и снимают отпечатки пальцев. Отец и Клем стащили тело с кучи и сунули в реку прополоскать, и тогда папа увидел лицо Марлы Канертон, похороненное под массой вспухшей плоти, и один холодный мертвый глаз открыт, будто она подмигивает.

Тело прибыло к нашему дому, завернутое в брезент. Папа с Клемом вынули его из машины и оттащили в сарай. Когда они прошли мимо нас с Томом — а мы играли в какую-то игру под большим деревом,— от брезента ударило страшной вонью, а ветра не было, и вонь была сухая и резкая, от которой меня затошнило.

Когда папа вышел из сарая вместе с Клемом, у него в руке было топорище. Он резкими шагами шел к машине, и слышно было, как Клем ему пытается втолковать:

— Не надо, Джейкоб! Не стоит оно того.

Мы подбежали к машине, когда из дома вышла мама. Папа спокойно положил топорище на переднее сиденье, а Клем стоял и качал головой. Мама прыгнула в машину и набросилась на папу:

— Я знаю, Джейкоб, что ты задумал! И не думай даже!

Папа включил мотор.

— Дети! — завопила мама.— Залезайте немедленно! Я вас тут не оставлю!

Мы так и сделали, и с ревом умчались, оставив Клема озадаченно стоять во дворе. Мама пыхала огнем, вопила и умоляла всю дорогу до дома мистера Нейшна, но папа ни

слова не произнес. Когда он заехал во двор Нейшна, жена мистера Нейшна была снаружи, пропалывая жалкий огородик, а мистер Нейшн и двое его ребят сидели под деревом на соломенных стульях.

Папа вышел из машины с топорищем в руке и направился к мистеру Нейшну. Мама повисла у него на руке, но он выдернул руку. Миновал миссис Нейшн, которая посмотрела на него с удивлением.

Мистер Нейшн и его сыновья заметили папу, и мистер Нейшн медленно встал со стула.

— На кой черт тебе топорище? — спросил он.

Папа не ответил, но в следующее мгновение стало ясно, на кой черт оно ему было нужно. Око свистнуло в горячем утреннем воздухе как огненная стрела и ударило мистера Нейшна по голове сбоку, примерно где челюсть подходит к уху, и звук был, мягко говоря, как винтовочный выстрел.

Мистер Нейшн свалился, как пугало под ветром, а папа стоял над ним, размахивая топорищем, а мистер Нейшн вопил и самым жалким образом прикрывался руками, а двое его ребят бросились на папу, а папа обернулся и свалил одного из них, а второй сбил его. Я тут же инстинктивно стал лупить его ногами, и он оставил папу и навалился на меня, но папа уже поднялся, и свистнуло топорище, и парнишка отключился, как свет, а второй, который был еще в сознании, пополз на четвереньках по земле, как изувеченная сороконожка. Потом кое-как встал и побежал к дому.

Мистер Нейшн несколько раз пытался встать, но каждый раз топорище прорезало воздух, и он падал обратно. Папа обрабатывал спину и бока мистера Нейшна, пока не выдохся, и ему не пришлось отступить и на что-нибудь опереться.

Нейшн, побитый, наверняка с переломанными ребрами, с распухшими губами, смотрел снизу вверх на папу,

сплевывая зубы, но встать не пытался. Папа, когда перевел дыхание, сказал:

— Марту Канертон нашли у реки. Мертвую. Изрезанную точно так же. Ты, твои парни и вся твоя толпа линчевателей только и сделали, что повесили невинного.

— Ты у нас вроде блюститель закона? — спросил Нейшн.

— Был бы у нас хоть какой-то закон, я бы тебя арестовал за то, что ты сделал с Моузом, но в этом толку нет. Здесь тебя никто не приговорит, Нейшн. Все тебя боятся. Но я не боюсь. Ты понял? Не боюсь. И если ты еще хоть раз встанешь на моей дороге, Господом клянусь, я тебя убью.

Папа отшвырнул топорище, сказал «пошли», и мы все двинулись к машине. Когда мы проходили мимо миссис Нейшн, она подняла глаза, опираясь на мотыгу. У нее был подбит глаз и распухла губа, и на щеке старые кровоподтеки. И она нам улыбнулась.

На похоронах миссис Канертон были все. Моя семья вместе со мной стояла в первом ряду. Сесил тоже был. Были почти все, кроме Нейшнов и еще некоторых, которые были в толпе линчевателей.

В течение недели в парикмахерскую вернулись все папины клиенты, и среди них линчеватели, и все они просили, чтобы он их стриг. Он снова начал регулярно работать. Я не знаю, что он по этому поводу чувствовал, подстригая тех, кто бил его в тот день, кто убил Моуза, но он их стриг и брал с них деньги. Может быть, для него это было что-то вроде реванша. А может, просто нужны были деньги.

Мама нашла работу в городе в суде. Школы не было, и на моем попечении осталась Том, и хотя считалось, что в это лето нам надо держаться подальше от леса, особенно учитывая, что убийца гуляет на свободе, мы были детьми, мы скучали, и нас тянуло к приключениям.

Как-то утром мы с Томом и с Тоби спустились к реке и стали искать брода вблизи висячего моста. Через мост мы

ходить не хотели под тем предлогом, что Тоби через него не перейдет, но это был всего лишь предлог.

Нам хотелось посмотреть на колючий туннель, где мы заблудились в ту ночь, но переходить через мост, чтобы туда добраться, нам не хотелось. Мы шли долго и дошли в конце концов до того сарая, где жил Моуз, и остановились, глядя на него. Это была лачуга из дерева, жести и толя. Моуз обычно сидел снаружи под нависавшей над рекой ивой.

Дверь была широко открыта, и мы, заглянув, увидели, что здесь вовсю похозяйничала лесная живность. Жестянка с мукой была опрокинута и обсажена жуками. Всю прочую еду трудно было определить. Просто месиво, вбитое в земляной пол. Кое-где валялось жалкое имущество Моуза. Деревянная игрушка на полке, а рядом с ней — выцветшая фотография смуглой негритянки, может быть, жены Моуза.

Все это произвело на меня гнетущее впечатление. Тоби вошел, понюхал и стал копаться в муке, пока мы его не отозвали. Мы обошли дом, подошли к стулу и там, оглянувшись на дом, заметили ее. Цепочка висела на стене, на гвозде, и на ней болтались несколько рыбьих скелетов и одна свежепойманная рыба.

Мы подошли посмотреть. Свежая рыба была очень свежей, даже еще сырой. Кто-то ее недавно здесь повесил, и по скелетам других рыб было видно, что этот кто-то делает это регулярно и довольно давно, как приношение Моузу. Приношение, которое больше некому брать.

На другом гвозде, связанная шнурками, висела пара старых ботинок, скорее всего выловленных из реки, а над ними — покореженный от воды ремень. На земле, прислоненная к стенке с гвоздем, на котором висели ботинки, стояла жестяная тарелка, яркий синий речной камень и каменный кувшин. Все это лежало как дары.

Я не знаю почему, но я снял мертвую рыбу, все старые кости, сбросил их в реку и повесил цепь обратно на гвоздь. Ботинки, тарелку, камень и кувшин я тоже бросил в реку.

Не ради злой шалости, а чтобы казалось, будто дары приняли.

Старая лодка Моуза так и была возле дома — она лежала на камнях, чтобы не гнила на сырой земле. И там лежало весло. Мы решили взять ее и проплыть по реке вверх до шиповниковых туннелей. Погрузили Тоби в лодку, столкнули ее в воду и поплыли. Долго плыли до висячего моста, прошли под ним, высматривая Козлонога.

В тени под мостом было темное углубление, как пещера. Я подумал, что там и живет Козлоног, там и подстерегает добычу.

Мы медленно подгребли к берегу, где нашли тогда привязанную к дереву женщину. Ее, конечно, давно уже не было, и плетей ежевики, которые ее держали, тоже.

Вытащив лодку на глинисто-галечный берег, мы ее там оставили и поднялись выше по обрыву, мимо дерева, где была женщина, в заросли шиповника. Туннель был тот же самый, и при свете дня стало ясно, что он и в самом деле прорезан. Он был не так широк и длинен, как казалось ночью, и выходил в туннель пошире, а тот тоже был короче и меньше, чем мы тогда думали. На шипах висели клочки цветной материи, и картинки из каталога Зирса с женщинами в одном белье, и игральные карты вроде тех, что я видел. Ночью мы их не видели, но они, наверное, были и тогда.

В середине туннеля кто-то устроил кострище, а над ним ветви шиповника так густо переплетались с низкими ветвями деревьев, что можно было себе представить, как это место остается почти сухим даже под ливнем.

Тоби нюхал и бегал вокруг, как только позволяли ему поврежденные ноги.

— Это вроде гнезда,— сказала Том.— Гнездо Козлонога.

Тут меня слегка пробрало холодком, когда я понял, что так оно и есть, и здесь, а не под мостом, его логово или одно из его логовищ, и он может в любой момент вернуть-

ся домой. Я сообщил это Тому, и мы позвали Тоби и быстро убрались, потом попытались подняться на лодке обратно вверх по реке, но не смогли.

В конце концов мы вылезли и попытались пронести лодку по берегу, но она была слишком тяжелой. Мы сдались и оставили ее на берегу. Потом прошли под висячим мостом и еще далеко шли, пока нашли песчаную отмель. По ней мы перешли реку вброд, вернулись домой, быстро доделали все, что нам было поручено, отчистили себя и Тоби и успели все это до того, как мама с папой на машине вернулись с работы.

На следующее утро, когда мама с папой уехали в город на работу, мы с Томом и Тоби отправились опять туда же. Что-то в старой лачуге Моуза не давало мне покоя, и я хотел в этом разобраться. Ничего нового не висело на гвоздях и не стояло у стены. Но кое-что любопытное было. Лодка, которую мы бросили на берегу, стояла на месте, и весло лежало в ней.

Той ночью, лежа в кровати, я услышал разговор папы с мамой. После того как папа отлупил топорищем мистера Нейшна и его ребят, дух его восстановился. Я услышал, как он говорит маме:

— Вот об этом я и сам подумал, милая. Что если убийца хотел, чтобы подумали на старого Моуза, и потому поднял такой шум — просто скрыть, что это сделал он. Может быть, он хотел это бросить, но не смог. Понимаешь, как такая болезнь. Ты думаешь, она уже прошла, а она вдруг возвращается.

— Ты имеешь в виду мистера Нейшна? — спросила мама.

— Об этом я и думал. И мне пришло в голову, что это может быть кто-то из его ребят. Изо или Урия. С Урией все не так просто. Много поговаривали, что он мучает мелких животных, топчет на берегу пойманных рыб без всякой причины.

— Это еще не значит, что он убил тех женщин.

— Нет. Но он любит убивать живое и резать на части. А второй, Изо, все время поджигает огонь, и не так, как другие дети, а регулярно. У него уже были за это неприятности. Меня такие люди тревожат.

— И это все равно не значит, что они убийцы.

— Нет. Но если Нейшн на такое способен, вполне в его духе свалить это на цветных. В наших местах народ запросто такое проглотит. Слыхал я пару раз, как полицейские говорили: когда не знаешь, кто это сделал, хватаешь какого-нибудь ниггера. И людям спокойнее, и одним ниггером меньше.

— Это ужасно!

— Конечно, ужасно. Но так оно здесь делается. Если Нейшн этого не делал, но знает, что это сделали один или оба его бездельника, он мог сделать им такое прикрытие.

— Ты в самом деле думаешь, что это возможно, Джейкоб?

— Думаю, что возможно. Не знаю, насколько, но буду за ними присматривать.

Папа относился к мистеру Нейшну и его ребятам настороженно. Я видел мистера Нейшна пару раз после того дня, как папа его отлупил, и когда он меня видел, глядел на меня так, что камень задымился бы, и шел дальше своей дорогой. Изо однажды даже шел за мной по Главной улице и корчил зверские гримасы, но когда я дошел до парикмахерской, свернул за пару домов до меня.

Но я, несмотря на все это, по-прежнему думал на Козлонога. Он был возле того места, где мы с Томом нашли тело, и он шел за нами до дороги, будто мы должны были стать его следующими жертвами. И еще я думал, что надо быть не совсем человеком, чтобы так поступить, как с теми женщинами.

Бедная миссис Канертон всегда была такая хорошая! Книги, вечеринки на Хэллоуин. И улыбалась она хорошо.

Засыпая, я подумал, что надо папе рассказать насчет картинок из каталога Зирса, кусочков материи и вообще что мы видели в шиповниковом туннеле, но в мои годы я боялся, что мне влетит за то, что оказался там, где мне не полагалось. И потому я промолчал. Оглядываясь назад, можно теперь сказать, что это ничего не изменило бы.

Тем летом мы с Томом время от времени убегали к хижине старого Моуза. Там иногда появлялись свежие рыбы на гвозде или случайные находки из реки, так что моя интуиция меня не подвела. Кто-то приносил подарки Моузу, наверное, не зная, что он мертв. А может быть, оставлял их тут по какой-то другой причине.

Мы аккуратно снимали их и возвращали в реку, гадая, уж не Козлоног ли оставляет здесь подарки. Но, выискивая его следы, мы видели только отпечатки больших ботинок. И никаких копыт.

Лето становилось все жарче и жарче, воздух стал вроде одеяла, обмотанного вокруг головы в два слоя. Так жарко, что в полдень не хотелось шевелиться, и мы на время бросили бегать к реке и держались вблизи дома.

На Четвертое Июля наш городок решил устроить праздник. Мы с Томом очень радовались, потому что ожидались фейерверки, и римские свечи, и прочая пиротехника — а еще, конечно, изобилие домашней еды.

Народ не терял настороженности, думая, что убийца может где-то еще таиться, и общее мнение сменилось — теперь считалось, что это не какой-то проезжий, а кто-то среди нас.

На самом деле никто здесь ничего подобного не видел и не слышал, кроме истории с Джеком-потрошителем, и все раньше думали, что такие убийства могут быть только где-то далеко в больших городах.

Город собрался перед сумерками. Движение на Главной перекрыли, что не имело значения, потому что все равно машины по ней редко ездили, поставили столы с на-

крытыми блюдами и арбузами, проповедник произнес несколько слов, каждый взял себе тарелку и пошел вдоль столов, накладывая еду. Я помню, как ходил и ел всего понемногу — картофельное пюре, подливка, пироги с изюмом, яблоками и грушами. Том ела только пироги и ничего больше — только еще кусок арбуза, который положил ей Сесил.

Между столами стояли в круг стулья, а за стульями — импровизированная сцена, а на ней по краям группы народу с гитарами и скрипками, кто-то играл и пел, а в середине танцевали. Мама с папой тоже пошли танцевать, а Том сидела на колене Сесила и хлопала в такт в ладоши, подпрыгивая.

Я все думал, что покажется мистер Нейшн со своими ребятами, как они всегда делали, если была бесплатная еда или возможность выпить, но они не появились. Я решил, что это из-за папы. Может, мистер Нейшн был страшен с виду и на словах, но папино топорище его смирило.

Ночь начинала выдыхаться, музыка прекратилась, и устроили фейерверк. Шутихи прыгали, римские свечи вертелись и разбрасывали пламя по Главной улице, вспыхивая всеми цветами на черном фоне ночи, потом пламя стало шире, тоньше и погасло. Помню, оставалась одна яркая полоса, которая погасла не сразу, но опускалась на землю, как падучая звезда, и мои глаза, провожая ее, упали на Тома и Сесила, и в последней вспышке шутихи я увидел Тома, ее улыбающееся лицо, и Сесила, держащего руки у нее на плечах, лицо его чуть обвисло и покрылось испариной, и колено его еще ее подбрасывало, хотя музыка кончилась, и они оба смотрели в небо, ожидая ярких взрывов.

Тревога из-за убийств, из-за того, что убийца среди нас, отступила. В этот миг казалось, что все в мире хорошо.

Когда мы добрались домой, никому еще не хотелось спать, и мы сели ненадолго под большим дубом выпить яблочного сидра. Это было здорово, но я не мог избавить-

ся от ощущения, что за мной следят. Я оглядывал лес, но ничего не видел. Том, кажется, ничего не заметила, и родители тоже. Чуть позже из лесу выскочил опоссум, поглядел на наше празднество и снова исчез в темноте.

Папа принес старую гитару, и они с мамой спели несколько песен, потом стали рассказывать истории, и пара среди них была страшноватых, потом все по очереди пошли в дальнее строение — и спать.

Мы с Томом еще немножко поговорили, потом я помог ей открыть окно возле кровати, и теплый воздух пахнул зарождающимся дождем.

В эту ночь, прижимая ухо к стене, я услышал, как мама говорит:

— Милый, дети услышат. Стены-то у нас тоньше бумаги.

— Разве ты не хочешь?

— Хочу, конечно.

— Стены всегда были тоньше бумаги.

— Ты не всегда такой, как сегодня. Ты знаешь, какой ты бываешь, когда вот так.

— Какой?

— Громкий,— засмеялась мама.

— Послушай, милая, мне на самом деле очень надо. И я хочу быть громким. Что ты скажешь, если мы сядем в машину и чуть прокатимся? Я знаю одно местечко.

— Джейкоб, а что, если кто-нибудь пройдет мимо?

— Я знаю такое место, где никто не пройдет мимо. По-настоящему уединенное.

— Ну что ты, не надо. Можно и здесь. Только надо будет тихо.

— А я не хочу тихо. И даже если бы хотел, все равно это прекрасная ночь. И спать не хочется.

— А дети?

— Это очень близко, милая. И будет здорово.

— Ну, ладно... ладно.

Я лежал и ломал голову, что это стукнуло в голову моим родителям, и потом услышал, как завелась машина и выехала на дорогу.

Куда это они?

И зачем?

Только через несколько лет до меня дошло, что все это значило. В то время это было загадкой. И я еще какое-то время погадал, потом бросил. Ветер из теплого стал прохладным от приближающегося дождя.

Чуть позже меня разбудил лай Тоби, но он перестал, и я снова заснул. Потом я услыхал постукивание. Будто птица склевывает зерно с твердой поверхности. Я медленно открыл глаза, повернулся в кровати и увидел в открытом окне силуэт. Когда ветром отбросило шторы, я разглядел стоящую фигуру — она заглядывала внутрь. Темный силуэт с рогами на голове, и одна рука постукивала по подоконнику длинными ногтями. Козлоног что-то отрывисто мычал.

Я сел, как на пружине, прижавшись спиной к стене.

— Убирайся!

Но тень осталась, и ее мычание перешло в скулеж. Потом шторы занесло ветром внутрь, вынесло обратно, и тень исчезла. Тут я и заметил, что кровать Тома прямо под окном пуста.

Это я помог открыть это окно.

Перегнувшись через ее кровать, я выглянул наружу. На фоне леса был виден Козлоног. Он поднял руку и поманил меня.

Я не знал, что делать. Бросился в комнату родителей, но их не было. Кажется, вспомнилось мне, они уехали, как раз когда я засыпал бог знает зачем. Вернулся в нашу с Томом каморку и убедился, что не сплю. Том исчезла, почти наверняка ее украл Козлоног, и теперь он зовет меня за собой. Будто дразнит. Будто играет.

Я снова выглянул в окно, и Козлоног стоял на месте. Я взял дробовик и патроны, натянул штаны, заправил в

них рубашку и надел ботинки. Подойдя к окну, снова выглянул. Козлоног все так же стоял у леса неподвижно. Я выпрыгнул из окна и пошел за ним. Увидев ружье, он нырнул в тень.

На бегу я звал маму, папу и Тома. Но никто не отозвался. Потом я обо что-то споткнулся и упал. Поднявшись на колени, я увидел, что споткнулся об Тоби. Он лежал на земле неподвижно. Отложив ружье, я поднял его, но он свалился на бок. У него была сломана шея.

Боже мой, Тоби убили! После всего, что с ним было, его убили! Он же лаял, предупреждая меня о Козлоноге, а теперь его убили, и Том пропала, и папа с мамой бог знает где в машине, и Козлонога больше не видно.

Я положил Тоби на землю, подавил слезы, подхватил дробовик и бросился в лес наобум по той дорожке, по которой ушел Козлоног, ожидая в любой момент наткнуться на тело Тома со сломанной шеей, как у Тоби.

Но этого не случилось.

Луны хватало, чтобы видеть, куда идешь, но не хватало, чтобы не видеть в каждой тени притаившегося Козлонога, готового к прыжку. Ветер вздыхал в ветвях, уже неся капли дождя, и дождь был прохладным.

Не знаю, может, надо было вернуться и попытаться найти маму с папой. Я чувствовал, что я, что бы ни делал, теряю драгоценное время. Откуда я мог знать, что сейчас делает Козлоног с бедняжкой Томом? Может, он ее связал и оставил на опушке, а потом пришел дразнить меня через окно? Может, я ему тоже был нужен. Я вспомнил, что случилось со всеми теми женщинами, и подумал о Томе, и меня вроде как замутило, и я побежал быстрее, решив, что лучше бежать вперед, надеясь, что догоню чудовище и смогу его застрелить и спасти Тома.

И вот тогда я заметил этот странный предмет посередине тропы. Отрезанную ветку, вдавленную в землю, и сверху она была изогнута направо и сложена как указатель. Как стрелка, указывающая путь.

Козлоног надо мной смеялся. Я решил, что мне остается только идти, куда указывает стрела,— по тропинке, еще более узкой, чем та, на которой я стоял.

Я пошел по ней и увидел другую ветку, уложенную поспешно — просто обломанную и сунутую в землю, перегнутую и опять-таки указывающую вправо.

То, на что она показывала, едва ли даже можно было назвать тропой — так, просветы между деревьями то там, то тут. Я пошел в ту сторону. Паутина путалась в волосах, ветки хлестали по лицу, и не успел я сообразить, что случилось, ноги поехали и я соскользнул с какой-то насыпи. Стукнувшись задом, я огляделся и увидел, что сижу на дороге — той, по которой ездили проповедники. Козлоног привел меня к дороге прямым путем и пошел по ней, потому что прямо передо мной, нарисованная на дорожной пыли, лежала стрела. Если он может переходить дорогу и ходить по ней, значит, он может попадать куда хочет. Нигде нет укрытия от Козлонога.

Я побежал по дороге и больше уже не искал указателей. Я знал, что иду к висячему мосту, а оттуда — к шиповниковым туннелям, куда, как я понял, унес ее Козлоног. Значит, там и есть его жилье. Туннели. И я понял, что эти туннели им были сделаны, когда он мучил этих женщин перед тем, как бросить их в реку. Повесив там ту цветную, он бросил вызов нам всем, показав место не только этого убийства, но и всех остальных убийств. Место, где он мог не торопясь делать что хочет и сколько хочет.

Когда я оказался у висячего моста, ветер стал сильнее и дождь пошел гуще. Мост качался туда-сюда, и я решил, что лучше будет спуститься к лачуге Моуза и пересечь реку на его лодке.

Я побежал изо всех сил, и когда я оказался у лачуги, ребра у меня болели от бега. Бросив в лодку ружье, я столкнул ее с деревянных блоков, и она соскользнула к воде. Но там она застряла в песке, и мне было ее не вытолкнуть. Она

увязла как следует. Тянул я и толкал изо всех сил, но без толку. И я заплакал. Надо было идти по мосту.

Забрав из лодки ружье, я побежал обратно, но тут, пробегая мимо лачуги, увидел на стене такое, что вздрогнул.

На гвозде висела цепочка, а на цепочке — рука, отделенная у запястья. Меня замутило. Том! О боже ты мой!

Я медленно подошел, нагнулся и увидел, что для Тома рука слишком большая, и она почти уже разложилась, остался только кусочек плоти. Только в темноте она показалась мне целой, а на самом деле давно уже такой не была. И цепочка не была привязана к руке, а просто рука была сжата в кулак, и цепь продета между пальцами, но рука наполовину раскрылась, и я увидел, что она держит монету. Французскую монету с зазубриной. Монету Сесила.

Я знал, что надо спешить, но меня вроде как палкой огрели. Убийца отрезал руку жертвы. Это я помнил. Я решил, что женщина схватила убийцу, и он ударил ее чем-то большим и острым и отхватил руку.

Больше вопросов, чем ответов. Как оказалась в этой руке монета Сесила, и как она оказалась здесь? Кто все это здесь оставлял и зачем? Козлоног?

Вот тут я и почувствовал руку у себя на плече.

Дернув головой, я попытался вскинуть ружье, но тут же другая рука вырвала его у меня, и я взглянул прямо в лицо Козлонога.

Из-за тучи выглянула луна, и свет ее упал на лицо Козлонога, и глаза его блеснули, и я увидел, что они зеленые. Зеленые, как глаза старого Моуза.

Козлоног тихо мычал и потрепывал меня по плечу. Тут я увидел, что рога у него — вовсе не рога, а старая соломенная шляпа, которая давно сгнила, оставив посередине дыру, будто кто-то выкусил из нее перед, и потому была похожа на рога. Соломенная шляпа. Старая соломенная шляпа. Не рога. И глаза. Глаза старого Моуза.

И тут до меня дошло. Козлоног вовсе не козлоног. Это сын старого Моуза, тот, у которого была голова не в порядке и которого считали мертвым. Он жил в лесу все это время, и старый Моуз о нем заботился, и сын в ответ заботился о Моузе, принося ему дары, которые находил в реке, и теперь старого Моуза больше нет, а он все равно это делает. Это был просто большой умственно отсталый ребенок в теле мужчины, и он бродил по местным лесам в истлевшей одежде и ботинках, которые просят каши.

Козлоног повернулся и показал вверх по реке. Я знал, что он никого не убивал и Тома не похищал. Он пришел меня предупредить, сказать, что Тома украли, и теперь он показывал дорогу. Я просто это знал. Я не знал, как он нашел руку с монетой и цепочкой Сесила, но я знал, что Козлоног не убивал никого. Он следил за нашим домом, он видел, что случилось, а теперь он пытался мне помочь.

Я вывернулся из его руки и побежал к лодке, попытался снова вытащить ее из песка. Козлоног подошел, положил ружье в лодку, схватился за нее, вытащил из песка, сбросил в воду и помог мне в нее влезть, прошлепал по воде, толкая лодку, пока она не оказалась на хорошем течении. Я видел, как он прошлепал обратно к берегу и лачуге. Взяв весло, я стал грести, стараясь не слишком думать, что могло случиться с Томом.

Время от времени луну скрывали темные тучи, капли дождя стали гуще и ветер сильнее, прохладный от влаги. Я греб так, что спина и плечи заныли, но мне помогало течение. Я миновал целый косяк водяных щитомордников и испугался, как бы они не залезли в лодку, как это они любят, принимая ее за бревно и желая отдохнуть.

Я стал грести быстрее, распугав при этом косяк, и один действительно попытался залезть в лодку, но я как следует дал ему веслом, и он рухнул в воду, живой или мертвый — не знаю.

Миновав излучину, я увидел заросли шиповника, и тут на меня накатило какое-то гнетущее чувство. Не только

страх перед тем, что я могу найти в этих туннелях, но и страх ничего не найти. Страх, что я ошибся. Или что Козлоног действительно украл Тома. Может быть, она в лачуге Моуза, и там он ее держал, ожидая, пока я скроюсь из глаз. Но если так, зачем он отдал мне ружье? Так он вообще не сильно умный. Он — лесной житель, как енот или опоссум. Он не умеет думать, как нормальные люди.

Все это летело у меня в голове, кружилось и путалось с моими страхами и мыслью о том, чтобы по-настоящему убить человека из ружья. Это было как во сне, вроде тех, что были у меня, когда я болел гриппом год назад, и все в голове кружилось, и голоса мамы с папой отдавались эхом, а вокруг стелились тени, пытаясь меня схватить и утащить никто не знает куда.

Я подгреб к берегу, вылез, вытащил лодку так далеко, как смог. Вытащить ее из воды совсем было не в моих силах — я выдохся на гребле. Оставалось только надеяться, что ее не унесет.

Вытащив ружье, я пошел по склону, стараясь не шуметь, и увидел прямо перед собой вход в туннель, куда мы с Тоби и с Томом вышли той ночью.

В кустах было темно, и луна скрылась за облаками, и ветер шевелил кусты, постукивая веточками, и капельки дождя пробивались через листву и смешивались с потом у меня в волосах, сбегали по лицу, и меня пробирала дрожь. Четвертое июля, а я мерз.

Пробираясь по туннелю, я заметил впереди прыгающее оранжевое сияние и услышал треск. Я вздрогнул, осторожно подался вперед, вышел к концу туннеля — и застыл. И не мог заставить себя свернуть в другой туннель. Будто ноги приросли к земле.

Я взвел курок, высунул голову за край кустов и посмотрел.

В середине туннеля, там, где мы с Томом нашли кострище, горел огонь, и там на земле лежала Том, без одежды, разостланная на земле, и над ней стоял человек, возя туда-

сюда руками, и издавал звуки, как долго голодавшее животное, дорвавшееся наконец до еды. Руки его порхали над ней, будто он играл на пианино. Рядом с головой Тома в землю было воткнуто массивное мачете, и лицо Тома было повернуто ко мне. Глаза ее были полны слез, а рот завязан большим платком, а руки и ноги связаны веревками, а пока я смотрел, человек встал, и я увидел, что штаны у него спущены, и он держится за себя, и ходит перед огнем, и глядит на Тома, и орет:

— Я не хочу этого делать, это ты меня заставляешь! Ты понимаешь, что это ты виновата? Ты стала какая надо. Какая надо!

Голос был громким, но такого голоса я никогда раньше не слышал. В нем была вся сырость и тьма речного дна, и вся грязь оттуда, и все, что может еще там собраться.

Лица мужчины я рассмотреть не мог, но по его сложению, по отблеску огня на волосах я узнал сына мистера Нейшна, Урию.

Но тут он повернулся, и это был не Урия. Я его принял за Урию, потому что он был так же сложен, но ошибся.

Я вошел в туннель и сказал:

— Сесил?

Слово сорвалось у меня с губ, хотя я даже не собирался говорить. Сесил повернулся ко мне, и лицо его было совсем таким, как раньше, когда он подбрасывал Тома на колене, а за спиной у него взрывались фейерверки. То же самое расслабленное выражение, та же испарина на лбу.

Он выпустил свои органы, будто показывая их мне, будто он гордился ими, и я тоже должен разделить эту гордость.

— Ух ты черт! — сказал он все тем же хриплым и животным голосом.— Все не так. Я не хотел, чтобы надо было, чтобы это была Том. Но она созревала, боже мой, прямо у меня на глазах. Каждый раз, как я ее видел, я себе говорил, нет, нельзя, нельзя гадить, где ешь, но она зрела,

боже ты мой, и я думал, я просто поеду к вам, гляну на нее, если выйдет, а там она лежала, и так легко было ее взять, и я знал, что сегодня ночью я должен. И ничего больше.

— Почему?

— Сынок, здесь не бывает «почему». Должен — и все. Я должен их всех. Я сказал себе, что не буду, но делаю. Делаю.

Он чуть двинулся ко мне.

Я поднял ружье.

— Ну, парень,— сказал он.— Ты же не хочешь меня убивать.

— Нет, сэр, хочу.

— Я ничего не могу поделать. Ты послушай. Я ее отпущу, и мы просто все забудем. Когда ты придешь домой, меня уже здесь не будет. У меня тут спрятана лодчонка, я спущусь по реке, а там сяду на поезд. Это я умею. Я смоюсь раньше, чем ты это будешь знать.

— А ты опал,— сказал я.

Его писпска поникла.

Он глянул вниз.

— Так и есть.— Он натянул штаны и застегнул их, при этом продолжая говорить.— Послушай. Я не собирался причинять ей вреда. Я только хотел пальчик окунуть. Я уйду, и все будет хорошо.

— Ты уйдешь вниз по реке и сделаешь это снова,— сказал я.— Как ты пришел к нам по реке и сделал это у нас. Ты ведь не остановишься?

— Тут нечего сказать, Гарри. Иногда я собой не владею.

— Где твоя цепочка и монета, Сесил?

Он потрогал шею.

— Потерял.

— Та женщина, с отрубленной рукой — она за нее схватилась?

— Вроде так и было.

— Отойди влево, Сесил.

Он отошел влево, показал на мачете.

— Она меня схватила, я рубанул ее вот этим, и рука отвалилась. Проклятие! Я ее сюда притащил, она вырвалась, и я за ней погнался. И она меня схватила, она отбивалась. Я ей отхватил руку и бросил в реку. Ты можешь себе представить... А как ты узнал?

— Козлоног вылавливает из реки, что попадется, и вешает на хижину Моуза.

— Козлоног?

— Настоящий Козлоног — это ты.

— Какую-то ты чушь несешь, парень.

— Отойди на ту сторону.

Я хотел, чтобы он отошел от выхода с той стороны — того, в который вошли мы с Томом в ту ночь, когда нашли тело.

Сесил пошел налево от меня, я двинулся направо. Как будто мы кружили друг вокруг друга. Я оказался рядом с Томом и присел около нее, не отводя ствола ружья от Сесила.

— Я мог бы исчезнуть навсегда,— сказал Сесил.— Ты только отпусти меня.

Я протянул руку, нащупал узел на платке и развязал его.

— Убей его! — завопила Том.— Убей! Он в меня пальцами тыкал! Застрели его! Он меня вытащил через окно и тыкал в меня пальцами!

— Тише, Том! — сказал я ей.— Спокойнее.

— Развяжи меня! Дай мне ружье, и я его застрелю!

— И это сюда ты притаскивал тех женщин, чтобы убить? — спросил я.

— Отличное место. Его уже оборудовали бродяги. Когда я выбирал женщину — ну, я с ними легко управляюсь. У меня лодка всегда была наготове, и можешь по реке попасть, куда хочешь. Железная дорога тоже недалеко. И поездов много — легко добраться куда угодно. Иногда я брал машину — знаешь чью? Миссис Канертон. Однажды она

мне ее одолжила, и я спросил, не хочет ли она поехать покататься со мной, пока я еду по делу. Я ей нравился, парень, и просто не смог сдержаться. Мне только и надо было притащить ее сюда, а когда я кончил дело, выбросил остатки в реку.

— Папа тебе верил, а это ты выдал, где Моуз. Ты мистеру Нейшну сказал.

— Парень, это же был всего только ниггер. Мне надо было замести след. Ты ж понимаешь. Это ж не то, что мир потерял стоящего гражданина.

— Мы думали, что ты наш друг,— сказал я.

— Так и есть, парень. Так и есть. Иногда же друзья тебя доводят, правда? Делают то, что делать не надо. Но я же не хотел!

— Тут разговор не о том, чтобы украсть у друга жвачку. Ты хуже бешеного зверя, потому что они безмозглые. Они не владеют собой.

— Я тоже.

Трещал костер, на лице Сесила играли отблески. Редкие капли дождя просачивались сквозь навес ветвей, листьев и лиан, падали в костер и шипели.

— Ты вроде своего папы, знаешь? Такой весь праведный.

— Вроде.

Придерживая одной рукой наставленное на Сесила ружье, я присел и попытался развязать узлы на руках Тома. Это мне не удалось, и я достал карманный нож и разрезал веревки у нее на руках, потом на ногах.

Я встал, поднял ружье, и он чуть вздрогнул, но я не мог его застрелить. Не было во мне того, что для этого нужно,— разве что он бы на нас набросился.

И я не знал, что с ним делать. Я решил, что у меня нет другого выбора, кроме как его отпустить, сказать папе, и пусть они его поймают. Томми натягивала одежду, когда я сказал:

— В конце концов ты свое получишь.

— Вот это уже разговор, парень.

— Ты стой там, мы уходим.

Он поднял руки:

— Наконец-то ты дело говоришь.

— Если ты не можешь его застрелить, я могу! — сказала Том.

— Пойдем, Том.

Ей это не понравилось, но она нырнула в туннель и пошла вперед.

— Не забывай, парень, были у нас хорошие минуты,— сказал Сесил.

— Ничего у нас не было. Ничего ты мне не делал, только стриг, и ты все равно не знаешь, как стричь мальчиков.— Я повернулся и пошел в туннель.— И вообще надо было тебе ногу прострелить за то, что ты с Тоби сделал.

Мы не пошли через выход, который вел в лес, потому что я хотел выйти тем путем, которым пришел, к лодке. Если мы пойдем по реке, ему трудно будет нас выследить — если у него это было на уме.

Когда мы пришли к реке, лодку, которую я не смог вытащить как следует, уже унесло водой, и она плавала в течении.

— Черт! — сказал я.

— Это лодка Моуза? — спросила Том.

— Придется идти по берегу до висячего моста.

— Далекая дорога,— сказал голос Сесила.

Я резко обернулся, и там он стоял на высоком берегу рядом с деревом, где мы с Томом нашли тело. Как большая тень совсем рядом с деревом, и мне подумалось о восставшем из земли Дьяволе, темном, полном зла и лжи.

— Далеко вам идти, дети. Далекая дорога.

Я навел на него ружье, и он скользнул за дерево со словами:

— Далекая дорога.

Я знал, что надо было убить его. Без лодки нас очень легко проследить, пробираясь по лесу, и я даже не буду его видеть.

Мы с Томом пошли вроде как перебежками по берегу и слышали, как над нами в лесу по обрыву идет Сесил, но потом перестали его слышать. Совсем как в ту ночь, когда мы слышали звуки в туннеле и рядом. Я решил, что это тогда был он, может, пришел полюбоваться на свою работу на том дереве; может, она ему нравилась и он хотел, чтобы ее увидели. Он крался за нами — а может быть, за Томом. Он уже и тогда ее хотел.

Мы шли быстро, и Том почти всю дорогу ругалась, рассказывая, что там делал Сесил пальцами, и меня от всего этого затошнило.

— Слушай, Том, заткнись. Заткнись!

Она заплакала. Я остановился, встал на колено, опустив рядом ружье, и взял ее обеими руками за плечи.

— Том, прости меня, ради бога. Я просто боюсь. Мы должны держаться друг друга, понимаешь?

— Понимаю.

— Надо идти этой дорогой. У меня есть ружье, у него нет. Может, он уже отстал.

— Он не отстанет, и ты это знаешь.

— Надо идти.

Том кивнула, и мы пошли дальше, и вскоре над рекой показалась длинная темная тень висячего моста, и ветер был силен, и мост качался, скрипел и стонал, как петли ржавой двери.

— Можно идти разными дорогами, Том, но я думаю, надо через мост. Это быстрее, и раньше попадем домой.

— Гарри, я боюсь.

— Я тоже. Ты сможешь?

Том прикусила верхнюю губу и кивнула:

— Смогу.

Мы взобрались на обрыв к началу моста и посмотрели на него. Он качался взад-вперед. Я посмотрел на реку. С черной воды поднималась белая пена, она уносилась прочь и разбивалась на водопадиках, сливаясь в более широкий, глубокий и медленный плес. Нас поливало дождем, и ве-

тер стал пронизывающим, и вокруг в лесу все было тихо, но лес казался полон чего-то, для чего у меня не было названия. Время от времени облака, несмотря на дождь, открывались, и нас освещало луной, будто покрытой жиром.

Я решил идти первым, чтобы, если какая доска подломится, Том об этом знала. Когда я ступил на мост, он под ветром да еще и под моим весом подпрыгнул так, что я чуть не вылетел за перила в реку. Инстинктивно дернувшись руками к перилам, я выронил ружье. Оно упало в воду без звука и тут же пропало.

— Гарри, ты его потерял! — завопила с берега Том.

— Иди сюда, просто держись за тросы!

Том ступила на мост, он сильно качнулся и чуть не сбросил и ее.

— Надо идти тихонько,— сказал я,— и вроде как вместе. Когда я делаю шаг, ты тоже делай, но если упадет доска или я, ты увидишь вовремя.

— А если ты упадешь, что мне делать?

— Тебе надо перейти на ту сторону, Том.

Мы пошли и, кажется, двигались правильно, потому что нас больше так не бросало, и вскоре мы прошли мост до половины.

Я повернулся и посмотрел мимо Тома на ту сторону. И не увидел, чтобы кто-нибудь шел за нами.

Мы шли медленно, но через недолгое время оказались в шести футах от другого берега. Я было собрался испустить вздох облегчения, но вспомнил, что еще надо выйти на широкую тропу, потом на дорогу, а я теперь знал, что дорога не остановит ни Сесила, ни кого-нибудь другого. Дорога как дорога. Если мы туда доберемся, еще надо пройти довольно прилично, и Сесил знает, куда мы идем, а папы с мамой еще может даже не быть дома.

Я решил, что если мы доберемся до дороги, можно попытаться его обмануть и пойти в другую сторону, но так будет еще дальше до чьего-нибудь дома, а если он догадается, что мы сделали, будет еще хуже.

Так что я подумал, что нам остается только идти домой и быть настороже. Но пока я все это обдумывал и мы уже собирались выйти на тот берег, от кустов и земли отделилась тень и превратилась в Сесила.

У него в руке было мачете. Он улыбнулся и воткнул его в глину, оставаясь на твердой почве, но взялся за обе стороны тросов, которые поддерживали висячий мост. Он сказал:

— Я тебя обогнал, мальчик, и ждал здесь. Теперь тебе и малышке Тому придется искупаться. Я такого не хотел, но так вышло. Ты же понимаешь? Я хотел только Тома. Ты мне ее дашь, чтобы я сделал что хочу, и можешь идти. Когда ты доберешься домой, мы с ней уже будем в дороге.

— У тебя мозги набок съехали,— ответил я.— Долго думал?

Сесил схватился за тросы и встряхнул. Мост дернулся из-под меня, и оказалось, что у меня ноги висят в воздухе. Удержали меня только руки, которыми я обхватил тросы. Я видел, что Том упала и схватилась за перекладину доски, и видно было, как отлетают гнилые щепки. Доска и Том вместе с ней должны были вот-вот оторваться.

Сесил снова тряхнул тросы, но я держался крепко, и доска, за которую цеплялась Том, тоже не поддалась. Я глянул на Сесила и увидел, как из тени выходит еще одна фигура. Большая и вроде с козлиными рогами на голове.

Сын Моуза, Телли.

Он ухватил Сесила за шею и дернул назад, а Сесил вывернулся и ударил его в живот, и они на миг переплелись, потом Сесил ухватил мачете и полоснул Телли поперек живота. Телли издал вопль вроде бычьего рева, напрыгнул на Сесила, и оба они полетели на мост. Они хлопнулись на настил, доски раскололись, мост качнулся вверх и в сторону, и раздался хлесткий щелчок лопнувшего троса, и концы его упали в воду. Телли и Сесил пролетели мимо нас в Сабин. Мы с Томом еще цеплялись за оставшийся трос, и тут он тоже лопнул, и мы полетели в воду вслед за ними.

Я ушел глубоко под воду, а когда вынырнул, ткнулся головой в Тома. Она заорала, и я заорал, хватая ее. Вода снова нас завертела и утащила вниз, и я рвался вверх, одной рукой при этом держа Тома за воротник. Вынырнув, я увидел сцепившихся Телли и Сесила. Их несла пенная вода к водопадам, втекающим в глубокие спокойные воды.

Потом я помню, как мы тоже падаем с водопада в спокойную воду. Я не выпускал Тома и попытался плыть к берегу. В мокрой одежде это было трудно, да еще мы страшно устали, а я старался держаться и тащить Тома, а она никак не помогала, и от этого не было ни на капельку легче.

Наконец я смог стать ногами на галечное дно, и я выбрался на берег, волоча за собой Тома. Она повалилась на гальку и рыгнула.

Я оглянулся на воду. Дождь перестал, и небо тут же очистилось, и луна, хотя и неяркая, бросала на Сабин свой свет — будто жир блестел на горячей сковородке. Сесил и Телли не отпускали друг друга, только иногда взлетала для удара рука, и тут я увидел вокруг них что-то еще, и это что-то поднималось десятками серебристых узлов, блестящих при луне, а потом оно быстро вытянулось и стало ударять в эту пару раз за разом.

Сесила и Телли занесло в косяк водяных щитомордников или чего-то вроде этого, и косяк этот клубился вокруг них, и теперь будто плети вылетали из воды, ударяя в этих двоих раз за разом.

Их вместе со змеями унесло за излучину, и они скрылись из виду.

Я наконец смог встать и заметил, что потерял ботинок. Ухватив Тома покрепче, я вытащил ее на берег. Вокруг земля была колючей, и еще рос шиповник, и моей босой ноге здорово досталось. Но мы пошли, дошли до дороги и наконец до дома, где мама и папа уже стояли во дворе и громко звали нас по имени.

Сесила нашли на песчаной отмели на следующее утро. Он распух от воды и змеиных укусов. Папа сказал, что у него шея сломана. Телли с ним расправился еще раньше змей.

А рядом с ним, запутавшись в прибрежных корнях и лианах, нашли Телли. Рана от мачете зияла у него в животе и в боку. Папа сказал, что эта глупая шляпа все еще была у него на голове, и оказалось, что она как-то перепуталась с волосами Телли. Еще он сказал, что поля, похожие на рога, размякли в воде и закрыли ему глаза как большие веки.

Я гадал, что же было такого в Телли, Козлоноге. Он повел меня туда, чтобы спасти Тома, но сам не хотел трогать Сесила. Может быть, он боялся. Но когда мы были на мосту в полной власти Сесила, он на него бросился.

Хотел он нас спасти или просто он оказался на месте и перепугался? Этого я уже не узнаю. Я думал о том, как бедняга Телли все время жил в лесу, и только его папа знал, что он там, и, быть может, держал это в тайне, чтобы люди не обидели дурачка.

Под конец вся эта история была одним страшным переживанием. Я в основном помню, как лежал в кровати еще два дня, залечивая раны в ноге от всех колючек, восстанавливая силы, слабея от ужасных мыслей о том, что чуть было не случилось с Томом.

Мама два дня была при нас, отходя только, чтобы сварить суп. Папа оставался с нами ночью. Когда я просыпался перепуганный и мне казалось, что я опять на висячем мосту, он был рядом, и улыбался, и протягивал руку, и трогал мою голову, и я ложился и засыпал снова.

За последующие годы, ловя слово то здесь, то там, мы узнали, что в нашей округе были еще такие же убийства — до самого Арканзаса и дальше в Оклахоме и кое-где в Северном Техасе. Там никто не приписывал их одному убийце. В те времена полиция просто думала не так, как сейчас. Истинной природы серийных убийц не знали. Будь тогда лучше связь, знали бы в те времена больше — быть

может, некоторых, а то и всех этих убийств можно было не допустить.

А может, и нет. Все это теперь быльем поросло, те дальние события годов тридцать первого и тридцать второго.

Вот я лежу здесь, уже ненадолго в этом мире, без всякого желания продлить свою жизнь еще и на следующий миг, просто лежу со штырем в бедре, ожидая, пока протертые горох и кукуруза и та мерзость, которая здесь сходит за мясо, будут скормлены мне чьими-то руками, и вспоминаю те времена, и как я тогда лежал в кровати в нашем домике возле леса, и как, когда я просыпался, мама с папой оказывались рядом, и как это было хорошо.

И сейчас я закрываю глаза и вспоминаю те два года и то потрясающее и ужасное лето бешеного пса и надеюсь, что, когда проснусь, я уже не буду в этом мире и там меня будут ждать мама с папой и даже бедняжка Том, безвременно погибшая в автомобильной аварии, а может быть, даже Моуз, и Козлоног, и добрый старый Тоби.

Джойс Кэрол Оутс

РУИНЫ КОНТРАКЕРА

1. ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ: НЕЧТО-БЕЗ-ЛИЦА

Случилось это в июне в самом начале нашего изгнания в Контракер. В смертной тишине мраморно-лунной ночи. Менее чем через десять дней после крушения наших жизней, когда папа, опозоренный, побежденный, выкорчевал свою семью из столицы штата и поселил в развалинах Крест-Хилла, поместья его деда в предгорьях хребта Шатокуа. «Простите меня, дети. Верьте в меня! Я буду очищен. Я очищу себя». Мой тринадцатилетний брат Грэм, мучимый бессонницей, несчастный, мечется по первому этажу темного старого дома, точно леопард в клетке. В пижаме, босой, равнодушный к возможности расшибить пальцы о невидимые ножки стульев, столов, равнодушный к тому, что наверху в их спальне его младший брат Нийл, всхлипывавший, скрипевший зубами во сне, может внезапно проснуться, увидеть пустую кровать Грэма и перепугаться. Равнодушный к тому, как его вызывающее поведение может расстроить наших родителей, только-только оправляющихся после явившегося таким ударом переезда в Крест-Хилл и унизительности их новой жизни. И днем, и ночью Грэм изливал свое негодование в словах — и высказанных, и невысказанных. «Мне

© Перевод И. Гурова, 2005.

здесь не нравится! Почему мы здесь? Я хочу домой». Грэм — бледный, избалованный, капризный, инфантильный даже для своего юного возраста: слезы злости и жалости к себе щипали ему глаза. Худенький, щуплый. Дома он почти все свое время проводил в киберпространстве и в частной школе, где учился, дружил только с двумя-тремя такими же завзятыми компьютерщиками, как и он; и никогда не был физически развитым, или напористым, или смелым, как его старший брат Стивен. И вот теперь, дрожа от холода в своей тонкой бумажной пижаме, он бродит по комнатам обширного непривычного дома, унаследованного его отцом, бродит по этому полному сквозняков и высоких потолков старому дому, долго стоявшему заброшенным, будто это склеп, в котором, сын своего отца, дитя изгнанника, он несправедливо заточен. В этот вечер наша мать пришла в наши комнаты поцеловать нас на сон грядущий, мама в светлом шелковом халате, ставшем очень свободным, так как она похудела, а ее чудесные волосы, прежде пышные, золотисто-пепельные, теперь подернуты сединой и неряшливо падают на плечи; она касается наших лиц худыми пальцами и шепчет: «Дети, пожалуйста, не будьте так несчастны, помните, мы любим вас, ваши отец и мать любят вас, так постарайтесь быть счастливыми здесь, в Крест-Хилле, постарайтесь уснуть в этих непривычных новых постелях ради нас». Грэм принял мамин поцелуй, но несколько часов пролежал без сна, и в его мыслях мешались обида и страх за отца. Наконец возбужденно спрыгнул с постели, которая не была, как он сказал себе, его собственной постелью, но временной — неудобной, пахнущей сырыми простынями и плесенью. «Не могу спать! Не буду спать! Больше никогда!»

Ни на единую минуту любого часа любого дня и даже ночи мы, дети опозоренного, побежденного отца, не переставали восставать против бедствия, обрушившегося на нас.

«Почему? Почему это случилось с нами?»

Грэм спустился по лестнице, ступеньки которой пошатывались даже под его скромным весом — восемьдесят девять фунтов. Он воображал, что зрачки его глаз расширились в темноте, глаз всевидящих и светящихся, как у совы. Мертвая тишина заполуночных часов. Лунный свет, косо падающий сквозь частые переплеты окон в восточной стене дома. Где-то близко крики ночных птиц, неясыти, гагар на озере; и ропот ветра. Грэм задрожал — в старом полном сквозняков доме словно бы все время дул легкий холодный бриз с озера Нуар дальше к северу. «Почему меня принудили увидеть то, чего я не хотел видеть? Почему меня, Грэма?» Мгновение растерянности из-за обширности вестибюля — днем он выглядел меньше, и мраморного, в ржавых пятнах мраморного пола, обжигавшего холодом его босые подошвы, и колоссальности комнаты за вестибюлем, одной из парадных комнат, как их называют, почти без мебели, а немногая оставшаяся закутана в призрачно-белые простыни; комната с насквозь пропыленными восточными коврами; и повсюду кислый запах плесени, гнили, высохших дохлых мышей в стенах. Потолок комнаты был таким неестественно высоким, что словно тонул в тени, из которой свисали закутанные люстры, словно плавающие во мгле; комната настолько огромная, что у нее, казалось, не было стен, будто она плавно сливалась с тенями запущенного сада. Грэм верил, что днем эта комната была много меньше. Или он забрел в незнакомую часть дома? Ведь в Крест-Хилле мы все еще оставались практически посторонними, занимая лишь несколько комнат обширного дома.

И вот тогда-то Грэм заметил какое-то движение снаружи на бывшем газоне.

Сначала полная уверенность, что это какое-то животное. Ведь Контракер был лесной глушью; повсюду там водились олени, еноты, лисицы, даже рыси и черные медведи — весной, по слухам, черные медведи даже бродили по улицам Контракера. Судя по почти вертикальному поло-

жению туловища, существо, медленно проходящее мимо окон, на террасу, скорее всего было медведем, подумал Грэм, и сердце у него забилось чаще. «Нас предупреждали о медведях в Крест-Хилле, но ни один еще не появился». А потому Грэм застыл у окна на террасу, возбужденно наблюдая за таинственным существом с расстояния примерно тридцать футов. За террасой, выложенной потрескавшимися, крошащимися плитами, вставала рощица вязов, сильно пострадавших от буранов прошлой зимы; за вязами тянулась подъездная дорога, называвшаяся «Аллея Акаций», которая разделялась надвое, огибая фонтан справа и слева. Вертикальное существо двигалось по этой аллее в лунном свете по направлению к озеру, удаляясь от дома; осанка у него была прямой без намека на сутулость — слишком прямая для медведя, решил Грэм. И его походка была ритмичной и неторопливой, совсем непохожей на неуклюжую перевалку медведя.

И тут Грэм поступил не похоже на себя: он бесшумно отпер дверь террасы, открыл ее нажатием плеча и вышел, затаивая дыхание, наружу в холодный свежий воздух, и присел на корточки у балюстрады, следя за удаляющейся фигурой. Непрошеный гость в Крест-Хилле? Так далеко от города и от ближайших соседей? Охотник? (Но ружья у фигуры не было, насколько мог судить Грэм.) Не могла эта фигура быть и седовласым приходящим садовником, который жил в городе. И не наш отец — маловероятно. И не шестнадцатилетний Стивен. Фигура была выше и более плотного сложения, чем любой из них: выше, со страхом подумал Грэм, чем любой мужчина, каких он видел прежде.

Грэм продолжал выглядывать из своего ненадежного убежища под балюстрадой, как вдруг фигура резко остановилась, будто почувствовав его присутствие; словно бы посмотрела в сторону Грэма, наклонив голову набок, будто нюхая воздух; и в ярком лунном пятне явилась... существом без лица.

Не человек, нечто. Нечто-Без-Лица.

Грэм прижал кулак ко рту, чтобы сдержать крик ужаса. У него подогнулись колени; он с трудом преодолел инстинктивное желание повернуться и слепо кинуться в дом, что привлекло бы к нему внимание этого нечто.

По форме голова фигуры напоминала человеческую, хотя была крупнее и более продолговатой, с нижней челюстью, выдающейся вперед больше, чем обычно для человеческого лица. Волосы казались темными, жесткими, непричесанными. Ее окостенело-прямая осанка была как у человека, гордящегося своей военной выправкой. Однако на месте лица — ничего.

Пустое пространство кожи, как будто грубо разглаженное мастерком. Еле заметные ямки, где полагалось быть глазам, и ноздрям, и рту; возможно, в ямках были дырочки, но на таком расстоянии Грэм не разглядел бы их. Он не решался смотреть, он прильнул к плитам террасы, чтобы спрятаться за балюстрадой, точно перепуганный ребенок.

Он дышал часто, неглубоко. Думая: «Нет! Нет! Я ничего не видел! Я же просто ребенок, не делайте мне больно!»

Попозже очнулся, оглушенный, все еще полный страха: тошнотный кислый вкус желчи в глубине рта. Наверное, он потерял сознание — должно быть, упал в обморок. До того испугался, что не мог дышать. И испуг не прошел.

Осмелился поднять голову — медленно. Осторожно. По диску луны проносились прядки облаков, точно смутные мечущиеся мысли. Вязы застыли в неподвижности; заросший бурьяном, весь в рытвинах проселок, который назывался «Аллея Акаций», был пуст; нигде не движения, только ветер беспокойно и нескончаемо перебирал стебли трав. Вся природа притихла, будто под гнетом страшного видения.

Нечто-Без-Лица исчезло в ночи.

2. ИЗГНАНИЕ

В Крест-Хилле нескончаемый дразнящий бриз с озера Нуар уносился и уносился на юг через наши жизни.

Куда в изгнании, и позоре, и опасении за свою жизнь наш отец привез свою семью — жену и пятерых детей, чтобы жить в разваливающемся доме своего деда среди девяноста акров заброшенной земли в сельском Контракере у более низких восточных отрогов гор Шатокуа.

Гора Морайя в двенадцати милях прямо на запад. Гора Провенанс в двадцати милях к югу.

Где миллионы лет назад гигантские ледники ползли будто живые хищные существа из Арктики, выдавливая, выцарапывая кошмарные формы — горные пики, бездонные пропасти, зубчатые хребты, кряжи, ущелья с крутыми стенами и узкие долины и речные низины. Где в Пасхальное воскресенье в середине мая может пойти снег, а в середине августа ночной воздух уже может пахнуть осенью, неминуемым приходом зимы.

Крест-Хилл, построенный в 1909 году Мозесом Адамсом Мейтсоном, богатым владельцем текстильных фабрик, на гребне ледниковой морены в трех милях от озера Нуар (получившем такое название* из-за своей воды: родниковая чистая, например, в стакане, она в озере казалась необъяснимо темной, матовой, как вар) и в пяти милях к востоку от Контракера (тихого городка примерно с 8500 жителей) на берегу Блэк-ривер. Название Крест-Хилл объяснялось тем, что дом неоклассического стиля был построен в форме укороченного креста из розового известняка и гранита; теперь, после долгих лет запустения (сын Мозеса Адамса Мейтсона, его единственный наследник, не пожелал жить там), угрюмый, как старый разбитый корабль, дрейфующий в море некошеной травы, бурьяна и молодой поросли.

---

* Нуар *(фр.)* — черный.

Потребовалось бы минимум сто тысяч долларов, мрачно подсчитал папа, чтобы сделать Крест-Хилл «пригодным для человеческого обитания», и почти столько же, чтобы вернуть былую красоту садам. (Которые папа видел только на фотографиях.) У нас не было сотен тысяч долларов. Мы были «ввергнуты в бедность — в нищету». Нам придется жить, как «беженцам», в нескольких комнатах Крест-Хилла, а большая часть огромного дома будет заперта, комнаты останутся пустыми. И мы должны быть благодарны, предупредил нас папа, за то, что у нас есть «наследство, которое дедушка оставил мне. Убежище».

Временное убежище, имел он в виду. Ибо Родрик Мейтсон намеревался очистить свое имя и вернуться в столицу. Со временем.

Увидев развалины Крест-Хилла в тот первый день под проливным дождем, пока колеса нашей машины бесплодно вращались в заросших травой рытвинах подъездной дороги, мама расплакалась, горько восклицая: «Я умру здесь! Как ты мог завести меня сюда? Я не выживу». Младшие дети, Нийл и Эллен, тут же тоже расплакались. Но папа быстро протянул руку, чтобы сжать запястье мамы, утешить ее или успокоить; мы услышали, как мама судорожно вздохнула; папа сказал более тихим, мягким голосом: «Нет, Вероника, ты не умрешь. Никто из нас, Мейтсонов, не умрет. Это ведь только порадует их — моих врагов».

Враги. Некоторые — бывшие коллеги папы, даже друзья его и мамы, которые предали его по политическим соображениям, давали ложные показания под присягой с целью очернить его, уничтожить его карьеру; принимали участие в выписке ордера на его арест.

Вот факты. Мы, дети, мало что знали о них тогда, нам пришлось по кусочкам восстанавливать их позже. Так как многое было нам неизвестно. Многое было запретным знанием.

В апреле того года, вскоре после его сорок четвертого дня рождения, судья Родрик Мейтсон, наш отец, был арестован в своем кабинете в здании Апелляционного суда штата.

В момент своего сенсационного ареста — самый младший из одиннадцати судей этого суда и тот, кому предсказывалось самое блестящее будущее.

Родрик Мейтсон двенадцать дней находился «в заключении для допроса» в пенитенциарном заведении штата в миле от Апелляционного суда штата. Ему разрешали свидания только с его адвокатами и обезумевшей от горя женой.

Затем внезапно он был освобожден.

И вынужден отказаться от должности судьи. И вынужден отдать штату почти все свои накопленные сбережения и акции. Так что семья осталась вся в долгах. Буквально за одну ночь — в долгах. А потому он и мама оказались перед необходимостью продать их дом в самом престижном пригороде столицы штата, и их летний коттедж на Атлантическом побережье в Кеннебанкпорте, в Мэне; и все свои многочисленные машины, кроме одной; и их яхту; и несколько маминых меховых манто, и часть ее драгоценностей, и другое дорогостоящее имущество. «Почему?» — спросили мы, дети, и мама сказала с горечью: «Потому что враги вашего отца ему всегда завидовали. Бессовестные люди, сговорившиеся уничтожить его».

Задавать еще вопросы нам запретили. Нам запретили заглядывать в газеты и еженедельные журналы, смотреть телевизор или слушать радио. Сразу же после ареста папы мама забрала нас из наших частных школ и запретила общаться с нашими друзьями — и по телефону и по Е-мейл. Мама требовала, чтобы мы не выходили из дома; мама хотела знать точно, где мы находимся в любую минуту, впадала в истерику, если не досчитывалась кого-нибудь из нас, а когда мы возвращались, бывала вне себя от ярости. Дома

она запиралась от нас и часами говорила по телефону. (С папой? С адвокатами папы? С собственными адвокатами? Ведь одно время казалось: они могут развестись, разъехаться.) Высокий пронзительный требовательный дрожащий от недоверия мамин голос никогда прежде не срывался на такой крик. «Как подобное может происходить со мной! Бога ради, я ведь заслуживаю лучшего! Я же ни в чем не виновна, бога ради! А мои дети — какой теперь станет их жизнь?»

Мы были избалованными детьми, ни в чем не знавшими отказа. Тогда мы этого не знали, даже Грэм тогда этого не знал; конечно, мы были избалованы и ни в чем не знали отказа — дети богатых влиятельных родителей, стремящихся занимать видное положение в обществе. Даже десятилетние близнецы Нийл и Эллен с их милыми невинными личиками и изумленными глазами. Наши привилегированные жизни, полные всяческой одежды, и компьютеров, и частных уроков (теннис, балет, верховая езда), наша гордость от сознания, что мы — дети судьи Родрика Мейтсона, о котором столько писали; наши жизни, словно с экрана или сцены, совершенно не настоящие жизни; и внезапно необратимо изменившиеся, точно жизни детей, мелькнувших на телеэкране, жертв естественных катастроф — землетрясений, голода, войны. И точно так же выглядел папа, когда вернулся к нам,— шок от серебра в его светло-каштановых волосах надо лбом, провалившихся щек, остекленевших глаз, а рот, прежде красивый,— будто что-то размазанное; в прошлом принц, уцелевший, но еле-еле, в естественной катастрофе.

Мы сторонились его и мамы. Нас пугал круговорот маминых настроений. Она могла смотреть сквозь нас взглядом оледеневшего ужаса либо отчаяния; ее прежде такие красивые зелено-карие глаза опухли от слез; а то она бросалась обнимать нас с легким стоном боли: «О-о! О, что мы будем делать?» В такие моменты от мамы исходило благо-

ухание сладких духов с примесью пота; ее дыхание пахло... чем? Вином? Виски? Иногда это были мы, дети, кого она хотела утешить; а иногда, казалось, утешить она хотела себя; иногда она сердилась на папу, а иногда на врагов папы; иногда, без какой-либо понятной нам причины, сердилась она на нас. Особенно на Розалинду, которая в четырнадцать с половиной, долговязая худышка с сумеречными глазами, взяла упрямую манеру словно бы думать о своем, морща лоб и посасывая губы, хмуро безмолвная в том замкнутом пространстве, куда не было доступа даже матери. И если Розалинда застывала в маминых объятиях, теперь уже почти одного роста с мамой, мама иногда откидывалась, чтобы уставиться ей в лицо, впиваясь в плечи красно-сверкающими, острыми, как когти, ногтями, и оттолкнуть Розалинду от себя. «Что с тобой? Почему ты на меня так смотришь? Как ты смеешь смотреть на меня, твою мать, такими глазами!»

Красивое лицо мамы было как маска. Фарфорово-косметическая маска. Маска, которая могла внезапно разбиться, как стеклянная, если кровь в ее сосудах начинала биться слишком бешено.

Поэтому Розалинда избегала ее и незаметно исчезала, чтобы спрятаться в каком-нибудь укромном уголке Крест-Хилла. Думая: ни за что, ни за что, ни за что она не вырастет в такую красивую и рассерженную женщину.

Но особенно пугал нас папа, так изменившийся. Прежде судья Родрик Мейтсон был безупречно элегантен, не позволяя видеть себя иначе, как в только что выглаженном костюме и свежей рубашке, причесанным волосок к волоску, а теперь он часто ходил в мятой одежде, свирепо запускал пальцы в волосы, брился нарочно (решили мы) так, чтобы кожа краснела от раздражения; он был папа — все еще, и его лицо было папино, тысячи раз сфотографированное, и все же словно что-то более старое, грубое, жесткое старалось пробиться наружу. Карие живые глаза,

обычно теплые, ласковые, потускнели, остекленели, губы двигались, будто он спорил сам с собой.

Папа был страдальцем, невинным. Тем, кого предали, затравили и продолжали преследовать его враги и «алчные, ненасытные, недобросовестные средства массовой информации» — вот почему нам не позволяли читать газеты и смотреть телевизор. Папа был рассерженным человеком, а иногда (вынуждены мы были признать) и опасным человеком. Как у мамы, его настроения постоянно менялись: то угнетен, то в ярости, то полон оптимизма, то погружен в апатию, то скорбит о своей семье, то скорбит о себе и о своей рухнувшей карьере, то исполнен юношеской энергии, то озлобленный стареющий человек.

За столом своим ораторским голосом он мог провозгласить, будто слушали его не только мы: «Милая жена, милые дети! Потерпите ради меня! Очень скоро наша жизнь станет такой, какая принадлежит нам по праву. Я спасу имя Мейтсонов, спасу нас всех. Вот моя клятва. Я скреплю ее... своей кровью».

Красный от вина, проказливо щуря глаза, папа хватал вилку и, прежде чем мама успевала ему помешать, поражал себя в тыльную сторону ладони, будто пронзая какую-то безволосую тварь, которая неведомо как подобралась к его тарелке.

Мы вздрагивали, но не вскрикивали, не плакали. От нас требовался мягкий шепот: «Да, да, папа». Ведь слезы в такой момент обычно коробили папу, означая, что, мы, дети, быстро шепча «да, да, папа», в действительности не верили нашим собственным словам.

— Он словно бы все-таки умер, верно? В тюрьме? Его глаза...

Это сказал Стивен тягучим голосом, совсем другим, чем его нормальный, после одной из странных упоенных вспышек за обеденным столом; Стивен, чья жизнь до ареста папы состояла из футбола, бейсбола, баскетбола, спортив-

ных видеоигр и бурных стремительно меняющихся дружб одноклассника с одноклассницами в его школе; Стивен, красивый, как Родрик Мейтсон в его возрасте, с отцовским широким лицом и чеканными скулами.

Грэм пожал плечами и ушел.

Розалинда сказала Стивену что-то быстрое и обидное, назвала его безмозглой жопой и ушла.

И пролежала без сна, тоскуя, почти всю ночь. Вжимаясь мокрым лицом в подушку. Думая: «Могут глаза умереть? Глаза человека — умереть? А все остальное в нем продолжало бы жить?» На протяжении нескончаемой постанывающей ветром ночи — такой же, как все ночи в этом жутком месте, которое она ненавидела: такое одинокое, такое далекое от ее подруг и той жизни Розалинды Мейтсон, которую она любила; засыпала и тут же просыпалась посмотреть, не пригнулся ли он над ее кроватью, не сверкают ли на нее из темноты остекленевшие в кровавых прожилках глаза нашего отца.

«Господи, помоги ему доказать, что он ни в чем не виновен. Восстановить свое доброе имя. Помоги ему вернуть все, что он потерял. Сделай нас снова счастливыми, сделай нас снова самими собой, верни нас в наш настоящий дом и сделай фамилию Мейтсон снова достойной гордости».

3. У ОВАЛЬНОГО ПРУДА

Солнечное ветреное утро! Одно из грязных окон утренней столовой разбежалось паутиной трещин, на террасе валялись сучья, обломки веток, листья. И шуршали, будто живые раненые существа.

— Где Грэм? — спрашивали мы друг друга.

— Где Грэм? — спросила мама; сердитые, встревоженные глаза.

Грэм не пришел завтракать. Он проснулся раньше нас, и оделся, и ушел. Так с грустной завистью сказал малыш Нийл.

Однако Грэм был где-то в доме. Упрямый в своем сопротивлении, когда мы звали: «Грэ-эм! Где ты?»

После нашего переезда в Крест-Хилл, когда его прежняя жизнь осталась позади, Грэм погрузился в яростную меланхолию. Его дорогое компьютерное оборудование не могло функционировать в этом разваливающемся доме — проводка никуда не годилась. В большой спальне наших родителей в дальнем конце второго этажа, куда нам, детям, доступ был запрещен, в одну из ламп как будто была вкручена шестидесятиваттная лампочка; а в кабинете папы на третьем этаже был телефон, факс и одна-две лампочки низкого напряжения; напряжение часто падало, лампочки мигали, и папа старался пользоваться ими экономно. (Тем не менее папа часто работал всю ночь напролет. Он занимался подготовкой подробных юридических документов, опровергающих выдвинутые против него обвинения, чтобы со временем послать их окружному прокурору; и он часто разговаривал по телефону с единственным адвокатом, которого сохранил.) Но компьютер Грэма, новейшей модели, включенный в одну из примитивных розеток Крест-Хилла, демонстрировал пятнисто-серый экран без намека на четкость. Большинство его программ и видеоигр не включались. Киберпространство Крест-Хилла напоминало бездну, вакуум, нустоту атома, который, говорят, состоит почти из ничего; медленно движущиеся частицы вроде черных точек в уголке вашего глаза. Грэм думал, что такой феномен, как «киберпространство», существует везде. Он вопреки маминому предупреждению возобновил связь по Е-мейлу с некоторыми своими друзьями, но ответы, которые он получал, были странными, спутанными. Как-то Стивен вошел в комнату Грэма, где тот сидел, сгорбившись над клавиатурой своего компьютера, быстро печатая команды, которые вновь и вновь получали ответ будто в жестоко-комичном кошмаре: «ОШИБКА! ПОСЫЛАЮЩИЙ НЕ ОБНАРУЖЕН» — на мерцающем, гаснущем экране. Стивена потрясло горе на лице брата.

— Эй! Почему бы тебе на время не бросить это? Мы же можем заняться чем-нибудь другим. Поехать на велосипедах... в город...

Но Грэм не слышал. Он еще больше ссутулил худые острые плечи над клавиатурой, стремительно выстукивая другой сложный набор команд. Светящиеся буквы и значки на экране медленно уплывали вверх, словно направленные туда с неизмеримого расстояния в пространстве и времени. В бледном неясном свете пасмурного июньского утра мальчишеская кожа Грэма отливала нездоровой зеленоватостью, будто потускневший металл; глаза блестели горьким недоумением. Он с отвращением сказал Стивену:

— Посмотри.

Стивен посмотрел на то, что выдавала Е-мейл Грэма, но в каждом ответе было что-то не так, будто неуклюжий перевод с какого-то иностранного языка или код:

graememat + @ poorshit.///
howzit 2b ded!

— Они думают, я умер,— сказал Грэм, давясь всхлипами.— Ребята говорят обо мне, будто я покойник.

— Просто ошибки. Когда у нас будет лучше с электричеством...— поспешно сказал Стивен.

Грэм сердито стукнул по клавише, его Е-мейл исчез.

— Может, я покойник. Может, мы все умерли и похоронены в Крест-Хилле.

Стивен, вздрогнув, попятился. В такие моменты настроения брата его пугали. Ему не хотелось думать: «Он знает куда больше меня, он куда сообразительней меня». И пошел сообщить остальным:

— Грэм совсем сдвинулся на своем компьютерном дерьме. По-моему, надо бы его отключить.

Затем настало это утро, когда они хватились Грэма, звали его и внизу дома и вверху, звали его из окон, из дверей террасы, выходящей на рощицу потрепанных ветрами вязов и заросшую бурьяном сквозь гравий подъездную до-

рогу, называвшуюся Аллеей Акаций (хотя почти все акации захирели и погибли). Мама — серебристо-пепельные волосы падают ей на лицо, девичий лоб наморщен от раздражения и тревоги — приложила ладони рупором ко рту кричала:

— Грэ-эм, Грэм! Где ты прячешься? Иди сюда, слышишь? Немедленно!

Будто это была игра в прятки, которой она могла сразу положить конец. Но, как и папа, который почти все время бодрствования проводил на третьем этаже, мама неохотно выходила из дома. Приложив ладонь козырьком к глазам, она прищурилась на службы: старый каретный сарай, и конюшню, и амбары с прогнившими от дождей, провалившимися крышами,— и в сторону мутного Овального пруда у подножия холма по ту сторону Аллеи Акаций; однако то ли робость, то ли просто страх мешали ей искать Грэма во всех этих самых подходящих местах. После десяти дней в Крест-Хилле, во время которых она не видела никого, кроме мужа и детей, если не считать прислугу, нанятую в Контракере, мама все еще носила дорогую модную городскую одежду; платья, юбки и свитера, не джинсы (возможно, их у нее вообще не было?), но шелковые брючки с рубашками в тон, непрактичные итальянские босоножки на очень высоких каблуках. Каждое утро, даже самые гнетущие утра, она мужественно превращала овальное сердечко своего лица в тугую красивую маску; хотя кожа горла отливала землистой бледностью, начиная выдавать ее возраст. Она носила свои обручальное и венчальное кольца, кольцо с изумрудом на правой руке, на тонком запястье вспыхивали драгоценные камешки браслета наручных часов. Прерывистым, почти кокетливым голосом мама пожаловалась:

— Этот мальчишка! Грэм! Он все это устраивает, чтобы досадить мне.

Мы искали Грэма все утро. К полудню в небе царило яростное бледное солнце. Каким обширным был Крест-

Хилл; историческое «поместье», пришедшее в полное запустение; сколько там было места, чтобы спрятаться — в красивых старинных амбарах, в обветшалых беседках, обвитых диким виноградом и глицинией, в лавровых кустах и в разросшихся травах парка, окружавшего дом,— некоторые почти в человеческий рост; в заброшенных оранжереях, из разбитых рам которых при нашем приближении торопливо выпархивали черные птицы (скворцы, трупиалы, вороны?), будто отлетающие души умерших.

— Где Грэм? — кричала им вслед Розалинда.— Где он прячется?

Случайно именно Розалинда в конце концов нашла Грэма на дальнем берегу Овального пруда, на корточках среди осоки и высохших стеблей бамбука, завороженно уставившегося на темную поверхность пруда, исчерчиваемую водомерками.

— Грэм, мы тебя повсюду искали! Ты не слышал, как мы тебя звали? — крикнула Розалинда вне себя. Она махнула Стивену, подзывая его, бредя между лезвиями осоки, почти достигавшей пояса. Осунувшееся белое лицо Грэма напугало ее, а потому она продолжала отчитывать его.— Заставил нас всех искать тебя. Заставил нас всех переволноваться. Надеюсь, ты доволен.

Тяжело дыша, подбежал Стивен. На нем была обтрепавшаяся майка, джинсы, заляпанные грязью цвета свежего навоза. Розалинда заметила чуть кровоточащую царапину над его левой бровью. Наверное, острый сучок.

— Эй, малыш? Ты в норме? — спросил Стивен.

Увидев, что его тайник обнаружен, Грэм пробурчал что-то неопределенное. Он встал, пошатнулся, наверное, очень долго просидел на корточках. Его серо-зеленые шорты и майка были все в репьях. Мягкие каштановые волнистые волосы, неровно падающие ниже ушей, все спутались. Он сказал, сглатывая:

— Я... увидел что-то. Вчера ночью.

— Да? Что?

Они ждали.

— Не знаю. Я его увидел, но я... не уверен. То есть разглядел ли я, что это было. Или...— Голос Грэма тоскливо замер. Было ясно, что он чем-то напуган и не знает, как об этом сказать. Он не хотел рисковать, что его высмеют, и все же...

— Да? Что? Грэм, да говори же...

— Это был... человек, мне кажется. Шел по дороге вон там. Часов около двух. Я не мог заснуть, и спустился вниз, и увидел что-то в окно.— Грэм говорил медленно, с трудом; небрежно утер рукавом рот.— Я вышел на террасу. Увидел его... это... в лунных лучах.

— Кто-то забрался к нам в парк? — сказал Стивен.

— Ты уверен, что это не был кто-то из нас? — попробовала пошутить Розалинда и осеклась, увидев выражение глаз Грэма. Грэм сказал, тщательно подбирая слова:

— Это было что-то, что-то вроде человека... человека без лица.— Он внезапно ухмыльнулся.— Нечто-Без-Лица.

Стивен сказал поспешно, словно не расслышав:

— Охотник скорее всего, забрался к нам в парк. Кто-то из живущих по соседству.

Грэм отчаянно замотал головой:

— Нет. Он... оно... у него не было ружья. Оно просто... шло. Но не как ходят обыкновенные люди. Сначала по дороге, а потом по траве — вот в этом направлении. Будто знало, куда идет, и не торопилось. Нечто-Без-Лица.

— Как так — без лица? — скептически спросил Стивен.— В природе все, все живущее, должно иметь какое-то лицо. Наверное, тебе приснилось.

— Не приснилось! — возбужденно возразил Грэм.— Я умею отличать настоящее, и Нечто-Без-Лица было настоящим.

Стивен засмеялся нервно, насмешливо. Он начал пятиться, отталкиваясь ладонями от воздуха отмахивающимся жестом. Царапина у него на лбу блестела кровью.

— Как может что-то быть без лица! Тебе приснилось.

Розалинда внезапно потрясенно сказала:

— Нет. Это мне приснилось. Я тоже видела это... его. Мужчину, вроде бы мужчина, без лица... стоял над моей кроватью.— Она зажала глаза пальцами, вспоминая, а братья смотрели на нее в ужасе.

«Над моей кроватью, ночью; в лунном свете; фигура мужчины, голова мужчины, и все-таки там, где должно быть лицо,— ни единой черты, только гладкая пустая кожа».

4. ДРУГИЕ ЛЮДИ

Наши дни в Крест-Хилле были напряженными и непредсказуемыми, как небо над Контракером. Из-за близости гор, из-за неутихающих ветров, которые дули над холодным озером Нуар, небо непрерывно менялось: сейчас ясная прозрачная голубизна, как промытое стекло, и тут же все в пятнах клубящихся туч цвета раздавленных слив. Перед грозой в зависимости от направления и скорости ветра температура падала за несколько минут на десяток градусов. Иногда — и это особенно сбивало с толку младших детей — сумерки начинали сгущаться в разгаре дня, когда солнце исчезало среди мохнатых туч. Грозы бывали такими сильными, что земля и небо словно бились в единой судороге; молнии раздирали небо, обнажая его недра, мрачные и зловещие, как погреб Крест-Хилла (который был официально Запрещен для исследований). Изъеденные мхом крыши и плохо пригнанные рамы ветхого дома протекали, на когда-то красивых мраморных и паркетных полах растекались лужи; мама плакала и проклинала врагов нашего отца: «Как могли они быть такими жестокими, такими злопамятными? Если бы они только знали, как мы несчастны!» Мама упорно верила, что, узнай враги отца, среди которых были его прежние коллеги и друзья, как нам тяжело в этом ужасном месте, они бы сжалились над

нами, и полностью очистили бы Родрика Мейтсона от всех поклепов, и вернули бы его в столицу штата. «Если бы они только знали!»

Папа держался особняком, большую часть времени укрываясь в своих рабочих комнатах на третьем этаже. Даже в самые жаркие, самые влажные и душные летние дни папа продолжал работать; мама говорила, что он работает по двенадцать часов в сутки, не меньше, и не ослабит усилий, пока не будет полностью очищен от обвинений. Иногда мы на мгновение видели его с безопасного расстояния — например, бродя в высокой траве, кто-нибудь из нас поднимал глаза и видел мелькнувшую белизну привычной папиной рубашки в окне третьего этажа; мы никогда не махали ему, так как папа мог истолковать такой жест как глупое легкомыслие или — хуже того — как насмешку. Видели мы его за обедом, если вообще видели. И когда он уже сидел во главе стола, тогда нас звала в столовую мама, улыбающаяся, окрыленная надеждой, как выздоравливающие после тяжелой болезни. Он ел медленно, с притворным аппетитом, и говорил мало, словно берег свой голос; он не любил слушать нашу болтовню, но ему не нравилось, если мы хранили молчание — «Как на похоронах». (Хотя папа выглядел усталым, он был способен на прежние едкие сарказмы и взрывы гнева, обращенные главным образом на Стивена, его неуклюжие попытки бодриться, которые папа превратно истолковывал как «наглость».) Однако было много вечеров, когда папа ел наверху в одиночестве то, что приготовила ему женщина из Контракера, миссис Дален, которую мама наняла как приходящую кухарку и уборщицу и чей муж, мистер Дален, тоже работал у нас, как мастер на все руки и садовник. (Далены были очень приятными, хотя сдержанными и несколько осторожными людьми, которые по возрасту могли быть нам дедушкой и бабушкой.) Еду ему относила мама на узорчатом потемневшем серебряном подносе, тревожась и настаивая, что

ему надо есть, «чтобы поддерживать силы». Ибо все наши жизни, даже наше будущее зависело от «сил» нашего отца.

Иногда, начиная с конца июня, в Крест-Хилл к отцу приезжали люди. Их длинные темные сверкающие машины появлялись будто ниоткуда, неуверенно двигаясь по ухабистой подъездной дороге. Возможно, посетители эти были адвокатами. Возможно, они были следователями. По меньшей мере в одном тревожном случае они оказались телевизионной бригадой и журналисткой; мама не пустила журналистку в дом, но оказалась бессильной перед телевизионщиками, которые просто снимали ее, пока она стояла, прижавшись к дверному косяку, и сердито кричала: «Убирайтесь! Неужели вам мало? Оставьте нас в покое!» Нам не разрешалось говорить с посетителями, не рекомендовалось интересоваться ими и даже не рекомендовалось вспоминать, что они нас заинтересовали. Когда один из приглашенных посетителей папы под вечер вышел из дома, хотя он поздоровался со Стивеном (который работал с мистером Далном в высокой траве рядом с дорожкой, выпалывая сорняки, голый по пояс на солнце), мама сделала вид, что вообще никто не приезжал; то есть никто, кого бы Стивен мог знать. А Стивен не сомневался, что узнал отцовского посетителя; он несколько раз видел его в нашем городском доме; один из школьных товарищей Стивена был сыном этого человека; и тем не менее, к изумлению Стивена, он не мог вспомнить его фамилию. А когда он спросил про него у мамы, мама притворилась, что ничего не знает. «Кто? Я не заметила. Я прилегла отдохнуть. Эта жара...» Стивен спросил, скоро ли папа подаст в суд свою апелляцию, и мама сказала нервно: «Стивен, откуда мне знать? Это меня не касается. Но, пожалуйста, милый, не спрашивай у папы. Обещай!» Будто кто-то из нас, а особенно Стивен, нуждался в подобном предупреждении.

А потому дни — и ночи — были напряженными и непредсказуемыми. Впервые в своей жизни нам, мейтсонов-

ским детям, было нечего «делать» — ни встреч с друзьями и ни частных уроков, ни школьных занятий, ни телевизора, ни VCR, ни видеоигр, ни компьютеров (кроме компьютера Грэма, все больше выходившего из строя), ни кино, ни супермаркетов; некоторым из нас разрешалось поехать с мамой и — реже — с папой в Контракер за необходимыми покупками; но нам запрещалось бродить по улицам городка, а главное — нам было категорически запрещено вступать в разговоры с незнакомыми людьми. К нашему изумлению, каждому из нас были вменены те или иные обязанности по дому — мы же никогда в жизни такой работы не делали, с нашими щедрыми карманными деньгами и кредитными карточками. Здесь, в Крест-Хилле — до чего несправедливо! — нам поручили работу, лишив каких бы то ни было карманных денег! Даже десятилетний Нийл и Эллен должны были работать! Мама строго сказала нам, что на время нам нужно смириться с тем, что мы не те люди, какими были. Она сказала, понизив голос, точно цитируя услышанные от кого-то слова:

— Мы временно стали другими людьми.

Другими людьми! Мы были растеряны, смущены. Мы чувствовали себя обманутыми. Вспоминая, как мама грустно, с жалостью улыбалась, когда говорила о «бедных», о тех, кто обитал в трущобах США или в странно названном «третьем мире», когда видела гнетущие повторяющиеся по телевизору съемки голодающих или искалеченных войнами людей в Африке, Индии, Боснии, например. Папа и мама сочувствовали этим трагичным людям, но брезгливо презирали других, очень похожих на нас, у кого денег и престижа было меньше, чем у Мейтсонов; мужчин-неудачников папиной профессии, не преуспевших в ней, как он, и женщин-неудачниц, не занявших видного положения в обществе в отличие от мамы с ее бесчисленными приятельницами, клубами, благотворительными мероприятиями — всех тех, кто пытался достичь статуса Мейтсо-

нов и потерпевших неудачу, потерпевших неудачу из-за каких-то нравственных своих изъянов и потому заслуживающих презрения.

Только вот: значит, мы сами стали этими презираемыми другими людьми?

Тем не менее Крест-Хилл и вид с холма на окрестности были красивы или постепенно начали казаться красивыми.

Когда мы этого не ждали. Когда мы внезапно обернулись и наши глаза увидели — прежде чем мы успели подумать.

Горы были красивы, выступая из туманов поутру. Закаты были красивы: западный край неба за отрогом — огромный котел пламени, пожирающего себя, медленно-медленно сгущаясь в ночь. Вдали, в ясные дни — дома и шпили Контракера, будто игрушечный город на Блэк-ривер. И озеро Нуар, словно бы непрерывно меняющее размеры — наиболее широкое и бурное, когда ветер был особенно крепким,— точно волнистое зеркало, всосавшее в себя весь свет и потому кажущееся вопреки любым законам природы абсолютно черным. Грэм опускал глаза, чтобы не смотреть в окно своей комнаты: он предпочитал думать, что ненавидит Крест-Хилл и хочет одного: вернуться домой. (Но не были ли мы уже дома, теперь, когда красивый особняк в пригороде был продан? Наше имущество отнято у нас? Теперь, когда немногие друзья забыли его, больше не посылали ему Е-мейл, хотя бы даже чтобы поговорить о нем как о мертвом?) Стивен, злясь, что он пленник в Крест-Хилле, готовясь вырваться оттуда, тем не менее испытывал теперь удовольствие, работая руками — во всяком случае, на воздухе в хорошую погоду,— он мудро думал: «Того дома не вернуть, теперь этот — наш дом». В городе его любили, им восхищались, и он не сомневался, что когда-нибудь его снова будут любить, восхищаться им, скажем, в Контракере; как только его узнают получше.

Словно чудный сон в своей красоте, парящий и парящий в перламутровом влажном воздухе! — вид из окна Розалинды, выходившего на запад к горе Морайя, словно бы притягивал к себе ее глаза, и у Розалинды не было сил сопротивляться. Вопреки своему юному ожесточившемуся сердцу она поймала себя на мысли: «Если бы мы только были тут свои! Мы могли бы быть счастливы».

5. ВЕЛОСИПЕДЫ

Многие вещи, перевезенные вместе с нами в Крест-Хилл, необъяснимым образом пропали. Например, много недель мы искали и искали наши велосипеды. А затем в один прекрасный день нашли их — или то, что от них осталось. Недоверчиво вглядываясь в загроможденный хламом сумрак каретного сарая, недоумевая, что произошло с нашими велосипедами. Нашими велосипедами, такими сверкающими, такими красивыми, такими дорогими.

— Черт возьми, не могу поверить,— сказал Стивен. Для Стивена первоклассный дорожный велосипед был самым высшим символом престижа.

Не то чтобы Стивен был таким уж заядлым велосипедистом, но ему непременно надо было иметь самый лучший. И конечно, наши родители исполнили его желание.

Стивен, Грэм и Розалинда, борясь со слезами гнева и обиды, кое-как сумели отделить пять велосипедов друг от друга и вытащили их на свет. Какая неожиданность! Какой шок! Вот итальянский дорожный велосипед Стивена с двадцатью передачами, стоивший более восьмиста долларов, вот «Американский орел» Грэма с одиннадцатью передачами, вот туристический велосипед Розалинды с пятью передачами, «пежо», когда-то очаровательно серебристый с золотым отливом, вот детские «швинны» близнецов с пухлыми горными шинами — все поржавевшие, искореженные, в лохмах паутины, обсыпанные крысиным

или мышиным пометом. Велосипед Стивена уже не выделялся среди остальных своим совершенством; вы не сумели бы отличить прежде глянцево-красный «швинн» маленького Нийла от «швинна» маленькой Эллен, нежно-голубого цвета — то есть прежде. Мы смотрели на наши велосипеды ошеломленным взглядом, словно перед нами была загадка, которую мы должны были разгадать и не могли.

Стивен снова прошептал, утирая глаза:

— Не могу поверить. Это... варварство.

Грэм, ставший в Крест-Хилле философом, первый оправился от потрясения. Он засмеялся, ударил кулаком по пыльному седлу «Американского орла», смахнул паутину с руля, говоря:

— Будто время прошло. Года. Вот, что время делает с материальными предметами.

— Время? — повторил Стивен.— Но ведь мы тут всего несколько недель.

Розалинда не обращала внимания на своих заспоривших братьев. Она испытывала боль от того, что претерпел ее велосипед, будто ей самой пришлось перенести подобное. Ведь это же был ЕЕ велосипед, ведь правда? Дома она на нем ездила мало, времени не хватало, и в Крест-Хилле более или менее забыла про него; но теперь она остро ощущала его утрату и на коленях извлекала мусор, застрявший между спицами, смахивала паутину и пыль. Если бы не заржавевший знак «Пежо» на раме, она бы, наверное, не узнала свой велосипед. Она сказала встревоженно:

— Может быть, это какое-то испытание. Если мы не сдадимся...

Стивен гневно усмехнулся:

— Я не сдаюсь. И никогда не сдамся.

Знай наши родители, что мы искали наши велосипеды с намерением прокатиться от Крест-Хилла до озера Нуар или в городок Контракер, они, разумеется, запретили бы это, но они не знали — ни он, ни она. Разве что папа уви-

дел нас из своих комнат на третьем этаже. (Нас частично заслонял каретный сарай, во всяком случае, так нам казалось. Собственно, мы толком не знали, какие окна третьего этажа папины; он мог иметь доступ к ним всем, что обеспечивало обзор Крест-Хилла и его окрестностей на триста шестьдесят градусов.)

Все велосипедные шины были спущены. Но, как ни удивительно, они словно бы не прогнили и не были разорваны. Стивен, полный решимости, отыскал насос, тоже сильно заржавевший, но работающий, и энергично накачал воздух во все шины; и мы быстро попробовали наши велосипеды на Аллее Акаций, пока воздух еще оставался в шинах. Мы возбужденно смеялись. В нашей забаве пряталось какое-то безумие. Мы были точно дети с самодельными, примитивными, неказистыми и, возможно, опасными игрушками — игрушками, которые могли взорваться у нас в руках. Близнецы подбодряли друг друга, но их «швинны» до того заржавели, что им удалось проехать только несколько шагов, и на первой же рытвине они свалились. Долговязый, длинноногий Грэм, который никогда особенно не любил ездить на велосипеде, так как был не в ладах с собственным телом, взгромоздился на свой велосипед и закрутил педали в обратную сторону; проверил ручные тормоза, которые вроде работали (а вдруг нет?); тщетно попытался выпрямить ручки руля, которые были забавно перекошены, и двинулся в путь, с пыхтением нажимая на педали, еле-еле, но продвигаясь вперед. Розалинде повезло больше, несмотря на жалкое состояние ее велосипеда; испуганно хихикая, пытаясь удерживать равновесие, точно пьяная, когда ее велосипед накренялся, качался, дергался и почти падал. Стивен обогнал ее, яростно сжимая кривые ручки своего велосипеда; он тоже покачивался, как пьяный, но твердо решил не упасть; в тот момент, когда уже казалось, что его велосипед вот-вот опрокинется, бесславно увлекая его на землю, он каким-то образом выравнивал его, двигался вперед, вкладывая в это все силы.

— Я не сдамся! — кричал Стивен со смехом.— Никогда.

Мы смотрели, как наш старший брат отчаянными усилиями продвигался вперед на своем искалеченном велосипеде, а спина его майки уже намокла от пота, будто он гнал велосипед вверх по крутому подъему, а не ехал слегка под уклон по направлению к воротам и шоссе. Ярко-оранжевые с черными разводами, вокруг него зигзагами кружили бабочки-данаиды, будто восклицательные знаки.

Стивен ехал к воротам: нам было запрещено покидать Крест-Хилл без разрешения.

Чугунные ворота с пышными завитушками, конечно, были открыты; навсегда открыты; створки обросли ежевикой, плющом и мхом.

— Эй! — крикнул Грэм вслед брату и сестре, которые удалялись, отчаянно крутя педали.

Он надеялся их догнать, но проржавелая цепь его велосипеда внезапно лопнула, и он растянулся в траве. Позади него хныкали близнецы. Впереди Стивен и Розалинда с усилием продолжали катить вперед, не оглядываясь. Грэм, тяжело дыша, смотрел им вслед. Ныло ушибленное колено. Он перестал улыбаться. Игра окончилась. Хотя летний день был залит светом, почти слепил светом, ему внезапно вспомнилось Нечто-Без-Лица, которое перешло Аллею Акаций в лунных лучах, двигаясь в сторону ворот. Внезапно он ощутил слабость в ногах. Ведь ходили слухи о зверском убийстве девушки не то девочки в Контракере; слухи о других случаях, даже в отдаленной деревне на озере Нуар, которую Грэм никогда не видел. Эти слухи приносили в Крест-Хилл Далны, и им не было подтверждения. Теперь Грэм вспомнил их, вспомнил тот ужас, который почувствовал, глядя на Нечто-Без-Лица в лунных лучах, свое убеждение: «Это настоящее! Даже если этого не может быть, оно есть!» Он не видел Нечто-Без-Лица с той ночи полмесяца назад, но у него было ощущение, что каким-то образом Нечто-

Без-Лица знает про него, знает про них всех, про Мейтсонов; оно следит за ними всегда. «И теперь. Даже теперь. При дневном свете». Он сложил ладони рупором и закричал с внезапным испугом:

— Стивен! Розалинда! Вернитесь!

Но они не услышали и бесшабашно скрылись вдали.

Едва он оставил позади открытые ворота и выехал на шоссе, Стивен почувствовал себя на удивление легче, свободнее, будто каким-то чудом сила тяжести заметно ослабела; то же странное ощущение испытываешь, входя в воду, когда она начинает тебя поддерживать. Его покалеченный велосипед продолжал качаться, дергаться, содрогаться под ним, седло было неудобно низким, будто для мальчика заметно меньше ростом, раздавалось стаккато «клик-клик-клик», словно цепь готовилась лопнуть, но Стивен продолжал крутить педали; ему удалось поставить более высокую передачу; постепенно он набрал скорость. И Розалинда, старавшаяся держаться наравне с ним, испытала почти такое же чувство внезапной воздушности, легкости, полета, едва выехала на шоссе — узкую асфальтированную дорогу, где едва могли разъехаться две машины. Душистый ветер освежил ее разгоряченное лицо, осушил слезы обиды и разочарования на ее глазах.

— Видишь? Что я тебе говорил! — крикнул Стивен, улыбаясь своей удивительной солнечной улыбкой, которая озарила ей сердце. Его улыбка, похожая на улыбку их отца, с той разницей, что ее юношеский задор был неподдельным, искренним, не пронизанным иронией. Они смеялись вместе. Как беззаботные дети. Они — свободны? Дети бывшего судьи Апелляционного суда штата и все-таки — свободны!

У них голова шла кругом от собственной смелости. Они знали, что, возможно, будут наказаны. И все же не думали об этом — об отце, о наказании,— не думали ни о чем, кро-

ме душистого летнего воздуха, изумительного узора солнечных лучей, пробивающихся сквозь ветви деревьев сбоку от дороги; здесь среди совсем неизвестных им крутых холмов, волнами уходящими вдаль, в окружении густых темных сосновых боров, разделенных луговинами в разноцветных узорах множества цветов — голубизна горечавок и цикория, яркая желтизна миниатюрных подсолнечников. Совсем рядом с шоссе по камням бежали стремительные ручейки; и казались совсем близкими горы Шатокуа — всегда сурово-задумчивые, заросшие соснами, над которыми высились их туманные пики. Сердце Розалинды наполняла странная запретная радость. Ее разрумянившееся хорошенькое личико сияло веселым волнением, ее пальцы порыжели от ржавчины на руле. В ошеломлении от холмов и сосен она крикнула:

— Стивен, подожди меня!

Они ехали в направлении Контракера — ведь так? Или в направлении озера Нуар в глубь лесов? Они, наверное, проехали две... три мили — но все выглядело по-прежнему непривычным. Ни домов, ни ферм, ни знакомых ориентиров. И — так странно! — никакого движения по шоссе. Розалинда поделилась бы этими наблюдениями со Стивеном, но он был далеко впереди и, сам того не замечая, все увеличивал расстояние между ними; майка на спине потемнела от пота, крепкие мускулистые ноги мощно крутили педали. Розалинду вдруг охватило тревожное предчувствие, нет, не страх, но предчувствие, она думала, не сознавая, что думает, о жутком Нечто-Без-Лица, которое неделю назад приснилось ей и которое Грэм, по его утверждению, видел своими глазами. Возможно ли такое? В подобный летний день среди подобной красоты Розалинде было трудно этому поверить.

«Ну да, ты знаешь, это так».

Еще полмили — и появился едущий ей навстречу Стивен, озабоченный тем, что его задняя шина теряет воздух;

а потому с большой неохотой они с Розалиндой поехали назад в Крест-Хилл, до которого было примерно три мили, хотя показались они много длиннее, так как дорога теперь почти все время шла вверх и выбоины в асфальте, видимо, не чинившемся уже много лет, заставляли их лязгать зубами. Когда изъеденная ржавчиной, частично повалившаяся ограда, окружавшая Крест-Хилл, замаячила впереди, почти скрытая густыми зарослями, небо заметно затянули тяжелые пористые тучи, которые гнал со стороны озера Нуар теплый, отдающий серой ветер. Что-то не так? На Розалинду нахлынула тревога, а с ней и дурные предчувствия. Сквозь просветы в ветвях возник величественный старый дом на холме, в форме креста, его известняковые стены, угрюмо розово-серые; дом из сказки, и казалось, конечно же, приют особенных людей, хотя был ли он красив или откровенно безобразен, Розалинда, задыхающаяся, уставшая до ошеломления, решить не могла бы. Что мы, дети, знали об истории Крест-Хилла, что нам рассказывали о дедушке нашего отца? Только что этот давным-давно скончавшийся человек носил имя с библейскими отзвуками: Мозес* Адам Мейтсон. Он нажил состояние, как говорили, владея текстильной фабрикой в Уинтертерн-Сити в сорока милях к югу, и удалился на покой среди предгорий Шатокуа вблизи от Контракера. Однако в Крест-Хилле не было его портрета. Вообще никаких фамильных портретов да и ничего другого не висело там на стенах, кроме полос отклеившихся штофных обоев; почти все комнаты в правом и левом крыле дома были лишены не только мебели, но даже воспоминания, даже намека на мебель. «Будто сама история была изгнана, стерта. Словно сама история была слишком болезненной, чтобы ее сохранять».

Когда Стивен и Розалинда наконец въехали в открытые ворота Крест-Хилла, посыпались первые капли дож-

---

* Английский вариант имени Моисей.

дя, будто расплавленный свинец, шипя и жаля. И какой это был подъем! Холм Крест-Хилл никогда еще не был так крут. А ухабистая Аллея Акаций в травах заросшего парка была настоящей полосой препятствий. К тому времени, когда Стивен и Розалинда добрались до дома, они совсем запыхались и обливались потом: их никак нельзя было назвать привлекательными, от них исходил тяжелый запах пота; тонкая блузка Розалинды и шорты прилипли к ее тоненькой фигуре, к ее маленьким упругим грудям, вызывая у нее отвращение. И, к их отчаянию, и отец и мать оба ждали их на каменной террасе, где бурьян пробивался между растрескавшимися плитами; остальных детей нигде не было видно, словно им было велено не выходить из своих комнат. На отце была мятая, уже не совсем белая полотняная куртка и спортивные брюки; он явно был очень рассержен, однако пытался держать себя в руках; в какой-то мере вернулось его прежнее ироническое обаяние, будто он выступал в суде или по телевидению. Глаза у него были плоскими и тусклыми, но он сумел улыбнуться вполне непринужденно; мама чуть позади него в бледно-зеленых шелковых брючках и кимоно в тон, похожем на шелковую тунику, даже не попыталась улыбнуться — ее густо накрашенное лицо опухло от обиды и гнева; глаза заплыли от слез; ведь ей, матери, конечно, пришлось выслушать упреки за недопустимое поведение двух ее старших детей. Отец сказал грозно:

— Стивен, Розалинда, как вы посмели ослушаться меня? Вы отсутствовали без разрешения, даже не поставив в известность ни свою мать, ни меня о своем намерении покинуть Крест-Хилл почти на восемь часов! Такое поведение переходит все границы!

Восемь часов! Стивен и Розалинда испуганно переглянулись. Они возразили:

— Но ведь прошло не больше часа! Мы просто попробовали наши велосипеды...

Однако казалось несомненным, что они отсутствовали гораздо, гораздо дольше, чем один час. Небо, все в клубящихся безобразных тучах, потемнело почти до вечернего; температура понизилась чуть ли не на десять градусов, жалящий дождь хлестал все сильнее, неся запах ночи. Точно провинившийся ребенок, Розалинда разразилась слезами:

— Папа, прости! Прости!

Отец сказал возмущенно:

— Прости! После того как мы чуть с ума не сошли, тревожась за вас! Отправляйтесь в свои комнаты немедленно! Я поговорю с вами по отдельности.

Опустив голову от стыда, Розалинда бросилась в дом, но Стивен вызывающе остался на террасе, упрямо доказывая, что они никак не могли отсутствовать восемь часов, он уверен, что они не отсутствовали восемь часов, ну и в любом случае у них есть право ездить на своих велосипедах...

— Ты не можешь держать нас тут как заключенных, отец, из-за того что сам такой.

Наступило мгновение тишины. Слышно было только, как дождь с шипением хлещет по плитам террасы.

Быстро, однако с достоинством, папа шагнул вперед и, прежде чем мама успела ухватить его руку, ударил Стивена ладонью по пылающему потному юному лицу.

6. БЕДНАЯ МАМА

Бедная мама — «Вероника Мейтсон». Мелодичное имя, когда-то звучавшее так часто, а теперь так редко. Ведь для нас, конечно, наша мать была «мама», а для Далнов она была миссис Мейтсон или, чаще, «мэм». Из всех нас только папа имел прерогативу называть ее этим красивым именем, данным ей при крещении; однако, когда он обращался к ней, за обедом например, то обычно тоном мягкого мученического упрека:

«Вероника, что это за еда? Словно во рту... земля».

«Вероника, почему дети являются к обеденному столу такими оборванцами? И пахнут так, будто неделю не мылись».

«Вероника, почему воздух такой... тяжелый в этой комнате? Такой сырой? Или это наши тяжелые сырые сердца?»

Мама сидела на мамином месте напротив папы во главе стола, улыбаясь своей красивой ослепительной улыбкой. Может быть, она слышала, может быть, нет.

Такая к этому времени знакомая история, рассказывавшаяся и перерассказывавшаяся нам — и миссис Дали, которая только покачивала головой и сочувственно прищелкивала языком,— как тогда в городе, едва пошли слухи о неминуемом падении судьи Родрика Мейтсона, мамин телефон перестал звонить. В одно прекрасное утро, внезапно — в доме воцарилась тишина. Где прежде элегантнейшая Вероника Мейтсон была ослеплена собственной популярностью: она во всех списках гостей, в бешеной карусели званых завтраков, благотворительных мероприятий, открытия музеев, и приемов, и официальных банкетов, теперь ее, как судью Мейтсона, внезапно вычеркнули, стерли резинкой. «Будто я была в карантине с какой-нибудь омерзительной болезнью,— с горечью говорила мама.— Мы все, Мейтсоны, даже вы, дети,— "виновны, пока не будет доказана наша невиновность". Ее нежное, тщательно накрашенное лицо начинало напоминать смазанную акварель; ее глаза, зелено-карие, прежде сверкавшие жизнерадостностью, теперь были пронизаны красными жилками от нескончаемых слез; дыхание, иногда ненароком обдававшее лица детей, пахло кислым, словно внутренность старого холодильника на кухне. «Мама пьет? — перешептывались мы.— Мама пьяна?» Мы любили маму, но мы ненавидели маму. Мы боялись мамы. Розалинда сказала:

— Я никогда ее не знала прежде, а вы?

И Грэм вздрогнул и помотал головой, а Стивен, который пытался все представлять в лучшем свете, даже обдумывая (как мы подозревали) свое бегство, сказал:

— Мама просто претерпевает метаморфозу, как бабочка.

— Бабочка в обратном направлении,— сказал Грэм с ухмылкой.

В городе у мамы для нас почти не было времени, теперь в Крест-Хилле в бесконечные летние дни, когда бледно-горящее солнце, казалось, еле волоклось по небу, а минутные стрелки часов, которые еще ходили, казалось, иногда отползали назад на дюйм, времени у нее было слишком много. Хотя папа вставал на заре, чтобы продолжать работу над своей защитой, мама вставала поздно — как можно позднее, ее страшил новый день изгнания; она мылась в нескольких еле натекших дюймах чуть теплой воды в допотопной ванне с пятнистой эмалью; она накладывала на лицо маску макияжа со всем тщанием и пыталась что-то сделать со своими волосами; скользила по дому, точно привидение в своей теперь мятой городской одежде, словно ожидая, что за ней заедет подруга и они отправятся завтракать в каком-нибудь загородном клубе или новейшем модном ресторане. «Мама сегодня пьет? Бедная мама». Она начала относиться с подозрением, даже с ревностью к Розалинде, которая быстро вырастала в красивую, физически крепкую, способную и умную девушку с длинными кудрявящимися волосами червонного золота, выбеленными солнцем; она без конца допрашивала Стивена и Грэма в убеждении, что они при каждом удобном случае ускользают в Контракер или куда-нибудь еще дальше, она поручала старшим детям разные хозяйственные обязанности, но очень редко проверяла их. Если прежде она сосредотачивала внимание на близнецах, одевая их с маниакальной заботливостью — «наших последних малюток»,— то теперь она откровенно тяготилась ими, предоставляя добросердечной миссис Дали опекать их и слушать их несмолкаемую болтовню. Маленький Нийл, умный, сообразительный мальчик, который в городе был очаровательно непосредственным, вдали от города стал болезненно нервным; те-

ни вызывали у него дрожь, заставляли ежиться, даже если тень была его собственной; он все время дергал маму за руку, точно малыш, моля и хныча: «Оно здесь, оно приходит сюда, когда мы не смотрим, и оно прячется, а если зажечь свет, превращается в тень, и если обернуться, она обернется с тобой, так что его нельзя увидеть...» — путанно говорил Нийл о ком-то или о чем-то, которое, он был убежден, жило в Крест-Хилле вместе с нами. Мама раздраженно смеялась, говоря: «У меня нет времени для детских игр. Я не могу быть "круглосуточной матерью"!» Маленькая Эллен, зеркальное отражение своего брата, хотя чуть уменьшенное, с широко распахнутыми наивными карими глазами и привычкой сосать пальцы, тоже верила, что кто-то или что-то живет с ними в Крест-Хилле, но только днем оно невидимо. Эллен редко спокойно спала всю ночь; бедняжка плакала и металась в постели, но мама наотрез не позволяла ей спать с горящей лампой, и не только из-за того, что свет будет мешать спать Розалинде, с которой Эллен делила спальню на втором этаже, но из-за риска, что он привлечет внимание к нам в темноте: «Крест-Хилл виден на мили вокруг. Мы осветим путь до самых наших кроватей».

Как-то раз Эллен совсем расплакалась, слезы градом катились по ее нездорово покрасневшим щекам, и мама в досаде опустилась перед ней на колени, крепко сжала ее худенькие плечи и слегка встряхнула девочку:

— Радость моя, не плачь, пожалуйста! На нас всех слез не хватит.

Особенно маму волновала и тревожила еженедельная газета «Контракер вэлли уикли», которую папа запретил нам читать — и ей тоже, но миссис Дали по маминой просьбе тайком приносила газету в Крест-Хилл. Большая часть газеты посвящалась обычным местным новостям; но первую страницу последнюю неделю заполняли все более и

более пугающие заголовки: «ШЕСТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ПРОПАЛА, ОБЫСКИВАЕТСЯ БОЛОТО». «ДЕВУШКА СЕМНАДЦАТИ ЛЕТ НАЙДЕНА ИЗУРОДОВАННОЙ И ЗАДУШЕННОЙ В ПУСТОМ АМБАРЕ». «ТРУП ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНЕГО ЮНОШИ ОБНАРУЖЕН НА ПОЖАРИЩЕ ПОСЛЕ ПОДЖОГА». Местные полицейские вели расследование этих преступлений, а также и других, которые могли иметь связь с этими; были задержаны несколько подозреваемых; мама читала газеты с увлечением и ужасом, не отрываясь, а потом говорила нам слабым взволнованным голосом: «Теперь вы понимаете, почему ваш отец и я не хотим, чтобы вы, дети, отправлялись в город одни? Почему вы не должны покидать Крест-Хилл, если нас нет с вами?»

Будто наши родители часто отлучались из Крест-Хилла — не чаще раза-двух в неделю. Пятимильная поездка до Контракера! Где, если нам выпадала удача, мы могли получить дозволение сопровождать маму, например, в супермаркет за какими-нибудь деликатесами, или в скверно пахнущую аптеку, где нас встречали грубые, любопытные взгляды, или в «Сирс», или «Кей-март». Мы, Мейтсоны, те, которые никогда прежде не переступали порога таких серых и скучных мест. Стивен презирал эти жалкие прогулки, но Грэм и Розалинда в жажде хоть какой-то перемены обычно сопровождали маму. Они были строго предупреждены никуда от нее не отходить — не смешиваться с толпой незнакомых людей, но, разумеется, они нарушали этот запрет, едва мамино внимание бывало чем-либо отвлечено. И они умоляли о разрешении посетить небольшую городскую библиотеку, и оно неохотно, но было им дано. Там, пока Грэм увлеченно пасся среди полок физической и математической секций, Розалинда, истосковавшаяся по общению со сверстницами, застенчиво разговаривала с девочками своего возраста; называла себя, объясняла, что она и ее семья здесь недавно и живут в Крест-Хилле. Контракерские девочки смотрели на нее с изумлением. Одна

из них со смело малиновыми губами, грубовато привлекательная, сказала:

— Вы живете в Крест-Хилле? Там никто не живет.

Разгар лета. Теплый сернистый воздух, приносимый ветром с озера Нуар, обрек бедную маму на мигрени, все более жестокие.

Разгар лета. Пронзительный звон цикад на деревьях, когда температура дошла до тридцати градусов, натянул нервы бедной мамы как струны.

И были обманчивые звуки, как называла их мама — «жестокие обманчивые звуки» — странные вибрации, приглушенные голоса и смех в дальних комнатах Крест-Хилла; звонки телефона там, где не могло быть ни звонков, ни телефона. «Вероника? Вер-он-ика?» В знойный полдень на исходе июля на ухабистой дороге возник, подпрыгивая по рытвинам, серебристо-зеленый красавец «мерседес», который расплылся в воздухе, приближаясь к площадке перед домом, а перед тем ввергнул бедную маму в безумное волнение и панику. Она верила, что это, конечно, самая близкая подруга, которая не общалась с ней уже много месяцев, приехала, чтобы увезти ее позавтракать в загородном клубе...

— А я не одета. Не приняла ванны. И поглядите на мои волосы!

Мама пришла в такое расстройство, что миссис Дали пришлось схватить ее и удержать в своих утешительных объятиях.

Не было никаких «мерседесов» перед домом, и не было никаких «мерседесов» на подъездной дороге. Однако Грэм упрямо утверждал, что тоже его видел. Он видел что-то серебристо-зеленое, неровно движущееся, имеющее форму машины и стремительно исчезавшее при приближении к дому.

Бедная мама. После фальшивой тревоги, вызванной ее подругой в «мерседесе», она несколько дней была совсем больна, совсем без сил. Затем сразу восстала со своего одра, полная энергии, когда папа сообщил ей, что через неделю ожидает в Крест-Хилле важных гостей, которые будут совещаться с ним о новом представлении его дела генеральному прокурору. (Он собрал новые данные, новые доказательства, сказал папа. Неопровержимые доказательства, что главные свидетели-доносчики в суде давали против него ложные показания. Неопровержимые доказательства того, что первоначальные обвинения, представленные против него предубежденным большим жюри, были абсолютно беспочвенными.) Мама вскричала:

— Нельзя, чтобы они увидели эти постыдные комнаты! Мы должны что-то сделать!

Конечно, она бы хотела заново отделать нижние комнаты, которыми мы пользовались, но на это не было денег. Вместо этого, повязав волосы веселеньким шарфом, в широких бумажных брючках и старой рубашке Стивена, мама провела домашнюю бригаду из миссис Дали и детей через несколько комнат, сосредоточив усилия для практических целей на утренней столовой с стеклянной стеной, выходящей на Овальный пруд: в ней папа намеревался принять своих коллег. Никто из нас уже много месяцев не видел маму полной такого молодого задора и энтузиазма, да нет — уже годы! Ее глаза, хотя и слегка налитые кровью, сияли. Цвет лица под коркой макияжа был свежим, юным. К концу двух дней заросшие грязью стекла в частых переплетах окон утренней столовой были протерты так, что солнечные лучи лились сквозь них без помех; паркетный пол был более или менее отчищен от многослойной пыли и натерт; длинный антикварный стол вишневого дерева был отполирован, а вокруг него расставлены десять красивых стульев, не одного гарнитура, но в хорошем состоянии. Старые ветхие шелковые гардины были сняты, и мама с миссис Дали, искусной швеей, ловко приладили на

их место гардины, снятые с окон в другой части дома — из индийского ситца с ярким узором. Когда папа увидел, чего добилась мама и все мы, он оглядывал плоды нашего труда с искренним удивлением и благодарностью. Его глаза наполнились слезами.

— Вероника, как могу я тебя отблагодарить? И всех-всех! Вы сотворили волшебство.

В мальчишеском восторге он схватил руки мамы, чтобы расцеловать, и лишь на секунду помедлил, увидев, какие они белесые, какие худые и сморщенные, будто у старой женщины, от долгой возни с детергентами.

— Значит, ты меня любишь, Родрик? — спросила мама с тревогой, тоном, который нам, ее детям, внушил стыд.— Я хорошая жена тебе, несмотря ни на что?

Но,— бедная мама! — не прошло и нескольких дней, как все ее труды пропали даром.

Каким-то образом пылинки, частицы грязи и сажи снова проникли в углы утренней столовой. В ней повис кислый запах гнильцы. Лесные птицы, обманутые прозрачностью стекол, не воспринимали их как препятствие, летели прямо в окно, ломая шеи; они лежали на полу скорбными кучками перьев. Дождь, проникавший в разбитые окна, загрязнил паркет, который к тому же вздулся, промочил и испачкал мягкие сиденья стульев. Даже яркие гардины из индийского ситца выглядели грязными и истрепанными, будто провисели тут многие годы. Мама металась, рвала на себе волосы, плакала. «Но... что произошло? Кто это сделал? Кто мог быть настолько жесток?» Мы, дети, тоже были ошеломлены и расстроены; десятилетние Нийл и Эллен в ужасе жались друг к другу, твердо веря, что невидимое нечто, живущее в доме с нами, исчезающее, когда вихрем оборачиваешься, чтобы изловить его, злорадно устроило разгром. Розалинда была глубоко огорчена и рассержена, потому что она работала чертовски усердно, она гордилась результатами своей работы, помогая маме ради благой цели. Стивен молчал, думал, грыз нижнюю губу, будто при-

ходил к какому-то решению. Грэм, с ухмылкой на худом капризном лице — ухмылкой притворного удовлетворения,— сказал:

— Мама, такова судьба материальной вселенной — сначиваться, сходить на нет. Ты думала, что мы исключение?

Мама обернулась к нему и закричала:

— Я тебя ненавижу! Всех вас ненавижу!

Но ударила она только Грэма, оцарапав ему кожу под левым глазом острым краем изумруда в своем кольце.

Потом мама пошатнулась и упала. Глаза у нее закатились. Ее тело ударилось о грязный пол мягко, будто небрежно уроненный узел с одеждой. Мы, дети, глядя в ужасе на распростертую женщину, казалось, знали, что мама уже никогда не будет той, которой была раньше.

7. ЖЕРТВЫ

Местное мнение разделилось: рыскающий убийца был медведь, обезумевший от вкуса человеческой крови, едва ее попробовав; или же убийца был человек, просто обезумевший и подражающий поведению взбесившегося медведя.

На исходе июля нашли еще одну жертву: одиннадцатилетнюю девочку, задушенную и изуродованную в глухом лесу неподалеку от деревни на озере Нуар. А в начале августа семнадцатилетний парень, убитый страшными ударами по голове, с частично содранным лицом, был найден на краю кладбища в Контракере. Вся дрожа, мама бросала только один взгляд на газету с ее жуткими заголовками. «Одно и то же, одно и то же. Как погода». Не выразила она особого удивления или интереса, когда однажды утром местный шериф с двумя помощниками приехал допросить нас, неофициально, как они объяснили: опрашиваются все, проживающие в этих местах. Они почти все время провели с папой, который произвел на них сильное впечатление своим умом и мягкой обходительностью. Ниче-

то не знать о профессиональных неприятностях Родрика Мейтсона они не могли и тем не менее называли его «судья», «ваша честь» и «сэр» весьма почтительно; ведь до столицы штата было триста миль, и тамошние скандалы, и борьба за власть для Контракера никакого интереса не представляли.

Со своей стороны, папа был очень любезен с представителями закона. У них не было ордера на обыск, но он дал им разрешение обыскать парк и лес вокруг дома. Все мы, даже мама и близнецы, напуганные появлением полицейских машин, следили за ними из окон верхнего этажа. Мама сказала тоном, каким задают не имеющий ответа вопрос:

— Что они думают найти? Какие глупые люди!

А папа сказал с легкой улыбкой:

— Что же, пусть ищут. В моих интересах быть хорошим гражданином. А в результате им незачем будет возвращаться и снова нас беспокоить.

8. ВТОРОЕ ПОЯВЛЕНИЕ: НЕЧТО-БЕЗ-ЛИЦА

«Что я потерял: мое имя пользователя, мой пароль, мою душу.

Куда я должен бежать? Не В РЖ. Ее не существует».

Такой будет прощальная записка Грэма, сначала напечатанная на его барахлящем компьютере, сливавшем слова в сплошные блоки бреда, букв, цифр и компьютерных значков; а затем написанная дюймовыми заглавными буквами с таким гневом, что кончик грэмовского маркера продырявливал бумагу.

Он перестал думать о себе как о Грэме Мейтсоне. Имя и фамилия внушали ему отвращение. «Грэм» — имя, данное ему, словно подарок, не принять который он не мог. «Мейтсон» — родовое имя, унаследованное, как судьба, не принять которую он не мог.

Семья считала, что он изменился, стал мрачным, даже еще более молчаливым и замкнутым с тех пор, как мама ударила его по щеке так унизительно на глазах у всех; с тех пор, как его лицо, юное, ошеломленное, закровоточило; с тех пор, как узкая рваная ранка запеклась в царапину, похожую на застежку-молнию, которая казалась — так странно, *так* противоестественно — всегда совсем свежей. (Сдирал ли Грэм струп, чтобы она оставалась такой? Если да, то машинально или когда ненадолго засыпал беспокойным сном.) Собственно, только Грэм знал, что причина была гораздо глубже.

В городской библиотеке Контракера он обнаружил в отделе «История долины Контракер» несколько старых переплетенных в кожу томов, десятилетия никем не открывавшихся, и из любопытства прочел страницы, на которых фигурировал знаменитый Мозес Адамс Мейтсон «текстильный фабрикант — борец за сохранение дикой природы», который построил Крест-Хилл, «одну из архитектурных достопримечательностей этой области»; он с изумлением узнал, что его прадед переплыл Атлантический океан четвертым классом из Ливерпуля (Англия) в возрасте 13 лет, не сопровождаемый хотя бы одним взрослым, в 1873-м; что он стал учеником на верфи в Марблхеде (Массачусетс), но вскоре перебрался на север штата Нью-Йорк, где в Уинтертерн-Сити построил первую из нескольких мейтсоновских текстильных фабрик; за десять лет он стал богатым человеком, на рубеже веков — мультимиллионером, в той эре, в которой такие агрессивные капиталисты, как Дж. Пирпонт Морган, Джон Д. Рокфеллер, Эдвард Гарриман и Эндрю Карнеги сколотили свои колоссальные состояния через монополии и тресты и благодаря систематической эксплуатации неорганизованных рабочих, в основном иммигрантов. Мозес Адаме Мейтсон никогда не был так богат, как эти люди, и не приобрел такой недоброй славы; тем не менее, как узнал Грэм, быстро проглядывая эти страницы, его прадед жестоко эксплуатировал

своих рабочих; на его фабриках работали женщины, молоденькие девушки, даже дети за жалкие 2,50 доллара в неделю; многим его работницам было меньше двенадцати, а девочки шести-семи лет работали по тринадцать часов в день. Грэм прошептал вслух: «Тринадцать часов!» Ему ни разу не приходилось работать сколько-нибудь долго до безумств в утренней столовой под маминым руководством; да и тогда он трудился не больше двух часов, причем не слишком усердно. Он не мог вообразить: работать... тринадцать часов! Маленькая девочка среди грохочущего шума, в жаркой духоте или замерзая.

Грэм с ужасом прочел о «Пожаре в Южном Уинтертерне 8 февраля 1911 года» — одна из текстильных фабрик Мейтсона сгорела дотла, в огне погибло более тридцати человек, включая детей; в процессе следствия выяснилось, что фабрику не обеспечили достаточным числом выходов на случай пожара, и даже имевшиеся двери необъяснимым образом были почти все заперты. Грэм уставился на коричневую фотографию дымящихся развалин; возле стояли пожарные и разные другие люди, а на снегу рядами лежали укрытые брезентом трупы — так много! — а некоторые такие маленькие! Многие жертвы обгорели настолько, их лица настолько обуглились, что достоверно опознать их оказалось невозможно. *Тела без лиц.*

Грэм слепо поставил книгу назад на полку. Семейной истории ему было более чем достаточно. Значит, недаром его мучил болезненный стыд, что он Мейтсон и живет в разрушающемся Крест-Хилле; построенном, как он только теперь узнал, на костях таких невинных жертв.

Он решил ничего не говорить Розалинде и Стивену. Во всяком случае, не сейчас. Слишком омерзительным, слишком постыдным было это открытие. Грэм лелеял свой подростковый цинизм, но не хотел разделить его со своими более энергичными, более привлекательными сестрой и братом. Кто-то же должен оберегать ни в чем не повинных: им незачем знать слишком много.

Знала ли мама про Мозеса Адамса Мейтсона? Возможно, нет.

Конечно, нет.

А отец? Конечно, да.

Быть помеченным судьбой, быть проклятым — разве это также не значит быть особенным?

С той июньской ночи, в начале лета нашего изгнания, когда он увидел существо, которое назвал Нечто-Без-Лица, Грэм редко спал больше одного-двух часов подряд; часто он не раздевался и вообще не ложился в постель, потому что она стала для него местом мук и отчаяния. И теперь сон одолевал его днем парализующими припадками; не в силах его побороть, он впадал в глубокое кататоническое забытье, как новорожденный; потом внезапно просыпался, моргая, задыхаясь, а сердце бешено колотилось. (Он мог оказаться на грязном полу одной из запертых комнат Крест-Хилла или в штыковидной траве газона, не в силах вспомнить, как он оказался там. Иногда над ним наклонялся кто-нибудь из нас, крича: «Грэм, проснись же! Грэм, проснись же!) Бессонница Грэма все ухудшалась, и все возрастала извращенная гордость, которую она в нем вызывала. Он не мог довериться ночи, чтобы уснуть; он не мог довериться дню. Как он жалел, что не может сесть за компьютер и похвастать перед своими невидимыми друзьями в киберпространстве, что он, в отличие от них всех, больше вообще не спит. Он упивался тем, что мама, погрузившаяся в себя, теперь совсем равнодушная к своим детям, понятия не имеет о его патологическом состоянии; и папа, казалось, нисколько этим не интересовался, если не считать ироничных окликов за обеденным столом, когда он клевал носом или не отвечал на обращенный к нему вопрос. («Сын, я с тобой говорю. Где витает твое сознание?» — спрашивал папа; и Грэм пытался вернуть свое сознание, свое мышление, как маленький мальчик может робко дергать нитку любимого змея, который унес высоко в небо

непредсказуемый ветер, достаточно сильный, чтобы разорвать его в клочья. «Мое сознание! Мое сознание! Отец, вот оно!).

Быть помеченным судьбой, быть проклятым — это значит понять, что ты особенный.

Грэм перестал верить, что наш отец может быть «спасен», что «справедливость» восторжествует. Он утратил веру в то, что мы когда-нибудь вернемся к нашей прежней жизни в городе; он перестал верить в то, что наша «прежняя жизнь» вообще когда-либо существовала. Как киберпространство, в котором он провел столько часов своей юной жизни, существует везде, но также и нигде. И нигде должно преобладать. *Это финальный закон природы.*

Теперь, когда маму Крест-Хилл сломал, теперь, когда папа со все большей маниакальностью уединялся у себя на верхнем этаже (запретном, как была запретна и спальня для нас, детей: даже близко подходить воспрещалось), в доме воцарилось тихое смятение; будто последствия шока, но бесшумного, неопределенного шока, как бывает после того, как над тобой пролетит мощный реактивный самолет. Был август, пора жгучего, душного зноя; пора колеблющегося, дрожащего зноя; и частых гроз и зарниц; пора частых перерывов в подаче электричества, когда скверная проводка Крест-Хилла вообще выходила из строя и темнота длилась часами. Настал день, когда мы поняли, что мистер и миссис Дален перестали приезжать; мы словно бы знали, что им не платили много недель и они отчаялись получить вознаграждение за свою работу. Мама объясняла пустым, равнодушным голосом, словно говоря о погоде: «Они получат все, что им причитается. Папа выпишет им чек. Со временем». Мы спросили: но когда? (Нам было стыдно, что эта добрая пожилая пара, так заботившаяся о нас, будет обманута.) Мама только улыбнулась и пожала плечами. После «предательства», как она начала называть случившееся с утренней столовой, всякие эмоции ее покинули.

«Теперь это не мама,— с горечью думал Грэм.— Но тогда кто же?»

По воле судеб важные посетители папы так и не приехали в то утро. Он ждал их весь день, и это был один из длиннейших августовских дней. Сначала он ждал спокойно в свежеотглаженном голубом в полоску летнем костюме, белой рубашке и галстуке, проглядывая документы в аккуратных стопках на столе вишневого дерева; затем со все более возрастающим волнением у парадного входа в Крест-Хилл под мшистыми в разводах сырости неоклассическим портиком; по мере того как проходили часы и белесое дымчатое солнце летаргически сползало с небосклона, он снова обрел спокойствие с видом иронической покорности судьбе, глядя через заросшее травами пространство в направлении въездных ворот, как человек, слышащий дальнюю музыку, неслышную никому другому и, наконец, неслышную ему самому.

Ночь середины августа, дымчатый лунный свет; Грэм решил выследить своего брата Стивена, спрятаться в ожидании Стивена в болотистых травах в конце подъездной дороги. Он словно бы знал, что Стивен по ночам тайно уезжает из Крест-Хилла на своем велосипеде, не считаясь с требованием папы, чтобы больше никто из нас на велосипеде или пешком не смел туда отправляться без его разрешения. Грэма до дрожи восхищало, что его брат так своевольно не слушается нашего отца, но его одолевала зависть. «Куда он ездит? Кто его друзья? Это нечестно!» Стивен прятал свой велосипед в одном из амбаров, тайком смазывая его, отчищая от новой и новой ржавчины, производя починки; итальянский дорожный велосипед, хотя легкий и изящный, оказался на удивление прочным. Цепь грэмовского велосипеда скрепить не удалось, и ездить на нем было нельзя, но Грэм думал, что мог бы взять велосипед Розалинды; они со Стивеном могли бы поехать вместе... в Контракер?

И вот Грэм ждал Стивена, притаившись в высокой траве. Со всех сторон ночь полнилась шипящим жужжанием ночных насекомых. Одни звенели в унисон, другие испускали отдельные пронзительные звуки, как визг пилы. Бессонницу Грэма, считал он, особенно усиливал лунный свет. Луна! Безжалостный глаз дразнит, подмигивает, зловеще светит на него — так далеко внизу. «И все-таки это талант — никогда не спать. Никогда не опасаться быть застигнутым врасплох». Грэм не сомневался, что будет бодрствовать, однако его заставил очнуться звук шагов, вибрация земли; он сел прямее, ошалело, на миг ничего не соображая, и увидел тогда, что мимо совсем близко проходит Стивен, или фигура, которую он принял за Стивена, думая, каким высоким, каким взрослым стал Стивен; все замечали, каким мускулистым стал Стивен за это лето, работая на воздухе с мистером Далном, окашивая и содержа в порядке огромный газон, который неотвратимо через несколько дней вновь зарастал травой по плечо и яркими лесными и полевыми цветами в буйстве плодородия. Грэм пробормотал:

— Стивен?.. Это я.

На него обрушилась мысль, что брат может отвергнуть его. Грэм большую часть лета угрюмо замыкался в себе, уклоняясь от частых дружеских попыток Стивена его развлечь. Грэм сказал:

— Стивен? Подожди. Можно мне с тобой? Пожалуйста...

Ему показалось странным, что Стивен, зная теперь, кто он, ничего не ответил. Странно, что он остановился так внезапно примерно в семи шагах от Грэма, руки приподняты у боков, поза напряженная, настороженная; лицо погружено в тень, неподвижно.

— Стивен?..— Грэм бездумно шагнул вперед.

Увидев в этот миг, что фигура перед ним была не его братом Стивеном, но... Нечто-Без-Лица.

Грэм застыл, парализованный. Ведь ему могло казаться, что это был всего лишь симптом бессонницы, которой он столь роковым образом возгордился; кошмарная фигура перед ним — плод его воображения, его бред, «нереальная», а если и «реальная», как были реальны зверства, о которых сообщалось в еженедельной контракерской газете, то не имеющая отношения к нему. У него не было времени позвать на помощь: существо ринулось на него, взмахивая руками, как может бить лапами медведь — свирепо и слепо; настолько тяжелее, настолько сильнее, чем Грэм, и Грэм был повален на землю, словно несмышленый малыш, а не тринадцатилетний мальчик.

Если не считать звуков ночных насекомых, все было погружено в тишину, потому что существо молчало, а Грэм не мог закричать, его дыхание оборвалось, едва Нечто-Без-Лица скорчилось над ним, там где он упал, осыпая ударами его незащищенную голову, царапая и терзая его лицо, срывая плоть с его лица, пока Грэм падал и падал в землю под буйными травами Крест-Хилла.

9. СЫН-ПРЕДАТЕЛЬ

Второй раз за это лето нашего изгнания в Контракер, проснувшись утром, мы обнаружили, что наш брат Грэм исчез. И опять мы звали его, кричали его имя и искали; Розалинда сразу же повела нас на дальний берег Овального пруда — который к началу августа так обмелел, что превратился в черную, затхлую лужу грязи среди осоки и высохшего бамбука. Но, конечно, там никого не было. Никаких отпечатков в мягкой земле. Мы нетерпеливо кричали: «Грэм? Грэ-эм!», так как нам уже давно претило детское эгоцентричное поведение Грэма, которое всех нас выводило из равновесия. (За исключением мамы, которая спустилась вниз поздно утром в своем засаленном шелковом халатике и неподвижно сидела в утренней столовой, слишком апатичная, чтобы хотя бы заварить чай, так что теперь

за нее это делала Розалинда; ее выцветший водянистый взгляд был невозмутимо обращен в нашу сторону.)

Сначала папа оставался относительно спокойным, хотя и был недоволен, что его рабочий распорядок оказался нарушен; затем, когда стало ясно, что Грэм действительно пропал, он присоединился к нашим поискам — двигаясь неуклюже, неуверенной походкой выздоравливающего, моргая от резкого летнего солнечного света, пока бродил по пояс в траве и отмахивался от комаров. Мы слышали его голос повсюду:

— Грэм! Я приказываю тебе вернуться! Сын, это зовет твой отец!

Он попеременно приходил в бешенство и пугался; его бешенство нас не удивляло, но его страх леденил нас ужасом, так как наш отец крайне редко проявлял эмоции, свидетельствующие о слабости.

Наконец Стивен обыскал заваленный стол Грэма, где наткнулся на загадочную записку, которую его брат так старательно вывел печатными буквами.

«Что я потерял: мое имя пользователя, мой пароль, мою душу.

Куда я должен бежать: не ВРЖ. Ее не существует».

Папу эти слова удивили, словно он не знал, что его тринадцатилетний сын способен на подобное красноречие. Недоумевающим голосом он спросил у Стивена, что означает «ВРЖ», и Стивен ответил неуверенно:

— Думаю, это означает «В Реальную Жизнь», папа.

А папа сказал:

— «В Реальную Жизнь»... но что это значит?

И Стивен сказал неохотно:

— «ВРЖ» — это киберпространственный термин, означающий... ну, все то, что есть, что не киберпространство.

Долгий напряженный момент папа обдумывал это пугающее объяснение; его бледные губы — края раны — беззвучно шевелились. Потом он сказал:

— Так, значит, Грэм нас покинул. Он убежал. Отрекся от меня. Он утратил веру в меня, меня!

— Но Грэм мог заблудиться,— возразил Стивен.— И даже если он убежал, он ведь еще ребенок. Возможно, ему нужна помощь; надо сообщить в полицию.

А папа сказал категорично:

— Грэм — сын-предатель. И больше он мне не сын. Я никогда его не прощу, а вам остальным я запрещаю простить его или вступать с ним в контакт. Он отрекся от нас всех, от Мейтсонов. Мы должны исторгнуть его из наших сердец.

Прежде чем Стивен мог ему помешать, папа выхватил записку из его пальцев и энергично разорвал ее в клочки.

10. ПРОПАВШИЙ БРАТ

Вот так наш брат Грэм исчез из Крест-Хилла на исходе лета нашего изгнания в Крест-Хилл, и в полицию не было сообщено о его исчезновении, и никаких его следов не было найдено в разваливающемся старом доме или парке; хотя, не сознавая того, Розалинда часто высматривала его — или кого-то — слыша слабый, полный упрека голос, звавший «Розалинда! Стивен!», который, когда она замирала, напрягая слух, сливался с вечно дующим ветром. Розалинда бродила по дальним коридорам и комнатам старого дома, обнаруживая коридоры и комнаты, в которых никогда раньше не бывала; поднималась по скрипучим узким лестницам, заглядывала в чуланы, всматривалась в темные затянутые паутиной углы, где домашний хлам скапливался, будто мусор, выбрасываемый волнами на берег. А вне дома ее тяпуло в старые обветшалые амбары, гнилые беседки, обвитые диким виноградом и глицинией, словно говорившие об ушедших романтических мгновениях, в высокие шуршащие травы парка, который расстилался на акры и акры, будто внутреннее море. «Роза-линда! Сти-вен! Помогите мне!» Однако облик Грэма уже бледнел в ее памя-

ти, точно поларoидный снимок на слишком ярком солнечном свете. А в доме не нашлось ни фотографий, ни снимков Грэма; оказалось, что почти весь семейный архив, сохранявшийся в альбомах, которыми с маниакальной ревностью занималась мама, пропал при переезде из города. И значит, если бы отец согласился сообщить в полицию об исчезновении своего сына, они оказались бы в очень неловком положении, поскольку не могли бы найти для полиции ни единой фотографии Грэма.

Розалинда тревожно рассматривала себя в мутных, пятнистых зеркалах Крест-Хилла. За длинное лето она выросла на дюйм или больше, ее стройная фигура округлялась, ее ноги были длинными, красивыми и неброско мускулистыми; она покрывалась золотистым загаром; в преддверии своего пятнадцатого дня рождения незаурядная, все более полагающаяся на себя девушка — но в этих старых зеркалах ее отражение выглядело бледным, дрожащим, испуганным, как отражение в подернутой рябью воде. И она исчезает? Или это всего лишь дефекты зеркал? Она заместила, что и Стивен в некоторых зеркалах тоже кажется неясным, расплывчатым, а близнецы, Пийл и Эллен, которые не только не подросли за лето, но словно бы съежились на дюйм-другой, почти не видны в них — только как колеблющиеся растворенные образы, точно плохо нарисованные акварели. Смывать грязь с зеркала, полировать его стекло не имело большого смысла, потому что амальгама осыпалась; как сказала однажды миссис Далн, когда они с Розалиндой старались отчистить зеркало, разводя руками в добродушном отчаянии: «Крест-Хилл такой старый!»

Как-то очень поздно вечером Розалинда и Стивен шептались в темном коридоре перед их комнатами, и Розалинда решилась спросить Стивена, не начал ли он забывать их брата — Розалинда почти забыла самое имя Грэма! — и потому выговорила особенно четко «Грэм». Стивен ответил без запинки — может быть, слишком уж без запинки:

— Нет.

Тогда Розалинда спросила, не слышит ли Стивен иногда где-то вдали их имена, еле различимые, будто шелест ветра, а Стивен вздрогнул и признался, что да, он иногда слышит «что-то, не уверен что».

— Но звучит как голос Грэма, правда? — не отступала Розалинда, и Стивен сказал, словно сам долго размышлял над этим:

— Если он хочет, чтобы мы пришли к нему, так, черт возьми, каким образом? Мы же не знаем, где он.

Они поговорили, понизив голос, о том, куда мог отправиться Грэм. Назад домой? В город? Но что он будет там делать? Жить у приятеля? Маловероятно. Ну а родственники — у мамы и папы их почти не было; родители папы давно умерли, а овдовевшая мать мамы снова вышла замуж и, живя в кооперативном доме в Сарасоте, Флорида, никогда никакого интереса к внукам не проявляла. Розалинда сказала, нахмурившись:

— Но ты думаешь, Грэм способен сам о себе позаботиться, прокормить себя?

И Стивен сказал:

— Мы все способны о себе позаботиться, если другого выхода нет. Мы могли бы найти работу. Мы могли бы быть независимыми. Мы могли бы учиться, но жить одни... почему бы и нет?

Розалинда сказала взволнованным вибрирующим голосом:

— Мы... могли бы? Думаю, я побоялась бы.

И Стивен сказал нетерпеливо:

— Наш прадед Мозес Мейтсон приехал сюда совсем один, когда ему было двенадцать.

И Розалинда сказала:

— Это тебе папа рассказал?

И Стивен сказал:

— Нет. Я прочел об этом в книге в библиотеке.

И Розалинда сказала:

— Но люди тогда были другими! Не думаю, что у меня достало бы сил и смелости.

И Стивен сказал, отходя, прижимая к губам указательный палец:

— Нет, ты смогла бы.

11. «ИММУНИТЕТ»

Стивен прошептал вслух:

— Не могу поверить!

Он был слишком потрясен, чтобы остаться сидеть за столом в городской библиотеке Контракера, а потому поднялся на ноги и продолжал читать стоя, наклонясь над развернутыми газетами, в голове у него стучало, по лицу, точно слезы, стекали струйки пота. И он думал в тошнотном отчаянии: «Не могу поверить; я знаю, что это правда».

Эти ужасные сокрушающие заголовки. В запретных газетах, в номерах за прошлую зиму. На первой странице фотографии судьи Родрика Мейтсона и полдесятка других людей. Арестованы по обвинению во взяточничестве, коррупции, сговоре для препятствования полицейскому расследованию. Это были газеты Олбени, запретные для нас, детей Родрика Мейтсона. Ради них Стивен наконец пришел в контракерскую библиотеку, сознательно нарушая приказание отца.

Он утер с глаз слезы ярости, мучительного стыда. Только бы никто не заметил! Удивляясь собственной наивности, собственной глупости, из-за которых так долго медлил с поисками доказательств, хотя почти знал все эти месяцы, какими они окажутся.

«Надо было бы взять нож? Оружие для защиты?»

Каким-то образом Стивен этого не сделал. Вспомнив про нож, когда было уже поздно, когда он уже вышел из

дома и энергично крутил педали своего велосипеда, уносясь прочь.

В эти томные летние ночи он начал тихо ускользать из руин Крест-Хилла. Не в силах уснуть или просто лежать на смятой простыне, слушая пронзительный ритмичный унисон ночных насекомых. Во влажной жаре середины и конца августа ветра почти не было, и все же Стивен слышал слабый, хнычущий, укоряющий голос, зовущий его: «Сти-вен! Стивен!»

Но когда он затаивал дыхание и вслушивался, голос исчезал, будто его и не было.

Наконец-то ускользнув из руин Крест-Хилла. Тайком!

Вызывающе катить на своем поджаром послушном велосипеде, который теперь устремлялся вперед по залитому лунным светом шоссе с жадной энергией дворняжки.

В первую ночь Стивен проехал мили две, прежде чем угрызения совести и тревога, что отец может обнаружить его отсутствие, заставили его повернуть назад. К тому же ему было страшно ехать дальше в темноте — туча, точно разрыв снаряда, затмила луну. Ну а нечто, которое видел его брат, или утверждал, будто видел,— Нечто-Без-Лица? Стивен не верил в существование подобного, однако вполне верил, что взбесившийся черный медведь начал охотиться на людей, раздразненный вкусом человеческой крови.

Во вторую ночь Стивен оставил позади, возможно, четыре мили, прежде чем повернул назад. От упоения у него перехватывало дыхание. «Оружие, нож... мне надо иметь, чем защищаться». Странно, как всякий раз, когда Стивен рисковал отправиться в ночное путешествие, он забывал захватить нож, даже перочинный нож; только когда уже катил по шоссе в глухом ночном одиночестве, летя между мрачными, затемненными душистыми полями, и лугами, и лесистыми склонами, которые трепетали от неведомой, невидимой жизни, только тогда он вспоминал... «Мне может грозить опасность; я должен иметь чем себя защитить».

Как он жаждал больше никогда не возвращаться в руины Крест-Хилла. Его сердце стучало в экстазе бегства. Тем не менее он, разумеется, всегда возвращался; он был ответственным юношей и ни в коем случае не покинул бы свою сестру, Розалинду, и близнецов Нийла и Эллен; не хотелось ему покидать и отца с матерью вопреки всему. Ведь он томился желанием верить во все, в чем клялся отец... «Потерпите ради меня, дети. Я спасу. Я спасу нас всех». Это же было правдой, верно? Не могло не быть правдой!

Вот так ночь за ночью Стивен возвращался домой задолго до зари; с головой, разламывающейся от утомления, и все-таки пронизанный радостью; мышцы плеч, рук и ног приятно пощипывало. Теперь было далеко не просто ездить на его велосипеде, дорогостоящем подарке папы и мамы ко дню его рождения, а на этой потрепанной, покрытой рубцами дворняжке, которая так уютно устроилась у него между ногами. Велосипед казался ему почти живым. Охотно летящим по ухабистому шоссе в слоистую стену теней, которые раздвигались, давая ему дорогу, будто гостеприимно его встречая. «Сти-вен! О, Стивен!»

И назад, спрятать велосипед под непромокаемым брезентом в густых кустах у шоссе. Поздравляя себя со своей находчивостью. Поздравляя себя, хотя он был мокрым от пота и содрогался всеми нервами, со своим бесстрашием. Он хранил велосипед у шоссе, чтобы легче было выскользнуть из дома и, нагнувшись, пробежать по заросшему травами парку, протиснуться через дыру в чугунной ограде и остаться незамеченным. А его могли бы заметить, если бы он ехал на велосипеде или вел его по Аллее Акаций.

Осторожность стала второй натурой Стивена.

Он спрашивал себе: «Было так же и с Грэмом?»

Он спрашивал себя: «Следую ли я путем своего брата? Воссоединюсь ли я с ним?»

Стивена ни разу не поймали на том, что он покидал Крест-Хилл по ночам. Как же странно было, как неожи-

данно и дерзко, что он набрался смелости ускользнуть оттуда днем.

Но к исходу лета бедная мама уже не вдела ни над кем из своих детей. Розалинда опекала близнецов, которые льнули к ней, как трех-четырехлетние дети и никак не без малого одиннадцатилетние. «Бедный Нийл! Бедненькая Эллен!» И Розалинда обнимала их, и целовала их, и пыталась ласково высвободиться из их отчаянных липких объятий. «Вы должны придумывать игры, чтобы самим себя занимать. Ну, пожалуйста!» Стивен, хотя любил братишку и сестренку, был с ними даже менее терпелив, чем Розалинда. Если они бродили за ним, пока он косил всегда сочно-зеленый, всегда буйно зарастающий газон, он некоторое время терпел их присутствие, а потом отсылал в дом, громко хлопнув в ладоши. «Вас Розалинда зовет! Ну-ка, марш отсюда!» Его глаза исподтишка косили на дом, на пустые сверкающие окна, из которых много недель назад могла выглянуть мама, проверяя, что он делает; или он поглядывал выше на таинственный третий этаж, откуда отец мог и сейчас вести наблюдения.

Однако папа все больше отдалялся, запирался от нас. Он редко спускался вниз до начала вечера, а порой не появлялся даже и тогда. После вспышки ярости из-за предательского поведения Грэма он больше никому не выговаривал. Ни единого гневного или брезгливого слова по адресу Стивена, хотя иногда за обеденным столом он саркастически упоминал «неряшливый, растрепанный» вид Стивена или подчеркнуто осведомлялся: «Сын, когда ты в последний раз мылся? Ты помнишь?»

И вот Стивен начал ускользать из Крест-Хилла даже днем. Занимаясь починкой на крыше амбара, например, он спрыгивал на землю, пригнувшись бежал к шоссе, ухмыляясь до ушей, словно проказливый своевольный ребенок. И под брезентом его поджидал любимый велосипед; Стивену неизменно казалось чудом, что велосипед тут, в тайнике; он вспрыгивал на него и катил в сторону Кон-

тракера. Это казалось самым естественным, самым неизбежным поступком в мире, словно могучая сила влекла его в этот самый обыкновенный городок на берегах Блэк-ривер, бывшее средоточие текстильных фабрик, более экономически не процветающий, однако и не пришедший в полный упадок, как другие такие же городки в области гор Шатокуа, так как там успешно велись лесоразработки. Если прежде он презирал Контракер, как допотопный городишко, недостойный второго взгляда, теперь он радостно ходил по улицам, мощеным и немощеным; он улыбался прохожим и бывал тронут, что они улыбаются ему в ответ. Он был красивым, загорелым, симпатичным юношей с выгоревшими на солнце кудрявыми каштановыми волосами, которые падали ниже воротника, и искренним, прямодушным взглядом теплых карих глаз, но настолько лишенным тщеславия, что прекрасно понимал, каким его видят другие. Ведь когда он приезжал в Контракер с нашей матерью, сопровождая ее в напряженной экскурсии по магазинам, люди открыто глазели на Стивена; теперь, когда он был один, их взгляды, чувствовалось ему, обращались на него с острым любопытством, однако, насколько он мог судить, без всякой враждебности. Как-то днем, увидев мальчиков, судя по виду старшеклассников, играющих в софтбол, Стивен невольно остановился поглядеть; не прошло и часа, как его пригласили присоединиться к игре; и вскоре он уже свел знакомство с десятком контракерских ребят и девушек. Неуверенно он представился «Стивом», и только когда его спросили, где он живет, он сказал:

— В старом доме примерно в пяти милях отсюда... В Крест-Хилле.

Какой странный привкус оставило это название у него во рту, будто что-то запачканное.

Новые друзья Стивена переглянулись и посмотрели на него. Рыжий парень сказал с ухмылкой:

— Крест-Хилл? Черт, там никто не живет.

Другой парень ткнул первого под ребро и сказал быстрым шепотом:

— А теперь, значит, живут, понял?

Стивен улыбался и не позволил своей улыбке угаснуть. Он спросил:

— Кто жил в Крест-Хилле прежде?

Второй сказал:

— Прежде чего?

— Ну... пять лет назад? Десять лет назад?

Нахмурившись, ребята покачали головами. Крест-Хилл «всегда» стоял пустой, сказали они. Насколько кто-нибудь помнит.

В другие дни в Контракере Стивен искал работу. Почасовую — перевозка мебели, разгрузка товарных вагонов на станции железной дороги Баффало-Шатокуа, распиловка и укладка досок в штабеля в «Пиломатериалах» Маккерни. За лето он вытянулся почти до шести футов, его бицепсы и плечевые мышцы развились, налились силой; он был неизменно доброжелателен, никогда не жаловался, и любое место — кроме Крест-Хилла, где физический труд был равнозначен одиночеству — казалось ему приветливым и дружелюбным. Он очень нравился своим контракерским нанимателям. Он, казалось, знал (ведь Стивен был чуток, как любой Мейтсон), что весь Контракер говорит о нем; строит догадки; оценивает его. «Знает обо мне больше, чем сам я знаю о себе?» Как-то в конце августа Фред Маккерни пригласил Стивена остаться поужинать у него, и вскоре Стивен обрел дружбу всей семьи Маккерни, включая Руфуса, их золотистого ретривера, который, пока Стивен сидел за обеденным столом Маккерни, не снимал головы с его колена. Еще имелась миссис Маккерни, которая отнеслась к Стивену по-матерински, будто знала его с пеленок; а еще восемнадцатилетний Рик, и шестнадцатилетняя Марлин, и несколько ребятишек помоложе; у Стивена голова пошла кругом от счастья: он совсем забыл, как мож-

но беззаботно сидеть за столом, и есть вкуснейшую еду, и разговаривать, и смеяться, словно все это — самая естественная вещь в мире. «Это реальная жизнь»,— думал Стивен.

И насколько другим был полусельский район, в котором Маккерны жили в большом белом, обшитом досками доме, среди похожих деревянных домов, хозяева которых разбивали огороды, выращивали фрукты, держали всякую живность. Повсюду вольно бегали собаки, дружелюбные, как Руфус. У шоссе в пыли что-то поклевывали петухи и куры. И ни одного супермаркета на мили вокруг — многие мили. Стивен пытался вспомнить свой прежний дом в столице штата, где никто не был знаком со своими соседями и где все ездили на машинах, мчась из одного места в другое и обратно, заторы на скоростных шоссе. Какой сумасшедшей представлялась теперь эта жизнь. Какой неестественной, словно увиденной в испорченный бинокль.

«Я не хочу возвращаться,— думал Стивен.— Я не вернусь».

Он мог поступить в контракерскую городскую школу, где училась Марлин. И Розалинда тоже может туда поступить. Их родители ни слова не сказали про школу; может быть, отец рассчитывал вернуться к своей прежней жизни до начала учебного года; какой самообман, какая слепота, какой эгоизм! Ведь, конечно, этого не произойдет, этого не произойдет, понял Стивен, еще очень, очень долго.

Часто наедине с собой, мечтательно думая о Марлин Маккерни, такой непохожей на девочек, с которыми он был знаком в столице штата, его одноклассниц в частной школе; Марлин, невысокая, веснушчатая, хорошенькая, но никак не красавица с журнальной обложки — никак не «та еще». Ее манера тискать Руфуса, ее манера подразнивать Стивена, как она подразнивала своего брата Рика, прохаживаясь на их счет и вгоняя обоих в краску. Он влюбился

в Марлин, спрашивал себя Стивен. Или во всех Маккерни. Или просто в Контракер.

Стивен сердито утер глаза. Слезы смущали его.

Но ему так, так ее не хватало — жизни.

Еще Стивен тайно наведывался в маленькую городскую библиотеку Контракера и рылся в книгах на полках в отделе местной истории. Он тоже был потрясен, с отвращением читая про своего прадеда Мозеса Адамса Мейтсона. «Самого богатого фабриканта в долине Контракер», «выдающегося филантропа, стойкого защитника дикой природы, который предоставил тысячи акров в горах Шатокуа для общественного пользования». Но был «трагический пожар» февраля 1911 года в Южном Уинтертерне, унесший жизни более тридцати жертв и искалечивший еще большее число их. Были бастующие рабочие, которых не допустили на фабрики, когда они хотели вернуться, и многочисленные примеры того, как профсоюзных активистов «разгоняли» охранники агентства Пинкертона. С особенным омерзением он читал о постройке «чрезвычайно честолюбивого и дорогостоящего архитектурного ансамбля в долине Контракер — Крест-Хилла». Массивное претенциозное здание из известняка в стиле английских загородных домов прошедших времен строилось восемь лет и обошлось в миллионы долларов. Еще до завершения постройки скончалась жена Мозеса Мейтсона Сара (о которой в этих статьях не было практически никаких сведений). Мозес Мейтсон, говорилось в них, «порвал отношения» со своим единственным наследником, сыном, как и с большинством своих родственников; он жил в Крест-Хилле в «охраняемом уединении» восемнадцать лет, отшельником, умершим в 1933 году «при подозрительных обстоятельствах: расследование абсолютно исключило «самонанесение повреждений, повлекших смерть». Самоубийство! Стивен быстро перевернул хрупкую страницу рассыпающейся «Истории долины Контракер» — и обнаружил, что не-

сколько следующих страниц были беспощадно выдраны. И к лучшему: у него пропало всякое желание читать дальше.

В другой раз Стивен занялся розысками среди старых газет других городов, главным образом столицы штата, и вновь к своему ужасу обнаружил сведения о своем отце, прежде ему неизвестные. Начиная с конца зимы пошли статьи на первых страницах с сухими разоблачающими заголовками: «ВИДНОМУ СУДЬЕ ШТАТА ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В ДЕЛЕ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ И КОРРУПЦИИ; МЕЙТСОН ОТВЕРГАЕТ ОБВИНЕНИЕ; МЕЙТСОН ДОЛЖЕН ДАТЬ ПОКАЗАНИЯ БОЛЬШОМУ ЖЮРИ; МЕЙТСОН — ПРОКУРОР ДОГОВАРИВАЕТСЯ ОБ ИММУНИТЕТЕ; МЕЙТСОН ПОЛУЧАЕТ ИММУНИТЕТ, ДАЕТ ПОКАЗАНИЕ ПРОТИВ СВОИХ БЫВШИХ СООБЩНИКОВ; УЧАСТНИКИ КОРРУПЦИОННОГО СКАНДАЛА ПРИЗНАЮТ СЕБЯ ВИНОВНЫМИ». Стивен был сокрушен, узнав, что все было совсем не так, как объясняли нам,— что папа стал невинной жертвой зложелательности и махинаций других людей; на самом же деле папа вначале отрицал, что виновен в неоднократном получении взяток (в частности, речь шла об иске в пять миллиардов долларов за загрязнение окружающей среды, предъявленном одной из крупнейших химических компаний штата), затем внезапно признал обвинение и согласился дать показания против своих прежних сообщников в обмен на освобождение от судебного преследования. Папа не только не страдал безвинно из-за злопамятства своих врагов, как он утверждал, но, наоборот, с ним обошлись очень великодушно. Полная сарказма редакционная статья одной из газет Олбени сформулировала это кратко и выразительно: «МЕЙТСОН ВОЗНАГРАЖДЕН ЗА ВЫДАЧУ СВОИХ ДРУЗЕЙ».

В одном из майских номеров газеты Стивен прочел, что названный его отцом чиновник, занимавший высокий пост в правительстве штата и частый гость в доме Мейтсонов,

застрелился в то утро, когда должен был начать отбывать восьмилетний тюремный срок в Синг-Синге.

Сведения, запретные для нас, известные всему остальному миру.

«Только я был слишком трусливым — слишком почтительным сыном,— чтобы самому узнать».

Стивен одну за другой быстро рассматривал газетные фотографии Родрика Мейтсона. Ранние были наиболее знакомыми: по-юношески красивый мужчина, кажущийся много моложе своих лет, прядь волос небрежно падает на лоб, прямой искренний взгляд, обращенный в глаза смотрящему. После папиного ареста этот облик резко изменился. Теперь это был хмурый, злобный, ожесточенный человек, снятый в момент, когда он кричал на телерепортера, когда спускался по ступеням суда в сопровождении полицейских, горбясь от стыда и позора, пытаясь заслонить лицо поднятыми руками с наручниками на запястьях. Родрик Мейтсон в наручниках! Папа — преступник! В первый раз реальность случившегося обрушилась на Стивена; колоссальность преступлений его отца, позор, покрывший имя Мейтсонов.

Стивен пригнулся к библиотечному столу, пряча горячее потное лицо в ладонях. «Не могу поверить в это. Я знаю, что это правда».

12. ЛИЦО

В этот вечер, поздно возвращаясь в Крест-Хилл, будто во сне, когда хочешь и не можешь сдвинуться с места, делаешь отчаянные усилия и остаешься парализованным; возвращаясь гораздо позже — после десяти,— чем когда-либо прежде, потому что остался поужинать у Маккерни, и медлил, медлил, пока миссис Маккерни не стала уговаривать его переночевать у них, и ему пришлось пробормотать, что он не может — ему надо вернуться домой. И мистер Мак-

керни проводил Стивена до двери и настоял, чтобы Стивен взял с собой на всякий случай оружие для защиты — охотничий нож мистера Маккерни, охотничий нож с десятидюймовым лезвием, острым, как бритва. Стивен возражал — ему не нужно такое оружие, он не хочет такого оружия, но мистер Маккерни напомнил ему, как они говорили о зверских убийствах в долине, о том, что совершивший их до сих пор неизвестен, то ли сумасшедший, то ли взбесившийся медведь, и, как бы то ни было, Стивену нужно иметь оружие для защиты, и Стивен дал себя уговорить, неловко засунул нож в кожаном футляре за пояс и покатил в ночь, туманно-лунную ночь сырости, жужжащих насекомых, комаров, а мистер Маккерни крикнул ему вслед:

— Доброй ночи, Стивен! Бог тебе в помощь!

Такое старинное напутствие, что Стивен улыбнулся или попытался улыбнуться, но он очень нервничал.

И вот так, крутя педали своего велосипеда по улицам Контракера и по темному шоссе, которое вело к Крест-Хиллу, и сердце у него забилось чаще, когда огни Контракера сменились чернильной безликой ночью лесов, которую луна лишь чуть подсвечивала смутно и сонно сквозь прозрачную пелену облаков; и как жужжание ночных насекомых у него в ушах: «Мейтсон отрицает обвинения! Мейтсон соглашается дать показания! Мейтсон получает иммунитет! Мейтсон вознагражден за выдачу своих друзей!» Глаза Стивена затуманивались, их щипали слезы; он пытался не обращать внимания на темные нечеткие силуэты у обочин, которые могли быть живыми существами в засаде; но только, конечно, это были кусты, молоденькие деревья; он пытался не замечать своего нарастающего страха; утром он тщательно смазал велосипед, но это утро теперь отодвинулось далеко-далеко в прошлое, это утро было дни, если не недели в прошлом. И как он посмел не возвращаться так долго, что будет с ним теперь? Голос донесся,

слабый, укоряющий, где-то близко: «Сын-предатель! Больше мне не сын! Я никогда тебя не прощу!»

Стивен осознал, что уже некоторое время видит впереди у дороги вроде бы человеческую фигуру... или нет? Человек? Высокий, застывший в напряжении мужчина? Или вздыбившийся зверь? На этом пустынном отрезке дороги, где вблизи не было ни единого дома, а до Крест-Хилла оставалось более мили, Стивен судорожно сглотнул, крепче сжал ручки руля, ощутил кинжальный удар страха и принял мгновенное решение — не повернуть назад, но прибавить скорости и проскочить мимо таинственной неподвижной фигуры у левой обочины; он проскочит мимо нее справа, пригнув голову, ссутулив плечи в классической позе велосипедиста-гонщика; просто не обратит внимания на неизвестного — и все. Даже увидев уголком глаза, что этот мужчина — или что бы это там ни было — словно бы сосредотачивается на нем, словно бы подстерегает его тут; тем не менее на лице не было видно глаз, Стивен не сумел различить ни единой черты. Нечто-Без-Лица! То, что видел, по его словам, Грэм, а Стивен сказал, что ему приснилось. Охваченный ужасом, однако придавшем ему силы, погнавшем адреналин по его жилам, Стивен не сбавил скорости и объехал фигуру, которая двинулась ему наперерез. Но он проскочил мимо! Он спасся!

И что-то обрушилось, тяжелый удар по его плечу, обжигающий болью, и он оказался под вращающимися колесами велосипеда, ручка руля упиралась ему в щеку; навзничь на земле, беспомощно отбиваясь, а Нечто-Без-Лица скорчилось над ним, терзало его, било, наносило злобные когтистые удары по груди, по затылку, по его незащищенному лицу. От ужаса не в силах позвать на помощь, Стивен откатился, пытаясь прикрыть руками голову и лицо; бешеное существо навалилось на него; Стивен к еще большему своему ужасу увидел, что лицо у него есть, но лишенное черт, багровеющая в мягких складках кожа, точно рубцовая ткань, крохотные дырочки на месте глаз, ноздри, при-

митивный рот, какой можно вообразить у моллюска, менее дюйма в поперечнике. Рот не для того, чтобы есть, а для того, чтобы высасывать. Стивен, борясь за свою жизнь, сумел вытащить охотничий нож из футляра — во всяком случае, нож оказался у него в руке, крепко сжатый; его надежный вес в его руке, а он, Стивен Мейтсон, городской мальчик, прежде ни разу не держал такого ножа; а уж тем более в отчаянии не вонзал его в противника, неглубоко располосовав тому ключицу; и все же удар был настолько неожиданным, что существо не сумело защититься — оно явно привыкло расправляться с беззащитными жертвами меньше себя. Захваченное врасплох Нечто-Без-Лица на мгновение замерло, и Стивен вогнял лезвие в горло существа, все глубже, со все большей силой; колол, кромсал это горло и, видимо, рассек артерию, потому что на руку, на лицо и на волосы Стивена стремительным потоком хлынула жаркая темная кровь. Существо, куда более крупное, чем Стивен, упало на колени у шоссе, словно было ошеломлено, ничего не понимало; возможно, оно испытывало не боль, а только глубокое недоумение, точно верило в свою физическую неуязвимость, своего рода бессмертие, а теперь эта иллюзия рассеивалась, уносилась темными струями крови, остановить которую было невозможно. Издавая захлебывающееся бульканье, существо кое-как поднялось на ноги, прижало руки к хлещущей ране, оглушенно повернулось, совсем забыв про Стивена, и наконец, пьяно шатаясь, побрело к придорожным кустам и скрылось в них. Стивен тоже был оглушен, весь в крови и, пытаясь совладать с дыханием, смотрел вслед своему врагу с изумленным ликованием. Он спас себя! Он отшвырнул от себя Нечто-Без-Лица, и нанес ему смертельную рану, и спас себя!

В разваливающемся Крест-Хилле украдкой вверх по лестнице на второй этаж, где спали мама и отец; в Крест-Хилле сердце яростно стучало в его груди, не предостерегая, не требуя осторожности, но подгоняя его вперед! и вперед! и вперед! ибо это надо было сделать, это надо было

осуществить, и он не смел повернуть назад — он должен был дойти до самого конца. И вот открывает дверь парадной спальни, и вот, затаив дыхание, входит в эту комнату, в комнату, куда ему было запрещено входить, липкая еще теплая кровь Нечто-Без-Лица на его собственном лице и в его волосах, и впиталась в его одежду, и смешалась с его собственной, так что Стивен знает, какой свирепый, какой наводящий жуть у него вид. И все же он осмелился включить свет, тусклую отливающую желтизной пыльную лампу на тумбочке. Он стоял перед огромной с балдахином кроватью своих родителей; однако в ней лежала только мама, на спине, неестественно неподвижная, и глаза ее были открыты; в атласной ночной рубашке, настолько выцветшей, что она стала серой; но другая сторона кровати, сторона отца, пустовала, хотя не очень чистые простыни были смяты. На подушке остался глубокий след его головы, вогнутая вмятина. Стивен смотрел и не был уверен, что он, собственно, видит.

Он прошептал:

— Мама?

Его рука протянулась, нащупывая; он осмелился прикоснуться к ней... к этому; легонько толкнуть гладкое обнаженное плечо, которое вместе с верхней половиной торса отодвинулось от затененной нижней половины, а также от шеи и головы; голова, лысая безликая голова манекена, скатилась с подушки, красивая левая нога отвалилась от туловища, словно ее суставы стали хрупкими от времени, и лежала под гротескным углом, перпендикулярно к бедру. Снова Стивен прошептал «мама...», хотя ясно видел, что перед ним неживой предмет: элегантный манекен из витрины, искусно сделанный, с довольно плоской фигурой, с фарфорово-гладким лицом, красивыми широко открытыми глазами, обрамленными до нелепости густыми ресницами. Парик манекена — мамины золотисто-пепельные, теперь седеющие, растрепанные волосы — был положен на тумбочку с очевидной заботливостью.

Красивое лицо отца, рельефная маска из какого-то изысканно-тонкого каучукового материала, искуснейшего подобия человеческой кожи, с такой же заботливостью было положено на другую тумбочку; маска выглядела настолько живой, что Стивен при виде нее вздрогнул. Ее, казалось, вымыли, смазали каким-то бесцветным кремом, чуть ароматным, и наложили на гипсовое изображение мужского лица; эти глаза тоже были широко открыты, но выглядели более живыми, более человеческими, чем у манекена. Завороженный ужасом, с любопытством маленького ребенка Стивен протянул руку, чтобы прикоснуться к лицу указательным пальцем. Каким живым казалось оно на ощупь! Каким теплым!

И торопится потом разбудить Розалинду и близнецов, которые теперь спят у нее в комнате; впрочем, Розалинду, стонавшую в кошмаре, почти не понадобилось будить, оказалось достаточно вполголоса назвать ее по имени — Розалинда,— и быстро-быстро уводит их из разваливающегося Крест-Хилла, и пешком по шоссе. Контракер всего в пяти милях впереди. У Стивена не было времени объяснять своим испуганным сестрам и брату, да в эти минуты даже слов не нашлось бы. Розалинда спрашивала Стивена шепотом, что случилось, поранился ли он, кто-нибудь его ранил, куда они идут, а как же папа, а как же мама, но близнецы, одурманенные сном, глотая рыдания, крепко держались за руки Стивена, ничего не спрашивали. И никогда уже не спросили.

П. Д. Кейсек

МОГИЛА

Словно бы кто-то вдруг ее в плотную ткань замотал. Все, что ранее было обычным, знакомым, вдруг будто переместилось, перемешалось перед глазами.

Не испугайся она так — наверно, засмеялась бы. Странное такое чувство — и не то чтоб неприятное. Странное — и все.

И ведь все вроде слышишь — птицы над головой чирикают, скачут по толстым веткам, осенью раскрашенным. Не просто слышишь — каждый шорох, каждый свист, каждый чирк распознаешь. Чувствуешь — от речушки гнилью и влагой тянет, красиво бежит вода под обрывом, футах в двадцати, наверно, подальше. Ощущаешь — ветер шепчет, гладит, напоминает — милая, ты ж вообще-то домой идешь, ужинать пора! Знакомо, все знакомо. Все, что вокруг нее уже пять лет — всякий раз, как идет по лесной тропинке, на работу, с работы,— а как же, старший библиотекарь Брайнерской средней школы.

Одно и то же чувствуешь. Ощущаешь. Слышишь.

А видишь сейчас — что? Крошечную могилку.

© Перевод. Н. Эристави, 2005.

И невидимая ткань обвивает все туже.

Пять проклятых лет — все по той же тропинке, через лес, одни и те же запахи, те же шорохи-писки. Так же меняются времена года. Ни черта не замечаешь. Ни черта не видишь.

Могилу не видишь.

Детская могила. Это она осознала как-то сразу, без всяких причин. Одинокая, позабытая-позаброшенная. Могила, вжавшаяся в сумеречную тень, съежившаяся на самом краю узенькой дорожки. Крошечный грязный холмик у потрепанного розового надгробия,

РОЗОВОЕ — ЦВЕТ ДЕВОЧЕК

почти разрушенного за много-много лет

ЗА СКОЛЬКО, ИНТЕРЕСНО

снегов, дождей и изморозей, за много лет, когда она и черт-те сколько еще людей преспокойно проходили мимо.

ЧТО Ж ЭТО ЗА МАТЬ, ПОХОРОНИВШАЯ СВОЕ ДИТЯ В ГЛУХОМ ЛЕСУ? ЧТО Ж ЭТО ЗА МАТЬ, СПОСОБНАЯ НА ТАКОЕ?

Плохая мать, думает Элизабет Хесс, глядя на могилу. ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ мать.

— Я бы так не поступила.— Она почти кричит.— Я была бы хорошей матерью!

Говорит — и понимает, что врет. Саму себя обманывает. Хорошая мать бы сразу могилу разглядела.

А она — нет.

Только сегодня.

Это она-то! Многому ребятишек в библиотеке учила, но главное: «Смотрите. Смотрите, чтобы рассмотреть мир. Не стоит брести по жизни вслепую. Замечайте каждую мелочь».

Красивые слова — и лживые слова. Пять лет говорила, пять лет — изо дня в день... а сама, выходит, ничего не замечала! Не смотрела! Брела вслепую туда-сюда. Под самым носом — могила. Пять несчастных лет жизни. Не видела.

ТОЛЬКО СЕГОДНЯ.

Тоненькое всхлипывание пытается вырваться из горла Элизабет, но она не разрешает, не дает выхода, зубами впивается в пальцы, а у пальцев — застарелый запах сандвичей с тунцом к ленчу, запах рыбьего жира, забивающий дешевую цветочную отдушку мыла в школьном женском туалете.

ГАРДЕНИЯ. ЭТО ФИРМА, В КОТОРОЙ ОТЕЦ РАБОТАЛ, ВЕНОК ИЗ ГАРДЕНИЙ НА ПОХОРОНЫ ПРИСЛАЛА. ЦВЕТОЧКИ — МАЛЕНЬКИЕ, БЕЛЕНЬКИЕ, А ЗАПАХ — ВСЮ ГОСТИНУЮ ЗАБИВАЛ. МАТЬ ВЗБЕСИЛАСЬ, СКАЗАЛА — СЛИШКОМ СИЛЬНО.

А на могиле — ни одного цветка. Только листья осенние, как покрывало истрепанное.

Элизабет смотрит — и передергивается. ХОРОШАЯ МАТЬ БЫ ПОСТАРАЛАСЬ СОГРЕТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА. ЖАЛЬ, НЕ ЕЕ ЭТО РЕБЕНОК — ОНА БЫ ТОЧНО ПОСТАРАЛАСЬ. ОНА БЫЛА БЫ ХОРОШЕЙ МАТЕРЬЮ. Она бы не в лесу могилу копала.

Вот уж нет.

Элизабет зажмуривается. До боли. Рука, судорожно теребившая верхнюю пуговицу плаща, падает. Это НЕ НАСТОЯЩАЯ могила. То, что она видела. То, что увидит снова, стоит глаза открыть. Просто камень, ПОХОЖИЙ на надгробие. А раньше не замечала, потому что замечать было нечего.

НЕ МОГИЛА ЭТО. НЕ МОГИЛА. НЕ...

Повторяла снова, снова и снова. Открыла осторожно глаза. Слов не осталось. Надежды — тоже.

Ладно. Пусть могила. Но может, могила животного?!

Да. Точно. Так и есть. Любимой собаки или кошки. Может, от старости умерла; может, под машину попала. Вот ее и похоронили. А может, не животное, а чья-то сломанная кукла?

Элизабет переводит дыхание. Ну конечно, детская игра. Или закопанное животное. Ни одна нормальная мать

не похоронит ребенка так далеко... от ВСЕХ И ВСЯ. Одинокого. Покинутого.

Забытого.

ХОРОШИЕ МАТЕРИ ТАК НЕ ПОСТУПАЮТ. ХОРОШАЯ МАТЬ ВСЕ СДЕЛАЕТ, ЛИШЬ БЫ ЕЕ РЕБЕНОК БЫЛ ЗДОРОВ, И ВЕСЕЛ, И...

Стоп. Но если эта могила — детская игра, получается, какая-то мать — ПЛОХАЯ мать — разрешила своему ребенку преспокойно гулять по лесам?!

БЕЗЗАЩИТНОМУ!

И Элизабет, обернувшись, окидывает взглядом тропинку.

Дети ЗНАЮТ — играть в лесу не положено. Родители тревожатся, боятся уже много лет, помнится, даже когда она еще маленькой была, мать ей непрестанно твердила — в лесу опасно. Всегда так было.

Совсем недавно еще, в том ноябре, на второй день осенних каникул, Полли Уинтер из четвертого класса лодыжку сломала — играла в лесу в прятки с кузинами. Только сегодня утром Элизабет видела ее из окна библиотеки — почти год прошел, и до сих пор хромает, бедная девочка. Бедная, непослушная девочка.

Что-то промелькнуло в высокой траве, у корней клена с алой листвой, совсем рядом с

МОГИЛОЙ

оврагом, и Элизабет прикусила губу. В ЛЕСУ НЕБЕЗОПАСНО. В ЛЕСУ ТОСКЛИВО. В ЛЕСУ ОДИНОКО... СТРАШНО ОДИНОКО.

И похороненный в могиле — кукла или щенок (ИЛИ РЕБЕНОК),— он ведь тоже один-одинешенек.

Элизабет миновала удобную тропинку, пошла по каменистой лощине — дрожь не отпускала. Как ни старайся ступать осторожно, опасливо, по материнским советам, а все равно нет-нет — и нога почти подвернется, почти соскользнет, и прямо воочию увидишь себя — валяющей-

ся в грязи, изуродованной, с юбкой, задравшейся выше головы.

ПРЕКРАТИ!

Еще шажок, и еще — и Элизабет останавливается: очередной порыв ветра взметнул вокруг нее опавшие листья. ТАК ВОТ ЧТО ЗА ШОРОХ ОНА СЛЫШАЛА. Кроме нее, в лесу — ни души. Ни взрослых, ни детей. Некому было смотреть, как опустилась она на колени перед маленьким надгробием.

Розовый гранит в черно-серебристых крапинках. Ладонь приложить — холодный, края камня — гладкие, как шелковые, а выбитая надпись — такая стертая, что почти и не разглядеть. Совсем как первоклашка, великоватым карандашом выводящий старательно пропись, Элизабет кончиком пальца водит по буквам, выбитым в камне. Одна буква, другая...

Не детская забава. Не шутка. И не собачка лежит под этим гранитом.

М. О. Е. С. О. К. Р. О. В. И. Щ. Е.

«Мое сокровище».

Элизабет опускает руку. Садится на корточки, чувствуя, как рвется затяжка на левом колене, как петли идут дальше — вверх, до середины бедра.

Могила — настоящая... и раньше Элизабет ее не видела. Ладно. Но вот что целые поколения школьников, на которых она шикала, которых утихомиривала, тоже не замечали!

А уж они-то, Бог свидетель, замечали все ОСТАЛЬНОЕ. Все, о чем стоит пошушукаться во время часа самоподготовки. Лопнувшую водопроводную трубу в игрушечном магазине (надо же, все заметила), автокатастрофу (не очень-то), смешное облачко (все миленькое, розовенькое — красиво). Новый светофор, старые скамейки. Как падает с неба снег. Все, кроме могилы. Кроме того, что стоило.

Могила — настоящая могила — это слишком здорово. Слишком страшно. Об этом стоит поговорить.

И снова шорох. Не ветер. Прямо у нее за спиной. Громче. Ближе. Шорох. Стук. Шорох. Стук.

Шаги.

Элизабет оборачивается на шум. Заслоняет собой маленькое надгробие. Защищает. Так бы сделала любая хорошая мать... не мать ЭТОГО ребенка.

Кто здесь? — вопрошает она. БИБЛИОТЕКАРСКИМ голосом.— Кто это?

ШОРОХ, СТУК... а это что? ХИХИКАНЬЕ? Элизабет выпрямляется, переводит дыхание, перечисляет мысленно всех школьных хулиганов.

— Кенни Уисман, ты?

Блестящий мальчик, но — энергии много, дисциплины — никакой. Постоянно нарывается на неприятности, лезет на рожон — как будто существование свое так оправдать пытается. Маленькую могилу соорудить — игрушки невинные для парнишки, что едва ли не в открытую ее именует «мисс Хермс».

— Кеннет! Говори немедленно, это ты? Я ненавижу, когда за мной шпионят! — И Элизабет, не думая ни о чем — если над ней и смеются, плевать,— обвивает руками надгробие.— Сейчас же извольте выйти, молодой человек, или я вынуждена буду позвонить вашей мате...

Синица пискнула — и стрелой пролетела мимо нее из кустов, и она закричала в один голос с птицей. И снова птичий писк, только уже ярдах в ста, не меньше.

— Глупость какая.— Она обернулась к могиле, она улыбнулась.— Сама себя напугала, вот глупо, правда?

Элизабет стряхивает с камня осенний лист. А может, никто, даже она, не замечал могилу, потому что только СЕЙЧАС суждено было найти ее ЭЛИЗАБЕТ? Может, могила просто ждала все эти годы, пока Элизабет будет готова ее найти? Найти. Заметить. Почувствовать.

МОЕ СОКРОВИЩЕ.

— Ты опоздала.

Элизабет аккуратно вешает на вешалку в прихожей сумку. Глубоко вздыхает, перед тем как ответить.

— Да, мама. Прости, мама.

Сколько ж раз она это говорила, да — мама — прости — мама, сколько себя помнит, вот в точности это, ни вариаций, ни модификаций, но сегодня, кажется, привычные слова поперек глотки встают. Впервые.

И заметила, какой старой, измученной выглядит входящая в столовую мать,— тоже впервые.

— БОГ МОЙ, что с тобой случилось? Только посмотри на свою одежду!

Не надо смотреть, держись... но Элизабет невольно опускает глаза, дрожь пробирает — в точности, как тогда, на могиле, холод словно сквозь поры пролезает, до костей доходит, до легких — так, что не продохнуть. Правда, кошмар. Подол юбки весь грязью забрызган, к колготкам погубленным, у самого левого колена, лист сухой прилепился. Три пуговицы на плаще оторваны — а она и не помнит, как и когда.

— Что с тобой случилось? — В голосе матери не волнение, обвинение, она тарелки на стол обеденный почти швыряет, потом, словно подражая Элизабет, внезапно судорожно хватается за пуговицы халата.

— Тебя... изнасиловали? — Холодные слова, злые, жестокие, вонзясь, раны должны бы оставлять.— Я тебя предупреждала — не ходи через лес, Элизабет, но разве ты слушаешь — и вот результат. Какой позор! Да ни один мужчина теперь на тебя и не взгля...

Пальцы Элизабет нащупали оборванные нитки — все, что осталось от потерянной пуговицы.

— Да нет, мамочка, никто меня не насиловал. Просто... поскользнулась. Такая грязь была на тропинке.— Холод наконец убрался из легких, Элизабет сумела перевести дыхание, боль прочно угнездилась внизу живота.— Уже все в порядке.

— О.— Мать облегченно вздыхает, перестает мучить пуговицы, переводит внимание на блюдо.— Замечательно. Обед по милости твоей беспечности совершенно испорчен. Я стараюсь, чтобы все было вовремя, подать горячим, а ты ни о чем не беспокоишься, гуляешь сколько вздумается!

— Я не собиралась опаздывать, мама.

— Это не оправдание, Элизабет. Ладно, иди мыть руки, пока рагу еще больше не остыло.— Мать садится во главе стола и принимается раскладывать на тарелки исходящие паром груды мяса и овощей.— Если ты позволишь, дорогая, я не стану тебя ждать.

— Конечно,— Элизабет кивает и направляется в кухню.— Естественно, нет, мамочка. Я тебя и не прошу.

Мать бормочет в ответ суровое нечто, чего Элизабет предпочитает не расслышать.

Вода еле теплая, но ободранные ладони саднит. Она тщательно смывает грязь. Больно. Мать ей всю жизнь говорила: БОЛЬ — это единственное, чему можно по-настоящему доверять. Если долго не мучиться, ни черта не получится. Не стоило и стараться. То, что ты делаешь, должно быть тяжким.

ЕЕ МАТЬ НЕ БЫЛА ХОРОШЕЙ МАТЕРЬЮ.

Боль в животе медленно перекатывается, потягивается, как котенок на солнышке, все время, пока Элизабет закрывает воду и вытирает руки. Ее мать даже не знает, ЧТО это значит — БЫТЬ ХОРОШЕЙ МАТЕРЬЮ.

Элизабет вытягивает руки перед собой, напрягает пальцы, поворачивает ладони сначала вверх, потом — вниз. Пожимает плечами.

Бедные руки. Идеально чистые. Покрасневшие. Исцарапанные. Воспаленные нещадным мытьем. Два ногтя сломаны под немыслимым углом. Надо будет подрезать и подпилить, поскольку утром-то — библиотечный час для младшеклассников.

Старшие бы не заметили. Но маленькие... ДЕТИ... видят каждую мелочь. С детьми надо поосторожнее.

МОЕ СОКРОВИЩЕ.

Из столовой — позвякиванье серебра о китайский фарфор: мать без слов дает Элизабет понять, что уж ОЧЕНЬ долго выполняет она такое простое дело.

Элизабет села к столу — нервное побрякивание и не подумало прекращаться.

— Ты забыла принести булочки, Элизабет.

Элизабет прижимает трясущиеся руки к животу, к боли внутри. ЕЕ МАТЬ — ПЛОХАЯ МАТЬ, НАДО ЕЕ НАУЧИТЬ, НАУЧИТЬ... Я не знала, что нужно, мамочка.

Материна вилка ударила о край тарелки — резкий, короткий звон...

— Как это на тебя похоже. Я полагаю, взрослая женщина, женщина, теоретически зрелая, могла бы потрудиться посмотреть, есть на столе булочки или нет, и предпринять что-нибудь по этому поводу... и без МАМИНОГО НАПОМИНАНИЯ. Элизабет, ты вообще ничего не замечаешь!

ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ — НЕ ЗАМЕЧАЛА.

Элизабет отправляется назад, в кухню, с невольной усмешкой.

— И, пожалуйста, не забудь масло,— стенает мать из столовой.— Ты знаешь, я люблю булочки с маслом. И джем принеси. Клубничный. А не мармелад, как вчера. На обед — клубничный джем. Мармелад — к завтраку. Кажется, не так уж трудно запомнить, я просто не понимаю, как тебе удается постоянно путать.

Элизабет достает банку — сквозь стекло просвечивают ягоды, большие, ярко-красные (Я ПУТАЛА, ПОТОМУ ЧТО НЕНАВИЖУ КЛУБНИЧНЫЙ ДЖЕМ) — и опрокидывает ее в раковину.

— Ой!

— Что случилось?

— Мамочка, банка перевернулась, прости! — Банка мармелада приятно холодит ладонь. На поднос, вместе с булочками и маслом.— Я завтра новую куплю. И насчет

кухни — не беспокойся, я после обеда все уберу. Намазать тебе булочку маслом, мама?

Мать взирает на нее со своего конца стола.

— Как можно быть такой неуклюжей?

Элизабет вопрос игнорирует, намазывает на булочку толстый слой золотистого мармелада.

— Мама, слушай... ты когда-нибудь про могилу в лесу слышала?

— Про что?

— Про могилу... в лесу, ребенок там похоронен. Возле реки. Тебе что-нибудь об этом говорили?

— Разумеется, нет.— Мать демонстрирует презрение к булочкам и маслу, гордо питаясь рагу.— Никаких могил в лесу нет. Почему ты вообще об этом спрашиваешь?

— Да особенно ни почему.— Элизабет подносит булочку с мармеладом ко рту.— Ходят какие-то слухи.

— На то они и слухи. Удивительно, как ты обращаешь внимание.

Боль внутри Элизабет поднялась из живота, коснулась сердца.

— Сама удивляюсь, мамочка.

Мать на этот раз задержалась много позже своих обычных десяти вечера, не отправилась спать, кажется, просто из вредности. Шляется по дому в халате на ночную рубашку, в тапочках, НЕ ЖЕЛАЕТ убираться, несмотря на все намеки Элизабет.

ХОРОШАЯ МАТЬ ПОШЛА БЫ СПАТЬ, ЕСЛИ ЕЕ ПРОСЯТ. ХОРОШАЯ МАТЬ ЗНАЕТ, КОГДА РЕБЕНКА НАДО ОСТАВИТЬ В ПОКОЕ.

— Я буду знать,— шепчет Элизабет и осторожно достает свернутый грязный носовой платок, спрятанный на самом дне сумки.— Я буду хорошей матерью. Правда, Мое Сокровище?

Крошечный череп, нежный пушок каштановых волос, тонкая патина кожи. Поворачивается в поднятой руке Элизабет боком, точно подставляет щечку для поцелуя.

И Элизабет целует. Как любая хорошая мать.

Старая эта могила в лесу, ох и старая. Маленькая ее обитательница вот только что в прах не рассыпалась. Уж какой осторожной старалась быть Элизабет, и все равно, только прикоснулась к истлевшему детскому одеяльцу (РОЗОВОЕ, ДЛЯ ДЕВОЧКИ) — тело под ним треснуло.

Только череп спасти и удалось. Все. Ничего больше.

Но и этого хватит.

— Бедняжечка ты моя маленькая.— И Элизабет видит, как от шепота ее детские волосики шевелятся, прямо пшеница на ветру.— Так долго была одна.

Снова целует. Малышка должна чувствовать себя любимой. Губы касаются высохшей кожи — совсем не так уж противно, не противнее любого поцелуя, какой ей приходилось на ком-нибудь запечатлевать. Если не брать в расчет могильную сырость и разложение. Ее Сокровище пахнет пылью... как любимая старинная книга.

Нет, все ж таки — не ДЕТСКИЙ это запах. Не должны дети книгами пахнуть. Должны — чем? Конфетами. Или цветами. Или?..

Элизабет улыбается. Встает. Несет дитя к своему комодику. Нежно сжимает Свое Сокровище в одной ладони, другой — судорожно роется в кипе трусиков и лифчиков, разыскивает то, на что однажды решилась. Купила. Спрятала. Много лет назад!

Флакон духов — нетронутый, невинно совершенный, ярлычок с ценой — не оторван. До сегодняшнего дня. Не любим. До сегодняшнего дня.

Аромат гардении заполнил комнату, стоило Элизабет вынуть белую пробочку. Но это ж — не то что похороны отца, сейчас гардении пахнут радостью. Она тихонько мурлычет. Она наклоняет бутылочку над лобиком Своего Сокровища — и одна Прозрачная капля падает, висит на сухих волосах, как хрусталинка, а потом вдруг — вторая капля, большая, непрошеная, мимо детской головки, прямехонько на льняную, прикрывающую комодик салфетку.

След остался. Целая полоска.

Элизабет — дыхание перехватило — от неожиданности выпускает бутылочку из пальцев. Флакон разбивается, умирает, истекая прозрачной кровью на комод.

Аромат гардений забивает комнату. Мать заметит. Мать догадается.

А виноват во всем — кто? Ее Сокровище.

— Плохая девочка,— шепчет Элизабет и, ухватив двумя пальцами маленький подбородок, сердито его треплет. Правое ушко отпадает, шелестит, точь-в-точь — увядший лепесток.

Да как же это можно — стать хорошей матерью для такого ребенка?

— Посмотри, что ты натворила. Ты можешь вести себя нормально хоть минуту?

Элизабет стряхивает мумифицированную плоть на пол и торопливо вытирает лужицу духов уже испорченной салфеткой. Воздух от аромата — густой, хоть ножом режь, ее чуть наизнанку не выворачивает, пока удается выбросить мокрую ткань в мусорное ведро.

Так. Она переглатывает тошноту. Заставляет себя дышать. Снова смотрит на малышку. Отпал еще кусочек кожи — теперь, кажется, надбровие.

— Да что ж мне делать с тобой?!

Не дожидаясь ответа, Элизабет обеими руками яростно встряхивает детскую головку. В черепе что-то хрустнуло — но нет, она не хочет обидеть Свое Сокровище, просто надо ж научить ребенка, что такое хорошо и что такое плохо, какая ж она иначе ХОРОШАЯ МАТЬ?

— Какая ж я мать, если не буду воспитывать тебя? — спрашивает Элизабет, и перестает трясти, и смотрит в запавшие, пустые глазницы.— Плохая мать, а я хочу быть хорошей. Обязана быть. Теперь, я надеюсь, тебе стыдно за весь этот кавардак? Уверена, стыдно.

Элизабет наклоняется, нежно целует сморщенный лобик.

— Да, солнышко, мама тебя прощает. Ладно. Теперь пора спать. И не возражайте мне... юная леди.

Да, вспоминает она. РОЗОВОЕ — ЦВЕТ ДЕВОЧЕК. ЕЕ СОКРОВИЩЕ — ДЕВОЧКА. Какое счастье. Всегда хотела девочку.

Ее Сокровище молчало. Даже не захныкало, когда Элизабет, самая настоящая хорошая мать, понесла ее к ящику со старинными куклами в дальнем углу, надо же подобрать ребенку подходящее тело, да, собственно, зачем подбирать, и так сразу понятно — из всей коллекции фарфоровых кукол, много лет, с детства собиравшейся, только одна и подходит — младенец с ангельским личиком, в кружевной, роскошной, длинной крестильной рубашечке.

Кажется, кукле более ста лет, кажется, безумных денег стоила, это мать ей так говорила... ну и что, НИКОГДА ЕЕ МАТЬ НЕ БЫЛА ХОРОШЕЙ МАТЕРЬЮ, а Элизабет будет, вот так, и плевать ей, что там мать болтала.

И Элизабет разбивает кукольную головку о край ящика, озирает, улыбаясь удовлетворенно, кучку жалких фарфоровых осколков на полу.

— Смотри, золотко.— Она поднимает Свое Сокровище, чтоб той было лучше видно.— Смотри, прямо снежинки. А теперь — не дергайся, больно не будет, мама обещает.

Головка Ее Сокровища легко, без усилий насаживается на деревянный стержень, удерживавший раньше головку кукольную.

— Какая прелесть.— Элизабет тщательно выкладывает вокруг высохшей плоти оборочки кружевного воротничка, головка Ее Сокровища покачнулась, но самую малость, ничего страшного.— Ну посмотри, разве ты у меня не красавица?.. Да, ты мамина красавица!

И Элизабет целует, и обнимает, и напевает, и они вместе кружатся по комнате, по большой, уютной комнате, она тут с самого рождения жила, а теперь — теперь они вдвоем будут жить.

Танец обрывается. Мать зовет. Как всегда.

— Элизабет! Полночь уже! Сейчас же ложись... тебе же завтра на работу!

Элизабет останавливается — слишком резко. Головка Ее Сокровища наклоняется, подбородок почти упирается в расшитую кокетку рубашечки.

— Да, мама. Прости, мама,— кричит она матери, а потом — сердито — ребенку: — А ты сиди прямо. Леди не сутулятся. Не горбись, я сказала!

Элизабет чуть встряхивает Свое Сокровище. Теперь головка завалилась назад. Какая рассеянная девочка! Плохая девочка.

Нет, ЕЕ СОКРОВИЩЕ — далеко не сокровище, если честно. Может, потому ее и похоронили так далеко в лесу? Может, именно Элизабет и нашла могилу, потому что никому больше не под силу было бы управиться с таким капризным ребенком?

Нет, придется преподать Своему Сокровищу урок. Хорошая мать должна отучать своего дитя от дурного.

— Запомни, я делаю это только потому, что люблю тебя.— И Элизабет перекидывает свое сокровище через руку, лицом вниз, и заносит другую руку для крепкого шлепка.

— Я все сделаю, чтобы стать для тебя ХОРОШЕЙ матерью. Но уж тебе, моя дорогая, придется быть ХОРОШИМ РЕБЕНКОМ. Это только честно.

Элизабет прячет улыбку. Ее Сокровище слышит. Ее Сокровище поймет. ЭЛИЗАБЕТ — настоящая ХОРОШАЯ МАТЬ.

— Не бойся.— И ее занесенная рука опускается.— Мне сейчас будет гораздо больнее, чем тебе.

Не было. Потому что Элизабет уверяла, утешала себя — впереди у нее столько возможностей показать, какая она хорошая мать!

Сколько еще возможностей доказать...

Уильям Питер Блэтти

ГДЕ-ТО ТАМ

Я гостил у южноафриканского племени на Маунт Эгдон и в дружеской беседе неосторожно произнес слово seleltеni, что означает «привидения». Мертвенное молчание неожиданно воцарилось во всем собрании. Мужчины отводили взгляды, опускали головы, а некоторые просто поднялись и ушли.

Карл Юнг. «Психология и сверхъестественное»

Когда-то я боялась смерти. Теперь боюсь мертвых.

Почему я пришла в это место? Из одиночества? Гордости? Жажды богатства? Скрип половицы, случайный шум, приобретший цвет воздух — источники невыразимого ужаса. Дом ярко освещен, общество самое изысканное. Почему же я все время ловлю себя на желании втянуть голову в плечи? Просто потому, что тьма сгущается? Вряд ли. Столько раз я прикасалась к неведомому... это мое дело и призвание. Но на этот раз все по-другому: что-то неладно... что-то непоправимо худо, как вековая скорбь... как сам ад.

Дождь наконец перестал, выглянуло солнце, омерзительно, ненавистно красного цвета, балансирующее на краю света и готовое провалиться в пропасть. Я спрашиваю себя: чего мне опасаться? Слушай! Голоса. Шепот. Шепот, просачивающийся сквозь стены, как блевотная слизь с камней подземной темницы. Изнутри. Из самой глубины.

Иисусе, спаси и сохрани меня в эту ночь!

Из дневника Анны Троли; четверг, 20 часов 22 мин.

© Перевод. Т. Перцева, 2005.

ЧАСТЬ 1

Глава 1



ажав бледно-розовую телефонную трубку между плечом и подбородком, хмурая и злая Джоан Фриборд раздраженно рылась в бесчисленных блокнотных листочках с записками, словно пыталась отыскать ту, в которой объяснялся бы смысл жизни. Индикатор на второй линии призывно замигал. Джоан обреченно уставилась на него.

— Да, я уже слышала, что ты едешь,— бросила она капризным хрипловатым голосом, в звучании которого человек с воображением услышал бы жалобные звуки шарманки, играющей под окном, перемежаемые хлопаньем мокрого белья, вывешенного сушиться на крыше.

— И что из этого! Вечно ты все забываешь, Терри! Надеюсь, хотя бы запомнил число и время?

Немного послушав невидимого собеседника, она поджала губы и швырнула листочки на стол.

— Знаю, знаю. Запиши: вечер пятницы, в шесть ровно. И не вздумай тащить с собой чертовых псов! Пока!

Она ткнула кнопку налившегося кровавым светом индикатора.

— Да, Фриборд у телефона.

И тут же брезгливо наморщила нос.

— Поторопиться?

Переступив с ноги на ногу, она рассеянно потеребила себя за серьгу-подвеску, чудовищное изделие авангардной моды из камешков и голубых бусин. В свои тридцать четыре она могла позволить себе короткую стрижку с челкой. За кукольным личиком с растерянными голубыми глазками, обрамленным белокурыми прядями, скрывались стальная воля и бульдожья хватка.

Но сейчас она была явно выведена из себя и, недоуменно подняв брови, выпалила:

— Список кондоминиумов в Гринвиче, Гарри? В современном стиле? Да ты шизанулся! С тех пор как та леди, что срубила деньжат на поваренной книге, купила особняк в стиле Тюдоров, всякий яппи* требует нечто «аутентичное», иначе говоря, темное, сырое, угнетающее и к тому же готовое в любую минуту рухнуть. Слушай, иди и посоветуй леди с поваренной книгой построить дом из стекла. Что-нибудь круглое, или треугольное, или в форме блюда, чтобы имело такой вид, словно только что приземлилось в центре Гринвича. А потом поговорим, идет? И действуй побыстрее, мне некогда.

В комнате бесшумно возникла немолодая секретарша. Типичная брошенка: унылый вид, волосы стянуты в тугой пучок, недавно разведена. Фриборд протянула ей набросок рекламного объявления, прошептав одними губами:

— «Таймс».

Секретарь кивнула и улетучилась. Фриборд, с жалостью глядя ей вслед, покачала головой.

— Нет, четверг для меня несчастливый день, Гарри,— мрачно заметила она.— Как насчет «никогда»? «Никогда» тебя устроит?

Она отвела душу на несчастной трубке, злобно швырнув ее на рычаг.

---

* Прозвище молодых, честолюбивых, стремящихся к богатству людей, перен. мещане.— *Примеч. пер.*

— Тупой, занудный, спесивый болван! — сообщила ей Фриборд.— Я уже кинула тебя однажды! Какого же хрена ты снова лезешь?

Схватив со стула жакет и сумочку, она выскочила из кабинета, разрешила секретарше не слишком спешить в офис после обеда и, пройдя через аркаду Трамп Тауэр, вышла на Пятую авеню в оглушительные вопли и гудки застрявших в пробках машин. Хорошо еще, что небо затянули тучи и для мая день выдался не слишком жарким.

Ей почти сразу же удалось поймать такси.

— Куда, леди?

Фриборд поколебалась, глядя прямо перед собой. Что-то ей не по себе. Какое-то смутное предчувствие. Чего именно? Интересно, удастся ли вспомнить, что ей приснилось этой ночью?

— Так куда едем?

— Куда-нибудь подальше,— пробормотала Фриборд.

— Подальше?

Она слегка опомнилась; подбородок с ямочкой вызывающе вздернулся, словно у непокорного ребенка.

— Ист-ривер драйв семьдесят семь,— велела она. Такси рванулось вперед, возвращая ее мысли в привычную, годами наработанную схему ее жизни-сна.

— Здесь,— уверенно определила она полчаса спустя.

Фриборд стояла в медленно всползающем вверх строительном подъемнике вместе с супружеской парой из Хинсдейла, штат Иллинойс, намеревавшейся приобрести подходящий кондоминиум на Манхэттене. Оба спокойные, задумчивые, в красных строительных касках на белоснежных, как песцовый мех, волосах. Фриборд поправила свою каску и заверила:

— Ничего новее вы не найдете.

Коротышка-лифтер кивнул. Сгорбленный, морщинистый, чем-то напоминающий сказочного гнома, в рваном мешковатом сером свитере, он широко улыбался, обнажая беззубые десны.

— Лучший вид во всем городе. Гляньте — мост Уильямсбург да и вся река под нами. Слай Сталлоне собирается здесь поселиться. Я сам видел его вчера.

Здание безраздельно царило над Ист-ривер. Супруги хотели чего-то новенького, они уже насмотрелись старых квартир, выставленных жильцами на продажу.

— Интересно, почему это,— проворчал муж,— во всех этих роскошных апартаментах, которые стоят к тому же до небес и выше, все парадные комнаты — хоть сейчас на выставку, но стоит сунуть нос на кухню или в ванную — с души воротит?

Оказалось, что в доме напротив Музея естественной истории хозяйская спальня освещалась всего одной лампочкой, даже без абажура, подвешенной на ржавой проволоке к закопченному, с отвалившейся штукатуркой потолку. В другой квартире душевая кабинка была вделана прямо в стену спальни: хозяйка использовала ее для хранения обуви, зато в третьей свободного места не было от огромных картин в массивных багетовых рамах, изображавших обнаженных мужчин и женщин, поглощенных к тому же весьма странным занятием: каждый, сжимая в руке шприц, старательно делал себе инъекцию.

— Вероятно, владельцы — диабетики,— мягко предположила жена.

— А здорово от тебя пахнет.

Фриборд тупо уставилась на лифтера. Тот пялился на нее, словно осененный внезапной догадкой.

— Персиковая пена для ванн,— бесстрастно пояснила она. Аромат исходил от ее шеи.

— И серьги премилые,— кивнул он.

— Спасибо.

— Эй, Эдди, остановись же, ради бога! Сколько тебя ждать! — вопил взбешенный рабочий, колотя в дверь подъемника.

Но крошка лифтер как ни в чем не бывало отмахнулся:

— От вас, парни, воняет дерьмом! Несет, спасу нет! А со мной приличные люди! Загадите мне тут все!

— Ну, мать твою, Эдди, попадись только, за все заплатишь,— пригрозил работяга.

Пара из Хинсдейла квартиру одобрила. И тут случилось нечто из ряда вон выходящее: стоя у окна и дыша известковой пылью, рассеянно глядя при этом на моторную лодку, взбивавшую белую пену на мутной речной воде, Джоан Фриборд, неутомимый ловец фортуны, вот уже много лет непобедимый «Риэлтор года», совершила немыслимое.

Круто развернувшись к покупателям, она вдруг спросила:

— Уверены, что хотите жить в большом городе? Он такой уродливый, грязный и перенаселенный!

Иисусе, что это я несу?

Она снова посмотрела на моторку. Что-то в ней такое...

Джоан наморщила лоб. Что? Она не знала. Пора давать обратный ход.

— Как насчет кондоминиума в Гринвиче?

Непонятное ощущение преследовало ее, буквально не давая дышать. Уже к концу дня, когда сделка была благополучно завершена (слава Небесам, не сорвалась!), а бумаги подписаны, Фриборд отчего-то отправилась в последнее кафе-автомат на Манхэттене, где, усевшись за бежевый в крапинку столик, набросилась на бобы с дымящимся рисом и смела все так быстро, словно не ела неделю. Взяв из открытой миски горсть лимонных долек, предназначенных для охлажденного чая, она выжала их в стакан со льдом и холодной водой, добавила сахара, как часто делала в дни бедной юности, и запила еду. Рис и бобы приятно грели желудок, а если бы она не наелась, можно было наполнить чашку горячей водой, посолить, добавить кетчупа из бутылки на столе, размешать и получить вполне съедобный томатный суп.

Зачем я делаю все это?

Фриборд пожала плечами и вгляделась в ряды стеклянных окошечек, за которыми стояли тарелочки с едой. Опустишь монетку — получай конфетку... то бишь жратву. Интересно, остался ли у них горячий яблочный пирог с

ромовым соусом? Когда-то давно мартовский ветер швырнул ей в лицо долларовую банкноту. Как же она пригодилась! Да где же пирог? У нее в желудке осталось место как раз для кусочка!

— Вы часто сюда приходите?

Фриборд подняла глаза на бомжа, сидевшего напротив. Откуда его черт принес? Жирные седоватые волосы до плеч, старая, чересчур широкая армейская шинель, засаленная джинсовая рубашка и штаны-хаки.

— Смахиваете на актрису. Пробовали просматриваться? Я ассистент. Набираю актеров,— заверил бомж. От него несло винным перегаром и помоечной вонью. Большой палец с обломанным ногтем выглядывал сквозь дыру в кроссовке. — И продюсер тоже,— непринужденно добавил он.

— Ну да, а я все думаю, кого вы мне напоминаете? Дэвида Селзника, разумеется.

— Напоминаю? Откуда такой тон, малышка? На кого хвост поднимаешь? Поимей хоть немного уважения. Покажи класс. Вижу, у тебя нет денег на хавку. Я мог бы помочь.

— Судя по вашему виду, вам самому не мешало бы немного подкинуть.

Что-то мелькнуло в глазах бомжа... некое смутное воспоминание о прошлой жизни. Залихватски выдвинув челюсть, он подался вперед.

— Ничего,— победно ухмыльнулся он,— мы еще повоюем.

Сдержав сочувственную улыбку, риэлтор полезла в голубую кожаную сумочку, выудила что-то из бумажника и сунула бомжу.

— По-моему, вы уронили это, мистер Селзник.

— Сотня?!

Фриборд встала и пошла к выходу.

— Минутку,— окликнул бомж.

Риэлтор оглянулась.

— Я беру за интервью *две* сотни.

Фриборд кивнула, почти с любовью озирая бомжа... ничего не скажешь, родственная душа.

Перед глазами промелькнула картина из давнего прошлого: в дупель пьяный папаша хлещет по щекам ее, тогда шестилетнюю малышку.

— *Ну, сучка? Будешь делать, как велено?*

— *Нет!*

— Молодец, старина,— одобрительно кивнула риэлтор.— Не сдавайся! И не позволяй всяким ублюдкам вколотить тебя в землю!

И, решительно повернувшись, вышла на оживленную улицу, где разом окунулась в рычание грузовиков, визг тормозов, тявканье автомобильных рожков; мечты, злоба, обиды, зависть и страхи торопившихся на пригородные электрички словно приливной волной смыли мучительные мысли, туманившие мозг — словно батарейку зарядили привычной энергией, той самой, которая отличала ее, Джоан Фриборд, дитя-женщину, вечного борца, девизом которой было «сражаться или умереть».

Сражайся или умри.

Этой ночью в пентхаусе Джоан на Сентрал Парк Уэст стояла тишина. Слышалось только шарканье мягких кожаных шлепанцев по полу из лакированного дубового паркета: это риэлтор в махровом туго подпоясанном темно-зеленом халате бродила по комнатам, обдумывая любопытное предложение, сделанное ей несколько дней назад.

— *Я не ослышалась? Вы сказали, двадцать процентов?*

— *Совершенно верно.*

— *И в чем тут подвох?*

— *Никакого подвоха. Мой клиент желает иметь все самое лучшее. А лучший риэлтор — это вы.*

— *Но вы сами утверждали, что там уже много лет ничего не случалось.*

— *Так оно и есть.*

— *В таком случае пустите его в открытую продажу и сбавьте цену. Какая проблема?*

— *Репутация дома. Мрачные воспоминания и дурные слухи умирают медленно, миссис Фриборд. А у людей долгая память.*

— *Мисс.*

— *Мисс. Прошу об одном — хорошенько подумайте.*

— *Обещаю.*

Наконец Фриборд подобралась к маленькому круглому столу из некрашеной сосны в углу своего кабинета, отделанного панелями вишневого дерева. На столе валялись карта, нескользко распечаток и снимков массивного особняка, словно припавшего к земле на одном из островков на реке Гудзон. Фриборд сунула руку в карман, извлекла оттуда зажигалку и пачку «Кэмел», закурила. Глубоко затянувшись, она поднесла к глазам фото и покачала головой. Ничего не выйдет. Пустая трата времени. Этот чертов дом — словно декорация к фильму ужасов.

Мрачный, как-то странно вытянутый, из обветренного серого камня, с остроконечной крышей, зубчатой оградой и узкими амбразурами, он напоминал древний шотландский замок. Нечто вроде Гламиса*. И там, и здесь одинаково зловещая атмосфера и такие же конические башни, как злобное воплощение дьявольских мыслей.

Фриборд вздохнула и разжала пальцы. Снимок с едва слышным шелестом приземлился поверх остального бумажного мусора. Жаль, что эта куча дерьма не находится в Гринвиче! Она продала бы его за неделю, получив кучу бабок!

Однако она почему-то медлила, не спешила отойти от стола: слишком велико было искушение принять вызов, хоть на несколько дней избавиться от тоскливой скучной обыденности существования. Только ты, Храбрый Портняжка, и никто другой!

Краем сознания она отметила треск автоответчика: запись ее обращения... пауза... короткие гудки. Должно быть, Гарри.

---

* Замок Макбета.

Фриборд покачала головой и перевела взгляд на черную кожаную папку, содержавшую историю дома. Она всего лишь наспех ее пролистала: с самого детства Джоан страдала легкой дислексией*, результатом зверских побоев алкоголика-отца, недоедания и непрерывных пропусков школьных занятий. Чтение было для нее тяжелым трудом. Большую часть контрактов составлял за нее помощник. Поэтому она знала о доме только то, что ей сказали: построен в 1937 году доктором, зверски убившим жену и сразу же после этого покончившим с собой.

Фриборд погладила кожаный переплет. На обложке большими черными буквами выведены слова, которые могла без труда прочесть даже она:

ГДЕ-ТО ТАМ

И тут же вспомнился обрывок сна: странное, незнакомое место. Смертельная опасность. Кто-то пытается спасти ее, некое светящееся существо вроде ангела-спасителя Кларенса в фильме «Эта чудесная жизнь». Во сне он назвал свое имя... что-то очень известное... громкое... она попыталась припомнить, но не смогла.

Звонок, щелчок автоответчика. Фриборд наклонила голову, вслушиваясь. Не Гарри. Элль Редмунд, жена Джеймса Редмунда, прославленного издателя журнала «Вэнитис мэгезин».

— ...ужасная наглость с моей стороны, но давний приятель неожиданно свалился сегодня на голову, а мы скорее умрем или объявим голодовку, чем пропустим вашу сказочную вечеринку. Не будете возражать, если мы...

Фриборд уронила папку на стол, придавила сигарету в пепельнице, закурила другую и вновь принялась с мрачным видом шастать из комнаты в комнату, словно легкий, не выпускающий изо рта сигарету призрак, приговоренный к вечным скитаниям в одном из идеально устроенных ро-

* Неспособность к чтению.

скошных коридоров ада. На стенах — ни одной личной фотографии, ни следа прошлого, никаких указаний на пристрастия, воспоминаний о тяжелых временах. Но время от времени она останавливалась перед маленькой картиной Моне или миниатюрой Пикассо — не с тем, чтобы полюбоваться красотой или тонкостью живописи, нет. Только обрести некоторое утешение в огромной стоимости того или иного шедевра. Постояв немного, она снова принималась бесцельно болтаться по дому, пока наконец усталые ноги не привели ее в огромную кровать с мягкой периной. Плюхнувшись прямо на покрывало, Джоан бесцельно уставилась в зеркальный потолок. Что же все-таки делать с проклятым домом?

За стеной с шипением раскрылись двери лифта, в скважине повернулся ключ. Это вернулись после выходного дня Антония и Джордж, живущие у нее слуги.

Не отвлекайся, Фриборд, думай! Ну и сволочная же заморочка! Ничего, она справится.

Она сама не заметила, как заснула. И видела во сне отца, голого, пьяного, гнавшегося за ее школьным ухажером. А потом снова появился ангел, великолепный, высокий, с огромными крыльями, только вместо лица — белое пятно. Она ждала за столом в «Палм», узкой, убогой бифштексной на Восточной стороне Манхэттена, а ангел, склонившись над молодой красивой темноглазой женщиной, внимательно записывал заказ. Внезапно, подняв глаза, он встретил взгляд Джоан и резко предупредил:

— Садитесь на поезд. Моллюски небезопасны.

— Как вас зовут, черт возьми? — завопила ошарашенная Фриборд и проснулась от собственного крика. Застонав, она потянулась к будильнику. Шесть утра.

Можно еще поспать. Слишком рано.

Она снова повернулась на спину и стала таращиться в потолок. «Моллюски небезопасны»? Что это все значит? Ну и чушь!

Мысли снова вернулись к особняку. Агент, которому владельцы поручили продажу, объяснил, каким образом она в любое время может осмотреть дом.

Джоан так и подскочила. Сегодня!

Переодевшись в удобные джинсы, ковбойские сапожки и белый свитер, Фриборд уселась за руль зеленого «мерседеса»-кабриолета с опущенной крышей, переехала мост Джорджа Вашингтона и направилась вдоль реки Гудзон к Крейвн Коув, крохотной малонаселенной деревушке, откуда добралась до острова катером. У штурвала стоял владелец и матрос в одном лице: угрюмый худой старик лет шестидесяти, с просоленным морщинистым лицом и прищуренными глазами того голубовато-серого цвета, который встречается иногда у морских раковин. Пока они пробирались через пласты утреннего тумана, матрос не выдержал и поинтересовался, уж не собирается ли она жить в том доме.

— Что? — переспросила Фриборд, не расслышавшая его за ревом двигателя.

— Я сказал, вы собираетесь жить *там*?

Несколько мгновений она смотрела в выцветшие «джинсовые» глаза, потом повторила про себя название катера, вышитое на бескозырке старика: *«Far Traveler»*.

— Нет,— обронила она наконец, вновь отвернувшись.

Катер причалил, но старый лодочник не подумал сойти на землю. Облокотившись о борт, он закурил пенковую трубку и провожал глазами Джоан, шагавшую по старым доскам причала, пока она не зашла в дубовую рощицу и не исчезла из виду. Сам не зная почему, он поежился. Что-то его тревожило. Непонятно только что.

Фриборд тем временем шагала по усыпанной гравием дорожке, вьющейся через заросли, которая примерно через четверть мили привела ее к крыльцу. Подойдя к торчавшему у двери почтовому ящику, она набрала комбинацию цифр, извлекла ключ и огляделась. За деревьями

поблескивала вода, желтел прибрежный песок, а вдали в солнечном мареве сверкали изломанные неровные бесконечные очертания Манхэттена, даже отсюда выглядевшего строгим, деловым, утилитарным — воплощением истинно урбанистических тенденций. Ничего зловещего или сверхъестественного.

Джоан внимательно вгляделась в зловещую серую громадину особняка.

«Прекрасно,— подумала она.— Он словно прикрыл свои проклятые зенки и не смотрит на меня. Пока гребаная лачуга не сделала ничего дурного».

Дыхание реки принесло сладкий ярко-зеленый древесный аромат, земля и небо были абсолютно спокойны. Джоан услышала негромкий скрежет ключа, проворачивавшегося в замочной скважине. Она нажала еще раз; дверь отворилась, и Фриборд вступила в изящный холл со сводчатыми потолками. За приоткрытыми дубовыми дверями виднелась огромная гостиная с бесформенными силуэтами мебели, прикрытой белыми чехлами, призванными оберегать ее от солнца и пыли. Владелец — наследник первого хозяина — вместе с женой и двумя маленькими детьми последние три года безвыездно жил во Флоренции, и на сдававшийся в аренду особняк не нашлось ни единого охотника. Никто не желал купить эту усадьбу и поселиться здесь. *В доме с привидениями.*

Сосредоточенно поджав губы, Фриборд лениво проследовала в комнату и, подбоченившись, осмотрелась. Высокие потолки поддерживались перекрещивающимися балками в стиле старого испанского монастыря, а посреди стены зияло жерло гигантского очага. Она прошла вперед. Каблуки сапожек глухо стучали по пекановым половицам весьма произвольной ширины. Фриборд обошла комнату, стаскивая чехлы, и к собственному удивлению обнаружила, что мягкие стеганые диваны и стулья обиты приятной тканью пастельных тонов, а сама гостиная приобрела уютный вид. Обстановка включала игорный столик, стереоаппарату-

ру и кабинетный рояль «Стейнвей», гостеприимно сверкающий в свете неумолимо жизнерадостных солнечных лучей, проникавших сквозь готические окна, как огненное благословение какого-то надоедливого святого. Так где же кентервильские привидения, летучие мыши, вампиры и ведьмы? Где Кристофер Ли* и долбаные «Фанжетт»?**

Фриборд заглянула в ломившуюся от книг библиотеку с камином и миновала было широкую, плавно изгибавшуюся лестницу, ведущую в спальни и холл второго этажа, но тут же замерла, обнаружив под лестницей нечто вроде ниши. Подобравшись поближе, она обнаружила резную дубовую дверцу, в самом центре которой грязной угрозой скалилась рожа горгульи с широко открытым в злобной ухмылке ртом и яростно выпученными глазами.

— Ну и хренотень,— тихо пробормотала Фриборд и, схватившись за медную ручку, попыталась открыть дверь. Не тут-то было. Заперто.

Тин-н-нь!

Едва слышный звук прорезал тишину, как приглушенный аккорд фортепьяно. Фриборд медленно повернулась и посмотрела на «Стейнвей», почти ожидая увидеть кого-то, сидящего за роялем. Ей говорили, что к дому пристроено несколько крыльев, где размещаются комнаты и отдельная кухня для слуг. Возможно, здесь живет кто-то вроде экономки. Нет, вряд ли, иначе она увидела бы. Ни одной живой души, кроме нее.

Джоан подошла к роялю, подняла крышку и, не присаживаясь, наиграла несколько тактов песенки «Сделай счастливое лицо». Завершив мелодию лихим проигрышем, она подняла голову и громко сообщила:

— Это для тебя, крезанутый дом!

И замерла, навострив уши.

---

* Актер, игравший Дракулу в одноименном фильме.

** Канадский сериал о вампирах.

— Что бы придумать, чтобы хоть кто-то захотел прийти и посмотреть на тебя?

Дом не ответил.

Прекрасно. Так тому и быть.

Погруженная в невеселые мысли, она вернулась на Манхэттен, поручила машину заботам швейцара, поднялась к себе и, устроившись в кабинете, принялась стаскивать сапоги.

— Добрый вечер, мадам,— поздоровалась горничная.

— Привет, Антония.

— Миссус где-нибудь ужинает сегодня?

— Нет. Я поем в семь.

— Хорошо, мадам.

— Передай Джорджу, пусть сделает мне мартини по-каджунски*.

— Да, миссус. Что-то еще?

Фриборд стянула наконец сапожок, отшвырнула и, нахмурившись, уставилась на горничную.

— У тебя усталый вид и мешки под глазами. Плохо спала?

— Не слишком хорошо.

— Тебя что-то беспокоит?

— Нет, миссус.

— Уверена, Тони?

— Да.

— А мне кажется, ты слишком много работаешь.

Горничная безразлично пожала плечами и отвела глаза.

— Завтра вместе с Джорджем возьмете выходной, Тони.

— О нет, миссус.

— *Да,* миссус. Делай как велено. И знаешь, я не очень голодна. Сделай сандвич, ладно? С чем хочешь. И пусть мартини будет двойным.

---

* Каджуны — жители южных районов штата Луизиана, потомки французов, насильно переселенных из Канады.

— Хорошо, миссус. Сейчас. Минуточку.

Уже немолодая горничная, великолепно смотревшаяся в синей с белым униформе, поклонилась и отошла. Фриборд участливо посмотрела ей вслед и, сняв второй сапожок, отбросила его, с наслаждением вытянула ноги и пошевелила пальцами.

Господи, до чего здорово!

Рассеянно вперившись в невидимую точку на стене, она снова вспомнила об особняке, но тут же решительно мотнула головой. Нужно дать мозгам роздых.

Она откинула голову на спинку кресла и закрыла глаза, но тут же услышала знакомый щелчок автоответчика. Снова жена издателя, Элль Редмунд.

— Привет, дорогая, получила мое сообщение? Не важно, забудь, оказалось, что наш гость не приедет. Но все равно спасибо, Джоани. Увидимся в пятницу вечером.

Снова щелчок.

Несколько минут в комнате слышалось лишь неровное поверхностное дыхание. Внезапно глаза Фриборд широко раскрылись, в одном из тех таинственных озарений духа, где бессознательное торжествует над реальностью и во вдохновенном порыве дарит разуму откровение. Именно это и произошло с Фриборд.

Вот оно! Вот оно! Теперь она знает, как продать дом!

— Ваш мартини, миссус Фриборд.

— Спасибо, Тони. Передай Джорджу, на вид мартини просто идеальный.

— Да, миссус.

Фриборд взяла стакан, но пить не стала. Она строила далеко идущие планы.

Не всякое прозрение дается легко.

На пятничной вечеринке Фриборд, как всегда, царила оживленная атмосфера и было полно народу: драматургов, политиков, администраторов крупных компаний, модных моделей, просто светских людей и даже мафиози, словом,

тех, кто когда-либо покупал у нее недвижимость. Правда, хозяйки с полчаса не было видно. Она исчезла вместе со своим гостем, Джеймсом Редмундом, а когда появилась вновь, на лице ее играла довольная усмешка.

Пункт первый грандиозного плана был успешно выполнен.

В следующий четверг, когда Анна Троли, известнейшая и прославленная британская дама-экстрасенс, пила чай, уютно устроившись у камина, принесли каблограмму от совершенно незнакомой особы, американского риэлтора, некоей Джоан Фриборд. Анна Троли, только что переступившая сорокалетний рубеж, обладала неяркой, но бесспорной красотой. С овального личика, своими изящными чертами напоминавшего камею, смотрели небольшие влажные карие глаза, мерцавшие непонятной, неуловимой и невысказанной тоской. Анна словно бы смотрела внутрь себя, пытаясь разглядеть и определить источник этой скорби. Рядом с ней на маленьком столике тикового дерева громоздились почта и свежие газеты. Поверх лежал свежий экземпляр «Таймс». На стене висели несколько памятных фото, в том числе то, где она была снята вместе с королевой, заголовок газетной статьи в рамке, гласивший: «ЗНАМЕНИТАЯ ЭКСТРАСЕНС НАХОДИТ УБИЙЦУ», снимок хорошенькой девочки с ямочками на щеках, которая то ли благодаря ретуши, то ли искусно нанесенным на черно-белые тона пастельным тонам казалась затерянной в ином измерении. Под открытым окном, еще на одном столе лежала пластиковая магическая дощечка с хаотически разбросанными словами и буквами.

— Мэм?

Троли повернулась к недавно нанятой горничной, смазливой молоденькой девушке.

— Что, Пита?

Горничная протянула небольшой круглый серебряный поднос. Анна рассеянно уставилась на глубокий белый

шрам, терявшийся в правой брови девушки, неизвестно почему гадая, связано ли с ним какое-то трагическое событие или просто несчастный случай.

Ну разве это ее касается?

Разом отрешившись от неуместных мыслей, Анна взяла с подноса квадратный темно-желтый конверт. Внутри оказалась каблограмма, содержавшая то самое послание. Кто знает, была ли прямой или извилистой та, определенная роком тропинка, навеки связавшая судьбы Анны Тролли и Джоан Фриборд?

— Спасибо, Пита.

— Не за что, мэм.

Горничная тихо вышла. Тролли пересчитала странички каблограммы. Целых шесть!

Внимательно прочитав до конца, она опустила листочки на колени, откинула голову на подголовник кресла и закрыла глаза. Внезапно налетевший бриз принялся играть с кружевными занавесками. Чуть пониже, вероятно сдвинутая резким порывом ветра, коническая стеклянная планшетка соскользнула с центра дощечки кверху и остановилась прямо на слове.

Это слово было «нет».

Глава 2

— На тот случай, если ты еще не успела заметить, я уже восемь месяцев как мертв. Мертв, но не похоронен.

Высокий, аристократичный, утонченный Теренс Дир с демонической внешностью байроновского героя не глядя ткнул кистью сначала в желтую краску, размазанную по палитре, а потом в холст и с отвращением оглядел залитую солнечным светом студию с взмывающими в небо потолками.

Путем коварных интриг и долгих уговоров Джоан Фриборд удалось наконец пробраться в его дом на Файр Айленд, но толку от этого пока не было.

— С тех пор как Роберт навсегда ушел из моей жизни,— скорбно объявил он своим бархатным баритоном,— я не написал ни слова. Сердце окаменело.

— Фак, фак, фак,— пробормотала Фриборд.— Дерьмо!

Дир вытер палец, вымазанный красной краской, о блузу художника, натянутую поверх футболки и выцветших черных джинсов, и устремил трагический взгляд голубых глаз на риэлтора, ухитрявшуюся одновременно курить и возбужденно метаться по комнате. Стук высоких «шпилек» эхом отдавался от дубовых дощечек паркета и растворялся где-то в высоте. Сизое облако дыма повисло в воздухе, и она раздраженно смахнула его с дороги.

— Это обложка «Вэнитис», Терри! *Обложка!!!*

— Давай без экивоков,— оборвал великий писатель.— От Джеймса Редмунда тебя воротит. Он козел, зануда, говнюк, но, к сожалению, принадлежит к тому элитному кругу вонючек, которые постоянно твердят, как обожают преодолевать трудности, словно жизнь на блуждающей звезде, несущейся через пустоту и расталкивающей кометы и астероиды, недостаточно опасна, не говоря уже о торнадо, смерти, болезнях, войнах и землетрясениях. Но несмотря на все это, ты его трахнула.

— Я уже сказала, это бизнес и ничего более.

— Работаешь на мафию, драгоценная моя, забыв о благе человечества?

— Х... тебе в задницу, Терри, да отцепись же!

— Дорогая, тысячи уже пытались сделать это, но только сотням повезло!

Риэлтор, стряхнув невидимую пылинку с шикарного синего костюма от Армани, прикрыла рот ладонью и закашлялась.

— Пора бросать курить,— выдохнула она, моргая заслезившимися глазами, и поспешно сунула сигарету в пепельницу из большой белой раковины.— Слушай, сколько раз повторять, что обычно я сама терпеть не могу подобных штучек.

— Не совсем,— упрямо буркнул Дир.

— Он издатель и, следовательно, делает что хочет,— объяснила она, нервно разминая несчастный окурок.

— Где и когда ты совершила этот омерзительный акт?

Фриборд рухнула на стул у окна, скрестила руки на груди и мрачно уставилась на писателя.

— Иисусе, Терри, да ты мот бы сляпать это за неделю!

— Где и когда? — настаивал Дир.

— В пятницу, после ужина. В моей ванной.

— В твоей *ванной?*

Фриборд слегка пожала плечами.

— Ничего страшного. Мы включили воду на полную катушку.

Писатель оценивающе воззрился на нее с таким многозначительным прищуром, словно определял расстояние до далекой звезды. В маленьких зеленых глазках — ни малейшего признака стыда или вины. Обычный, ничего не выражающий взгляд, разве что чуть выжидающий. Интересно... ее душа — словно открытая книга, а сама Фриборд проста и примитивна, как тележка универсама, решил он.

— Да ты мог натяпать долбаную штуку за час!

Примитивна, но уж коли вцепится, клещами не отдерешь.

— Ну а теперь проверим с самого начала,— бесстрастно начал Дир.

Фриборд театрально закатила глаза.

— Опять за свое!

— Тебе предложили эксклюзивные права на продажу «Где-то там»,— невозмутимо продолжал он,— но беда в том, что в доме, похоже, водятся привидения и...

— Ничего подобного! Там уже много лет все спокойно. Просто дом приобрел эту чертову мороз-по-кожную репутацию...

Лауреат Пулитцеровской премии в области литературы тупо уставился на нее.

— Мороз-по-кожную?

— И нечего придираться к словам, я не писатель.

— Ты преступница. Уломала Анну Троли, экстрасенса с мировой славой, известного доктора Гэбриела Кейса, профессора Нью-Йоркского университета и признанного авторитета в подобных вещах, на такую авантюру! Итак, эти двое и мы с тобой проводим несколько ночей в доме, и пока Троли и Кейс купаются во всяческих флюидах и эманациях, я наблюдаю за ними, старательно все записываю и разражаюсь омерзительно лживой статьей об отсутствии в доме всяких признаков потусторонних сил, призванной запудрить мозги потенциальным покупателям. Твой ванный инкуб с трубкой и собственным журналом ее печатает, репутация особняка, как у жены Цезаря,— вне подозрений, ты его продаешь и становишься еще богаче, чем была, и шикуешь на грязные денежки. Надеюсь, я все точно изложил, о мой Ангел Недвижимости?

— Мне предложили тройные комиссионные, Терри. Это долбаная цифра с шестью нулями!

— Неужели нужно непрерывно употреблять непечатные слова, бесценная?

— Нужно!

— В таком случае ты могла хотя бы произносить их на французский манер: «делбен», «фе-е-ек» или что-то в этом роде,— упрекнул Теренс, рассеянно разглядывая картину: вихреобразную мешанину разных оттенков ярко-желтого.

Фриборд, потеряв терпение, вскочила и приблизилась к нему.

— Ты у меня в долгу, Терри!

Терри поднял кисть и нацелился в холст.

— Ну вот, началось. Психическая атака на мою больную совесть.

— Отрицаешь, что обязан мне?

— Зигмунд Фрейд убил бы за такой дар.

Фриборд протиснулась между мольбертом и Терри и вызывающе подбоченилась.

— Ты смеешь это отрицать?

Теренс опустил глаза на свои ярко-красные теннисные туфли «Найк» и, покачав головой, вздохнул.

— Нет, не отрицаю,— признал он.— Я бесконечно тебе благодарен. Сколько бессонных ужасных ночей ты провела рядом, подставляя плечо, когда мне это больше всего было нужно, плечо, не подбитое ни тайной завистью, ни злобой, ни ложью. Ты честна, верна и преданна и единственное живое существо, которому я могу полностью довериться, моя Джоан, и к тому же совершенно непредсказуемое. Но боюсь, что в этом случае должен разочаровать тебя отказом.

— Ради всего святого, это не более чем газетная статья, Терри! Какое отношение имеет разбитое сердце к гребаной статье?

Теренс с некоторым недоумением воззрился на нее.

— Типа того, что это как бы не книга, верно? — пояснила она.

— Не книга,— глухо подтвердил он.

— Тогда к чему этот взгляд?

— Какой взгляд?

— *Такой.*

— Пытаюсь отыскать источник твоего зловещего коварства.

— Что? О чем ты? Что значит «зловещее»?

— Все, относящееся к национальному правительству! — рявкнул Теренс, принимаясь рисовать.

— А, это что-то вроде «голубой» шуточки?

— Если желаешь.

— Брось, Терри. Перестань ломаться и напиши статью.

— Мне очень хотелось бы, но это невозможно.

— При всем при том, что дерьмовая сделка чертовски важна для меня?

— Да.

— И все из-за какого-то фе-е-екинг амбала-тяжеловеса, которого ты подобрал в парке, пока тот кормил стероидами несчастных голубей? Не вешай мне лапшу на уши!

— Моя дорогая Джоани, дело не только в Роберте,— снова вздохнул автор.

Фриборд подозрительно нахмурилась: и в манере, и в голосе приятеля было нечто уклончивое.

— Тут много чего еще,— добавил он.

— Да неужели?

— Именно.

— Может, все-таки выложишь все начистоту?

— Я бросил писать.

— Как это?

— Бросил, и все. Навсегда.

Фриборд схватилась за лоб и театрально воскликнула, как ей казалось, на французский манер:

— Маман твою!

— Это слишком трудно понять человеку постороннему,— развел руками Дир.— Приходится принимать миллион решений. Знаешь, что писал в своем дневнике Оскар Уайльд? «Сегодня у меня был чудесный день. Вставил запятую, вычеркнул, потом решил снова вставить». Джоан, искусство писателя — суета сует.

— Ни за что не поверю, Терри.

— Это тяжелый умственный труд. С некоторых пор я считаю себя художником.

Раздраженный взгляд Фриборд остановился на холсте со спиралевидными желтыми завихрениями. Н-да, ну и бред!

— И что это такое, по-твоему, Терри?

— «Отдых лимонов».

Фриборд, испуганно отшатнувшись, вырвала кисть у него из рук.

— Опять пользуешь ЛСД, Терри?

— Не будь идиоткой,— фыркнул тот.

— Больше никаких верблюдов в дешевых платьях из оранжевой тафты, клянущихся, что они и есть Свидетели Иеговы, прокравшихся в дом, чтобы поговорить о твоем творчестве?

— В тебе нет ни капли обычной порядочности, не говоря уже о такте!

— И что из этого?

— И все потому, что я бросил писать?

— Да-да-да! Сначала Роберт и разбитое сердце, потом вдруг «литература — это сплошной напряг и заморочки», а ты — второй Пикассо. Блин, все это чистый бред, Терри! Ты просто боишься? Веришь в дурацких духов, так ведь?

— Что за чушь!

Однако щеки Дира заметно порозовели. Взявшись за кисть, он снова потянулся к холсту.

— Слушай, честно говоря, я просто не могу уехать и бросить собак на произвол судьбы.

— Точно, бред!

— Ничего подобного,— настаивал Дир.

— Ты порушишь мою жизнь ради паршивых маленьких поганок?

Дир повернулся и негодующе уставился на нее.

— Смею я предположить, что под «паршивыми маленькими поганками» ты подразумеваешь моих идеально воспитанных наимилейших игрушечных пудельков Помпетт и Марию Идальго Лебланш?

Фриборд ответила таким же разъяренным взглядом. Вероятно, со стороны они представляли довольно забавное зрелище, поскольку ее лицо находилось всего в нескольких дюймах от его груди.

— Можешь их захватить.

— Прошу прощения?

— Возьми их с собой. То есть собак.

— Взять собак?!

В голосе Теренса отчетливо слышались панические нотки.

— Ну да, мы повезем их туда.

— Ничего не получится.

— Не получится?

— Абсолютно ничего.

— Почему бы это?! — осведомилась Фриборд.

— Сам не знаю.

— Не знаешь? Так вот что я тебе скажу: у тебя мозги от страха расплавились и завоняли, жопа ты литературная! Небось и спишь при свете, пылающий хрен!

— Хрен — непристойное выражение,— холодно заметил Дир.

— Ничего, не развалишься! — огрызнулась Фриборд.

— Грязный язык! Не говоря уже о том, что твои гнусные и мерзкие оскорбления, мисс Кто-бы-вы-ни-были, совершенно абсурдны, если не жалки!

— Зато попали не в бровь, а в глаз?

Писатель побагровел.

— Почему бы тебе не найти кого-то другого? — проныл он.— Господи, Джоани, да «Вэнитис» даст тебе кого угодно, только выбирай.

— Они и выбрали.

— Как?! Что это ты несешь?

Они сидели за столиком у окна в голландском баре отеля «Шерри». Пяти еще не пробило, и почти все остальные столики были пусты.

— Погоди,— велела Фриборд, роясь в сумочке.— Где-то тут завалялся снимок этого дома, ну просто как из ужастика. Сейчас найду.

Расстроенный, выбитый из колеи издатель «Вэнитис» украдкой метнул тревожный взгляд на дверь, через которую как раз входил очередной посетитель. Слава богу, незнакомый.

Нервно постукивая по зубам черенком незаложенной пенковой трубки, он соизволил перевести глаза на Фриборд.

— Четверо проводят ночи в доме с привидениями,— продолжала она,— и первая журнальная статья Терри, ну разве не событие?!

Официант поставил перед ней на белоснежную скатерть бокал с ледяным коктейлем «Манхэттен» и предложил издателю шардонне.

— Спасибо,— пробормотал Редмунд. В его широко открытых, чуть навыкате глазах начинала закипать зарождающаяся истерия. Как только официант удалился, он немедленно нагнулся к уху Фриборд.

— Не считаешь, что мы должны поговорить о том, что случилось на вечеринке?

— А что там случилось? — рассеянно вопросила она, все еще не оставляя попыток найти фото, но тут же резко вскинула голову, потрясенная внезапным озарением.

— Ах, ЭТО!

Ее взметнувшиеся руки накрыли ладони Редмунда, нежно сжали пальцы.

— О да, Джим! Только об этом я и хочу думать и говорить! Ну же, давай побыстрее покончим с этой статьей и вернемся к реальной жизни... то есть к нам обоим! Тебе нравится идея? Ты ее опубликуешь?

— Весьма интересная мысль, Джоан,— согласился Редмунд.

Фриборд отпустила его руки, развалилась на стуле и уныло согласилась.

— Так оно и есть.

Слишком хорошо она знала, что означает это выражение.

— Но это не совсем в духе журнала,— умоляюще пробормотал Редмунд.— Слушай, Джоан. Та ночь... просто невероятно.

— Ага.

— Поразительно. Ничего более волнующего в жизни не испытывал.

— Да, я тоже,— поддакнула Фриборд, тупо уставившись на декоративный фонтанчик как раз напротив отеля «Плаза».

— Но это ужасная ошибка, любимая, так нельзя,— промямлил Редмунд.— Я все обдумал сегодня утром, пока бегал в парке, и...

Фриборд одарила его взглядом, исполненным немого укора.

— Я никогда не оставлю жену,— твердо объявил издатель.— Просто не смогу. Следовательно, у нас нет будущего, Джоани. Только ненужная боль и страдание. Прости. Мне ужасно жаль.

Риэлтор продолжала молча взирать на него. Широко распахнутые глаза казались неправдоподобно огромными.

— Тебе жаль...— эхом откликнулась она.

Редмунд поспешно уткнулся в свое вино.

— Знаю... знаю... просто неуклюже выразился.

Услышав сдавленные всхлипы, Редмунд поднял голову и с ужасом заметил, что Фриборд давится слезами.

— А, черт,— окончательно растерялся он.

Риэлтор схватила льняную салфетку, поднесла к лицу и, казалось, тихо зарыдала.

— Я чувствую себя последним подлецом,— охнул Редмунд.— Как теперь жить в том кондо, что ты мне продала? Видеть тебя в каждом коридоре... на каждом квадратике паркета?

Признание мгновенно подогрело скорбь плачущего агента по продаже недвижимости, подняв ее на куда более высокий эмоциональный уровень, хотя кто из посторонних мог распознать смешок, поспешно замаскированный стоном неподдельной душевной муки?

Редмунд в отчаянии огляделся, пытаясь проверить, не следят ли за ними, и стал старательно выколачивать трубку.

— Слушай, Джоани, эта статья... звучит очень... очень многообещающе. Перспективный проект. Ты уверена, что Теренс сумеет это сделать?

— Редмунд не пойдет на это, если ты не напишешь статью,— пояснила Фриборд, возвращаясь мыслями к настоящему.

— Ты злобный коварный двойник Элизы Дулитл!*

— Лиза — кто?

---

* Героиня пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион».

Дир грустно усмехнулся. Жадный блеск зеленых глаз, выдвинутая вперед нижняя губка, вызывающе вздернутый подбородок с ямочкой... Воинственный маленький рыцарь... а на деле всего лишь — перепуганное дитя.

— Весь смысл твоих метаний не только в деньгах, верно, Джоани? В твоей душе мечется вечно голодный тигр, это постоянное отчаянное стремление все время быть впереди всех, первой, вечно побеждать, доказывать себе и окружающим, что ты в порядке.

— Не только в деньгах? — недоуменно переспросила нахмурившаяся Джоан.

Дверь, выходящая на веранду, громко стукнула, и в комнату ворвались два тявкающих пуделя, стуча по полу коготками. За ними явился хромой мужчина лет сорока с жестоко изуродованной стопой, слуга, нанятый когда-то Диром из жалости.

Фриборд брезгливо взглянула на пуделя, с задумчивым видом замершего у ее ног.

— И не думай,— пригрозила она,— иначе я сдеру с тебя шкуру и сделаю каминный коврик!

— Беги, Мария! — возопил Дир.— Не видишь, она убийца! Беги! Пьер, уберите их.

— Сейчас, месье,— кивнул слуга и, хлопнув в ладоши, крикнул: — Пойдем, собачки! Скорее! Пора обедать!

Песики убрались из комнаты, а слуга, тяжело припадая на больную ногу, зашаркал следом.

— Поверь, Терри, это так много значит для меня. Так много!

Писатель тряхнул своей львиной гривой. Он купил этот дом благодаря посредничеству Фриборд. Именно тогда они и познакомились. И за все эти годы она ни разу ни о чем не попросила, даже дать автограф. Его слава ничего не значила для девушки, которую он знал, хотя она по-своему горячо его любила. Он всмотрелся в ее глаза, пытаясь обнаружить глубоко запрятанную сердечную боль, которую она научилась так ловко прятать за стальным блеском самоуверенности и неуязвимости.

— Так много,— безнадежно повторила она.

— И сколько мы должны там пробыть?

— Пять дней.

Она объяснила, что доктор Гэбриел Кейс, психолог, профессор и эксперт по потусторонним явлениям, должен приехать туда заранее и установить специальное оборудование до их приезда. Бóльшая часть багажа тоже будет выслана вперед, а когда самолет Анны Троли приземлится в аэропорту, они возьмут лимузин и отправятся в Крейвн Коув, а оттуда катером — прямо на остров.

— Кейс уже обо всем договаривается,— докончила Фриборд.— Телефоны там, всякие приспособления и всякое дерьмо.

— Какая четкость действий!

— Да, он аккуратист, ничего не скажешь!

— *Аккуратист?*

— По крайней мере так по телефону показалось. В жизни его не видела.

— Хочешь сказать, что ты втянула его во все это *по телефону?!*

— За те деньги, что я ему плачу, мог бы и по канату походить. Ясно?

— Вот оно что! — сухо обронил писатель, вновь обращаясь к холсту.— Следовало бы сразу понять.

Риэлтор поспешно подвинулась ближе.

— Ну давай поговорим серьезно,— попросила она.

— Можно подумать, мы до сих пор шутили.

— Учти, все это время еду нам будут доставлять из «Четырех сезонов».

Кисть автора замерла в воздухе.

— Ах ты, Мефистофель!

— Значит, «да»?

Шел 1993 год.

Позже в этом придется серьезно усомниться.

ЧАСТЬ 2

Глава 3



езная парадная дверь особняка, распахнувшись, ударилась о стену, словно под воздействием злого колдовства.

— Дьявол, ну и ураган! — воскликнула ввалившаяся в холл Фриборд, отряхиваясь по-собачьи, так что с блестящей желтой штормовки, одолженной капитаном катера, во все стороны полетели брызги. За ней, сопровождаемый голодным воем ветра, вбежал Дир. Обернувшись, Фриборд увидела, как на крыльцо неспешно, словно прогуливаясь, взбирается Анна с сумкой в руке. За ее спиной виднелась монолитная серая стена дождя. Вся вода мира, казалось, обрушилась на путешественников.

— Вы в порядке, миссис Троли? — окликнула она, приложив руку ко рту.

— Да, дорогая,— отозвалась экстрасенс,— в полном.

Последнее слово почти заглушил пушечный залп громового раската. Буря разразилась совершенно неожиданно, когда они мирно направлялись к острову, и несчастный катер начало швырять из стороны в сторону, а волны каждую минуту грозили опрокинуть суденышко. Правда, по радио и телевизору передали штормовое предупреждение, но заверили, что у берега сила ветра несколько уменьшится. Этого не случилось.

— Клянусь, я задолжал тебе хорошую трепку, Джоан,— буркнул Дир, бросив на пол легкую сумку.— Так и знал, что следовало гнать тебя из дома в три шеи.

— Отступать некуда,— сообщила Фриборд.— И придержи язык ради всего святого, особенно при этих людях! Я только что на коленях не стояла, чтобы их уговорить!

— Благодарение Богу, что меня не пришлось долго упрашивать!

Фриборд стащила непромокаемую шляпу и показала на открытую дверь, где все еще сражалась со ступеньками экстрасене.

— Терри, помоги миссис Троли.

— Сейчас.

Дир свободной, несколько расслабленной походкой грациозного жирафа направился к женщине и потянулся к ее сумке.

— Могу я вам помочь?

— О нет, благодарю. Я всегда путешествую налегке.

— И то верно. Тамбурины почти ничего не весят.

— *Терри!!!*

Троли наконец вошла, сняла шляпу и опустила на пол сумку.

— Ничего,— благосклонно бросила она Фриборд.— Считайте, что я не слышала.

По правде говоря, она достаточно наслышалась от Дира во время поездки в лимузине, включая требование сравнить методы ее и Вупи Голдберг в фильме «Призрак», а также настойчивые расспросы относительно содержания холестерина в эктоплазме. Но Троли на каждую шутку лишь кивала головой и слегка улыбалась, безмятежно глядя на расстилавшийся за окном машины пейзаж. Ее видимое равнодушие, очевидно, действовало на Дира, как красная тряпка — на быка. Его упражнения в остроумии становились все изощреннее, а рассуждения по поводу сверхъестественного и непознанного — все ехиднее.

— Если верить газетам,— сообщил он, когда лимузин приближался к Беар Маунтинз,— Эдгар Кайт впервые впал

в транс лишь потому, что не хотел идти в школу, а потом обнаружилось, будто лягушка, которую он держал в кармане, каким-то образом излечилась от мононуклеоза, что, разумеется, вызвало настоящую сенсацию.

И так далее, и тому подобное. Слава богу, они наконец на месте.

Фриборд осмелилась подбежать к двери и захлопнуть ее. В воцарившейся тишине до Дира вдруг донеслась музыка.

— Господи Иисусе, неужели я попал на небо! — воскликнул он.— Коул Портер!

Лицо писателя осветилось детской радостью, едва из-за массивных дверей гостиной раздалась знакомая мелодия. Кто-то играл на фортепьяно.

— Моя любимая! — просиял он.— «Ночь и день»!

— Это вы, док? — окликнула Фриборд.

— Мисс Фриборд?

Глубокий приятный голос, как ни странно, не приглушали даже толстые створки. Фриборд немедленно отправилась в гостиную. Все лампы были зажжены, и уютный свет переливался на ореховых панелях, а в камине весело потрескивало пламя, вторя чарующим пассажам. Фриборд с наслаждением вдохнула запах горящей сосны. Буря словно осталась в ином измерении.

— Да, мы уже здесь,— кивнула она пианисту и с улыбкой двинулась вперед, сбрасывая на ходу штормовку, с которой капала вода. За ее спиной возник Дир, а потом и Анна медленно вплыла в комнату. Насквозь промокшие сапоги Фриборд противно чавкнули.

— Ну вот, главное, что все живы и здоровы,— обрадовался Кейс.— Очень рад. Я уже начал волноваться.

Фриборд невольно отметила, что профессор совсем недурен собой: длинные волнистые черные волосы обрамляли точеное лицо, словно принадлежащее какой-то древней статуе. Отблески огня плясали в его глазах. Темные... только какого вот цвета, не понятно. И немолод: лет сорок

восемь—пятьдесят. Одет в брюки хаки и такую же рубашку с короткими рукавами.

— Совершенно безумный ураган! — воскликнул он.— Не вы, случайно, заказали эту погоду, мистер Дир? Признайтесь, это вы всему причиной!

Дир был известен своими готическими романами.

— По-моему, я заказал всего лишь «Чивас Ригал»,— сухо пояснил писатель.

Он и Фриборд остановились у рояля, пока Анна с нерешительным недоумением оглядывала комнату.

— Вы призрак? — обратился Дир к пианисту. Фриборд, не веря собственным ушам, обернулась к нему.

— Что за бред? — раздраженно прошептала она.

— Давно не была в Диснейленде? — громко продолжал писатель.— Там так и устроено: когда проезжаешь по долине привидений, куча духов танцует, а самый большой играет на фортепьяно.

— Я удушу твоих шавок, фе-е-ек! — прошипела Фриборд.

Анна Троли опустилась в мягкое кресло и вперилась взглядом в человека за роялем.

— Я Гэбриел Кейс,— представился он, вставая.— Искренне почтён вашим приездом, мистер Дир и миссис Троли.

— Пожалуйста, играйте,— настаивал Дир.

— С удовольствием.

Кейс снова сел и стал играть «Всю ночь напролет». Фриборд беззастенчиво пялилась на него. Теперь она наконец разглядела, что глаза у него черные, как ночь, и даже мимолетный взгляд, казалось, пронзал насквозь. Но самой странной и отличительной приметой был иззубренный, как молния, ярко-красный шрам, тянувшийся по щеке почти до подбородка. За окнами снова глухо ударил гром; дождь монотонно бил по окнам, как меланхоличное сопровождение песни.

— Итак, мисс Фриборд,— продолжал Кейс, ослепительно улыбаясь. В точности, как гребаный архангел! — Очень

рад увидеть ту, с кем столько наговорил по телефону. Должен признаться, вы настоящая красавица.

— Давно вы здесь? — даже не поблагодарив, осведомилась Фриборд.

— Целую вечность. Что с вами, мисс Фриборд? Вы хмуритесь.

— Вы совсем не похожи на ваше фото,— пробормотала она, подходя ближе и пристально в него всматриваясь.— То самое, что на обложке книги.

— «Призраки и привидения»?

Фриборд кивнула.

— Они хотели создать зловещую атмосферу,— пояснил он,— и поэтому сняли меня под каким-то странным углом и в скудном освещении.

— Наверное, так и есть,— с сомнением признала Фриборд.

— Я читал все ваши романы, мистер Дир,— восторженно изливался Кейс.— Чудесные произведения. Клянусь, редко приходится читать книги, написанные с таким проникновением в мир героев.

— Благодарю.

— Но лучше всех «Исповедь Гилроя»,— заключил Кейс, поднимая руки с клавиатуры и глядя на Фриборд.

— Опять вы мрачны как ночь,— шутливо посетовал он.— Что случилось?

Она поняла, что снова хмурится.

— Такое бывало и раньше,— уклончиво заверила она.

Но Кейс, словно не слыша, повторил:

— Что же все-таки неладно?

— Знаете, такое странное чувство... называется «дежа вю». Только и всего.

— Здесь для этого не время и не место,— рявкнул Дир.

Кейс хмыкнул. «Интересно, что тут смешного?» — подивилась Фриборд. Писатель тем временем всмотрелся в картину, висевшую над камином: огромный, в человеческий рост портрет мужчины в костюме времен тридцатых годов. И хотя работа, несомненно, принадлежала кисти да-

ровитого живописца, и фигура, казалось, вот-вот сойдет со стены, лицо словно расплывалось, представляя собой неясный, как бы затянутый дымкой овал.

— Кто это? — спросил Дир. Кейс поднял голову.

— Доктор Эдвард Куондт, первый владелец.

— Но почему лицо совершенно не прописано? — возмутился Дир.

Никем не замечаемая Троли тоже воззрилась на картину.

— Да,— кивнул Кейс,— странно. Очень странно.

— Все дело в прическе,— задумчиво протянула Фриборд.

— Да,— продолжала она,— ну конечно, прическа.

— Хелло! — Звук теплый и бархатистый, как старое вино, как поле темно-красных цветов, поплыл по комнате, принося с собой дыхание какой-то неопределимой эмоции, вроде воспоминания о давно прошедшем лете...

Выражение лица Кейса мгновенно изменилось. Похоже, он сразу же забыл о присутствующих.

— А, вот и снова ты, Морна,— едва слышно произнес он.

В гостиную медленно, словно скользя по полу, вошла стройная гибкая молодая женщина, с чуть склоненной набок головой. Каждое движение было исполнено бессознательной грации, словно у сказочного персонажа из фантастических снов. И хотя черты ее лица были неправильными, слишком резкими, скулы торчали, а тяжелый подбородок выдавался вперед, она производила впечатление неотразимо чувственной красавицы. Даже ее костюм казался необычным: широкая фиолетовая юбка из тафты, расписанная вьюнками, белая блузка и красный галстук-шнурок. При ближайшем рассмотрении оказалось, что ее кожа покрыта золотистым загаром, а широко поставленные светло-зеленые глаза переливались, как два изумруда, создавая почти пугающий в своей прелести эффект. Кейс медленно встал.

— Да,— кивнула она, останавливаясь перед ним,— я приехала.

Длинные черные волосы каскадом спускались на плечи, издавая аромат утренней свежести и гиацинтов. Кейс на секунду позабыл, где находится.

— Морна, это наши гости,— выговорил он наконец.— Мисс Фриборд, мистер Дир.

— Как поживаете? — вежливо спросила девушка, словно вбирая их взглядом.

— И миссис Троли,— добавил Кейс, показывая на экстрасенса.— Миссис Троли — ясновидящая, Морна.

Девушка повернулась и обдала Троли зеленым пламенем глаз. Так продолжалось несколько минут, после чего она вновь отвернулась и слегка кивнула.

— Да, мистер Кейс.

— Морна — моя экономка,— объяснил Кейс.— На острове, как вы знаете, больше никто не живет. Уединенное местечко. Морна любезно согласилась пока присмотреть за домом.

— Разве в деревне на той стороне мало народу? — чуть напряженнее, чем нужно, поинтересовался Дир, едва не сорвавшись на визг.

— Есть,— согласился Кейс,— но...

Он поколебался, молча изучая лица окружающих.

— Что же? — резковато подхватил Дир.

Кейс взял у писателя штормовку.

— Да вы совсем промокли. Позже обо всем поговорим, после того как получше познакомимся. А пока вам, разумеется, не терпится переодеться. Морна, будь добра проводить наших друзей в спальни наверху.

— Ваши волосы на снимке длиннее,— выпалила Фриборд, снова разглядывая Кейса.— Вот в чем разница.

Кейс едва заметно улыбнулся ей, и Фриборд только сейчас заметила в его глазах некую затаенную симпатию, смешанную с терпеливой печалью.

— Да,— кивнул он,— вы правы.

К полудню дождь опять усилился, и Фриборд уныло мерила шагами комнату. Прижав к уху трубку и то и дело откидывая мешавший телефонный шнур, она монотонно выдыхала:

— Это бред!

Если не считать чердака и подвала, комнаты особняка были расположены на трех уровнях. Спальни отважных исследователей находились вдоль по коридору второго этажа, над гостиной. Фриборд разместилась ближе всех к лестнице, в просторной светлой комнате с камином, высокими сводчатыми потолками и тяжелыми деревянными балками перекрытий. Вот только оба окна оказались длинными и узкими, так что лампы у постели были зажжены, освещая разинувший пасть зеленый кожаный чемодан от Гуччи, валявшийся на широкой деревянной постели с резными спинками и стеганым покрывалом. Фриборд так и не позаботилась сменить одежду и все еще оставалась в рубашке и джинсах из варенки. Переступив порог комнаты, она горячо возблагодарила Бога за то, что они добрались и все идет по плану. Неужели ей все удалось?!

Вся словно на иголках от возбуждения, она не находила себе места и позаботилась только стянуть мокрые сапожки и надеть сухие шерстяные носки. И сейчас она с удовольствием пошевелила пальцами, прислушиваясь к гудкам на другом конце линии. Гипнотически равномерные и тихие, они казались зовом, доносившимся с того света.

Наконец Фриборд отняла трубку от уха и недоуменно на нее уставилась. Странно, она звонит в свой офис, но никто не отвечает!

Она набирала снова и снова, пока не насчитала до пятидесяти гудков.

— Иисусе! — пробормотала она наконец, швырнув трубку на рычаг.— Блин, это просто невозможно!

Она, подбоченившись, уставилась на телефон, как на врага, но в этот момент лампы, мигнув, на сотую долю

мгновения погасли, прежде чем снова загореться. Фриборд зловеще прищурила глаза.

— На меня это дерьмо не действует, можешь не стараться!

За стеной раздалось постукивание. Но на Фриборд и это не произвело впечатления. Вслед за шумом послышался приглушенный голос Дира:

— Ты здесь?

— Нет.

— Мне кажется, что эта стена полая.

— Чушь.

— В твоей комнате есть окна?

— А тебе что?

— Мне воздуха не хватает. И все время какие-то скрипы и шорохи.

— Поменьше ходи. Пол старый, деревянный, вот и рассохся.

— Бессердечная сука!

— Так и есть.

На этот раз стук донесся с другой стороны.

— Эта стена определенно полая,— еще больше встревожился Дир. Фриборд скривила губы и сузила глаза.— Черт побери, именно этого я и опасался!

Риэлтор решительно шагнула в коридор и, бесцеремонно ворвавшись в соседнюю комнату, захлопнула за собой дверь.

— Слушай, ты, непроявленный талант, Кассандра недоношенная,— начала она.

Дира передернуло. Он стоял, прижавшись ухом к стене, высоко подняв круглое каменное пресс-папье, и в своем белом норковом халате до самого пола представлял собой весьма комическое зрелище. Фриборд мгновенно ринулась в атаку.

— Ты еще помнишь, почему мы здесь? — возопила она, метнувшись к нему. Дир свысока оглядел ее.

— Чтобы взломать двери и поживиться здешним добром?

— Чтобы обелить фе-е-екинг репутацию этого долбен дома,— процедила она, ловко выхватив пресс-папье у Дира.— И завязывай с простукиванием и тому подобным дерьмом. Подумать только, а я-то считала тебя закоренелым атеистом.

— Я тоже так считал. Неужели не видишь, что я дразню тебя, бесценная? А ты, разумеется, схватила наживку, как изголодавшаяся форель.

— Ах вот как?

Дир величественно выпрямился.

— Успокойся. Я из усомнившихся.

И, протянув ладонь, грозно потребовал:

— Ну а теперь будь добра вернуть мой счастливый амулет.

Фриборд взвесила пресс-папье на руке.

— Куда приложить прикажете?

— Я уже установил таймеры на каждую камеру,— пояснил Кейс, добавляя сливки в кофе.— Только не споткнитесь, их много.

Он сидел на дальнем конце прямоугольного стола, среди остатков аппетитного второго завтрака, включавшего квише из бекона с луком, креветок в горчично-кокосовом соусе, десятка сортов джема и выпечки. Крошки круассанов усеяли скатерть, на которой валялись измазанные маслом ножи. На противоположном конце восседал Дир, рядом с ним Фриборд. Троли предпочла устроиться поближе к Кейсу. Экстрасенс переоделась в прозрачное бирюзовое платье; от волос веяло жасмином.

— Кроме того, я велел включить все телефоны,— продолжал Гэбриел.— Учтите, номер очень легко запомнить: 914-21-21. Ну а пока делать абсолютно нечего, кроме как расслабиться, но держать ушки на макушке, и если заметите что-то необычное, немедленно сообщайте мне.

В наступившем молчании был слышен лишь непрекращавшийся стук дождевых капель по стеклам. Наконец Дир откашлялся.

— Вам удавалось когда-нибудь снять привидение на пленку?

— Никогда.

— Что же, по крайней мере честно,— признал автор. Кейс попробовал кофе и отставил чашку, чуть звякнувшую о блюдце.

— Мистер Дир,— заметил он,— надеюсь, вы не оскорбитесь, но я нахожу, что маска служит несколько отвлекающим фактором.

— Возможно, у вас Синдром Расстройства Внимания. (Дир отчего-то решил напялить маску Призрака Оперы.) Фриборд скрипнула зубами и ловко сорвала с него маску.

— Спасибо,— спокойно поблагодарил Дир.

— Не за что,— отпарировала Фриборд с театральным вздохом, качая головой.

Дир извлек из кармана транзисторный магнитофон и положил перед собой на стол.

— Доктор Кейс, вы не возражаете, если я запишу это?

— Нет, разумеется, нет. Прекрасная идея. Валяйте.

Дир нажал кнопку; красная точка мгновенно налилась багровым светом и замигала.

— Ну вот,— провозгласил Дир.— Оружие к бою, мистер Никербокер*.

Кейс, положив локти на стол, подался вперед.

— Все знают историю этого дома? — вопросил он, обшаривая взглядом их лица.

— Я не знаю,— едва слышно выдохнула Анна. За обедом она почти не обмолвилась словом, ответив только на вопрос о путешествии и о своем последнем удачном деле, связанном с поисками пропавшего ребенка в Суррее. Зато не сводила пристального взгляда с Кейса.

---

* Персонаж новелл амер. писателя Вашингтона Ирвинга, один из первых жителей Нью-Йорка, перен. летописец.

— Он был...

— Построен доктором Куондтом,— докончил Дир,— в середине тридцатых для его прелестной жены, которая, как он посчитал, оказалась неблагодарной и наградила его ветвистыми рогами, что и побудило доброго доктора стремительно и зверски разделаться с изменницей.

— Вижу, вы хорошо приготовили домашнее задание, мистер Дир.

— Я знаю только то, что рассказала Джоани,— пожал тот плечами.

— Да, Куондт слыл человеком жестоким,— подтвердил Кейс.

— Неудивительно,— согласился Дир.— По-моему, все хирурги таковы, именно поэтому и избрали такой род занятий; нормальные люди вряд ли способны резать живого человека на куски, а через минуту с аппетитом лопать «Бит Мак» с жареной картошкой.

— Согласен, вряд ли.

— Грубо и пошло,— добавил Дир.

— Возможно. Только Куондт не был хирургом,— объяснил Кейс.

— Не был?

— Нет. Куондт был известным психиатром.

Автор обратил холодный бесстрастный взгляд на риэлтора.

— Кроме того, Куондт был маниакальным ревнивцем,— продолжал Кейс.— «Врачу, исцелися сам», тому подобное. Жена была гораздо моложе, и он страстно ее любил.

— Как ее звали? — полюбопытствовал Дир.

— Райга,— обронил Кейс и повернулся к Морне, бесшумно появившейся у стола с серебряным кофейником в руках. Но когда она попыталась вновь налить ему кофе, Кейс быстро прикрыл ладонью чашку.

— О нет, спасибо, дорогая, с меня хватит.

— Кому-нибудь еще? — спросила Морна, оглядывая стол.

— Да, мне немного, пожалуйста,— потребовал Дир. Морна направилась к нему.

— Он встретил Райгу в мюзик-холле,— поведал Кейс.— Она работала там танцовщицей. Ее родители были румынскими эмигрантами, чуть ли не цыганами. Девушке едва исполнилось шестнадцать.

— Совсем юная,— поддакнул Дир и, лизнув кончик пальца, придавил самую большую крошку круассана, а потом отправил в рот. Морна все еще стояла, наклонившись над его чашкой.

— И как же он прикончил ее? — продолжал допрашивать он.

— Удушил.

Дир испустил дикий вопль. Морна охнула, но тут же прикрыла рот рукой: каким-то образом она промахнулась, и кофе вылился на колени Теренсу.

— О, какая я неуклюжая! Простите, умоляю.

Дир пытался промокнуть пятно салфеткой.

— Все в порядке, дорогая. Ничего страшного. Пустяки.

— Видишь, Морна? — вставил Кейс.— Он прощает тебя.

Девушка повернулась, молча встретила его странный пристальный взгляд и, опустив голову, тихо пробормотала:

— Знаю.

И пока наполняла чашку Дира, успела на миг встретиться глазами с невозмутимой Анной Троли.

— Можете идти, Морна, больше ничего не нужно,— велел Кейс. Девушка кивнула и направилась на кухню.

— Возвращаясь к истории дома, скажу только, что он был построен в 1937-м,— возобновил рассказ Кейс.— В 1952-м приключились эта трагедия, и гибель Куондта, очевидно, от собственной руки. Права владения перешли к сыну, Реджису Куондту, которому в то время было всего двенадцать. Мальчика взял к себе брат Куондта, Майкл. Реджис умер в двадцать лет, наследство досталось сначала Майклу, а потом его сыну, Полу Куондту. С 1954 года все хозяева безуспешно пытались его продать. Несколько раз

его сдавали в аренду, но ненадолго: временные жильцы либо спешно уезжали, либо отправлялись на тот свет, включая тот период в конце пятидесятых, когда там обосновался монашеский орден. К сожалению, монахини одна за другой пали жертвой так называемого «кликушества», наблюдавшегося триста лет назад среди обитательниц французского монастыря Лоден. Настоятельницу же нашли повешенной на деревянной потолочной перекладине. Это было в 1958-м. С тех пор дом стоял пустым до 1984-го, когда Пол Куондт, человек, унаследовавший значительное состояние и довольно известный историк, перебрался сюда вместе с женой и тремя маленькими детьми. Но духи и их не оставили в покое. По ночам раздавались шум, оглушительные стуки в стену и кое-что еще...

Тут Кейс осекся и не стал уточнять, что именно.

— Но в 1987-м,— продолжил он,— все эти неприятные потусторонние явления прекратились, и спокойствие продолжалось до 1990 года, когда Куондты переехали в Италию, решили навсегда там остаться и вновь выставили и остров, и особняк на продажу. Но репутация дома уже стала широко известна. Вот и все повествование об этой обители привидений.

— Значит, все началось с задушенной жены,— протянул Дир.

— Верно,— согласился Кейс.

— Вероятно, ее дух до сих пор не нашел упокоения? Печальные вздохи и стоны в коридоре по ночам? Или стук трубки, выбиваемой о чьи-то зубы?

Фриборд незаметно выставила средний палец в сторону Дира.

— О том, что Куондт курил трубку, мне ничего не известно, мистер Дир,— мягко возразил Кейс, глядя на море.

— Хотите сказать, что это он здесь бродит?

— Возможно,— пожал плечами Кейс, взяв шоколадку с маленького серебряного подноса.— Видите ли, большинство жертв оказывались женщинами.

Дир смертельно побледнел.

— Жертвы? Какие жертвы? Хотите сказать, *мертвецы?!*

— Почти.

Фриборд вздохнула и нервно заерзала на стуле.

— Мы теперь только об этом и будем рассуждать?

Глаза риэлтора заволокла откровенная скука.

— И, разумеется, все несчастные умерли от страха? — напряженно пробормотал Дир.

— Только одна. Три покончили с собой,— сообщил Кейс.— Две сошли с ума.

Писатель повернул голову и вызывающе уставился на Фриборд.

— Какой-нибудь бессовестный риэлтор, вероятно, сдавал эту проклятую развалину психам и депрессивным хроникам.

— Мистер Дир, похоже, вы находите оправдания здешним несчастьям. Не может такого быть, что вы все-таки втайне верите в духов?

— Да мое неверие пушкой не пробьешь, мистер Кейс, можете не сомневаться! Чтобы стащить меня с постамента моих убеждений, потребуется больше тросов, чем те, на которых подвешен мост Золотые Ворота!

— Да, Дир — настоящий Фома Неверующий,— подтвердила Фриборд, полузакрыв глаза.

— Точно,— подтвердил Дир.— Но умоляю просветить меня и моих читателей: если такие явления, как призраки, все же существуют, почему, вместо того чтобы вознестись в небеса, к вечному блаженству, они упорно шатаются и шныряют по старому дому, до смерти надоедая всем и выставляя себя настоящими чирьями на заднице?

Кейс поднял брови.

— Миссис Троли, что скажете?

Но экстрасенс уклонилась от объяснений, опустив глаза и покачивая головой, пока не услышала тяжкий нетерпеливый вздох Фриборд, позволившей себе наконец закрыть глаза: полночи она металась и проснулась окончательно в

четыре утра. Кейс мельком взглянул на нее и повернулся к Диру.

— Кто знает? — начал он.— Предположим, что вы убеждены, мистер Дир, будто смерть — это конец вашего сознательного существования. Вы умираете, но при этом обнаруживаете, что по-прежнему находитесь в полном сознании, так что для вас первое мгновение после кончины ничем не отличается от только что минувшего. Признайтесь, так ли уж странно звучит, если некоторые из нас просто не заметили собственной смерти?

— Я заметил бы,— настаивал Дир.

— Точно, он уже три месяца как не существует, иначе выписал бы самому себе предупреждение об увольнении с этого света,— пробормотала Фриборд в полусне.

— Джоан, я ставлю в журнале пометку о твоем отсутствии,— фыркнул Дир, ткнув ее пальцем в бок. Фриборд резко вскинула голову и открыла глаза.

— Да, что случилось? — буркнула она, стараясь изобразить интерес к беседе.

— Доктор Кейс предполагает, что призраки не верят в собственную кончину и в существование духов. Какая тонкая ирония, не считаешь?

— Потрясно!

— Ну, я так и думал!

— И перестань пялиться.

— Я не пялюсь.

— Пялишься. Кончай, Терри!

— Обязательно,— пообещал писатель и обратился к Кейсу.

— Но в таком случае почему бы какому-нибудь милосердному ангелу не спуститься с неба и не приказать этим духам проснуться и прийти в себя?

— Неплохая мысль. Может, им еще предстоит это испытать.

— По-моему, не знать, что ты мертв,— поистине вопиющее невежество.

— А что, если призраки просто не желают отрешиться от своих привязанностей? — предположил Кейс.

— Например, к счастливым амулетам,— вспомнила Фриборд.

Дир проигнорировал укол.

Кейс устремил взгляд в сторону Троли.

— Я имел в виду скорее *эмоциональные* привязанности. Вы так не думаете, миссис Троли?

Анна снова поспешно опустила глаза, покачала головой и мягко ответила:

— Не знаю.

— А что именно вы знаете? — взорвался Дир.— И что именно *делаете*, миссис Троли, в жизни не видел столь молчаливой особы! Надеюсь, вы хотя бы говорите с духами?

Прославленная экстрасенс встала.

— Прошу извинить, я на минуту.

— Разумеется,— пробормотал Кейс со смущенным видом.

— Ты не сказала, что она настолько чувствительна, просто упомянула о том, что она не то медиум, не то телепат.

— Терри, ты хуже любого геморроя,— прошипела Фриборд.

— Я всего лишь собиралась принести воды,— криво улыбнулась экстрасенс и, открыв дверь, исчезла на кухне.

— Я уважаю и обожаю вас! — прокричал ей вслед Дир.— Целую вашу эктоплазму!

— Может, стоит на этом закончить, мистер Дир? — предложил Кейс.

— И на Фому Неверующего найдется пуля,— прорычала Фриборд.

Троли подошла к двойной раковине, где мыла посуду Морна, и робко попросила:

— Нельзя ли мне чистый стакан? Я бы хотела воды.

Экономка молча вымыла руки, вытерла и, отыскав в серванте стакан, наполнила водой. Троли пристально следила за ней.

— Вы давно служите у доктора Кейса?

— Много лет,— бесцветным, как вода, голосом, выговорила Морна и, закрыв кран, вручила стакан Троли.

— Работать в такой атмосфере — одно удовольствие,— заметила экстрасенс.— Доктор Кейс живет поблизости от студенческого городка, не так ли, Морна?

— Совсем рядом.

— А вы?

— Очень далеко,— обронила Морна, возвращаясь к своему занятию.

— Спасибо за воду.

— Пожалуйста.

Постояв еще несколько минут, Троли резко повернулась и покинула кухню. Морна подняла голову и проводила ее непроницаемыми зелеными глазами-льдинками.

Вернувшись в столовую, Троли обнаружила, что мужчины опять затеяли оживленный спор о призраках, а Фриборд по-прежнему дремлет.

— Доктор Кейс,— вещал Дир,— при всем моем уважении к вашему уму и знаниям я вынужден спросить: вы действительно утверждаете, что призраки на самом деле существуют?

— Мистер Дир,— отозвался Кейс,— при всем почтении к вашему литературному гению я позволю себе заметить, что механистическая концепция Вселенной, созданная по образу и подобию часового механизма,— величайший предрассудок нашего времени. Знаете ли вы последние теории квантовой физики? Ученые утверждают, что атомы невещественны и скорее представляют собой «процессы» и, следовательно, иллюзорны, что электроны способны перескакивать с места на место, не пересекая пути от одной точки к другой, а позитроны — это, собственно говоря, электроны, путешествующие обратно во времени, и что субатомные частицы могут сообщаться на расстоянии триллионов миль без наличия всякой связи между ними. Существуют ли призраки? Рядом с нами? В этой комнате? За этим столом? Кто может сказать? Но в мире, подобном

только что описанному мной, наверняка найдется место для такой вещи, как неожиданность, или, проще сказать, сюрприз.

Пока Дир размышлял над ответом, послышался негромкий, но отчетливый стук. Взгляды всех присутствующих устремились к центру дубового стола, именно сюда ударил невидимый палец. Несколько минут никто не нарушал молчания.

— Черт! — пробормотала наконец Фриборд.

Троли с благожелательной снисходительностью воззрилась на нее.

Дир откашлялся, неестественно выпрямился и, не сводя глаз с середины стола, поинтересовался:

— А вы когда-нибудь видели привидение, доктор Кейс?

— О, я постоянно.

Заметив, что Кейс улыбается, Дир укоризненно покачал головой.

— О, нехорошо уходить от ответа! Серьезно, сэр, как насчет призраков?

— Карл Юнг, великий психиатр, видел одного.

— Шутите!

— Нет, видел, прямо в своей постели.

— Ах, некоторые люди ради рекламы в газетах скажут все что угодно!

— Юнг считал, что мертвые вовсе не пребывают в отдельном от живых месте. По его теории, они находятся в некоем мире, сосуществующем параллельно нашему, но остающемся невидимым, поскольку находится на более высоких частотах. Все равно что лопасти вертолета, которые вертятся с такой быстротой, что их нельзя разглядеть.

— Хотите сказать, что жизнь после смерти — всего лишь альтернативная форма существования?

— Мистер Дир,— с улыбкой упрекнул доктор.

— Догги, р-р-р, тяв! — злобно рявкнула Фриборд и, сделав страшную гримасу, скосила глаза и чиркнула пальцем себя по горлу.

Дир взглянул на нее из-под полуопущенных ресниц, но, проигнорировав угрозу, вновь обратился к Кейсу:

— Доктор Кейс, предположив на момент невероятное, позволю себе спросить: что, во имя Господа Бога, заставляет вас считать, будто любой дух будет скандалить или вытворять все, что в голову взбредет, только потому, что мы собрались здесь с определенными намерениями?

— О, ничего определенного,— пожал плечами Кейс,— но я составил схему всех неприятных происшествий в «Где-то Там», и выяснилось, что почти все они случались приблизительно в одно время года.

— Когда именно? — полюбопытствовала Фриборд, подавив зевок.

— Июнь. В самом начале. Вот как сейчас. Приблизительно в это время.

Никто не ответил. В мертвом молчании слышалось только позвякивание ложки, которой Кейс с рассеянным видом помешивал кофе. Фриборд смерила Дира подозрительным взглядом и с отвращением отметила, что тот, похоже, затаил дыхание. Но Дир довольно быстро оправился и громко прочистил горло.

— Те люди, которые, по вашим словам, спятили,— справился он у Кейса без малейшего намека на обычный издевательский тон,— они живы? Есть ли какая-то возможность их расспросить?

— Да, одна женщина, Сара Кейси. Находится в психиатрической больнице Бельвью. Боюсь, правда, что психика бедняжки полностью разрушена. Она настаивает, что черные существа живут в стенных пустотах.

Писатель растянул бескровные губы в вымученной улыбке.

— *Полые стены?* — глухо выдавил он. Кейс кивнул.

Фриборд одним движением натянула маску Призрака на лицо Дира.

После обеда Анна Троли вернулась к себе, словно в полусне села на кровать, сжимая серебряную рамку с фотографией девочки с ямочками на щеках. Мелькающие тени, отбрасываемые бегущей по стеклу водой, крались по ее бледному лицу, словно отблески умирающего дня. Наконец она положила снимок на ночную тумбочку, где уже стоял маленький будильник — медный квадратик с красными цифрами, купленный, когда Анна занималась в Швейцарии поисками серийного убийцы. Она отметила время: час, четырнадцать минут. Кейс и Дир все еще спорили внизу, а Фриборд пошла в свою спальню немного отдохнуть. Анна встала, подошла к узкому письменному столу под залитым дождем окном, выдвинула деревянный стул с высокой спинкой, села и вынула из ящика стола серебристую авторучку и переплетенный в мягкую розовую кожу дневник с венком из цветов лаванды в центре. Медленно сняв колпачок, она раскрыла дневник, совсем новый, издающий слабый запах клея и бумаги. Аккуратным почерком, большими круглыми буквами Анна начертала на самом верху, тихо скрипя пером:

«Где-то Там».

Перевернув страницу, она посмотрела на часы, отметила дату и время и сделала первую запись:

«Наконец я очутилась в "Где-то Там". Неприветливый и отталкивающий снаружи, теплый внутри. И все же здесь ощущается некий разрушенный покой, нечто разоренное, сломанное, хотя понятия не имею, что бы это могло быть. Джоан Фриборд, девушка-риэлтор, весьма оригинальная особа, и я уже прониклась к ней симпатией: она постоянно вызывает во мне внутреннюю улыбку. И хотя это открытие, возможно, шокирует его, я обнаружила, что и Теренс Дир мне нравится: такой забавный, хоть и с израненной душой, словно вся скорбь мира легла на его плечи. Доктор Кейс, как и ожидалось, настоящий профессионал и к тому же неотразимый красавец.

Однако я чувствую окружающую его ауру опасности, к тому же он просто излучает какую-то тайну. Это особенно заметно каждый раз, когда появляется его домоправительница Морна. Она все время застает его врасплох. Почему? И почему он так подчеркнуто сообщил ей, что я ясновидящая? А когда она впервые вошла, он воскликнул:

— Вот и снова ты!

Что, спрашивается, он хотел этим сказать? Может, просто оговорился, кто знает? Я чувствую, как меня влечет к этому человеку; наверное, поэтому и решила приглядеться к Морне. (Я все еще не могу поверить, что шастала по всему дому, желая обнаружить, действительно ли девушка живет здесь. Стыд и позор!)

Но я обнаружила, что не в силах проникнуть через возведенные Кейсом защитные барьеры: все мои усилия и попытки отскакивают от них, словно камни с поверхности водоема, в глубинах которых таится некий Левиафан. Тщетны все мои старания решить эту головоломку. Я постоянно терплю неудачу. Вероятно, потому, что путешествие оказалось слишком утомительным, и я все время брожу, как растерянный путник, сбившийся с дороги. Остается надеяться, что недолгий отдых прояснит мой разум и рассеет туман. Сны. Как я их ненавижу! Потому что неминуемо приходится проснуться. Какая из шекспировских героинь молила о сне?»

Троли хмуро глянула в мутное окно глазами-озерами, полными грустной мудрости, резко повернулась и, наклонив набок голову, прислушалась. Воздух в комнате дрогнул, заструился знойным маревом, как при слабом подземном толчке. Экстрасенс не шевелилась. Ничего. Она вновь склонила голову к дневнику.

«Вполне возможно, здесь действительно что-то происходит. Либо это, либо я полностью теряю свой дар.

Но я только что слышала голос мужчины, говорившего на латыни. Здесь. В этой комнате. Не почуяла. Слышала. Я могу перевести слова, хотя и не понимаю их смысла:

— Я изгоняю тебя, нечистый дух...»

Внизу, в уютной, обшитой панелями тикового дерева библиотеке, набитой книгами и памятными сувенирами, привезенными из бесчисленных путешествии, Гэбриел Кейс настраивал телевизор, пока Дир лениво наблюдал за его действиями с мягкого дивана.

— Сплошное статическое электричество,— раздраженно пробормотал Кейс. На экране действительно не было изображения: только крупный «снег».

— Включите другой канал,— посоветовал Дир.

— Уже перепробовал каждый.

Кейс снова поочередно нажал на переключатели и, выключив телевизор, сел рядом с Диром.

— Возможно, виновата буря,— заметил он,— по крайней мере я на это надеюсь. Мастера сюда калачом не заманишь. Ни за какие коврижки.

— Я попросил бы вас не говорить подобные вещи,— прошипел Дир.

— Какая разница? Здесь вот уже сколько лет все спокойно.

— Потому что вот уже сколько лет дом пустует.

— И то верно. Хотите выпить? У нас есть все,— объявил Кейс, показывая на встроенный в угол бар из натертого до блеска дуба с темными пятнами. Такие же резные стульчики были расставлены вдоль изогнутой стойки.

— Слишком рано,— отказался Дир.— Господи, еще трех нет.

И, взглянув на часы, добавил:

— Ошибся, восемь минут четвертого.

— Хотите послушать историю Юнга и его призрака? — с невинным взглядом осведомился Кейс, сложив руки на животе.

— У вас весьма злое и опасное чувство юмора, доктор Кейс.

— Ничего подобного. История поистине завораживающая.

— Я бы скорее предпочел оказаться в Сараево на нейтральной полосе, между сербами и албанцами, в вышедшем из строя русском танке,— отмахнулся Дир и встал.— Прошу меня простить. Мне нужно сделать кое-какие заметки.

И без дальнейших комментариев устремился прочь. Кейс проводил взглядом писателя, скованно шагавшего к лестнице, вздохнул и, повернув голову влево, вперился взглядом в длинный зигзагообразный излом, пробежавший по стене. Треск штукатурки и дерева казался почти оглушительным. Кейс бесстрастно, безмолвно проследил, как зияющий провал медленно смыкается, и онустил голову.

— Не вовремя,— пробормотал он.

Комната задрожала.

— Чертовски действует на нервы,— проворчал Кейс.— Тот самый случай, когда левая рука не знает, что творит правая.

Он ожидал новых потрясений, но все было тихо. Пока тихо.

Глава 4

— С вами все в порядке? — спросил Кейс.

— Абсолютно,— пробормотала Троли.

— Осторожно, не споткнитесь.

— О да, спасибо.

Они открыли дверь под лестницей, спустились по каменным ступенькам в бетонный ход, узкий, темный и сырой. Кейс освещал дорогу мощным электрическим фонариком.

— Здесь, внизу, нет электричества? — удивилась Троли. Она зябко ежилась, несмотря на то что накинула по-

верх платья тонкий шерстяной кардиган.— Не может того быть!

— Есть, конечно, просто почему-то не работает.

— Вероятно.

— Сюда, миссис Троли. Пригните голову.

— Постараюсь.

Они оказались в небольшой прямоугольной каморке.

— Вот мы и пришли,— объявил он, обводя стены. Впереди высился склеп из серого камня, на дверцах которого была вырезана та же дьявольская рожа, что и на двери.

— Это сердце дома,— почти продекламировал Кейс и, не дождавшись ответа, обернулся к экстрасенсу.

— Это сделано, чтобы повеселить вас,— тихо прибавил он.— По крайней мере так говорится в старых фильмах с привидениями.

— Знаю,— кивнула Троли,— душа моя радуется.

— Ей бы следовало делать это почаще,— кивнул Кейс, направляя луч света на гнусную морду горгульи, и саркастически добавил: — Ну и милое создание, ничего не скажешь.

— Какое уродство. Именно тут он ее и похоронил?

— Не совсем,— возразил Кейс.

— Не совсем?

— Он замуровал ее внутри, еще живую.

— Господи боже,— пробормотала Троли, поежившись.

— Бесчеловечный ублюдок, простите за столь высокопарное выражение.

Троли медленно двинулась вперед, остановилась перед склепом и медленно провела рукой по резной горгулье.

— Все видите? — справился Кейс.

— Да, прекрасно.

Он встал рядом.

— Куондт тоже здесь?

— Да,— кивнул Кейс,— здесь.

— Как он умер?

— Chironex fleckeri.

Троли отняла руку и повернулась к Кейсу, но лицо его было скрыто во мраке.

— Аатынь? — выдохнула она.

— Яд морского анемона. Они обнаружили склянку с этим зельем в его руке. Здесь. На этом месте. Отрава парализует голосовые связки, потом дыхательные пути, и через час жертва умирает от удушья.

— О, как ужасно,— прошептала Троли, хватаясь за горло.

— Не говорите,— согласился Кейс.

— Но почему он избрал такой страшный способ смерти?

— Одному богу известно.

Анна, еще раз вглядевшись в темный силуэт Кейса, вновь отвернулась к склепу.

— Странное сооружение. Вы сказали, что дом построен в 1937-м?

— Да, но это уже было здесь раньше. На этом месте когда-то стоял другой дом.

— Разве?

— Эдвард Куондт снес его и воздвиг новый.

— Но склеп оставил нетронутым?

— Именно.

— А кто здесь был погребен с самого начала?

— Или что.

Анна снова встрепенулась и повернула голову. Теперь лицо его было видно чуть яснее, хотя глаза по-прежнему оставались в тени.

— Я нашел упоминание об этом в его дневнике,— негромко пояснил Кейс.— Некая чудовищно жестокая и злобная...

Он помедлил, словно подыскивая подходящее слово.

— ...сила.

В последовавшем молчании было слышно, как стукнулся об пол отлетевший со стены лепесток штукатурки. Кейс поднял голову, прислушался и снова обратился к Троли.

— Вы ощущаете что-то, Анна?

— Почему вы спрашиваете?

— Это читается в вашем взгляде.

— У меня такое чувство, будто я сто лет вас знаю. Вы кажетесь мне таким знакомым.

— Неужели?

— И все же я знаю, что мы никогда не встречались,— раздумчиво протянула Троли.

— Возможно, в другой жизни,— предположил Кейс.

— Верно. Только в прошлой или будущей?

Вместо ответа Троли в последний раз осмотрела склеп, вздрогнула и принялась застегивать кардиган.

— Давайте вернемся, я, кажется, простудилась.

— О, мне ужасно жаль.

Он направил луч фонаря в землю. Они пересекли каморку и стали медленно подниматься наверх.

— Вы действительно верите в прошлую жизнь, доктор Кейс?

— Ну к чему такие формальности.

— Хорошо,— уступила она,— Гэбриел.

— Прекрасно.

— Так верите вы или нет?

— Я согласен с Вольтером.

— Который сказал...

— Что теория неоднократного рождения ничуть не удивительнее факта рождения однократного.

Троли резко повернула голову. Его лицо было по-прежнему погружено во тьму, но теперь она разглядела его лучше. Куда лучше.

— Эй, Терри!

— Ты звала, голубка?

— Да, зайди через секундочку, ладно?

Фриборд сидела в библиотеке за письменным столом, нажимая клавиши калькулятора. Перед ней лежала стоп-

ка последних статистических отчетов по продаже недвижимости. По этому случаю она нацепила очки для чтения с толстыми линзами, Дир, стоя в гостиной перед стереоустановкой, пробегал глазами аннотацию на обложке альбома Арти Шоу; воздух согревали звуки «Начнем Бегуэн»*.

— Что тебе? — откликнулся он.— Слишком громко? Хочешь, чтобы я сделал потише?

— Нет, мне нравится. Только зайди ко мне, пожалуйста.

Дир положил альбом на место и покорно отправился к ней. Сегодня на нем были джинсы, свитер из верблюжьей шерсти и новые белые теннисные туфли. Фриборд, не поднимая головы, продолжала стучать по калькулятору.

— Ты ясноглаза и возмутительно бодра,— заметил он.

— Поспала немного. Господи, этот Кейс таки меня достал. Мне снилось, что я покинула свое тело и пошла скитаться.

— Где? По какой-нибудь стройке?

— Очень забавно! Не знаю, где-то во мраке. Темнотища непроглядная.

— Могло быть хуже. Тебя что-то тревожит, дорогая? Что у тебя на уме?

— Сегодня праздник или что-то в этом роде, Терри?

— С чего ты взяла?

— Ты пытался кому-нибудь звонить?

— Разве телефоны не работают?

— Работают, но никто не отвечает.

— Не глупи! Откуда они, спрашивается, знают, кто звонит?

Фриборд с отвращением взглянула на него и возобновила свое занятие.

— Иногда ты бываешь ужасным идиотом.

— Это дар Божий.

---

* Танец, похожий на румбу.

— Я девять раз пыталась связаться с офисом,— продолжала она,— но никто не поднимает трубку. Даже автоответчик не работает.

Она кивком головы показала на лежавшую на столе трубку.

— Видишь? Держу двадцать минут.

Дир поднял трубку, поднес к уху и, услышав отдаленный звонок, нахмурился и осторожно положил трубку на рычаг.

— Кто знает, может, какой-то телефонный террорист сообщил о бомбе и полиция всех вывела из помещения?

— А может, и нет. То же самое происходит, когда я пытаюсь заказать междугородку. Черт!

Она оторвала лист от распечатки и нервно его смяла.

Теперь придется начинать все долбаные расчеты сначала!

Дир опустил голову и сунул руки в карманы.

— Господи, как мне не хватает собак! — проныл он.

Фриборд с новой силой ударила по клавишам.

— Один семьдесят два умножить на...

Внезапно сообразив что-то, Дир встрепенулся и охнул:

— Собаки! Я забыл взять собак!

— Ничего подобного, ты их привез,— буркнула Фриборд.

Дир недоуменно нахмурился.

— Нет, пуделей здесь нет,— нерешительно возразил он.— Должно быть, я их где-то оставил.

— А я могла бы поклясться, что ты их сюда притащил,— рассеянно пробормотала Фриборд, погруженная в вычисления.

Дир с тоской взглянул на телефон. «Начнем Бегуэн» только что закончилась, и звонок в трубке казался более звучным, хотя по-прежнему невероятно далеким. Дир покачал головой, закусил губу и едва слышно спросил себя:

— Ну как же я мог забыть о моих песиках?

Глава 5

Троли прихлебывала чай с сахаром и молоком, глядя в окно на сплошную пелену дождя.

— И сколько еще это продлится? Прогноз погоды слышали?

— Нет,— покачал головой Кейс.— Ни радио, ни телевизор не работают.

— Должно быть, дело в буре. Сплошной треск и полосы.

— Да, я тоже пробовала.

Взгляды их встретились. Они сидели друг против друга в уютной утренней гостиной, расположенной рядом с кухней. Кейс взялся за ручку фарфорового чайника.

— Еще?

— Не стоит.

Кейс налил себя чая, шурша оберткой, бросил в чашку два кусочка сахара.

— И что вы об этом думаете?

— О чем?

— Да обо всем вообще,— заметил Кейс, помешивая чай.— Похоже, мисс Фриборд все это невероятно наскучило, однако именно она уговаривала меня согласиться сюда приехать.

— И меня тоже.

— Утверждала, что делает невероятно огромное одолжение какому-то другу. Забыл его имя. Ах да, кажется, Редмунд. Джеймс Редмунд.

— О!

— Вы его знаете?

— Видите ли, Гэбриел, мистер Дир долго издевался над приятелем мисс Фриборд по дороге сюда. Клялся, что видел лица куда добрее и порядочнее в злачных кварталах Гамбурга. Не об одном и том же человеке мы говорим? Он курит трубку? — полюбопытствовала Троли.

— Понятия не имею. Мисс Фриборд сказала, что он заклинал ее устроить этот эксперимент. Кстати, она вам тоже это говорила?

— Не совсем. Просто объяснила, что в доме поселились привидения и она никак не сможет его продать, даже за сущие гроши.

— Она права, к сожалению,— согласился Кейс, покачивая головой.

Они обменялись сочувственными взглядами и неожиданно разразились дружным смехом.

— Думаю, рано или поздно мы узнаем, что за всем этим кроется,— задыхаясь, пробормотала Троли.

— Обязательно. Просто уверен.

Барабанная дробь дождя внезапно убыстрила темп, и Троли повернулась к окну. Лило с такой силой, что даже деревья расплывались в кисельной дымке.

— Напоминает мне о прочитанном когда-то фантастическом рассказе,— заметила она.— О планете, где никогда не прекращался дождь. Кого хочешь с ума сведет, верно?

— Еще бы!

— Кстати, не откроете ли, каким образом вы стали знатоком в области сверхъестественного?

— Причиной всему стала смерть,— глухо отозвался Кейс.

Анна молча выжидала.

— Смерть близкого человека,— продолжал он,— которого я любил больше жизни... Больше себя. Я был одержим жаждой доказать себе, что она не ушла насовсем. Господи боже, существует ли боль потери острее этой? Казалось, что я еще при жизни попал в ад.

Он повернул голову в сторону гостиной.

— И никакого Коула Портера. Жаль. Я уже привык к этой мелодии.

Кейс рассеянно взглянул на чашку и по привычке помешал чай.

— О, я всегда верил в существование души. Теоретически. Дух торжествует над плотью и тому подобное. Но моя скорбь нуждалась в большем. В доказательствах.

— И поэтому вы пытаетесь доказать существование призраков.

Лицо Кейса озарилось теплой искренней улыбкой.

— Как по-вашему, мне это удастся, Анна?

— Да. Думаю, так и будет.

Дождь мгновенно стих, превратившись в морось.

— А как насчет вас?

— Меня?

— Да, как вы открыли свой дар?

— Мой дар? — с горькой иронией переспросила Троли.

— Как странно вы это сказали,— удивился Кейс.

Троли поморщилась.

— Мой дар,— тупо повторила она.

— Да, как вы его обнаружили в себе, Анна? Кстати, существует древний египетский вариант зарождения жизни, согласно которому Господь все время твердит Адаму, что тот когда-то был светлым ангелом, и объясняет, как он и Ева были за грехи лишены телепатических способностей и возможности читать мысли на расстоянии. Возможно, когда-то эти свойства для людей были вполне естественны. Вы родились такой, Анна?

Троли нервно передернула плечами.

— Нет,— покачала она головой,— вовсе нет. Впервые он прорезался, когда я перенесла сильное сотрясение мозга. Я везла в машине четырехлетнюю дочь. Дорога обледенела. Машину развернуло и ударило о столб. Малышка погибла.

— О, мне ужасно жаль.

Экстрасенс встрепенулась и встревоженно огляделась.

— Кто-то сильно напуган. Я чувствую его страх.

— Ничего с ним не случится,— заверил Кейс. Троли чуть подняла брови.

— Откуда вы знаете?

— Всего лишь предполагаю.

— Что именно?

— Видимо, речь идет о достопочтенном мистере Дире. По-моему, он просто трясется от ужаса.

— Вполне возможно.

— Кстати,— нахмурился Кейс,— он спрашивал меня, видел ли я его маленьких пуделей. Что за бред!

— Меня тоже.

— И что вы ему сказали?

У Троли отчего-то сделалось совершенно бессмысленное лицо. Немного подождав, Кейс заговорил о другом.

— Вы когда-нибудь пытались установить связь с дочерью?

— Несколько раз.

— Успешно?

— Не знаю. Мне кто-то отвечал.

— Но вы не уверены?

— Мертвецы лгут. Они всего-навсего люди.

Кейс откинулся назад и с силой прижал ладони к краю стола.

— Как удивительно, что именно вы так считаете! — воскликнул он.

— Я лишь высказываю свое мнение.

— Я о другом. Это подтверждает теорию еще одного человека.

— Неужели?

Кейс заметно оживился; глаза заблестели.

— Существует крайне занимательная книга, написанная латвийским ученым Раудивом, который утверждает, будто записал на магнитофон голоса усопших. Книга называется «Прорыв: Электронная теория общения с мертвыми». Вы ее читали?

— Слыхала.

— Прекрасно. Так вот, автор утверждает примерно то же самое, что и вы: будто познания мертвецов ограничены опытом их жизни на земле и что на его вопросы они давали лживые и зачастую противоречивые ответы.

Троли кивнула.

— Голоса были невероятно слабыми,— продолжал Кейс,— почти заглушались шумом усилителя и имели странный переливчатый ритм. Некоторые стонали, просили о помощи, словно их обладателей жестоко мучили, другие звучали, казалось, довольно даже счастливо. Раудив даже узнал один голос, якобы принадлежавший его погибшему однокурснику. Раудив попросил двумя словами описать его нынешнее положение: слишком тяжело вслушиваться и различать голоса,— и он отчетливо ответил: «Я в аудитории». Ну разве не бальзам на душу?

Троли покачала головой, но глаза улыбались.

— В другой раз Раудив спросил, ни к кому в особенности не обращаясь: «В чем цель вашего нынешнего существования?» И получил вполне ясный ответ: «Учимся быть счастливыми».

Когда я прочел это, у меня возникло твердое убеждение, что Раудив соприкоснулся именно с той жизнью после смерти, которая описана К. С. Льюисом в «Расторжении брака». Там утверждается, что все мертвые собраны в одном месте, но воспринимают его по-разному — либо как ад, либо как рай. Просто их восприятие зависит от того, как именно они прожили жизнь в нашем мире. Не знаю. Честное слово, не знаю. Когда Раудив спросил, где они находятся, один голос ответил: «У ангельских врачей», второй — «Похоже на больницу», а третий — «Чистилище».

— Это отделение психиатрической больницы для буйных,— объявила экстрасенс.

Кейс недоуменно хлопнул глазами. Но Троли ничуть не смутилась.

— И некоторые пациенты,— добавила она,— очень опасны.

Кейс смело выдержал ее бесстрастный взгляд.

— Вне всякого сомнения,— выговорил он наконец.

— Уверяю вас.

— Кстати, о Раудиве и его записях...

— Да, если можно, расскажите еще.

— Он бросил эксперименты, когда голоса начали угрожать. Но перед этим еще успел спросить: «Бог существует?» И получил ответ: «Не в мире грез». Когда я прочел это, озноб прошел по спине непонятно почему. И вдруг до меня дошло, что мир грез не там, а *здесь*.

На этот раз именно он впился глазами в Анну.

— Вы женились еще раз? — прервала она молчание.

— Нет,— вздохнул Кейс.

Ярко-желтые зайчики заплясали на стенах. Оба разом посмотрели на небо.

— Вот и солнце. Буря ушла,— обрадовался Кейс.

— Наконец-то.

— Люблю смотреть на умытое дождем небо. Великолепное зрелище, не находите? Ах, на этом свете столько всего чудесного, что иногда примиряешься с его печалями и бедами.

Троли вскинулась. Обычно бледное лицо залила краска.

— Что вы этим хотите сказать?

Кейс уклончиво пожал плечами.

— Я как-то слышал о женщине-наркоманке, только не совсем обычной. Она была помешана на хирургии. Перенесла десятки бессмысленных операций. Нет, она не была мазохисткой, просто свыклась с болью и не могла без нее жить. Это стало мотивом ее существования.

Троли выглядела чем-то взволнованной и неловко ерзала на стуле.

— Кстати, сегодня мы проведем сеанс? — осведомился он.

— Возможно,— сухо обронила она.— Посмотрим.

Кейс задумчиво нахмурился и, кивнув, пробормотал себе под нос:

— Возможно, и стоит... особенно если на этот раз попробовать что-то новое.

— На этот раз, вы сказали? — удивилась Троли.

— Простите? — непонимающе переспросил Кейс.

— Вы сказали «на этот раз»,— повторила она.— Что это значит?

— Представления не имею. Я задумался и сам не знаю, что несу.

— Да, такое и со мной случается,— согласилась она.

— Прошу меня извинить.

Анна подняла чашку.

— Значит, вы преподаете в Колумбийском университете? — заметила она.

— Совершенно верно.

— Завидую вам. Работать в такой благоприятной среде! Сама атмосфера, кажется, стимулирует научные идеи! Кстати, вы живете рядом со студенческим городком?

— Нет, езжу на работу. А почему вы спрашиваете?

— Просто так, обыкновенное любопытство.

Троли глотнула чая и со стуком поставила чашку на блюдце. Кейс невольно обратил внимание на ее трясущиеся руки, и Троли поскорее убрала их под стол.

— Вы все еще тревожитесь за Дира? — спокойно справился он.

— Да. И за всех нас.

— Не волнуйтесь,— успокоил Кейс.

— Почему?

— Здесь никогда ничего не случается при дневном свете. Только в темноте.

— Малышки? Где вы, детки? Вы тут?

Совершенно сбитый с толку, несчастный, измученный, перепуганный Дир медленно брел по коридору. Исполненный решимости найти собак, он вошел в зал, откуда впервые появилась Морна, оттуда — в какую-то комнату и вскоре совершенно заблудился в лабиринте и хаосе каморок, салонов и клетушек.

Открыв очередную дверь, он заглянул в спальню.

— Песики! Вы тут? Мария? Помпетт!

Худосочные лучи солнца едва проникали в окно сквозь густые ветви гигантских дубов, и только один, самый смелый, протянулся к бюро; странно, что в нем, как обычно, не пляшут пылинки!

Но в следующее же мгновение пылинки весело завихрились на свету. В точном соответствии с Броуновским законом движения молекул. Дир вначале не поверил собственным глазам, но тут же забыл об увиденном и снова позвал:

— Эй, малышки!

Из коридора донесся зловещий скрип, похожий на осторожные шаги. Где-то тихо закрылась дверь. Дир затаил дыхание, но все же нашел в себе смелость шагнуть в коридор и осмотреться. Никого. Немного приободрившись, он вновь двинулся, сам не зная куда.

— Ну же, малышки! Мария Идальго! Помпетт! — звал он, прищелкивая языком, и уже остановился было перед другой дверью, как вновь послышался непонятный звук, нечто вроде отдаленного жужжания пчел, постепенно превратившегося в неясное бормотание. Дир, опасаясь шевельнуться, напряг слух и с трудом различил негромкий нестройный хор мужских голосов, говорящих... или молящихся... по латыни.

Дир недоуменно всмотрелся в полумрак и неожиданно различил что-то темное, скользнувшее в конец коридора. Это «что-то» открыло дверь последней комнаты, просочилось туда и снова закрыло дверь. И тут чья-то рука легла на его плечо. Глаза писателя буквально вылезли из орбит. Подпрыгнув так резво, что едва не вылез из кожи, он пронзительно завопил и с бешено заколотившимся сердцем обернулся.

— А, вот и вы,— приветствовал его Гэбриел Кейс, дружелюбно улыбнувшись.— Мистер Дир, я повсюду вас искал! Осматриваете дом?

— Да. То есть нет,— прохрипел писатель, прижав руку к груди.— Господи, как я рад вас видеть! — облегченно выдохнул он.

— Я примерно так и думал.

— Я заблудился.

— Еще бы! В таком доме это несложно! Совершенно хаотическая планировка, не знаешь, что куда ведет. Пойдемте,— пригласил он,— нам сюда.

Он вывел Дира в очередной коридор.

— Нам вас не хватало,— сообщил он.

— А мне не хватало двойной порции бренди с содовой. Кстати, что делает здесь священник?

— Какой священник?

— Откуда мне знать! Старый капеллан из фильмов с Борисом Карлоффом*! — взвизгнул Дир.— Я только сейчас видел его вон там!

Кейс остановился.

— Вы это серьезно?

— Пожалуйста, не стоит обращаться со мной, как с больным, доктор!

— Зовите меня Гэбриелом,— предложил Кейс.

— Я сказал, немедленно прекратите!

— Хорошо, «доктор»,— немедленно согласился Кейс.

— Спасибо. Мне показалось, что я слышал бормотание и шепот на латинском, а потом увидел высокого священника, скрывшегося за дверью. Хотите сказать, что не знаете, кто это?

Кейс на секунду задумался и пошел дальше. Дир последовал за ним.

— Вы католик, мистер Дир?

— Экс-католик.

— Такое действительно возможно?

— Что вы имеете в виду?

— Видите ли, все мы вполне способны увидеть *что-то* в этом доме,— вместо ответа утешил Кейс.— Наши подсознательные инстинкты обострились. Кроме того, вы слышали, как я рассказывал о монахинях, из которых изгоняли здесь дьявола.

— Хотите сказать, что у меня галлюцинации на религиозной почве?

— Просто вы верите в сверхъестественное куда больше, чем готовы признать, и видели тени, а, скорее всего, это

---

* Английский актер, сыгравший в Голливуде Франкенштейна.— *Примеч. пер.*

лишь игра вашего воображения. Можете вы отличить одно от другого?

— Лучше пойдем выпьем.

Анна Троли посмотрела на часы, села за письменный стол и открыла дневник.

«Сейчас пять двадцать три. Я потрясена и никак не пойму, почему согласилась пить чай с Кейсом. Мое влечение к нему становится все сильнее, а вместе с ним и ощущение, что он — погибель для меня, моей души, самой жизни. Стоит мне очутиться рядом, и я трепещу. Ну разве не абсурдно? Господи, помоги мне, я просто не знаю, что и думать. Неужели я спятила? Да, конечно, это почти все объясняет. Как все-таки легко сойти с ума! И все же некоторые странные головоломки — не просто игра моего воображения. Он и Морна, очевидно, не успели договориться: она заявила, что он живет рядом со студенческим городком, он же утверждает, что ежедневно приезжает на работу. Вероятно, кто-то из них, скорее всего девушка, не так меня понял. Но это и не важно. Главное, что моя интуиция буквально вопит об опасности, исходящей не только от Кейса. Я по-прежнему слышу голоса, сердитые, угрожающие. И это не плод моего воображения. Они здесь».

Глава 6

Задыхаясь, изнемогая от ужаса, наглухо замурованная в узком сухом гробу ночи, Фриборд вскочила и с криком села на постели.

— Черт, опять этот гнусный сон,— пробормотала она, поднося руку ко лбу. Ледяной и влажный. Словно в самом деле в могиле лежала!

Немного подождав, она спустила ноги с кровати, направилась в ванную, плеснула в лицо холодной воды и подошла к зеркалу. При виде бледного измученного лица Фриборд поморщилась.

— Возьми себя в руки,— приказала она своему отражению, но даже это не помогло. Сон, возвращавшийся с пугающей регулярностью, беспокоил ее, но она никак не могла припомнить, когда это началось.

Фриборд невольно вздрогнула. Нужно немедленно выбираться из этой комнаты к людям!

Выбежав из ванной, она схватила тяжелую пепельницу и ударила в стену.

— Ты здесь, мудак?

В ответ тишина. Она поставила пепельницу на место и устремилась к двери. В коридоре ни души. Дом словно вымер!

Подойдя к верхней площадке, она перегнулась через перила и заглянула в гостиную. Пусто. Горят только светильники.

— Терри! — снова позвала она. Но ответа не получила.

И тут откуда-то справа послышалось едва различимое бормотание. Она обернулась на шум. Он доносился из длинного пустого коридора, в котором были расположены комнаты Дира и Троли. В самом конце виднелась дверь. Несколько мгновений Фриборд ошарашенно разглядывала ее, но поскольку бормотание не смолкало, решительно двинулась к двери, и не успела ее распахнуть, как голоса мгновенно смолкли и ее приветствовали пустота и молчание. Фриборд нахмурилась и, вновь оказавшись в коридоре, заметила в противоположном конце еще одну дверь.

— Терри, пламенный ты хрен,— окликнула она,— это ты там дурака валяешь?

Раздался тихий стук, и она, обернувшись, увидела выходившую из своей комнаты Троли. Экстрасенс выглядела непривычно встревоженной и напряженной.

— Кто-нибудь есть там? — спросила она, вглядываясь поверх плеча Фриборд в затемненный внутренний коридор.

— Нет,— покачала та головой.

— Джоан, я бы, пожалуй, прогулялась по острову. Хотите пойти со мной?

— С удовольствием,— обрадовалась Фриборд.

Но им не суждено было насладиться обычной спокойной прогулкой.

— Ваше здоровье! — провозгласил Кейс.

— Вы все время это повторяете,— буркнул Дир, едва ворочая языком.

Они сидели в библиотеке на небольших диванчиках у камина. Кейс, перегнувшись через сосновый журнальный столик, наливал скотч-виски в высокий стакан Дира.

— Никто не заставляет вас пить,— заметил он.

— Я не ною, просто заметил это, вот и все. Наблюдательность — именно то свойство, в котором мы, художники, преуспели как нельзя лучше.

— А, так вы рисуете?

— Неужели обязательно сомневаться во всем, что я делаю? — буркнул расслабившийся, слегка опьяневший автор, вновь поднося к губам стакан и наслаждаясь чуть маслянистым вкусом виски.

И тут земля, казалось, на миг сошла со своей оси, резко дернулась и продолжила вращение. Дир опустил стакан и замер.

— Похоже, на этот остров только что приземлился борец сумо,— пробормотал он.— Почувствовали?

— Что именно?

— Не важно.

Дир сбросил туфли и вольготно растянулся на диване.

— Ну вот, теперь я непобедим. И способен задержать наступление ночи. Кстати, теперь можно и послушать о Карле Юнге и его призраке.

— Неужели решились?

— Честное слово, сэр.

— Ну так вот, он выглядел одноглазой старой каргой,— начал Кейс.— Юнг искал подходящее местечко, чтобы отдохнуть, и один его лондонский друг, тоже доктор, предложил пожить в его деревенском коттедже. В одну пре-

красную лунную безветренную ночь, лежа в постели, Юнг услышал странный треск и стук в стену. Почувствовав, что в доме кто-то есть, он открыл глаза и увидел рядом на подушке уродливую старческую физиономию: правый, устремленный на него глаз так и светился злобой. Вся левая половина лица отсутствовала. Юнг слетел с постели, зажег все имевшиеся свечи и провел остаток ночи на улице, на походной кровати, которую успел вытащить во двор. Позже он узнал, что коттедж принадлежал когда-то старухе, умершей от рака глаза, и что с тех пор в нем появилось привидение.

— Я должен был знать,— промямлил Дир.

— Я рассказал все.

Дир потянулся за стаканом и, освежившись, задумчиво уставился в огонь.

— Однажды я тоже столкнулся со сверхъестественным. Тогда я жил в Будапеште, собирал материал к роману. Я почти никого там не знал и был очень одинок. Утром моего сорокового дня рождения я спустился в вестибюль, где меня ждала телеграмма, единственная моя почта за несколько дней. Всего несколько слов:

«С днем рождения, дорогой Терри. Твой брат Рей».

Дир взболтал виски и осушил стакан одним глотком.

— У меня действительно был брат Реймунд, только он умер в детстве. Телеграмму прислал другой брат, Эдвард. Но как «Эдвард» превратилось в «Рей»?

И, протянув стакан Кейсу, попросил:

— Могу я еще раз услышать: «Будьте здоровы»?

— Лед положить?

— Я нуждаюсь в тепле, дорогой мой, и не просто в тепле, а в огне. Только скотч. По мне мир и так достаточно холоден.

Кейс поднял почти опустевшую бутылку и вылил остатки в стакан Дира.

— Простите за любопытство, мистер Дир, или, вернее, Теренс. Не возражаете, если я вас так буду звать?

— Пожалуй, самое время.

Кейс поставил бутылку и снова сел.

— Могу я задать вам нескромный вопрос?

— Он имеет какое то отношение к ЛСД?

— Вряд ли.

— Или к священникам?

— Это возможно.

— Анри Бергсон,— процедил Дир,— считал, что основная функция мозга — отфильтровывать и отторгать большинство явлений реальности, с тем чтобы мы могли сосредоточиться на простейших земных жизненных задачах. Когда фильтр ослаблен мощным наркотиком, все, что мы видим, не иллюзии, а чистая правда.

— Простите, не понял,— удивился Кейс.

— Я видел священника,— настаивал Дир.

— А, понятно! Но я не это имел в виду.

— Что же тогда?

— Что заставило вас отвернуться от церкви?

Дир, помолчав, снова приложился к стакану.

— Весь этот бред насчет геенны огненной и вечного проклятия. Неужели лишь потому, что предпочитаю штаны юбкам, я обречен принимать ванны из настоя перца чили и есть пирожные с начинкой из напалма вместе с серийными убийцами, маньяками и растлителями детей в дантовской преисподней? Это справедливо?

— Никто такого не утверждает,— поспешно заверил Кейс.

— Вот и все.

— В любом случае вы с этим покончили.

— Абсолютно. Смерть есть смерть и ничего более.

— Кстати, еще одно насчет того одноглазого призрака.

Дир схватился за голову.

— О господи!

— Вам это неприятно?

— Нет, ничего страшного. Просто ноготь сломался. Видите ли, в моей семье у всех такие ногти. Фамильный порок.

— Ясно.

— Так что там насчет призрака?

— Привидение заговорило с Юнгом.

— Иисусе милостивый!

Кейс с некоторым недоумением поднял брови.

— И что он сказал? — допрашивал Дир.

— Когда вы научитесь прощать других, Юнг, может, наконец сумеете простить и себя.

Дир побледнел, как пораженный громом.

— Он в самом деле это сказал?

Кейс, не спускавший с него глаз, покачал головой.

— Нет.

— Вы опасный человек, доктор Кейс,— мягко заметил Дир.— Это мои слова. Да, с вами лучше не связываться.

Кейс отвернулся и взглянул в окно. От деревьев протянулись длинные тени, и птичий хор звучал уже устало, совсем *не* так задорно, как час назад.

— Солнце садится,— обронил он.— Скорее бы ночь.

— Чудесное небо,— обрадовалась Троли.

— Небо, как небо,— пожала плечами Фриборд.

Они выбрались из рощи на берег, где солнце играло на золотистой поверхности воды. Но риэлтор думала о чем-то своем, упорно глядя в землю.

— Что-то неладно, Джоан?

— Не-а.

— Вы кажетесь чем-то расстроенной.

— Нет, все в порядке. Просто размышляю.

— О чем?

В эту минуту она вспоминала сон с ангелом, чье имя так и не запомнила. Странное загадочное предупреждение насчет моллюсков! До того ей почему-то пришла на ум Эми О'Доннел, ее лучшая подружка по школе Святой Розы в Бронксе. Умерла в девять лет. Пневмония.

— Ничего особенного,— пожала плечами Фриборд.— Бизнес. Не знаю.

Она остановилась и, сощурившись, посмотрела на солнце.

— Слышите?

— Что?

— Похоже на органную музыку. Прислушайтесь.

Троли, помедлив, кивнула.

— Да,— коротко подтвердила она.— Очень далеко.

— Похоже, здесь где-то каток.

— Вероятно.

Фриборд кивнула, и женщины направились вдоль по полосе песка.

— Так вот он, Манхэттен,— выдохнула Троли, глядя на юг.— Я никогда по-настоящему там не бывала. Возможно, стоит побродить по нему перед возвращением домой. Как по-вашему, это интересный город?

— Мать его...

— Значит, не рекомендуете? — серьезно допрашивала Троли.

Фриборд смерила ее бесстрастным взглядом. Экстрасенс ничуть не притворялась, ей действительно интересно, только в глазах мелькали веселые искорки.

— А вы ничего,— вынесла вердикт Троли.

— Правда?

— Честное слово. Вы настоящая.

Сунув руки в карманы джинсов, она отвернулась и уставилась себе под ноги.

— Интересно, где они прячутся? Призраки.

— Простите?

— Эй, взгляните-ка на это — резко вскрикнула Фриборд, показывая на покрытый песком предмет, выглядевший так, словно его только что вынесло на берег.

Девушка наклонилась и подняла его. Это оказалась бутылка шампанского. Фриборд почистила ее и прочла выцветшую, с размытыми буквами этикетку.

— «Вдова Клико»...

Троли, вновь забеспокоившись, нахмурилась.

— Не откупоренная,— заметила она.

— Именно.

Фриборд подняла глаза, и Троли проследила за направлением ее взгляда, туда, где причудливо изломанная береговая линия исчезала из поля зрения. Женщины не шевелились, обозревая горизонт. Легкий весенний ветерок играл подолом платья Троли; ткань громко хлопала, как намокшая парусина. Фриборд опустила руку, и бутылка, выскользнув из ее пальцев, бесшумно легла на безмолвную настороженную землю. Женщины одновременно повернулись и медленно направились к особняку. Никто не произнес ни слова.

Войдя, они разбудили Дира, дремавшего на диване в библиотеке. Едва до него донеслись их мягкие, приглушенные голоса, он приоткрыл налитые кровью глаза.

— Пойду полежу еще немного,— говорила Троли.— Даже не пойму, почему я так устала.

— И я тоже,— согласилась Фриборд.

Послышались шаги, стук открывающихся дверей, и все стихло. Дир опустил веки и глубоко вздохнул, но тут же снова распахнул глаза и прислушался. Лай! Опять! Звонкий, захлебывающийся, перемежающийся повизгиванием. Лицо Дира осветилось счастьем.

— Малышки!

Значит, он все-таки привез их с собой!

— Доктор Кейс! — громко позвал он, выходя в гостиную.

Только сейчас до него дошло, что он не знает, в какой комнате поселился Кейс. Дир поспешил на кухню, но Морны там не оказалось. Он поежился. Придется идти одному.

Глава 7

Вымотанная донельзя Фриборд, чувствуя себя не в своей тарелке, легла на постель и вперилась в потолок. Что-то не так, она нюхом чует.

Фриборд сжала кулаки, закрыла глаза и попыталась привести себя в чувство, стряхнуть навалившуюся тяжесть. Средний палец правой руки вызывающе поднялся.

— Плевать на призраки. Пожалуй, лучше встать.

Она так и сделала, и, к ее величайшему восторгу, внизу заиграли на пианино. Второй концерт Рахманинова, вторая часть, ее любимая, задумчивая, пронизанная мечтой о несбыточном. Единственное классическое произведение, которое было ей знакомо, хотя она так и не узнала его названия. Просто слышала в кино.

Завороженная Фриборд встала, вышла в коридор и перегнулась через перила. За роялем сидел Кейс. Словно притягиваемая магнитом, она медленно спустилась, *не* замечая, что все тревоги улеглись. При ее приближении Кейс поднял глаза. Он улыбнулся и перестал играть.

— Что-то в этом духе,— сказал он с явным пренебрежением к собственным способностям.

— Это моя любимая вещь,— сообщила Фриборд.

— Правда? В таком случае я продолжу.

Он снова положил руки на клавиши. Фриборд осмотрелась.

— А где Терри?

— Перед тем как мы расстались, он растянулся на диване в библиотеке, притворяясь очень большим манускриптом.

— Чем?

— Он один выпил едва ли не бутылку виски.

— Понятно.

— Вы с Анной хорошо прогулялись?

— Какая прогулка? — удивленно переспросила Фриборд.

— Не важно,— покачал головой Кейс. В глазах его застыла непонятная печаль.

— Где вы, малыши? Ко мне! Ко мне!

Измученный, цеплявшийся за остатки храбрости Дир, тяжело дыша, медленно пробирался по коридору в самой

глубине дома. Здесь не было окон, а свет из узорчатых медных бра почти не пробивался сквозь мрак.

— Малышки? Ну же, где вы?

Дир рыгнул и поморщился, почувствовав на языке вкус спиртного. И оцепенел. Сзади раздался протяжный треск, словно что-то валилось сверху. Лампочки светильников мигнули и стали медленно гаснуть. Дир судорожно сглотнул, уговаривая себя не паниковать.

— Я сотни раз описывал подобные сцены,— громко сообщил он в темноту и, обернувшись, оглядел коридор.

Все тихо. Лампочки снова налились светом, и писатель мгновенно ощутил, как изменилась общая атмосфера, словно некая тяжелая давящая сила покинула коридор, и воздух мгновенно очистился. Дир выдохнул и продолжил путь, пока не добрался до двери по левой стороне, открыл ее и заглянул в просторную спальню.

— Малышки?

Никого не обнаружив, он двинулся к следующей двери. Еще одна спальня с широкой постелью. Справа туалетный столик. Комната явно принадлежит женщине.

— Малышки?

Нет ответа.

Все же он вошел и закрыл за собой дверь. Что-то словно притягивало его. Дир выглянул в окно, полюбовался бледным угасающим светом дня. Ветви дубов тянули свои скрюченные пальцы, словно ведьмы из сказки братьев Гримм. Дир включил лампу на ночном столике, где еще раньше заметил большую фарфоровую шкатулку, белую, разрисованную маленькими фиолетовыми кроликами. Он поднял крышку. Шкатулка оказалась музыкальной. Дир слегка улыбнулся, кивая головой в такт тинькающей мелодии Стивена Фостера «Джинни со светло-каштановыми волосами».

Кто поставил ее сюда?

Дир осторожно опустил крышку и уже было выпрямился, но тут что-то показалось ему странным. Он провел

пальцем по столу и поднес его к глазам. Ни следа пыли, а все деревянные поверхности, казалось, только что натерты полиролью. Кто убирал в доме? Невидимые слуги в том крыле, где он еще не был?

Он вспомнил о своем видении, человеке в черном. ЛСД или просто безмолвный дворецкий?

Что-то защекотало ноздри. Запах духов? Розы?

— Могу я помочь?

Дир резко, как вспугнутый кролик, подскочил. На него невозмутимо взирала Морна.

Слегка поклонившись, она перевела взгляд на шкатулку.

— Вы что-то ищете?

«Нет», хотел ответить Дир, но в горле застрял комок, сдавивший глотку, мешавший говорить. С трудом откашлявшись, он поправился:

— То есть да. Моих собак. Вы их видели?

— Маленьких? Нет.

Дир рассеянно кивнул, глядя на ее шею, но тут краем глаза заметил, что дверь по-прежнему закрыта.

— Откуда вы знаете, что мои собаки маленькие? Видели их в доме? Они тут?

Морна улыбнулась, словно наслаждаясь одной ей понятной шуткой, молча обернулась и поплыла к порогу. Секунду Дир смотрел ей вслед, растерянно взвесил на ладони шкатулку и, поставив ее на стол, бросился за женщиной.

— Морна...— начал было он, намереваясь расспросить ее о пуделях, но тут же осекся. Морна исчезла.

И вдруг его подбросило. Лай. Отдаленный и приглушенный. Дир просиял, но тут же нахмурился, сообразив, что это лает очень большая собака. Однако он снова позвал:

— Малышки? Сюда!

Тявканье продолжалось. Дир ринулся навстречу звуку. В конце холла, за дверью!

Лай перешел в угрожающее рычание, перемежаемое пронзительным визгом, словно животное было чем-то

страшно напугано. У самой двери Дир остановился, услышав мужской голос.

— Ну что, парень? Что с тобой?

Значит, там все-таки кто-то есть!

Он схватился за ручку, рванул дверь на себя и замер. Похоже, он оказался на кухне перед дрожавшей, злобно ощерившейся колли, попеременно то рычавшей, то жалобно скулившей. За столом восседали пожилые мужчина и женщина и еще одна личность, на первый взгляд казавшаяся молодым католическим священником в сутане, саккосе и пурпурной епитрахили. Еще один священник стоял у окна — высокий, рыжий, сжимавший в руке переплетенный в красный сафьян том. Сидевшие зачарованно, словно в трансе, вперились в Дира, но рыжий священник, ничтоже сумняшеся, прошествовал к ним и взял со стола флакон, наполненный бесцветной жидкостью. В комнату вошла женщина в форме горничной. Она несла дымящийся кофейник. Дира словно никто не заметил, и даже собака вроде бы успокоилась, но тут горничная, случайно оглянувшись, издала пронзительный вопль и уронила кофейник. В этот же момент священник, уже успевший откупорить пузырек, резким взмахом руки плеснул его содержимое в лицо растерявшемуся Диру. И все находившиеся в комнате исчезли.

Потрясенный Дир развернулся и ринулся прочь.

Анна Троли спала и видела во сне, что Гэбриел Кейс подошел к кровати и протянул ей руку.

— Пойдем, Анна,— мягко сказал он.

И она внезапно осталась одна и со свечой в руке пробиралась по подземному ходу к склепу. Она понимала, что ищет что-то, сама не зная, что именно. Остановившись, она подняла свечу. Склеп прямо перед ней. Она прислушалась. Чей-то шепот. Доктор Кейс.

— Анна,— повторял он,— Анна Троли.

И тут массивная каменная дверь склепа отворилась, и оттуда выплыл открытый гроб, в котором лежал кто-то в белом саване. Лицо трупа смутно белело расплывчатым пятном.

— Смотри, Анна! Смотри! — снова повторил Гэбриел Кейс.

Лицо мертвеца внезапно начало приобретать очертания, и Анна Троли проснулась, словно подброшенная невидимой силой. И с диким воплем.

Глава 8

Кейс вскинул бровь.

— Долить свежего мартини?

— Скорее уж внести свежую струю в мою жизнь,— пробормотала Фриборд.

Мрачная, недовольная, подвыпившая, она неловко скорчилась на высоком табурете в баре в библиотеке, рассеянно кроша окурок «Кэмела» в и без того набитую до самого верха пепельницу. Кейс, стоявший за прилавком, поднял шейкер с коктейлем и вылил остатки в стакан Фриборд, прежде чем начать готовить новую партию.

— Пока все,— объявил он.— Через минуту будет еще.

Фриборд неверной рукой подняла стакан.

— Салют!

Они торчали в баре почти час. Фриборд захотела выпить и принялась накачиваться спиртным, в чем и преуспела до такой степени, что в глазах поплыли круги, а по стойке запрыгали синие чертики. Разговор шел вроде бы ни о чем и сводился к ее ответам на вопросы Кейса о «вашем обворожительном друге, мистере Теренсе Дире». Теперь риэлтор наблюдала мутными, упрямо закрывающимися глазами, как Кейс льет джин «Бомбей» на кубики льда, брошенные перед этим в шейкер. Они тихо, мелодично позвякивали.

— Док, вы на уровне?

— Пардон, не совсем понимаю, о чем вы.

— Я хочу сказать, вы действительно что-то понимаете в призраках? Не вляпались во все это дерьмо только из-за денег или потому что посмотрели «Охотников за привидениями» и чуток перевозбудились?

— Могу поклясться, что вторая причина отпадает. Что же до денег, поверьте, вы единственная, кто до сей поры посчитал нужным заплатить мне за работу.

Фриборд пошарила в сигаретной пачке.

— На что же вы живете?

Кейс взирал на нее с благожелательным терпением.

— Я преподаю,— мягко пояснил он.— Университет платит мне жалованье.

— Ну да, конечно.

— Я преподаватель,— повторил он.

— Поняла, поняла, не такая уж я пьяная,— огрызнулась Фриборд, трясущимися руками зажгла сигарету и швырнула на стойку золотую зажигалку.

Кейс долил ее стакан.

— Еще оливку? — вежливо осведомился он.

— Вы женаты?

— Да.

— Кого, на хрен, это интересует,— буркнула Фриборд, отводя глаза и хватая книгу, стоявшую на стойке.— «Отрицание смерти»,— прочла она вслух.— Интересно?

— Для меня — да,— кивнул Кейс, наливая мартини себе.— Я собирался перечитать ее сегодня перед сном. Ее автор — Эрнст Беккер.

— А кто герои?

— Это не фильм.

Фриборд уронила томик.

Кейс бросил в стакан оливку и сделал глоток.

— А вы замужем, Джоан? — в свою очередь поинтересовался он. Фриборд выдула кольцо дыма и покачала головой.

— И никогда не были?

— Никогда не была.

— А родные есть?

— Все умерли. Я была самой младшей,— неохотно обронила Фриборд.— Последней в роду.

— И ни одного родственника? Даже самого дальнего? — продолжал допытываться Кейс.

— Никого.

— Я заметил, что вы очень близки с мистером Диром.

— Он единственный человек, который не причинит мне зла.

— Мужчины часто ранили вас, Джоан?

— А, хрен с ним,— отмахнулась она и, шумно хлебнув мартини, со стуком поставила стакан и снова схватила книгу.— Так о чем тут говорится?

— Вам вряд ли понравится.

Фриборд резко отдернула руку и уставилась в пустоту.

— Господи, опять у меня приступ «дежа вю».

— Неужели?

— Да,— кивнула она,— и очень сильный.

Кейс, опершись на стойку, подался вперед.

— Джоан, мне хотелось бы побольше узнать о вашей работе. Она интересная?

— Черт, да я ее обожаю, просто до посинения.

— Как мило!

— Не ем, не сплю, в сортир не хожу, только продаю и продаю гребаные дома и квартиры.

— Весьма недвусмысленное заявление.

Фриборд повернула голову к окну.

— Ужасно уединенное место. Как на краю света.

— Действительно.

— Интересно, часто тут гостят грабители?

— Не думаю,— бесстрастно ответил Кейс.

— Да не смотрите вы на меня так, будто я дегенератка какая! Крыша у меня еще не едет,— выпалила она, раздраженно сузив глаза.— Десятки бывших моряков-подводни-

ков становятся преступниками. Почему, спрашивается, в Малибу стало невозможно жить? Там только что дома не разбирают. Выносят все до нитки. А здесь есть чем поживиться.

— Я никогда об этом не думал, но вижу, что вы не так уж не правы.

Фриборд снова принялась возиться с книгой и при этом чуть не опрокинула стакан. Кейс едва успел его подхватить.

— Эй, чувак, спасибо,— промямлила она.

— Не стоит.

— Вовремя подоспели.

Она в который раз вгляделась в обложку.

— И все-таки, док, о чем тут пишут? Хорошая книга?

— Речь идет о том, как мы справляемся со страхом смерти, пытаясь с головой уйти в такие развлечения, как секс, власть и деньги.

Фриборд в недоумении уставилась на него.

— И на хрен в таком случае нужна смерть?

— Именно.

— Мне дорога жизнь,— продолжала она.

— Еще бы! — кивнул Кейс.— Столько игрушек!

Фриборд облокотилась о стойку, закрыла лицо ладонями.

— *Столько игрушек!* — едва слышно повторила она. Слова, казалось, застревали в горле, словно она пыталась вытолкнуть покрытый колючками кактус.— Да, целая куча игрушек. Вагон.

— Что с вами? — участливо спросил Кейс.

Фриборд затрясла головой.

— Не хотите рассказать?

Фриборд тихо всхлипывала.

Кейс поставил стакан и положил руку ей на плечо.

— Пожалуйста, не стесняйтесь, тут нечего стыдиться. Расскажите,— попросил он.

— Сама не знаю. Иногда я плачу без всякой причины. Не знаю. Не знаю,— прорыдала она.

— О чем вы сейчас думаете?

— Не знаю,— настаивала она.

Кейс осторожно коснулся пальцем ее щеки.

— Тогда поплачьте, дорогая, иногда это полезно,— начал он, но тут в комнату ворвался взъерошенный Дир и устремился к бару. Окинув взглядом сцену действия, он громко объявил:

— Вижу, вам уже море по колено!

— Что угодно, мистер Дир? — справился Кейс.

— Новое тело,— ответствовал писатель,— и мозг младенца.

— У меня готов мартини, мистер Дир.

— Ни за что,— замахал тот руками и показал на ряд бутылок за спиной Кейса.— Передайте мне «Чивас Ригал» и стакан.

Кейс сочувственно кивнул и потянулся за бутылкой.

— Вы ужасно выглядите,— заметил он.— Что стряслось?

— Стряслось? Хотите знать? Ну, так я скажу,— отрезал Дир и уже раскрыл было рот, но увидев, с каким отчаянием смотрит на него Фриборд, вытирая глаза бумажной салфеткой, мигом заткнулся.

— Ничего,— буркнул он и, налив стакан на два пальца, вновь подчеркнул: — Совершенно ничего. Все как нельзя лучше.

В комнате появилась Анна Троли, очевидно, чем-то расстроенная. Быстро подойдя к стойке, она села рядом с Диром.

— Привет, Анна. Выпьете?

— Да, двойную порцию,— выдавила она.

— В таком случае, я полагаю, что все в порядке? — вставил Кейс.

— Простите, не поняла.

Кейс с невинным видом воззрился на нее.

— Нет, это я так.

Дир повернулся к Троли, внимательно изучил ее осунувшееся посеревшее лицо, трясущиеся руки, вцепившиеся в стойку, и посмотрел в глаза.

— А вы что видели?

Фриборд резко вскинула голову.

— Что? Что вы имеете в виду? Кто и что тут видел?

— Ничего,— выдохнула Троли, глядя прямо перед собой.

— А я и того меньше,— сообщил Дир.

— Вот и прекрасно,— обрадовался Кейс, снимая бутылку с полки.— Вам сухой шерри с капелькой джина, Анна?

Троли как-то странно передернулась.

— Ну да,— выговорила она наконец,— именно.

Дир опрокинул в рот содержимое стакана.

— Будьте здоровы,— пожелал Кейс.

— Это не смешно,— прорычал Дир.

— Я и не сказал, что это смешно.

— Там ничего не было,— настаивал Дир.

— Знаю.

— Мать вашу, о чем это вы толкуете? — взвилась Фриборд, чье раздражение с каждой минутой все больше нарастало.

Она так и лезла в бой, мечтая сорвать на ком-нибудь злость, но Дир успокаивающе похлопал ее по руке.

— Не обращай внимания.

Кейс поставил бутылку перед Троли.

— Я заметил, что у вас отсутствующий взгляд,— шепнул он.— Чувствуете приближение чего-то...

— Ничего нового,— почти беззвучно ответила она.

— Простите, не расслышал,— извинился Кейс. Глаза Троли прожгли его, как два огненных стержня.

— Ничего нового,— повторила она.

— Вот как!

Кейс расстроенно взмахнул руками.

— Ну до чего же жаль, что ни телевизор, ни радио не работают! — простонал он.— Как бы мне хотелось послушать шестичасовые новости!

— Вне всякого сомнения,— пробурчала Троли.— Да и мне тоже. Вот только не хотелось бы увидеть себя в этих самых новостях.

— О чем вы? — удивился Кейс.

— Ни о чем.

Она пригубила шерри. Руки ее по-прежнему заметно тряслись.

— Кстати, о новостях,— начал Кейс, обернувшись к стойке.

Фриборд и Дир о чем-то тихо переговаривались. Кейс откашлялся и спросил:

— Интересно, что вы думаете о внешней политике, проводимой президентом Клинтоном?

Гробовое молчание было ему ответом. Фриборд и Дир тупо уставились на Кейса. Выражение их лиц, как и у Анны Троли, было недоумевающе-озадаченным. Все, как по команде, затаили дыхание, и, кажется, было слышно, как падают на пол и мебель пылинки.

Кейс переводил вопросительный взгляд с одного лица на другое. Наконец Дир, нахмурившись, осведомился:

— *Каким* президентом?

Кейс замер, словно выжидая чего-то, и с оттенком некоторого сожаления спохватился:

— О, я имел в виду президента Буша! Как глупо вышло! Прошу простить!

Но все трое, оцепенев, продолжали пялиться на него. Первой очнулась Троли и уткнулась в свой стакан. Немного посидев, она обернулась к окну, глядя на кроваво-красный глаз солнца, постепенно тонувшего в грязно-коричневых водах реки.

— Уже почти стемнело,— выдохнула она.— Ночь наступает.

Кейс лишь покачал опущенной головой.

Немного позже Троли, поднявшись в свою комнату, раскрыла дневник, прочла последнюю запись и дополнила, тщательно выводя каждую букву:

«Начало десятого. Страх одолевает меня все больше. И что тут странного? Существовать в безграничном

мраке этой Вселенной, мучаясь и не зная, откуда мы пришли и куда уйдем, удерживаться на бешено вращающемся в пустоте обломке скалы, разве это само по себе не ужасно? Если смотреть на вещи с рациональной точки зрения, страх — такая же неотъемлемая часть нашей жизни, как еда, дыхание, смерть. И все же сейчас я испытываю нечто совершенно иное, это кошмар другого рода. Я страшусь не призраков. И ощущаю присутствие чего-то леденяще чуждого и неумолимого, не из нашего мира. Кейс хочет устроить сегодня сеанс. Гибельная мысль! Боже, помоги мне! Я с тоской и отчаянием жду того, что может проникнуть в эту дверь!»

Глава 9

Фриборд сидела на краю кровати, отчетливо сознавая, как ум заходит за разум, когда услышала стук. Она нервно дернулась и, поежившись, сжала ладонями лицо. Рядом корешком вверх валялся открытый том «Отрицания Смерти». Она читала книгу, пока глаза не заболели, хотя по сравнению с бурей, бушевавшей в голове, это были сущие пустяки.

Кому это вздумалось стучать?

Вставать никак не хотелось.

Но стук повторился, на этот раз куда громче.

Фриборд даже не потрудилась поднять голову.

— Кончай, Терри, мне не до тебя!

Но дверь приоткрылась. На пороге, как она и предполагала, стоял Дир.

— Это я,— сухо объявил он.

— Да неужели? А я и не знала!

Дир почти рухнул на кровать.

— Ты не сел на мои очки, Терри?

— Нет. Джоан, что-то здесь неладно. Мне почему-то жутковато.

— О, бросай ныть, Терри, умоляю!

— Дорогая, я серьезен как никогда,— заверил Дир.

Уловив непривычную дрожь в голосе приятеля, Фриборд подняла глаза. Он был бледен как полотно, а глаза налились кровью.

— Я не был так напуган с той ночи, когда увидел во сне, что за мной гонятся агенты КГБ.

Фриборд поняла, что он не притворяется.

— У тебя опять видения, Терри? — прошептала она, сурово хмурясь.

— Джоан, клянусь всеми святыми, что забыл, когда в последний раз баловался с «кислотой»*.

Он торжественно поднял руку, словно принося клятву на Библии.

— Да? Ты забыл об остаточных явлениях? Вспомни гигантских кальмаров с лазерными ружьями и рекомендательное письмо от инопланетян!

Вместо ответа Дир задрал рукав рубашки, открыв ярко-красный вспухший рубец, тянувшийся от внутренней стороны запястья до самого предплечья.

— Похоже это на галлюцинации, Джоан? Взгляни хорошенько! Полюбуйся на мою руку!

Несколько минут Фриборд ошеломленно таращилась на рубец.

— Как... как это получилось? — охнула она наконец.

— В одной из комнат в глубине дома были люди,— пояснил он,— причем двое из них — священники.

— *КТО?!*

— Говорю же, священники.

— О, ради бога, Терри!

— Я не лгу! Один из них плеснул в меня чем-то!

Фриборд попыталась дотронуться до алой полоски.

— Нет, не прикасайся! — отпрянул Дир.

— Похоже на ожог,— протянула она.

— Это и есть ожог!

Фриборд с сомнением покачала головой.

---

* ЛСД *(жарг.)*.

— Надеюсь, ты ничего не гладил? Не пытался приготовить яичницу? И где же эти самые священники?

— Не знаю,— выкрикнул Дир.— Исчезли!

— Сбежали?

— Просто растворились в воздухе.

Фриборд театрально закатила глаза.

— Ну да, конечно, так оно и было!

— Но *вот это* осталось,— прошипел Дир.

— Послушай, Терри, это могло случиться, когда Морна пролила на тебя кофе.

— А то я не почувствовал бы!

— Вполне возможно.

— Я попытался дозвониться до лодочника, чтобы тот приехал и увез меня с чертова острова, но...

— Ну и говнюк же ты! Что сталось с Фомой Неверующим?

— Навсегда пропал вместе с теми священниками. Слушай, лодочник не ответил,— настойчиво твердил Дир.— Словно и не существовал. Я решил связаться с вертолетной службой. Нет ответа. Попробовал поговорить с Пьером насчет собак. Нуль. Помнишь, ты спрашивала, не праздник ли сегодня?

— Да. Похоже, весь Манхэттен вымер.

— Ты не присматривалась к Морне?

Фриборд покачала головой.

— Послушай, Терри, да у тебя руки дрожат! — воскликнула она.

— Эти крохотные фиолетовые пятна на лице и шее...

— О чем ты?

— Ну так вот, она ими просто усеяна. Медики называют их «петехия», иначе говоря, точечное кровоизлияние. Я специально занимался этим вопросом, когда писал «Исповедь Гилроя».

— И что?

— Они появляются, когда кто-то умирает от удушья.

Фриборд отшатнулась.

— Мистер Дир! Мисс Фриборд! Вы здесь?

Кейс. Это Кейс окликает их из гостиной, и в его голосе слышатся зловеще-мелодичные переливы, словно он поднимается густым туманом из бездонного омута-провала. Дир и Фриборд потрясенно переглянулись.

— Могу я поговорить с вами? — продолжал Кейс.

Откуда он исходит, этот ужас? Что его породило?

— Он воет, как Фредди Крюгер,— прошептал Дир.

— О, заткнись!

Дир поднялся, пересек спальню, выбрался в коридор и, перегнувшись через перила, увидел Кейса, стоявшего у круглого игорного столика, за которым уже сидела Анна Троли.

— А, вот и вы,— обрадовался Кейс.— А мисс Фриборд? Она тоже там?

— Да, слышу,— отозвалась Фриборд.— Что случилось?

Она нехотя поднялась и подошла к Диру.

— Что вы там затеваете?

— Если вы оба спуститесь, мы можем начать сеанс.

Глава 10

— Не потрудитесь ли сесть рядом со мной, мистер Дир? — попросила Троли.

— Почему с вами? Вы считаете, что я особо нуждаюсь в сверхчувственных вибрациях?

— Дьявол тебя побери, садись же, скотина,— прошипела Фриборд.

Троли похлопала по стоявшему слева от нее стулу.

— Сюда.

— Так и быть,— согласился Дир.

— А вы — по правую руку, мисс Фриборд,— велела экстрасенс.

Фриборд кивнула и поспешно заняла свое место. Кейс уже устроился напротив Троли.

— Благодарю,— коротко бросила экстрасенс.— Можно приступать.

На столе лежали магическая дощечка и планшетка американского типа: кремовый кусок пластика в форме сердечка, с круглым отверстием в центре. Комната была погружена в темноту, только в камине полыхал огонь да на столе мерцали толстые свечи.

Троли с поднятыми бровями обратилась к Диру:

— Как? Без магнитофона?

Дир покачал головой.

— Нет! — резко бросил он.— Не нужно, я запомню. И к тому же все записывается на пленку,— добавил он, показав на камеру, красный глазок которой был направлен прямо на столик.

— Прекрасно,— кивнула Троли.— А теперь я должна избавить вас от некоторых иллюзий и заблуждений.

— Избавить,— пробормотал Дир, даже не понимая, что говорит. Внимание его целиком поглотила планшетка.

Троли проследила за направлением его взгляда.

— Никаких бубнов, тамбуринов, карт. Никакой эктоплазмы. Никаких явлений духов. Никаких голосов. Никакое существо *не завладеет мной и не станет вещать моими* устами. Однако если что-то возникнет, оно даст о себе знать. Мой жалкий дар,— сообщила она, глядя прямо на Кейса,— каким-то образом фокусирует... собирает энергию, большего ожидать трудно. Кстати, совершенно ни к чему выключать свет.

— Знаю,— согласился Кейс,— это просто чтобы создать настроение.

— Куда уж больше создавать,— огрызнулся Дир.

Фриборд сложила руки на груди и взглянула на Троли.

— И что должно произойти? — поинтересовалась она.

— Мне это неизвестно,— заверила экстрасенс.

— Неизвестно?

— Нет. Возможно, вообще ничего. А теперь возьмемся за руки.

Все последовали ее приказу.

— Я требую, чтобы вы успокоились и не шевелились. Попытайтесь помочь мне, пожалуйста. Даже если вы счи-

таете это моей прихотью и глупостью, постарайтесь не разговаривать и сосредоточить свои мысли на мне.

Анна закрыла глаза.

— Думайте только обо мне,— повторила она,— и о том, чего я стремлюсь добиться. А теперь закройте глаза, пожалуйста.

Они повиновались, и тут же послышался медленный скрип, словно приоткрылась дверь.

Дир тут же вытаращил глаза.

— Мистер Дир, ваши глаза все еще открыты? — строго спросила экстрасенс.

— Откуда, спрашивается, вам эта известно, мадам? Подсматриваете?

— Вовсе нет. Прошу вас, слушайтесь.

— А теперь подождем,— пробормотала Троли.— Повторяю, попытайтесь мне помочь. И ждите. Только ждите.

Последние слова были почти неуловимы. И дышала она замедленно и глубоко.

А потом снова заговорила, спокойно и размеренно:

— С нами кто-то есть?

Они выжидали. Слышалось только потрескивание огня.

— С нами кто-то есть? — повторила Троли.

Тишина. Прошла минута.

Дир открыл глаза и уже хотел отпустить какое-то ехидное замечание, когда по комнате словно пронесся ветер, погасив и огонь в камине, и свечи. Гостиная погрузилась в полный мрак, а в воздухе повеяло запахом реки.

— Вот это да,— бросил Дир, стараясь говорить небрежно и чуть свысока.— Как банально и унизительно! Я видел подобную сцену в «Незваном госте». Неужели наш бюджет так ограничен, что не выдержит благоухания мимоз, или сегодня в моде вонь гниющих водорослей?

Фриборд злобно затрясла головой.

Откуда-то возник жалобный, высокий, похожий на вой звук, а за ним — оглушительный грохот, бьющий по нервам.

— Уверены, что они не кусаются? — неловко пошутил Дир.

Кейс встал и спокойно подошел к окну, где колотилась о стену полуоторванная деревянная ставня.

— Вот беда,— заметил он,— кажется, грядет новая буря.

Он чиркнул спичкой и вновь зажег толстые зеленые свечи.

— Нельзя ли включить свет? — попросила Троли.

— Разумеется.

Кейс подул на спичку и стал нажимать подряд на все выключатели ламп и светильников. Вернувшись к столу, он сел и заметил:

— Похоже, мать природа, а не матушка Троли подшутила над нами.

— Мои извинения, мадам,— поклонился Дир.

— А теперь мы можем продолжать? — осведомилась Троли.

— Ваш слуга,— вздохнул Дир.

Но в отличие от других лишь сощурил глаза и на дальнем конце комнаты увидел ту самую колли, с которой уже сталкивался сегодня. Собака взвизгнула, подпрыгнула и исчезла.

— Мистер Дир, ваши глаза закрыты? — настойчиво справилась Троли.

— О, ради бога, конечно,— раздраженно отозвался Дир, поспешно зажмурившись.

Воцарилась тишина, какая бывает лишь в соборах перед утренней службой или в снах, когда паришь над вершинами деревьев.

— Есть здесь кто-нибудь? — тихо повторила Троли.

Молчание.

Дир открыл глаза, отпустил руки Троли и Кейса и встал.

— Я больше не желаю в этом участвовать,— сухо объявил он.

Остальные открыли глаза.

— Похоже, сегодня ничего *не* получится, верно? — деловито спросила Троли.

— Похоже,— согласился Кейс.— До сих пор все было спокойно, так что ваши клиенты в полной безопасности, Джоан.

— Я не сказала, что не чувствую постороннего присутствия,— вмешалась Троли.

— Вот черт,— пробормотала Фриборд, отводя взгляд.

— Доброе или злое? — осведомился Кейс.

— Опасное,— обронила Троли, чуть помедлив.

Дир дернулся было к выходу, но Фриборд схватила его за руку и потянула обратно.

— Теперь я — Фома Неверующий и требую доказательств,— твердо объявила она.

Заметив на ее физиономии искренний интерес, Дир негодующе фыркнул. Кейс заерзал на стуле.

— Может, попробуем что-нибудь новое, Анна?

Троли пристально уставилась на него, не отвечая. Потом опустила голову и вздохнула.

— Да. Магическую дощечку. Как вы и предлагали.

— Стоит попытаться,— кивнул Кейс.

Дир смотрел мимо него на дверь, у которой заметил собаку.

— Мистер Дир, вы согласны? — допрашивал Кейс.

— Да, какая разница.

— Вы что-то видели?

— Видел?

— Я заметил, что вы как-то странно смотрите вдаль.

— Ничего я не видел,— вскинулся Дир.

— В таком случае начнем,— предложил Кейс.— Если не возражаете, я останусь простым наблюдателем. Валяйте. Вы уже когда-нибудь делали это?

— По крайней мере я знаю, что почем,— кивнула Фриборд.

— А вы, мистер Дир?

— Нет. Я также не взбирался на Тадж-Махал и не прыгал с самолета без парашюта.

Троли шепотом объяснила правила, и минуту спустя все, кроме Кейса, поставили кончики пальцев на планшетку, медленно скользившую по доске.

— Вот так,— кивнула Троли,— почувствуйте, как она дрожит под рукой.

— На самом деле, именно вы ее двигаете,— вмешался Кейс,— то есть ваше подсознание. Поскольку именно оно может проложить мостик в реальность. Дух передает послание в подсознание, которое и побуждает ваши пальцы двигаться. Как по-вашему, Анна?

— Возможно, вы правы. Да,— кивнула экстрасенс.

— Объясните еще раз, почему мы это делаем,— потребовала Фриборд, не сводя глаз с планшетки. Что-то словно втягивало ее в этот странный процесс. И что-то действовало на нервы.

— Чтобы удостовериться, что этот дом вполне безопасен для ваших клиентов,— объявил Кейс, переглянувшись с Троли.

— Да, совсем забыла,— проворчала Фриборд.

Дир покачал головой и пробормотал:

— Какое бесстыдство!

— Ты так распугаешь всех духов, козел!

— Теперь поднимите руки,— наставляла Троли.

Планшетка замерла, и экстрасенс закрыла глаза. Ни звука. Троли опустила голову.

— Кто здесь?

Ничего не произошло; планшетка осталась на месте. Троли хотела было повторить вопрос, но планшетка дернулась, остановившись на слове «да», в верхнем левом углу доски. Дир помотал головой.

— Я не делал этого,— спокойно заметил он.— Это твоя работа, Джоани?

— Нет, твоя!

— Кто здесь? — пробормотала Троли.

Тишина. Воздух сгустился, как перед грозой. Зловещее ожидание повисло в атмосфере.

Анна свела брови. Какая-то смутная тревога не давала покоя.

— Кто здесь?

И прежде чем она сумела договорить, планшетка буквально рванулась вниз и встала на букву.

— Б. Буква «Б»! — воскликнул Кейс.

Планшетка снова задвигалась, увлекая за собой их пальцы.

— Брось баловаться, Терри, ты ее подталкиваешь,— обвинила Фриборд.

— Вовсе нет!

Кейс стал громко называть буквы: М, Б, И, Й, Ц, А, З, Д, Е, С, Ь.

— Все.

— Мбийца здесь? — удивился Дир. Казалось, его снедало нетерпение; весь цинизм куда-то девался.

— Бессмыслица какая-то,— пожала плечами Фриборд.

Но планшетка поползла на «нет».

— Нет,— задумчиво протянул Кейс.— Опять! Опять!

Планшетка встала сначала на «М», потом на «У».

— М-У,— выдохнул Кейс.— Нет «М», «У», и что это может значить?

— Не «М», а «У»,— предположил Дир.— Вот оно! «М» — неверно, нужно «У»!

— Убийца здесь! — воскликнула Фриборд.

Планшетка метнулась на «да».

— Господи, это Куондт! — охнул Дир. Все потрясенно затихли.

— Ты Эдвард Куондт? — спросила Анна.

Где-то снова раздался скрип. Фриборд спохватилась, что скрипит тяжелая резная дверь, ведущая в склеп. Она почувствовала, как леденеют пальцы. Но тут планшетка снова пришла в движение, остановилась на слове «нет» и стала

метаться с такой быстротой, что Кейс едва успевал следить за ней глазами.

— М, О, Д, Н, И, З, В...

Троли побледнела.

— Убийца один из вас,— едва вымолвила она.

Несколько минут все молчали. Потом Фриборд взорвалась:

— Немедленно отними руку, Терри, у меня крыша едет!

— Я тут ни при чем,— запротестовал Дир.

— Я сказала, *отними руку!* — прошипела она.

Дир случайно поймал взгляд Троли и отшатнулся, увидев в ее глазах слезы. И обернувшись к Кейсу, заметил его сочувственный взгляд. Губы Гэбриела шевелились.

— Нет, Анна,— беззвучно твердил он.— Нет. Только не ты.

— Да какого дьявола тут творится? — подивился про себя писатель, отнимая руки от планшетки.

— Скажите, кто сюда явился? Кто вы? Как вас зовут? — повторяла Троли.

Планшетка оставалась на месте. Фриборд повернулась к Диру с понимающей и обвиняющей улыбкой.

— Вот как! — прошипела она, кивая, и снова вперилась в планшетку, которая переместилась на букву «Д».

— Д,— прочитал Кейс, Фриборд громко вторила ему. Вместе они сложили слово «допустить».

— Допустить,— хмыкнул Дир.— Допустить?

— И что это, спрашивается, значит? — гадала Фриборд.— Что именно мы должны допустить?

— Или кого,— добавил Дир.

Планшетка уже металась между буквами И, Д, Т, И.

— Идти? — пробормотал Дир.

Троли поморщилась и поднесла пальцы к вискам. Мигрень нанесла коварный удар исподтишка. Стоило ей убрать руки, как планшетка слетела с доски, спорхнула на пол, завертелась и замерла.

Кейс участливо положил руку на плечо Троли.

— Что с вами? Что случилось?

— Придется на этом закончить. У меня голова раскалывается.

— Ужасно жаль,— посочувствовал Кейс.

Фриборд все твердила, уставясь на дощечку:

— Принять. Идти... Какого хрена это значит?

— А что бы ты хотела, чтобы это значило? — холодно буркнул Дир.

— Что ты имеешь в виду?

— Только то, что это ты ее двигала, Джоан!

— Бред!

— Намекаешь на то, что это миссис Троли? Немыслимо!

Фриборд вскочила и отошла от стола.

— С меня довольно, братцы. Все. Адью!

— Куда ты, любовь моя? — окликнул Дир.

— Не знаю. Мне все равно. Может, погуляю. Хоть свежего воздуха глотну.

Стук ее каблуков постепенно затихал. Входная дверь открылась и закрылась. Фриборд исчезла. Кейс повернулся к Троли. Она оперлась локтями о стол и крепко сжала виски ладонями.

— Как голова? — с искренним состраданием шепнул он.

— Чуть получше.

Дир перевел взгляд с нее на Кейса.

— Мы закончили? — процедил он.

— По-видимому, да,— заверил Кейс.

Дир величественно выпрямился.

— Мистер Кейс, миссис Троли, позвольте поблагодарить вас за эти невероятно волнующие моменты. Никогда я еще так не радовался жизни, с тех самых пор, как один мой приятель уговорил меня перепрыгнуть через глубокую расселину в монгольских степях. Но теперь прошу извинить, мне нужно срочно позвонить.

Писатель поспешно повернулся и направился к лестнице. Кейс внимательно проследил, как он поднимается по ступенькам и исчезает в своей комнате, и только потом вновь взглянул на Троли.

— Попросить Морну принести аспирин?

— Н-нет,— заикаясь, выдохнула она.

— Не слишком удачный вечер, не находите?

Троли кивнула. Кейс смерил ее оценивающим взором и легонько коснулся плеча.

— Это вы двигали планшетку?

Троли уронила руки на стол и непонимающе уставилась на него.

— Что?

— Разумеется, бессознательно. Считаете, что стали причиной гибели своей дочери Бети? Что это вы — убийца?

Анна ошеломленно заморгала.

— Даже не знаю, что сказать,— выдавила она.

— Когда ваша дочь умерла...— начал Кейс.

Но она оборвала его на полуслове.

— Я никогда не называла вам ее имени.

Фриборд медленно брела вдоль берега, по давней привычке опустив голову и глубоко сунув руки в карманы джинсов. Тяжелые мысли терзали ее, не давали покоя. Она чувствовала себя не в своей тарелке. На душе скребли кошки. Сердце противно ныло, а в самой середине словно тлел крохотный, но ядовитый огонек, будивший в ней ощущение собственной никчемности, растерянности и страха. Причина была слишком хорошо известна.

Это все гнусный извращенец Кейс со своими дерьмовыми мартини. И со своей дерьмовой книжкой. Зачем только она ее читала?

Фриборд внезапно замерла и подняла голову.

Что-то неладно. Она это чувствует.

Тишина! Ни единого звука кругом! Она слышит, как бьется ее пульс, и ничего больше.

Бред какой-то!

Фриборд попыталась разглядеть деревню на противоположном берегу. Тумана не было, ночь выдалась ясная. Должны же быть там огни! Странно, везде полнейшая тьма. Она посмотрела на юг, в сторону Манхэттена. И тут глаза ее едва не выскочили из орбит от ужаса и шока. Она не помнила, сколько простояла вот так, в оцепенении.

— Что?! — неверяще выкрикнула она наконец и, вне себя от страха и недоумения, бросилась бежать к дому.

Глава 11

Задыхающаяся Фриборд ворвалась в холл, захлопнула за собой дверь и, обессилев, прислонилась к ней. Свет во всем особняке почему-то стал меркнуть.

— Терри,— негромко окликнула она и, не дождавшись ответа, осторожно заглянула в гостиную.

— Терри! — повторила она уже громче, оглядываясь по сторонам.

— Доктор Кейс! Анна!

Молчание словно давило на нее со всех сторон. Никого и ничего. Фриборд метнулась к библиотеке, наскоро осмотрела ее, забежала за стойку и, налив полстакана ржаного виски, наспех проглотила, пытаясь собраться с мыслями. И тут напряжение, словно ножом, прорезали скрип заржавленных петель и скрежет камня о камень, исходившие откуда-то снизу, прямо из-под ее ног. Скованная ужасом Фриборд, однако, нашла в себе силы метнуть быстрый взгляд под лестницу.

Дьявол!

Дверь, ведущая в склеп, была открыта.

Фриборд почти швырнула стакан на стойку и выскочила из библиотеки.

— Терри! Терри! Где ты шляешься, мать твою! Или ты наверху? Терри! Доктор Кейс!

Взлетев по ступенькам, Фриборд подошла к комнате Дира и постучала.

— Терри,— еще раз позвала она и, не дожидаясь ответа, вошла.

Дир укладывал вещи в лежавшую на кровати сумку.

— Входи, не стесняйся,— язвительно бросил он, не поднимая головы.

Фриборд с силой хлопнула дверью.

— Я начинаю думать, что ты прав,— дрожащим голосом пролепетала она, садясь на постель.

Дир продолжал молча складывать рубашки.

— Я начинаю думать, что призраки действительно существуют,— продолжала она.

Дир воздел руки к небу и, поспешно повернувшись к ней, взвизгнул:

— Но я совсем не желаю оказаться правым!

— Я умираю от страха, Терри. Умираю. Взгляни.

Она вытянула руки.

— Видишь, как трясутся!

Она не преувеличивала. Пальцы так и ходили ходуном. Дир застегнул молнию и, сев рядом, осторожно сжал ее ладони в своих.

— Дорогая моя! Милая бедная Джоан,— взволновался он.— Ты в самом деле смертельно напугана.

Краем глаза Фриборд заметила лежавшую на тумбочке трубку, откуда доносились приглушенные гудки.

— Хочешь дозвониться до лодочника, Терри?

— Пытаюсь. Скажи мне, бесценная моя, что случилось? Ничего не скрывай.

— Выгляни из окна.

— У меня нет окна.

— Верно. Ну и в дерьмо мы вляпались, Терри!

— О чем ты, Джоан?

Фриборд скорчилась и приложила руку к груди, будто пытаясь отдышаться.

— Я вышла к берегу,— запинаясь, бормотала она.— Небо совсем ясное, звезды, луна и все такое. Только города нет, Терри! Ни домов, ни крыш, ни огней, ничего! Манхэт-

тен исчез! Господи, Терри, что здесь происходит? Какая я была дура, когда...

Она осеклась. Что-то изменилось. Взгляд Фриборд упал на трубку.

— Что? — всполошился Дир. И увидел, куда она смотрит.

— Звон. Он прекратился.

И вот теперь они по-настоящему оказались в вакууме. Вакууме, говорившем о полном конце. О том, что какая-то часть существования, некая не слишком приятная глава завершилась. Настает время для новой, потусторонней. Чуждой. Враждебной. Дир встал, поднял трубку, медленно поднес к уху и, немного подождав, бережно положил на рычаг.

— Все,— глухо сказал он.

Свет стал постепенно гаснуть, и где-то в глубине дома возник настойчивый стук, словно в стену била огромная, обернутая в бархат кувалда. Фриборд обратила окостеневший взор к Диру.

— Терри?

Грохот становился все громче, постепенно подбираясь к комнате.

— Господи, что это, Терри? Что?!

— Не знаю.

Фриборд охнула и прижалась к нему.

— ЭТО поднимается по ступенькам!

— Дверь заперта?

— Нет,— помотала головой Фриборд.— Нет!

— О господи милостивый,— пробормотал Дир.

Фриборд судорожно вцепилась ему в руку.

— Иисусе, Терри, держи меня! Держи! Я боюсь!

В ее глазах стоял страх обиженного, постоянно унижаемого, беспомощного ребенка. Терри обнял Фриборд и крепко прижал к себе.

— Не бойся,— прошептал он,— все хорошо.

Она бы поверила ему, если бы не бешеный стук сердца.

Оба уставились на дверь.

Гром набирал силу и неумолимо приближался.

— Это в коридоре,— завопила Фриборд.— Оно идет сюда!

— Ш-ш-ш, Джоани,— прошипел Дир.— Оно может не знать, что мы здесь. Не шевелись! И чтобы ни звука!

За какие-то мгновения он вспомнил все истории о призраках, какие читал и видел, о всяком мыслимом и немыслимом зле, существующем на деле и в воображении всех живущих на земле фантастов. Злоба? Нет, совсем не это надвигается на них. Он ощущает всеми фибрами души ненависть, неумолимую, ужасающую, сметающую все ярость.

— Иисусе! — снова охнула Фриборд.

Стук затих прямо у двери.

— Боже милосердный,— заклинал Дир,— дай мне лишиться чувств! Пожалуйста, повергни меня в небытие хотя бы на полчаса!

Ледяной поток энергии, омерзительной, гнусной, взбесившейся, волнами захлестывал комнату. Чье-то присутствие у двери становилось ощутимее, неподвижность как бы сгущалась. Через минуту раздался едва слышный скрежет, глухое постукивание, словно чьи-то пальцы ощупывали дверную раму. Фриборд сунула в рот кулак, чтобы удержать вопль. В глазах ее стыли слезы. Потом звуки прекратились, и наступило зловещее молчание. И тут оба вскрикнули: что-то с оглушительным треском ударилось в дверь, раз, другой, неутомимо, неустанно, непрерывно. Торжествующе.

— Доктор Ке-е-е-ейс! — панически завопила Фриборд.

Грохот мгновенно смолк, и голос ее, словно обескровленный, замер в холодном легком воздухе комнаты. Дир ощутил, как ее трясет.

— Ничего, все скоро кончится,— прошептал он, гладя ее по щеке.

Откуда оно берется, это смехотворное мужество? Где причина? Я никогда не слыл храбрецом, подивился он.

Ему в голову не пришло, что ответ совсем прост. Любовь. Всего лишь любовь.

Дир прислушался. Звук. Слабый скрип металла. Он поднял глаза и охнул: дверная ручка поворачивалась!

Дир поспешно закрыл ладонью глаза Фриборд и попытался вспомнить покаянную молитву. Ручка замерла и стала вертеться в обратную сторону, но зато немедленно возобновился стук, на этот раз более тихий и размеренный, как биение сердце. Он удаляется! Становится все глуше и глуше, замирая на расстоянии!

Дир облегченно вздохнул и отнял руку от глаз Фриборд.

— Оно уходит,— шепнул он. И тут грохот возобновился с новой силой, у самой двери, так, что казалось, качаются стены и потолок вот-вот рухнет. Фриборд открыла рот и попыталась то ли сказать что-то, то ли крикнуть, но до него не доносилось ни слова за воем и скрежетом. Дверь начала выгибаться посреди, скрипя и вздуваясь огромным пузырем, словно какая-то гневная, бешеная сила корежила ее в тупой упорной попытке добраться до них.

Лицо Фриборд исказилось ужасом. По-видимому, она кричала, но Дир так ничего и не услышал. Да и сам он будто оказался в кошмарном сне. Хотя дверь так и не сорвало с петель, она сделалась прозрачной, и сквозь нее Дир ясно различал стоявшие в коридоре прямо перед ней две фигуры, очевидно, собиравшиеся войти: неподвижные и безмолвные... те самые священники, которых он видел раньше, в другом крыле дома. Тот, что постарше и повыше, с веснушчатым лицом и рыжими волосами, держал перед собой переплетенную в красный сафьян книгу.

Стук все нарастал, казалось, еще мгновение — и они окажутся в лапах разъяренного чудовища. Но тут поток энергии как бы иссяк, уменьшившись до негромкой ритмичной пульсации. Дверь встала на место. Фриборд поднесла руку ко рту и сдавленно всхлипнула. Пульсация по-

степенно уходила, становясь все слабее, пока не исчезла совсем.

— Иисусе, Терри, я хочу немедленно убраться отсюда,— хрипло прошептала она.

— Я тоже.

— Как по-твоему, ОНО ушло?

— Не знаю,— покачал головой Дир.

Он хотел было подойти к двери, но риэлтор поспешно потянула его обратно.

— Нет! Не открывай! Я ЕМУ не верю!

— Ты права,— согласился он.

Они долго ждали. Внизу раздались голоса. Троли и Кейс.

Дир и Фриборд вскочили и, метнувшись к двери, выскочили в коридор. Кейс и Троли, о чем-то дружелюбно беседуя, направлялись в гостиную.

— Эй! — окликнула Фриборд.

Они подняли головы. Дир и Фриборд скатились по ступенькам.

— Господи, ну и рада же я вам! — задыхаясь, воскликнула Фриборд.— Где вас черти носили?

— Я просто показывал Анне дом,— удивился Кейс.— Что-то случилось? Рассказывайте.

Он порылся в кармане явно в поисках блокнота и ручки.

— Да, судя по вашим лицам, что-то не так.

— Слабо сказано. Слушайте, не смейте больше оставлять нас одних! — истерически взвизгнула Фриборд.

— Вы так бледны, дорогая,— заметила экстрасенс.— И вы тоже, мистер Дир.

— Бледен? Да я на ногах не держусь! Полная развалина.

— Но что, что вы видели? — настаивал Кейс.

— Не знаю,— вздохнула Фриборд, вытирая слезы.— Что-то надвигалось по коридору, пыталось ворваться в комнату, едва не выломало дверь.

— Какую именно? — допытывался Кейс.

— Моей комнаты,— пояснил Дир.

— Сначала мы услышали громкий стук,— вспоминала Фриборд,— словно молотом били в стену. Весь дом дрожал! Мозги на кусочки разлетались! А потом...

— Извините,— перебил Кейс, глядя мимо нее.— Морна, дорогая, это вы?

Дир и Фриборд обернулись. Рядом с ними стояла экономка. Откуда она появилась?

— Да? — спросила она, не сводя глаз с Кейса.

— Вы не выходили из дома последние два часа?

— Нет, разумеется.

— Значит, вы тоже слышали,— заметила Фриборд.

— Что слышала, мисс?

— Что? — нервно хихикнула Фриборд.

— Вы не слышали ничего необычного, Морна? — нахмурился Кейс. Казалось, его одолевали сомнения.

— Совсем ничего,— безмятежно ответствовала Морна.

— Да весь дом ходуном ходил! — ошеломленно выпалила Фриборд.

— Не пойму, как мы уцелели,— добавил Дир.

— Я ничего не слышала,— мягко повторила Морна, качая головой.

— Прекрасно! Значит, у меня одной крыша улетела! — рявкнула Фриборд.

— Почему же, я тоже слышал! — взорвался Дир.

— Скажите, Морна, где были в это время вы? — хмуро осведомился Кейс.

— На кухне.

— Это безумие! — взвизгнула Фриборд, поднимая руки к небу.

— Что-то еще? — поинтересовалась Морна.

— Вы уверены, Морна? — настаивал Кейс.

— Абсолютно. Это все? Я могу идти?

В глазах Кейса блеснуло нечто таинственное... то ли желание, то ли грусть по несбыточному.

— Разумеется, вы можете идти. Спасибо. Я благодарен вам больше, чем могу выразить.

— Угу, я тоже. Ничего не скажешь, разодолжили,— буркнула Фриборд.

— В таком случае спокойной ночи,— пожелала Морна и, долгим взглядом посмотрев в глаза Кейсу, медленно поплыла к той двери, из которой вышла утром.

— Ничего себе добрая ночь! — пожаловалась Фриборд.

— Нет никакого сомнения в том, что мы видели и слышали,— доказывал Дир.— Ну, по крайней мере слышали.

— А видели? — удивленно поднял брови Кейс.

— Не совсем,— отступил Дир.— Боюсь, я оговорился.

— А, на хрен все это! Док, я хочу свалить отсюда,— заявила Фриборд.— Завтра же. Прямо с утра. И если для этого мне придется плыть на другой берег, так тому и быть!

— Именно, как любил повторять Джо Пендлтон,— поддакнул Дир.

— Джо Пендлтон? — удивился Кейс.

— Боксер в фильме «Вот идет мистер Джордан»,— пояснил Дир.

— Именно, именно,— повторила Фриборд.— Нужно линять отсюда и поскорее.

— Конечно,— согласился Кейс, задумчиво теребя нижнюю губу.— Ну а пока мы очутились лицом к лицу с тайной, которую, думаю, нам по силам решить.

— Как это? — вскинулся Дир.

— Весь сеанс записывался на две камеры, установленные в гостиной и холле. Если что-то действительно присутствовало, оно непременно появится на пленке либо на звуковой дорожке. Сейчас мы это проверим, и мистер Дир, возможно, получит материал для захватывающей статьи. С другой стороны, если там нет ни изображения, ни звука, ни призраков...

Кейс пожал плечами и повернулся к Фриборд.

— Надеюсь, вам станет легче?

Фриборд презрительно скривила губы.

— Там окажется все.

— В нижнем правом углу экрана отмечается время,— напомнил Кейс.— Половина двенадцатого ночи.

Он стоял у телевизора в библиотеке. На экране возникла пустая гостиная. Троли, Дир и Фриборд наблюдали за происходившим с дивана, стоявшего совсем близко к камину.

— Как видите,— продолжал Кейс,— ничего, кроме комнаты. Ни звука. Никакого грохота. Камера ничего не зарегистрировала.

— Должно быть, микрофоны испорчены,— возразил Дир.

— Ничего подобного,— покачал головой Кейс.— Только не этот. Вот, послушайте.

На экране появились Кейс и Троли, входившие в гостиную. Шаги, скрип половиц, негромкий разговор... Слышно каждое слово.

Фриборд тупо пялилась на экран.

— Конец света,— бормотала она.— Умереть, не встать.

— Ни грохота, ни призраков,— повторил Кейс.

— А я говорю, мы сами слышали! — вспылил Дир, заливаясь краской негодования.— И нечего нас уверять!

— Да, нелегкая загадка,— согласился Кейс и, нажав на кнопку, быстро перемотал ленту.

— Но вот это уже совершенно непонятно. Ума не приложу. Совершенная чушь. Взгляните. Тут должен быть записан наш сеанс.

Он снова нажал на кнопку. На экране снова показалась гостиная, тот угол, где стоял игровой столик с лежавшей на нем магической дощечкой. Время — десять тридцать.

— Постойте, а где же мы? — ахнула Фриборд.— Что происходит?

Планшетка бешено металась от буквы к букве, но за столом не было ни единой души, да и в комнате тоже, если не считать появления большого колли, вымахнувшего из коридора, но так же быстро улепетнувшего прочь. По-

бледневший Дир застонал, а Троли безмолвно тряхнула головой.

— Дата неверна,— пробормотала она, показывая на число, возникшее как раз под временем.— Тут написано «1997 год».

— Нас нет на пленке,— тупо повторила растерянная, ничего не соображающая Фриборд.

— Да это просто абсурд! — вскочил Дир.— Бред! Какая-то идиотская ошибка! Хоть ты скажи что-то, Джоани!

Но Фриборд поморщилась от боли и поспешно отбежала от камина.

— Черт, я сейчас сгорю,— взвыла она. Троли и Дир последовали ее примеру.

— Откуда эта чертова жара? — пожаловался он, провожая Фриборд и Троли в гостиную. Из всех присутствующих один лишь Кейс оставался совершенно невозмутимым. Подступив к двери библиотеки, он с некоторым сочувствием наблюдал за остальными.

— Господи боже! — изумленно вскрикнула Троли, пошатнувшись, как будто невидимый враг с силой толкнул ее в грудь. За первым толчком последовал второй, третий, и удивление быстро сменилось страхом. Троли пронзительно завизжала. Тут что-то гулко ударилось в стену особняка.

— Иисусе,— выдохнул в свою очередь Дир.— Иисусе милостивый!

— Я горю, Терри! — вопила Фриборд.— Горю!

Грохот продолжался, громовой, раздирающий уши, сверлящий мозг. Лампы и столы начали крениться, скользить по полу, ездить по комнате, огромные картины летали от стены к стене, словно сорванные чьей-то невидимой злобной рукой, безумие и ярость воцарились в доме, в этой комнате, опалив мукой агонии их несчастные измученные души.

— Кто-нибудь, скажите же, что происходит! — взвыла Фриборд, безуспешно пытаясь заткнуть уши. Троли внезапно отпрянула, вопя от боли: глубокая бескровная борозда, словно проведенная невидимым раскаленным стерж-

нем, прорезала ее лицо. Где-то раздавалось ритуальное монотонное пение на латинском, кошмарно-зловещее, неприятно-звучное, словно поддержанное сотнями злорадных голосов. Неожиданно некая непонятная сила подняла завизжавшую Фриборд в воздух, швырнула через всю комнату и ударила о стену с тошнотворным тупым стуком и треском ломающихся костей. Но Троли и Дир уже ничего не видели. Их тоже закрутило могучим смерчем, понесло к потолку, беспомощных, в ужасе таращивших глаза, бессильно раскинувших ноги и руки, влепило в потолок и отбросило на пол, смятых, как растоптанные надежды.

Это не сон. Не сон! Не сон... Это явь. Невыносимая. Бесчеловечная.

ЧАСТЬ 3
«ДЕЖА ВЮ»

Глава 12



езная парадная дверь особняка, распахнувшись, ударилась о стену, словно под воздействием злого колдовства.

— Дьявол, ну и ураган! — воскликнула ввалившаяся в холл Фриборд, отряхиваясь, как собака, так что с блестящей желтой штормовки, одолженной капитаном катера, во все стороны полетели брызги.

За ней, сопровождаемый голодным воем ветра, вбежал Дир. Обернувшись, Фриборд увидела, как на крыльцо неспешно, словно прогуливаясь, взбирается Анна с сумкой в руке. За ее спиной виднелась монолитная серая стена дождя. Вся вода мира, казалось, обрушилась на путешественников.

— Вы в порядке, миссис Троли? — окликнула она, приложив руку ко рту.

— Да, дорогая,— отозвалась экстрасенс,— в полном.

Последнее слово почти заглушил пушечный залп громового раската. Буря разразилась совершенно неожиданно, когда они мирно направлялись к острову, и несчастный катер начало швырять из стороны в сторону, а волны каждую минуту грозили опрокинуть суденышко. Правда, по радио и телевизору передали штормовое предупреждение, но заверили, что у берега сила ветра несколько уменьшится. Этого не случилось.

— Клянусь, я задолжал тебе хорошую трепку, Джоан,— буркнул Дир, бросив на пол легкую сумку.— Так и знал, что следовало гнать тебя из дома в три шеи.

— Отступать некуда,— сообщила Фриборд.— И придержи язык ради всего святого, особенно при этих людях! Я только что на коленях не стояла, чтобы их уговорить!

— Благодарение Богу, что меня не пришлось долго упрашивать!

Фриборд стащила непромокаемую шляпу и показала на открытую дверь, где все еще сражалась со ступеньками экстрасенс.

— Терри, помоги миссис Троли.

— Сейчас.

Дир свободной, несколько расслабленной походкой грациозного жирафа направился к женщине и потянулся к ее сумке.

— Могу я вам помочь?

— О нет, благодарю. Я всегда путешествую налегке.

— И то верно. Тамбурины почти ничего не весят.

— *Терри!!*

Троли наконец вошла, сняла шляпу и опустила на пол сумку.

— Ничего,— благосклонно бросила она Фриборд.— Считайте, что я не слышала.

По правде говоря, она достаточно наслышалась от Дира во время поездки в лимузине, включая требование сравнить методы ее и Вупи Голдберг в фильме «Призрак», а также настойчивые расспросы относительно содержания холестерина в эктоплазме, Но Троли на каждую шутку лишь кивала головой и слегка улыбалась, безмятежно глядя на расстилавшийся за окном машины пейзаж. Ее видимое равнодушие, очевидно, действовало на Дира, как красная тряпка — на быка. Его упражнения в остроумии становились все изощреннее, а рассуждения по поводу сверхъестественного и непознанного — все ехиднее.

— Если верить газетам,— сообщил он, когда лимузин приближался к Беар Маунтинз,— Эдгар Кайт впервые впал

в транс лишь потому, что не хотел идти в школу, а потом обнаружилось, будто лягушка, которую он держал в кармане, каким-то образом излечилась от мононуклеоза, что, разумеется, вызвало настоящую сенсацию.

И так далее, и тому подобное. Слава богу, они наконец на месте.

Фриборд осмелилась подбежать к двери и захлопнуть ее. В воцарившейся тишине до Дира вдруг донеслась музыка.

— Господи Иисусе, неужели я попал на небо! — воскликнул он.— Коул Портер!

Лицо писателя осветилось детской радостью, едва из-за массивных дверей гостиной раздалась знакомая мелодия. Кто-то играл на фортепьяно.

— Моя любимая! — просиял он.— «Ночь и день»!

— Это вы, док? — окликнула Фриборд.

— Мисс Фриборд?

Глубокий приятный голос, как ни странно, не приглушали даже толстые створки. Фриборд немедленно отправилась в гостиную. Все лампы были зажжены, и уютный свет переливался на ореховых панелях, а в камине весело потрескивало пламя, вторя чарующим пассажам. Фриборд с наслаждением вдохнула запах горящей сосны. Буря словно осталась в ином измерении.

— Да, мы уже здесь,— кивнула она пианисту и с улыбкой двинулась вперед, сбрасывая на ходу штормовку, с которой капала вода. За ее спиной возник Дир, а потом и Анна медленно вплыла в комнату. Насквозь промокшие сапоги Фриборд противно чавкнули.

— Ну вот, главное, что все живы и здоровы,— обрадовался Кейс.— Очень рад. Я уже начал волноваться.

Фриборд невольно отметила, что профессор совсем недурен собой: длинные волнистые черные волосы обрамляли точеное лицо, словно принадлежащее какой-то древней статуе. Отблески огня плясали в его глазах. Темные... только какого вот цвета — не понятно. И немолод: лет со-

рок восемь — пятьдесят. Одет в брюки хаки и такую же рубашку с короткими рукавами.

— Совершенно безумный ураган! — воскликнул он.— Не вы, случайно, заказали эту погоду, мистер Дир? Признайтесь, это вы всему причиной!

Дир был известен своими готическими романами.

— По-моему, я заказал всего лишь «Чивас Ригал»,— сухо пояснил писатель.

Он и Фриборд остановились у рояля, пока Анна с нерешительным недоумением оглядывала комнату.

— Вы призрак? — обратился Дир к пианисту. Фриборд, не веря собственным ушам, обернулась к нему.

— Что за бред? — раздраженно прошептала она.

— Давно не была в Диснейленде? — громко продолжал писатель.— Там так и устроено: когда проезжаешь по долине привидений, куча духов танцует, а самый большой играет на фортепьяно.

Она поймала себя на том, что снова хмурится.

— Такое бывало и раньше,— уклончиво заверила она.

Но Кейс, словно не слыша, повторил:

— Что же все-таки неладно?

— Знаете, такое странное чувство... называется «дежа вю». Только и всего.

— Здесь для этого не время и не место,— рявкнул Дир.

Фриборд опустила руку и как-то странно взглянула на него.

— Иисусе, Терри, я знала, что ты это скажешь.

— Откуда?!

— И я знала, о чем будет говорить доктор Кейс.

— Невероятно,— прошептал Кейс.— «Дежа вю» связано отнюдь не с будущим, а с прошлым; иногда кажется, что все происходящее уже было. Подчеркиваю, было, не будет!

Слегка повернув голову, он посмотрел куда-то мимо Фриборд.

— А вот и...

— Морна,— хором провозгласили Дир и Фриборд.

Кейс осекся, мельком взглянул на стоявшую совсем близко Морну и, недоуменно пожав плечами, поднялся.

— Но откуда, спрашивается, вы знаете ее имя?

— Не знаю,— ошарашенно пролепетал Дир.

— Все это происходило раньше.

При звуках спокойного голоса все обернулись и уставились на Троли, сидевшую в кресле у камина. Ее измученный взгляд не отрывался от Кейса.

— И вы тоже? — удивился Дир.

— Разумеется,— кивнула экстрасенс.

— Эй, погодите-ка, братцы,— взмолилась Фриборд, потирая лоб,— это уже апофигей.

— Да, поразительно,— согласился Кейс,— ужасно странно.

Он по-прежнему стоял у рояля, сложив руки на груди. И казался не частью компании, а отрешенным наблюдателем, следившим за разворачивающимся действием.

Фриборд покачнулась, едва дотащилась до дивана и тяжело села, словно ноги подкосились.

— Сил нет,— едва ворочая языком, выговорила она.— Я почему-то ужасно устала.

— А знаете,— удивился Дир,— я тоже. Что это? Я совершенно опустошен. И ничего не могу сообразить. Мысли разбегаются.

— И у меня,— охнула Фриборд.

Дир едва доплелся до дивана и рухнул рядом с ней.

— Что это, Джоани? Что это может быть?

— Не знаю,— поморщившись, словно от боли, выдавила Фриборд.— Иисусе, моя голова!

— Это дом вздумал сыграть с нами злую шутку, доктор Кейс? — вырвалось у Дира.— Уже? Если, конечно, верить всем слухам о том, что здесь происходит.

Кейс с бесстрастным видом обратился к Троли:

— А вы что думаете, Анна? Как по-вашему? У вас та же реакция?

Троли кивнула.

Кейс задумчиво почесал в затылке.

— Все это совершенно непонятно.

— Хотите сказать, неприятно? — вставила Фриборд.

— Так трудно допустить, что вы знаете имя Морны,— допытывался Кейс.

Дир вскинул голову.

— Что вы сказали?

— Допустить.

Теперь уже Фриборд пристально вперилась в Кейса, расширив глаза, в которых медленно, словно изображение на фотопленке, проявлялась какая-то ошеломляющая мысль. Очевидно, ее наконец озарило.

— Допустить,— пробормотал Дир себе под нос. Почему это слово так сильно на него действует?!

— Поразительно,— заметил Кейс.— Сразу трое с «дежа вю». Невероятно!

Фриборд, сбитая с толку и встревоженная, медленно поднялась с дивана.

— Эй, погодите! Какого хрена здесь творится? — злобно прошипела она.

— Вот мы и пытаемся понять,— чуть резковато ответил Кейс.

Фриборд устремилась к нему, замерла и внимательно всмотрелась в его лицо.

— Вы не Гэбриел Кейс,— объявила она.

— Что? — вскричал пораженный Дир.— О чем ты толкуешь, Джоани?

— Я говорю, что этот человек — не тот, за кого выдает себя. Он не Кейс!

Дир обернулся к Кейсу и, не веря собственным глазам, заметил в его взгляде нежность и жалость.

— Ты окончательно рехнулась, Джоан! — воскликнул он.

Фриборд немедленно набросилась на него:

— Терри, я видела фото Кейса! И говорила с ним.

— Почему же сразу не сказала?

— Да кому до этого дело? Какая разница! Главное, что этот человек — не доктор Кейс.

— Ошибаешься,— настаивал Дир.

— Вот уж нет!

— Конечно, Кейс! Он выглядит точно так же, как в прошлые разы: тот же шрам, то же...

Писатель, внезапно сообразив, что несет, оборвал речь.

— Что, черт побери...— едва слышно прошептал он.

— Терри, что это? — дрожащим голосом выдохнула Фриборд.

При виде искаженного лица Дира ее охватило предчувствие чего-то страшного. Потрясенный Дир медленно поднялся.

— Это повторяется снова и снова. Одно и то же,— деревянным голосом объявил он.

— Что повторяется? Что с нами, Терри? Да говори же.

Но писатель зачарованно воззрился на Кейса.

— Кто вы? — спросил он его едва слышно.

Фриборд и Троли как по команде повернули головы.

— Да, кто вы? — глухо повторила экстрасенс.

Кейс внимательно всмотрелся в их встревоженные лица.

— Пойдемте со мной,— торжественно провозгласил он.— Мне нужно кое-что показать вам. Думаю, теперь вы наконец готовы. Не бойтесь, это всего лишь приятная прогулка по берегу.

Троица безмолвно переглянулась. Некая покорность судьбе наполнила их существа. И глаза, и выражение лиц внезапно изменились. Все выглядели сломленными.

Кейс добродушно улыбнулся Фриборд.

— Вы кажетесь измученной, Джоан,— мягко заметил он.— Совершенно вымотались?

Фриборд покачала головой.

— В таком случае вперед!

Остальные, не успев опомниться, как во сне последовали за ним. Было раннее утро, и тяжелый туман саваном

окутал их. Снова надвигалась буря: серые тучи летели по небу, низко нависая над рекой; далеко на севере сверкали зарницы, словно чьи-то светлые души освещали мрак. Кейс без единого слова проводил их через дубовую рощу. Скоро они выбрались на тропинку вдоль реки, где когда-то бродили Троли и Фриборд, но отчего-то остановились на полдороге. И теперь, когда они приблизились к изгибу реки, именно Дир замер первым, с ужасом глядя вперед. Остальные, взбудораженные, расстроенные, нерешительно последовали его примеру. Легкий ветерок играл подолом платья Троли.

— Хотите продолжить? — мягко вопросил Кейс.

Никто не ответил. Никто не шевельнулся. Наконец Фриборд вырвалась вперед и помчалась к тому месту, где линия берега делала резкий поворот. Писатель и экстрасенс, слегка спотыкаясь, побрели за ней. Полный опасений, но удовлетворенный Кейс остался на месте. Оглядевшись, он направился к заросшему тростником болотцу, раздвинул кусты и долго грустно смотрел на крохотные, выбеленные солнцем скелетики двух маленьких собачек. Тонкий вопль оторвал его от созерцания печальных останков. Фриборд. Кейс поспешил догнать остальных.

Анна Троли в глубоком обмороке лежала на песке. Фриборд и Дир с мокрыми от слез глазами пытались привести ее в чувство. Наконец Анна открыла глаза. Дир и Фриборд помогли ей встать, и все трое, старчески шаркая ногами, направились к тому месту, где в песке гнил заржавленный остов катера с выцветшей надписью на борту: «Far Traveler».

Тихое рыдание вырвалось из горла Троли.

— Все мы мертвы,— с трудом прохрипела Фриборд.

Дир горестно кивнул.

— Погибли в наступающей буре.

— Так и было,— подтвердил подходивший к ним Кейс. Остановившись в нескольких ярдах, он добавил: — Именно вы — те самые привидения, которые бродят по «Где-то там».

Троли, неразборчиво выкрикнув что-то, снова рухнула на песок. Дир протянул Фриборд дрожащую руку.

— Держись за меня, родная,— слегка дрожащим голосом попросил он.

Фриборд крепко стиснула его ладонь.

— Все хорошо. Я с тобой, Терри. Всегда,— пообещала она.

— И я с тобой.

— Я так и не досказал историю этого дома,— заметил Кейс.— Хотите послушать?

— Да бросьте вы это! — рявкнул Дир, немного придя в себя.— Хватит и того, что мы мертвы! Не хватало еще выслушивать ваши рацеи, стоя в луже! Нельзя ли покороче?!

Кейс улыбнулся:

— Еще много лет после своей кончины призраки Эдварда и Райги Куондт населяли особняк, пугая и сводя с ума жильцов, и даже убили нескольких силой своей ненависти и злобы друг к другу. Но к середине восьмидесятых годов они помирились, свыклись с мыслью о смерти и решили уйти. А четыре года назад появились вы, погибшие в бурю вместе с капитаном катера. Капитан покинул это место, вы — нет. Или, если быть более точным, вы не пожелали. Отказались допустить факт своей смерти.

— Теперь я это понимаю,— вздохнул Дир.— И ясно вижу. Яснее ясного.

— В таком случае, может, объясните, почему отказались принять свою смерть? — бросил Кейс.— Что скажете, мистер Дир?

— Могу, конечно. Я страшно боялся, что смерть неразрывно связана с вечным проклятием.

— Верю,— кивнул Кейс.— А вы, Анна? Осознаете ли, что именно удерживает вас на земле?

— Боюсь, очень смутно.

— Упиваетесь скорбью по дочери, как наркотиком.

— Боже милостивый!

— Странные иногда у нас привязанности, не находите?

Троли покачала головой.

— Неужели такое в самом деле возможно?

— Похоже, я здесь что-то вроде сироты-несмышленыша? — процедила Фриборд.

— О, Джоан! — укоризненно воскликнул Кейс.

— И нечего меня уговаривать. «Джоан»! Елки-палки, ну и ну! — проворчала она.

— Ты цепенела от ужаса при мысли о смерти,— напомнил Кейс.

— Черт, как и мы все! Чем это я отличаюсь? Подумаешь! И что еще?

— Никак не могла расстаться со своими игрушками,— мягко добавил Кейс.

— Какой инфантилизм! — насмешливо поддакнул Дир.

Фриборд обожгла его яростным взглядом.

— И что теперь? — вмешалась Троли.— Мы должны уйти?

— Это зависит от вас,— пояснил Кейс.— Можете пересечь границу, можете остаться. Ну а моя миссия благополучно пришла к концу.

Фриборд презрительно сморщила нос.

— Ваша миссия?

— Да. Морна и я... нас послали помочь вам обнаружить истину. Ранее каждый раз, очутившись почти у порога знания, вы предпочитали отвергнуть его и начать весь круг сначала, снова и снова воспроизводя первый день вашего появления в особняке; все, кроме кораблекрушения, разумеется. Вы отторгали сцену трагедии, блокировали ее в своих мозгах, как, впрочем, и все, что могло развеять ваше заблуждение. Поэтому вы и не сохранили в памяти вашу прогулку по берегу, Джоан. Вы подсознательно ощущали, что за следующим поворотом найдете катер. К сожалению, дорогие мои, вы разыгрывали один и тот же спектакль много лет, даже после того как мы пришли на помощь. Упрямые гордые души!

Троли охнула и прижала ладони к щекам.

— Вот почему вы показались мне таким знакомым!

— Совершенно верно.

Троли вздохнула:

— Значит, это не иная жизнь.

— Нет, Анна.

— Я уничтожена.

Дир обернулся к Фриборд и тихо спросил:

— Ну, разве не жесточайшая ирония? Ты не могла продать этот дом, потому что бродила по нему привидением.

Фриборд сжала кулаки.

— Клянусь Богом, не будь ты уже мертв...— пробормотала она.

— Кстати, о призраках,— вставила Троли.— Мы ели, пили и все такое. Не означает ли это, что мы вселились в новые тела?

— Господи, нет конечно,— отозвался Кейс.— Это все иллюзия, дорогая, ничего более. Просто вы создавали собственную реальность. Остров и дом материальны, они здесь, но вы как бы переделали их в соответствии с вашими заблуждениями.

— Значит, мы нематериальны? — уточнила экстрасенс.

— Вы — нет.

— Даже не астральные тела или что-то в этом роде?

— Оставьте это,— посоветовал Дир.

— Постарайтесь обрести мир,— добавила Фриборд.

Дир одобрительно кивнул.

— Ну, так что же вы решили? — допытывался Кейс.— Должен честно признаться, что надеюсь на ваше благородство: уж если вы решили цепляться за здешние места, пожалейте по крайней мере несчастных, доведенных до отчаяния людей, которые заслужили право спокойно жить в «Где-то Там». Я говорю о Поле Куондте и его бедном семействе. Вы просто измучили их, что называется, показали кузькину мать, не примите за оскорбление.

— То есть как измучили? — удивился Дир.

— Запугали их до умопомрачения! Помните дьявольское пламя, которое жгло вас, неведомую силу, расшвы-

рявшую все по комнате, оглушительный грохот и все кошмарные передряги, которые вам пришлось пережить? Неужели не знаете, что было этому причиной?

— Умираю от любопытства, не сочтите за каламбур,— сухо обронил Дир.

— Куондты призвали *священников-иезуитов, чтобы изгнать вас!*

Писатель довольно ухмыльнулся.

— Ну что, Джоани? Слышишь?

— О, ради всего святого, Терри!

— Священники!

— Да заткнись же!

Но тут кто-то деликатно откашлялся. Этим «кто-то» оказался Кейс.

— И что же теперь? Смена частот? От души на это надеюсь. Должен сказать, я проникся к вам искренней симпатией.

Фриборд нерешительно покачала головой.

— Черт, не знаю. Правда, не знаю.

Кейс с неподдельной нежностью посмотрел на нее.

— Признаюсь, мне будет вас не хватать, Джоан.

— Меня? — изумленно выпалила она.

— Там больше не будет ни одиночества, ни слез.

Глаза Фриборд мигом увлажнились.

— Точно? — прошептала она.

— Точно.

— Этот мир не предназначен стать для нас домом, Джоан,— пояснил он.— Этот мир — всего лишь короткая остановка. Однодневка.

Фриборд порывисто провела ладонью по глазам.

— Эй, да это ты! Ангел из моих снов! Гэбриел! «Молюски небезопасны»! Ты реку имел в виду!

— Ну уж я знаю, что мне делать! — заявил Дир.

Фриборд вопросительно подняла брови.

— Линяешь?

— Именно! — воскликнул Дир.— Отчаливаю!

И, послав воздушный поцелуй в сторону реки, добавил:

— Адью, пространство-время! Будьте паиньками!

Тело его стало терять краски, становясь прозрачным.

— Эй, меня подожди! — заорала Фриборд, тоже начиная растворяться в воздухе.

— Адью, вампиры-критики и въедливые обозреватели!

Дир уже был почти невидим.

— Эй, слышишь, сбавь скорость на секунду! — проскулила Фриборд.

— Теперь понятно, что моя частота куда выше твоей, Джоани!

В следующее мгновение они исчезли. Откуда-то сверху раздался негодующий раздраженный вопль, за ним — хлесткий шлепок и жалобный голос Дира:

— Где это видано — драться в загробной жизни. Джоани?!

Кейс и Троли с улыбками переглянулись, услышав отдаленный скулеж собачек.

— О небо! Да возможно ли это? — разнесся слабеющий крик Дира.

— Ужасная болтанка. Интересно, может ли вырвать призрака? — взвизгнула Фриборд.

— Малыши!

Голос Дира, сопровождаемый едва слышным тявканьем пуделей, был исполнен такой радости, которой он никогда не ведал раньше.

В этой жизни.

Звуки растаяли.

— Ну, Анна, а как насчет вас? — спросил Кейс.— Вы идете? Учтите, Бети ждет.

Троли нахмурилась:

— А что сталось с доктором Кейсом? Настоящим, я имею в виду. Вы с ним разделались или как?

— Что вы, Анна! Доктор Кейс жив и здоров, бедняга. Узнав о вашей гибели, он вернулся в университет, к своим занятиям.

— Вот как!

Кейс шагнул к ней.

— Ну а теперь, может, пойдем вместе?

Но Троли, властно вытянув руку, остановила его.

— Рано. Сначала я хочу знать, кто вы.

— Поверите, если скажу, что я существо из света? Небесное создание.

— Попробуйте еще раз.

— Теперь *я* раздавлен,— объявил Кейс.— Ну какая разница, кто я на самом деле?

— Огромная. Зная, кто вы, я получаю определенную возможность хотя бы смутно догадаться, куда меня ведут. В этих обстоятельствах официальный статус имеет решающее значение.

— Вы можете довериться мне, Анна. Никакого адского пламени и тому подобных штучек.

— Вот адское пламя меня волнует больше всего.

— Мне не до шуток, Анна. Вперед!

— Но вы уж точно не ангел, верно? Вы обманывали нас. Надели личину Гэбриела Кейса.

— Конечно, не ангел. Вы сами сказали, Анна, мертвецы лгут.

Он снова улыбнулся сверкающей улыбкой архангела.

Из груди Троли вырвался смех, звонкий, счастливый, словно, освободившись наконец от тяжкого бремени, она, переполненная бурлящим счастьем, наконец обрела свободу.

Кейс устремился вперед, протягивая руки.

— А теперь? Отправимся в неведомое, прелесть моя?

Троли с силой выбросила вверх кулачок.

— *Да!*

И бросилась к нему с распростертыми объятиями.

ЭПИЛОГ
1997



Пробудившееся солнце рассыпало золото на спокойные серо-голубые воды медленно текущей реки, и воздух острова был напоен покоем. В гостиной величественного особняка смеющиеся дети играли в салочки, пока их родители, Пол и Кристина Куондт, беседовали в библиотеке с двумя донельзя утомленными священниками-иезуитами. Один из них, крепкий, очень молодой, с непроницаемым лицом, внимательно следил, как его собрат постарше укладывает в портфель молитвенник в красном сафьяновом переплете. Защелкнув застежки, священник почесал нос веснушчатым пальцем.

— Ну вот и все,— вздохнул он.— Мы закончили.

Он рассеянно провел ладонью по редеющим рыжим волосам. Кристина заглянула в гостиную.

— Да, видите, детям здесь хорошо,— заметила она.

— Благослови их Боже,— добавил старший священник, поднимая портфель.

Пол Куондт, угрюмо насупясь, покачал головой.

— Поверить не могу, что вся эта история снова началась, отец мой.

Он сидел у стойки бара, нервно теребя короткий рукав джинсовой рубашки.

— Когда вы переехали сюда? — осведомился священник.

— Второго мая. Мы жили в Европе, но сняли с продажи особняк, когда эта бедняжка-риэлтор погибла. Господи, что мы только с тех пор не пережили!

Он поднес к губам большую белую кружку с кофе.

Рыжий иезуит обернулся к своему молчаливому спутнику, по-прежнему чего-то выжидавшему. Молодой священник мрачно и понимающе кивнул, устремив бесстрастный взгляд на Пола.

— Могу себе представить,— вздохнул рыжий, направляясь к бару.— Что ж, будем надеяться, что больше вас ничто не потревожит.

— Ничего другого не остается,— сухо заметила миссис Куондт.

— Я выйду на воздух,— предупредил молодой человек.— Очень хочется курить.

— Ладно, Реджис, я сейчас приду,— пообещал пожилой священник.

Реджис направился к двери.

— Спасибо за все, святой отец! — крикнул вслед Пол.

Священник махнул рукой в знак того, что услышал, но не оглянулся.

— Так молод,— пробормотала Кристина.— Лет двадцать, не больше.

— Да, удивительно, не так ли? — согласился священник.— Мой помощник внезапно заболел, и в самую последнюю минуту едва успели найти Реджиса.

— Значит, вы познакомились здесь?

— Именно.

И священник, что-то неожиданно вспомнив, добавил:

— Кажется, так звали мальчика, который умер? Вашего кузена? Сына Эдварда Куондта?

— Верно,— кивнула Кристина.

— Красивое имя. Ну что же, пора прощаться.

Священник протянул руку.

— Вы не останетесь пообедать? — спросила Кристина.

— Спасибо, нет. В одиннадцать у меня месса. Да пребудет с вами благословение Господне. Хорошие вы люди.

Он обменялся рукопожатием с хозяевами.

— Кстати, не позвоните ли лодочнику? — вспомнил он.

— Уже,— заверил Пол, вставая.— Еще раз благодарю за то, что помогли изгнать злых духов, отче.

— Будем надеяться, они оставят вас в покое.

— Аминь,— вторил Пол.

— Позвольте, это моя реплика,— пошутил священник.

Супруги улыбнулись было, но вдруг заметили, что иезуит уставился на двойной портрет маслом, висевший над камином: мужчины и молодой женщины.

— Это и есть ваши знаменитые тетя и дядя?

— Они,— подтвердил Куондт.

— Я знаю их историю,— кивнул иезуит, медленно подходя ближе к картине.

— Какая трагедия: убийство и самоубийство,— опечалился он.

— Нет,— тихо возразил Пол.

Священник вопросительно поднял брови.

— Только не самоубийство.

— Как?!

Куондт встал рядом с ним, все еще сжимая в руке кружку.

— Двойное убийство, отче.

— Что вы говорите?!

Пол тоже присмотрелся к портрету.

— Видите ли, истина заключается в том, что тетушка изменяла дяде и так страстно хотела убрать его с дороги, что подлила смертельный, медленно действующий яд в его виски. Уже едва держась на ногах, дядя Эдвард нашел пузырек из-под чертова зелья, понял все и нашел в себе силы замуровать тетю живьем в склепе. Через несколько минут и он скончался на месте.

— Прямо у склепа?

— Прямо у склепа.

— Какой ужас! — пробормотал священник.

— Не слишком похоже на Ромео и Джульетту,— заметил Куондт.

— Но что-то общее есть,— возразила подошедшая жена.

Старый иезуит в последний раз взглянул на картину и отвернулся.

— Я стану молиться за них обоих.

— Спасибо, отче,— поблагодарил Пол.— Мне хотелось бы верить, что они обрели покой.

— Еще раз прощайте,— взмахнул рукой священник.

— Прощайте, святой отец..

Но тут к священнику подлетел большой колли и, приветливо виляя хвостом, проводил его до двери.

— А вот и ты, парень,— обрадовался иезуит.

— О нет, немедленно оставь доброго отца в покое,— строго приказала Кристина.— Ну же, Томми! Назад! Иди сюда, малыш!

Но пес залаял и игриво подпрыгнул, и не думая слушаться. Священник, не останавливаясь, погладил его.

— У меня в детстве была такая же милая собачка,— сообщил он.— Молодец, Томми! Хороший мальчик!

Они вместе вышли в переднюю. Священник открыл дверь и ступил на крыльцо. Пол Куондт обнял жену за талию, и они снова подошли к картине. Лицо Райги Куондт с неправильными чертами дышало, однако, откровенной чувственностью и чарующей прелестью. Ее рожденный под несчастливой звездой муж Эдвард, жгучий брюнет, мог бы считаться красавцем, если бы не уродливый извилистый, как молния, шрам, пересекавший щеку до самого подбородка.

Морна и Гэбриел Кейс снова были вместе.

Оба священника в сопровождении собаки направлялись к причалу, куда скоро должен был подойти катер, уже

отчаливший от противоположного берега. Пожилой священник подобрал палку и закинул в кусты.

— Вперед, Томми! — скомандовал он.— Неси!

Пес с лаем бросился выполнять приказ.

Веснушчатый иезуит глянул на небо.

— Тучи рассеялись. Похоже, денек будет неплохой.

Они подобрались к самой воде; шаги их глухим эхом отдавались от старых сухих досок.

— Я так рад, что вы смогли мне помочь,— заметил пожилой.— Вы ведь из Фордемского монастыря, не так ли?

— Да.

— И, конечно, знакомы с отцом Бирмингемом?

Крепыш покачал головой.

— Кстати, вам достаточно ясно объяснили, как сюда добраться. Надеюсь, вы без труда нашли деревню и пристань?

— Даже спрашивать не пришлось. Катер уже ждал.

— Прекрасно. И что вы обо всем этом думаете, юный Реджис? Не стесняйтесь, говорите. Как по-вашему, мы чего-то добились? Кстати, вы верите, что дом населяли духи?

— Кто знает,— развел руками Реджис.

Его спутник покачал головой:

— Вы так молодо выглядите.

— Знаю.

Пожилой иезуит всмотрелся в сверкающую гладь воды, в которой отражалась синева неба.

— Весь этот мир — огромная пугающая тайна, Реджис. Нам так мало известно об окружающей реальности, даже о том, кто есть мы на самом деле.

— Верно.

— У нейтрино нет ни массы, ни электрического заряда, однако он может в мгновение ока проскочить целую планету. Это призрак. И все же он реален. Мы уверены в его существовании. Привидения повсюду, они рядом с нами... потерянные души... неупокоившиеся мертвецы. Иногда я задаюсь вопросом, так ли...

Повернувшись к стоявшему рядом спутнику, он осекся и тихо ахнул.

— Господи, глазам своим не верю,— пробормотал он, ошеломленно оглядываясь.— Реджис?!

Ответа не было.

Реджис исчез.

Никого рядом. Совсем никого.

Рик Хотала

СТУК



лицы пылали.

Последние полтора месяца Мартин Гордон не покидал дома после захода солнца.

Не осмеливался.

Он не видел ни единой программы новостей с тех пор, как на прошлой неделе телевизионные станции прекратили вещание. А свежего номера газеты или журнала не держал в руках и того дольше. Но ему не требовалось ничьих предупреждений, что выходить из дома с наступлением темноты — большой риск. Из окна своей спальни на втором этаже он видел молодежные шайки, рыскающие по улицам пылающего города,— черные силуэты, точно расплавленный металл на фоне пляшущего огня.

Праздновать наступление тысячелетия начали с первых чисел декабря. Сперва это были импровизированные веселые вечерние сборища, но последние недели празднования длились с сумерек до рассвета, и толпы людей бродили из одного квартала в другой. То, что началось как безобидное импровизированное празднование, быстро превратилось в бессмысленный вандализм, когда наружу вырвались

© Перевод. И. Гурова, 2005

человеческие обиды и неуверенность в завтрашнем дне. И вскоре наступило время поджогов и грабежей.

Мартин уволился в прошлый понедельник. Ну, «уволился», решил он, не совсем то слово: на заводе не осталось никакого начальства, так что подать заявление об уходе было некому, и он просто перестал выходить на работу.

Его не слишком огорчало, что он оказался безработным. Во-первых, его работа ему, в сущности, никогда не нравилась, а теперь у него оказалось вдосталь времени заниматься тем, что он любил, например, своей моделью железной дороги. Конечно, без электричества он не мог привести поезда в движение, и в сгущающемся сумраке ему оставалось только любоваться тем, что он изготовил днем, и надеяться, что в конце концов, когда подача электричества будет восстановлена, он опять будет дирижировать движением своих составов.

Однако последние дни почти все светлое время суток он отдавал укреплению баррикад вокруг своего дома. Он принес в жертву почти все тяжелые дубовые двери между комнатами, чтобы загородить окна нижнего этажа. Он приобрел в скобяном магазине самые надежные шурупы и, распилив двери пополам, крепко-накрепко привинтил их к оконным рамам. Такой ставень мог бы попытаться выломать только тот, кто почему-то вдруг решил бы ворваться в дом ценой любых усилий.

Раздобывать провизию становилось все более трудной задачей. Всю свою наличность Мартин уже истратил. Все банки в городе закрылись ко второй неделе декабря, так что его жалкие сбережения оказались для него недоступны.

В конечном счете никакого значения это не имело, так как все продовольственные магазины, до которых он мог бы дойти пешком, были полностью разграблены. Без электричества со всеми скоропортящимися продуктами пришлось распроститься, однако Мартин успел запастись сухими смесями и консервами, которых ему должно было хватить на месяц, а если расходовать их бережно, то и на

более долгий срок. Еда эта не слишком вдохновляющая — обычно холодные бобы или овощные смеси, которые он ел прямо из банок. Надеяться он мог лишь на то, что беспорядки пойдут на убыль, полиция наладит порядок и мало-помалу восстановится нормальный образ жизни.

Конечно, тот, который будет считаться нормальным в 2000 году.

Каждый день, едва солнце касалось горизонта, Мартин проверял, надежно ли заперты парадная и задняя двери, затем садился за холодный ужин, прежде чем подняться наверх, чтобы он мог следить за своим двором из спальни. А после полуночи он ложился спать.

Он настолько освоился с происходящим, что разбудить его могла бы только особенно буйная компания, подойди она близко к его дому. В подобных случаях он просыпался и садился на кровати, положив дробовик себе на колени, словно младенца. Зажигал он только одну свечку и ставил ее позади себя, чтобы она освещала дверь, но не ослепила бы его в случае каких-либо неожиданностей.

Однако до сих пор ничего такого не случалось, а этот вечер по какой-то причине выдался вообще непривычно тихим. Беспорядки в честь Миллениума продолжались вовсю, но в стороне от его улицы. Из окна верхнего этажа Мартину были видны озаренные огнем здания вдалеке и слышны звуки музыки и буйные голоса, исступленные вопли и хохот.

— Черт, ну и празднование! — пробормотал он.

У него была привычка разговаривать с самим собой вслух, поскольку уже восемь лет после смерти матери он жил один. Своего отца он вообще не знал; по словам его матери он бросил их, когда Мартину был всего год. Подобно многим и многим мужчинам в тяжелые экономические времена, он в один прекрасный день вышел из дому купить сигарет и не вернулся.

Воздух был по-зимнему пронизывающе холодным, и, некоторое время послушав звуки дальнего разгула, Мартин

решил, что может без особых опасений закрыть окно и лечь спать. Поскольку дом не отапливался — даже если было бы электричество, все равно уже больше месяца топливо не доставляли,— его матрас был завален одеялами и пледами. Он лежал в темноте, смотрел на багрово-оранжевые всполохи пламени над крышами, а дыхание вырывалось у него изо рта облачками пара.

Он только-только уснул, как внезапно был разбужен.

В секундной слепой панике Мартин не мог понять, что собственно, его разбудило. Шум и крики по-прежнему раздавались вдалеке. Он растерянно оглядел темную спальню в уверенности, что слышал... но что?

Кто-то забрался в дом?

На него нахлынул безотчетный страх.

Исключить это нельзя, подумалось ему, но как кто-то мог проникнуть в дом настолько бесшумно, что не разбудил его раньше?

Двигаясь медленно, чтобы не шуметь, Мартин сел на постели и взял дробовик, прислоненный к стене за кроватью. Ему сразу полегчало. Сбросив одеяла, он спустил ноги на пол. Едва его подошвы коснулись ледяных половиц, как вверх по ногам пробежала дрожь.

Пригнувшись в оборонительной позе, он ждал, не раздастся ли этот звук снова, и пытался не стучать зубами. Костлявые пальцы дрожи выбивали мотив на ксилофоне его спины. Волосы на затылке вздыбились от жуткого предчувствия, и тут он услышал тот же звук — очень слабый.

Это был чей-то стук...

...стук в парадную дверь.

Сердце в груди Мартина сжималось и разжималось точно кулак, когда он взвел курки дробовика и осторожно шагнул вперед. Он часто дышал, и холодный пар его дыхания ложился на плечи, будто скрученный шарф.

Он не успел приблизиться к лишенному двери проему в стене спальни, как стук раздался снова, громче. Он эхом прокатился по холодному темному дому, резонировавшему, точно пустота в гигантской литавре.

Когда Мартин вышел в коридор и остановился посмотреть через перила вниз, он дрожал как в лихорадке. Глаза у него, казалось, никак не желали свыкнуться с темнотой, но он отчаянно вглядывался в дверь, и когда стук раздался снова, ему почудилось, будто увидел, как дверь прогибается под каждым тяжелым ударом.

Сжав дробовик покрепче, он начал спускаться, сосредоточив взгляд на узких окнах по обеим сторонам двери. Он хотел получить хоть какое-то представление о том, кто стоит на крыльце, но видел только густое черное пятно, почти жмущееся к стеклам, будто просящаяся в дом приблудная кошка.

Мартин перевел дух, готовясь предостеречь, пригрозить, но голос ему изменил, застрял в горле, будто рыболовный крючок.

Ему это не понравилось.

Совсем не понравилось.

Но несмотря на нарастающее внутреннее напряжение, он продолжал спускаться. Каждая ступенька поскрипывала под его тяжестью, терзая его нервы, пока он не оказался в прихожей.

Единственный свет в доме исходил от единственной свечи, горевшей у него в спальне. Сюда свет практически не достигал. Темнота в доме смыкалась все плотнее, опутывая его, как мягкий фигурный бархат. Когда он осознал, что удерживает дыхание, то выдохнул воздух с долгим присвистом. Дрожащими руками он поднял дробовик и прицелился в дверь.

Хотя он ожидал его и убеждал себя, что готов, у него екнуло сердце, когда стук возобновился.

Тяжелые удары обрушились на дверь: один... второй... третий.

И прекратились.

От внезапной тишины у Мартина зазвенело в ушах. Он стоял посреди прихожей, не в силах от испуга ничего сказать или сделать.

Пока он ждал, чтобы стук возобновился, его дурные предчувствия обострились. Он пугливо вертел головой туда-сюда, словно ожидая увидеть, как что-то подкрадывается к нему из темноты, хотя и твердил себе, что там ничего нет. Его взгляд вернулся к двери, так как невидимый некто за ней вновь принялся стучать еще громче.

А вдруг, подумал Мартин, это кто-нибудь из его друзей? Кто-то, кто пришел проверить, что он и как?

Маловероятно.

Настоящих друзей у Мартина не было. Он всегда держался особняком, и в долгие годы, отданные уходу за больной матерью, привык к одиночеству, а потому ее смерть мало что тут изменила.

При мысли о матери его словно ударило током.

«А что, если там она?!» — подумал он, не в силах подавить сотрясшую его дрожь. Он невольно вспомнил, как в течение этих последних ужасных лет, когда болезнь приковала ее к постели, когда он выбирал свободную минуту, чтобы заняться своими поездами, она принималась бить кулаками по стене и ему приходилось бросить их.

Он попытался отогнать эту мысль, но стук был совсем таким же.

— Нет! — сказал он себе.— Мама же умерла!

Он старался не рисовать себе, как она, совсем высохшая, горбится на крыльце, кутается от холода в свой пожелтевший саван и стучит, стучит в дверь, чтобы он ее впустил. Ее серая, истлевшая в могиле кожа, отваливается большими неровными лоскутами при каждом ударе в дверь, звучащем, как удар молотком по старинному китайскому гонгу.

Нет, нет!

Не может быть. Это не она.

Он же видел, как ее гроб засыпали землей.

Она умерла!

Даже если он не задушил ее подушкой, как намекал детектив, несколько раз приходивший в дом, она все равно умерла и была похоронена! А если даже он сделал что-то

подобное, то только из жалости, чтобы избавить ее от долгих страданий после инсульта, вызвавшего паралич.

Он сказал себе, что не должен давать волю своему воображению. Это патология. Несомненно, там кто-то есть, безусловно, но это не... это не может быть его мать.

Но кто-то там был, и когда этот кто-то опять забарабанил в дверь, Мартин сказал себе, что, если они не уймутся, не уйдут сию же минуту, он без предупреждения разрядит в них оба ствола своего дробовика.

И ему все равно, кто там может быть.

Пусть даже мальчуган, у которого пропал котенок, и он обходит соседей, спрашивая про него. А то запойный пьяница или наркоман заблудился, вообразил, будто пришел домой, и ломится не в свою дверь.

Не имеет значения!

Черт, даже имей это значение, ему наплевать!

Любой человек с каплей здравого смысла в голове запирается в крепости своего дома, едва стемнеет. В такое время на улицах остаются только опасные люди, люди, которые заслуживают смерти, если начинают допекать порядочных людей, вроде Мартина, который хочет только одного: чтобы его оставили в покое.

И он выстрелит, если будет нужно.

Последнее время он не читал газет, не слушал новостей, но не сомневался, что с начала празднеств погибло много людей — и убийства, и несчастные случаи. Теперь, когда полиции хватает других дел, еще одна смерть в таком большом городе останется незамеченной.

И все-таки Мартин не решался окликнуть стучащих или выстрелить.

Наоборот, он направился к противоположной стене, и прислонился к дверце стенного шкафа — одной из немногих сохранившихся внутри дома,— медленно опустился на пол и сел, целясь из дробовика в входную дверь.

Стук продолжался, не стихая, удары раздавались все чаще и чаще, их грохот — все громче и громче. Мартин не

сомневался, что скоро дверь разлетится в щепки. Несмотря на ночной холод, по его лицу ползли капли пота. Глаза, казалось, вылезали из орбит, так пристально он всматривался в дверь... и ждал... желая только одного: чтобы стук прекратился, а стучащий ушел бы и оставил его в покое.

Но этого не произошло, и Мартин не мог не гадать, кто же это такой. Он продолжал проигрывать мысленно разные варианты, пока не наткнулся на возможный. При мысли о котором на секунду перестал дышать. Внезапно его пронизала тревога.

Что если его отец вернулся домой после стольких лет?

Возможно ли это?

Мартин всю свою жизнь прожил в этом доме с матерью, так что его отец, если он каким-то чудом еще жив, конечно, сразу же отправится сюда, просто проверяя, не живут ли его жена и сын по-прежнему здесь.

Указательный палец Мартина чуть коснулся спускового крючка. Он так стиснул зубы, что услышал их скрип где-то в глубине головы. Перед глазами у него пульсировала и закручивалась темнота: водоворот темноты, вращающийся в еще более глубокой темноте.

Стук в дверь стал таким громким, что казалось, он теперь раздается не только снаружи, но и внутри его головы. Удар за ударом обрушивался на деревянную филенку, и каждый удар резонировал внутри его черепа, и он трясся, как в пароксизме малярии.

«Уйди!» — думал он, но не смел сказать это вслух.

«Уйди!»

«Оставь меня в покое!»

А стук продолжался в такт с мучительными ударами сердца, которое гремело у него в ушах так сокрушительно, что заболела шея.

«Прошу тебя... Во имя Господа!.. Уйди же, уйди!»

Но стук не смолкал. Он становился все громче, громче, и Мартин наконец понял, что должен подойти к двери и посмотреть, кто за ней, кем бы этот «кто» ни оказался.

Он медленно поднялся с пола. Тело у него онемело, содрогалось от боли, и он так крепко сжимал дробовик, что несколько секунд не мог шевельнуть пальцами, точно их парализовало.

Мартин решил, что ему необходимо взять себя в руки, что надо сейчас же положить этому конец, иначе будет только хуже. Однако ему несдобровать, если тот за дверью — кем бы он ни был — заметит хоть малейший признак страха или нерешительности.

Он еле волочил ноги по деревянным половицам, но громкое их шарканье было недостаточно громким, чтобы заглушить непрерывные удары по двери.

Мартин облизнул губы и так судорожно вздохнул, что грудь словно стянули железные обручи. Живот свела судорога, и только огромным усилием воли он вынудил свои руки поднять дробовик и навести его на дверь.

«Уходи! Теперь же! А не то пожалеешь!» — вот что хотел крикнуть Мартин, но перед глазами у него встали жуткие образы его мертвой матери и отца, которого он не знал.

А что, если на крыльце они оба?

Он побрел к двери, испытывая странную тяжесть во всем теле. Словно его давил кошмар. Сколько шагов он ни делал, дверь, казалось, отодвигалась от него, удалялась, а не приближалась.

Мартин помотал головой и хлестнул себя по щеке, стараясь убедиться, что не спит. Это наяву. Все это происходит наяву.

А исступленный стук в дверь продолжался, не прерываясь ни на секунду.

Словно видя себя со стороны, Мартин поднял руку и протянул ее к дверному замку. Другая рука держала дробовик на уровне груди, указательный палец лежал на спусковом крючке и уже начинал нажимать на него.

Когда он медленно снял металлическую цепочку, по руке к плечу прокатилась волна колющей боли. Цепочка неприятно залязгала, раскачиваясь, точно маятник, и дергаясь при каждом ударе снаружи, сотрясавшем дверь.

Удерживая дыхание так долго, что заболела грудь, Мартин ухватил щеколду и медленно повернул вправо. И пока он ожидал, чтобы замок щелкнул, каждый нерв в его теле жужжал, будто провода линии высокого напряжения.

Голова у него отчаянно закружилась, и он испугался, что упадет без сознания, прежде чем успеет открыть дверь и лицом к лицу увидеть тех, кто стоит на крыльце. Они же слышали, как он открывал замок, подумал Мартин, так что у них достаточно времени убежать, прежде чем он откроет дверь.

Когда замок щелкнул, Мартин содрогнулся: звук прозвучал резко, как щелканье бича. Он быстро ухватил дверную ручку, яростно повернул ее и попятился, чтобы распахнуть дверь.

Но ручка выскользнула из его пальцев, точно смазанная маслом.

Растерявшись, Мартин замер. Он дышал так тяжело, что в горле глухо гудело. Капли пота щекотали ребра, скатываясь вниз под рубашку. Стук продолжался, уже настолько громкий, что его глаза подпрыгивали в такт.

Дробовик неожиданно стал очень тяжелым, и он прислонил его к стене рядом с собой. Потом вытер ладони о штанины, после чего снова ухватил дверную ручку и снова яростно повернул.

Он услышал, как щелкнул запорный механизм. И на этот раз, когда он потянул, его пальцы продолжали сжимать ручку, и тем не менее... дверь не открылась.

Мартин выругался, но не расслышал своего голоса, заглушенного нескончаемым стуком. Он ощущал болезненное подергивание в ладони, словно от укуса осы, но не обратил внимания и несколько раз повернул ручку, продолжая тянуть ее на себя изо всех сил.

Дверь не открылась.

Даже не шелохнулась.

«Этого не может быть»,— подумал Мартин в уверенности, что стучащий свободной рукой тянет дверь на себя, не давая ей открыться.

Хрипло дыша, Мартин шагнул влево. Низко нагнувшись, он выглянул в боковое окошко. Не считая дальних отблесков пожара на горизонте, ночь была густо-черной. Он никого не увидел.

На крыльце никого не было.

Внезапный порыв ветра смел снег с козырька над дверью. Ледяные кристаллики оранжево замерцали, будто алмазная пыль, и исчезли в темноте. На краткий миг Мартину почудилось, что сыплющийся снег сложился в неясную человеческую фигуру. Он откашлялся, готовясь крикнуть, но голос застрял у него в горле.

Стук продолжался и продолжался.

Внезапно Мартин пошатнулся и испустил испуганный крик — но это была всего лишь бездомная кошка, которая прыгнула с крыши мусорного бачка на забор. Однако даже если бы стук оборвался, стучать так не могла никакая кошка.

Весь трясясь, он вернулся к двери. Еще раз убедившись, что цепочка снята и замок отперт, он опять обеими руками вцепился в дверную ручку. Мышцы его запястий и предплечий вздулись канатами, вибрирующая дрожь прокатилась от них к рукам и шее.

Мартин быстро завертел ручкой взад-вперед. У него вырвался жалобный стон. Дверь будто забили гвоздями. Упершись ногой в косяк, он откинулся и потянул ручку на себя изо всех сил, но дверь осталась неподвижной.

«Кто там? — хотелось закричать Мартину.— Зачем вы это делаете?» Но пересохшее, словно ободранное, горло не издало ни звука.

Биение сердца грохотом отдавалось в ушах, а непрерывный стук становился все громче и громче, громом раскатываясь по темному дому в такт его клокочущему пульсу.

Напрягая все мышцы, Мартин отклонился, насколько сумел, пытаясь открыть дверь. Он глотал ртом воздух, который жег огнем. Наконец высоким надрывным голосом он выдавил:

— Мама?

Едва это слово вырвалось у него, как стук оборвался. Свинцовая тишина смешалась с темнотой и заполнила воздух.

Тишина длилась и длилась.

Потом раздался стук во все двери, еще оставшиеся в доме — в стенном шкафу прихожей, у лестницы в подвал и в кладовой за кухней.

Мартин закричал. Его захлестнули волны паники. Он вскинул руку над головой и с силой ударил по входной двери.

— Выпустите меня!

Слезы жгли ему глаза, а он бил и бил кулаками в дверь. С такой силой, что вскоре они покрылись кровавыми ссадинами.

— Выпустите... меня! — еле выговорил он сквозь рыдания.— Выпустите... меня!

Он привалился к двери, прижал лоб к холодному неподдающемуся дереву и продолжал бить по нему обоими кулаками. Тело горело от изнеможения. Из глаз хлынули слезы.

Теперь в доме слышались только его слабеющие удары в дверь.

И продолжая стучать, он не услышал собственного вопроса:

— Кто там?

Эрик ван Ластбадер

ВОЗНЕСЕНИЕ К ТЕРМАГАНТАМ



озвольте мне представить вам величайшую любовь своей жизни. Мой великий роман с мисс М. тянулся почти пятнадцать лет. Она не была красивой и, видит Бог, часто не была и честной, но она провела меня по очень особым местам — таким, куда бы я ни ногой, если бы не ради нее. Я благословляю ее за это, но и проклинаю тоже. Каждый день я нахожу новые способы ее проклинать, и все это время мне так ее недостает, что живот сводит судорогой, будто там свили гнездо мерзкие мелкие демоны. Может быть, так оно и есть. После того что случилось пару недель назад, это меня не удивит, нет, ничуть не удивит.

Мескаль ее зовут, да, сэр, и мутить мне голову — ее работа. Каждый вечер она это делает, пока в легком поцелуе кончиком языка пробую я ее гладкий вкус. Ага, до вас дошло. У меня был великий и бурный роман с женщиной по имени мескаль, и очень долго. И она, надо вам сказать, возлюбленная адски ревнивая. Но все, хватит. Больше — никогда. И вот почему.

Мы с моей возлюбленной занимались без всякого стыда любовью по всему Манхэттену, но самое мое любимое

© Перевод. М. Левин, 2005.

место для этого называлось «Геликон» — без сомнения, потому, что владелец его Майк был греком. Понимаете, гора Геликон была домом Муз — во всяком случае, так верили древние греки. Сам бар ютился в дыре за квартал от Голландского туннеля на первом этаже чугунного дома, который был красив как смертный грех еще семьдесят пять лет назад. Внутри в длинном узком помещении с медленно вертящимися вентиляторами капало с жестяного потолка, отчеканенного на рубеже столетий. Узор чеканки напоминал мне старые мексиканские плитки, которые я видел, когда жил в Оаксаке. Где впервые познакомился с мисс М. Давно, даже числа не помню. Да и они таких плиток больше не делают. С тех пор как ремесленники получили работу по изготовлению навороченных кроссовок и нейлоновых тренировочных, а также по сбору персональных цифровых помощников.

Как бы там ни было, а в «Геликоне» была масса достоинств: опилки на полу, запах старого пива и еще более старой грязи, висящей потеками, как честно заработанные медали на суровом воине. Не говоря уже о самой стойке, которая казалась вечной, покрытой шрамами давно забытых драк и свежеразбитых сердец. И самое лучшее — свет был достаточно тусклым, так что, когда смотришь сам на себя в панелях мутных зеркал за полированным черным деревом бара, вполне можно себя убедить, что ты кто-то другой — может, тот, кем мечтал когда-то стать.

В тот день, о котором я сейчас думаю, я сидел в кабинке, занимаясь любовью с мисс М., когда зазвонил телефон за стойкой. Майк снял трубку, поговорил и протянул ее мне.

— Это вас,— сказал он.

Я поднял свою возлюбленную и перенес ее на табурет к бару. Схватив трубку, я рявкнул:

— Что надо?

— Боже мой, Вилли, сейчас пол-одиннадцатого утра. И ты уже пьешь?

— А какая зараза этим интересуется? — спросил я и приложился как следует к мескалю.

— Хуже, чем я думал,— сказал осуждающий голос.— Это Герман, твой брат.

— Этим все и объясняется,— сказал я, обрезав его дальнейшие слова.— У тебя нет воображения.

— Если бы ты протрезвел, мог бы найти настоящую работу.

— И меня, черт побери, зовут не Вилли!

У меня пылали щеки, когда я повесил трубку.

— Ошиблись номером,— сказал я Майку, подвигая к нему по стойке телефон. Он только криво улыбнулся — знал, что произошло. У нас с Майком были свои отношения — такие, которые могут быть только с барменом по-настоящему высокого полета.

Вернувшись к себе в кабинку, я отодвинул второй пустой стакан и стал дальше попивать мескаль, мрачно вспоминая свой пустой офис и последний подписанный мной контракт. На шесть месяцев, и я ни слова еще не записал в блокнот, не говоря уже о компьютере. Лениво вертелась мысль позвонить Рею Майклу, моему бухгалтеру, который следил, чтобы моя жизнь не понеслась прямиком в ад на тачке, пока я плевал на все и крутил роман с мисс М. Я подумал, не надо ли, чтобы он связался с моей издательницей и сказал, чтобы не брала в голову, и отправил ей обратно аванс, который она мне прислала. Потом я припомнил, что уже просадил его в той увеселительной поездке по тем старым местам в Мексике, что не дают мне покоя. И все равно я еще ни разу не ломал контракт и не собирался начинать сейчас. Но что я собирался написать? Я понятия не имел.

Я поднял глаза на резную носовую фигуру корабля, которая свешивалась с потолка заведения Майка. Это была полуженщина-полуптица, и потому я назвал ее Мельпоменой — музой трагедии. Говорят, что от плодотворного

союза Мельпомены и речного бога Ахелоя родились блистательно печальные и отчаянные сирены, чтобы бесконечно петь мучительный мотив, заманивающий беспечных моряков к гибели на скалистых берегах, где обитают сирены. Где-то в молодости Мельпомена стала моей личной музой, потому что я не мог иначе ввести в рамки картины трагедию, которая постигла мою семью.

Я все еще смотрел вверх, когда телефон зазвонил снова. Майк глазами показал, что это меня.

— Если это мой чертов братец, скажи ему, пусть целует мою белую писательскую задницу.

— Это Рей,— ответил Майк, протягивая мне трубку.

Принимая ее, я застонал. Мой бухгалтер никогда не звонит мне без веской причины.

— Да! — отозвался я.

— Бидл, я только что поговорил с твоим братом.— Голос у Рея был озабоченным.— Он сказал, что ты в мрачном настроении.

— Так и сказал? Давай подумаем. Сейчас без двадцати десять утра, понедельник. Я занят третьим стаканом мескаля, и в голове у меня ни одной мысли. Так что мой ответ, пожалуй, да. Я в мрачном настроении.

Рей вздохнул:

— Ему надо с тобой поговорить.

— Этот крысиный ублюдок сбежал с моей женой, не говоря уже о доходах по пенсионному плану, когда был тем, кого для смеха можно было бы назвать моим бизнес-менеджером. Нечего ему со мной говорить.

— Послушай,— терпеливо сказал Рей.— Ты подал на него в суд и получил свои деньги обратно. Надави ты чуть сильнее, ты мог бы посадить его в тюрьму.

— Если бы ты знал, как это меня грызет!

— Почему же ты этого не сделал?

— Это разбило бы сердце Донателлы, вот почему,— ответил я.— Бог знает почему, а моя бывшая любит этого подонка.

— Сейчас новое тысячелетие,— сказал он.— Что было, то быльем поросло.

— Хрена с два.— Должен признать, что у меня сжались зубы.— Хрена с два быльем.

— Ладно, будь по-твоему.

На том конце послышался разговор и шумы возле трубки. Я спросил:

— Ты что, на поле для гольфа?

— На шестой метке,— подтвердил он.— Приезжай как-нибудь со мной и попробуй.

— И разговаривать со всеми дубиноголовыми банкирами, с которыми ты играешь? Нет уж, пусть лучше меня терзает термагант.

— Кто?

— Термагант. Знаешь, что такое гарпия?

— Конечно. Женщина, которая никогда не замолчит.

— Розу каким именем ни назови,— засмеялся я.— Только эта воняет до небес.

— Ты Донателлу, что ли, называл термагантом?

— Ответ утвердительный, друг мой.— Я посмотрел на деревянную Мельпомену.— А теперь моя личная муза стала термагантом. Смешно, правда?

— Кто это сказал, что мы все получаем то, чего заслуживаем?

— Ты, наверное. Только что.

— Мне кажется, у тебя затык,— сказал Рей.

— Как у забитой кирпичами кишки.

— У тебя еще есть время присоединиться ко мне на девятой. Займись каким-нибудь легким спортом вместо этой смертельной дряни, к которой ты стремишься. Знаешь, солнышко вышло, птички чирикают.

— Из этих птичек некоторые входят в список угрожаемых видов. Так что смотри, как бы тебе большой клюшкой не угробить одну из таких.

— Я не очень хорошо работаю большой клюшкой,— сказал Рей.— За шестой я пользуюсь третьим номером деревянной.

— Вот тут между нами и разница, Рей. Я пользуюсь большой, чтобы добраться до зеленой за два удара. Рискуй, старина. Не бойся рисковать.

— Не забывай, что я бухгалтер. Слово «риск» в мой словарь не входит.— Он что-то сказал кому-то из своих дубоголовых партнеров, и я подумал, не пропустил ли он очередь из-за разговора. Он вообще-то не любил проигрывать в гольф.— Послушай, у твоего брата на этот раз действительно есть кое-что для тебя важное.

— Это так же невозможно физически, как вставить голову себе же в задницу. Хотя в случае Германа...

— Билл, кончай нести ерунду. Лили умирает.

— Уг-гу.— Я глотнул мескаля.

— Слушай, ты не... в смысле, не теряй голову, в общем.

— Ни в коем случае, старина.

— Да, вижу. Ну, что ж, это не должно меня удивить. Ты ее не видел — сколько?

— Тридцать лет.

— Она твоя сестра.

— Она была умственно отсталой,— дал я поправку. И заметил, что говорю о ней в прошедшем времени.— Не могла двигаться, чтобы за все подряд не хвататься, не могла ни слова произнести. Не могла ни одной мысли в голове удержать.

— Суров ты, Билл.

Я почувствовал, что с меня хватит.

— Слушай, Рей, это не ты должен был прожить с ней все кошмарное детство, не тебе она блевала в лицо, не при тебе она всю ночь вопила, как котенок с глистами, не у тебя она хотела вырвать волосы с корнем, как только оказывалась близко. Не у тебя бывало по три-четыре драки в неделю из-за жестокости твоих одноклассников. Не ты должен был жить с родителями, настолько перепуганными, дошедшими до такого отчаяния, что стали беспомощны, как дети. Они цеплялись за любую соломинку — шарлатанов, целителей, гадалок. Не тебе пришлось четырнадцать

лет подряд смотреть в лицо безумия. Господи, у меня и сейчас мурашки по коже!

Он помолчал.

— Она при смерти, Билл. Герман ясно дал понять, что не имеет никаких определенных пожеланий в смысле организации. Так что бы ты хотел сделать?

— Я бы хотел забыть, что она вообще была на свете, вот что.

Рей снова вздохнул:

— Тогда я ее кремирую, когда она умрет.

— Как твоя левая нога захочет,— ответил я.— Развей этот гадский пепел на четыре ветра.— Я выждал и добавил: — И знаешь что, Рей?

— Что, Билл?

— Даже не думай говорить мне, что я там должен быть, когда это произойдет.

Разговор задал тон. Повесив трубку, я был мрачен и зол. Будь оно иначе, то, что случилось после этого, могло выйти по-другому. Но было не иначе, а потому вышло так.

А после случилось, что в бар принесло Таззмана. Не то что я тогда знал это имя — я его и в глаза раньше не видел.

— Эй вы, беломазые, ручки в гору и делай, как я скажу!

Таззман оказался высоким мертвенно-серым чернокожим с впалой грудью, нечесаными волосами, как у Джими Хендрикса, и лицом, как у Айка Тернера, только он был очень, очень молод. Заученная злобность лица явно уходила вглубь не больше чем на миллиметр и легла на него скорее в силу обстоятельств, чем природных свойств. Мы с Майком решили обратить внимание, поскольку у него в руках был устрашающего вида автоматический пистолет, который смотрел на нас.

Он вошел в бар — движения нервные, резкие — и уставился на нас.

— Ты! — сказал он Майку.— Деньги давай.

— Скажи, детка, тебе раньше приходилось это делать? — спросил я, пока Майк искал ответ.— Я в том

смысле, что сейчас понедельник, одиннадцать утра. Здесь только мы с Майком. Какие деньги ты думаешь найти в кассе?

По испуганному взгляду, который кинул мне Майк, я понял, что он не любитель приключений. Плохо. Кто-то должен взять контроль над ситуацией, иначе нам обоим будет очень неприятно.

— Умник! — огрызнулся Таззман.— Тащи сюда свою умную белую задницу и заряжай вот этот мешок. Грузи все из кассы и из карманов тоже.

Я раскрыл бумажник. От вида двух вывалившихся пятерок мне стало даже стыдно на минутку.

— А, блин! — выразил свое мнение Таззман, подхватывая бумажки с такой опытностью, что я даже не заметил их исчезновения.— Хоть часы у тебя есть?

— Время для меня ничего не значит,— сказал я, показывая пустые запястья.— Кстати о времени: мне кажется, что ты уже кучу времени ничего не ел.

Этот Таззман закусил губу и полыхнул на меня взглядом, оценивая ситуацию. Был он напряжен, как медведь, учуявший человека, и это должно было меня насторожить. Но, как я уже сказал, эти телефонные разговоры меня здорово вывели из себя и я был готов схлестнуться с первым, кто попадется на дороге. Глупость, да? У древних греков было для этого более подходящее слово: *хубрис*.

— Майк, сделай ему бургер, ладно? — Поскольку Таззман уже ничего не понимал, я решил надавить: — Как тебя зовут?

— А?

У него был дурацкий вид. Вряд ли можно поставить это ему в вину. Ограбление пошло совсем не так, как он предвидел.

— Есть же у тебя имя? — Я вышел из кабинки.— Меня зовут Билл, а его, как я тебе уже сказал, Майк. Как тебя друзья называют?

— Смеяться надо мной решил? Я твою белую задницу оторву, можешь не сомневаться!

— Я не смеюсь.

Он прищурился на меня с подозрением.

— Нет у меня друзей.— Он поджал губы, перевел глаза с меня на Майка и обратно.— Таззман меня зовут, за волосы.— Он коснулся волос рукой, они не подались ни на дюйм.— Пацаны говорят, у меня от них вид как у тазманского дьявола — что-то вроде.— Так у него выходило слово «тасманский». Он ткнул пистолетом в сторону Майка.— Он мне в самом деле бургер сделает?

— А как же,— сказал я, давая знак Майку.

Пока Майк разворачивал котлету и плюхал ее на сковородку, я шагнул к Таззману. Ноздри его зашевелились, ощутив запах жареной говядины, и я сделал еще один шаг. Это ему не понравилось.

— Эй, ты, мазерфакер! — сказал он, начиная поворачивать свой чертов пистолет в мою сторону.

— Билл, ради бога! — завопил Майк.

А я плеснул свою мисс М. в лицо Таззману. Не знаю, известно вам или нет, но когда она попадает в глаза, то превращается в фурию.

— Мазерфакер! — повторил Таззман с полным отсутствием оригинальности.

Он нажал курок в тот момент, когда я левой рукой подбил ствол пистолета. Грохот, казалось, пробил у меня в голове дырку, просверлив мозг. Я ударил Таззмана каблуком по подъему, и он завопил как баньши. Но я недооценил этого фитиля, как и вообще неправильно оценил всю ситуацию.

Он нажал на курок еще раз. Град пуль прошил смертельную строчку по зеркалам. Майк попытался пригнуться, но попался на дороге, и его вбило в три яруса бутылок за спиной, и кровь с выпивкой смешались в мерзостное месиво.

— А, черт! — выдохнул я.

Автоматический пистолет повернулся в мою сторону, и я ударом ноги перевернул стол и спрятался за ним, потом заорал, когда ускоренные пули разодрали твердый дубовый стол как картон.

Шатаясь спьяну, я бросился в темноту за баром, но Таззман набрал обороты и не отставал. Пистолет перестал плеваться как раз настолько, чтобы он успел вставить новую обойму. Сколько же их у него? — подумал я на бегу.

Я пролетел мимо дверей в туалет, зная, что там бежать некуда и спрятаться негде. Пули стучали по старой штукатурке, когда я ударил в заднюю дверь. Не открывается! Я выдернул засов, распахнул дверь под градом щепок и щебня от ударов пуль, просвистевших мимо моей головы.

И бросился в вонючий переулок, куда Майк выбрасывал мусор и мясо для гамбургеров, когда оно превращалось в лабораторную питательную среду.

И тишина...

Тишина?

Где же этот безбожный грохот автоматического пистолета Таззмана? — спросите вы. Но он кончился, потому что я уже стоял ни в каком не в вонючем переулке. Оглядываясь вокруг, я увидел... скажем так: если бы рядом со мной стоял крошечный песик, я бы наверняка выдавил из себя: «Тотошка, мы больше не в Канзасе».

Наконец я повернулся в ту сторону, откуда пришел, но не увидел ни грязной стены, ни задней двери «Геликона»; только воздух, пространство и свет — яркий, радостный свет. Я стоял в комнате с высоким потолком, глядя в высокое окно у странно знакомой конструкции с закругленным куполом, в котором что-то было ближневосточное. Вниз от него расходился веером большой город, уходя в синезолотые сумерки. Но ведь всего секунду назад было утро, а здесь точно не Манхэттен. Обилие труб и крыш мансард немедленно навело на мысль о Европе.

Вокруг меня на выбеленных стенах висели картины. Большие холсты импрессионистов, с богатым цветом, жи-

ные первобытным движением. Они кружились вокруг меня, как водовороты в потоке.

— Вам они нравятся?

Голос был мелодичен и густ, как девонширские сливки.

Я повернулся и увидел женщину с удлиненным лицом, и целеустремленность в этом лице делала красивыми черты, которые были в лучшем случае правильны. У нее был строгий вид, отдаленно напомнивший мне проклятую училку в адиронакской школе, куда я удрал в четырнадцать лет (даже там было лучше, чем в невыносимом доме) и откуда тоже в свою очередь удрал. Волосы цвета соли с перцем спадали по бокам прямыми прядями на легкие плечи, и в руке у нее был пучок кистей, и я решил, что она художница. Она была одета в оранжевую рубашку и брюки цвета ржавчины, поверх которых был надет длинный красный передник, жесткий от засохшей краски. И все равно была видна вышитая на нем спереди белая пентаграмма. Любопытная декорация, можете вы сказать, и будете правы. Но куда более любопытными были ее глаза. Клянусь, они были цвета неполированной бронзы и без зрачков.

— Леди, я не знаю, кто вы, но буду вам очень обязан, если вы скажете мне, куда я, к чертям, попал. И еще — нет ли у вас чего-нибудь выпить, желательно с высоким содержанием алкоголя.

— Я говорила о картинах. Хотя они и не закончены, мне было бы интересно, находите ли вы их действенными.

Она говорила с таким нажимом, как говорят только полностью захваченные своей страстью. Слышала ли она вообще, что я сказал? Не важно; ее страсть заставила меня приглядеться к картинам повнимательнее. Насколько я мог судить, они все были посвящены одной и той же теме: серия пейзажей, связанных общей композицией и стилем, нарисованные в разное время дня и года. Я был уверен, что не знаю, на что смотрю, и все же сама эта уверенность наполнила меня невыразимой грустью, будто меня пронзили в сердце.

— Конечно, конечно. Они очень красивы.— Но я все еще был отвлечен и мне отчаянно нужно было глотнуть чего-нибудь покрепче.— Послушайте, мне кажется, вы не поняли. Минуту назад я был в нью-йоркском баре и удирал от психа с пистолетом и вдруг оказался здесь. Я еще раз вас спрашиваю: *где* это?

— Обозрите картины,— выразилась она несколько ходульно, как свойственно европейцам. Ее рука поднялась и упала, как морская волна.— Они вам ответят.

— Леди, ради всего...

— Прошу вас,— остановила она меня.— Меня зовут Вав. А вас — Вильям?

— Вы сказали — «Вив» — уменьшительное от Вивиан? — Я не был уверен, что правильно расслышал.

— Нет, *Вав*.— Она произнесла это отчетливо.— Очень старое имя — можно даже сказать, древнее. Слово из иврита, означающее «гвоздь».— Она улыбнулась, и лицо ее раскрылось, как спелая дыня, проливающая ароматный и восхитительный сок.— Я тот гвоздь, что соединяет балки над головой. Я та, что дает приют усталым путникам.

Глядя на это лицо, я должен был засмеяться — другого выбора мне не оставалось. Мне подумалось, что она даже приговоренному преступнику даст возможность почувствовать радость в последние минуты жизни.

— Что ж, кажется, я такой и есть,— признал я. И быстро глянул в окно.— Это же не... стойте! Это же не может быть Сакре-Кер! Черт, он же в Париже!

— Нет, это он,— сказала она.

— Но этого не может быть! — Я закрыл глаза, потряс головой и снова открыл. Сакре-Кер остался на месте. Не растворился в клубе дыма,— Я теряю рассудок.

— Скорее обретаете.— Она тихо засмеялась.— Успокойтесь. не надо тревожиться.— Она отвела меня от окна.— Взгляните еще раз на картины, хорошо? Я писала их специально для вас.

— То есть вы знали, что я здесь буду?

Почему мне от этого стало так хорошо?

— Это кажется невероятным, не правда ли? — Она стала смеяться, пока я тоже не засмеялся с нею, и мы смеялись над шуткой, исток которой выходил за круг моих познаний. Она взяла меня за руку, будто мы были старыми друзьями.— Но пойдемте, скажите мне, кажется ли вам здесь что-нибудь знакомым.

И она медленно повлекла меня по периметру комнаты с высоким потолком.

Я сосредоточенно сдвинул брови.

— Странно, я именно это и подумал, но...— Я встряхнул головой.— Может быть, когда вы их закончите.

— Очевидно, вам нужно больше времени,— перебила она. Это она делала часто, будто ее как-то поджимало время.

— Учитывая все обстоятельства, мне кажется, я предпочел бы вернуться домой,— сказал я.

— Мне послышалось упоминание о психе с автоматическим пистолетом? — Она стянула с себя передник.— Зачем вам вообще туда возвращаться?

Я минуту подумал, вспомнив мертвого беднягу Майка и Таззмана, Рея, пристающего ко мне насчет Лили, этого сукина сына моего братца, не говоря уже о писательском затыке, пугающем, как мертвая зона на вершине Эвереста. Потом я подумал о необычной женщине рядом со мной, о Париже в бархатную моросящую ночь и ощутил легкость, которой не ощущал уже не знаю сколько.

— Честно говоря, не могу придумать причины.

Она сжала мою руку.

— Отлично, тогда вы пойдете со мной на открытие новой выставки.

Я облизал губы.

— Прежде всего мне нужно выпить.

Она отошла к антикварному буфету, налила что-то в низкий бокал резного хрусталя и принесла мне. Я поднес бокал к губам. Ноздри затрепетали от запаха мескаля, и я запрокинул голову, осушив бокал одним глотком.

— Это ведь всегда раньше помогало,— сказала она, когда я поставил бокал.

Обычно я бы разозлился до чертиков от таких комментариев, но Вав смогла сказать это так, что не слышалось осуждения. Как будто она просто показала мне эту грань моей жизни. А что я об этом думаю — полностью мое дело.

— Это, разумеется, имеет свое место,— ответил я, когда мы переходили в гостиную. Мельком я заметил густосливочного цвета стены, длинную софу стиля Деко, пару ламп Арт Нуво, и все это, казалось, сунули сюда, не думая. Был здесь антикварный восточный ковер, на котором свернулся черный кот с единственным белым пятном на лбу. Он проснулся, когда мы проходили, светящиеся лимонные глаза проводили нас с Вав, когда она вывела меня через входную дверь.

Спустившись по хорошо истертой лестнице, мы оказались в высоком затхлом вестибюле, типичном для жилых домов Парижа. В нем пахло камнем, смягченным сыростью столетий. Свет зажегся, когда мы вошли, мигнул и погас при нашем уходе.

Вечерний ветер нес туман, как стадо птиц, и туман трепетал паутиной, пролетая мимо железных уличных фонарей. Мы пошли на восток, в ночь.

— Галерея всего в нескольких кварталах,— сказала Вав.

— Послушайте, я вижу, что я в Париже, но как, ради всех чертей, я здесь очутился?

Мы подошли к тротуару и перешли довольно крутую улицу.

— Какое объяснение вас устроит? — спросила она.— Научное, метафизическое или паранормальное?

— А какое из них истинно?

— О, мне кажется, все они одинаково истинны... или ложны. Все зависит от вашей точки зрения.

Я досадливо качнул головой.

— Но дело в том, видите ли, у меня *нет* точки зрения. Чтобы она была, мне надо понять, что происходит, а я не понимаю.

Она кивнула, обдумывая каждое мое слово.

— Может быть, это только потому, что вы не готовы еще услышать, что я говорю. Точно так же, как не готовы увидеть картины.

Мы повернули налево, потом еще налево, ко входу на станцию метро Анвер в стиле Арт Нуво, и я с интересом поймал себя на том, что мои мысли вернулись назад во времени. С удивительной ясностью я увидел лицо матери. Она была красивой женщиной, сильной во многих отношениях, слабой и пугливой в других. Например, в отношениях с другими людьми она могла быть твердой как скала и очень напористой. Однажды я был свидетелем, как она сбила на сотню долларов цену на часы «Ролекс», объясняя владельцу магазина, что у нее девять сыновей (а не два, как было на самом деле), каждому из которых когда-нибудь понадобится ко дню окончания школы подарок — вроде этих часов, которые она выбрала для меня. Помню, как мне пришлось потупить глаза, чтобы не захихикать в жадную морду лавочника. На улице же, когда часы застегнулись у меня на руке, мы с матерью стали хохотать, пока не выступили слезы. Этот смех еще до сих пор во мне отдается, хотя матери давно уже нет.

С другой стороны, мать одолевали страхи и суеверия, особенно когда дело касалось детей. Ее отец, которого она обожала, умер, когда ей было всего четырнадцать. Однажды она мне рассказала, что, когда я родился, ее пожирали страхи перед всем, что может со мной случиться: болезни, катастрофы, дурная компания — все это она обсасывала со всех сторон. Она не хотела, чтобы я преждевременно ее покинул, как сделал ее отец. Он снился ей, снилось, как он вечером дремлет в кресле, в рубашке и халате, в ночных шлепанцах, и карманные золотые часы лежат у него на ладони, будто чтобы проснуться вовремя для работы. Она тихо пробиралась через гостиную и залезала ему на колени, сворачиваясь, как собака, закрывая глаза, и тогда он ей снился.

Моя мать не успокоилась, как можно было ожидать, после рождения меня и моего брата Германа. Как она мне потом сказала, потому что она знала свою судьбу: ей суждено было родить Лили. И Лили подтвердила худшие страхи моей матери, унылый взгляд на мир. Конечно, она обвиняла себя в уродствах Лили. Конечно, у нее был нервный срыв. И конечно, от этого стало только хуже для нас и для нее. С определенной степенью уверенности можно было сказать: накликала. Она ужасалась жизни и потому породила жизнь, которая ужаснула ее. Удивительно ли, что Лили ужасала и нас? Мы с Германом учились на примере, как все животные.

Я не виню свою мать. Она так же не могла изменить свое поведение, как малиновка не может не летать. Это то, что делают малиновки — летают. И если быть честным до конца, Лили была мерзким ужасом. И тоже ничего не могла поделать. Но правда есть правда, как бы ни была она горька. Просто не было смысла проходить вблизи от нее, тем более пытаться установить контакт. Одно время я пытался ее жалеть, но мать я жалеть мог, а вот ее — нет. Она присутствовала в мире лишь частично. Тогда я попытался делать вид, что ее нет вообще, но это тоже не помогало. Ничего не помогало, когда речь шла о Лили — ни диагнозы, ни лечение, ни рационализация ни в какой форме — ничего. Наконец, даже ее судороги и слюни в стиле «Экзорциста» стали рутинными, частью обстановки, которую уже не замечаешь. Она была печальным фактом жизни, как жалкое папино мягкое кресло, такое вонючее и обветшалое, что мы все его хотели выбросить.

Взрыв звука вырвал меня из старых воспоминаний. Впереди меня большая толпа вваливалась в сводчатые железные двери. Я был почему-то уверен, что это вход в галерею, где выставка.

И я хотел идти дальше, но вместо этого остановился как вкопанный. Мой взгляд наткнулся на скорчившуюся фигуру на резном карнизе ближайшего дома. Она нависа-

ли над тротуаром, темная и непонятная, и почему-то от ее вида у меня застыла кровь в жилах. Просто горгулья, как сообразил я после первого ошеломления, но не похожая ни на одну из тех, что мне случалось видеть. Я прищурился в моросящий мрак. Кажется, эта тварь была получеловеком, полурептилией. Жутковатая округлая голова, слишком широкое лицо. Непомерно огромные глаза, устрашающих размеров пасть и жуткий змееподобный хобот.

— Что привлекло ваше внимание? — спросила Вав.

— Горгулья наверху.

— А! — Она кивнула.— Вы, может быть, знаете, что первоначально горгульи ставили на дома, чтобы напомнить человеку о темной стороне его природы.

— Ну, знаете ли, эта вот представляет темную сторону кого-то, с кем я не хотел бы встречаться. Она просто отвратительна.

И все же я не мог не смотреть на нее. Может быть, потому что у меня личный страх перед рептилиями, возникший, когда мне было семь лет. Я заблудился в прибрежных мексиканских болотах и имел действительно страшную встречу с крокодилом, который намеревался употребить меня на завтрак. Меня озноб пробирал при одном только воспоминании.

— Большая толпа, правда? — спросила Вав, даже не повернув головы.

— И с каждой минутой все больше, имею удовольствие вам сообщить.— Честно говоря, мне было приятно отвлечься чем угодно от нависшего над нами ужаса.— Вы, несомненно, очень популярны.

— Ах, нет, это вы путаете послание с посыльным,— сказала она.— Ко *мне* это не имеет отношения. Они все идут смотреть *картины*.

— Но картины — это и есть вы.

— Когда придем, вы сами увидите.

Она провела меня в сырой переулок вдоль каменного здания. Тут же город исчез в темноте.

— Разве мы идем не в галерею? — спросил я.

— Нам надо спешить,— ответила Вав.— Судя по тому, что вы мне сказали, у нас очень мало времени.

— Но я же ничего вам не говорил...— Мой голос пресекся. Что-то было такое в этом переулке, странно и жутковато знакомое, но я стряхнул это ощущение как бессмыслицу. Кроме того, мысли были слишком заняты обычной паранойей нью-йоркского жителя, опасающегося быть ограбленным в темном переулке. Чем дальше мы шли, тем сильнее было у меня неприятное ползучее ощущение вдоль позвоночника. Оно достигло такой силы, что я был в буквальном смысле вынужден оглянуться через плечо. И у меня вырвалось очень мерзкое слово, когда мои худшие страхи оказались явью: за нами тащилась какая-то уродливая фигура.

— В чем дело? — Вав остановилась от моего возгласа, а теперь повернулась.

— Кто-то идет за нами,— сказал я.— Видите?

— Боюсь, что я ничего не вижу,— ответила она.— Я думала, вы догадались. Я слепая.

— Ох ты, черт!

— Ничего. Это часть моего дара,— ответила она, неправильно меня поняв.

«Из огня да в полымя»,— подумал я, хватая ее за руку и увлекая за собой по переулку.

— Быстрее,— сказала она.— Торопитесь, Вильям.

Фигура догоняла нас пугающе быстро. И вдруг я узнал, что значит, когда кровь холодеет в жилах, потому что я оказался лицом к лицу — если можно это так назвать — с мерзкой горгульей. Настолько мерзкой, что едва можно было смотреть. Теперь я понял, что в ней привлекло мое внимание: я увидел, как она шевелится. Проблема в том, что я тогда не мог в это поверить. Теперь не оставалось выбора. Она была живая и гналась за нами.

— Это горгулья,— сумел я выдавить из себя.— Вав, если ты себе представляешь, что вообще происходит, самое

время мне сказать.— Тут до меня дошло, что Таззман меня застрелил, и это на самом деле... Ад?

— Вав, скажи мне, что я не мертв.

— Это хуже, чем то, во что мне пришлось поверить,— сказала она скорее себе, чем мне. Какую тайну видели ее слепые бронзовые глаза? — Поверьте мне, Вильям, вы не мертвы.

Не успела Вав это сказать, как горгулья бросилась на нас с такой скоростью, что я только успел уклониться с ее пути. Жуткая когтистая рука пронеслась у меня перед глазами и ударила Вав с такой силой, что ее вырвало из моих рук и она подпрыгнула как мяч, ударившись о мостовую. Потом, к моему удивлению, горгулья метнулась назад, будто учуяв что-то, что я не видел и не слышал. Я как дурак повернулся к ней спиной и нагнулся к Вав.

— Вильям, вы здесь?

— Вы же знаете, что да.— Повсюду была кровь, горячая и густая.— Я вызову «скорую».

— Поздно. Вы должны пойти на выставку,— шепнула она.— Это жизненно важно.

— Вав, ради бога, скажите мне, почему?

Но ее уже не было, и я чувствовал, что тварь готовится броситься на меня, поэтому я оставил ее и побежал. Но было уже поздно. Меня зацепила лапа, и я полетел лицом вниз на булыжники. Попытался подняться, но меня, кажется, парализовало. Сил хватило только перевернуться. Горгулья нависла надо мной, страшная морда исказилась призрачной ухмылкой.

Я закрылся рукой, и тут же меня охватил страшный приступ головокружения. Будто сами булыжники мостовой подо мной растаяли, и я полетел в темную бесформенную яму. Кажется, я закричал. Потом, наверное, я потерял сознание, потому что следующее, что я увидел, когда открыл глаза, была прохладная лесная поляна. В дубовых ветвях чирикали и пели птицы; контрапунктом отзывалось им ленивое жужжание насекомых. Пахло клевером и острыми

ароматами вербейника и мяты. Поглядев в небо, я понял, что сейчас то время дня, когда, сменяя уходящее солнце, кобальт вечернего неба расползается, как непостижимые слова по странице.

Заржала лошадь, и я, повернув голову, увидел величественного гнедого охотничьего скакуна, который щипал траву. Он был снаряжен по английской охотничьей традиции.

Тут я услышал дробный стук копыт, оглянулся и увидел вороную лошадь с белой звездой во лбу, а еще я увидел лицо женщины. Совершенно поразительное, с изумрудными глазами и темно-белокурыми волосами, спадавшими на плечи, густыми, как лес. *Лучезарная* — такое слово приходило на ум. *Лучезарная*, как мало кто бывает или даже может надеяться быть. Она уверенно держалась в седле, одета она была в дорогой, но практичный охотничий костюм темно-синего цвета, кроме шелковой юбки — та была молочно-белой.

— Вы не ушиблись? — спросила она с приятным четким английским акцентом.

— А должен был? — спросил я в ответ. И протер глаза, которые, к моему окончательному ужасу, источали слезы. Я хотел перестать реветь, но не мог. Мне не хватало Вав; я хотел, чтобы она вернулась. До меня дошло, что в ее обществе мне впервые за много лет было легко.

— Издали казалось, будто вы сильно упали, но теперь я понимаю, что лесная подстилка из дубовых листьев приняла удар на себя.

Я понятия не имел, о чем она говорит. Но когда я встал, то обнаружил, что отряхиваю листья и мусор с бриджей и высоких черных охотничьих сапог. И ни следа крови Вав, которая секунду назад залила меня с головы до ног. Я снова заплакал, и так обильно, что мне от смущения пришлось от нее отвернуться.

— Кажется, все в порядке,— ответил я, когда смог взять себя в руки. Потом приложил ладонь ко лбу.— Только голова немножко болит.

— Это не должно быть удивительно.— Она протянула мне гравированную серебряную фляжку, висевшую у нее на бедре.— Возьмите. Судя по вашему виду, вам это может быть полезно.

Я открутил крышку и ощутил знакомый запах мескаля. Испытал знакомую тягу, но что-то щелкнуло у меня внутри, и появился мысленный образ рыбы, всплывающей к крючку с наживкой. Я еще минуту помедлил, потом отдал флягу ей.

— Как-нибудь в другой раз.

Она кивнула.

— Не вижу причин, почему бы мне не подождать и не проехать остаток пути с вами.

Я огляделся:

— Мы участвуем в каком-то стипльчезе?

— Да, конечно.— Она рассмеялась, и это было как тысяча серебряных колокольчиков.— Мы на охоте, Вильям.

Взяв поводья гнедого, я вставил ногу в левое стремя.

— И мы, наверное... где мы?

Я вскочил в седло.

— Лестершир. Восток средней Англии. Чарнвудский лес, если быть точным.

— Сердце охотничьей страны,— сказал я.— И Коттесмор тоже здесь происходит, если мне память не изменяет.

— Ежегодная большая охота на лис. Да, разумеется. Но теперь она уже не порождает тяжб. — Глаза ее заискрились самым зовущим образом.— Теперь поехали! — Она ударила кобылу каблуками по бокам, и та скакнула вперед.— Я не хотела бы пропустить самое интересное, а вы?

Я послал гнедого за ней, и мы тут же сорвались в галоп. Чтобы передать вам, как эта женщина меня захватила, я сознаюсь, что даже тогда, когда я отчаянно пытался вспомнить хоть что-нибудь о том, как ездить верхом, я неотрывно изучал ее черты. Цветущая сливочного цвета кожа наводила на мысль, будто она родилась для охоты — или по крайней мере для туманного английского сельского пей-

зажа. В ней ощущался какой-то манящий разум и при этом ореол беззаботности, который притягивал меня непостижимым для меня самого образом. Если бы в тот самый момент кто-нибудь предупредил меня о ней — возьмем крайность: сказал бы мне, что она убийца,— я бы только рассмеялся, дал бы гнедому шпоры и оставил бы этого человека глотать пыль. Я был счастлив ее пьянящим обществом. Увидел ее только что, а ощущение было, будто я знаю ее всю жизнь. Какая-то связь, тесная, как пуповина, объединяла нас. Она была как неожиданный подарок под рождественской елкой. *Это на самом деле мне?* — хотел я спросить, протирая глаза и все равно не веря.

— Эй, вы знаете мое имя, но я не знаю вашего,— сказал я.

— Конечно, вы меня знаете, Вильям.— Она подняла руку, и я поразился, увидев паутину меж ее пальцев.— Я — Гимел, плетущая реальность, купель идей, исток вдохновения. Я, как мой почти тезка кэмел-верблюд, наполнена до краев, я — самодостаточный корабль даже в самом враждебном климате.

В этот момент мы выехали на широкий луг, испещренный одуванчиками и наперстянками. Призраки солидных дубов уходили вперед по обе стороны, и в сгущающемся полумраке я мог разглядеть только широкую тропу. И мы двинулись по ней. Я трезво напомнил себе, что все эти капризы мысли не более чем остатки старых фантазий, быть может, от десятков тысяч лихорадочных гормональных снов, случившихся во времена моего достаточно трудного созревания. «Трудного» — в смысле испорченного, как черные заплесневелые остатки, которые, бывает, найдешь в холодильнике, когда вернешься после полугодового отсутствия.

— Я так понимаю, что мы только одни на этой охоте на лис,— сказал я, поравнявшись с ней. Мы ехали так близко, что я вдыхал ее прекрасный аромат.

— О нет, я бы никогда не стала охотиться на такую красоту, как лиса.— Когда она встряхнула головой, волосы ее колыхнулись самым заманчивым образом.— Мы охотимся на зверя.

— Какого зверя?

— Вы отлично знаете, Вильям, не притворяйтесь.— Она метнула на меня пронзающий взгляд, и я увидел кремневую остроту в этих великолепных изумрудах *глаз,* и сердце у меня перевернулось. Доктор, кислород! Остановка сердца! — Зверь зверей,— сказала она, не заметив стрелы, пронзившей мое сердце.— Только один есть зверь столь отвратительный, столь заслуживающий охоты.

— Послушайте, должен признать, я несколько смущен. Понимаете, я только что лежал в парижском переулке, залитый кровью подруги...

— Так вы считаете Вав своей подругой? Интересно. Вы же знали ее очень недолго.

— Я хорошо разбираюсь в людях,— ответил я несколько рассерженно.— Если вы ей не друг, лучше скажите это прямо сейчас.

Она рассмеялась:

— Боже мой, как вы быстро встали на ее защиту!

Мы ехали рядом, и она перегнулась и поцеловала меня в щеку, и я услышал пение птиц у себя в голове, тех, которые в мультиках летают вокруг головы Сильвестра, когда Твити как следует двинет его молотком.

— Мы с Вав были как сестры. Даже больше, если можете себе представить. Как два ломтя одного пирога.

— Мне ее не хватает.

— Меня это не удивляет,— сказала она.— Вы направлялись на выставку картин. Очень важно, чтобы вы туда попали.— Она кивнула, будто сама себе.— Жизненно важно, можно сказать.

— Вы хотите сказать, что знаете, как мне вернуться в Париж?

— Это не было бы разумно, как вы думаете? Кроме того, в этом нет необходимости.— Она ехала не слишком быстрой рысью, так что я мог держать ее темп. Спина прямая, плечи развернуты — тот вызывающий вид девчонки-сорванца, против которого я устоять не могу. Я представил себе, как она несется сквозь лес подобно Диане, мифической охотнице, мышцы натягиваются, когда она накладывает на тетиву стрелу и пускает ее в выбранную дичь.— Выставка переехала в Замок. Мы доберемся туда быстро, как только сможем. Но сначала мы должны увидеть неизбежное заключение охоты.

— Если оно неизбежно, чего же нам о нем волноваться? — спросил я.— Отчего не поехать прямо в Замок?

Она нахмурилась.

— С тем же успехом можно спросить, почему нельзя сначала выдохнуть, а потом вдохнуть. Просто нельзя. Законы вселенной, сами понимаете.

— Это те самые законы, которые дали мне в мгновение ока перенестись из Нью-Йорка в Париж и из Парижа в Чарнвудский лес? Или те, по которым выставка из Парижа перенеслась сюда?

— Именно так.— Она не отреагировала на мою иронию. Кажется, даже испытала облегчение.— Мне так приятно, что мы с вами оказались на одной странице.

Я застонал. На странице — какой неведомой книги?

— Не волнуйтесь,— сказала она.— Я доставлю вас туда, где вы должны быть. Поверьте мне, Вильям.

По спине у меня пробежал холодок, потому что эти же слова говорила Вав. И тут я принял решение. Пришпорив коня, я перегнулся к ей. Пока что, как я понял, игра по правилам, какими бы странными они ни были, ничего хорошего не приносила. Все меняется! Я схватил поводья ее лошади и свернул с проторенной тропы.

— Что вы делаете! — воскликнула она.

— К Замку, где бы он ни был,— ответил я.— Пусть остальные возятся со зверем.

— Кто остальные? — Мы теперь ехали бок о бок.— Вильям, на этой охоте только мы с вами!

— Тем лучше,— сказал я.— Некому будет нас хватиться.

— Вы не понимаете...

Я наклонился к ней так близко, что вдохнул запах ее волос.

— Теперь мы к чему-то подходим.

Она облизала губы. В наступившей ночи ее глаза были как неограненные изумруды. На миг у меня мелькнула шальная мысль, не слепа ли она, как Вав.

— Мы должны загнать зверя,— сказала она.— Иначе он никогда не пустит нас к Замку.

— Почему?

— Вильям...— Было теперь что-то такое в ее лице, какой-то неуловимый след от раны столь свежей и глубокой, что она еще кровоточила.— Вав не посчиталась с присутствием зверя на свой страх и риск. Вспомните, что с ней случилось. Я не хочу повторить ту же ошибку.

У нее был вид такой ранимый... Я коснулся ее шеи.

— Какую ошибку?

Она чуть дрожала.

— Картины и зверь переплетаются. Нельзя увидеть одно и не встретить другого. Она думала, что может отвести вас прямо к картинам, что может обойти зверя. Она ошиблась.

— Вы все говорите о звере, но что именно вы имеете в виду? Насколько я знаю, таких зверей нет в Лестершире или, если на то пошло, во всей Англии. Большие хищники здесь истреблены, как почти во всей Европе.

Глаза ее всмотрелись в мои.

— Вав не объяснила?

— Если бы она это сделала, зачем бы я стал спрашивать вас? — мягко заметил я.

— Это упражнение в бесполезности. Обещаю вам, что вы мне не поверите.

Я поцеловал ее в щеку.

— Вы хотите сказать, что даже не дадите мне такого шанса?

Кажется, она призадумалась. Я чувствовал, что она приходит к решению, которого предпочла бы избежать.

— Лучше будем ехать, пока разговариваем.

Я кивнул и отпустил ее поводья, не отставая, когда она круто свернула через холодную голубую траву к чернильным теням леса.

— Зверь — порождение хаоса,— сказала она наконец.— Он едва ли думает так, как понимаем это слово вы или я, с ним невозможно рассуждать или искать компромисс, но его реакции на раздражители потрясающе быстры. Он — чистое зло.

— Он напал на Вав раньше, чем я успел мигнуть.

— Бедная Вав. У нее не было ни единого шанса,— сказала Гимел со странной интонацией, будто сама себе. Потом она встретилась со мной взглядом.— Я уже сказала, что не хочу повторять ту же ошибку.

Я хотел спросить, что она имеет в виду, но тут в лесу все сразу переменилось. Не дубы, не прохлада вечера, не густой запах земли, не ощущение пребывания в этом месте. Не знаю, как это точно сказать, но было так, как будто с той минуты, как я выбежал из задней двери «Геликона», я балансировал на натянутом канате. Теперь канат порвался, и я падал. Не в буквальном смысле, поймите меня правильно. Но я, говоря фигурально, выпадал из одной реальности — или, скорее, моего *восприятия* реальности — в другую. Лопнул пузырь, и я вдруг оказался под шкурой вселенной. Я сидел внутри и смотрел на поверхность — яркую, блестящую, слишком знакомую оболочку — всех обыденных вещей, которые воспринимал как должное. Теперь мне все казалось иным. И вместе с этим чувство, будто рябь узнавания, как *дежа вю* яркого сна, тех незаконченных картин, что висели в ателье Вав. На кратчайший миг я заглянул под обычную импрессионистскую оболоч-

ку и увидел то, что они *значат*. «Они не имеют ко мне отношения»,— сказала Вав о картинах выставки. Я тогда ее не понял. Как может выставка *не иметь* к ней отношения? Это я думал там, в Париже. Она — художница. И вот сейчас я начал понимать, что она хотела сказать. Важны только картины. Тот, кто их написал,— в реальном смысле совершенно не важен.

— Постойте! — крикнул я Гимел.— Погодите секунду!

Она развернула кобылу.

— В чем дело?

Я уже спешился.

— Что-то есть здесь... что-то знакомое.

Она спрыгнула с лошади, и когда лошадь повернулась, я увидел притороченный к седлу старомодный большой лук — не композитный лук из материалов космического века, которые возят с собой современные охотники,— а при луке колчан и стрелы. Она подошла ко мне, заметно хромая, будто одна нога у нее короче другой. Тут я заметил, что левая нога у нее меньше и худее правой, увядшая, как сухой стебель пшеницы.

— Может быть, вы бывали в этой части Чарнвудского леса.

Я покачал головой.

— Я не бывал за пределами Лондона. Но даже если бы и так, это не то, что я имею в виду.— Я пошел по краю полянки.— Это чувство... оно не так примитивно.— Она смотрела на меня спокойно, но с некоторой долей любопытства.— Вы не думаете, что возможно знать какое-то место — я хочу сказать, знать его насквозь,— ни разу там не побывав?

— Если оно принадлежит только физическому миру — нет, конечно, нет.— Она перешла поляну, прихрамывая по-своему, и остановилась передо мной.— Но ведь вселенная гораздо больше физического мира?

По тону ее голоса я чувствовал, что она спрашивает совсем другое.

Любопытно, как со мной случаются эти моменты перехода. Снова мое сознание обратилось в прошлое. Передо мной возник образ Донателлы, слегка навеселе. Мы познакомились в Мексике, где она проводила отпуск с мужем и сестрой. Пока бессовестный муж обхаживал ее сестру, мы с Донателлой сидели в тихих и зеленых скверах Оаксакана и пили мескаль. Это помогало переносить жару и толкало нас в припадки необузданной страсти. Теперь, вспоминая эти эротически заряженные моменты у меня или у нее в номере, я впервые понял, что все это шло неправильно. Они были яростными, эти сексуальные свидания, но — и это очень больно признать — безрадостными по сути. Больно, потому что стало ясно, как мало на самом деле у нас было, до чего мелкими людишками были мы вместе. До меня дошло, что Донателла становилась лучше с Германом — и это тоже было больно. Сказать, что это осознание стукнуло меня как курьерский поезд — значит впасть в преуменьшение. До этой минуты я был абсолютно уверен, что мы любили друг друга, даже после того, как она сбежала с Германом. Теперь я понял правду. Наша любовь, как обложка журнала с полуголой моделью, была лишь принятием желаемого за действительное. Печальная правда была в том, что мы с Донателлой соединились не по тем причинам и по тем же причинам поженились. Прошло только двенадцать часов после ее развода, и вот — бац! — мы уже женаты. Соблазнительное это было, но отравленное начало, когда мы сидели, вытянув ноги, пьяные от мескаля и друг от друга, тиская влажную плоть под дощатым столом под сонными внимательными взглядами официантов-мексиканцев. До сих пор, когда я слышу задумчивый перебор мексиканской гитары, у меня туманятся глаза. Но думаю, правда в том, что, когда Донателла ублажала меня, думала она о муже, сестре и о мести.

Нет, мы никогда не любили друг друга. Даже наше пламя было не столько страстью, сколько гневом — гневом

на все вокруг. И этот гнев — демоническая страсть — нас спасал. На время. А потом его не стало. Нельзя даже было сказать, что наши отношения закончены, потому что они никогда не начинались. Мне она никогда не переставала нравиться. С Лили она была просто святой, навещая ее каждую неделю, на что я совершенно не был способен. Мы с ней чаще всего схлестывались в диких ссорах именно из-за этого. Она говорила, что это смертный грех — так пренебрегать сестрой, и — кто знает? — может, она была права. И еще Донателла, будучи католичкой, отдавалась всем заморочкам и предрассудкам, в обязательном порядке сопутствующим религии. Я часто гадал, как она сама перед собой оправдала два развода. Однажды, когда я ее спросил, она ответила мне с некоторым любопытным презрением, что у нее есть дядя, который знаком с Папой и смог организовать ей отпущение. До сих пор не знаю, правда ли это. Как бы там ни было, не думаю, что это важно. Она была наверняка добрее к моей сестре, чем к своей, но кто я такой, чтобы ее за это обвинять? Не могу. И не буду. Она уникальная личность, я в конечном счете рад, что мы встретились, хотя и узнал ее слишком хорошо и слишком поздно. Но если дойти до сути — содрать и отбросить все, что неважно, то она никогда не была моей, и самая глубокая боль порождена осознанием многих лет самообмана.

От огромности этих откровений меня замутило. Будто мир обратился в прах, будто память молниеносной косой прошла по цветущему полю иллюзий. Моих иллюзий. Отныне Донателла, ленивый зеленый мексиканский сквер, неистовые потные соединения, заунывные перезвоны гитары за треснувшим окном отеля — все закачалось и потеряло суть, как джинн, исчезающий в своей лампе.

Я снова стоял в Чарнвудском лесу в эфирной тьме поляны. Со мной рядом стояла Гимел, я слышал ее чуть пряный аромат.

— О чем вы думали? — спросила она.— Я чувствовала вашу напряженность.

— Вспоминал свою жизнь,— честно ответил я.— И мне, к сожалению, стало ясно, что она не была такой, как мне казалось.

— Ну и что? — Глаза ее сияли.— То, что мы познаем сразу, немногого стоит, вы не согласны?

— Я не знаю вас.— Я теснее прижал ее к себе.— Совсем не знаю.

— А это значит, что мне цены нет? — Глаза ее затанцевали с озорной улыбкой.— Вы это хотели сказать?

Прохладная тишина отодвинула весь остальной мир как тусклый размытый дагерротип. Смолк ли ветер среди дубовых листьев, прекратили ли птицы вечерние песни, перестали переговариваться морзянкой насекомые? Мне так показалось. В Мексике Донателла как-то сказала мне, что когда она со мной, все остальное перестает существовать. «Существование — это кончик языка пламени,— сказала она тем вычурным языком, которым передавала обычно картины своего воображения.— Когда я в твоих руках, я в самом пламени, ты это понимаешь?»

И с Гимел я был будто в пламени, а все остальное бытие втиснулось в исчезающий промежуток между нами. Но внешний мир ворвался как холодный и зловещий ветер. В тот миг, когда мной овладели воспоминания, я что-то упустил, может быть, что-то определяющее.

Меня тут же наполнили дурные предчувствия. Улыбка застыла на лице Гимел. Я увидел, как покрылись гусиной кожей ее руки.

— Что случилось? — спросил я.

И тут я тоже это услышал. Что-то очень большое пробиралось по лесу. Мы стояли, застыв в неподвижности, стараясь понять, что это за звук, и я понял, что он направляется прямо к нам.

— Это зверь,— шепнула она.— Он нас нашел.

— Давай-ка лучше по коням,— предложил я.

— Ты думаешь, это будет разумно? — Она положила руку на уздечку моего коня.— Теперь, когда мы здесь, ты все еще веришь, что лучший выбор — бегство?

— А что еще делать? — спросил я.— Твои стрелы его остановят?

— Не знаю.

— Неуверенность — не лучший шанс.

— А при чем здесь шансы? — Голос ее вдруг наполнился печалью.— Ты думаешь, Вав взвешивала шансы, когда вела тебя тем парижским переулком?

— Я бы так не сказал.

— Тогда ты прав,— сказала она, резко отпустив уздечку. Казалось, она сейчас расплачется.— Лучше попытаемся сбежать, пока не поздно.

Но уже было поздно. Я не успел поставить сапог в стремя, как раздвинулся подлесок и черная громоздкая тень прыгнула из темноты. Вороная кобыла встала на дыбы, фыркнула, раздувая ноздри, и Гимел наложила стрелу. Оттянув тетиву, она выстрелила. Может, это была иллюзия синих сумерек, но стрела исчезла за миг до того, как пронзить грудь зверя. Тихо вскрикнув, Гимел бросилась наперерез чудовищу.

— Нет! — успел крикнуть я, когда зверь занес огромную лапу. Неимоверно мощную. Даже издали я услышал хруст шейных позвонков. Страшная сила подбросила Гимел на несколько футов и развернула в воздухе, и я увидел, как уходит свет из ее глаз. Она упала на землю, запрокинув голову.

У меня живот свело судорогой, и я рванулся к ней. Но еще меня неодолимо тянуло разглядеть зверя Получше, чем я разглядел горгулью. И все равно я успел только мельком глянуть. У твари было то же мерзкое лицо, что мелькнуло передо мной в парижском переулке, но на сей раз ее тело было определенно более звериным, чем человеческим. Как и в тот раз, она помедлила, но в этот раз мне показалось, что я услышал что-то, какой-то дальний треск винтовочного выстрела. Не теряя времени, я подхватил Гимел и потащил ее в чащу дубов. Там я взял ее на руки; она была не тяжелее ребенка. Будто в ней вообще не было субстанции, будто она исчезла, когда зверь сломал ей шею.

И все равно я не мог ее оставить. Она пожертвовала собой, бросилась между мной и зверем. У меня за спиной зверь ломился сквозь чащу, рвался ко мне. Я побежал, спотыкаясь на выступающих корнях, цепляясь за ползучие растения, оступаясь на склизких поганках. Один раз я упал на колени, но Гимел не выпустил. Не мог я даже думать оставить ее здесь, чтобы зверь ее нашел и, может быть, сожрал. Это было бы бесчеловечно.

Я уже сказал, что тело ее было совсем легким, но все равно среди густого подлеска бежать мешало сильно. И потому зверь быстро меня настигал, и его адское дыхание было как рев огромной машины, собирающейся меня переехать.

Вдруг я выскочил из леса и заскользил, чуть не падая, вниз по берегу довольно широкого потока. Быстро посмотрел по сторонам. Ничего не оставалось, как только бежать вперед, в воду. Она была холодна как лед и куда глубже, чем казалось с берега. Я уже погрузился по пояс, и это еще было не самое глубокое место. За моей спиной зверь вырвался из леса. По инерции он пролетел до самой кромки воды, встал на дыбы и заревел от ярости. Может быть, он воды боится. Я воспрял духом и пошел вперед. На середине потока вода была уже по грудь. Каким бы ни было легким тело Гимел, а держать его на весу требовало усилий.

Я оглянулся через плечо и невольно вскрикнул от ужаса. Зверь превращался в гигантскую рептилию. На спине выступила чешуя, между задними ногами вырос толстый хвост со зловещими шипами. Поблескивая бледным брюхом, рептилия вошла в воду и устремилась ко мне с угрожающей быстротой.

Сразу мне снова стало семь лет, там, в мексиканских болотах. Жаркое солнце жгло шею как ярмо. Кишели насекомые, пируя на моем голом теле. Меня отделяла от отца стенка переплетенных лианами деревьев. Он задремал, привалившись к здоровенному пню, а я от скуки побрел прочь. И теперь я не знал, как вернуться обратно в лаби-

ринте изумрудной листвы и илистой воды туда, где он наверняка меня ищет. Для довершения несчастья я наткнулся на крокодила, отдыхающего на мелководье. Он был серо-белый и огромный, а доисторическая гребнистая спина, броня и огромные подвижные челюсти делали его похожим на смертельное оружие на четырех мощных ногах.

Господи, ну и быстро же он двигался! Ящер кинулся на меня, будто его выпустили из ракетомета. Пасть уже была открыта, и видны были двойные ряды бритвенно-острых зубов. Казалось, что зверь мне усмехается. Я завопил, когда споткнулся. Я видел, как он несется ко мне. И тут прогремел выстрел, крокодил подпрыгнул вверх, упал и забился на земле. Еще один выстрел, и тяжелое мускулистое тело заметалось, почти накрыв меня. Когда он плюхнулся в солоноватую воду, это было так близко, что меня облило с головы до ног. Последний удар хвоста порезал мне предплечье. Тут меня подхватили отец и Адольфо, наш мексиканский проводник. Адольфо хотел отнести меня к джипу, который нас привез, но отец покачал головой и дал мне свою толстую твердую трость. Я взял ее и с размаху опустил на бронированный череп крокодила. И снова, и снова, крякая от усилий и поднимавшейся во мне злости, а Адольфо бормотал как молитву: «Es muy malo». Очень плохо. Я не обращал внимания и все бил и бил, пока не проломил кость, пока не счел, что наказал зверя достаточно, так же сильно, как он меня напугал.

В мгновение ока это промелькнуло передо мной как сон. Ощущение *дежа вю* тут же прошло, потому что я знал: Адольфо здесь нет, никто не убьет эту тварь, пока она до меня не добралась.

От ее движений ко мне по воде дошли волны. Что ж, значит, так. Мне судьба здесь погибнуть, эта тварь получила второй шанс сделать со мной в иной реальности то, что могло случиться в мои семь лет. Я ощущал в ночи ее присутствие. Нет! Я этого не допущу. Сказав быструю молит-

ву, я бросил тело Гимел и обернулся к зверю. Шарнирные челюсти уже распахнулись, и я, сжав руку в кулак, сунул согнутую руку вертикально в разинутую пасть. Зубы разорвали кожу, и я вскрикнул, но не уступил. Руку я использовал как палку, потому что в очень ранней молодости где-то прочел: если сунуть палку в пасть крокодилу, он не сможет ее захлопнуть.

Так мы и сцепились: я — окровавленный, тварь — бьющаяся в судорогах, стараясь достать меня мощным хвостом. Ужас боролся с усталостью, заставляя меня держаться, но хвост чудовища подбирался все ближе и ближе, бешено вспенивая воду. Сила его атаки сталкивала меня в глубь реки, и я чувствовал, как усиливается течение, бурля вокруг меня, засасывая, как пасть левиафана. И сила его росла, пока вдруг не сбила меня с ног. Меня закрутило с такой силой, что даже рефлексы зверя оказались недостаточно быстрыми, чтобы захватить мою руку. Меня затянуло под воду, подхватило ревущим потоком. Я попытался обрести равновесие, а когда это не вышло, просто старался держать голову над водой. Полыхнула боль, когда я налетел на подводный камень. Меня отбросило и завертело. Вспышка боли ударила в бок. Я потерял понятие, где верх, где низ. И снова на что-то налетел. На этот раз не на камень, это было мягкое и цилиндрическое. Тело. Тело Гимел. Я охватил его руками и не выпускал, высовывая голову и хватая желанный воздух, пока меня снова не затягивало вниз. Когда я сделал это второй раз, сила течения стала слабеть, и я смог попытаться выплыть к берегу.

Вытащив труп Гимел на илистый берег, я рухнул рядом, скорее мертвый, чем живой, как мне казалось, потому что ощущал странную с ней связь. Она спасла меня от зверя, как Вав в Париже. Иссохшая левая нога казалась теперь естественной и неотъемлемой частью ее существа. Рука ее лежала поперек моей груди, как спасательный линь, и я закрыл глаза, гадая, не спасся ли я все же в конце концов.

Через миг это уже было не важно, потому что я потерял сознание.

Очнулся я от дождя, падавшего мне на лицо. Еще не рассвело. Может быть, я сутки пролежал без сознания — это невозможно было узнать. Где-то гремел гром. Я приподнялся на локте, и вспышка молнии озарила совершенно незнакомый пейзаж. Я лежал в топкой низине у опушки леса, реки, которая меня сюда принесла, не было. Очевидно, это уже не был Чарнвудский лес. Судя по толстым стволам сосен и американских сахарных кленов, это даже была не Англия. И Гимел исчезла вместе с потоком. Я перекатился на то место, где она лежала, и поразился охватившему меня чувству потери.

Потом я протер глаза тыльной стороной ладони. Рука, которую я вбил в пасть зверя, была как новая. Крови не было. Совсем. Воздух был заметно холоднее, и я задрожал в мокрой одежде. Я понимал, что нужно быстро найти какое-то укрытие, иначе наступит переохлаждение. И подумал, где мой следующий проводник, потому что в двух предыдущих реальностях он был. Не почуяв никого рядом, я встал и, выбрав случайное направление, пошел туда. Я решил, что система нарушена, потому что два моих предыдущих проводника погибли.

Поскольку мой отец занимался ремонтом мебели и работой по меди, я родился и вырос в Хэдли в штате Массачусетс, где он пользовался прекрасной репутацией. Здешняя местность, идентичная густо поросшим холмам моего детства, немедленно напомнила мне тот единственный раз, когда я согласился отправиться на семейный пикник с Лили. Леса эти были мне знакомы, в момент пикника мне было двенадцать, и я уже часто ходил на охоту с отцом. Он любил охоту, как большинство мужчин его возраста любят гольф. Он не любил насилия — по крайней мере в семье. Но однажды я видел, как он измолотил в кашу громилу вдвое больше себя, который подрезал нас в плотном потоке машин. Я стоял возле нашей машины, открыв рот,

а он избил этого великана до бесчувствия. Может быть, в нем была агрессивность, которая и заставляла его охотиться. С другой стороны, охота требует хитрости, лукавства и очень большого терпения, на что человека агрессивного надолго не хватит.

И все же он не очень ладил с Лили, и, хотя и он, и мать это решительно отрицали, насколько я могу судить, его уход не имел другой причины. Не могу говорить за своего брата, но мне трудно было примириться с его уходом. Конечно, я обвинял Лили — не мог же я обвинять его или мать? Лили была очень удобной целью — как череп того крокодила, что я проломил, когда Адольфо застрелил его. Он уже не мог мне ничего сделать, но до того успел вызвать бешеную ненависть.

Наверное, Лили тоже.

Как бы там ни было, а в первые месяцы после ухода отца мать отчаянно старалась удержать вместе то, что осталось от семьи. Я думаю, таким образом она пыталась уверить нас, что мир не рассыпался. Через много лет до меня дошло, что она и себя в этом старалась убедить. И где-то к концу она организовала этот пикник. Поскольку я был старшим, мне выпала обязанность складывать и раскладывать коляску Лили, а также возить ее, пока она вопила, лаяла, выла и вообще доставала меня, как могла.

Был прекрасный весенний день в конце мая. Деловито чирикали птицы, гудели насекомые. Почему-то в воздухе было полно бабочек, будто они вылупились из золотых куколок все одновременно. Можете себе представить, как они были красивы, но что-то в них — быть может, неровный зигзагообразный полет — Лили, казалось, напугал. Она подскочила в коляске, вопя и хватая воздух скрюченными пальцами. Когда я сдуру подошел и попытался ее успокоить, она вцепилась в меня ногтями так, что пошла кровь.

Вот тогда я ее и ударил. Это была всего лишь пощечина открытой ладонью, и она напугала меня так же, как ее. Глаза ее закатились под лоб, лицо налилось кровью, но долгие

минуты она молчала. Потом разразилась слезами. Она рыдала и стонала, покачиваясь и трясясь, как в лихорадке.

Мама подбежала и как следует двинула мне в ухо, прежде чем отшвырнуть в сторону. Она присела возле Лили и начала долгий невыносимый ритуал ее успокаивания. Пока она нежно поглаживала ей руки и что-то приговаривала, пока Лили рыдала и дергала ее за волосы, противный Герман смотрел на меня с полным презрением взрослого. Он не пытался помочь Лили — я не верю, что она его любила, и он это знал. Зато он мог смотреть на меня сверху вниз. Мог сказать, что *он* никогда не поднял руки на сестру.

— Как ты мог, Билли! — упрекнула меня мама спустя некоторое время.

— Мам, ты посмотри, что она мне сделала! Она же меня до крови расцарапала!

— Она не владеет собой. И никогда бы намеренно тебя не поранила. Ты знаешь, как Лили тебя любит.

— Ничего я такого не знаю, мам! — горячо возразил я.— А если честно, то и ты тоже. Ты можешь сказать, что гриб тебя любит? Нет, потому что гриб не умеет думать.

И тут она сделала такое, чего не делала ни до, ни после. Она схватила меня за грудки и затрясла, как тряпичную куклу.

— Ты заговорил, как твой отец, парень, и я этого терпеть не собираюсь! Ты меня понял? — Она просто взбесилась.— Это твоя сестра! И это человек, такой же как ты или Герман.

— Таких, как Герман, вообще не бывает.

— Я говорю серьезно, Билли! Что нужно, чтобы ты понял?

Она вдруг выпустила меня, и весь огонь из нее выдохся. У нее был вид побежденного — не мной, жизнью. Линзы, сквозь которые виделся ей мир, были так искажены ее прошлым, что она не могла не поставить нам те же жесткие пределы, что ставила самой себе. Она повернулась к

Лили, но я успел заметить горький скорбный вид, который заволок ее лицо как саван.

Воспоминание об этом ярком и кровавом дне померкло, когда я добрался до сосновой опушки. Я оказался на краю утоптанной грунтовой дороги. На самом деле просто проселка. Я посмотрел в обе стороны, ничего особенного не увидел и пошел налево. Когда приходится выбирать, я всегда выбираю поворот налево. Поднялся ветер, и вместе с ним начался дождь. Без защиты леса я задрожал от холода. Прибавив скорость, я через двадцать минут увидел дом, отделенный от меня темным вспаханным полем. И побежал через открытое место, мокрая одежда от резкого ветра прилипала к коже. Я миновал старый заржавевший трактор довольно жалкого вида, будто его тут бросили и забыли.

Дом был старым, викторианского стиля, с резными украшениями, широким крытым крыльцом и комнатами с башенками, похожими на остроконечную шляпу колдуна. Вообще вид у него был мрачный. То, что он был выкрашен в серое, как военный корабль, уменьшению мрачности не способствовало, но я вообще не очень люблю викторианский стиль — на мой вкус, слишком вычурно.

Как бы там ни было, я поднялся по широким дощатым ступеням на крыльцо, спасаясь от дождя. Перед тем как позвонить в звонок, отряхнулся, как собака. Звонок прозвенел где-то в глубине дома, задребезжал своеобразно, так что у меня зубы отозвались резонансом. Когда на второй звонок тоже никто не отозвался, я попробовал дверь. Она была не заперта.

Войдя внутрь, я оказался в суровом вестибюле овальной формы. Главной его достопримечательностью была винтовая лестница, гордо поднимавшаяся на второй этаж. Справа была гостиная, слева — кабинет.

— Эй! — позвал я.— Есть кто дома?

Ответа не было. Не считая серьезного тиканья дедовских часов, покрытых черным лаком и с резным белым

фаянсовым овалом, закрепленным над циферблатом. Если бы это был человек, я бы сказал, что он болен.

Кабинет был освещен горящими дровами из камина, так перегруженного углями, как будто он горел уже сотни лет. Как вы можете сами сообразить, треск и искры ароматных поленьев манили, как и сам жар камина. Я устроился возле решетки и расслабился в приятном тепле. Через секунду я ощутил, как начала сохнуть моя одежда. Пока она сохла, я оглядел кабинет. Он был обшит полосатыми дубовыми панелями. Вокруг комнаты шли перила, багеты и карнизы вышли из моды давным-давно. Круглый обюссонский ковер покрывал пол, и люстра позолоченной бронзы свисала с потолка как паук, ждущий пробуждения.

Когда я достаточно согрелся и одежда перестала прилипать, я прошел по комнатам первого этажа и не нашел ни одной живой души. Странно — дом казался очень обжитым. Например, в кухне на столе я нашел тарелку с оранжевым чеддером и солеными бисквитами, а на массивной газовой плите — почерневший чайник, потому что его кто-то оставил на огне и вода выкипела. Я выключил горелку и чуть не обжег ладонь, переставляя чайник на холодную конфорку.

Я выругался и тут же услышал чей-то крик. Схватив здоровенный кухонный нож, я бросился в вестибюль, и тут крик повторился еще раз, оборвавшись пугающим жидким бульканьем. Это был женский голос и он шел со второго этажа. Я взлетел через три ступеньки.

— Эй! — крикнул я наверху.— Что с вами?

В ответ послышался только тихий плач.

Побежав по идущему налево коридору, я распахивал ногой двери в каждую комнату. В них была только тьма и особый запах запустения. Потом я увидел, что из-под двери в конце коридора пробивается свет. Подбежав к двери, я распахнул ее без колебаний.

И оказался в просторной спальне, возможно, хозяйской. Половину комнаты занимала просторная кровать с бал-

дахином, а в другой половине стояли на страже неудобного вида диван и кресла в барочном стиле Людовика Четырнадцатого. Между ними, свернувшись на левом боку, лежала женщина. Я снова услышал всхлипывания и побежал к ней, склонившись рядом. Она открыла глаза, увидела нож и отпрянула.

Я тут же его бросил.

— Не бойтесь,— сказал я ей как мог мягче.— Я не причиню вам вреда.— И положил руку на ее плечо.— Напротив.

Мне была видна только правая половина ее лица. Длинные черные волосы струились вокруг нее, как течения в очень глубоком озере. Она была одета в розовую чесучовую блузку и темно-зеленые брюки из того же материала. Ноги ее были босы, и на внутренней стороне одной стопы я увидел татуировку — полумесяц и круг.

— Что с вами? — снова спросил я.

— Принесите свечу,— сказала она. Когда я послушался и зажег свечу, она посмотрела на меня еще раз.

— Вильям, это вы!

— Я вас знаю?

— Меня зовут Далет,— сказала она.— Я — дверь, я — влажный лист, который защищает и кормит.

— Что здесь произошло?

Она повернулась ко мне лицом. Я отпрянул и непроизвольно вскрикнул. Вся левая сторона ее лица превратилась в красную кашу, обожженная пламенем.

— Боже мой! — прошептал я.— Вас надо немедленно в больницу!

— Вы нашли дорогу сюда, Вильям,— сказала она, когда я помог ей встать.— Я хотела вас встретить, провести сюда, но...

Она привалилась ко мне, и голова ее упала мне на грудь, не оставив кровавого следа.

Я помог ей добраться до дивана и устроил ее там. Она тяжело дышала — такое же трудное дыхание, как тиканье часов внизу.

— Он пришел,— сказала она.— Зверь уже здесь, как видите. Он нарушил правила, а это значит, что раньше это сделали вы.

Я тут же вспомнил, как намеренно свернул в сторону на охоте в Чарнвудском лесу, вопреки предупреждению Гимел.

— Кажется, да,— сказал я.— Но я понятия не имел о последствиях.

— Это не так,— сказала она.— Но вышло, как вышло, верно?

— Что вы хотите сказать?

— Любая жизнь имеет последствия, Вильям. Любая жизнь имеет ценность.

— Но не эта тварь. Она уже убила двоих, и посмотрите, что она с вами сделала!

Она поглядела на меня угольно-черными глазами.

— Этот зверь — он еще здесь. Ждет, чтобы выйти на свет.

Я подобрал кухонный нож и сжал рукоятку.

— На этот раз я готов.

— И что вы сделаете? — спросила она.— Пробьете ему череп, как тому крокодилу?

Я вздрогнул:

— Откуда вы знаете?

— Откуда я знаю ваше имя?

Я встал, дрожа.

— Кто вы такая? Кто вы все такие?

— Я вам сказала. Меня зовут Далет.

— Вы термаганты! — крикнул я.— Вы посланы меня терзать!

Она приподнялась.

— А вы не заслужили терзаний? — Я был слишком ошеломлен, чтобы ответить. Может быть, она и не ждала ответа, потому что тут же сказала: — Если нет, зачем вы сами себя терзаете?

— Что... что вы имеете в виду? — спросил я хрипло.

— Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Вильям, сидеть в баре день за днем, прятаться от мира, терять душу, падающую в бездонную яму внутри вас — это не пытка?

— Слушайте! — крикнул я, испуганный уже по-настоящему. Я никому, ни Донателле, ни Майку-бармену, ни бухгалтеру Рею не говорил о бездонной яме. *Никому.*— Какого черта все это значит?

Вот тут она наклонила голову, и черный глаз ее широко раскрылся.

— Вы его слышите, Вильям? Зверь снова в пути. Он выходит из тени.

— К... матери зверя!

— Да,— кивнула она,— конечно, *к... матери.*— Она снова наклонила голову набок.— С другой стороны, вы не можете делать вид, что его нет. И убегать вы тоже больше не можете. Это ваш последний шанс. Здесь ваш последний оплот.

Теперь я тоже его слышал, и почему-то этот звук потряс меня новыми волнами ужаса.

— Скажите мне то, что не сказали другие. Скажите, как его убить?

Она посмотрела на меня с чем-то вроде изумления.

— Его нельзя убить. Я думала, что хоть это вы знаете.

— Будьте вы прокляты! Будьте вы все вечно прокляты!

— Для этого слишком поздно.

Я повернулся и выбежал из комнаты. Нож я держал перед собой, но меня так прошиб пот, что рукоять стала скользить в ладони.

— Боже,— простонал я,— что со мной будет?

Некому меня защитить, некому спасти. Вав погибла, Гимел тоже, а от этой, от Далет, никакого толку. Она уже показала, что ей перед зверем не устоять. Значит, оставался я и только я.

«Убегать вы больше не можете»,— сказала она. Ну и ну ее к черту. Я бросился вниз по лестнице и рванул к входной двери. Она не открылась, несмотря на все мои рывки

и толчки. Я побежал в гостиную, отдернул тяжелую штору и попытался открыть окно. Не поддавалось. Я выглянул в бурную ночь, и мне даже там показалось лучше, чем здесь. В припадке ярости я запустил в окно стулом. И открыл в изумлении рот, когда он отскочил от стекла. Я заколотил по стеклу кулаками — без толку. Далет была права — я не мог убежать.

«Это ваш последний шанс»,— сказала она. То есть я уже профукал два шанса в Париже и в Лестершире? Шансы — на что?

— Эй! — завопил я никому и всем. Как вообще играть в игру, где не знаешь ни правил, ни цели? — Черт побери, это нечестно!

— Конечно, нечестно,— согласилась Далет, входя в комнату. Казалось, она восстановила приличную порцию своих сил.— А что честно?

— Но вы же знаете, что все это значит! — крикнул я.

— Я знаю *все*.

— Так господа бога ради, почему вы мне не говорите?

Она подошла ко мне, и я отвернулся, чтобы не видеть ужасно изуродованную половину лица.

— Вы не смотрите на меня, Вильям? — сказала она тихо.— Разве я не красива?

Она действительно была красива — по крайней мере в основном. Но то, что сделал с ней зверь, изменило ее навеки.

— Не заставляйте меня отвечать.

— Но это важный вопрос. Жизненно важный, можно сказать.— Почему это каждый термагант повторяет то, что говорил другой? И как это вообще возможно? Она поворачивалась, чтобы показать мне левую сторону лица, и я поворачивался вместе с ней.— Вы не считаете, что он заслуживает ответа?

— Молю вас, перестаньте!

— Вы должны ответить, Вильям. В сердце своем вы знаете, что должны.

Она была права.

— Вы были красивой, раньше,— выпалил я.— Но больше нет.

Она кружила вокруг меня, как гиена, учуявшая падаль.

— Теперь я вам не интересна.

— Я этого не говорил.

Она додавливала меня, как термагант, знающий, что работа его почти уже сделана.

— Теперь вы не станете меня защищать.

— Не надо говорить от моего имени! — завопил я.

Она широко развела руки.

— Время выходить на решительную битву, Вильям.

— Как мне драться, если я даже не знаю, за что дерусь?

— О нет, знаете.— Она наклонилась ко мне и прошептала: — За душу, Вильям. За свою душу.

— Значит, я был прав. Я — мертв!

— Нет. Смерть легка. *Это* — нет.— Теперь она была справа от меня, и я даже не старался отвернуться. Я видел обе ее стороны — красивую и страшно изуродованную. И что-то стало складываться у меня в голове. Что-то страшно и глубоко знакомое.— Ты знаешь этого зверя, Вильям. Ты его очень, очень хорошо знаешь. И я уже сказала: здесь твой последний рубеж.

— Но ты сказала, что его нельзя победить!

— Нет.— Она посмотрела на меня пронизывающим взором.— Я сказала, что его нельзя убить.

— Постой, что ты говоришь? — И тут что-то знакомое — эмоции или, может, определенная динамика — включило воспоминание, которое я давно подавил. Я обманулся: много лет назад я *сказал* одному человеку о бездонной яме внутри меня, потому что тогда во мне клубилась подростковая взрывная гормональная ярость и держать это в себе было невыносимо.

— Ты... они...— И тут я понял, понял все. Она увидела это по моему лицу и улыбнулась. Красивой улыбкой, великолепной улыбкой, улыбкой на века.— Ты, и Вав, и Гимел — это все одно, да?

Она кивнула:

— Просто разные ипостаси.

Я только стоял, таращась, не в силах двинуться.

— Тогда пойдем,— шепнула она.— Время изгонять зверя.

— Я не хочу расставаться с тобой,— сказал я.

— Если действительно не хочешь,— ответила она,— то и не расстанешься.

— Но я должен знать... ты тоже этого хочешь?

— Это то, чего я хотела всегда.— Она снова улыбнулась той же блаженной улыбкой.— Но ведь ты это уже знал, правда?

— Да.— Я едва мог говорить, так у меня перехватило горло.— Кажется, я всегда это знал.— Я протянул руку.— Пойдем. Я буду тебя защищать, и никогда тебя не оставлю. Больше никогда.

Она поглядела на меня печально, но взяла мою руку, и я крепко ее стиснул. Мы вместе вышли в гостиную. В кабинете я щелкнул выключателем, но люстра не зажглась.

— Некоторые недостатки этого дома,— сказала она.— Электричество здесь ненадежно.

Я нашел подходящий кусок жерди в куче рядом с камином, обернул его конец газетами и сунул в камин. Когда он разгорелся, мы поднялись наверх. Я держал факел впереди, освещая дорогу.

Мы прошли по коридору. Я снова открывал двери во все темные комнаты. На этот раз факел освещал темноту, и, кажется, я не был удивлен, увидев на стенах картины Вав. В конце концов я добрался до выставки живописи. И в удивлении переходил из комнаты в комнату.

Каждая картина была ясна, как лед, и они пронзали мне сердце с мучительной остротой.

— Это сцены моего детства,— сказал я, рассматривая картины.— Вот леса, где мы с папой охотились, вот поле, где мы с Германом играли в салки и догонялки; вот дорога, ведущая к нашему дому, а здесь...— Я повернулся к моей

спутнице: — Здесь я тебя ударил.— Я дотронулся до ее щеки ладонью.— Лили, ты сможешь простить меня когда-нибудь?

— Я здесь,— ответила моя сестра.— Я привела сюда тебя силой своего разума. Понимаешь, другой силы у меня нет. Вся энергия, которая могла бы пойти на разговор и ходьбу, на теннис и секс и... и на все, что остальные воспринимают как должное, вся она ушла в разум. Больше ей некуда было деться.

— Но почему ты так долго ждала?

— Эта реальность, которую я построила сама, требует колоссального количества энергии — а привести сюда тебя потребовало сверхчеловеческого взрыва. Я знала, что могу сделать это только один раз, и очень ненадолго. И потому я ждала почти до конца.— Она улыбнулась и коснулась моей щеки.— Мама была права, ты это знаешь. Она видела суть. Я любила тебя больше всех других.

— Но я был так с тобой жесток!

Она показала на дальний конец последней комнаты выставки.

— Regarde ça*,— сказала она теплым голосом Вав.

Я отошел от нее в тот конец комнаты. Там был кирпичный камин, почерневший от сажи, а над ним — резная дубовая каминная доска. На ней стояла старая потрепанная черно-белая фотография, выцветшая от времени. Я вгляделся. Это был я в детстве. Наверное, солнце светило мне в глаза, потому что я щурился. На моем лице было выражение, которое я хорошо знал и которому не придавал значения. Вначале я подумал, что именно на это просит меня посмотреть Лили, но потом услышал какое-то движение. Посмотрел вниз, но ничего не увидел. Выставив факел дальше перед собой, я увидел темную фигуру, прижавшуюся к почерневшему кирпичу камина. «Господи боже,— подумал я,— это же зверь!» Инстинктивно я выставил нож,

---

* Посмотри на это (*фр.*).

но зверь больше не казался мне угрозой. Лицо, когда он его поднял, уже не было таким мерзким. На самом деле оно казалось знакомым, как тот переулок в Париже, по которому вела меня Вав, как поляна в Чарнвудском лесу, где я остановился с Гимел. Я оглянулся на старую фотографию меня самого, потом снова посмотрел на зверя. Во мне больше не было ни страха, ни отвращения. Я протянул руку, и тьма от него взбежала по моей руке, суть его превратилась в чернила, и они впитались мне в кожу. И в тот же момент он исчез с легким хлопком. Пораженный, я повернулся к Лили.

— Этот зверь — это был я? — спросил я, хотя ответ ее мне был на самом деле не нужен.— По крайней мере он — моя часть.

— Та часть, против которой ты должен был восстать,— ответила она.— Я тебе говорила, что его нельзя убить — если не убить себя. Но ты нашел способ его победить.— Она подошла ко мне.— Понимание и прощение, Билли.— Она положила руку мне на предплечье.— Если ты можешь смотреть на меня, если ты можешь теперь меня любить, то ты наверняка сможешь простить себя.

— Но ты вызывала во мне ужас.

Она прижала мне руку к губам, и я почувствовал, что дрожу.

— И все равно ты кормил меня, когда должен был. Ты держал меня и укачивал, даже когда я облевывала тебя с головы до ног. Герман ко мне близко не подходил. Он брезговал мной, как и папа.

— Но в тот день — я же тебя ударил!

— Да, и я любила тебя за это еще больше.

— Как? Я не понял...

— Все просто. Билли. Я тебя расцарапала до крови.

— Но ты же не могла ничего сделать. Ты же психанула...

Жаркая волна стыда не дала мне закончить.

— Ничего, Билли.— Она погладила меня по руке.— Понимаешь, ты реагировал так, будто я нормальная. Ты бы

точно так же сделал со всяким, кто на тебя напал. Даже мама, как она меня ни любила, не могла бы так сделать, потому что она меня очень жалела. Ты меня никогда не жалел, и потому поступил так от души. Я так тебе за это благодарна, Билли, что даже передать не могу.

— Ох, Лили...— Горькие слезы раскаяния и отвращения к самому себе покатились по моим щекам.— Я даже не подозревал, что под этой оболочкой кроется. Что ты...— Я обвел руками картины.

— Нет, ты знал, Билли.— Она подвела меня к картине с изображением лесной поляны, залитой солнечным светом и чем-то неуловимым, что, как только что созданная ею реальность, было чем-то гораздо большим.— Тот день, когда я пустила тебе кровь и ты ударил меня в ответ, был нашим общением, нашим объединением. До того я плавала в приступах отчаяния и суицидальных мыслях. Ты подтвердил мое право на существование, подтвердил, что я — человек.— Она улыбнулась.— Вав, Гимел, Далет — они кусочки моей личности, и все они любят тебя безоглядно.

Я преодолел стыд.

— Боже мой, я даже не представлял себе...

— А как бы ты мог? — ласково спросила она. Казалось, она теперь держала меня, как раньше держал ее я.— Все хорошо. Билли. Потому что я могла заглянуть в душу *тебе*. Я знала, что там.

— Но я тебя никогда не навещал!

— И все равно мы не теряли связи, правда? Потому что Донателла мне все о тебе рассказывала.

— Она говорила с тобой обо мне?

— Она только о тебе и говорила, Билли. И она так хорошо это делала, что ты будто был со мной в одной комнате.— Темные ее глаза всмотрелись в мои.— Она приходила все время, даже после развода.

— Я не знал.

— Она и сейчас здесь.

Я огляделся:

— В этом доме?

Голос ее гас, как пламя свечи.

— Нет, у моей кровати. Время наступает, Билли. Я умираю.

— Нет! — притянул я ее к себе, крепко обняв.— Я этого не допущу! Я не утрачу тебя, только найдя.

Лили покачала головой:

— У каждого из нас свое время, Билли. Мое пришло и ушло.

— Тогда мы останемся здесь, в фантастическом мире, который ты создала. Я буду тебя защищать. Никто и ничто не причинит тебе вреда.

— Ох, Билли!

Она качала головой, когда я выводил ее в коридор. Но я отпрянул, только заглянув за перила. Там ничего не было. Весь первый этаж скрылся в странном жемчужно-сером тумане.

— Какого черта...

— Этот мир уходит, Билли. Я слабею. Я уже не могу его удержать.

— Тогда научи меня, как построить его снова! Я силен. Я сделаю все, что потребуется.— Туман уже клубился вверх по лестнице, и все, чего он касался, сливалось с ним. Он дошел до второго этажа, и все правое крыло исчезло. Я схватил Лили за руку, и мы побежали по тому, что еще осталось от коридора.— Быстрее! Скажи мне, как это восстановить!

— Это не поможет, Билли. Смерть не обманешь.

— Но я не хочу, чтобы ты умерла!

За нами серый туман одну за другой поглощал дивные картины детства.

— А я не хочу покидать тебя,— сказала Лили, когда мы дошли до главной спальни.— Но я должна.

— Не может быть, чтобы ничего нельзя было сделать! — молил я ее.

Теперь она ввела меня в комнату.

— Закрой дверь и запри,— сказала она. Сделав это, я заметил, что она сильно побледнела. Она упала мне на руки, и я отнес ее под огромный балдахин. Когда я бережно положил ее на кровать, она подняла глаза и сказала: — Всю жизнь я хотела когда-нибудь поспать на такой кровати.— Она поглядела на балдахин; я видел, как ее глаза художницы отмечают все оттенки его цвета, формы, текстуры.— Он как небо, правда? — прошептала она.

— Да,— ответил я.— Именно такой он. Как небо.— У нее на лбу и на верхней губе выступила испарина.— Лили...

Она повернула глаза ко мне.

— Что?

— Я люблю тебя.

— Я знаю, Билли. Знаю.

Я уронил голову ей на живот, и мы долго обнимали друг друга. Потом она очень слабо позвала меня по имени. Дрожь прошла по моему телу.

— Не надо хотеть от Донателлы, чтобы она тебя любила больше, чем любит,— шепнула Лили.— Не жалей о том, что у вас с ней было.

— Но это все кончено.

— Да.— Она вздохнула.— Кончено. Но ты смотри вперед.

— Я не знаю, что ждет впереди.

— Да,— шепнула она исчезающим голосом.— Но ведь в этом-то и смысл?

И тут я заплакал, о ней и о себе — но еще и о нас, потому что то, что было у нас краткий миг, исчезло. И меня не было при ней в момент ее конца. Как я завидовал Донателле! Как я заново оценил ее за дружбу и преданность Лили!

Открыв глаза, я увидел, что стою в переулке за «Геликоном». В руке у меня был цветок лотоса чистейшей белизны. Касаясь тонких лепестков, я знал, что это Лили оставила мне доказательство, что наше время с ней не было

галлюцинацией, вызванной временным помешательством или мескалем.

Вдруг я вспомнил о Майке. Дернув дверь, я влетел в бар, готовый звонить 911.

— Ну, друг,— заметил Майк со своего обычного места за стойкой,— ты отливал, как пьяный слон!

Ошеломленный, я только мигнул.

— Чего?

Где разбитые бутылки и зеркало, где дыры от пуль и кровь? Кровь Майка?

— Слушай, *черт* побери! Ты... ничего с тобой не случилось?

— Если не считать свалившейся горы счетов для оплаты, ничего,— ответил Майк.— А что могло?

— Но ты же погиб, вот что! — Я дико осмотрелся.— Где тот псих с пистолетом?

— Единственный псих, которого я сегодня видел, это ты. Кроме тебя, сегодня утром тут вообще никого не было.— Майк поглядел на меня с каменной мордой.— Слушай, ты ведь уже два мескаля принял. Может, сделаешь перерыв и поешь? Я тебе яичницу сделаю.

Я заглянул в свою излюбленную кабинку, высматривая оставленные мной пустые бокалы, но не увидел на столе ничего, кроме кругов от стаканов, следов былых разгулов.

— Но я же выпил три!

— Да? — Майк почерневшей лопаткой выложил на сковородку жир. Разбил туда же пару яиц, и они зашипели.— Тогда, сын мой, ты начал еще дома, потому что здесь ты выпил только два.

— Погоди минутку.— Я все вертел в руках цветок лотоса, думая о Лили и той силе, которой смог достичь ее разум.— Который час?

Майк все с тем же озадаченным лицом посмотрел на часы на стене.

— Десять двадцать восемь.

— Утро понедельника, так?

Бедный Майк посмотрел на меня так, будто не знал, то ли следить за яичницей, то ли звать ребят из дурдома.

— Да, а что?

— Не знаю,— сказал я ему. Но я, наверное, знал. Звонок от Германа был в десять тридцать. Кажется, я оказался перед тем моментом, когда это все началось. Было ли это последнее необычное действие, выполненное Лили силой ее разума, чтобы дать нам шанс оказаться вместе еще раз до ее смерти? — Но у меня есть такое забавное чувство, что сейчас зазвонит телефон.

— Ага! — огрызнулся он.— А меня зовут Рудольф В. Джулиани*.

Телефон зазвонил, и Майк подпрыгнул.

— Ну и ну! — произнес он, пялясь на меня.

— Наверное, мне стоит снять трубку.— Я взял трубку и услышал голос Германа. Ага, именно так Лили и сделала. Я подмигнул Майку.— Это меня.

---

* Мэр Нью-Йорка.

Эдвард Ли

РЕАНИМАЦИЯ

Оно за ним гналось, и было оно *большое*. Но что это было? Он ощущал, как настигает его огромность, преследует по неосвещенным лабиринтам, за углы задушенной плоти, по переулкам крови и сукровицы...

Матерь Божия пресвятая!

Когда Паон проснулся окончательно, казалось, у него стерли разум. Его крушила тупая боль и скованность... Или это паралич? В голове неясные образы, голоса, мазки света и цвета. Фрэнсис Паон по кличке Фрэнки вздрогнул от ужаса перед неведомым, что гналось за ним по канавам и бороздам его собственного подсознания.

Да, он уже проснулся, но погоня вела к...

Налетающим силуэтам. Встряске. Крови, брызнувшей на грязно-белые стены.

И будто медленно наводился на резкость кадр, Паон наконец понял, что за ним гналось. Не киллеры. Не копы или федералы из бюро.

Гналось за ним — воспоминание.

Но *о чем?*

© Перевод. М. Левин, 2005.

Мысли понеслись галопом.

Где я? Какого черта со мной стряслось?

Последний вопрос по крайней мере прояснялся. Что-то ведь стряслось. Что-то катастрофическое.

Комната расплывалась. Паон прищурился, скрипя зубами: без очков он не видел дальше трех футов.

Но разглядел достаточно, чтобы понять.

Кожаные ремни с мягкой обивкой опоясывали его грудь, бедра и лодыжки, фиксируя на кровати, которая казалась тверже кафеля. Не пошевелиться. Справа стояли несколько металлических шестов, а на них — размытые пузыри. Длинная полоска спускается оттуда... к руке. Он догадался — капельницы. Полоска кончается внутри правого локтя. А вокруг запахи, которые ни с чем не спутать: антисептика, мази, изопропиловый спирт.

В больницу меня занесло, к хреном собачьим.

Кто-то, значит, его зацепил. Но... он просто не мог вспомнить. Воспоминания плясали фрагментами, преследуя его дух немилосердно. Стрельба. Кровь. Вспышки.

А близорукость оказывала еще меньше милосердия. Возле кровати он видел только расплывчатый белый периметр, тени и лишенный объема фон. Слышалось какое-то жужжание, вроде как далекий кондиционер, и медленные, раздражающие попискивания: монитор капельницы. А наверху что-то раскачивалось. Подвесной цветок в горшке? Нет, больше похоже на складные рычаги, как бывает во врачебных кабинетах, вроде рентгеновской пушки. И расплывчатый ряд силуэтов вдоль стен — только ящики это могут быть, ящики с лекарствами.

Значит, я в самом деле в больнице. В реанимации. Ничего другого не придумаешь. И его хорошо пришпилили. Не только лодыжки, но и колени, и плечи. Правая рука привязана к выносной стойке под капельницу, и в локтевом сгибе белой лентой закреплена игла.

Паон глянул на свое левое плечо, на руку... Именно рука — без кисти. А когда он поднял правую ногу...

Обрубок на несколько дюймов ниже колена.

Кошмар, захотелось ему подумать. Но преследующие воспоминания слишком реальны для сна, и боль тоже. *Сильная* боль. Больно дышать, глотать, даже моргать. И кишки сочились болью, как теплой кислотой.

Кто-то меня щедро уделал. Тюремная больница, сомневаться не приходится. И наверняка за дверью стоит легавый. Да, теперь он знал, где он, но страшно было другое — он не знал, что его сюда привело.

Воспоминания рвались с цепи, гнались, бросались...

Тяжелый топот. Крики. Гремящий искаженный голос... как мегафон.

Господи Иисусе!

Снова попытался вспомнить — и снова не смог. Воспоминания теперь *подкрадывались:* пистолетные выстрелы, длинные автоматные очереди, ощущение куска собственного тела, подпрыгивающего в ладони...

— Эй! — крикнул он.— Помогите кто-нибудь!

Слева отозвался щелчок — открылась и закрылась дверь. Тихие шаги — и выступила яркая размытая фигура.

— Как давно вы в сознании? — спросил бесцветный женский голос.

— Пару минут,— ответил Паон. В горле пульсировала боль.— Можете подойти ближе? Я вас еле вижу.

Фигура повиновалась, черты ее стали резче.

Совсем не легавый — это сестра. Высокая, черноволосая, с живыми голубыми глазами и резкими выразительными чертами лица. Белая одежда сияет ярким светом. На игривых гладких ногах переливается белый нейлон.

— Не знаете, где мои очки? — спросил Паон.— Я чертовски плохо без них вижу.

— Ваши очки остались на месте преступления,— ответила она без интонаций.

На месте преступления, мелькнула неуклюжая мысль.

— Мы пошлем за ними кого-нибудь,— добавила она.— Это будет не очень долго.— Безразличные глаза оценива-

ли его. Она наклонилась, определяя его состояние.— Как вы себя чувствуете?

— Отвратительно. Кишки болят, как сволочи, а рука...— Паон скосил глаза и приподнял забинтованный обрубок.— А, блин!

Даже спрашивать не хотелось.

Сестра отвернулась к монитору капельницы, а Паон продолжал борьбу с грузом навалившихся воспоминаний. Где-то в глубине сознания завертелись новые картины. Осколки дерева и потолочной плитки дождем на плечи. Бешеная какофония, которую создает только пулеметная стрельба. Разлетевшаяся брызгами голова.

Сестра с непроницаемым лицом повернулась к нему снова.

— Что вы помните, мистер Паон?

— Я...

И больше он ничего не сказал. Только поднял глаза. Паон никогда не носил на работе никаких настоящих документов, а ездил только на угнанных или с поддельными номерами. У него из горла вырвался вопрос:

— Откуда вы знаете мое имя?

— Мы все о вас знаем,— ответила она, разворачивая лист бумаги.— Полиция нам показала этот телетайп из Вашингтона. Фрэнсис К. Паон по кличке «Фрэнки». Семь псевдонимов. Тридцать семь лет, холост, официальное место жительства неизвестно. В 1985 году вы были осуждены за бегство из штата с целью уклониться от обвинения, перевозку между штатами порнографических материалов с участием несовершеннолетних и многочисленные нарушения раздела 18 Кодекса Соединенных Штатов. Два года назад вы были выпущены из федерального пенитенциария Олдертон после отбытия шестидесяти двух месяцев одновременного отбывания одиннадцати- и пятилетнего срока тюремного заключения. Известны ваши связи с преступной семьей Винчетти. Вы специалист по детской порнографии, мистер Паон.

Господи, сгорел на фиг! Кто-то меня подставил.

Сейчас это уже не трудно было заключить. Он лежит в реанимации, привязанный к кровати, продырявленный, как мишень в тире, без руки, без ноги, а эта флегматичная сука зачитывает ему его собственный послужной список из факса ФБР. Уж точно его взяли не при попытке подломить мелочную лавочку.

— Вы сами не знаете, что несете,— сказал он.

Ее глаза полыхнули на него огнем, а лицо было будто вырезано из камня.

Ага. Спорить могу, что у нее есть пара ребятишек, которые сачкуют школу и посасывают травку. Спорить могу, что у нее сломалась машина и как раз кончилась страховка, а муженек каждый вечер опаздывает к ужину, потому что слишком занят на работе, отбарабанивая секретаршу и слизывая колу у нее с сисек, и тут выясняется, будто это я виноват, что мир — говенная дыра, полная извращенцев и педофилов. Это моя вина, что столько народу отдают свои праведные денежки за картинки с детками, так, лапонька? Давай, гвозди меня. А что? Да, а наркотики? А спад экономики, Ближний Восток и озоновая дыра? Это ж тоже я виноват, нет?

Когда она снова заговорила, в ее голосе будто перекатывался гравий.

— Что вы помните?

Этот вопрос и ему не давал покоя. Перед близорукими глазами по комнате проносились обрывки воспоминаний — впивающиеся в тело пули, скрежет мегафона, вылетающие в облаке дыма стреляные гильзы — и эти обрывки гнались за ним и дальше, крались беспощадно, как дикая кошка крадется за олененком, а Паон все бежал и бежал, отчаянно желая знать и все равно не смея оглянуться...

— Да ни хрена,— ответил он наконец.— Ничего не могу вспомнить — какие-то кусочки.

Сестра, казалось, обращается больше к себе, чем к нему.

— Преходящий эффект глобальной амнезии, ретроградной и, как правило, не связанной с афазией. Вызывается острым травматическим шоком. Не волнуйтесь, это симптом кратковременный и бывает у всех.— Огромные голубые глаза снова впились в него бурами.— Так, я думаю, что могу освежить вашу память. Несколько часов назад вы убили двух полицейских штата и федерального агента.

У Паона отвалилась челюсть.

Погоня сразу закончилась, дикая кошка памяти вцепилась в свою добычу — разум. Он вспомнил все, кусочки легли на место, как булыжники под катком.

Оригиналы. Родз. Ролики.

И вся эта кровь.

Новый день — новый десяток килодолларов! подумал Паон, подымаясь на третий этаж в квартиру Родза. На нем были шерстяные перчатки — не такой же он кретин, чтобы оставлять отпечатки пальцев где-нибудь поблизости от логова Родза. Он постучал в дверь шесть раз, насвистывая «Люби меня нежно» Кинга.

— Кто там? — раздался грубый голос.

— Санта-Клаус! — ответил Паон.— Ты бы каминную трубу, что ли, завел.

Родз впустил его внутрь и быстро запер за ним дверь.

— Хвоста не привел?

— Нет, только полный автобус агентов минюста и телеоператор с репортером из «60 минут».

Родз окрысился.

Ну и хрен с тобой, если ты шуток не понимаешь, подумал Паон. Родза он недолюбливал — мразь из Ньюарка, псих ненормальный. С виду Натан Родз смахивал на исхудавшего Крошку Тима после неудачной подтяжки лица: длинные кудрявые черные волосы на голове пухленького медицинского кадавра, глубокие носогубные складки на щеках. Работу Родза на профессиональном жаргоне назы-

вали «съемщик» — так сказать, субподрядчик. Он похищал детей или получал их от работающих самостоятельно агентов и сам снимал ленты. «Круг» — так называло министерство юстиции этот бизнес: подпольную порнографию. В этой промышленности вертелись полтора миллиарда долларов в год, и тут не снимали фигню, которую можно взять напрокат в «Метро видео». Паон возил все подпольное видео: ролики с изнасилованием, гомики, кадры с животными, испражнения, мокруха и (самое главное) «дп» и «предподростки». Он забирал оригиналы у таких, как Родз, и перевозил их в «тиражные» лаборатории Винчетти. Сеть Винчетти контролировала почти всю подпольную порнуху Востока; Паон был посредником, членом Семьи. Все это работало через почтовые ящики и тайные пункты распространения. Винчетти платил за двадцатиминутный оригинал два куска, если разрешение было хорошее; с каждого оригинала делались сотни копий и продавались клиентам — любителям извращений. «Дубари» — парни, которые делали фактическую работу собственными штырями,— нанимались со стороны, и таким образом никто не мог бы выйти на самого Винчетти. Паону самому приходилось малость хлебнуть дерьма — в его работу входила проверка каждого оригинала на качество: обдолбанные мотоциклетные девицы отсасывают у жеребцов и кобелей, психи испражняются друг на друга и часто пожирают извержения своих кишок. Дубари обрабатывают беременных девчонок, умственно отсталых, инвалидок, уродок. И мокруха. Паона это забавляло: несмотря на всю нелепость, находились люди, которые *платили,* чтобы это посмотреть. Они *заводятся* от этого. *Что за блядский мир,* думал он не раз, но стоп: Спрос и Предложение — разве это не есть Американский Образ Жизни? Не будет снабжать клиентов Винчетти — будет кто-то другой, пока существуют деньги...

Я просто беру свою долю, твердо решал Паон.

Самые большие заказы были всегда на ДП. Согласно федеральной статистике, каждый год пропадали и боль-

ше не появлялись 10 000 детей, и большинство из них затягивал в себя Круг. Чем моложе дети, тем дороже ленты. Когда дети вырастали (до четырнадцати-пятнадцати лет), их продавали за границу или выпускали на улицу работать в сети проституции Винчетти. Одно кормит другое. Да, это блядский мир, верно, но это не проблема Паона.

Конкуренция была хилая. Только еще одна Семья на Востоке работала в подпольном порно, Семья Бонте, и у них была вражда с Винчетти, имеющая давние корни. Обе Семьи воевали за каждый кусок трудного рынка, но Семья Бонте работала лишь в узких рамках, и над причиной этого Паон просто смеялся. Дарио Бонте, дон, считал, что делать детей жертвами неэтично. Ну разве это не смешно? Этот сукин сын растягивает баб и ставит их в фильмы с дерьмом, пока они с голоду не сдохнут, но не может трогать деточек. *Что за мудак! Все* равно все главные деньги идут из ДП. Неудивительно, что Бонте теряет последние штаны. И время от времени какие-то иностранные банды пытаются потеснить Винчетти с помощью ДП из Европы.

Но эти банды долго не живут.

Так или этак, а работа у Паона простая: покупать оригиналы, возить их в лабораторию и держать съемщиков в руках — вот таких безмозглых и безглазых, как Родз.

— У меня для тебя пять штук,— сказал Родз.— Обычных.— Голос у него был насморочный и скрипучий — гвоздь по шиферу и то музыка по сравнению.— Но я тут, знаешь, подумал.

— О, ты еще и думаешь? — спросил Паон.

Никогда он не видел такой помойной квартиры. Тесная гостиная уставлена мебелью типа «сложи сам», грязные стены, вытертые ковровые плитки на полу, омерзительная кухня. *Не Букингемский ни фига дворец.*

— Насчет того, что два килодоллара за ролик сильно тощая сумма по нашим дням,— гнул свое Родз.— Слушай, два жалких куска за оригинал, который ребята Винчетти

отдублируют сотнями? Ему от этого хорошая зелень капает. А мне? Я же каждый раз, когда делаю для него мастер-ленту, подставляю шею на целую милю.

— Это потому, что тебя родили с шеей длиной в милю, Икабод.

— Я думаю, что два с полтиной хотя бы — это справедливо. Потому что слышал, что семья Бонте платит три.

— Бонте не делают детского порно, дубина,— проинформировал Паон.— И это знают все, кто в нашем бизнесе.

— Ага, но они же делают мокруху и прочую крутизну. А это я задницей рискую, когда делаю оригиналы. Так что мне надо бы и прибавить.

Паон уставился на него тяжелым взглядом сверху вниз.

— Так вот что, Родз. Без балды. Ты делаешь ленты для Винчетти и только для Винчетти. Точка. Хочешь совет? Даже не думай насчет продать свое барахло другой семье. Последний, кто проделал такой фокус,— знаешь, что с ним было? Джерсийские копы нашли его в прачечной жилого дома — он там висел вниз головой. Сожженный. И еще ему отрезали хрен и отправили по почте его бабушке в Сан-Бернардино.

У Родза дернулось лицо.

— Да нет, я же говорил, два куска за ленту — это звучит нормально.

А то, подумал Паон.

— Так где же зелень?

Паон направился в спальню, где Родз делал свою работу.

— Ты хвоста собачьего не получишь, пока я не увижу плоды твоего труда.

Он сел на кушетку, которая — можно не сомневаться — служила реквизитом в десятках роликов Родза. На треножниках стояли профессиональные камеры и юпитера — уж никак не то дерьмо, что продается на радиобарахолках. Оригиналы надо снимать на высокоскоростных лентах большого формата шириной дюйм с четвертью, чтобы на

копиях сохранялась хорошая контрастность. Пять коробок с лентами лежали перед «Сони тринитрон» с диагональю тридцать пять дюймов и студийным плеером «Томпсон электроникс».

— Классные ребятки на этот раз,— похвалил сам себя Родз.— На уровне.

Иногда детеныши балдели от камеры или просто выпадали; многие страдали от внутриутробного кокаина, алкоголизма или внутриутробных повреждений. Бывало, что Паона действительно печалило положение дел в этом мире.

Теперь наступила самая неприятная часть работы. Паон должен был сидеть и осматривать каждый оригинал: освещение, разрешение и четкость. Он вставил первую кассету...

Ну и ну! — подумал он. На экране задвигались бледные фигуры. В общем, они были всегда одинаковы. Что Паона больше всего доставало — это их лица, жалкие лица детишек, их *выражения,* когда дубари Родза пускали в дело свои штыри. *О чем они думают? Что творится у них в голове?* То и дело ребенок заглядывал в камеру с выражением, не поддававшимся описанию...

— Дай мне хотя бы просветить бабки ультрафиолетом, пока ты смотришь,— сказал Родз.

— А, да. На.

Паон кинул ему набитый пакет, а сам продолжал смотреть, и ему казалось, будто его лицо вылеплено из глины. Родз всегда придумывал к своим роликам забавные заглавия, вроде «Вазелиновый переулок», «Юные и безволосые», «Перфораторная». Пока что Родз натянул нейлоновые перчатки и вытащил из пакета пачку сотенных. Десять кусков сотнями — это не очень впечатляющее зрелище. Каждую бумажку он просвечивал с обеих сторон ультрафиолетовой кварцевой лампой. Техники казначейства все время работали в контакте с минюстом и Бюро. Любимый их трюк — это метить деньги невидимыми красками уранилфосфата. Неубиенная улика для суда.

— Достаточно для тебя чисто? — спросил Паон.— Для такого чистоплюя, как ты?

— Ну, выглядят нормально.— Лицо Родза отсвечивало ультрафиолетом, пока он занимался инспекцией.— И номера не подряд. Нормально.

Паон снова повернулся к экрану и вздрогнул. На последней ленте был сам Родз с зачесанными назад волосами и фальшивой бородой. Он тоже пускал в ход свой штырь. Паон скривился.

— Здорово, да? — Родз усмехнулся своему изображению на экране.— Всегда хотел сниматься в кино.

— «Оскара» тебе надо дать. За лучшее извращение.

— Кто бы говорил про извращения! Я только фильмы снимаю. Это ваши люди их продают.

Родз был по-своему прав. *Все мы в одной игре.* Когда платят хорошие деньги, делаешь, что приходится делать.

— Все, я пошел,— сказал Паон, когда последний оригинал щелкнул и отключился. Он собрал ленты и вышел в гостиную вслед за Родзом.— Не могу сказать, что приятно было зайти.

— Ты бы со мной повежливей,— хихикнул Родз.— Как-нибудь я мог бы и тебя пустить в фильм. Ты после этого уже не будешь прежним.

— А ты не будешь прежним, если я оторву тебе голову и засуну тебе же в задницу.

Возле двери лицо Родза снова растянулось в морщинистой улыбке.

— До следующего раза... Предложил бы я тебе пожать руку, но у меня тут все так измазано...

— Спасибо за заботу.

Паон протер очки платком, потянулся к двери...

Ба-БАХ!

— Твою мать! — выдохнул Родз.

...дверь вылетела из рамы. Не распахнулась, а *рухнула вниз,* и это перестало быть удивительным, когда Паон в мгновенном оцепенении увидел, какого размера коп сто-

ит за ней со стальным тараном в руке. И коп еще здоровее двумя руками наводил в комнату взведенный револьвер.

— Ни с места! Полиция!

Паон быстрее, чем когда-либо в жизни, обхватил рукой Родза и дернул на себя. Родз ахнул, обмочив штаны, когда Паон выставил его живым щитом. Грохнули два выстрела, обе пули чавкнули, войдя в грудь Родза.

— Сдавайся, Паон! — посоветовал коп.— Выхода нет!

Врешь, сука! — подумал Паон.

Родз передернулся, с хрипом заливая грудь кровью, и вдруг обвис мертвой тяжестью. Но это движение дало Паону время нырнуть под кухонный стол и вытащить свой «SIG-220» с полной обоймой разрывных пуль. *Быстрее!* — приказал он себе, высунулся, послав две пули, и снова нырнул вниз. Обе пули вошли копу в горло, и Паон услышал влажный шлеп.

В двери застыли тени, и грохнул мегафон:

— Фрэнсис Паон по кличке Фрэнки, вы окружены агентами министерства юстиции и полиции штата. Бросайте оружие и сдавайтесь. Бросайте оружие и сдавайтесь, бросайте оружие и сдавайтесь...

И снова, и снова, и снова.

Паон вытащил запаску — тупоносый «кольт» — и бросил его на кухонный стол. Тут же вломились еще один полицейский и с ним хмырь в штатском. *Ну и мудаки,* успел подумать Паон, снова высовываясь и давая две короткие очереди по две пули. Коп завертелся на месте, получив обе пули в подбородок. Штатский из минюста получил свою пару между глаз. Паон успел заметить краем глаза, как разлетелась его голова и мозговая каша плеснула на стены.

Хрен вы меня возьмете! Паон ощутил вдруг неожиданное спокойствие. *Задняя комната. Окно. Прыжок в кусты с третьего этажа.*

Это был единственный шанс...

...Которого не было.

Он не успел двинуться, как комната... задрожала. Трое из SWAT* штата в кевларовых бронежилетах влетели внутрь почти балетным движением, и мир рухнул в хаос. Пули летели мимо Паона волнами. Автоматы М-16 плевались горячей латунью и стрекотали, как газонокосилки, выбивая дыры в стенах, раздирая в клочья кухню.

— Сдаюсь! — крикнул Паон, но автоматный огонь только усилился. Паон свернулся в клубок, и все вокруг стало распадаться на части. Пули летели обойма за обоймой, разбивая ящики, перемалывая кухонный стол и пол, и от Паона тоже мало что осталось. Левая кисть повисла на одном сухожилии, правую ногу будто отгрызло. В живот впилась горячая серебристая сталь.

И тишина.

В животе горело, как напалм проглотил. Сознание уносилось на волнах запаха сгоревшего кордита. Паон чуть отполз; очки были заляпаны кровью. Санитары унесли мертвых полицейских, люди в синем вошли в кухню, выставив впереди дымящиеся стволы автоматов. Как туман, висели в горячем воздухе квакающие разговоры по радио, потом Паона протащили по озеру крови.

В глазах замигало белое и красное, двери машины «скорой помощи» с лязгом захлопнулись.

— Господи ты боже! — шепнул он.

— Я же вам говорила, что вы вспомните,— сказала сестра.

— Серьезно я ранен?

— Не смертельно. Антибиотики внутривенно остановили перитонит, а санитары вам наложили жгуты на руку и на ногу, и вы не успели потерять слишком много крови.— Она прищурилась.— Вам повезло, что в этом штате нет смертной казни.

---

* Спецотдел полиции «Специальное оружие и техника».

Это да, медленно подумал Паон. А федеральные законы разрешают высшую меру лишь в случае убийства агента при контрабанде и торговле наркотиками. Его засадят пожизненно без права помилования, это можно не сомневаться, но все лучше, чем удобрять кладбище. Федеральные тюрьмы куда лучше кутузок штата, к тому же Паон — убийца копа, а таковые в камере сразу получают иной статус. Никто его не попытается опустить.

Могло быть хуже. Это он теперь понимал.

Паон вспомнил, как объяснял Родзу насчет его уверенности, что ничего с ним не случится. Паон же надеялся на свое оружие. Его подставили, окружили, продырявили, как швейцарский сыр, и он руку и ногу оставил в кухне у Родза, зато он жив.

Ага. Надежда умирает последней.

— Чему вы улыбаетесь? — спросила сестра.

— Не знаю. Наверное, просто рад, что живу... Да, в этом все дело.

И это была правда. Несмотря на довольно очевидные обстоятельства, Паон был счастлив.

— Рады, что живете? — В голосе сестры слышалось холодное отвращение.— И вам наплевать на убитых вами людей? У них были жены, семьи. Дети. Эти дети теперь осиротели. И люди погибли по вашей вине.

Паон пожал плечами, насколько это ему удалось.

— Жизнь — игра. Они проиграли, а я выиграл. Это они хотели играть жестко, а не я. Не трогали бы они меня, у деток остались бы папочки. Я не собираюсь угрызаться, что завалил несколько ребят, которые хотели завалить меня.

Да, забавно. Боль в животе становилась все острее, но Паон все равно не мог сдержать самодовольства. Хорошо бы сейчас вернуть себе очки, чтобы лучше разглядеть эту сестру. Черт, да и холодного пива сейчас хорошо бы, и затяжку. И еще снять бы эти больничные ремни. Отпраздновать возвращение жизни, и в порядке празднования засадить бы этой заносчивой суке-сестре. Ага, завалить ее на

койку и задать работу ее охолодавшей дырке. Уж тогда бы с нее крахмал пообсыпался.

И Паон начал по-настоящему смеяться. Ну и карты выпадают в этом мире! Да, пути Господни неисповедимы.

Зато у Него хотя бы есть чувство юмора. Да, забавно до чертиков. *Три копа откинули копыта, а я тут лежу в кайфе и уюте и лапаю глазами эту сучку.*

Тихий и отрывистый смех Паона не смолкал.

Сестра включила радио, чтобы заглушить неуместное веселье пациента. Она стала проверять пульс Паона и маркировать капельницы, а по радио доносились вечерние новости. Ведущий бубнил главные события дня. Жертвой необычайной жары в Техасе стали уже сто человек. На следующей неделе обезжиренное масло выйдет на рынок. Главный хирург США обращается к производителям с просьбой приостановить выпуск силиконовых имплантатов для яичек, а где-то в Африке взорвали американское посольство. И это было еще смешнее: весь мир с его дуростью перестал для Паона что-нибудь значить. Он на всю жизнь загремит за решетку. Так какое ему дело до всех мировых событий, плохих или хороших?

Он прищурился, пытаясь рассмотреть, кто это еще к нему вошел. Из размытых контуров комнаты выступило лицо: мужик лет шестидесяти, белоснежные волосы и серые пушистые усы.

— Добрый вечер, мистер Паон. Я доктор Уиллет. Решил зайти и посмотреть, как вы тут. Могу я вам чем-нибудь помочь?

— Раз вы спрашиваете, док, я бы не возражал, чтобы мне вернули очки. И если правду вам сказать, не возражал бы против замены сестры. У этой дружелюбие как у бешеной собаки.

Уиллет в ответ только улыбнулся.

— Вы были тяжело ранены, но зато можно не волноваться насчет инфекции или потери крови. При множественных огнестрельных ранениях с этим всегда пробле-

мы. Рад вам сообщить, что — учитывая все происшедшее — вы на удивление в хорошем виде.

Ну и отлично, подумал Паон.

— И должен вам сказать,— продолжал Уиллет,— я хотел с вами познакомиться. Вы — первый детский порнограф, с которым мне представилась возможность поговорить. В некотором экзотическом смысле вы знамениты. Стоящий вне закона ренегат.

— Да, я бы вам дал автограф,— пошутил Паон,— да вот проблема: я левша.

— Отлично, вот что значит не падать духом. Нужно иметь характер, чтобы сохранить юмор после того, через что вам...

— Т-с-с! — зашипела сестра. Ее размытый контур дрожал и нервничал.— Это оно... кажется, оно.

Паон состроил гримасу. Из радио все так же бубнил диктор:

— ...в результате длившейся год тайной операции федеральных сил. Один из подозреваемых, Натан Родз, был убит на месте в яростной перестрелке с полицией. Погибли также двое сотрудников полиции штата и специальный агент министерства юстиции. Согласно заявлению властей, они были убиты вторым подозреваемым, предполагаемым агентом мафии по имени Фрэнсис Паон по кличке Фрэнки. Сам Паон находился в разработке по тем же обвинениям; считается, что он тесно связан с преступным синдикатом Винчетти, который, по оценкам экспертов, контролирует более пятидесяти процентов рынка детской порнографии в США. Представитель полиции далее заявил, что во время перестрелки Паону удалось скрыться с места преступления и в настоящий момент он объявлен в розыск штата.

Мысли Паона медленно оседали на дно.

— То есть как это... скрыться?

Сестра улыбалась. Она открыла дужки очков в темной оправе и надела их на Паона...

Наконец-то размытая комната навелась на резкость.

Что за так твою мать?

Его окружали шторы, как и полагалось бы в реанимационном отделении, но сейчас он заметил и кое-что другое. Сверху — это был не рентгеновский аппарат, а складная стойка с микрофоном. И на одном из штативов была вовсе не капельница, а направленная галогеновая лампа.

— Что это за больница такая? — резко спросил Паон.

— А, это не больница,— объяснил Уиллет.— Это явочная квартира.

— Одна из явочных квартир дона Дарио Бонте,— любезно добавила сестра.

И снова Уиллет:

— А мы — его личный медицинский персонал. Вообще говоря, наши обязанности совсем не связаны с его работой. Когда подстрелят кого-нибудь из людей дона — им занимаемся мы, поскольку местная больница в определенном смысле менее надежна.

Бонте, подумал Паон в медленном ужасе. *Дарио Бонте, единственный соперник Винчетти.*

— А полиция была только рада передать вас нашему достойному работодателю,— говорил Уиллет.— Половина всей полиции у него на жалованье... и таким образом несчастных налогоплательщиков избавят от расходов на судебный процесс.

Паону казалось, что сейчас он выблюет свое сердце.

Сестра хихикала так, что груди тряслись.

— Но мы не собираемся просто так вас убивать...

— Да, у нас до этого запланированы некоторые интересные игры,— пояснил Уиллет.— Понимаете ли, наше дело — проследить, чтобы вы дожили до момента, когда сюда приедет Малыш...

Щелкнула дверь, и сестра отодвинула шторы, открывая типичный подвальный интерьер. Но Паон увидел не только это. В дверях перед ступеньками стоял пугающе мускулистый молодой парень с короткой стрижкой и каменными чертами лица и...

Господи Иисусе мать твою пресвятую...

Штаны у него так вздувались спереди, будто там пара картофелин.

— Угадай с трех раз, за что его прозвали Малышом! — залилась хохотом сестра.

— И еще с трех раз угадайте, что будет дальше,— предложил Уиллет. У него на плече оказалась профессиональная «Сони-бетакам».— Видите ли, мистер Паон, пусть *ваш* босс захватил долю рынка, относящуюся к детской порнографии, но у *нашего* босса есть доля во всем остальном. Понимаете, я имею в виду продукцию для *настоящих* психов. Вы же, как безрукий и безногий — да еще и с огнестрельной раной в животе,— для нас *совершенно особая* возможность...— вы улавливаете мою мысль?

Когда Малыш стал спускать штаны, Паон блеванул себе на грудь. Сестра всадила ему в руку иглу — амитал натрия, не столько, чтобы он отрубился, но чтобы не слишком отбивался. Потом сестра сняла с него ремни и перевернула.

Швы на животе Паона стали лопаться; шаги Малыша все ближе...

— Ну, как говорится,— с энтузиазмом произнес Уиллет,— свет, камера, мотор.

Эд Горман

ЭНДЖИ



рошлой ночью он нас слышал,— пробурчал Рой.

— Слышал что?

— Слышал наш разговор о Джине.

— Не может быть. Он же спал.

— Я тоже так думал. Но пошел в сортир, увидел, что дверь его комнаты приоткрыта, и заглянул к нему. Он сидел на кровати и слушал.

— Наверное, он только что проснулся.

— Он слышал наш разговор.

— Откуда ты знаешь?

— Я его спросил.

— Да? И что он тебе ответил?

— Что ничего не слышал.

— Видишь, я же тебе говорила.

— Он соврал.

— С чего ты так решил?

— Он ведь мой сын, так? Так что я знаю. Прочитал на его лице.

— Пусть он и слышал, что с того?

Рой в изумлении уставился на нее.

© Перевод. В. Вебер, 2005.

— Что с того? Он же пойдет к копам.

— К копам? Рой, ты рехнулся. Ему девять лет, и он твой сын.

— Этому маленькому мерзавцу на меня насрать, Энджи. Он всегда был маменькиным сынком. И теперь, когда он знает...

Он мог и не продолжать. Энджи работала официанткой в закусочной для дальнобойщиков, когда встретилась с Роем. Тот жил в трейлере с сыном, Джейсоном, и женой, Джиной. Энджи ему сразу приглянулась. Когда у нее выдавался выходной, он возил ее в Седар Рэпидс, они ходили в танцевальные клубы. И всегда отлично веселились, во всяком случае, до того момента, как Рой напивался и начинал задирать черных, которые танцевали с белыми девушками. Некоторые из друзей Роя только и говорили о том, что надо взрывать увеселительные заведения, куда пускают черных, евреев и геев. Рой регулярно отдавал им часть награбленных денег. Так Рой зарабатывал на жизнь. Грабил банки, обычно в маленьких городах, расположенные подальше от центра. Рой был профессионалом. Заранее тщательно все просчитывал. Готовил маршруты отхода, выяснял, где установлены видеокамеры, какой из кассиров быстрее отдаст деньги. В девятнадцать его взяли за вооруженное нападение на автозаправку. Он отсидел шесть лет в Форд-Мэдисóн и дал себе слово никогда больше не попадаться. Ему уже исполнилось тридцать шесть, и после освобождения из тюрьмы с полицией он больше не имел никаких дел. Энджи нравилось, что у него была цель в жизни. Рой хотел ограбить один банк в Де-Мойне. Он говорил, что по пятницам, когда туда привозили жалованье, там можно взять полмиллиона долларов. На такие деньги они могли поехать в Вегас, а потом в один из городков Юты, где жили только белые. Вот эта черта Роя Энджи не нравилась. Она не понимала политики, и рассуждения Роя и его дружков о засилье евреев, гомиков и цветных вызывали у нее зевоту. Но она умела спать с открытыми глазами. Что

она и делала, когда Рой и его дружки заводили разговор о существовании некоей милиции, в которую неплохо бы вступить и поставить на место всю эту сволочь.

Жена в конце концов прознала об Энджи и закатила Рою скандал. Разводиться она не желала и пригрозила, что расскажет копам об ограблениях банков на Среднем Западе. Поэтому одной дождливой ночью Рой ее и убил. Пырнул ножом под правую грудь, а потом перерезал горло. Сунул тело в большой пластиковый мешок, добавил сто фунтов камней, и безлунной ночью подъехал на своем «форде» к реке и бросил мешок в воду у дамбы. А потом Рою не давал покоя его сын. Он плакал и все время спрашивал, где его мама. Рой с самого начала не хотел ребенка, узнав, что станет отцом, не раз дубасил Джину, но та не пожелала сделать аборт. Даже тогда он мечтал о том банке в Де-Мойне. А когда у тебя столько денег, на кой черт нужен ребенок? Но Джина добилась своего, и у Роя появилась новая обуза. А вот теперь Джейсон подслушал их разговор и узнал, кто убил его мать. Рой не сомневался, что этот маленький говнюк рано или поздно сдаст его копам.

— ...Не волнуйся, я все улажу,— добавил Рой.

Энджи не отрывала от него глаз.

— Иногда ты меня пугаешь Рой. Честное слово. Он же твоя плоть и кровь.

— Я его не хотел. Это все Джина.

— И ты убил Джину.

— Ради тебя,— напомнил он.— Я убил ее ради тебя. Черт, опять мы взялись за старое. Спорим, я этого не хочу, да и ты тоже. Иди-ка сюда. Этот парень просто связывает нас по рукам и ногам.

Ему нравилось, когда она садилась к нему на колени. У него сразу все вставало, а уж если она начинала чуть ерзать, член разве что не рвал брюки. А потом, как и сейчас, они укладывались на большую теплую кровать.

— Мне пора в город,— сказал он, когда они насытились друг другом.— Хочу посмотреть, что к чему.

Речь, конечно же, шла о банке. Рой собирался ограбить его послезавтра. Деньги подходили к концу. Менеджер трейлерной стоянки уже не один раз напоминал Рою, что пора платить за аренду.

— Когда он вернется из школы, ничего ему не говори,— предупредил Рой.

— Хорошо.

— Я сам все улажу.

— Хорошо.

— Так будет лучше для нас всех.— Рой попытался подбодрить ее.— Мы же повсюду таскаем с собой этого ребенка, Такая жизнь не для нас. Нам нужна свобода, крошка. Такие уж мы люди. Не можем без свободы.

Рой и раньше убивал людей, но ее это нисколько не волновало. Но она знала, что детей он не убивал. А тут речь шла о собственном ребенке.

В последний раз он поцеловал ее груди и вылез из кровати.

— Я разберусь с Джейсоном, а потом мы пойдем на танцы. Хорошо?

— Хорошо, Рой.

Она знала, что Рой от своего не отступится.

Однажды, когда Энджи было тринадцать, ее бабушка сказала: «Такое тело когда-нибудь доведет ее до беды». Ирония состояла в том, что и у бабушки в свое время, в молодости, было точно такое же тело, груди и бедра, которые сводили мужчин с ума. Как и у матери Энджи, с которой в тот момент говорила бабушка.

Для бабушки беда обернулась тем, что ее накачал солдат, приехавший в отпуск со Второй мировой войны, в результате чего на свет появилась Сюзи, мать Энджи. Та же беда не обошла и Сюзи: ее накачал солдат, приехавший в отпуск с вьетнамской войны, в результате чего на свет появилась Энджи.

А вот самой Энджи раздвинутые ножки принесли гораздо больше неприятностей. Как-то раз она увидела по ти-ви какой-то фильм про красивую женщину, которую все время называли содержанкой. Женщина целыми днями слонялась по роскошной квартире. Прекрасно выглядела, аренду платил какой-то старичок, заваливал ее подарками и чуть не умирал от горя, если содержанка хоть в чем-то выражала неудовольствие. А ведь она была простой девушкой из Айовы, с таким же великолепным телом, как у Энджи. Стоило ли удивляться, что Энджи тоже захотелось стать содержанкой?

В пятнадцать лет она убежала из дома с тридцатидвухлетней женщиной из Омахи, которая поселила ее в отеле в Де-Мойне. За три года Энджи переспала с десятью мужчинами и скопила около тысячи долларов. Один из них был черным, что и заставило Энджи призадуматься. Ей не составило труда представить себе, что скажет отец, узнав, что она: а) спит с мужчинами за деньги; б) спит с *черными* мужчинами за деньги.

Поэтому она вернулась домой. Ее отец, который работал в мастерской по ремонту бытовой техники, не мог оплатить услуги частного психоаналитика, поэтому Энджи направили в Департамент социальной защиты округа, где она могла получить бесплатную психиатрическую помощь. Она потратила два часа, отвечая на вопросы миннесотского многофакторного личностного теста, который не вызвал у нее ничего, кроме скуки. Ее врач то и дело заглядывал в комнату и спрашивал, как у нее идут дела. То есть прикидывался, что его интересовало, как она справляется с тестом. На самом же деле он не мог оторвать глаз от ее груди. Влюбился в нее, как только Энджи вошла в его кабинет. Кончилось тем, что она начала с ним спать. У него была жена, которая работала в универмаге «Уол-Март» в Седар Рэпидс, и две дочери, одна из которых чем-то серьезно болела. Тридцативосьмилетний лысый психиатр му-

чился от острого чувства вины, поскольку трахал пациентку и обманывал жену, но говорил, что ничего не может с собой поделать, потому что ее грудь сводила его с ума, просто сводила с ума. Он все время приносил ей компакт-диски с рэпом. Она любила рэп. Рэп всегда звучал в гангстерских фильмах. Ей нравилось, как гангстеры заботились о своих женщинах. Этого она хотела больше всего. Встретить мужчину, который устроит ей легкую жизнь. Возьмет на содержание. Не надо работать. Не надо торговать своим телом на улице. Никаких хлопот. Сидишь себе в уютной квартирке, листаешь комиксы, смотришь MTB и порнофильмы. Энджи любила порнофильмы. А вот секс не жаловала, за исключением мастурбации. Но если секс — та цена, которую предстояло заплатить за безбедную жизнь, она не возражала.

Она бросила психиатра, как только окончила среднюю школу. Ее взяли продавцом в универмаг «Таргет» в Седар-Рэпидс. За прилавком она простояла три недели. Получила жалованье, купила сексапильное платье и начала посещать бары в центре города, которым отдавали предпочтение адвокаты. В первые два месяца дела у нее шли очень неплохо. Она не нашла парня, который взял бы ее в содержанки, зато у нее появились несколько постоянных клиентов, которые снабжали ее деньгами. Их вполне хватило, чтобы снять маленькую квартирку и купить шестилетний «олдсмобил».

Но все хорошее когда-то да заканчивается. Она подхватила триппер и заразила пару мужчин, которые подкидывали ей деньжат. А потом подряд нарвалась на двух мужчин, которые много болтали, но мало платили, продавца автомобилей, который возил ее на «кадиллаке», и владельца ночного клуба с рубиновым перстнем на мизинце. Обещали они золотые горы, но денег-то у них не было. Продавец выплачивал алименты двум женам, владелец ночного клуба так много задолжал Департаменту налогов и сборов,

что мог купить только жевательную резинку. Несколько лет тому назад ему принадлежал модный клуб в Рок-Айленде, но его обвинили в укрывательстве доходов. Потом, однако, все свелось к неуплате налогов, но штраф наложили большой.

И наконец разразилась катастрофа. В тот день, когда Энджи исполнилось двадцать шесть лет, ее арестовали за проституцию. Она сидела в баре со знакомыми шлюхами и отмечала день рождения, когда кто-то из адвокатов предложил поехать на его яхту. Они поехали, но к ним на хвост сели копы. Энджи настаивала, что за свои услуги она брала только подарки, а деньги — никогда, но жандармы прикинулись, что не видят разницы. Они люто ненавидели хозяина яхты и одного из его приятелей, тоже адвоката, поэтому с радостью воспользовались возможностью посадить их в кутузку. На Энджи произвело впечатление новое здание, которое занимал полицейский участок Седар-Рэпидс. Заметила она и парочку симпатичных молодых копов, с которыми не отказалась бы переспать. Почему нет, даже интересно. У Энджи взяли отпечатки пальцев, предъявили ей обвинение. Ей казалось, что все это происходит во сне. Или в кинофильме, который она смотрит по телевизору. И лишь на следующий день, когда ее фамилия появилась в газете, она поняла, что произошло. В ее родном городе все читали седар-рэпидскую газету. Энджи позвонила домой, попыталась все объяснить. Мать расплакалась, отец пришел в ярость. Ей строго-настрого запретили приезжать на ежегодную встречу всех родственников, которая намечалась двумя неделями позже.

С тех пор прошло два года, и теперь Энджи жила с Роем, который грабил банки и убивал людей, если возникала такая необходимость. Теперь она понимала, что у него никогда не будет больших денег и на содержание он ее не возьмет. Черт, да он уже несколько раз намекал, что ей бы неплохо вновь податься в официантки, чтобы помочь опла-

чивать аренду площадки для трейлера и продукты. Что же касается людей, которых убил Рой, то о троих она знала точно. Но тревожило, даже пугало ее лишь одно убийство — Джины. Все-таки жена — вторая половина. А намерение Роя убить сына еще больше напугало Энджи.

Во второй половине дня она просто впала в депрессию из-за своих бикини. Через неделю заканчивались занятия в школах. Открывались бассейны. То есть она могла во всей красе продемонстрировать свое тело. Да только на этот раз тела было слишком много. Она прибавила двадцать фунтов. Складки жира висели на бедрах. Да еще Рой уговорил ее вытатуировать на обеих грудях его имя.

Джейсон вернулся домой в половине четвертого. Худенький, светловолосый мальчишка, в веснушках и очках с такими толстыми стеклами, что Энджи стало его жаль. Таких, как Джейсон, другие дети всегда выбирают мишенью для своих жестоких шуток.

Энджи сразу заметила: что-то не так. Обычно Джейсон прямиком шел к холодильнику, наливал себе молока, брал кусок пирога. И он, и Энджи любили сладкое в отличие от Роя, который отдавал предпочтение виски. А потом Джейсон перебирался в гостиную и смотрел «Бэтмена». Но сегодня он глухо поздоровался и сразу прошел в свою маленькую комнатку, закрыв за собой дверь. Энджи, конечно же, догадалась, в чем причина. Она накинула поверх бикини халат, нельзя же смущать ребенка чуть ли не голой грудью. Рой не раз говорил ей об этом, подошла к двери. Постучала. Она как-то не задумывалась, как Джейсон воспринимает ее. С ней он всегда держался вежливо, но не более того.

— Я сплю,— донеслось из-за двери.

Энджи хихикнула.

— Если бы ты спал, то не смог бы ответить: «Я сплю».

— Мне просто не хочется разговаривать, Энджи.

Она решила рискнуть.

— Ты слышал наш ночной разговор, Джейсон, не так ли? — спросила она.

Долгая пауза.

— Он ее убил. Я слышал, как он это сказал.

Значит, Рой не ошибся. Парень все *слышал*.

Энджи открыла дверь и вошла. Он лежал на кровати. Даже не снял кроссовки. С книжкой комиксов на груди. Солнечный свет, падающий сквозь пыльное окно на западной стене, золотил его светлые волосы.

Энджи шагнула к кровати, присела рядом с Джейсоном. Заскрипели пружины. Она старалась не думать об избыточном весе, о том, как выглядит она в бикини. Все равно придется садиться на диету. Она же хочет быть содержанкой, а содержанки должны прежде всего следить за своей фигурой. И разумеется, лицом.

— Я только хочу, чтобы ты знал, что я не имела к этому ни малейшего отношения.

— Да, я знаю.

— Я также хочу, чтобы ты знал, что твой папа не такой уж плохой человек.

— Это точно.

— Иногда на него находит. Но вообще он очень даже ничего.

— Он сломал тебе ребро, так ведь?

— Просто не рассчитал силу удара. Слишком много выпил. Трезвым он никогда не бьет меня так сильно.

— В школе нам говорят, что мужчина вообще не должен бить женщину.

Энджи вздохнула.

— Ты же знаешь, что думает о школах твой папа. Он говорит, что там заправляют евреи, гомики и цветные.

Джейсон посмотрел на нее.

— Я собираюсь его сдать.

Она испугалась.

— Милый, только не говори этого отцу.— Она-то знала, что Рою нужен только повод, любой повод, чтобы убить Джейсона.— Обещай, что не скажешь. Он может разозлиться и...

Энджи не договорила, но почувствовала, что мальчишка понял ее без слов.

— Хороший комикс? — Она указала на книжку.

— Хуже «Бэтмена».

— А чего ты не взял «Бэтмена»?

— Уже начитался.

— Понятно.

Она наклонилась, поцеловала Джейсона в лоб. Чего никогда не делала раньше. Мальчишка-то хороший.

— Запомни мои слова. Никогда не говори отцу, что хочешь его сдать. Ты меня понял?

— Да. Понял.

— А теперь поспи.

Энджи встала. Ей вспомнились слова матери: «Если гладить мужчину по шерстке и каждый день давать ему добрый кусок мяса, он будет доволен и тобой, и твоей готовкой». Энджи как-то процитировала ее слова Рою. Тот ухмыльнулся, полапал ее грудь и ответил: «Все зависит от того, о каком мясе идет речь». Тогда Энджи нашла его ответ очень даже забавным.

А вот сегодня, когда она терла сыр для спагетти, а на сковородке шкворчали свиные отбивные, ей было не до смеха. Он намеревался убить собственного сына. Она не могла с этим смириться. Собственного сына!

Еще через сорок пять минут все трое сидели за столом. Как всегда, перед едой Джейсон прочитал молитву, которой научила его мать. Рой, тоже обычное дело, скорчил гримасу и закатил глаза. Как-то раз, крепко выпив, из-за этой молитвы он назвал Джейсона сосунком.

— Знаешь, что я сегодня нашел? — нарушил молчание Рой.

— Что? — переспросила Энджи.

— Я разговариваю с парнем.

— Извини,— раздраженно бросила Энджи, задетая его тоном.— Не поняла.

Встала из-за стола и с грязными тарелками направилась к раковине.

— Знаешь, что я сегодня нашел? — повторил Рой.

— Что? — Джейсон посмотрел на отца.

— Отличное место для рыбалки.

— Правда?

— Для нас обоих. Я всегда хотел научить тебя ловить рыбу.

— Я думал, ты *ненавидишь* рыбалку,— ответил Джейсон.

— Теперь уже нет. Жить не могу без рыбалки, не так ли, крошка?

— Да,— ответила Энджи, стоя к ним спиной.— Ему нравится ловить рыбу.

Энджи сразу раскусила замысел Роя. Рыбалку он терпеть не мог. И от сына обычно старался держаться подальше.

После ужина Джейсон ушел в свою комнату. Большинство детей в такой теплый весенний вечер играли на улице. Но не Джейсон. Он предпочитал смотреть телевизор или читать.

Пока она мыла посуду, Рой пил из бутылки пиво и смотрел на голых девиц по плейбоевскому каналу.

— Ты все-таки хочешь это сделать.— Энджи на мгновение обернулась.

— Да, хочу.

— Он же твоя плоть и кровь.

Он подошел, прижался к ее заду. Член стоял колом. Как обычно. По этой части жаловаться ей не приходилось. Сжал руками груди, поцеловал в шею, прошептал: «Мы любим свободу, Энджи. Очень любим. А этот малец связывает нас по рукам и ногам. Особенно теперь, когда он все знает. Один телефонной звонок, и мы за решеткой».

— Но он — твой сын.

Дверь в комнату Джейсона открылась. Мальчик прошел в туалет.

— Вот и позволь мне с ним разобраться.

Двадцать минут спустя Рой и Джейсон ушли. Она не могла придумать иного способа остановить Роя, кроме как пойти за ними и предупредить Джейсона о замыслах отца.

Энджи кружила по трейлеру. Кружила и пила виски. Она так разволновалась, что сердце буквально выпрыгивало из груди, а правая рука непроизвольно дергалась.

А потом она вспомнила про револьвер. Она даже не знала, что это за револьвер. Его ей дал один из друзей-адвокатов, когда она пожаловалась, что ей досаждает давний ухажер. Несколько раз она из него стреляла. Так что знала, как им пользоваться. Револьвер она хранила в комоде под трусиками без промежности, которые купил ей Рой. Он любил пошутить, что съел промежность.

Энджи достала револьвер и пошла за ними к реке. В полумиле от стоянки для трейлеров начинался лес. Берег там был обрывистый, течение быстрое. Как-то раз они там гуляли, и Рой сказал, что лучшего места, где можно избавиться от тела, не найти. Его сосед по камере, которого Рой очень уважал, говорил, что обычно утопленники все равно всплывают, но замести следы гораздо проще, если тело пробудет под водой пять или шесть дней.

Небо темнело, сгущались сумерки, с северо-востока доносились раскаты грома, усиливающийся ветер пах дождем. Грозы всегда пугали Энджи. Маленькой девочкой она пряталась от них в чулане. Обе старшие сестры дразнили ее трусишкой. Но она все равно пряталась.

Она их нашла. Отец и сын сидели за столиком для пикника неподалеку от обрыва и разговаривали. Темнота медленно окутывала их. Еще немного, и они растворились бы в ночи.

— Какого черта тебя сюда принесло? — спросил Рой.

— Она может прийти, если ей этого хочется,— вступился за Энджи Джейсон.

Она улыбнулась. Приятно, знаете ли, осознавать, что мальчишка тебя любит.

— Мне надо по-маленькому.— Джейсон поднялся и ушел за кусты.

— Я боялась, что ты с ним уже покончил,— прошептала Энджи.

Он посмотрел на нее. Пожал плечами.

— Оказалось, что это не так просто.

— Он же твоя плоть и кровь.

— Да, да, наверное, причина в этом. Я уж пару раз принимался, но давал задний ход. Это тебе не пристрелить незнакомца.

— Давай вернемся домой.

Он покачал головой.

— Нет. Возвращайся одна.

— Если ты не можешь этого сделать, чего здесь торчать?

— Я не говорил, что не могу. Просто думал, что все будет проще. Времени уйдет больше, но я справлюсь. А теперь отрывай свой аппетитный зад от скамьи и жди меня дома. Сегодня мы уезжаем.

— Уезжаем?

— Да.— Они увидели возвращающегося Джейсона, и Рой перешел на шепот: — В школе будут задавать вопросы. Лучше уехать сразу.

Джейсон подошел к столу.

— Папа говорил тебе, что в этой реке можно поймать двадцатифутовую рыбину?

— Да,— кивнула Энджи,— говорил.

— Энджи должна вернуться домой. Она готовит нам сюрприз.

— Сюрприз? — оживился Джейсон.— Какой сюрприз?

— Если она тебе скажет, какой же это будет сюрприз, а?

Джейсон радостно улыбнулся.

— Никакой.

— Иди домой, крошка.— Рой шевельнул бровями.— Мы скоро подойдем.

Она бы, может, и заспорила, но хорошо знала, что спорить с Роем бесполезно. Во всяком случае, взять верх точно не удастся. Синяков же, а то и переломов может прибавиться.

— Ну, я пошла.— Она поднялась.

— Так хочется увидеть твой сюрприз,— воскликнул Джейсон.

Но домой Энджи идти не собиралась. Спряталась в ночной тьме у края леса, наблюдая за ними.

Она надеялась, что Рой не сможет этого сделать. Просто не сможет, и все. Даже прочитала пару молитв.

Но он смог. Вытащил пистолет, схватил Джейсона за плечо и поволок по траве к обрыву.

Дальнейшее словно произошло помимо ее воли: она побежала, закричала. Рой жутко разозлился, увидев ее. Она отвлекла его от ребенка, а ребенок старался вырваться, размахивал руками, пинался, кусался.

Рой и подумать не мог, что у нее есть револьвер. Она подбежала вплотную, выхватила револьвер из заднего кармана джинсов и убила его. Тремя выстрелами в голову.

Его повело вбок, и он обделался до того, как повалился на землю. Завоняло ужасно. А реакция Джейсона и вовсе поразила Энджи. Она-то рассчитывала на благодарность. А он опустился на колени рядом с Роем и завыл. Потом схватил безжизненную руку в свои и завыл еще сильнее. Может, подумала Энджи, причина в том, что его мать тоже мертва. Может, потерять обоих родителей — это уже перебор, даже если твой папаша пытался тебя убить?

Она подтащила Роя к обрыву, сбросила в реку. В воде отражались звезды, у берега плескались волны.

Потом оттащила мальчишку от обрыва. Поначалу он упирался, кусался, пинался. Но она влепила ему затрещину, которая тут же его успокоила. Он продолжал плакать, но хоть стал слушаться.

— Как ты?

— Нормально.

— Есть хочешь?

— Скорее да, чем нет.

— В Колорадо тебе понравится. Подожди, пока покажутся горы.

— Напрасно ты убила его.

— Он собирался убить тебя.

Потом он долго молчал. Они приближались к границе Небраски. Исчезли последние холмы. На пастбищах мычали коровы, на деревьях пели ночные птицы. Ехали они, опустив стекла, вдыхая ароматный ночной воздух Среднего Запада.

В шестидесяти трех милях от границы, около десяти вечера, они поравнялись с мотелем «Империя», построенным в пятидесятых годах. С административной частью по центру и отходящими от нее двумя крыльями, по восемь номеров в каждом.

Энджи сняла номер, бросила в автомат несколько монет, получив взамен пакетики сладостей и картофельных чипсов. Для Джейсона арендовала фантастический канал кабельного ти-ви.

Вымыла его под душем, уложила в постель, включила телевизор. Долго он не протянул. Заснул едва ли не на десятой минуте фильма. Энджи выключила свет, разделась, легла. Она очень устала. Во всяком случае, думала, что устала. Но сон не шел. Она лежала, думала о Рое, о своем детстве, о том, что ей хотелось стать содержанкой. Когда-нибудь она ею станет. Другого не дано. Потом она вспомнила, как выглядела в бикини. Господи, надо садиться на диету.

Лежала она с час. Потом услышала, как открылись дверцы автомобиля, раздался мужской смех. Решила выглянуть в окно. Двое симпатичных, хорошо одетых мужчин заносили чемоданы в номер, расположенный в ее крыле. Приехали они на огромном новеньком «линкольне». Энджи встрепенулась. Ей захотелось выпить, послушать музыку. Может, даже потанцевать. И посмеяться. Чего ей сейчас не хватало, так это смеха.

Пятнадцать минут спустя она уже причесалась, накрасилась, надушилась, надела белый топик и красные шорты с подрезанными штанинами, оголяющими ягодицы.

Она знала, что мальчишка прекрасно без нее обойдется. Он спит, дверь закрыта, с ним ничего не случится.

Их звали Джим Дарбин и Майк Брейди. Жили они в Седар-Рэпидс, где им принадлежало два больших компьютерных магазина. Еще один они собирались открыть в Денвере. Обычно Джим предпочитал автомобилю самолет, но вот Майк боялся летать. Обычно они останавливались в более пристойном мотеле, но на этом шоссе другого просто не было. Энджи постучалась в их дверь под тем предлогом, что в административном корпусе не нашлось автомата по продаже сигарет, в окне у них горел свет, вот она и решила спросить, не смогут ли они одолжить ей несколько сигарет. Джим ответил, что не курит, а вот у Майка сигареты нашлись. Джим добавил, что уже много лет уговаривает Майка бросить курить, но без всякого результата. «Как вам это нравится? — задал Майк риторический вопрос.— Этот парень каждый день рискует заболеть раком легких, но боится войти в самолет».

Они достали бутылку хорошего виски, конечно же, предложили ей составить им компанию. Майку она приглянулась с первого взгляда. Как скоро выяснилось, Джим не мог пожаловаться на отсутствие семейного счастья, зато Майк, наоборот, разводился. Его жена ушла к доктору, с

которым познакомилась в каком-то благотворительном комитете. Джим сказал, что Майку просто необходима хорошая женщина, которая должна помочь ему вернуть веру в себя. Эти слова Энджи слышала не раз. Ей нравились дневные ток-шоу, а в них страсть как любили говорить о возвращении веры в себя. Аккурат на прошлой неделе ведущий беседовал с проституткой-трансвеститом, которая/который мечтала/мечтал вернуть веру в себя.

Энджи немного захмелела и увлеклась разговором с Майком, тогда как Джим пошел принять душ перед сном. Энджи заметила, что выходить из ванны он не торопится, чтобы дать ей и Майку возможность побыть наедине. Вскоре их губы слились в поцелуе, его руки тискали ей грудь и ягодицы, а потом она уже стояла на коленях у кровати и делала ему минет. А он ахал, стонал, выгибал спину и просто сходил с ума от наслаждения. И ей это доставляло удовольствие. Приятно, знаете ли, осчастливить мужчину, тем более если у него разбито сердце.

Когда Джим вернулся, в красном махровом халате, вытирая волосы белым полотенцем, Энджи и Майк сидели в креслах с полными стаканами.

— Как идут дела? — полюбопытствовал Джим.

— Ну,— Майк напоминал подростка, нервного и возбужденного,— я как раз собирался спросить у Энджи, не сможет ли она поехать со мной в Денвер. Провести там пару недель, пока мы будем готовиться к открытию магазина.

Джим все вытирал голову полотенцем.

— Этот человек во всем стремится к совершенству, Энджи. Тебе надо побывать в его квартире в кондоминиуме. Потрясающий вид на город.

— Тебе нравятся реактивные лыжи? — спросил Майк.

— Конечно,— ответила Энджи, не очень-то понимая, о чем речь.

— Слушай, у меня они есть. Поверь мне, получишь удовольствие. Ты можешь остановиться в моей квартире

и весь день делать все, что тебе захочется. Смотреть телевизор, ходить по магазинам. А вечер мы проведем вместе.

— Слушай, Энджи, ты просто волшебница,— подал голос Джим.— Я вновь слышу голос моего самого близкого друга Майка Брейди. За последние три или четыре года я никогда не видел его таким счастливым.

Майк сиял как медный таз.

— Может, я влюбился.

Он наклонился к Энджи, обнял ее и сочно чмокнул в губы.

Энджи не верила своему счастью. Неужели она встретила человека, который возьмет ее на содержание? Да еще и неженатого. Ведь он мог и жениться на ней.

— Я только скажу Джейсону,— вырвалось у нее.

В лице Майка что-то изменилось.

— Джейсону? А кто такой Джейсон?

— Можно сказать, приемный сын.

— Так ты путешествуешь с ребенком?

— Да.

Майку не пришлось ничего говорить. Все пропечаталось на его лице. Он-то мечтал об оргиях, а она все испортила, вернув его с небес на землю. Ребенок! Гребаный ребенок!

— Понятно,— вырвалось у Майка.

— Он очень хороший мальчик.— Энджи попыталась все уладить.— Тихий, спокойный.

— Я уверен, Энджи, что он очень хороший,— покивал Джим.— Но я не думаю, что Майк хочет видеть его в своей квартире. Ты пойми, мы ничего не имеем против детей. У меня их двое, у Майка — трое.

— Я люблю детей,— добавил Майк, хотя никто не обвинял его в обратном.

— Он никому не помешает,— пробормотала Энджи.— Никому.

Майк и Джим переглянулись, вновь посмотрели на Энджи. Общее мнение выразил Джим.

— Знаешь, что мы сделаем? Ты едешь в Омаху, так? Оставь нам свой телефонный номер, и Майк позвонит тебе, как только обустроится в своей квартире. Идет?

Майк потерял дар речи, даже не смог попрощаться. За него это сделал Джим.

Этот малец связывает нас по рукам и ногам, вспомнились ей слова Роя. В Омахе придется опять идти в официантки. Потом наступит осень, и придется устраивать его в школу. А тем временем кто-то будет жить с Майком в денверской квартире и пользоваться его кредитной карточкой, покупая еду и одежду.

— Вы не знаете, есть ли поблизости река? — спросила она.

— Река? — переспросил Джим.

— Да,— кивнула Энджи.— Река.

Наутро, в семь часов, она постучалась в дверь их номера. Открыл ей заспанный Джим.

— Ты чего? — В голосе слышалось удивление. Он полагал, что вечером они распрощались навсегда.

— Угадай, что случилось?

— Что?

— Вчера я сказала, что Джейсон мне приемный сын, так? На самом деле я его тетя. Моя сестра живет в десяти милях отсюда. Она страдает глубокой депрессией. Вот она и попросила меня взять его на несколько дней. Но рано утром заехала и забрала ребенка, потому что ей полегчало.

За плечом Джима вырос Майк.

— Значит, ты уже без ребенка?

— Конечно. И свободна как ветер.

— Так едем в Денвер.

Джим отошел в сторону, приглашая Энджи войти.

— Пойду-ка я завтракать. Вернусь через час.

Он быстренько оделся и отбыл.

Они же улеглись в кровать Майка. Раз или два Энджи вспомнила о Джейсоне. О том, как оглушила его в номере.

Реку она нашла без труда. Действительно, ей следовало оставить эту грязную работу Рою. Малец и впрямь связывал по рукам и ногам. Она его любила, но он сковывал ее почище кандалов.

Через несколько часов они уже ехали в Денвер. Вечером поужинали в ресторане, выпили много вина, Майк слизывал соус с ее пальчиков. Она боялась засыпать. Думала, что ее будут мучить кошмары. Но пригрелась рядом с Майком, они ублажили друг друга, выкурили одну сигарету на двоих, поговорили о Денвере, так что Энджи и не заметила, как заснула. Спала крепко, безо всяких кошмаров.

Эл Сэррэнтонио

БЕЧЕВКА-БЕСОВКА

В субботу утром, пока Сюзи и Джерри, как обычно, смотрели по телевизору мультики, бечевка-бесовка слопала почти весь их район. В конце концов экран погас, и папа Джерри включил радио, но оно тоже не работало. Тогда Сюзи и Джерри стали смотреть на бечевку-бесовку из большого окна в гостиной Джерри. Бечевка-бесовка была очень проворная, и дети успевали заметить лишь ее кончик, задранный кверху, прямой-прямой, или другой кончик, свернутый петлей или ползущий, извиваясь, по стене какого-нибудь дома, между деревьями, по автомобилям. Немного помедлив, бечевка-бесовка юркнула в мебельный фургон, который стоял на той стороне улицы — перед домом Сюзи, вытащила из него толстого грузчика в форменном комбинезоне, обвила его тело с ног до головы, как мумию, и утащила под землю. Маму Сюзи она тоже уволокла под землю. Вообще-то мама Сюзи стояла на тротуаре и командовала грузчиками, но, завидев бечевку-бесовку, побежала к дому. Однако бечевка ее опередила.

— Уезжаем! — крикнул папа Джерри, странно покосившись на сына, и бечевка-бесовка сцапала его во дворе,

© Перевод. С. Силакова, 2005.

между гаражом и машиной. Мама Джерри с кучей подушек в руках бежала за папой. Она тоже попалась бечевке-бесовке. То же самое случилось и с Джейн, сестрой Джерри. Джейн хотела незаметно смыться к своему жениху Брэду, который жил в том же квартале. На глазах Сюзи и Джерри бечевка-бесовка — вылитая черная пружина — выпрыгнула из кустов перед домом Брэда и схватила Джейн, когда та уже протягивала Брэду руку. Брэд попытался было сбежать, но и его бечевка не упустила. Тонкие, проворные ростки вырвались из газона и бетонной дорожки. Обкрутив Брэда, они разорвали его на две половинки — верхнюю и нижнюю — и обе утащили под землю.

Сюзи с Джерри убежали по лестнице на чердак, а бечевка-бесовка обвилась, как удав, вокруг дома, но до чердака не долезла, а потом вообще уползла. Из крохотного восьмиугольного чердачного окна дети увидели, как бечевка-бесовка оплела дом Майерсов и выдернула через окно второго этажа их маленького ребенка. Потом обвила в три круга фундамент майерсовского дома и, немножко подрыгавшись, блаженно затихла, как уснувшая кошка.

— Она совсем как...— произнес Джерри, обернувшись к Сюзи. Голос у него дрожал от страха.

— Знаю,— оборвала его Сюзи, приложив палец к губам.

Когда они опять обернулись на дом Майерсов, все окна в нем были уже разбиты, столбики террасы выдернуты из земли, а бечевки-бесовки и след простыл. Они обнаружили ее немного подальше, по правую руку от участка Майерсов: бечевка лениво покачалась в воздухе, а потом хлестнула землю, как кнут; немного погодя они увидели ее в соседнем слева квартале: проскочив между домов, бечевка вынеслась на улицу и там перехватила на бегу какого-то мальчика — кажется, Билли Карсона.

Солнце поднималось все выше. Стояло самое обычное летнее утро: зной, зной и ничего, кроме зноя.

Днем стало еще жарче, и чердак превратился в печку. Бечевка-бесовка занималась своим делом.

Посмотрев в бинокль, принадлежавший отцу Джерри, они обнаружили, что бечевка-бесовка обвилась, точно змея боаконстриктор, вокруг шпиля методистской церкви далеко-далеко в самом центре города. Так выяснилось, что бечевка может залезать на какую угодно высоту. На их глазах она вытащила с колокольни какое-то маленькое и беспомощно сучащее ногами существо (наверное, оно еще и кричало, но в такой дали ничего не было слышно) и, соскользнув со шпиля, исчезла из виду.

— Я тебе говорю, это же...— снова начал Джерри.

Сюзи, пристально глядя в бинокль, вновь приложила палец к губам, но Джерри все-таки договорил фразу до конца:

— ...страшно похоже на папкин розыгрыш.

Ночь они провели на чердаке, чуточку приоткрыв окно, чтобы не задохнуться. Снаружи, освещенная луной, рыскала бечевка-бесовка. Дважды она подбиралась к ним близко-близко. Во второй раз она вообще разбила огромное окно гостиной на первом этаже, потом вытянулась высоко-высоко перед самым чердачным окошком, ощупала кончиком щель между рамами — Джерри, стоявший у окна, так и остолбенел,— но тут же упорхнула.

Они нашли пачку крекеров и съели их. Бечевка-бесовка, беспрестанно перемещаясь туда-сюда, то и дело загораживала луну, поэтому на потолке и стенах чердака плясали размытые темно-серые тени.

— Как ты думаешь, везде так? — спросил Джерри.

— А сам-то ты как думаешь? — ответила Сюзи вопросом на вопрос, и тут Джерри вспомнил про папкин коротковолновый приемник на батарейках. Он принимал станции со всего мира. Приемник хранился в углу чердака, в коробке с фонариками.

Джерри достал приемник и включил, но, сколько он ни крутил ручку, из динамика слышалось одно только шипение.

— Везде...— прошептал Джерри.

— Похоже на то,— отозвалась Сюзи.

— Не может быть...— проговорил Джерри.

Сюзи съела еще один крекер.

Вдруг Джерри уронил приемник и заплакал.

— Но это ведь папа меня просто разыграл! Это не взаправду!

— Но ведь сначала-то казалось, что взаправду? — спросила Сюзи.

— Он всегда-всегда меня разыгрывал,— продолжал Джерри, не переставая всхлипывать.— Когда я съел вишню вместе с косточкой, он спрятал в кулаке несколько листочков, а потом сделал вид, будто вытащил их у меня из уха — сказал, что косточка проросла и теперь внутри меня ничего нет — одно вишневое дерево! А в другой раз он поклялся, что у нас во дворе сейчас приземлится звездолет, приказал дежурить у окна в гостиной, а сам тихонько обошел дом и кинул с крыши игрушечную ракету: она прямо передо мной упала! — Джерри озадаченно, серьезно хмурил лоб.— Он вечно такие фокусы проделывал!

— И ты верил, когда он тебя разыгрывал? — спросила Сюзи.

— Да! Но разве...

— Может быть, если очень-очень верить, желание сбывается взаправду!

Джерри окончательно вышел из себя.

— Но это был розыгрыш! Ты там была, ты тоже видела, что он сделал! Он закопал во дворе веревку, потом позвал нас, и выдернул кусок веревки из земли, и сказал, что это отросток гигантского чудовища, бечевки-бесовки, и что оно разрослось под землей, пока не заполнило изнутри всю планету, и что теперь оно подобралось совсем близко к по-

верхности. И как только ему захочется, оно высунет наружу свои веревочные щупальца, и всех переловит, и затащит под землю, и всосет их своим телом, а тело у него мягкое и колышется, как у слизняка...

Джерри с умоляющим видом посмотрел на Сюзи.

— Бечевка-бесовка была не ВЗАПРАВДАШНЯЯ!

— Но ты поверил.

— ОН МЕНЯ ПРОСТО РАЗЫГРАЛ!

— Но ты поверил, что все это взаправду,— тихо произнесла Сюзи, глядя себе под ноги.— Может, дело в том, что моя мама решила переехать и нас разлучить. Вот ты и поверил в бечевку так сильно, что она появилась на самом деле.— Сюзи подняла глаза.— Может, потому она нас и не сцапала — из-за тебя.

Сюзи подошла к Джерри и обняла его, стала гладить его по голове своими длинными тонкими пальцами.

— Может быть, ты это сделал, потому что меня любишь,— сказала она.

Джерри поднял свои заплаканные глаза.

— Я тебя вправду люблю,— сказал он.

За неделю они съели всю еду, какая была в доме, и потому перебрались к Майерсам и съели всю их еду, а затем к Дженценам — соседям Майерсов. И так они все переселялись и переселялись, незваными гостями объедая квартал за кварталом. Из дома в дом они перебегали после заката или на рассвете. Бечевка-бесовка к ним и близко не подходила — теперь она решила переловить всех окрестных собак и кошек.

И даже когда они замечали бечевку-бесовку, она обычно находилась далеко. К примеру, заглядывала в какой-нибудь дом в соседнем квартале, а потом поднималась к небесам, чуть ли не касаясь облаков: прямая, черная, маслянисто-блестящая от солнца — совсем как антенна. Часто она пропадала на несколько дней кряду, а однажды в

телескоп, который нашелся в очередном жилище (расположенном так далеко от родного квартала, что имен хозяев они больше не знали), Джерри и Сюзи обнаружили вторую бечевку-бесовку. Дом этот стоял на самой окраине города, а вторая бечевка-бесовка находилась в соседнем городе. Днем она сворачивалась кольцами, но порой тут и там выпускала торчащие кверху побеги. И вот несколько из этих побегов на миг замерли, а потом загнулись на конце, указывая на бечевку-бесовку в их городе. Та тоже загнулась, указывая в сторону соседки.

Сюзи покосилась на хлюпающего носом Джерри.

— Повсюду,— сказала она.

Лето близилось к концу. Белки исчезли, а вслед за белками исчезли птицы, цикады, мошки и комары. Джерри и Сюзи переселялись из дома в дом, из города в город и частенько видели, как бечевка-бесовка затаскивает под землю стрекоз, а иногда прихлопывает мух и тоже забирает. Везде происходило одно и то же: каждый город, каждый дом, каждый уголок земли бечевка-бесовка очистила от людей, зверей и насекомых. В конце лета исчезли и пчелы. Казалось, бечевка-бесовка приберегла их на сладкое, а потом все-таки всосала в свое вязкое слизистое тело вместе со всеми другими живыми существами. В одном городе Джерри и Сюзи попался маленький зоопарк, и они долго с изумлением разглядывали пустые клетки, дочиста вылизанный обезьянник и пруд, где больше не плескались тюлени.

Еды было полно, да и с водой проблем не было, и с газировкой в банках — тоже. Когда Сюзи и Джерри обошли все города в окрестностях, они поехали на поезде: залезли в кабину локомотива, запустили дизельный двигатель, научились им управлять и отправились в путь. Двигатель взревел, как гром в клетке. Тут даже Джерри рассмеялся и, высунув голову из окна, почувствовал, как ветер, точно

живое существо, ласкает его щеки. Сюзи нажала на кнопку гудка, и раздалось истошное кваканье. Они проехали один большой город, потом другой, а когда топливо кончилось, сошли в городке, очень похожем на их родной.

Потом они перебрались в другой город, а оттуда — в третий, и всюду их сопровождала бечевка-бесовка: ползла за ними далеким стражником, торчала выше самых высоких зданий, нервно дергая кончиком.

Лето перешло в осень. Теперь Джерри никогда не улыбался — даже когда глядел на Сюзи. Глаза у него стали какие-то пустые, руки дрожали. Он почти ничего не ел.

Настала осень, но их странствия не прекращались. В одном из безымянных городов в пустом подвале пустынного дома Джерри подошел неверной походкой к верстаку и снял с крючка висевшие там клещи. Вручив их Сюзи, он сказал:

— Сделай так, чтобы я больше не верил.

— Ты о чем?

— Убери бечевку-бесовку из моей головы.

Сюзи засмеялась, тоже подошла к верстаку, взяла фонарик и посветила им Джерри в уши.

— У тебя там ничегошеньки нет — одни козюли.

— Не хочу больше верить,— проговорил Джерри монотонным голосом призрака.

— Поздно,— отозвалась Сюзи.

Джерри лег на пол, подтянул колени к подбородку.

— Раз так, я хочу умереть,— прошептал он.

Зима наступала осени на пятки. Воздух был холодный, как яблоки,— вот только яблок на свете больше не существовало. Всю осень бечевка-бесовка прилежно затаскивала под землю деревья, кусты, траву и последние, еще не отцветшие розы.

Она очищала планету от всего: от сорняков и рыб, амеб и микробов.

Джерри перестал есть и теперь мог ходить, лишь опираясь на Сюзи.

Он лениво размышлял, чем займется бечевка-бесовка после того, как убьет Землю.

Сюзи и Джерри стояли на поле между двух городов и разглядывали грязь. Вдали, свистя в воздухе, трудилась бечевка-бесовка: кукурузные стебли аккуратными рядами, точно сами собой, проваливались под землю. Позади Джерри и Сюзи, зарывшись носом в пыльный кювет, стояла машина, на которой они ехали, пока бензин не кончился. Вела ее Сюзи. Чтобы видеть что-то помимо руля, ей пришлось подложить на сиденье целый штабель телефонных книг. Небо было тускло-серое с голубоватым отливом, какое-то запачканное. В небе неподвижно, точно нарисованные, висели чахлые облака. Птиц не было.

Несколько блеклых снежинок слетело на поле.

— Пусть все это кончится,— хрипло прошептал Джерри.

Уже несколько дней он даже не пил воды. Его одежда превратилась в лохмотья, глаза стали омутами горя. Смотреть на небо ему было больно, хотя освещение никак нельзя было назвать ослепительным.

— Пусть... кончится, я так хочу...— проскрипел он.

И нарочно уселся прямо в грязь. Со стороны он казался стариком, случайно попавшим в тело ребенка. Устало моргнув, он поглядел на Сюзи снизу вверх.

И вновь заговорил, чтобы спокойно спросить:

— Это ведь не я сделал, а ты.

Сюзи молчала. Затем все же сказала:

— Я верила. Я верила, потому что иначе было нельзя. Меня никто никогда не любил — только ты. А они хотели увезти меня от тебя.

Вновь воцарилось молчание. Бечевка-бесовка, покончив с кукурузным полем, застыла по стойке «смирно», чего-то

ожидая. У ее основания на землю осело неплотное облако пыли.

Очень тихо Джерри произнес:

— Я тебя больше не люблю.

На секунду в глазах Сюзи мелькнула печаль — но тут же превратилась во что-то гораздо более твердое, чем сталь.

— Значит, вообще ничего не осталось,— сказала она.

Джерри вздохнул, уставившись на небо сощуренными больными глазами.

Бечевка-бесовка обняла его почти нежно.

И пока она тащила его под землю, внутрь своего трепещущего вязкого тела, он увидел миллион бечевок-бесовок: тонкие и черные, они тянулись злыми пальцами к Солнцу и другим звездам.

Томас М. Диш

ФИЛИН И КИСКА

И когда Кристофер Робин приходит в Зоопарк, он идет туда, где живут Полярные Медведи, и шепчет что-то третьему смотрителю слева, и двери отпираются, и он идет по темным коридорам и крутым лестницам, пока не приходит к особой клетке, и клетка эта открыта, и оттуда выбегает трусцой что-то бурое и мохнатое, и со счастливым воплем «Мишка!» Кристофер Робин бросается к нему в объятия.



Они больше всего любили утро, когда мистер и миссис Фэрфилд еще спят наверху, а в доме тихо, и можно забиться вдвоем на тесную кушетку и ждать, пока прогрохочет поезд на той стороне реки. Бывают и другие поезда в другое время дня, но тогда уже поднимается такая суматоха, что можно не заметить поезда, пока стекла в окнах не задребезжат.

Давно уже пора было бы починить эти окна, особенно те, что по обе стороны телевизора. Мокрик тревожился при каждом штормовом предупреждении, уверенный, что рано или поздно порыв ветра вырвет эти старые стекла из алюминиевых рам. Окна наверху были покрепче, поскольку сделаны были на старый манер и, наверное, им предстояло пережить крышу. Хотя это не означало долголетия — крыша тоже была в плачевном виде. Как-то, когда у мистера Фэрфилда были деньги, он собирался починить крышу, но получилось не так сразу, потому что поиск постоянной работы заставлял его подолгу не бывать дома.

© Перевод. М. Левин, 2005.

Когда пройдет поезд, начнет становиться светлее, заверещит будильник наверху и зашумит вода в ванной, а потом из кухни запахнет завтраком. Завтрак они любят больше всего, потому что он всегда одинаковый. Стакан яблочного сока и либо воздушный рис, либо кукурузные хлопья с молоком, а потом хрустящий тост с маслом и джемом. Все опустят головы вместе с миссис Фэрфилд, и мистер Фэрфилд тоже, если рано встанет, и возблагодарят Господа за дары его.

А по воскресеньям иногда бывали даже блинчики. Мокрик жил в детском саду Большой Развилки, пока не переехал к Фэрфилдам (еще при *первой* миссис Фэрфилд), и раз в месяц в столовой детского сада бывал особый завтрак с блинчиками. Первая миссис Фэрфилд помогала печь их на газовой плите аж по двадцать штук сразу. Чудесные блинчики, иногда с черникой, иногда с кокосовой крошкой, и давали их съесть сколько хочешь всего за два доллара, если тебе еще шести не было. Потом на такие праздники приходило народу поменьше, и только дети, будто это был обычный будний день, только с блинчиками, и тогда с Мокриком и произошел тот случай, который дал ему имя Мокрик. Дети стали кидаться едой, швыряли блюдца как летающие тарелки, хотя на блюдцах был сироп, а мисс Вашингтон велела этого не делать. Никто не обратил внимания — на мисс Вашингтон никто никогда не обращал внимания,— и одна тарелка попала в Мокрика и облила его сиропом, и миссис Фэрфилд потащила его в умывальник и стала оттирать губкой, а когда так весь сироп снять не удалось, устроила ему настоящий душ. И он никогда уже до конца не высох.

Он не возражал, чтобы его называли Мокриком. Мелочи жизни, как говорится. Но потом был Ужасный Случай (который даже и не был случаем), но чего об этом говорить. Не стоит вскрывать темные стороны, и вообще это пример того добра, без которого не бывает худа, потому что если бы не Ужасный Случай, вряд ли Фэрфилды взяли

бы к себе Мокрика навсегда. А уж спора нет, что дом Фэрфилдов — место получше, чем детский сад Большой Развилки. Одиноко там, конечно, было, пока Ухарь не поселился с ними, но Мокрик всегда старался быть сам по себе. И новая миссис Фэрфилд была такая же. Она больше любила одиночество у телевизора, чем много друзей.

Но особые друзья — это другое дело, конечно, и с самого начала Ухарь должен был стать *особым* другом Мокрика. Он перебрался жить к Мокрику и Фэрфилдам, когда мистер Фэрфилд забрал его из родного дома в реформатской церкви Большой Развилки. Вот там он сидел в ящике и слушал оратора на собрании Анонимных Алкоголиков во вторник вечером, но не так чтобы очень внимательно, и там-то мистер Фэрфилд его и заполучил. Он сам тоже там был, потому что его арестовали за Вождение в Состоянии Интоксикации, и судья его приговорил два раза в неделю посещать собрания АА. Вот он и сидел в голландской реформатской церкви на раскладном стуле рядом с ящиком Ухаря.

У мистера Фэрфилда были нервные руки. Если он не вертел в них сигару, то чистил ногти складным ножиком или рвал листок бумажки на мельчайшие клочки. В тот вечер, превратив в конфетти двухстраничное расписание местных собраний АА, он начал играть с Ухарем — нельзя сказать, чтобы грубо, но явно не учитывая собственные чувства Ухаря. Когда участники собрания поделились друг с другом опытом, силой и надеждой (все, кроме таких, как мистер Фэрфилд, которому особо делиться было нечем), все взялись за руки и провозгласили «Отче Наш».

Вот тогда-то мистер Фэрфилд поднял молодого филина и шепнул ему в фетровое ухо: «Ухарь, я беру тебя к себе», но Ухарь, покинувший церковный подвал под полой пиджака мистера Фэрфилда и с таким чувством, будто Высшая Сила его предала, понял это слово как «краду». Он столько уже прожил в подвале церкви и считал, что это его законное место и никто его отсюда не заберет, хотя каждое вос-

кресенье он проводил в коробке, на которой было написано «БЕСПЛАТНО». Сначала это было ужасное переживание, но собрания АА были утешением в одиночестве и изоляции. Но Ухарь возложил упования на Высшую Силу, и сокрушил волю свою, и приучился принимать свою жизнь церковного филина. А теперь вот его похищают.

Мистер Фэрфилд открыл дверцу своего пикапа, и Ухарь удивился, увидев, что кто-то в этом неимоверно холодном пикапе ждал в течение всего собрания. В темноте, завернувшись в одеяло и очень раздраженный, что пришлось все это время ждать на холоде.

— Ухарь, познакомься с Мокриком,— сказал мистер Фэрфилд.— Мокрик, это Ухарь. Он будет твоим новым другом, так что поздоровайся.

Мокрик ответил не сразу, но наконец испустил долгий и горестный вздох.

— Привет! — сказал он и подвинулся, освобождая Ухарю место под одеялом. Когда они уместились, он шепнул Ухарю на ухо: — Ничего не говори в *его* присутствии.

При этом он бросил многозначительный взгляд на мистера Фэрфилда, который вынул из бардачка коричневый бумажный пакет.

Первый пшик открываемой бутылки сказал Ухарю, что мистер Фэрфилд тоже тайный пьяница, вроде преподобного Друри, пастора голландской реформатской церкви. Ухарь часто был свидетелем тайных возлияний преподобного в церковном подвале, и когда Друри не приканчивал свои полпинты шнапса за один раз, то оставлял их на попечение Ухаря, в коробке «БЕСПЛАТНО» — вместо сломанных игрушек и заляпанной одежды для малышей. Теперь Ухарь оказался в той же ситуации.

— За вас двоих! — сказал мистер Фэрфилд, заводя мотор и поднимая бутылку в сторону Мокрика и Ухаря. Они переглянулись с пристыженным видом соучастников, и машина выехала на дорогу 97.

— Я тебя видел, ты это знаешь,— сказал мистер Фэрфилд.— На воскресной гаражной распродаже. Ты сидел на столе для бесплатных пожертвований. Неделями. Никому эта мерзость, значит, не нужна. Так что когда я тебя увидел сегодня, так подумал — вот тут для него самое место. В дружки пригодится. Так, Мокрик?

Мокрик помалкивал. Это жестокая подначка — так говорить про беднягу филина, который уж точно был несчастным созданием, можно не сомневаться. Мокрик привык к тому, что *его* чувства никто не щадит. Давно притерпелся. Но бедняга Ухарь наверняка был близок к тому, чтобы расплакаться.

А мистер Фэрфилд, казалось, за эту мысль зацепился.

— Да я, знаешь, и сам не картинка. У тебя вон клюв, у меня пузо, а Мокрик — вообще инвалид. У него проблем побольше, чем у старого Эбби. Только он о них ни с кем не говорит. В своей семье — никогда. Может, тебе расскажет. Как думаешь, друг?

Ни Мокрик, ни Ухарь ни слова не сказали.

Мистер Фэрфилд приложился к бутылке еще раз, и путь продолжался в молчании.

Когда они приехали, новой миссис Фэрфилд представил Ухаря сам мистер Фэрфилд.

— Лапонька, у нас новый член семьи.

И он плюхнул Ухаря на колени миссис Фэрфилд с громким, но не очень совиным «Ух! Ух!»

— Какой милочка! — сказала миссис Фэрфилд не очень убежденно.— Какая прелестная лапочка! — Она сделала затяжку и спросила: — Только кто же это такой?

— Какая птица кричит «Ух! Ух!»? Это филин. Ты посмотри на него. У него клюв совиный и глаза большие. Не иначе как филин. Так что будем звать его Ухарь.

— Но у него ушки, как у плюшевого мишки! — возразила миссис Фэрфилд.

— Ну так что? Никто не совершенен. Так что это филин, и хрен с ним. Поцелуй его. Ну!

Миссис Фэрфилд положила сигарету в пепельницу, вздохнула, улыбнулась и осторожно поцеловала Ухаря в клюв. Ухарь понял, что этот поцелуй — настоящий, совершенно искренний, и знал, что с этого момента он — член семьи Фэрфилдов. И это он, который думал, что никакой семьи у него никогда не будет, и вся жизнь пройдет в ящике в подвале голландской реформатской церкви.

— Годится? — спросила миссис Фэрфилд, поворачиваясь к мужу.

— Теперь скажи, что ты его любишь.

— Я тебя люблю,— сказала миссис Фэрфилд, все еще глядя на мистера Фэрфилда с некоторым беспокойством.

— Теперь годится,— сказал мистер Фэрфилд, обтирая руки о шерсть у себя на голове — того же цвета, что у Ухаря, только намного длиннее.— Это дело утрясли. Ты теперь иди заваливайся спать, а мне еще надо кой-куда съездить.

У миссис Фэрфилд вид был слегка разочарованный, но она не спросила ни куда он, ни можно ли ей с ним.

Вообще она была домоседкой, и в этом и Мокрик, и Ухарь брали с нее пример. Они могли часами сидеть в тесном кресле и смотреть телевизор вместе с миссис Фэрфилд или играть вдвоем под большим обеденным столом с горами сложенной одежды, ожидающей глажки. Очень редко выходили они из дому, потому что знали: есть серьезные причины этого не делать. Сразу за домом был лес, а мистер Фэрфилд про этот лес рассказывал страшные сказки. У животных — очень многих — нет человеческих семей, в которых можно жить, и дома нет, а только леса, а там опасно бывает даже для сов. Совы сами хищники, и охотятся на мышей и на птиц поменьше, но и на них тоже охотятся волки, медведи и змеи. А для молодых котиков, говорил мистер Фэрфилд, лес — это верная смерть. И Мокрик никогда, никогда не должен ходить в лес один, и даже с Ухарем не должен, а то их там хищники съедят живьем.

Мокрик, слушая эти рассказы, дрожал от ужаса. А вот Ухарь иногда думал, не преувеличивает ли малость мистер

Фэрфилд насчет леса. Что верно, то верно — лес был. Он был виден в окна, и лесных созданий тоже иногда удавалось увидеть — оленей, и двух симпатичных сурков, и разных птиц, некоторых миссис Фэрфилд знала — вороны, малиновки и синицы, но для прочих у нее не было имен. А на закате летом бывали даже летучие мыши со своими писклявыми неприятными песнями. Но в самом ли деле эти лесные создания так враждебны и опасны, как в рассказах мистера Фэрфилда? Ухарь в этом не был убежден.

И совершенно другой вопрос: а Мокрик в самом деле был кошкой? Миссис Фэрфилд однажды сказала, что он, как ей кажется, гораздо больше похож на медведя коала. И даже указала, что у него уши точно как у того коалы из рекламы авиалиний «Кантас». Кантас — австралийская компания, а там эти медведи и живут. Ухарь думал, что в этом что-то есть. Даже без носа Мокрик был больше похож на коалу, чем на кота.

Но мистер Фэрфилд был неколебим. Мокрик — кот. И в доказательство он спел песню. Вот такую:

Филин и Кошка отправились вдаль
На лодке в утренний час.
И взяли в дорогу денег немного
И хлеба кусок про запас.
Филин на звезды тогда посмотрел
И тихо запел под гармошку:
О Кошка моя! — так Филин пропел,—
О что за красавица Кошка!
О что,
О что,
О что за красавица Кошка!

— Мокрик не девочка,— возразил Ухарь.

Впервые он позволил себе противоречить мистеру Фэрфилду, и мистер Фэрфилд наградил его мрачной гримасой, а потом тумаком, от которого Ухарь перелетел через полкомнаты.

— Если я говорю, что он девочка, так он, твою мать, девочка и есть. А если я говорю, что он Киска, значит, он Киска. Дошло?

— Гарри, прошу тебя,— сказала миссис Фэрфилд.

— Гарри, прошу тебя! — повторил мистер Фэрфилд плаксивым тоном, желая, очевидно, передразнить жену, хотя вышло совсем не похоже.

— Я думаю, все кошки — девочки,— сказала миссис Фэрфилд Ухарю.— Псы — мальчики, а кошки — девочки.

Никто не подошел помочь Ухарю, пока мистер Фэрфилд не вышел из комнаты, но Мокрик обменялся с ним сочувственным взглядом, хотя и очень печальным.

Потом, когда они могли говорить, не опасаясь быть подслушанными, Ухарь возразил (шепотом и под простыней):

— Так мы ничего не можем сделать? Так нам и придется тут сидеть и терпеть все издевательства?

— Он бывает очень злой,— согласился Мокрик.

— И с миссис Фэрфилд такой же злой, как с нами.

— Даже злее. В прошлом году, примерно за неделю до Нового года, *первую* миссис Фэрфилд отвезли в приемный покой больницы, и ей там семь швов наложили на голову. Ей пришлось носить бандану, а когда она ее снимала, швы были видны.

— А зачем он это сделал? — спросил Ухарь, пораженный ужасом.— И что это он сделал?

— Ну, они пели тогда песню, его любимую. Снова и снова. И наконец она сказала, что устала и больше не может петь, и он сидел как раз там, где ты сейчас сидишь, и смотрел на нее, а потом встал и дал ей гитарой по голове. Знаешь, что я думаю?

— Что?

— На самом деле он разозлился на гитару. Потому что никогда не умел хорошо играть. Хотя никто особо не жаловался, особенно при нем. Только для него было большое облегчение, что никто больше не будет слышать, как паршиво он играет на гитаре. Он так и не завел другую взамен разбитой.

— Не очень он приятная личность,— угрюмо буркнул Ухарь.

— Не очень,— согласился Мокрик.— А нам надо постараться немножко поспать. Завтра снова день.

Он обхватил Ухаря руками, и они заснули.

В таком маленьком доме, в пустынной части страны, в отсутствие ближних соседей было неизбежно, что Мокрик и Ухарь будут проводить вместе много времени и очень подружатся. Мокрик узнал от Ухаря про голландскую реформатскую церковь, и про преподобного Друри, и про Двенадцать Шагов Анонимных Алкоголиков. О жизни Ухаря до того, как он стал церковным филином, мало что было рассказывать. Он был призом в игре по бросанию колец на уличной ярмарке Большой Развилки по случаю двухсотлетней годовщины Дня Независимости, но девочка, которая получила Ухаря от победителя, почти сразу пожертвовала его на еженедельной гаражной распродаже реформатской церкви. Ухарь признался Мокрику, что часто чувствовал себя как румынские дети из той передачи, которую каждый день слушал преподобный Друри. Они прожили все детство в приюте и потом трудно сближались с приемными родителями.

А Мокрик на это ответил:

— А ты знаешь, я не уверен, что это так уж плохо. Есть родители, с которыми лучше не сближаться больше, чем это абсолютно необходимо.

— Ты хочешь сказать... мистер Фэрфилд?

— И не только он,— кивнул Мокрик.— *Она* была ничуть не лучше, *первая* миссис Фэрфилд. Сейчас наша жизнь на самом деле лучше, чем была тогда, при ней.

— Ты никогда еще о ней не говорил. Это она тебя...— Ухарь коснулся конца клюва культей крыла, имея в виду ту же область лица Мокрика.

— Нос оторвала? Нет, это было еще в детском саду. Там был мальчик, Рей Мак-Нолти, который вечно тянул меня за нос, и тянул, и тянул, и тянул. Мисс Вашингтон ему го-

ворила перестать, но он не слушал. И однажды, когда всем полагалось спать, он его просто оторвал. Так этому Рею Мак-Нолти этого было мало! Он еще взял ножницы и вспорол мне шов на шее.

— И никто никогда не пытался его зашить?

Мокрик подошел к креслу рядом с входной дверью и мрачно на себя посмотрел. Шея у него была вспорота спереди и до самого левого уха, отчего у него голова грустно наклонилась в сторону, и был такой вид, что когда он говорит, ты должен внимательно слушать.

— Однажды. Однажды миссис Фэрфилд пыталась зашить мне шею — новая миссис Фэрфилд. Она хотела как лучше, только за иголку и нитку ей бы лучше не браться. Но я уже привык. Теперь мне все равно, как это выглядит.

Ухарь подошел к нему и попытался запихнуть набивку в рану на шее.

— Это просто позор! Чуть-чуть поработать иголкой — и ты будешь такой красивый!

Мокрик отвернулся от зеркала.

— Спасибо на добром слове. Да, так я тебе рассказывал про первую миссис Фэрфилд.

— Она была вроде него? — спросил Ухарь.— В смысле, тоже пила?

— Да, а когда напьется, начинала буянить. Они всегда ссорились, и она любила что-нибудь ломать. Выбросила электрическую сковородку прямо в окно кухни. Она вылила на него целую бутыль красного сладкого, когда он валялся пьяный на половике, а потом на него наползли муравьи — ух, что было! А потом, если он давал сдачи, она вызывала полицию. Два раза сажала его за решетку.

— Так чем все кончилось? Они развелись?

Ответ Мокрика был почти неслышным. Ухарю пришлось переспросить.

— Она умерла,— ответил Мокрик хриплым шепотом.— И это тоже вышло не случайно.

Рассказывать подробности ему не хотелось, и Ухарь знал, что не надо докучать ему вопросами. Все равно надо было решить куда более серьезный вопрос:

Мокрик предложил Ухарю пожениться!

Ухарь было возразил, что они одного пола, но Мокрик напомнил ему об однополых браках, которые все время обсуждаются по новостям, и хотя их не разрешают ни у южных баптистов, ни у католиков, ни у ортодоксальных евреев, они двое все же принадлежат к голландской реформатской церкви, если вообще к какой-то принадлежат. А кроме того, мистер Фэрфилд говорит, что Мокрик не мальчик, а девочка, так что это не будет однополый брак. Важно то, что они любят друг друга и будут любить друг друга до конца времен или пока смерть не разлучит их. И в конце концов Ухарь ответил словами песни: «Поженимся скорее, не в силах я больше ждать, но только сперва расскажи мне, откуда кольцо нам взять?»

В стихотворении филин и кошка приплывают на лесной остров и покупают у свиньи за шиллинг кольцо из носа, но в реальной жизни найти кольцо было куда проще, потому что у миссис Фэрфилд была шкатулка с украшениями, и там много всяких колец, которые бывают в ювелирных магазинах. Кольца с рубинами, и кольца с изумрудами, и два кольца с аметистами (новая миссис Фэрфилд была Водолеем, а аметист — это камень рожденных в феврале), но окончательный выбор пал на кольцо с четырехкаратным цирконом бриллиантовой оправки в четырнадцатикаратной золотой оправе из «Магазина на диване».

Они поженились в лесу за домом в пасмурный июньский день, когда мистер и миссис Фэрфилд поехали в Большую Развилку поговорить с адвокатом. Мокрик был одет в кухонное полотенце в красно-белую клетку, и Ухарь сказал, что он похож на арабского террориста. Сам Ухарь был в черном. Это впервые они были вместе в лесу так далеко, что даже крыши дома не было видно. По *их* понятиям,

это ничего иного не могло значить, как то, что они заблудились!

Мокрик взялся лапой за обрывок крыла Ухаря и произнес:

— Венчаюсь с тобою!

И ответил филин:

— В горе и в счастии.

— В болезни и в здравии.

Больше они ничего не могли вспомнить из церемонии, только поцелуй. И еще была проблема, что делать с кольцом, когда оно стало их кольцом, Мокрик хотел вернуть его и шкатулку миссис Фэрфилд, но у Ухаря сразу сделался такой несчастный вид, что Мокрик предложил другой план. И они зарыли кольцо под камнем в лесу, отметив место, где была их свадьба.

Когда они вернулись домой, там вместе с мистером и миссис Фэрфилд был их адвокат, мистер Хабиб, и еще два полисмена и одна дама, миссис Ярдли, с волосами желтыми, как у кинозвезды. Та, которая хотела с ними говорить. Мистер Хабиб сначала сказал, что это смешно — мальчик аутичен и дезориентирован. Из разговора с ним ничего не выяснишь, и вообще это дело безнадежное. Этого мальчика не заставить отвечать на вопросы. Мистер Хабиб уже пытался, и полиция тоже.

— Но я поняла из замечаний, которые сделал в своих показаниях мистер Фэрфилд, что он *говорит* со своими плюшевыми медведями или за них. И я вижу, что они у него с собой. И я хочу поговорить с этими медведями. Наедине.

— Хотите говорить с парой засранных медведей? — заржал мистер Фэрфилд.— Может, устроите им допрос третьей степени?

— Прошу отметить в протоколе,— сказала миссис Ярдли,— что у нас есть причина подозревать неблагополучное состояние ребенка и угрожающую ему опасность. Существует целое дело об издевательствах.

— Все эти обвинения связаны только с покойной,— указал мистер Хабиб.— А этот мальчик явно не подходит для официального допроса.

Миссис Ярдли мило улыбнулась ему и присела возле Ухаря.

— Но я же не собираюсь говорить с мальчиком. Я вот с этим маленьким другом хочу познакомиться. И с его приятелем.— Она ласково погладила Ухаря по клюву и потрепала Мокрика по голове.— Если *кто-нибудь* меня представит.

Мокрик отвернулся, но Ухарь был не так застенчив.

— Меня зовут Ухарь,— поведал он шепотом.— А это — Мокрик.

Мистер Хабиб энергично запротестовал, утверждая, что миссис Ярдли поступает против правил, но она просто не обратила на него внимания и стала говорить с Мокриком и Ухарем, рассказывая им про других плюшевых медведей, которых она знала и уважала, про Эванджелину, которая жила в Твин-Форкс и была всегда одета как топ-модель, Дрейфуса, который носил галстук-бабочку и знал разные вещи про Инвестиционные Фонды Открытого Типа, и про Жан-Поль-Люка, который говорил только по-французски, и миссис Ярдли поэтому не очень хорошо его понимала, пока не прошла в школе годовой курс французского, а было это очень давно.

Она оказалась действительно приятной дамой, но чем она была приятнее, тем грубее становился мистер Фэрфилд, и в конце концов ей пришлось попросить двух полисменов проводить мистера Фэрфилда к полицейской машине. Мистер Хабиб вышел с мистером Фэрфилдом, а миссис Фэрфилд поднялась наверх.

Когда они остались с миссис Ярдли наедине, она сменила тему и перестала вспоминать знакомых плюшевых медведей, а захотела узнать все-все-все про Фэрфилдов. Ухарь хотел ей помочь, но он мало что мог ей рассказать про первую миссис Фэрфилд. Мокрик поначалу не так уж

ей доверял и про многое говорил, что не помнит, особенно про ту ночь, когда умерла первая миссис Фэрфилд.

Ухарь постепенно понял, что миссис Ярдли думает, будто мистер Фэрфилд убил свою первую жену и сейчас ищет способ, как это доказать. Когда она перестала задавать вопросы Мокрику, она стала спрашивать то же самое у Ухаря, хотя он и объяснил ей сразу, что жил еще в голландской реформатской церкви, когда убили миссис Фэрфилд.

— А! — сказала миссис Ярдли.— А почему ты говоришь «убили»? Ты не веришь, что это был несчастный случай?

— Не *знаю* я! — отбивался Ухарь, готовый заплакать.

— А я думаю, она сама на себя руки наложила,— сказал вдруг Мокрик, хотя его и не спрашивали.— Так говорит мистер Фэрфилд.

— В самом деле? А кому он это говорил? Тебе?

— Нет, мне он всегда говорит, что это был несчастный случай и чтобы я про это не думал. Но я слышал, как он говорил это *новой* миссис Фэрфилд...

— Это Памеле Харпер? Той даме, что поднялась только что наверх?

— М-гм. Он ей сказал, что никто столько снотворных таблеток случайно не принимает. Он ей говорил, что думает, что она, наверное, подмешала их себе в мороженое, «Роки роуд». Она могла съесть целую пинту «Роки роуда». Особенно если они перед тем подрались. Он извинился и принес домой мороженое. И никому больше ни кусочка не дал.

И чем больше Мокрик объяснял миссис Ярдли про мороженое, и про выпивку, и про споры, которые тут бывали, тем яснее становилось Ухарю, что мистер Фэрфилд, наверное, убил свою первую жену, подмешав снотворные таблетки в мороженое. А потом поставил бутылку виски туда, где она ее должна была найти, когда он оставит ее одну. Ясно, что миссис Ярдли подозревала то же самое.

И тут с диким шумом новая миссис Фэрфилд скатилась с лестницы, как буря, и вылетела из дому, чтобы бро-

сить своему мужу обвинение в краже четырехкаратного бриллиантового кольца из ее шкатулки.

Ухарь с тревогой посмотрел на Мокрика, а Мокрик откинул голову назад и стал смотреть на причудливый узор водяных потеков на потолке. Миссис Ярдли больше ничего не смогла у них вытащить и потому оставила их в покое и отошла к входной двери, где мистер и миссис Фэрфилд орали друг на друга, пока мистер Фэрфилд не перешел от словесных оскорблений к действиям и не дал миссис Фэрфилд пощечину — а миссис Ярдли ничего больше и нужно не было. Эту ночь Мокрик и Ухарь провели в семейном приюте в сорока милях от дома Фэрфилдов, и там они и жили, пока продолжался суд над мистером Фэрфилдом за убийство первой жены. Они по закону не имели права быть свидетелями на суде, и Ухарь лично был рад, что избавлен от такого неприятного долга. Что он мог бы такого сказать, что помогло бы мистеру Фэрфилду? При всех своих недостатках этот человек был ему вроде отца, и Ухарю не хотелось бы присутствовать, когда присяжные вынесут вердикт: «Виновен в убийстве первой степени».

В семейном приюте Мокрику и Ухарю не особенно позволяли друг с другом видеться. Встречались они только в прачечной, когда там никто не стирал одежду, или на чердаке, куда им ходить не полагалось. И даже когда им удавалось улучить несколько минут наедине, без других обитателей приюта, они не находили слов. Мокрик потихоньку опять сползал в депрессию и уныние, которые не давали ему ни с кем разговаривать, пока он не встретил Ухаря. А Ухарь большой кусок своей жизни провел в подвале голландской реформатской церкви, долбя таблицы умножения.

Никто из них не захотел говорить с мистером Фэрфилдом, когда он звонил по телефону, а миссис Фэрфилд ни разу не позвонила. Может быть, на самом деле она и не была женой мистера Фэрфилда, а только подружкой. И вообще она куда-то уехала, где адреса не было.

— Ты по ней скучаешь? — спросил как-то Ухарь у Мокрика в холодный ноябрьский день, сидя рядом с сушилкой в прачечной.

— Да нет, пожалуй. Скучно было смотреть все эти программы по каналу домашних покупок. Я и первую-то миссис Фэрфилд не очень любил, но с ней было забавнее.

Ухарь меланхолично рассматривал большой узел с бельем на полу.

— А знаешь что? Я по *нему* скучаю.

— Слушай, нам так гораздо лучше,— заверил его Мокрик.

— Надеюсь. А он *долго* будет сидеть в тюрьме?

— В газете было сказано: минимум двадцать один год.

— Подумать только! Ему будет, сейчас посчитаю...— Ухарь произвел мысленный расчет,— почти пятьдесят пять, когда он выйдет. Ну, я думаю, он это заслужил. Если ты кого-то убил, за это надо расплачиваться.

Мокрик странно улыбнулся Ухарю. Местная дама зашила ему рану на шее, и теперь его голова склонялась чуть в другую сторону, и это нервировало.

— Верно,— согласился он.— Но ты же знаешь, что *он* миссис Фэрфилд не убивал.

— Да-да, так и мистер Хабиб говорил — ничего, кроме косвенных улик.

— Нет, я не о том.

— А о чем? Что она действительно покончила с собой?

— Нет, это я ее убил.

Ухарь был ошеломлен.

— Но этого не может быть! Ты же просто...

— Игрушечный медведь? — спросил Мокрик с улыбкой.— Так ты думаешь, что игрушечные медведи — просто глупые пушистые бессловесные звери?

Ухарь покачал головой.

— Может, мы не живем в лесу, но мы — медведи.

— Я — филин! — возразил Ухарь.

— А я — котик. Но оба мы — медведи. Не спорь — просто посмотри на свои уши. Мистер Фэрфилд как раз там, где ему следует быть, а что до нас, я думаю, нас усыновят хорошие люди. Миссис Ярдли говорит, что на нас уже много заявлений.

Так это и вышло. Их усыновили Кертис и Меви Беннеты, и они переехали в дом на побережье Джерси и там, как в том стихотворении:

...в руке рука, на краю песка,
Танцевали они при луне,
Вот так,
Вот так
Танцевали они при луне.

Но венчальное кольцо их осталось там, где они положили его, под камнем в лесу, на месте их свадьбы.

Стивен Спрюлл

ГЕМОФАГ



Двери лифта раскрылись, первая струйка запаха крови была как стебель розы, вознесшийся в вазе, потом заиграли хищные обертона... У Меррика запершило в горле. Кабина дернулась, но он держался крепко. Перед глазами темно-коричневый ковер, серые обои с серебристым узором. В полосе света из лифта кружились пылинки. Там где-то люди — спешат мимо. Но это — там, отсюда никого не видно. Можно нажать кнопку лифта, сказать полицейскому в вестибюле, что оставил что-то в машине, и вернуться к Кэти — ведь там его место. Но труп уже проник в него, атомы мертвой всасывались в его кровь — с каждым вздохом.

Меррик выпустил лифт и шагнул в холл, ладони покалывало там, где он прижимал их к поручню. За спиной сузился и погас свет со стуком закрывшихся дверей, оставив бледные вспышки двадцатипятиваттных канделябров, слишком далеко расположенных друг от друга.

Они любят, когда темно. Здесь можно проскользнуть не боясь, что заметят, если вдруг даже выйдет кто из жильцов...

© Перевод. М. Левин, 2005.

Меррик стиснул зубы. Черт побери этого лейтенанта — «нет» для него не ответ, пожалуйста, только взглянете. Он знать не мог, о чем он просит.

У открытой двери в конце коридора — еще один полицейский. Когда он поднял руку с фонарем, лицо его осветилось отраженным от стен светом.

— Здесь место преступления. Если вы обойдете вокруг...

— Я Меррик Чепмен.

Коп подтянулся и покраснел.

— Да, сэр, простите! Я думал, вы старше.

И не ошибся, сынок.

Тесный вестибюль переходил в узкий коридор — слева и небольшую гостиную — прямо, где паркет был укрыт персидскими коврами. Удобное кресло в углу сразу же привлекло внимание — Меррик понял, что это и было любимое место. Растения в горшках переплетались над ним кружевом, а стоящий позади торшер давал достаточно света для чтения. На полу лежал открытый любовный роман яркой обложкой вверх. Два эксперта в перчатках возились около кресла.

— Лейтенант!

Дес, сзади. Меррик обернулся. Его удивило, что Дес столь изрядно прибавил в весе. И сколько белых нитей в черных волосах. Все еще пижонски одевается, но уже без своих излюбленных масайских мотивов в подтяжках и галстуках. Просто черный шелковый блейзер, белая рубашка и угольного цвета брюки — форма ответственного сотрудника.

— Сам ты лейтенант.

— Отлично выглядишь, Меррик. Черт, ты будто какой-то греческий эликсир нашел, будто вчера только ушел со службы. А вот я...— Он бросил укоризненный взгляд на собственное брюхо.— Спасибо, что приехал. Я у тебя в долгу. Черт, я и раньше у тебя в долгу был.

— Ничего ты мне не должен, Дес.

— Ага. Это какой-то другой Меррик выкручивал всем руки, чтобы меня назначили на его бывшую должность.

— Ты все еще считаешь это услугой?

— Наверняка лучше, чем просиживать задницу в наблюдении и кемарить в дежурке. А свой милый офис я всегда могу послать подальше, если пожелаю.— Он оглянулся через плечо в коридор, и ничего близкого к такому пожеланию в этом лице не было.— Степански тебя остановил при входе?

— Который у двери? А что ты ему вообще сказал?

— Только твою фамилию. Хороший мальчик, рвется в детективы, ошивается возле наших ребят и впитывает их боевые рассказы, как губка. У тебя все еще рекорд по раскрытым убийствам.

Меррик ощутил неловкое удивление. Люди в департаменте еще о нем говорят? А что это меняет? Ему сейчас уже мало есть что скрывать.

Дес протянул пару латексных перчаток. Пока Меррик их натягивал, в мозгу промелькнули видения отмеченной синевой мраморной кожи, неподвижных глаз, крови, темной и ароматной, всегда пахнущей по-разному. На секунду снова вернулась мысль о бегстве — сейчас уж совсем не ко времени!

— Она в ванной,— сказал Дес.

Меррик прошел по узкому коридору мимо крохотной спальни — кровать аккуратно накрыта цветастым покрывалом. Ванная была большая, с розовыми и зелеными плитками под стиль пятидесятых. Женщина лежала в ванне, глаза закрыты, губы раскрыты, будто задремала. Простоватое лицо при жизни было красивее. Кровь в воде наполовину скрывала тело. Меррик глянул — вот он, около ванны, возле ее плеча — поварской нож с длинным остро отточенным лезвием, блестящим от крови. Дес вынул из воды алебастровую руку. Порез был глубокий, вдоль запястья, а не поперек. Наклонившись ближе, Меррик осмотрел рану, голова чуть закружилась от отравленного запаха. Горло перехватило, но потом он смог проглотить слюну. Он опустил руку в воду — холодна, как камень.

Позвоночник свело напряжением, но он спросил:

— Почему ты заподозрил убийство?

— Ты не считаешь, что вода должна была бы быть темнее? Я видал четыре или пять самоубийств в ванне, и обычно тела не разглядеть, если порезанная рука не снаружи и кровь не стекла на пол. А на запястье нет старых следов. Откуда она знала, как сделать разрез? Она не врач. Продавала туры в агентстве.

— Записка?

Дес покачал головой.

Меррик посмотрел на него:

— Ты меня экзаменуешь, Дес?

Лейтенант ухмыльнулся, и на секунду годы умчались прочь.

— Я уверен, ты заметил,— сказал Меррик,— что кровь на ноже еще не засохла, а это значит, что прошло не больше часа. Так почему же вода такая холодная?

— Вот именно. Никто не залезет в холодную ванну резать себе вены. Тот, кто это сделал, никак не рассчитывал, что хозяйка войдет, чтобы отдать щипцы для завивки.

Меррик закрыл глаза, и ему представилась высокая фигура — фигура человека, крадущегося по сумрачному коридору к этой квартире. Или, быть может, лезущая по наружной стене к скошенному окну. Он увидел женщину, сидящую в кресле за чтением, может быть, она подняла голову, ощутив изменение в воздухе. Но убийцы она не видела, потому что он ментально коснулся капилляров ее сетчатки и пережал их, создав слепое пятно, которое мозг жертвы заполнил знакомыми предметами обстановки. Потом он расширил ей яремные вены, откачивая из мозга кровь, и подхватил, когда она упала. Он едва ощущал ее вес, относя в ванную на руках, которые способны поднять грузовик, с кистями, которые могут пробить стену. У нее не было никаких шансов, совсем-совсем ни одного шанса не было, потому что вампиров не существует. На самом деле эта женщина, быть может, видела своего убийцу, но только в самой глубине мозга, где нет ожидаемых образов,

способных заполнить слепое пятно. Романисты создали образы кровососов, искаженные их горячечным воображением, а Голливуд бросил эти искажения на экран, и это, по иронии судьбы, показанное в ложном свете, только лучше скрыло тайну веков. Да, мы знаем о вампирах, и главное, что мы знаем о них,— это то, что они выдуманы.

Ладно, крест или осиновый кол эту женщину не спасли бы, но сигнал тревоги, подключенный к видеокамере, мог бы. Сколько уже гемофаг, побывавший сегодня здесь, бродит среди людей и берет то, что ему нужно,— двести лет? Тысячу? Бродил ли он в глухую полночь по истоптанным полям Гастингса или Ватерлоо, выпивая кровь умирающих? Сколько тел оставил он в лесах, где зубы других зверей стирали следы его собственных? Сейчас можно выследить убийцу по одному волосу или следу его крови — если он человек. Но если кто-то гибнет в автомобильной аварии, при пожаре, просто исчезает, кончает самоубийством — убийцу даже не ищут.

— Что мне теперь хотелось бы знать,— сказал Дес,— это где остальная кровь? На полу ее точно нет. И в ней тоже нет, потому что она бела, как хлеб причастия. Ты думаешь, он мог вернуться — наш убийца-вампир?

Наш убийца-вампир.

— Я думал, он мертв,— протянул Дес.— На самом деле я верил в ту теорию, что это ты его убил.

Меррик пристально на него глянул.

Дес развел руками:

— Слушай, я же тебя не обвиняю. Но ты дни и ночи охотился за этим злобным гадом, а потом перестал — и он тоже.

Меррик увидел подземелье в лесах Вирджинии, ряды лежанок в общих залах для тех, кто слишком ослабел и не может больше двигаться. Он увидел Абези-Тибода, Балберита, Процела, лежащих в индиговом полусвете, разметав по подушке волосы. Лица мертвых фараонов, пока не заметишь мерцающих ненавистью глаз. Вокруг за железными

решетками вопили и бесновались другие — туда он помещал свежепойманных, и туда он наконец поместил Зана.

К горлу подкатила тошнота. Не надо было сюда приходить. Кошмар кончился и не должен начинаться заново.

— Да, ты много еще мотался несколько месяцев после последнего убийства,— сказал Дес.— Но ты никогда бы не ушел в отставку, если бы знал, что он еще здесь. По крайней мере так мне хотелось думать.

— Ты думаешь, я поймал бы его и не арестовал, а просто убил?

— Твой секрет я бы не разболтал.

Меррик ощутил тяжесть в груди. *Обвинитель, судья, палач.*

У Деса был смущенный вид.

— Слушай, ты меня извини, не надо было мне это говорить. Я не знаю человека более цельного, чем ты. Я знал, что все это, наверное, принятие желаемого за действительное. Я смотрел все сводки еще несколько лет, когда убийства прекратились,— посмотреть, не начнутся ли они в другом месте. Не начались. А это явно другой почерк. Тот убийца, тринадцать лет назад, выставлялся напоказ. Этот...— Дес поглядел на труп в ванне и проглотил слюну.— Этот хитер, Меррик. Кто бы он ни был, он не рассчитывал, что всплывет убийство — нам просто повезло. Но недостающая кровь заставляет вспомнить того типа тринадцать лет назад. Сколько еще сукиных сынов настолько спятили, что вообразили себя вампирами? — Дес покачал головой.— Где ее кровь? И не говори мне, что он ее выпил.

Меррик положил Десу руку на рукав:

— Не фиксируйся на этом. Это может ничего не значить. Может, у нее была по-настоящему медленная свертываемость, и потому нож еще мокрый. Тогда это могло случиться три часа назад — достаточно, чтобы вода остыла.

— Ты думаешь, такое может быть? — На лице Деса отразилась борьба надежды и сомнения.— Черт, может быть.— Он шумно выдохнул.— Посмотрим, что скажет лаборатория. Я тебе сообщу.

— Не надо.

— Ладно. Я думаю, тебе хватило психов на всю оставшуюся жизнь.

Меррик не ответил.

— Извини, что на тебя это навалил.

— Не бери в голову.

— Привет от меня Кэти,— сказал Дес.

— Обязательно.

У Меррика посветлело на душе. Кэти, его теперешняя жизнь. В этот час им полагалось пить кофе в кабинете, обсуждая ее день в больнице. Потом они поднимались наверх...

Но он еще не может ехать домой. Пока не будет уверен.

Меррик остановил машину, выключил фары и подождал, пока уляжется пыль. Перегнувшись к пассажирскому сиденью, он осмотрел ферму Зана. Калитка, прикрученная ржавой проволокой к столбу,— как на скотном дворе. Ни машины, ни огней в доме, но это ничего не значит.

У Меррика от напряжения свело желудок. Съехав на наклонную обочину, он заглушил мотор и вышел. В ночном воздухе, холодном и тихом, слышимость идеальная. Отключившись от тихого тиканья остывающего двигателя, Меррик засек шуршание в поле возле дома и направился туда, пристально изучая траву в красноватом подобии дневного света. Енот в траве встал на задние лапы, почувствовал его взгляд и быстро удрал.

Он повернул к дому. Когда темнота вокруг расступилась, ветхость здания стала огорчительно очевидной. Со столбов веранды облупилась краска,— днем она была бы бледно-желтой. Маскировочная лента вилась по стеклу двери, закрывая трещину в стекле. Еще месяц-полтора, и клены по обе стороны веранды скроют кое-какие недостатки свежей листвой, но сейчас все это выглядело скорее как развалины.

— Подойди.

Приглушенный голос Зана. Тут Меррик увидел его — высокий серый силуэт, плавающий в прямоугольнике треснувшего окна. Миновав калитку, он поднялся к веранде по травянистому склону, и грудь его сжималась от ужаса. Заскрипели под ногами доски — последняя система предупреждения, которую никому не отключить. Звонкая наружная дверь, ручка, холодная, неподатливая. Меррик отступил на несколько шагов. Зан глядел на него без всякого выражения на смуглом гладком лице. Соболиные волосы он подстриг коротко, как шерсть пантеры.

— Сегодня у меня был вызов. Молодая женщина умерла в ванне. Вены вскрыты, исчезло много крови. Ты?

— Я этого больше не делаю. Беру немного, когда они спят. Хочу их убивать, но не убиваю. Мы — львы, они — зебры, но наутро они все просыпаются. Потому что теперь я такой, как ты. Ты это сделал.

Меррик тогда взялся за плеть не дрогнув, шрамы оставила его собственная рука. Как может правильный поступок ощущаться таким неправильным? Он позволил логике загнать себя в капкан: только он может остановить Зана, следовательно, если он этого не сделает, кровь на его руках.

И потому я похоронил своего сына тринадцать лет назад, чтобы спасти легион чужих людей. Потому что они похожи на нас. Они вспыхивают и гаснут в мгновение ока, но у них наши лица. А у нас — их. Неужели Зан забыл свою мать, которая была из людей?

У Меррика сжалось сердце. Пятьсот лет, и кости ее стали прахом, но он ее не забудет. Она в Зане, ее смуглая красота в его лице бедуинского шейха, молодом навеки.

— Ты получил то, за чем пришел,— сказал Зан.

В мозгу Меррика слышался тот же голос, и он молил: «Не оставляй меня, прошу тебя...»

Но я его оставил.

Меррик увидел мысленным взором келью, как заставлял себя видеть каждый день: Зан, скорчившийся на ле-

жанке, придавленный бесконечной однообразной тьмой, лишенный будущего, и оставлены ему лишь все воспоминания, вся охота, льющаяся кровь. Видел ли он их во тьме — призраков с разорванным горлом и багряной грудью, произносящих бледными губами безмолвные укоры?

Молился ли он?

Выпусти меня, и я не буду больше убивать.

И тут неуловимая дрожь касается его подошв. Прижимая ладони к двери, он задерживает дыхание, ожидая другой, страшной иллюзии. Земля дрожит, ее глухой рокот поглощается оглушительным треском, бетон разрывается от пола до потолка, осыпая его крошкой. Сердце прыгает у горла, он бросается к стене и прижимается глазом к пролому, смаргивая струи пыли, вопя от облегчения, найдя изломанную линию дневного света, всего два дюйма, все, что ему нужно.

Меррик ощутил, как свет избавления заливает его собственные глаза. Чудо. Ты это был, Бог? Или дьявол? Кто бы ни устроил то землетрясение, я благодарю тебя. Еще один шанс, для нас обоих.

Зазубренные колеса жажды зашевелились в горле. Он представил себе Зана, пьющего из пакетов для переливания крови, берущего только чуть, оставляющего им их жизнь — или смерть?

Женщина в ванне сегодня — сделала сама свой выбор?

Быть может.

Самоубийство. Медленная свертываемость, вот и все.

Да.

Он приложил руку к стеклу.

За ним погас зеленый взгляд.

Еще миг Меррик видел своего сына, потом Зан исчез красных тенях пустой комнаты.

Майкл Маршалл Смит

КНИГА ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ



Симпатичная пустая страница. Страница номер три. $3 \times 3 = 9$, следовательно, 0. Начало. Начиная новый блокнот, я никогда не пишу на первом листке бумаги, потому что, знаете ли, он всегда изгваздается. Я оставляю обе стороны пустыми, а писать начинаю со второго листа, который будет прикрыт от грязи. Вообще блокноты я использую для хобби. Сейчас мне хочется написать много разных вещей. Только не знаю, как это сделать по-настоящему. Тра-та-та, слова, слова, слова. Буквы должны во что-то складываться, только я не знаю во что. Когда что-то запишешь, это сразу уже вчерашние новости. А на самом деле почти ничего не бывает вчерашней новостью. Почти все оно до сих пор продолжается. Сегодня такой же рациональный день, как почти все прочие. Мне надо было красить дом на том краю города, и я уже почти все приготовил с утра, но дождь пошел, так что я так все и оставил.

$$14^2 = 196. \quad 8{,}56^2 = 73{,}2736.$$

В Роаноке жить забавно. Не то чтобы посередине какого-то «нигде», а близ гор Голубая Гряда. Это в Вирджи-

© Перевод. М. Левин, 2005.

нии. Никогда не видел тут одинокой сосны, потому что их тут миллиарды. Но мне это нравится. Работы полно. Людям всегда надо, чтобы с их домами что-то делали. Больше делать почти нечего, и много труда надо положить, чтобы найти вечером где поесть или выпить, по воскресеньям особенно. Единственное такое место — «Макадос», бургерхаус в центре города. Полно старшеклассников, но это ничего. Они не настолько богаты, чтобы быть гадостными. Вообще почти все — нормальная детвора. А город — это пара кварталов магазинов плюс аэропортик. Зимой можно ездить на машине по горным дорогам, открывать неизвестные места. Однажды я проехал от Ричмонда вдоль Гряды мимо всех этих усадеб. Так люди мне смотрели вслед, будто никогда автомобиля не видели. Земля, которую забыло время.

Самая, быть может, важная вещь, которую я в своей жизни открыл,— это идея цифровых корней. Когда ищешь цифровой корень числа, цель в том, чтобы свести его к одной цифре. Для этого складываешь все его цифры: например, 943 521 дает 9 + 4 + 3 + 5 + 2 + 1 = 24. Тут, конечно, все еще две цифры, так что складываешь их вместе: 2 + 4 = 6. Значит, цифровым корнем для числа 943 521 будет 6. Что интересно: для ускорения процесса можно выкинуть все цифры 9. Если в числе есть девятки или любые цифры, которые в сумме дают девять, их можно не учитывать. Значит, в числе 943 521 можно отбросить 9, а еще отбросить 4 и 5, которые в сумме дают 9. Остается: 3 + 2 + 1, что дает 6. Тот же ответ.

Я пришел к этому случайно. Не знаю, не могу вспомнить, какие шаги направили меня в эту сторону. Не знаю. Не помню ничего конкретного, но это могла быть такая мелочь, что я ее не счел достаточно важной. Помню какие-то книги, какие-то разговоры, какие-то сны. Что-то, что видел? Но ничего особого. Такого, чтобы по голове шарахнуло.

Ищешь то, что имеет смысл.

Новенькая эта из книжной лавки, Сьюзен,— красива, у нее улыбка классная, и она всегда так рада, будто знает, что рано или поздно что-нибудь приятное случится. Она — прайм*. Подрабатывает, думаю, на каникулах. И сразу заметила мой акцент. Я думаю, она думает, что он крутой. Надеюсь.

Джерри снова висит на телефоне, надоедая всем рассказами, как он готовится к Миллениуму. Макс тоже перегревается и беспокоится. А какая разница? Все думают, что год 2000 — невесть какое событие. А вот и нет. Мы уже проехали. Уже началось. Отбросьте все девятки — и увидите, почему так. Прошлый год был 1998. 1 + 9 + 9 + 8 = 27, а 2 + 7 (а то отбросьте обе девятки и просто сложите 1 и 8) = 9. Девятку отбрасываем. То есть ноль. Год 1998 — это момент ноль, конец всего, год ничто по модулю 9. А вот 1999 имеет цифровой корень 1. 1999 — это и есть год 1, 2000 дает корень 2. И год 2000 — ничего не начало, он уже после, когда все уже началось. Миллениумы для реальных людей ничего не значат. Их жизни вращаются по куда меньшим кругам. Доходить надо до корня. Если уже число не можешь свести к меньшему, оно что-то значит. А иначе это просто сложение.

Сегодня красил дом Макиллсонов. И внутри тоже кое-чего им подремонтировал. Думаю, соседу ихнему тоже надо кое-чего сделать. Так оно, к счастью, и идет.

Очень похоже, как когда что-то ломается. Когда так выходит, проходишь через этот ад. Вот как горе. Сначала идут минуты, потом часы. Недели, месяцы. Циклы вины, горя,

---

* Игра слов. Prime — одновременно и «простое число», и «цветущий возраст».

иногда и радости. А когда однажды это пройдешь, уже подругому. Первый раз ты виноватый, и деваться некуда. Потом — другое дело. Все структуры, когда-то твердые, навек разжижаются, вроде как мешок толченого стекла в патоке. Сунешь туда руку — а оно и острое, и сладкое.

Люди ко мне хорошо относятся, но я от этого бываю грустный и виноватый, потому что я знаю, что я не такой хороший. И это больно. У меня есть друзья, и всегда я шучу и смеюсь с ребятами в лавке, где покупаю материалы. А Сьюзен из книжной лавки мне теперь машет рукой, когда видит, как я прохожу мимо. Не заслуживаю я этого. Я хочу быть хорошим. Мне это важно. Когда-то я был хорошим, так мне кажется, и немножко еще осталось. Я, бывало, милю за милей мог проехать, только чтобы с кем-то повидаться — и так каждые выходные. Было во мне это — возможность быть хорошим. Но ведь не было помощи, и только гадать приходится, откуда они приходят — энергия, желание, радость. Не из меня ли, из того, что мне в себе нравится? Да, это подходит: если нет, почему оно так бессильно? Наверное, оно очень слабо, что ничего сделать не может, а тогда выходит, что не так уж оно безупречно, это «во мне». Очень похоже получается, что сидит этот дрожащий человечек в высокой башне замка за запертой дверью и ничего не хочет. Слабый, боязливый, рациональный в сердце иррационального. Рациональность — слабость, у нее нет момента, она ни в какие интересные суммы не входит. Она только лебезит.

Сегодня опять похолодало. На самом деле не то, чтобы на меня охотятся. Это будто кто-то тянется ко мне из темноты, будто непрозрачный бурый туман начинает вздуваться, когда кто-то его толкает снаружи. Думаю, холодная будет зима.

Семнадцать — последний год, когда молод. Я помню, когда был пацаном около четырнадцати, кажется, думал я, как это странно будет стать старше. Я еще как-то мог понять возраст шестнадцать или семнадцать. Восемнадцать — это был возраст вроде как двадцать один, который даже и не возраст вовсе, а законный барьер. Граница. Ты же не думаешь: «О, быть восемнадцатилетним — это будет так-то и так-то», ты просто думаешь о том, что уже не будет запрещенным. А зато вот девятнадцать. Это кажется по-настоящему старостью. Это уж — вырасти большим и перейти стену. Конечно, теперь это так не кажется. Теперь я понимаю, что 19 — это 1 и 9, а 1 + 9 = 10, а 1 + 0 = 1. Первый год старости. 1 + 8 — это 9. Год нуля.

Надо очень внимательно за всем следить.

Все думаю о людях, которые ждут открыток на день рождения, на Рождество. Телефонного звонка ждут, которого не будет. В основном — матери. Хотелось бы мне сказать, что тут есть большая разница — так ведь ее нет.

Возвести число в квадрат — проще простого. Берешь число и умножаешь его на себя. Каждый может. Дорога, по которой просто ехать,— как все время в привычном направлении.

Дороги. Помню, еще в Англии, ездил я в Кембридж из Лондона по дороге М11. Если вообще где-то в мире будет плохая погода, так она будет на М11. Это я вам говорю. Как если бы дорога была построена специально, чтобы погода могла свирепствовать. Есть там высокие участки, где ветер хватает машину и кидает ее на другие полосы, средние участки, где дождь лупит по ветровому стеклу почти параллельно земле, а еще есть ямы. Особенно возле Кембриджа длинные низкие провалы, где собирается туман и лежит, как каша в миске. У меня тогда была девушка, ко-

торая там жила. И год, а на самом деле даже больше года, я каждые выходные ездил по М11. Я ее видел весной, летом, осенью и зимой — и без разницы: погода была хуже, чем где бы то ни было. Однажды октябрьской ночью я съехал на эту дорогу с боковой — и плюхнулся в сплошной туман. На десять миль видимость такая, что еле разглядишь конец капота. Ни черта я не видел. Я своих-то фар разглядеть не мог, что там говорить о чужих. И ехал все медленнее и медленнее. Я помнил, что после следующей развилки шоссе начинает подниматься вверх, вытаскивая само себя в объезд всего города. И ждал этой развилки. Мимо меня никто не проехал, и я вообще других машин не видел — ни фар на встречной полосе, ни собственных хвостовых огней. Очень долго ехал, пока миновал первую развилку. Обычно здесь туман уже поднимался. А в эту ночь лежал, как и всюду. Такой же густой, такой же мертвящий, и точно так же надо было ехать, как через огромный сугроб, доходящий до неба. И ни звука, только гул мотора. Радио я выключил, чтобы не отвлекало. А за окнами ничего не видно, только туман клубится. Так ехал я примерно минут тридцать пять — сорок, стал беспокоиться, а еще через десять минут занервничал всерьез. Дорогу М11 я знал как свои пять пальцев, и одна мысль стала настойчиво стучать мне в голову, туда, где сидит автопилот и за всем присматривает. Не пора ли, не пора ли уже проехать следующий выезд? В нормальных условиях я проехал бы первый выезд на десятой минуте пути, а второй — на получасовой отметке. Эта ночь какой-какой — а нормальной не была, и я ехал куда медленнее обычного. Но уже прошло пятьдесят минут, как я миновал первый выезд. Проехать второй, не заметив, я не мог: большие указатели выездов на этой дороге были единственным, что я мог разглядеть в начале пути. Так где же второй? Еще десять минут. Все так же ни одной машины на моей стороне дороги и ни одной пары фар на другой. Еще пять минут, чуть прибавив скорость. Я просто был слегка... озабочен. Еще через десять ми-

нут силуэт появился из тумана, и я вздохнул с облечением. Путь уже наполовину пройден, и вот он — второй выезд. Закуривая сигарету, имея наконец возможность чуть отвлечься от дороги, я на миг задумался. Сколько еще времени нужно было бы, чтобы я запаниковал? Сколько времени нужно было бы мне ждать, чтобы «несколько долговато» стало «определенно слишком долго», и в самой глубине сердца я бы решил, что где-то ошибся, что выезд исчез, что я ползу по бесконечной, туманной дороге в никуда, оставив за спиной реальный мир?

Кто-то меня преследует. Определенно. Я это знаю. Странное положение. Все остальные болеют за охотника. А я не он. Некоторые в моем положении так себя называют, но это чистое тщеславие. Я решил, что он — коп. Он еще не знает, кто я, но он здесь. Понятия не имею, откуда я это знаю. Может, я замечал всякие мелочи, не определяя сознательно, что они значат. И я не знаю, что с ним делать. Я не хочу ни бросить, ни выдавать себя, если это в моих силах, но — может быть, он даже мой друг. Он должен что-то в этом понимать, и это может помочь. Я *не* понимаю. Частично дело в этом. Я не понимаю, почему я просто не могу быть хорошим. Вы читали книги о людях, которые — 1. 2. 3... «и это причины того, что». Простое сложение. А у меня не так, насколько я помню. У меня нечем оправдаться. У меня приличное количество друзей, и они приходят ко мне или я к ним, и мы вместе тусуемся, но все это получается как в двух измерениях. Как витражное оконное стекло — один камень, и все разлетается. Я просто *не хороший*, и это меня печалит, потому что люди со мной обращаются хорошо и я хочу быть хорошим, только не могу. Больше не могу. Однажды — это достаточно. Это слишком много. Это пятнает на всю жизнь.

Сегодня я опять был в книжной лавке, купил кое-какие книги и выпил чашку кофе. И со Сьюзен снова поболтал. Народу там было немного, и я показал ей пару фоку-

сов с цифровым корнем. Например? Ну, возьмите любое число (скажем, 4201), сложите его цифры (4 + 2 + 0 + 1 = 7), отнимите сумму от исходного числа (4201 — 7 = 4194) — и результат всегда будет иметь цифровой корень 9. Или еще: возьмите любое число (скажем, 94 213), перепутайте его цифры в любом порядке (например, 32 941) и вычтите меньшее число из большего (94 213 — 32 941 = 61 272). Угадали — цифровой корень снова 9. Эти девятки, они всюду попадаются.

Она решила, что фокусы — прикольные. Мы еще поговорили о симметричных числах, и как они не слишком часто попадаются в годах. 1991, 2002, 2112, 2222. Приехав домой, я кое-что заметил. Если посмотреть на цифровые корни, получается последовательность: 1 + (9 + 9) + 1 = 2; точно так же 2002 = 4; 2112 = 6, 2222 = 8. *Четные* числа. А теперь: 2332 дает 1, 2442 дает 3, 2552 дает 5, а 2772 дает 7. *Нечетные* числа. А это уже интересно. Быть может.

Джерри сто баксов в месяц просаживает на порнуху. Есть там одно местечко в Гринсборо. Пару месяцев назад мы как следует надрались и он мне об этом рассказал. Ничего такого особого, просто люди занимаются сексом. Его это тревожит, но он не может перестать. Он пытается, покупает, заглаживает вину. Забавно, к чему приходят бухгалтеры.

Попасть в Роанок — это езда по туманным дорогам.

От двадцати годов и после тридцати мой возраст не имел смысла. Когда-то я умел понимать возраст. Пока тебе не стукнуло двадцать, возраст имеет смысл. Каждый год после тринадцати — это большая ступень, пока не будет двадцать, а тогда они опять все меньше и меньше. После тринадцати и до двадцати. Столько становится возможным. А потом — ты только становишься старше и меньше. У тебя бывают дни рождения, иногда люди их помнят, а иногда

и нет. Когда тебе шестнадцать, а у твоего друга день рождения и ему становится семнадцать, ты уж точно об этом знаешь. Это значит, твой друг уходит на другую планету. Они там стоят выше тебя. Они старше. А между двадцать шесть и двадцать семь разницы нет. Или между сорок три и сорок четыре. Ты слишком много раз обошел кольцо. Сорок четыре — это «кому какое дело», по какому модулю ни считай.

Это как влюбиться.

Греки много чего знали о математике, но они не знали нуля. Нет, в самом деле. У них не было 0, а это значит, они не понимали, как числа связаны с людьми и что они делают. Разница между 0 и 1 — это самая большая в мире разница, она куда больше, чем между 2 и 3, это просто следующие ступени счета, а 0 — он вообще к счету отношения не имеет. Греки мало что знали об иррациональностях, и ничего — о покое, который лежит даже вне этого. Любили они совершенство, эти греки. Совершенные числа, например — те, что являются суммой чисел, на которые их можно поделить: $6 = 1 + 2 + 3$; $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$. Они же, как оказывается, являются суммой последовательных целых чисел: $6 = 1 + 2 + 3$; $28 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7$, Четко, правда? Но совершенные числа — они очень, очень редкие; иррациональности встречаются куда как чаще. Говорят, Пифагор просто притворялся, что иррациональных чисел не существует. Саму идею не мог ухватить. Вот и видно, что можно быть талантливым и все равно ни хрена не знать.

Это лежит под полом в кухне. А кухня даже не очень большая. Но это там лежит, примерно на глубине фута, лицом кверху. Оно покрыто бетоном, а поверх — отличная плитка. Но иногда, когда я вижу, как кто-нибудь из моих друзей там стоит, я думаю: господи, так это же очень

плохо. Последний раз это было, когда зашли Макс и Джули, и Макс нам смешивал коктейли на кухне. Как будто пол стал прозрачен, и я увидел, как она там лежит у людей под ногами. Не в буквальном, конечно, смысле. Видений у меня не бывает. Уж если я какой и есть, так слишком рациональный. В другие времена, и долгие, я просто забываю, и тогда вспомнить — очень плохо становится. Ну вроде: о господи, что я натворил? И что мне теперь делать? А ответ такой же, как всегда: ничего. Поздно теперь возвращаться назад. И всегда было поздно. С одной стороны — это мерзко, жалко и тошнотворно. Но в будничной жизни мне на ум вскакивают живые картины, воспоминания о том, что я сделал. Я их отпихиваю, но картинки и воспоминания такие теплые, утешительные и веселящие, как мантия короля в изгнании. Потом они начинают приходить чаще, и чувство радости крепнет, и тут-то я понимаю, что это скоро случится снова. Начинается танец, и я танцую сам с собой, но не могу понять, кто ведет в этом танце. Чудесный танец — пока он длится.

Хрупкая, изящная, маленькая. Эти маленькие — как цифровой корень грудей. Не надо носить два здоровенных куска мяса, чтобы доказать, что ты — женщина. Это в лице, в твоей природе. Обнажение до сути.

Воображение — это хорошо.

Мне придется быть очень осторожным. Из-за этого человека. Интересно, на что он похож. Интересно, что случится. То ли он исполнен праведного гнева, то ли просто делает свою работу. И еще я думаю, с чего я так уверен, что он здесь, и есть ли на самом деле какая-то структура, которую я чувствую, но не вижу. Наверное, нужны новые суммы.

Настолько запертые во мне, что даже когда напьешься, не подберешься к ним близко.

17 — число простое. Прайм. Если подумать, то семнадцать лет — это еще не взрослый, но уже и не ребенок. Не в последнюю очередь из-за того, что у него нет делителей. 16 — две восьмерки или четыре четверки, если на то пошло. Не хочу углубляться во множители детей. Простые числа от 10 до 20 — это 13, 17 и 19. 19 — слишком старый. 13 — ребенок. 17 не делится ни на что, кроме 1 и 17, и это правильно, потому что здесь только одна семнадцатилетняя. Одна реальная личность. Это отвратно. Я знаю. Но это единственная вещь, имеющая реальность. Или смысл. Если бы мне только избавиться от вины и остаться той же личностью, я был бы счастлив. Но не могу, потому что хочу быть хорошим.

Однажды мне приснилось, что у меня есть число, и я возвел его в квадрат, а результатом оказалось 2. Когда я проснулся, я хотел это число записать, но забыл, какое оно.

Вечно разрываться между тягой к тому, чего хочешь, и необходимостью быть хорошим. Столько людей живут такой жизнью. В реальной жизни я не знаю совершенных чисел. Макс женат, но хочет спать с другими женщинами. Не потому, что он не любит Джули. Любит. Только посмотреть на них — и сразу ясно, что они друг на друга не надышатся. Но он просто хочет спать с другими женщинами. Он мне это однажды сказал, когда сильно нагрузился, но я и так знал. Достаточно понаблюдать за его глазами. Голод — и вина. Его аргументы — что моногамия искусственна. Он говорит, в животном царстве очень мало видов образуют союзы на всю жизнь, для самца имеет биологический и эволюционный смысл распространять свои гены как можно шире: увеличивается шанс на оплодотво-

рение, и в генофонд вносится как можно больше изменений. Что вполне может быть правдой. Но я подозреваю, что он просто хочет покусать новые сиськи для разнообразия. При этом он, как я тоже подозреваю, понятия не имеет, что Джули сблевывает примерно одну еду из трех. Думаю, он не слишком наблюдателен.

Сегодня я снова говорил со Сьюзен, показал ей еще несколько фокусов с числами. Ей нравится, как они прыгают. Она живет вместе с двумя девушками, но ее подруги уехали на каникулы домой. Забавно, как это она говорит со мной. Осторожно, вежливо — потому что я старше. Но и дружелюбно тоже. Она просто ищет свой путь.

Я хочу быть целым, но целым можно стать, только если расскажешь, а рассказать я не могу. Так, и кто та личность, которую знают люди, а если они тебя любят, и что это значит? Почти во всем ты можешь покаяться. Ты можешь отпустить себе грех, просто сказав о нем, хоть мельком: «О боже, ты даже представить себе не можешь, что я натворил, дурак я этакий». Но не это. Этот грех не отпустишь. У меня есть близкие друзья — но не настолько близкие. Никакие друзья так близки не бывают. Моя тайна держит меня в стороне от всех. Если ты алкоголик, ты можешь попытаться признать это перед собой, Богом и еще кем-нибудь. Каждый скажет: «Да, это плохая штука», но при этом захочет тебе помочь. Я могу признаться только перед двумя первыми — и можете мне поверить, это третий определяет разницу. Не может быть иначе, потому что тогда у меня нет выхода, только смерть. Вот почему некоторые хотят, чтобы их поймали: не чтоб их остановили, не для известности — просто выплеснуть. Признаться перед Богом — ничего не дает. Насколько я могу судить, ему все равно.

Сегодня было воскресенье, и шел снег. Я просидел весь день дома, возился с барахлом. Какой-то мужик возился с изгородью напротив. Вроде бы незнакомый. Паранойя — вещь опасная, потому как может заставить тебя вести себя необычно. А надо вести себя как надо. Надо быть рациональным в сердце иррациональности.

Это не то, что важно для половины этих идиоток. Год они просты*. Потом машины заталкивают в них машины машиненками. Уже не простые, даже не совершенные. Просто надутые пузыри.

Иррациональные числа — это те, которые не могут быть точно выражены дробью, у которых десятичные знаки громоздятся беспорядочно до бесконечности. Как корень квадратный из двух, который начинается с 1,41421356237... и тянется дальше, дальше и дальше. Пи — тоже иррациональное число: охренительно иррациональное, на самом деле пи — это число, которое заторчало до потери лица. Люди жизнь тратили на вычисление миллионов и миллионов его десятичных знаков, и все равно не было ни системы, ни точного значения. Пи — это отношение длины окружности к радиусу**. Длина окружности находится по формуле*** $c = \pi r$, где r — радиус, то есть расстояние от точного центра круга до его границы. Конечно, если вы знаете длину окружности, то найдете и радиус, обратив процесс и поделив на пи. Но хоть туда, хоть обратно, а пи будет участвовать. А оно иррационально. Длина радиуса может быть измерена вами как угодно точно — 5,00 см, 12 дюймов, 100 метров ровно — но длина окружности будет все равно бесконечной последовательностью цифр справа от запятой, а все из-за пи. Можете взять прибли-

---

* См. предыдущее примечание.

** На самом деле к диаметру, но то ли автор, то ли герой не очень сильны в школьной геометрии.

*** $C = 2\pi r$. См. предыдущее примечание.

жение 3,14 или 3,141592653589793, но точного значения не получите никак, потому что его нет. Неопределенность и темнота в самом сердце такой простой вещи, как круг.

Я — радиус. Я рационален, когда круг мира — не рационален. Конечно, в другую сторону тоже верно: когда длина окружности рациональна, радиус — нет. Может быть, я именно тот радиус.

Я неделю не ходил в книжную лавку.

Можно бы сделать все проще. Можно бы переехать в Неваду или еще куда. Семьдесят городов на площади с какую-нибудь европейскую страну. Но я так не сделаю. Это бы значило сдаться. Я не хочу жить в этой Неваде, мать ее раком! Этого уже хватит, но там ничего другого не случается. И туда поехать — значит обречь свою жизнь на то же. Там нечего делать, кроме как ездить в Лас-Вегас, а там числа никогда не бывают на твоей стороне. Случайная трансгрессия, которую я могу уговорить себя обойти. Но живи я в Неваде, я бы каждое утро просыпался, зная, что у меня только одна причина здесь быть. Это стало бы всей моей жизнью вместо того, чтобы быть ее частью. А зачем еще жить в Неваде? К тому же догадываюсь, что там люди сами себе отлично ремонтируют дома.

Может быть, я смогу тянуть и дальше.

Он и я, а посередине бедная детка пи — ждем, пока кто-то из нас не станет иррациональным. Может, они перестали смотреть, а может, вообще никогда не смотрели. Иногда мне бывает трудно сказать, какие страхи рациональны, а какие — нет, Это обрыв, с которого надо шагнуть,— «Я сделал — *что*?» Как сердце в лифте, когда кто-нибудь перережет держащий его трос. И тогда ты выглядываешь и стабилизируешь себя и тянешь себя обратно. Уходишь

от шахты лифта. Но ты знаешь, что он там. Ходящий в полночь холодный страх. Ничего не происходит. И ты наконец засыпаешь снова.

Боже Христе, случаи, когда этого не надо! Чудесно. Я тогда такой сильный. Когда я могу вспомнить, что случилось, что было сделано,— и мне это ничего. Когда безынтересно и странно, и я могу про себя подумать: «никогда больше такого не сделаю». Не такое чувство, как сразу после, когда только тошнит от всего этого, и яйца побаливают, и меня захлестывает, и я сижу в отскобленной дочиста гостиной — нет, когда спокойно и бесстрастно. И я думаю: нет, думаю я, этого больше я делать не буду. Я знаю, что это сделал, но это же было тогда. А теперь — это теперь, и больше мне это не нужно. Это было плохо, но это в прошлом. Я это сделал, но больше не буду. Все. Кончено. Или... оказывается, нет? Это никогда еще не было кончено.

Сегодня у Макса и Джули вид счастливый.

У меня больше половины мыслей всегда где-то блуждает. Даже друзья кажутся кем-то другим, потому что только часть меня с ними. А остальная часть идет по следу, сама по себе (или по мне? Это же я). Я помню, как ехал по М11 летним днем, и вдруг до меня дошло, что у всех встречных машин включены фары и работают дворники. И подумал, как это странно, пока не заметил, что на той стороне дороги идет дождь. Действительно, дождь шел на полосе, ведущей на север, а та, что на юг вела,— была сухая.

Я не хотел заходить, но выпил кофе в магазине напротив и увидел в окно... как она обслуживает покупателя! И я допил кофе и вошел в книжную лавку.

17 — простой и совершенный возраст. 1 плюс 7 — это 8, а потому цифровой корень совершенного возраста — это 8. Мне теперь тридцать пять, в 1999 году, в году циф-

ры 1, в году начала. А цифровой корень 35 тоже 8 — и у меня возникло то чувство, что кто-то приближается. Вряд ли это совпадение. Наверное, я всегда буду в опасности, когда мой возраст будет совпадать с возрастом девушек, когда у них будет один и тот же цифровой корень. Здесь есть смысл — и это нас очень тесно связывает. Когда мне было двадцать шесть, я этого не делал — и был в безопасности. Сорок четыре будет опасно. Пятьдесят три. Шестьдесят два. Но я не верю, что все еще буду это делать. Я бегаю по утрам, но не могу себе представить, что буду в шестьдесят два в нужной форме. Эти вещи — тебе не прогулка в парке. А будет ли иметь смысл это делать, когда у меня волосы поседеют и все мое тело сморщится, кроме бледного брюшка? Наверняка к тому времени что-нибудь перегорит. Интересно, если вспомнить тест Уилсона для простых чисел, который говорит, что $(p - 1)!$ конгруэнтно $-1 \bmod p$, оказывается, что простота числа 17 дает нам 16 (при основании 10) как значение -1 по модулю 17. Половина от 16 — это 8. Опять-таки довольно удобно. А все восьмерки — это, конечно, 2^3. Я все еще не могу понять, значит ли это, что я должен делать восемь в год. Это кажется очень много. Мне хватило бы простых чисел поменьше, вроде 3, 5 или 7. Даже 7 кажется слабым и жадным. 5 лучше. Пока что мне этого хватало. 2 как простое мне не нравится, хотя оно и проходит тест Уилсона. Оно не ощущается как то, что нужно. Сердце двойки иррационально. Сердце семнадцатилетних — имеет смысл. Для них. И для меня.

Первого раза я не помню. Вообще-то считается, это запоминаешь. Я помню только отрывки, искорки тьмы, но все в целом на самом деле не помню. Помню, где она похоронена. Это я слишком хорошо помню. Иногда, когда я лежу в постели и чувствую себя хорошо, медленно начинаю ощущать, как из меня выступает. Я понимаю, это часть моего мозга, которая всегда стоит в рощице возле Эппинга, смотрит на могилу, стоит в почетном карауле над жен-

щиной, по которой, быть может, никто другой особо тосковать не станет. У нее не было семьи. Ей, конечно, было не семнадцать, было двадцать девять. Все равно простое число, но более высокое. А вот как это было — не помню, на самом деле. Более поздних помню. Вы ведь тоже, правда? Потому что это было недавно. Но даже и они — только небольшие картинки, словно бы я был по-настоящему пьян. Не был, но вроде этого. Это не так, как делаешь что-то обыкновенное. Даже, наверно, смешно это по-своему. Это не то, как делаешь что-то нормальное.

Сьюзен сегодня мрачная. У нее вышел спор с хозяином, с человеком, который владеет тем домом, что они снимают, или кто он там есть. Крыша течет, и ничего тут смешного нет, потому что мокро и холодно и все мокрее и холоднее. Я ей сказал, что в таких вещах немного разбираюсь. Видели бы вы, как она заулыбалась!

Я пытался однажды понять, из самых начал, как извлекается корень квадратный из числа. Без калькулятора. Включил голову. Из школы я отдаленно помнил, что надо выбрать число поближе к корню, такое, квадрат которого ты знаешь, и подогнать его методом проб и ошибок, пока не подберешься достаточно близко. Но это не точно. И не больно красиво. Возвести что-нибудь в квадрат — это не штука. Очень уж простой шаг. Берешь число и умножаешь его на себя. Такое каждый может. Но найти квадратный корень, обратить процесс? Я решил, что должен быть обратный путь. Если уж ты прошел по дороге, то обратный путь найдешь. И я его нашел в конце концов. Используешь формулу Ньютона-Рафсона для последовательных приближений:

$$x_{i+1} = (x_i + t/x_i)/2$$

Эта штука сама себя кусает за хвост. Суешь в формулу число, потом суешь туда же, что получилось,— и еще раз,

и еще. Пока не остановишься. Только с многими числами, даже такими обыкновенными, как 2, этого никогда не будет. Никогда не остановишься. Результат иррационален, и потому процесс идет вечно. Я сколько угодно простых чисел могу пронустить через этот цикл, и десятичные знаки не кончатся никогда. Никогда мне не найти числа, которое, возведи я его в квадрат, даст мне 2. Его больше нет. Нет дороги обратно. Сгнила.

Мой возраст всегда сводится к восьми, если корень года — 1. Корень 17 — это 8. 8 плюс 1 будет 9, а девятка вычеркивается. Сумма для меня всегда с той стороны барьера, вычеркивается. И с этим ничего не сделать. Вечно ехать сквозь дождь, и вечно не видеть поворота.

Завтра в восемь вечера я поеду по одному адресу — сразу за городом. Починить крышу. В порядке любезности?..

Это все...

Питер Шнайдер

DES SAUCISSES, SANS DOUTE*



взмахнул оттяпанной левой сиськой цыпочки-блондиночки. Края были неровными — когда я был ребенком, мамочка не удосужилась поставить мне на зубы пластинку.

Цыпочка всхлипывала, съежившись в углу комнаты, ее сказочное тело было спереди все в крови и требухе.

— А теперь, детка,— прокукарекал я, подцепляя ее бюстгальтер за глубокую чашечку,— поиграем в Давида и Голиафа.

Я засунул сырой комок грудной железы в левую чашечку и начал крутить дамской принадлежностью над головой, пока она не извергла свой жуткий снаряд. Он пролетел через всю комнату, подобно ядру, для того лишь, чтобы шмякнуться о дальнюю стену с омерзительным «блям!» и сползти по штукатурке на пол, будто слизень, оставляя за собой влажный след, но только кровавый. От него отделился бледно-коричневый сосок и упал на паркет с легким «тюк!».

Она рыдала все сильнее и прятала лицо в ладонях.

---

* О сосисках, без сомнения (*фр.*).

© Перевод. И. Гурова, 2005.

Мои мысли перенеслись на несколько часов назад в бар, где я познакомился с Доннали. Красавицей классического типа назвать ее было нельзя. Ее страховидная заячья губа, ее косящий под прямым углом глаз, ее изглоданный третичным сифилисом нос... взятые отдельно, их с полным правом можно было бы счесть изъянами, но в гармоничной совокупности они придавали ей грациозное благородство шотландской кобылицы, которая скачет по холмам над Лох-Ломондом, а ветер закручивает ее гриву в водопад непокорных кудрей.

Душевный разговор — и мы отправились на поиски тепла... и обещанного коньяка... в мою недорогую квартирку над лавкой экзотических сувениров. И вот теперь я находился в ситуации, далеко превосходившей самые смелые мечты самого отпетого маньяка. Началось поцелуем... а кончилось кухонным ножом.

Внезапно мой язык вырвался изо рта, стремительно удлиняясь и раздваиваясь в вилку из закаленной стали. Я решительным шагом приблизился к Доннали. Мой торчащий наружу язык был теперь длиной в шесть футов и твердым, как гранит.

— Полюбуйся! — прошепелявил я, а мой сверхнормально гибкий язык вонзился ей в ногу. Опять и опять опускался раздвоенный язык, пока наконец ее ноги не отвалились в коленных суставах. Я ликующе взвыл и ухватил отделившиеся конечности. Потянувшись, я сорвал со стены два удлинителя и лихорадочно примотал эти конечности к моим собственным так, чтобы их ступни оказались на шесть дюймов ниже моих. Я встал на свои новые «ноги» и заковылял по комнате, надрываясь от хохота.

— Погляди-ка, Доннали! Мне больше не нужны ботинки с наращенными каблуками, у меня наращены ступни. (Мой рост — всего пять футов три дюйма, когда я перестал расти,— всегда давил на мою психику.)

Впрочем, судьба сжалилась над Доннали — она уже лишилась сознания.

Заверещал будильник, вонзая острые осколки звуков в мой потревоженный сон. Я крепче прижал подушку к голове, пытаясь утихомирить пронзительный звон в моем вопящем мозгу. Наконец я сдался и спустил ноги на пол, прижимая ладони к моей многострадальной голове. И тут в нее ворвался слепящий фейерверк воспоминаний о вчерашнем вечере.

«Бог мой! — подумал я.— Неужели это правда было?!» Мой кот, Мистер Меник, спрыгнул на пол, и я понял, что выразил свою мысль вслух, а не просто ее подумал. Спрыгнув на пол, я помчался на кухню, где вроде бы разыгрались события прошлого вечера, и, с облегчением вздыхая, привалился к холодильнику. Ни кровавые пятна, ни груди не марали чудную белизну моей модерновой preparatoire de manger*. Все было в идеальном порядке.

Я отошел к плите и налил в большую кружку кофейную гущу, оставшуюся со вчерашнего утра. Я глядел в окно на красногрудую малиновку, прыг-прыг-прыгавшую в кормушке, а сам извлек из коробки пышную оладью. Потом пронзил оладью моим раздвоенным языком из нержавейки и полюбовался колышущимся в кружке кофе, на поверхности которого кокетливо покачивался коричневый сосок.

---

* Буквально: едоприготовильня. Французский неологизм автора.— *Примеч. пер.*

Эд Брайант

СТИКС И КОСТИ



му снилось, что он проснулся мертвым.

Мертвым. Раздавленным. Каждый нерв вырвали из мышц, каждую кость расплющили. Проснувшийся и мертвый.

Одно не вязалось с другим. Но мысль об этом пришла к нему в голову позже. Гораздо позже. Потому что поначалу все застилала боль.

Господи, подумал он. *Что это со мной?* Все тело разламывалось от боли, в ухе словно жужжала оса. Он попытался поднять руку, чтобы вытащить осу, но боль просто размазала его по кровати. Руку, естественно, поднять не удалось.

Это не оса. Нет... звенел телефон, стоявший на столике у кровати. Механически он потянулся к нему, чтобы снять трубку... попытался потянуться, не смог. *Что с моими руками?* Он все старался сдвинуться с места, электроодеяло сползло с нижней половины тела, ноги соскользнули с матраса, пятки ударились о глянцевые журналы, разбросанные по ковру.

В нос ударил тяжелый, неприятный запах.

© Перевод. В. Вебер, 2005.

Простыня прилипла к телу, цеплялась за прикроватный столик. Левая рука мотнулась в сторону, ладонь ударила о телефонный аппарат, боль пронзила плечо, словно в него вонзили раскаленный прут. Он закричал.

Телефон свалился на пол, провод зацепился за закрепленную на столике лампу, и теперь трубка болталась на нем, словно маятник.

Если б он мог набрать в легкие воздух, то кричал бы и кричал. Из трубки доносилось сердитое осиное жужжание. Он знал, кто это «жужжит». Значения это не имело.

Ему требовалась помощь. Он упал на колени, чтобы приблизить лицо к трубке.

— Какого хрена ты молчишь? — негодовал пронзительный голос.— Слишком рано звоню? Так я же сказала вчера вечером, что утром приеду за вещами.

Из его горла вырвалось рыдание.

— Помоги мне,— выдохнул он.— *Пожалуйста.*

Пауза. Потом тон разом изменился. Ярость уступила место любопытству и тревоге.

— Дэнни? Что случилось?

— Не знаю. Я не могу шевельнуться.

— Тебя парализовало?

— Нет, нет. Мои руки. Они мне не подчиняются. И все болит. Чертовски болит.

— Это какая-то шутка? Или ты говоришь правду?

— Да.— Из груди вновь вырвалось рыдание.— Луиза, клянусь Богом, со мной что-то случилось. Что-то ужасное.

— Я еду,— последовал ответ.

— У тебя есть ключ? Я не смогу открыть дверь.

— Ключ у меня есть. Я собиралась заточить его, как бритву, и отрезать тебе яйца.— Голос ровный, сдержанный.— Выезжаю, малыш. Держись.

Дэнни услышал щелчок, механический голос (что бы телефонная компания делала без компьютеров) предупредил, что трубка не положена, потом послышался резкий сигнал, наконец в трубке воцарилась тишина. Но Дэнни

даже зубами не смог бы поднять трубку и положить ее на рычаг.

Он попытался усесться на краешке кровати. Как же ему хотелось оказаться в другом месте, в другом теле...

Что же со мной произошло, думал он. Он скулил? Разумеется, скулил. При такой боли мужество — непозволительная роскошь.

За те двадцать минут, которые потребовались Луизе, чтобы доехать до его дома, он сумел спуститься на кухню. Это январское утро выдалось на удивление холодным, да и система отопления, похоже, забарахлила или вышла из строя. Обогреватель гнал едва теплый воздух. Но Дэнни все равно встал рядом, впитывая в себя крохи тепла.

Услышал, как повернулся ключ в замке, открылась дверь.

— Дэнни? — позвала Луиза.

— Я на кухне.

Он вслушивался в приближающиеся шаги. Ему хотелось закрыть глаза. Луиза всунулась в дверь, оглядела его с головы до ног, глаза ее широко раскрылись.

— Дэнни, сладенький, да ты весь в дерьме.

Голос искренний, изумленный. Она сморщила носик.

Он знал, как выглядит: голый, если не считать грязных трусов, стоящий спиной к обогревателю, безжизненно повисшие руки, жидкие экскременты, стекающие по ногам на пол. Луиза покачала головой. Шагнула к нему. Едва ее пальчики коснулись его предплечья, он вскрикнул. Она отдернула руку.

— Так больно? — Он кивнул, сжав челюсти.— Ты позвонил доктору? — Он покачал головой.— Не позвонил,— кивнула она.— Потому что не мог.— Луиза вскинула голову, росточка-то в ней было всего пять футов и пять дюймов, всмотрелась в его лицо очень серьезными темно-карими глазами.— Сначала помоемся, так?

Он кивнул.

— Хуже не будет. Потом позвоним доктору Кинг.

— Доктору Кинг позвоним сейчас,— решила Луиза.— Ванна подождет.

— Телефон наверху,— ответил он.— Я не смог положить трубку.

— Я обо всем позабочусь,— заверила его Луиза.— Не волнуйся.

Она последовала за ним по ступенькам. Коты куда-то попрятались. Он их не винил.

В спальне Луиза поставила телефонный аппарат на столик, распутала шнур, положила трубку на рычаг, потом оглядела кровать.

— Тут надо прибраться. Доктор подождет. Никто не сможет жить в такой вони.

— Трусы и простыни надо засунуть в пластиковый мешок для мусора и выкинуть,— предложил он.— Электроодеяло — штука дорогая. Может, расстелить его во дворе на столике для пикника и дать высохнуть? А потом положим его в другой мешок и отдадим в химчистку.

Она кивнула, скатала электроодеяло в рулон.

— Мешки на кухне?

— В чулане для щеток.

Через несколько минут Луиза вернулась с черными пластиковыми мешками. В один засунула загаженные простыни.

— Теперь это.— Она указала на трусы.

— Тут, между прочим, холодно,— запротестовал он.

— Они грязные,— напомнила она.— А помывшись, ты сможешь надеть теплый халат.

Он постарался засунуть большие пальцы под резинку. Не получилось.

— Как насчет доктора Кинг?

Она ухватилась за резинку и стянула трусы на лодыжки.

— Я передумала. Доктор подождет. Сначала займемся тобой.

В доме было две ванные. Обе на втором этаже. Но только одна с ванной и душем. Дэнни встал под душ. Внутренне сжался, когда Луиза повернула вентиль. Ничего не произошло.

— Нет напора,— прокомментировала Луиза.— Нет воды.

— Наверное, замерзли трубы,— предположил Дэнни.

— Внизу тоже?

Он уж хотел пожать плечами. Но вовремя остановился.

— Может, внизу все нормально.

— Я проверю. Ты подожди здесь.— Через минуту снизу послышался ее голос: — Вода течет. Сейчас вернусь.

И начала таскать кастрюли, полные горячей воды.

Он вскрикнул, когда первые полгаллона, как ему показалось, кипятка вылились ему на спину.

— Ничего страшного,— одернула она его.— Ты просто замерз. Температуру воды я проверила. Нормальная.

Луиза вылила на него еще кастрюлю, потом взялась за губку. Тут уже и Дэнни признал, что вода хорошая. Руки по-прежнему висели, он смотрел на коричневую жижу, убегающую в сливное отверстие. Вновь на него лилась вода, вновь его терли. Наконец убегающая вода стала прозрачной.

— Готово, выходи из ванны.— Она накинула на него мягкое полотенце, очень осторожно, чтобы не сделать больно. А когда полотенце впитало влагу, заменила его синим махровым халатом. Набросила на плечи, завязала на талии поясом.— Теперь полежи. А я позвоню доктору.

Грязных простыней давно не было, но на матрасе остались мокрые пятна. Похоже, Луиза долго оттирала его. Она постелила на кровать полотенце, сверху — дешевый плед.

— Ложись.— До пояса накрыла Дэнни старым шерстяным одеялом.— Удобно?

— Пожалуй,— ответил он.— Насколько возможно.

Он понимал, что об удобстве мечтать не приходится. Но кто знал, когда он пойдет на поправку? Так что, поду-

мал он, лежи. Пока лежится. И лег, привалившись спиной к груде подушек, сложенной Луизой.

Но не успев привалиться, застонал.

— В чем дело? — спросила Луиза.

— Хочу пи-пи.

— Я помогу тебе встать.

— Не уверен, что у меня получится. Спина и плечи так болят, что я боюсь развалиться при малейшем движении.

— Гм-м-м. Горшка или утки у тебя, конечно же, нет?

— Нет.

— Терпи.— И она выскочила из спальни.

— А ты куда?

— На кухню,— донеслось с лестницы.

Дэнни сосредоточился на том, чтобы до предела зажать выход из мочевого пузыря. Но желание облегчиться усиливалось с каждой секундой.

Луиза вернулась с двухлитровой пластиковой бутылкой из-под «диет-колы» и большими ножницами.

У Дэнни округлились глаза.

— А ножницы зачем?

Она угрожающе клацнула лезвиями.

— На случай, что придется тебя обстричь, чтобы твой крантик залез в горлышко.

— Ха-ха. А может, отрезать горлышко?

— Думаешь, оно слишком узкое?

— Даже в моем нынешнем состоянии,— ответил он.

Одним ударом она пробила дыру у основания горлышка, потом аккуратно вырезала его.

— Этого хватит?

— Если только я не чихну. Края-то острые.

Он расставил ноги пошире, и Луиза примостила бутылку между его бедер и ловко вставила его поникший пенис в дырку. Ему подумалось, что она не была такой бесстрастной, когда в последний раз касалась его игрунчика. Но сегодня и он не чувствовал никакого возбуждения.

Только облегчение.

Когда вытекло все, что могло, Луиза унесла бутылку в ванную, принесла назад пустую и вымытую.

— Пока все идет нормально.

— Ты позвонишь доктору Кинг?

Номер он знал на память. Трубку она приложила к его уху, после пары звонков в ней раздался голос регистратора. Она начала было говорить, что доктор занята, но Дэнни быстро сломил ее сопротивление. Не прошло и минуты, как он уже говорил с доктором Кинг.

Объяснил, что произошло после того, как он проснулся этим утром. Доктор Кинг полюбопытствовала, есть ли кто рядом.

— Моя подруга Луиза.— Он посмотрел на нее.— Думаю, она меня отвезет.— Энергичный кивок.— Хорошо. Ровно в час.

Луиза положила трубку на рычаг.

— Есть хочешь? — спросила Луиза.

Он покачал головой.

— Кофе бы выпил, Уиззи.— Зазвонил телефон.— Сваришь?

Она взяла трубку.

— Резиденция Дэнни Ройала.— Тут же лицо ее потемнело.— Не думаю, что сейчас тебе нужно с ним говорить.— *Кто это,* одними губами спросил Дэнни. Она покачала головой.— Сейчас он очень плохо себя чувствует.— Пауза.— Нет, позвони в другой раз. А лучше совсем не звони.— И трубка вернулась на рычаг.

— Кто звонил? — уже вслух спросил Дэнни.

— Твоя добрая подружка Иффи.— Ледяной тон.— Ей приснилось, что с тобой приключилась беда.

Дэнни встретился с ней взглядом.

— Слушай, Ифетао действительно моя подруга. Ты это знаешь. И она йоруба, ее родственники живут в Порт-о-Пренсе. Если ей что-то снится, это неспроста.

— Давай с этим окончательно разберемся,— злобно выплюнула Луиза.— Не далее как в пятницу я пришла и об-

наружила твою *подругу* в этой самой постели. С тобой, говнюк.

— Тебе следовало позвонить.

— Вот уж дудки. Я думаю, ты чередовал нас бог знает сколько времени.

— Ифетао тоже не пришла в восторг от этой встречи. Думаю, даже разозлилась.

— Совсем как я? — фыркнула Луиза.— Я не шутила, когда сказала, что приехала за своими вещами. Хотела забрать все, что имело ко мне хоть малейшее отношение.

Его голос оставался спокойным.

— Так чего не забрала?

— Не идиотничай. Когда я позвонила тебе, когда вошла в дом и увидела тебя... Видел бы ты себя, Дэнни. У тебя беда. Я думаю, ты серьезно болен. Я хочу заботиться о тебе.— Она положила холодную ладошку ему на лоб.— Я тебя люблю. Одному богу известно почему, но люблю.— Голос у нее дрогнул.

— Она сказала что-нибудь еще? — спросил он.— Ифетао?

— Ну ты и гад.— Он почувствовал, как напряглись ее пальцы, ногти едва не впились в кожу. Она глубоко вдохнула.— Она сказала, что ты пожалеешь о том, что произошло.

— С угрозой?

Луиза пожала плечами.

— Откуда мне знать. Я с такими не общаюсь.

Они смотрели друг на друга, пока Дэнни не отвел глаза.

— Я не знаю, сколько мне еще повторять, Уиззи. Мне жаль, что так вышло. Очень жаль.

— А ты повторяй, повторяй,— ответила она.— Может, в конце концов я тебе и поверю.— А после паузы добавила: — Дэнни, вообще-то ты мерзавец.

Он попытался разрядить обстановку.

— Палки и камни смогут переломать мне кости. Слова не причинят вреда.

— Ты когда-нибудь слышал о той реке? — спросила она.— Думаю, что слышал.

На его лице отразилось недоумение.

— Какой реке?

— Реке Стикс, дурашка. И группа такая есть. Ты же знаешь, это река ненависти. Жгучей ненависти. Она девять раз обтекает ад. В ней очень много ненависти, Дэнни.

Он покачал головой.

— Где это ты все вычитала?

— Я читаю гораздо больше, чем ты можешь предположить, милый. Я не просто глупая костюмерша.— Вновь в голосе послышались злые нотки. Она наклонилась и легонько поцеловала его в губы.— А теперь я сварю кофе.— У двери Луиза обернулась.— Я о тебе позабочусь. Ты это знаешь, не так ли?

Дожидаться ответа она не стала.

Оставшись один, он лежал на кровати, пытаясь разобраться, что же с ним произошло. Нет, думал он, Луиза, конечно же, не глупая костюмерша. Да, ее интеллектуальные способности не производили на него особого впечатления, но он давно уже понял, что с головой у нее все в порядке. Они познакомились на съемках клипа «Папы Легбы». Он сам написал сценарий, сам и ставил клип этой отвратительной металлической группы. Их менеджер заплатил Луизе какие-то гроши за то, чтобы она привела костюмы в божеский вид. Она также отвечала за прически и грим квинтета.

Дэнни решил, что она мила. Луиза ответила взаимностью. В тот момент он не счел необходимым рассказать ей о романе с Ифетао. Они то сходились, то расходились. Съемки пришлись аккурат на тот период, когда они в очередной раз разошлись, но он знал, что вскорости все переменится. И не ошибся.

Следующие два месяца ему удавалось, пусть и с все большим трудом, лавировать между двумя женщинами,

пока в прошлую пятницу не случилось ужасное: Луиза, неожиданно заявившись к нему домой, застала его в постели с Ифетао. Нефть словно смешалась с бензином, а присутствие спички-Дэнни инициировало взрыв.

Дом огласили крики, плач, угрозы, сменившиеся еще более зловещим молчанием. Обе женщины покинули дом в разное время, каждая пошла своим путем, и он предположил, что больше не увидит ни одну.

И не увидел до воскресного утра. Когда Луиза прибежала по его первому зову.

Она вошла в спальню с подносом. Улыбаясь.

— Сливки и сахар, сладенький, как ты любишь.

Неужели она это знала, подумал он. Выходит, что да.

— Спасибо,— поблагодарил он ее.

Она протянула ему чашку с раскаленным кофе. Он уже затаил дыхание, но она не пролила ни капли.

Доктор Кинг, энергичная блондинка лет пятидесяти с небольшим, коротко поздоровалась с Луизой и принялась ощупывать тело Дэнни, который морщился от прикосновения ее пальцев.

— Мы сделаем анализ крови, но я подозреваю, что у тебя миозит.

— А что это такое? — спросил Дэнни.

— Острое воспаление мышечной ткани. Иногда имеет вирусное происхождение. Штука болезненная. Но со временем ты поправишься.

— Со временем? — Он понял, что возвысил голос.— У меня только неделя.

Доктор в удивлении воззрилась на него.

— От этого не умирают, Дэнни.

— Я не об этом. Моя страховка истекает через неделю.

— Ты можешь ее возобновить?

— Без контракта — нет. Я рассчитывал получить заказ, но как можно работать с такими руками?

Луиза откашлялась. Дэнни и доктор Кинг повернулись к ней.

— Я могу печатать с голоса. Чем-нибудь да помогу.

— Со своей стороны, я могу тебя госпитализировать.— Доктор Кинг скорчила гримаску.— На неделю. Но не думаю, что за это время можно вылечить миозит.

— Я смогу позаботиться о тебе дома,— предложила Луиза.— Утром ты увидел, на что я способна. Кормежку и чистоту гарантирую, и даже лечение, если потребуется.

В кабинете повисла тишина. Потом доктор Кинг пожала плечами:

— Домашний режим не противопоказан.

Дэнни уже открыл рот, чтобы ответить.

— Отлично! — Тон Луизы не допускал возражений.— Значит, все решено.

Вторую половину дня Дэнни и Луиза осваивались в новой ситуации. Луиза почистила ему зубы с предельной осторожностью, чтобы не повредить десны. Потом по-новому положила подушки и теперь, когда ему требовалось сесть прямо или встать, могла помогать ему, подталкивая в поясницу. По предложению Дэнни она принесла из кабинета радиотелефон. Клейкой лентой примотала его к деревянной рейке длиной в восемнадцать дюймов. Он научился набирать номер негнущейся рукой, а потом держать трубку у уха, ухватившись за противоположный конец рейки. А вот найти замену двухлитровой бутылке без горлышка не удалось.

Когда Дэнни притомился, Луиза оставила его и пошла в магазин за продуктами. Он заснул. И увидел сон.

Ифетао, освещенная луной, заглядывающей в восточное окно, стояла у изножия его кровати. Его глаза открылись, он с восхищением оглядел ее тело. В свое время он сравнивал Ифетао с большой дикой кошкой, бродящей по джунглям. Случилось это уже после того, как нанял ее на работу. Согласно контракту, она подбирала для него ин-

формацию в Интернете. Она еще рассмеялась и спросила, не думает ли он, что это сравнение указывает на его расистские взгляды. Полной уверенности в этом у него не было, но образ этот так и остался при нем.

— Привет, великолепная.— Во рту у него пересохло.— Я бы встал...

— ...но не можешь,— закончила она фразу.— Я это знаю.— Она отбросила длинные черные волосы, упавшие на один глаз.— Я хотела увидеться с тобой, прежде чем...— Она замялась.

— Прежде чем? — Не понравилась Дэнни эта пауза.

— Прежде чем могло случиться то, что случилось.

— Слушай, хватит философствовать. Лучше скажи, что случилось со мной?

Ее полные губы изогнулись в улыбке.

— Я от тебя не в восторге, красавчик.

Дэнни вдруг почувствовал, что губы не хотят его слушаться.

— То есть ты меня ненавидишь?

Она словно пропустила вопрос мимо ушей.

— Ты получишь подарок.— Ифетао вздохнула, во вздохе слышалась скорее грусть, чем злоба.— Ты заслуживаешь всего того, что имеешь.

— Иффи...— Он вдруг запаниковал.

Истолковать ее взгляд ему не удалось.

— Если ты ложишься в постель с сучками...— начала она.

И исчезла. Вместе с лунным светом. Спальню заливали лучи заходящего солнца. Дэнни мигнул, глубоко вдохнул.

На пороге стояла Луиза.

— Соскучился? — спросила она.

Дэнни так и не вспомнил, что он ел на ужин в тот вечер. Но точно помнил, что Луиза кормила его, как ребенка, то с ложки, то с вилки. А потом он то ли заснул, то ли отключился.

Утром раздался звонок. Трубку взяла Луиза. Звонила доктор Кинг. Луиза поднесла прикрепленную к рейке трубку к уху Дэнни.

— Я получила результаты анализов. Как я и предполагала, креатинфосфокиназы больше нормы, что подтверждает диагноз миозита. Но я вот думаю, а не вторично ли воспаление мышц?

— Это как?

— Утром я переговорила с моим любимым остеологом. Он напомнил мне, что вторичный миозит может быть естественной реакцией иммунной системы на наличие костных фрагментов, попавших в ткани в результате переломов или трещин.

— Что-то я вас не понял.

— Могла бы твоя подруга... э... Луиза?.. привезти тебя во второй половине дня. Я назначила тебя на томографию.

— А что вы ищете? — спросил Дэнни.

— Переломы,— коротко ответила доктор Кинг.

— Он будет у вас,— ответила Луиза по другой трубке.

Костевед, он же остеолог, засомневался, а нужно ли проводить Дэнни томографическое сканирование. Он спросил, уверен ли Дэнни, что проснулся от боли. Не было ли травмы?

— Я не падал с кровати,— ответил Дэнни.

Может, с улыбкой предположил остеолог; одна из прежних пассий Дэнни ночью проникла в спальню с молотком и несколько раз стукнула его, прежде чем ретироваться.

Дэнни не нашел в его словах ничего смешного.

Посмотрел на Луизу, которая беззвучно, губами, произнесла одно слово.

Ифетао?

Дэнни покачал головой. Иффи, конечно, разозлилась на него, решила, что он ее предал. Но она же не злопамятная. А может, есть у нее такая черта? Он так не думал. Хотя...

Сканирование, совершенно безболезненное, тем не менее вымотало его донельзя. Санитары уложили его на наклонный стол, который уполз в цилиндр, вызвавший у Дэнни приступ клаустрофобии. Ему дали наушники и предложили на выбор несколько аудиоканалов. Он остановился на поп-музыке восьмидесятых.

Музыка зазвучала, как только он оказался в цилиндре. Так что сканировали его под Джимми Роджерса и Эрнста Табба.

И лишь через час, когда Дэнни уже совсем извелся, санитары выкатили стол из цилиндра.

— Как только результаты будут готовы, мы вам позвоним,— заверил Дэнни остеолог.

Вернувшись домой, они нашли на крыльце маленькую посылку, завернутую в коричневую оберточную бумагу и перевязанную красной ниткой. Без наклейки с адресом.

Уже в доме Луиза разрезала нитку и развернула бумагу. Вдвоем они уставились на миниатюрную статуэтку из черного камня. Статуэтка блестела, намазанная каким-то маслом. От резкого запаха у Дэнни сразу прочистился нос.

— Черт,— пробормотал он.— Вуду?

— Ифетао,— безошибочно определила отправителя Луиза.— Хочешь, чтобы я ее выбросила?

Он покачал головой.

— Не уверен, что это правильный выход. Пока положи ее в безопасное место.

— Я не позволю ей причинить тебе вреда,— твердо заявила Луиза.— Я тебя люблю.— Она поцеловала его, провела пальцами по щеке, коснулась губ.— Ты устал. Тебе пора лечь.

— Я готов,— ответил Дэнни.

Ифетао вновь явилась ему во сне, правда, на этот раз он видел ее нечетко, словно сигнал, пробивающийся на экран телевизора сквозь вспышки молний и статические помехи. У изножия кровати она стояла в многоцветном длинном

платье, какие носили в ее родном Порт-о-Пренсе. Только тут Дэнни подумал, что раньше она предпочитала принятый на Западе деловой костюм.

— ...мое имя...— донеслось до него,— ...значение...— На ее лице отразилось раздражение.— ...Йоруба. «Любовь приносит счастье».— Некое космическое вмешательство отсекло звук. Ифетао становилась все печальнее.— ...есть и много других значений...— Ее рука поднялась, зависла между ними. Дэнни разглядел между пальцев какой-то кокон, поблескивающий на свету.

А потом Иффи исчезла, будто другая рука отключила «телевизор».

Других снов в ту ночь Дэнни не увидел. Во всяком случае, не запомнил ни одного.

Наутро позвонил томографист. Сообщил, что у Дэнни нелады с костями. В его правом плече у самого сустава обнаружены две длинные трещины; в левом — не меньшей мере одна. Трубку взял остеолог. В голосе слышалось удивление.

— Возможно...— Он запнулся.— Вы уверены, что травмы не было? — Не было.— Возможная причина — судороги во сне. С мышцами такое бывает, знаете ли. Редкий, конечно, случай, но они могут привести к трещинам.

Дэнни задумался, а с чего бы его телу подкладывать ему такую свинью.

— Но почему? — спросил он.

— Пока трудно дать однозначный ответ. Может, резко упало содержание сахара в крови. Может, это реакция на внезапный приступ удушья. Или дала сбой нервная система.— Он помолчал.— Я поговорю с доктором Кинг. Мы можем провести обследование.

Теперь уже Дэнни ответил после паузы.

— Только быстрее. Проведите обследование как можно быстрее.— На объяснения сил у него не осталось.

Костевед согласился и положил трубку.

Луиза заметила его грусть и присела рядом.

— Не волнуйся, сладенький. О докторах не думай, я все равно буду заботиться о тебе. И все у тебя будет хорошо.

— Застрелишь Ифетао, если выяснится, что она напустила на меня порчу?

— Да,— со всей серьезностью ответила Луиза.— Она не сможет обидеть тебя.

— Расслабься.— В голосе Дэнни прибавилось бодрости.— Я не нанимал тебя в телохранители.

— Но я тебя люблю. Очень люблю.— Луиза замялась.— Разве ты меня не любишь?

Дэнни чуть помедлил с ответом.

— Ты мне очень нравишься. И я благодарен тебе за то, что ты для меня делаешь.

— Но ты меня не любишь?

В голосе послышались резкие нотки.

— Может, и полюблю. Дай мне время.

Его ответ Луизу не устроил.

— Не тяни слишком долго, Дэнни.— Она встала и прошла в маленькую ванную. Закрыла за собой дверь. Дэнни показалось, что оттуда донеслись всхлипывания. Но вернулась она с сухими глазами, улыбаясь.

— Есть будем в ресторане. Надо отпраздновать.

— Отпраздновать что? Я, знаешь ли, не в форме.

— Отпраздновать нашу любовь. Ни о чем не беспокойся, я все сделаю сама.— Она надела на него чистые носки и кроссовки. К ним добавились боксерские трусы и длинное пальто. С немалым трудом ей удалось всунуть его руки в рукава.

— Если кто-нибудь заглянет под пальто, то решит, что я — извращенец, направляющийся на школьный двор.

— Положись на меня.— Луиза усадила его в машину и привезла в полутемный ресторан, где они выбрали столик в дальнем углу. С ее помощью он заказал суп, пудинг и кофе. Блюда выстроились перед ним, словно солдаты, каждое с толстой соломинкой.

Он не ожидал, что эта вылазка в город ему понравится. Однако настроение его значительно улучшилось.

Правда, по возвращении домой вновь навалилась тоска. На определителе высветился телефон Ифетао.

— Не отзванивай ей,— сказала Луиза.

— Это мой дом,— ответил Дэнни. И едва не добавил, что живут здесь по его правилам. Когда же он набрал ее номер, механический голос ответил, что «этот номер временно не работает».— Надо бы к ней съездить.— Дэнни повернулся к Луизе.— Возможно, она звонила по делу.

— Нет,— покачала головой Луиза.— Не надо тебе к ней ехать.

— Ты меня отвезешь?

— Нет.

В голосе слышалась злость, и он дал задний ход.

— Может, завтра.

— Нет. Никогда.

Они еще немного поговорили, а потом он решил, что пора спать.

На этот раз Ифетао к нему не пришла.

Дэнни проснулся, слыша, чувствуя, как ломаются пальцы на ногах. Сначала мизинцы изогнулись, дернулись и переломились, как сухие ветки под тяжелым сапогом. Потом вторые пальцы, третьи, боль все нарастала, очередь дошла и до больших.

Хрясть!

Он закричал во сне.

Только это был не сон.

Начали вибрировать кости стопы правой ноги, затем согнулись, словно на них что-то давило. Боль все усиливалась. И в животе у него что-то начало рваться. Он попытался дотянуться до ног, помассировать их. Ничего не вышло: руки по-прежнему его не слушались.

Он все кричал, а под его крики ломались и ломались тоненькие косточки стоп.

Появилась Луиза с теплыми полотенцами, вытерла его потное лицо, завязала стопы, чтобы смягчить боль.

— Ничего, ничего,— шептала она.— Все будет хорошо. Мы справимся и с этим.

— За что? — стонал он.— За что, за что, за что...— Он замолчал: перехватило дыхание.

— Больше она тебя не тронет.

В конце концов до него дошел смысл ее слов.

— Ифетао?

— Конечно.— Луиза вновь вытерла с его лба пот.— Отдыхай. Старайся ровнее дышать. Какое-то время ты не сможешь ходить. Но не волнуйся. Я обо всем позабочусь. Я тебя люблю.

Его словно пронзило молнией.

— Уиззи, та штуковина, которую Иффи оставила на крыльце. Которую ты положила в укромное место. Я думаю, ее лучше уничтожить.

— Я это уже сделала, любимый.

— Хорошо.— Он покачал головой. Мысли путались, он никак не мог найти нужных слов.— Я никогда не верил в черную магию.

— И не надо в нее верить. Но иногда она срабатывает.

Он начал проваливаться в темноту, надеясь там обрести спасение от боли. Луиза что-то сказала.

— Что? — переспросил он.

— Река Стикс широка и глубока,— повторила она.— В ней очень много ненависти.— И тут же словно переключила телевизионные каналы.— Коты вылезли. Я их покормила. Кажется, я им понравилась.

— Что ты имела в...— Он не договорил. Его окутала благословенная темнота.

Проснувшись вновь, Дэнни не смог шевельнуться. Луиза сидела рядом с чашкой кофе наготове. Помогла выпить ее маленькими глоточками.

— Боюсь, ноги у тебя не очень.

— Они болят, как и плечи,— прошептал он.

— Какое-то время тебе придется побыть дома.— В голосе слышалось сочувствие.— Но я уверена, что все образуется.

— Зато нам не придется ехать к Ифетао.— Дэнни попытался улыбнуться.

— Это точно. Да и смысла в этом нет.

— Ты о чем?

— Эта женщина ненавидела тебя. Помнишь фигурку, которую я уничтожила? Ту, которую она оставила на крыльце. Ее назначение — превратить тебя в импотента. Наверное, она решила, что ты этого заслуживал.— Луиза вздохнула.— Но не имела права так поступать.

Дэнни попытался поднять голову, чтобы посмотреть на Луизу. Его пальцы поползли по одеялу, как пауки-калеки.

Ее взгляд упал на его руки.

— Осторожнее. Как бы то же самое не произошло и с пальцами рук. Всеми десятью, включая большие.— Но тут же она ослепительно улыбнулась.— Но я говорила тебе, что могу печатать с голоса. Все у тебя будет в порядке.

— Что ты такое говоришь? — пробормотал он.

Внезапно взгляд его упал на комод за ее спиной. Там стояла его фотография в металлической рамке. Но теперь к рамке привалилась какая-то фигурка, напоминающая куклу Кена, с перевязанным телом, руками, ногами. Повязки эти неестественно выгибали конечности. Особенно сильно они перетягивали плечи, стопы, кисти.

И вот тут, несмотря на боль, он таки начал осознавать, что с ним происходит. Уиззи *любила* его.

Она заговорила, словно прочитав его мысли.

— Дэнни, я буду любить тебя всегда. Я не позволю ей причинить тебе вред. Ничего у нее не выйдет. Я позабочусь о тебе. Можешь на это рассчитывать.

Подступало забытье, и он понимал, что обратного пути уже не будет.

Сознание уходило, и Дэнни не знал, как удержать его. Но успел понять, о чем говорит ее холодная улыбка.

Любовь всегда побеждает ненависть.

Всегда.

Джин Вулф

МОЯ ШЛЯПА — ДЕРЕВО



01. Утром видел на пляже непонятного неизвестного. Я купался в бухточке между домом и деревней. Перекупался, что ли? Впрочем, по-моему, я не очень-то и устал. Как только нырнул, мне почудилось, будто из-за огромного ветвистого коралла выплыла акула. Поспешил на берег. Все купание не продлилось и десяти минут. Выбежав из воды, перешел на шаг.

Свершилось. Я наконец-то начал вести дневник (уж думал, никогда не раскачаюсь). Так что давайте вернемся ко всем тем событиям, которые я должен был описать в нем, но так и не описал. Я купил его на следующий день после возвращения из Африки.

Нет, неверно — в день, когда меня выписали. Теперь я вспомнил точно. Я шлялся по городу, с минуты на минуту ожидая следующего приступа, пока не забрел в одну лавчонку на Сорок второй улице. За прилавком стояла симпатичная женщина, бывают такие по-настоящему красивые негритянки, и мне подумалось: хорошо было бы с ней поговорить, а значит, придется для проформы купить что-нибудь. Я сказал:

— Я только что из Африки.

© Перевод. С. Силакова, 2005.

Она:

— Серьезно? Ну и как там?

Я:

— Жарко.

Короче, я вышел на улицу с ежедневником в руках, уговаривая себя, что деньги потрачены не зря: я буду вести дневник, описывать на бумаге мои приступы, что я ел и делал — так мне предписали врачи; но у меня из головы не выходила она. Как она отошла в глубь лавки, чтобы достать ежедневник. Ее ноги. Как она держала голову. Ее бедра.

После этого я собирался записать все, что помню об Африке, и наши разговоры, в том случае если Мэри мне перезвонит. А затем рассказать о моем новом задании.

31.01. Устанавливаю свой новый «Мак». Кто бы мог подумать, что в таком месте есть телефоны? Но с Кололаи нас связывают провода, а еще есть тарелка. Я могу трепаться с людьми со всего мира — причем за счет Конторы. (Вот это, я понимаю, гуманизм!) В Африке было не так. Одна рация — да и та держалась на честном слове.

Меня бросило в жар от энтузиазма. «Отдаленный архипелаг в Тихом океане». Нет, все по порядку...

Пэ-Дэ:

— Баден, мы отправляем вас на Такангу.

Не сомневаюсь, я изобразил из себя барана перед новыми воротами.

— Это отдаленный архипелаг в Тихом океане.— Она откашлялась и состроила такую гримасу, точно проглотила кость.— Там будет не так, как в Африке, Баден. Вы будете сам себе хозяин.

Я:

— Я думал, вы меня выгоните.

Пэ-Дэ:

— Нет, что вы! Как можно!

— Неограниченный отпуск по болезни.

— Нет, нет, нет! Но, Бад.— Она перегнулась через стол, и на минуту я испугался, будто она сейчас добросердечно потреплет меня по руке.— Там будет нелегко. Я не хотела бы зря вас обнадеживать.

Ха!

Ближе к телу. Я — в дыре. Я — в бунгало с полом, прогнившим еще в те времена, когда территория принадлежала англичанам. До деревни — миля. До пляжа — и полмили не будет, так что все комнаты пропахли Тихим океаном. Местные жирны и счастливы; по моим расчетам, меньше половины из них — идиоты (по сравнению с Чикаго — огромное достижение). Раз или два в год кто-нибудь подхватывает что-нибудь типа триппера и получает от преп. Роббинса дозу мышьяка. И ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ! Во дают!

В океане есть рыба — до фигища рыбы. В джунглях — дикорастущие фрукты: местные знают, какие из них можно есть. Здесь сажают ямс и хлебные деревья, а если кому-то нужны деньги или просто хочется что-нибудь купить, они ныряют на дно за жемчугом и меняют его на что надо, когда приходит шхуна Джека. Или устраивают себе праздник — плывут на пирогах в Кололаи.

Совсем забыл — кокосы тут тоже есть. Местные умеют их вскрывать. А может, у меня просто сил пока маловато. (Гляжу в зеркало — б-р-р!) Раньше я весил двести фунтов.

— Твоя тощий,— говорит король.— Ха-ха-ха!

Хороший, в сущности, мужик. Чувство юмора у него дикарское, но бывают недостатки и похуже. Он берет нож (мы их называли «упанга», но они говорят «хелетей») и вскрывает кокосы, как пачки с жвачкой. У меня есть и хелетей, и кокосы, но с тем же успехом я мог бы пытаться вскрывать их ложкой.

1.02. Писать не о чем — вот разве что пару раз замечательно искупался. Первые две недели я вообще не заходил в воду. Из-за акул. Я знаю, что они здесь есть — сам видел

двух. Если верить тому, что мне говорили, здесь есть и морские крокодилы, некоторые — длиной в четырнадцать футов. Их я пока не лицезрел, поэтому настроен скептически, хоть и знаю, что в Квинслендеони водятся. Время от времени разносится весть, что кого-то съела акула, но местным плевать — они практически не вылезают из воды. Не вижу причин не следовать их примеру. Пока везет.

2.02. Суббота. Вообще-то я давно собирался описать карлика, которого в тот раз видел на пляже, но никак не могу собраться с духом. В больнице мне иногда чудились всякие разности, и, боюсь, оно опять начинается. Я решил прогуляться по пляжу. И что, мне, значит, солнцем голову напекло?

Фигли.

Это был самый обыкновенный человек небольшого роста, даже ниже, чем отец Мэри. Это не мог быть никто из взрослых жителей деревни — комплекция не соответствует. Но и на ребенка он никак не тянул и вообще для островитянина был слишком бледен.

Очевидно, прожил здесь совсем недолго — он еще белее меня.

Преп. Роббинс должен знать — завтра его спрошу.

3.02. Жарко. Жара нарастает. По словам Роба Роббинса, самый жаркий месяц здесь — январь. Ну-ну: именно в начале января я сюда приехал, но с наступлением февраля вообще пошел ад.

Встал рано, пока еще было прохладно. Прошелся по пляжу до деревни. (Остановился посмотреть на скалы, где исчез карлик.) Подождал начала службы, но с Робом поговорить не смог — спевка (он разучивал с хором гимн «Ближе к Тебе, Господи»).

Пришло полдеревни. Служба тянулась почти два часа. Когда она закончилась, мне удалось отвести Роба в сторону. Я сказал, что, если он отвезет меня в Кололаи, я угощу

его воскресным обедом (у него есть джип). Он был любезен, но отказал — слишком далеко и дороги плохие. Я сказал, что у меня личные проблемы, насчет которых я хотел бы с ним посоветоваться, а он: «Может, Баден, мы пойдем к вам домой и поговорим там? Я пригласил бы вас к себе на лимонад, но люди ко мне как мухи липнут».

И мы отправились пешком ко мне. Пекло, как в преисподней. На этот раз я старался глядеть только себе под ноги. Я достал из своего ржавого маленького холодильника ледяную кока-колу, и, обмахивая себя веерами, мы устроились на крыльце (Роб называет его «верандой»). Он понимает, что меня очень тяготит невозможность как-то помочь этим людям, и призывает меня к терпению. Мой шанс придет.

Я сказал:

— Я в этом разуверился, святой отец.

(Тогда-то он и предложил мне называть его «Роб». Это от фамилии, а зовут его Мервин.)

— Никогда не надо разуверяться, Бад. Никогда.

У него был такой серьезный вид, что я едва сдержала смех.

— Ну хорошо, я буду глядеть в оба, и может быть, в один прекрасный день Управление пошлет меня туда, где я нужен.

— Опять в Уганду?

Я пояснил, что АУПЗ практически никогда никого не направляет в один и тот же регион по второму разу.

— Собственно, я с вами не об этом хотел поговорить. Речь идет о моей личной жизни. Точнее, у меня к вам два вопроса, и это — один из них. Мне бы хотелось воссоединиться со своей бывшей женой. Вы посоветуете мне расстаться с этой мыслью: ведь я здесь, а она — в Чикаго; но я могу посылать ей мейлы через Сеть, и мне хотелось бы уладить отношения.

— А дети у вас есть? Простите, Баден, я не знал, что это больная тема.

Я пояснил, что Мэри их хотела, а я — нет, и он дал мне несколько советов. Я еще не послал ей мейл, но пошлю, как только допишу вот это.

— Вы боитесь, что у вас были галлюцинации. Вас тогда не лихорадило? — Он достал термометр и измерил мне температуру. Оказалась почти нормальная.— Давайте, Баден, рассмотрим все это с точки зрения логики. Протяженность нашего острова — сто миль. Расстояние от побережья до побережья в самом широком месте — около тридцати. Мне известны восемь деревень. В одном только Кололаи — тысяча двести с гаком жителей.

Я сказал, что вполне сознаю все это.

— Дважды в неделю самолет привозит из Кернса все новых и новых туристов.

— Которые безвылазно сидят в Кололаи, никогда не удаляясь от города дальше пяти миль.

— Не «никогда», Баден, а «почти никогда». Вы говорите, что он был не из деревни. Хорошо, допустим, что так. Это был я?

— Нет, конечно.

— Значит, он живет не в этой деревне, а в другой или в самом Кололаи. Либо он вообще турист. Почему вы качаете головой?

Я объяснил.

— По-моему, ближайший лепрозорий — на Маршалловых островах. По крайней мере других я в ближайших окрестностях не знаю. Я не могу с уверенностью назвать прокаженным коротышку, которого вы видели,— если только вы не заметили у него каких-то иных симптомов болезни. Гораздо вероятнее, что это был. турист с нездорово-бледной кожей, намазанной кремом от загара. Что же касается его исчезновения, то ответ напрашивается сам собой. Он просто прыгнул со скалы в бухту.

— Там никого не было. Я проверил.

— Вы хотите сказать, что никого не заметили. По-видимому, из воды торчала только его голова, а солнце в тот день рассыпало блики по воде, верно?

— Должно быть.

— Наверняка. Погода стояла ясная.— Допив кока-колу, Роб переставил бутылку подальше.— А тот факт, что он не оставил следов... Хватит играть в Шерлока Холмса. Я понимаю, что выразился жестко, но я вам добра желаю. Отпечатки ног на мягком песке — это в лучшем случае аморфные впадины.

— Свои я нашел.

— Вы знали, где смотреть. А вернуться по собственным следам пытались? Так я и думал. Вы разрешите задать вам несколько вопросов? Когда вы его увидели, он показался вам реальным человеком?

— Да, совершенно реальным. Хотите еще? Или что-нибудь поесть?

— Нет, спасибо. Когда у вас был последний приступ?

— Сильный? Недель шесть назад.

— А несильный?

— Вчера вечером, но ничего особенного не стряслось. Два часа знобило, потом прошло.

— Должно быть, вас это успокоило. Нет, вижу, что нет. Баден, когда у вас опять будет приступ, не важно, серьезный или нет, придите ко мне. Поняли?

Я пообещал.

«Это Бад. Я тебя по-прежнему люблю. Вот все, что я хочу сказать, но я хочу это сказать. Я был не прав, и я это знаю. Надеюсь, ты меня простила». И подпись.

4.02. Вчера вечером опять его видел — у него заостренные зубы. Я лежал под москитной сеткой — меня трясло,— а он заглянул в окно и улыбнулся. Рассказал Робу. Добавил, что, как я где-то читал, каннибалы имели обыкновение затачивать свои зубы. Я знаю, что три-четыре поколения назад местные были каннибалами, и спросил, делали ли они такое с зубами. Он думает, что не делали, но обещал уточнить у короля.

«Я был очень болен, Мэри, но теперь мне лучше. Здесь вечер, и я ложусь спать. Я тебя люблю. Доброй ночи. Я тебя люблю». Подпись.

5.02. Пришли двое мужчин с копьями, чтобы отвести меня к королю. Я спросил, не арестован ли я, а они захохотали. Зато его величество на сей раз обошлось без «ха-ха-ха!». Он был в большом доме, но вышел наружу, и мы куда-то пошли мимо деревьев размером с офисные здания, задыхающихся под грузом цветущих лиан. Шли долго-долго. Наконец вошли в круг камней и остановились. Не считая меня, четверо: король, мужчины с копьями и старик с барабаном. Копьеносцы развели костер, и барабан тихонько рокотал, как прибой, пока король произносил речь или декламировал стихотворение, причем его все время передразнивали невидимые птицы со странными голосами.

Договорив, король повесил мне на шею этакую хреновину из резной кости. Когда мы пошли назад в деревню, он положил мне на плечо руку, чему я немало удивился. Он здоровяк почище любого регбиста-нападающего и весит никак не меньше четырехсот фунтов. Мне казалось, будто я волоку на себе теленка.

Ужасные, УЖАСНЫЕ сны! Кунание в кипящей крови. Теперь глаз не могу сомкнуть — страшно! Залез в Сеть, попробовал найти что-нибудь про сны и их толкования. Набрел на ведьму из Лос-Анджелеса — сперва на ее домашнюю страничку, потом на нее самое. (И тебя, и Тотошку твоего — всех погублю!!!) Но, кажется, неплохая тетка.

Достал штуковину из резной кости, которую мне подарил король. Старинная вещь, наверное, ей в музее место, но, думаю, пока я здесь, придется ее таскать на шее — по крайней мере когда выхожу на улицу. А то вдруг он обидится? Возьмет да и сядет на меня! Кажется, это рыба с нацарапанными на обоих боках картинками. Другие рыбы, человек в шляпе и т. п. Через глаз протянута веревка. Жаль, нет лупы.

6.02. Еще не ложился, но часы показывают, что среда. Написал длинный мейл — настучал за один заход, не думая. Сообщаю ей, где я и что я, заклинаю ответить. Потом вышел из дома и искупался нагишом в море под лунным светом. Завтра хочу поискать место, где король повесил мне на шею рыбу-талисман. Пора ложиться.

Утро. И прекрасное, доложу вам. Почему я так долго не замечал, какая здесь красота? (Может, мое сердце застряло в Африке и нагнало меня только сегодня?) Пальмы беспрерывно качаются на ветру, а люди — точно ожившие бронзовые статуй героев. Какими мелкими, чахлыми и бледными должны казаться им мы!

Искупался по-настоящему, чтобы отмыть уши от собственных воплей. Когда пройдет год, будет ли мне смешно читать на этих страницах, что полночный заплыв помог мне лучше понять местных? Может, и будет. Но я вправду это ощутил. Ведь они уже сотни лет плещутся в море в обществе луны.

Почта! Благослови, Боже, электронную почту и изобретателя ее! Только что обнаружил в своем ящике мейл. Попробовал угадать, от кого. Надеялся, что от Мэри, но был вполне уверен, что его прислала Эннис, которая ведьма. Читаю имя: «Джулиус Р. Кристмас». Папаша! Отец Мэри! Вскочил и стал скакать по комнате — такой восторг, что буквы прямо расплывались перед глазами. Сейчас я уже вывел мейл на печать. Переписываю сюда.

«Бад, она улетела в Уганду искать тебя. Вернется завтра. Кеннеди, АА 47 из Хитроу. Я ей скажу, где ты. Смотри там поосторожнее с этими папуасками».

ОНА УЛЕТЕЛА В УГАНДУ ИСКАТЬ МЕНЯ.

7.02. Опять сны — маленький человечек с острыми зубами улыбается, заглядывая в окно. Сомневаюсь, что стоит все это записывать, но я знал (во сне), что он причиняет

людям зло, а он твердил, что мне зла не причинит. Возможно, и в первый раз я видел его не наяву, а во сне. Опять вопли.

Ну ладно. Вчера днем еще раз поговорил с Робом, хотя заранее этого не планировал. Вернувшись домой, почувствовал себя так скверно, что свалился на постель и ничего не мог делать. По-моему, так худо мне не было со времен больницы.

Ходил искать место, куда меня водил король. Неохота было идти от деревни — еще дети увяжутся,— решил сделать круг и выйти на то место с другой стороны. Обнаружил две старые постройки — маленькие, без крыш,— и кость, похожую на человеческую. Детали запишу попозже. Следов зубов я на ней не увидел — впрочем, и не высматривал их специально. Правда, с одного конца она почернела, точно от огня.

Шатался часа три, весь вымотался. Запнулся ногой о булыжник, остановился утереть пот, и — бэмс! — оказалось, что я там где надо! Обнаружил пепел и где стояли мы с королем. Огляделся по сторонам, жалея, что не взял фотоаппарат,— и увидел Роба. Он сидел на четырех камнях, поставленных друг на друга,— остатках стены — и глядел на меня сверху вниз. Я сказал:

— Эй, что же вы молчали?

А он:

— Хотел посмотреть, что будете делать вы.

Значит, он за мной шпионил; вслух я этого не сказал, но иначе его действия назвать нельзя.

Я рассказал, как был здесь с королем и как получил от него талисман. Добавил, что, к сожалению, не надел его, но в любое время, когда Роб захочет кока-колы, я ему его покажу.

— Это все не столь важно. Он знает, что вы больны, и, полагаю, он дал вам вещь, которая должна вас исцелить. Возможно, она даже поможет — Бог слышит все молитвы. Это не то, чему учат в семинарии. Это отрицает даже Библия. Но я немало попутешествовал как миссионер и

могу вас уверить: когда человек обращается к своему создателю по поводу хорошего дела — его слышат. И очень часто отвечают: «Да». Почему вы сюда вернулись?

— Просто хотел вновь взглянуть на это место. Вначале мне показалось, будто это просто круг из камней. Теперь я начал подозревать, будто это было что-то более грандиозное.

Роб молчал; я пояснил, что вспомнил о Стоунхедже. Стоунхедж — всего лишь большие камни, поставленные по кругу. Однако они предназначены для того, чтобы узнавать положение некоторых звезд и где встает солнце. Но тут идея явно была другая, ведь вокруг деревья. Стоунхедж стоит на открытом месте, на Солсберийской равнине. Я спросил, не храм ли это.

— Когда-то, Баден, это был дворец.— Роб откашлялся.— Если я расскажу вам о нем нечто конфиденциальное, можно надеяться, что вы не будете этого разглашать?

Я пообещал.

— Теперь это весьма добродушное племя. Прежде всего я должен подчеркнуть, что нам с вами они кажутся несколько инфантильными, как и все дикари. Но будь мы сами дикарями — а мы ими были, Бад, и не столь давно,— мы бы воспринимали их совсем иначе. Вы можете себе вообразить, какими бы они нам казались, если бы не казались инфантильными?

Я сказал:

— Я думал об этом сегодня утром, перед тем как выйти из дома.

Роб кивнул.

— Теперь я понимаю, что заставило вас вернуться сюда. Поселения полинезийцев разбросаны по всему южному региону Тихого океана. Вы это знали? Первым, кто более или менее тщательно исследовал Тихий океан, был капитан Кук, офицер британского флота. Его страшно изумляло, что его переводчик мог объясняться с жителями островов, отделенных друг от друга многими неделями плавания.

Нам известно, например, что полинезийцы прибыли с Гавайев, и было их так много, что они завоевали Новую Зеландию. Правда, историки, насколько мне известно, все еще не признали это фактом, но зато сами маори зафиксировали данное событие в своих собственных анналах. Они проплыли около четырех тысяч миль.

— Впечатляет.

— Но вам неясно, куда я клоню. Понимаю-понимаю: история достаточно запутанная. Считается, будто их изначальной родиной была Малайзия. Я не буду перечислять все аргументы, убеждающие меня в неверности этой гипотезы, скажу лишь, что в таком случае они бы поселились на Новой Гвинее и в Австралии, а этого не произошло.

Я спросил, откуда же тогда пришли полинезийцы. Минуты две Роб сидел, почесывая подбородок; затем сказал:

— Этого я вам не стану говорить. Вы мне все равно не поверите, так зачем же время зря терять? Вообразите себе далекую страну, горную местность со зданиями и памятниками, ни в чем не уступающими древнеегипетским, и такими ужасными богами, каких не мог бы выдумать весь Голливуд вместе взятый. Время?..— Он пожал плечами.— После Моисея, но прежде Христа.

— Вавилон?

Он помотал головой.

— У них появился правящий класс, и со временем эти правители — их жрецы и воины — стали как бы другой расой, крепче и выше ростом, чем крестьяне, к которым они относились как к рабам. Алтари своих богов они орошали кровью — кровью врагов, когда удавалось взять достаточное количество пленников. На худой конец, годилась и кровь крестьян. И вот крестьяне восстали и выперли их с гор на берег моря, а затем загнали в море.

Думаю, он ждал от меня каких-то комментариев, но я молчал, обдумывая услышанное и гадая, может ли все это быть правдой.

— Они уплыли прочь, ужасаясь тому, что разбудили в сердцах народа — народа, к которому в былые времена принадлежали сами. Полагаю, их было две-три тысячи — никак не больше. Скорее всего счет шел даже не на тысячи, а на сотни. Они обучились мореплаванию и преуспели в нем — а иначе бы просто погибли. В эпоху античности они были единственным народом, который мог соперничать с финикийцами — и даже превзойти их.

Я спросил, верит ли он во все это. Он ответил:

— Не важно, верю я или нет,— все равно это правда.

Он указал на один из камней.

— Я назвал их дикарями. Это констатация факта. Но они не всегда были такими отсталыми, как сейчас. Здесь стоял дворец. Подобные руины разбросаны по всей Полинезии — огромные, постепенно рассыпающиеся в прах здания из кораллового известняка. Дворец и одновременно культовое сооружение, поскольку король считался святым, представителем богов. Вот почему он привел вас сюда.

Робу пора было уходить, но я рассказал ему о постройках, которые обнаружил раньше, и он выразил желание их увидеть.

— Знаете, Баден, здесь и храм есть, но мне так и не удалось его разыскать. Видимо, его построили в те времена, когда могущество темных сил было просто невообразимо...— Тут он ухмыльнулся, немало меня озадачив.— Наверно, Баден, вас много дразнят из-за вашего имени.

— С первого класса. Меня это не задевает.

На самом деле иногда задевает.

Подробности позже.

Итак, я познакомился с человечком, которого видел на пляже, и, честно говоря (что толку употреблять это выражение, если ты не желаешь говорить честно?), он мне понравился. Через минутку я все это опишу.

Мы с Робом стали искать постройки, на которые я набрел в поисках дворца, но так и не смогли их обнаружить.

По моему описанию Роб предположил, что храмом, который он ищет с самого своего приезда на остров, эти постройки быть не могут.

— Они знают, где он. Старики точно знают. Иногда я слышу эвфемистические упоминания о нем. Просто упоминания — не шутки. По поводу места, которое вы нашли, они острят. О храме — ни в коей мере.

Я спросил, что же за место я нашел.

— Японский военный лагерь. Во время Второй мировой здесь базировались японцы.

Впервые слышу.

— Боев тут не было. Они построили здания, которые вы нашли — если это те самые,— и выкопали в горах пещеры-дзоты. Я сам обнаружил несколько. Но американцы и австралийцы просто проскочили мимо острова, как и мимо многих других. Японцы здесь так и застряли. По-видимому, это была всего одна рота.

— И что с ними сталось?

— Одни сдались в плен. Другие вышли из джунглей, чтобы сдаться, но были убиты. Горстка японцев — человек двадцать, двадцать пять, если верить рассказам,— держалась до последнего. Они ушли из пещер и вернулись в лагерь, который был построен в надежде на то, что Япония победит и будет контролировать весь Тихий океан. Полагаю, именно этот лагерь вы и нашли, так что мне хотелось бы его посмотреть.

Я сказал, что не понимаю, как он мог от нас ускользнуть, а Роб заметил:

— Гляньте на эти джунгли, Баден. В десяти футах от нас может прятаться любое здание.

Затем, пройдя пешком милю или две, мы вышли к морю. Я не знал, где мы оказались, но Роб знал.

— Здесь мы расходимся. Деревня вон там, а ваше бунгало — в противоположной стороне, за бухтой.

У меня из головы не выходили японцы, и я спросил, все ли они уже умерли, а он сказал, что да.

— Год от году они старели, и их ряды редели, и пришли времена, когда винтовки и пулеметы, с помощью которых они терроризировали деревни, пришли в негодность. Местные не сразу это поняли, но когда до них дошло, они напали на японский лагерь ночью, вооруженные дубинками и копьями. Они убили и съели всех японцев — иногда они в шутку сравнивают меня с ними, когда пытаются выцыганить у меня мою козу.

Меня трясло, и я понимал: скоро *мне* совсем поплохеет, так что вернулся сюда. До самого утра провалялся совсем больной по полной программе: озноб, лихорадка, мигрень. Помню, как прямо у меня на глазах вазочка на бюро встала, прошла на тот конец и снова уселась, а в комнату плавно влетел американец в бейсболке. Он стащил бейсболку с головы, причесался перед зеркалом и вновь улетел. Судя по бейсболке, фанат «Кардиналов».

А теперь о Хэнге, коротышке, с которым я вижусь на пляже.

Записав все насчет дворца, я решил задать Робу пару вопросов и сказать ему, что Мэри прилетает. Да-да-да, никто мне прямо не сказал, что она прилетит, и даже она сама со мной пока не связалась — я получил лишь письмо от Папаши. Но ведь в Африку она отправилась — так что ей мешает прилететь сюда? Я поблагодарил Папашу и еще раз сообщил ему мой адрес. Он знает, как сильно мне хочется с ней увидеться. Если она прилетит, я попрошу Роба обвенчать нас по второму разу, если она согласится.

Итак, пойдя по берегу, я увидел его, но спустя полминуты он словно бы растворился в дымке. Я сказал себе, что у меня все еще глюки — ведь я болен; и напомнил себе, что обещал зайти к Робу в миссию, когда в следующий раз почувствую себя плохо. Но когда я обошел бухту, он оказался прямо передо мной, вполне материальный. Он сидел в тени под молодой пальмой. Мне захотелось с ним поговорить, и я сказал:

— Ничего, если я здесь тоже присяду? От жары мозги плавятся.

Он улыбнулся (у него и вправду заостренные зубы) и сказал:

— Моя шляпа — дерево.

Я думал, что он имеет в виду просто тень, но после того как я уселся, он мне кое-что показал: откусил пальмовый лист и отодрал от него полоску, потом продемонстрировал, как расщеплять полоски еще и еще, чтобы плести неуклюжие шляпы типа соломенных с высокой тульей и широкими полями.

Мы немного поговорили, хотя он владеет английским намного хуже, чем некоторые местные. Он живет не в деревне, а деревенские его не любят, хотя он их любит. Говорит, они его боятся и из страха дают ему всякие вещи. Они предпочитают, чтобы он держался подальше. «Нет деревня, нет пирога».

Я сказал, что ему, наверное, одиноко, но он просто уставился на море. Должно быть, он просто не знает этого слова.

Он заинтересовался талисманом, который мне подарил король. Я описал его и спросил, приносит ли он удачу. Он покачал головой: «Не есть малхой». Взмахнул пальмовым волоконцем. «Это есть малхой». Не зная, что значит «малхой», я решил с ним не спорить.

Вот, в принципе, и все. Еще я сказал ему, чтобы он заходил в гости, когда захочет пообщаться с людьми; а он посоветовал мне есть рыбу, чтобы поправить здоровье (понятия не имею, кто ему сказал, что иногда я болею, но я ведь никогда не держал свое состояние с секрете). И еще он сказал, что когда он со мной, приступы мне не угрожают (по крайней мере так я расшифровал его слова).

Кожа у него загрубелая, гораздо светлее, чем мое предплечье, но я не могу сказать, патология это или просто что-то врожденное. Когда я встал, чтобы уйти, он тоже поднялся. Оказалось, его макушка мне едва-едва по грудь. Вот бедняга.

И вот еще что. Я не собирался это записывать, но после слов Роба передумал. Немного отойдя, я обернулся, чтобы помахать Хэнге — но его уже не было. Я вернулся, думая, будто у меня обман зрения из-за тени пальмы; но он и вправду исчез. Я спустился к бухте, предполагая, что он в воде, как думал Роб. Место очень красивое, но Хэнги и там не обнаружилось. Начинаю сочувствовать морякам старых времен — насчет островов, которые исчезали, когда те подплывали поближе.

Ну да ладно. Роб говорит, что «малхой» значит «крепкий». Поскольку пальмовое волокно уступает в крепости простой хлопчатобумажной нитке, тут какая-то неувязка. (Или, что еще вероятнее, я просто что-то не так понял.) Наверно, это слово многозначно.

«Хэнга» означает «акула», по словам Роба, но он ведь не знаком с моим другом Хэнгой. Почти все мужчины носят имена рыб.

Еще мейл, на сей раз от ведьмы. «Над вами нависла опасность. Я это чувствую и знаю, что высшая сила привела вас ко мне. Будьте осторожны. Избегайте культовых сооружений, карты таро предвещают, что вам небезопасно там бывать. Опишите мне фетиш, о котором упоминали».

Вряд ли я исполню ее просьбу. И вообще больше не буду ей писать.

9.02. Похоже, в четверг я устал от писанины — вижу, что вчера так ничего и не записал. Сказать по чести, описывать было нечего — разве что мое купание в бухте Хэнги. А это я описать не могу — все какая-то бессмыслица выходит. Красота выше слов. Вот и все, что могу сказать. Сказать по чести, боюсь туда возвращаться. Боюсь разочароваться. Ни одно место на земле и даже под водой не может быть так прекрасно, как то, что запечатлелось в моей памяти. Пестрые кораллы, крохотные морские животные,

похожие на цветы, стайки голубых, красных и оранжевых рыбок — этаких живых самоцветов.

Сегодня, когда я пошел к Робу (да-да, Эннис меня предупреждала, но, по-моему, она — просто сивая кобыла), я сказал, что он наверняка придерживается мысли, будто Бог создал этот прекрасный мир нам на любование; но, по-моему, тогда Он должен был снабдить нас жабрами.

— Баден, по-вашему, я должен считать, что Он и звезды специально для нас создал? Все эти пылающие солнца, отделенные от нас сотнями и тысячами световых лет? Неужели Бог создал целые галактики только для того, чтобы мы их замечали пару раз за всю жизнь, случайно задрав голову?

Услышав эти слова, я невольно задумался о людях вроде меня, тех, кто работает на федеральное правительство. Может, нас тоже когда-нибудь выгонят, как тех правителей, о которых говорил Роб? Очень многие из нас перестали беспокоиться о простом народе. Пэ-Дэ, например, на народ плевать — я точно знаю.

Тут пришла женщина, поранившая руку. Обрабатывая рану, Роб беседовал с ней на ее родном языке, а она многословно отвечала ему — просто-таки трещала как сорока. После ее ухода я спросил, все ли ее фразы он понимал.

— И да, и нет,— ответил он.— Если вам так уж интересно — я знаю все слова, которые она произносила. Сколько вы здесь уже прожили, Баден?

Я ему сказал.

— Около пяти недель? — переспросил он.— Идеальный срок. Я живу здесь уже шестой год, но владею языком еще не как родным. Иногда я запинаюсь, подбирая слово. Бывает, что нужное так и не приходит мне в голову. Но на слух я их речь понимаю. Не самый замысловатый язык. Вас беспокоят призраки?

Полагаю, у меня отвисла челюсть.

— Это мне она сказала, помимо всего прочего. Король послал в другую деревню за женщиной, которая должна

вас от них избавить. Этакая специалистка по белой магии, полагаю. Ее зовут Лангитокоуа.

Я сказал, что меня беспокоит только один призрак — призрак моего неудачного брака, но я, впрочем, надеюсь поправить дело с помощью Роба.

Он попытался заглянуть мне в душу — кажется, успешно. Такие уж у него глаза.

— Вы еще не выяснили, когда прилетит Мэри?

Я покачал головой.

— После поездки в Африку она захочет несколько дней передохнуть. Надеюсь, вы это учитываете.

— И ей придется лететь из Чикаго в Лос-Анджелес, из Лос-Анджелеса — в Мельбурн, оттуда — в Кернс, а там дожидаться рейса на Кололаи. Поверьте, Роб, я все учел.

— Хорошо. А вам не приходило в голову, что ваш друг, этот коротышка Хэнга, может оказаться призраком? Я хочу сказать, вам это не приходило в голову после того, как вы с ним поговорили?

И тут меня обуяло то самое чувство — «что, дескать, я здесь делаю»,— которое донимало меня в буше. Я сидел в солнечной, пропахшей лекарствами комнатке с картонными стенами, у моего локтя стояла банка с ватными тампонами, через окно доносился шум прибоя, и тысячи миль отделяли меня от мест, где кипит жизнь; и хоть убей, я не мог вспомнить, какие решения и удачные или неудачные планы привели меня сюда.

— Позвольте, Баден, рассказать вам одну историю. Хотите верьте, хотите — нет. Это было в первый год моего пребывания здесь. Я поехал в город насчет покупки кое-каких стройматериалов. Так получилось, что в городе у меня выдался день полного безделья, и я решил прокатиться на мыс Северный. Мне говорили, что это самая живописная часть острова, и я убедил себя, что должен ее посмотреть. Вы там были?

Я даже не слышал о таком мысе.

— Шоссе доходит до ближайшей к мысу деревни и там кончается. Оттуда — еще часа два пешего хода по тропке.

Там и впрямь красиво: скалы нависают над волнами, величественные утесы поднимаются прямо из океана. Я пробыл там не очень долго. Просто проникся атмосферой этого места — ощутил сладостное такое одиночество — и сделал несколько зарисовок. Потом пешком вернулся в деревню, где оставил свой джип, и поехал назад в Кололаи. Уже почти стемнело.

Отъехав совсем недалеко, я увидел, что по дороге идет один мужчина из нашей деревни. Тогда я знал еще не всех, но с ним был знаком. Я затормозил, и мы с минутку поболтали. Он сказал, что идет повидаться с родителями, и я предположил, что они живут в деревне, из которой я только что выехал. Я пригласил его сесть в джип и, развернувшись, отвез его туда. Он долго меня благодарил, а когда я вылез из машины проверить покрышку, которая меня смущала, обнял меня и поцеловал в глаза. Никогда этого не забуду.

Я ляпнул какую-то глупость насчет того, что люди здесь очень сердечные.

— Да, конечно, вы правы. Но знаете что, Баден,— вернувшись, я узнал, что мыс Северный — заклятое место. Туда отправляются души умерших, чтобы попрощаться со страной живых. Человека, которого я подвез, сожрала акула в день моего отъезда из деревни, за четыре дня до нашей встречи на дороге.

Я не знал, что сказать. Наконец я выпалил:

— Они вам наврали. Наврали, другого объяснения нет.

— Несомненно — или я вам сейчас наврал. В любом случае я бы очень хотел, чтобы вы привели ко мне своего друга Хэнгу, если вам это удастся.

Я пообещал сводить Роба к Хэнге, поскольку Хэнга отказывается ходить в деревню.

Опять купался в бухточке. Я никогда не считал себя хорошим пловцом, да у меня никогда и не было возможности им стать, но теперь плаваю, как дельфин, ныряю и пла-

ваю с открытыми глазами, остаюсь под водой минуты по две — две с половиной, если не дольше. Невероятно! О боже, жду не дождусь, когда смогу похвастаться перед Мэри!

В Кололаи продаются акваланги и прочее снаряжение. Надо будет занять у Роба джип или нанять кого-нибудь из мужчин, чтобы меня отвезли в пироге.

11.02. Опять запустил дневник — надо наверстывать. Вчера день прошел очень странно. И суббота тоже.

Не успел я лечь на кровать (в голове у меня крутилась Робова история о призраке и картинки нового подводного мира) — и БУХ! Вскочил в чертовской панике. Оказалось, бюро опрокинулось. Очевидно, ножки подгнили. Несколько ящиков вдребезги, вещи разлетелись по всей комнате.

Прислонил бюро к стене, начал наводить порядок — и нашел книгу, которой раньше не видел. «Лучезарный сад короля ангелов» о путешествиях по Афганистану. На первой странице — чье-то имя, дата и штамп «Американское управление помощи зарубежным странам». Тупо поглядел на это дело, ничего не понял.

Но теперь мне все кристально ясно. Считайте, это послание для меня открытым текстом. Итак, он был здесь. Он — Ларри Скриббл. Сотрудник Конторы. Купил книгу три года назад (вероятно, когда его направили в Афганистан), затем был послан сюда и книгу привез с собой. Я пользуюсь лишь тремя верхними ящиками, а она лежала в каком-нибудь другом и осталась незамеченной, когда кто-то (но кто?) собирал его вещи.

Почему, приехав, я не застал Скриббла здесь? Ему следовало остаться еще этак на неделю, чтобы ввести меня в курс дела. Никто мне о нем ничего не сказал — даже имя не упоминалось. Все это неспроста.

Хотел сходить в миссию на службу и взять с собой книгу, но опять захворал. Сорок два и восемь. Принял таблетку, лег — от слабости пальцем пошевелить не мог — и увидел престранный сон. По каким-то признакам я знал, что в

доме кто-то есть (по логике вещей, слышал шаги, но не помню). Привстал — у кровати, улыбаясь, стоял Хэнга. «Моя стукал. Твоя не выходил».

Я сказал:

— Извини. Я болел.

Чувствовал я себя чудесно. Встал и спросил, не хочет ли он кока-колы или поесть что-нибудь, но он пожелал увидеть талисман.

— Без проблем,— сказал я и достал его с бюро.

Хэнга осмотрел его, хмыкая и водя указательным пальцем по рисункам на боках.

— Твоя не развязывай? Так носит? — указал он на шнурок.

Я пояснил, что это не требуется — я могу надеть талисман на шею, не распуская узла.

— Хочешь друг? — Он ткнул себе в грудь. Вид у него был очень жалостный.— Хэнга друг? Бад друг?

— Да,— согласился я.— Очень хочу.

— Развязывай.

Я сказал, что перережу шнурок, если ему так хочется.

— Развязывай, пожалуйста. Друг по крови (и взял меня за руку, повторяя: «Друг по крови?»).

— Ладно,— сказал я и начал ковырять узел, который оказался довольно сложным; и в этот миг, клянусь, я услышал, что в бунгало еще кто-то есть, кто-то третий — он колотил по стенам. Думаю, я пошел бы посмотреть, кто там, но Хэнга все еще стискивал мою руку. Ручонки у него коротенькие, но кисти здоровенные и очень сильные.

Минуты через две я развязал шнурок и спросил, нужен ли он ему, а он с жаром ответил, что да. Я отдал ему шнурок, и тут произошла метаморфоза, какие часто случаются в снах. Распрямившись, он оказался как минимум одного роста со мной. Удерживая мою руку, он быстро и аккуратно куснул ее зубами и слизнул кровь, после чего, казалось, подрос еще немного. Его точно расколдовали. Лицо у него стало умное и почти красивое.

Затем он укусил себе руку точно так же, как и мою. Протянул руку мне, и я слизнул его кровь так, как он лизал мою. Я почему-то ожидал, что на вкус она будет ужасна, но нет: все равно, что хлебнуть морской воды, когда купаешься.

— Теперь моя и твоя друзья по крови, Бад,— сказал Хэнга.— Моя твоя не обижай, и твоя моя не должен обижай.

На этом сон кончился. Следующее, что я помню,— как, лежа в кровати, ощутил какой-то сладкий запах. Что-то щекотало мне ухо. Я подумал, что москитная сетка оборвалась, и поднял голову поглядеть — оказалось, рядом со мной лежит женщина с цветком в волосах. Я обернулся к ней; она, видя, что я проснулся, обняла и поцеловала меня.

Это Лангитокоуа, женщина, за которой, по словам Роба, посылал король, но я зову ее Ланги. Говорит, будто не знает, сколько ей лет. Врет. Я уверен, что из-за своего сложения (шесть футов роста, а весит никак не меньше двухсот пятидесяти фунтов) она выглядит старше своих лет. Ей где-то двадцать пять. Или семнадцать. Спросил ее о призраках — она спокойно сказала, что один в доме есть, но не опасный.

Во дела.

Затем, что вполне естественно, я ее спросил, почему король попросил ее пожить у меня; а она пресерьезно объяснила, что мужчине нехорошо жить одному, что мужчине нужен кто-то, кто бы готовил, подметал и заботился о нем, когда он болеет. То был мой шанс, и я воспользовался им. Я растолковал ей, что вскоре жду из Америки женщину, что американские женщины ревнивы и что мне придется сказать американской женщине, что Ланги — моя сиделка. Ланги ничуть не упиралась.

Что еще?

Приход Хэнги мне лишь приснился — я это знаю; но похоже, что я ходил во сне. (Может быть, в бреду вскочил и стал бродить по бунгало?) Талисман лежит там, где я его

оставил — на бюро; но шнурок исчез. Я нашел его под кроватью и попытался опять продеть в рыбий глаз, но ничего не вышло.

Мейл от Эннис:

«Адские псы сорвались с цепи. Ради всего святого, будьте осторожны. Благие влияния интенсифицируются, так что не теряйте надежды». По мне, полная шиза.

Мейл от Папаши:

«Как ты там? Что-то от тебя ничего не слышно. Ты нашел жилье для Мэри и детей? Они выехали».

Какие дети? На что намекает этот старый пуританин?

Послал Папаше длинный мейл, сообщив, что сильно болел, но теперь поправляюсь и что Мэри может выбрать себе жилье из нескольких вариантов, включая это бунгало,— пусть решает сама, я ни на чем настаивать не буду. На Папашу я не обижаюсь — он понятия не имеет, где и как я живу. Возможно, он вообразил, будто я снимаю комнату с узкой девичьей кроватью в Кололаи. Надо послать еще одно письмо — спросить, когда она вылетает из Кернса; вряд ли он знает, но попытка не пытка.

Скоро полночь, Ланги спит. Мы сидели на пляже, любуясь закатом, пили ром с кока-колой, а когда кола кончилась — ром с кокосовым молоком, смотрели на звезды, разговаривали и занимались любовью. Потом еще немного поговорили, еще немного выпили и опять позанимались любовью.

Ага. Это я записал. Теперь надо придумать, где бы это дело спрятать, чтобы Мэри не попалось на глаза. Уничтожать дневник я не буду и врать — тоже. (Врать самому себе — последнее дело. Уж я-то знаю.)

Еще кое-что из категории «Ах, неужели то был только сон?» — по-моему, не сон. Я лежал на песке, глядя в звезд-

ное небо. Ланги посапывала рядом. Я увидел НЛО. Он прошел между мной и звездами — обтекаемый, темный, в форме торпеды, но с огромным плавником сзади, точно ракета из старого комикса. Сделал над нами два-три круга и исчез. По спине пробежали мурашки.

Это навело меня на кое-какие мысли. Звезды — все равно, что эти острова, только в миллион миллиардов раз крупнее. Никто на свете точно не знает, сколько здесь островов, и даже в наши дни найдется несколько, куда никогда не ступала нога человека. По ночам острова смотрят на звезды, а звезды — на них, и звезды с островами говорят друг другу: «Они приближаются!»

Имя Ланги значит «небесная сестра», значит, не мне одному такие идеи приходили в голову.

Нашел храм! До сих пор самому не верится. Роб разыскивал его пять лет, а мне хватило шести недель. Господи, как мне хочется поделиться с ним новостью!

Но этого я сделать не могу. Я дал Ланги слово, так что вопрос исчерпан.

Мы пошли купаться в бухточку. Я нырнул, стал показывать ей кораллы и прочие штуки, которые она наверняка видела с того возраста, как научилась ходить, а она показала мне храм. Крыша обвалилась — если вообще была,— стены обросли кораллами и морскими животными, похожими на цветы; если знающий человек не ткнет пальцем, сам ни за что не догадаешься, что перед тобой здание. Но стоит приглядеться — и вот оно: длинные отвесные стены, главный вход, какие-то каморки с боков — все как надо. Словно руины собора, украшенные цветочными гирляндами и праздничными флажками (я знаю, что сравнение неточно, но другой, более близкой ассоциации не сумел придумать). Храм выстроили на суше, затем вода поднялась; но он уцелел. Он выглядит не заброшенным — а скрытым. Слишком древний он и слишком большой, чтобы попадаться на глаза кому попало.

Никогда этого не забуду. Обычные камни и кораллы буквально у меня на глазах сложились в стены и алтарь, из которого, точно огромное дерево, растет коралловый куст пятидесятифутовой вышины. Затем из тени кораллового дерева выплыла гигантская беловато-серая акула с человеческими глазами. Она хотела посмотреть на нас. Это пострашнее всех львов и леопардов. Господи, как же я сдрейфил!

Когда мы вынырнули и вылезли на скалы, Ланги пояснила, что акула не хотела нам зла — иначе мы оба были бы уже мертвы (железный аргумент). Мы стали собирать цветы, затем она сплела несколько венков, покидала их в воду и спела какую-то песню. Она сказала: «Твоя может знать об этом, ведь мы есть мы; но никогда не говори другим "мули". Я вполне искренне поклялся хранить тайну.

Она ушла в деревню за продуктами. Я спросил у нее, кому они поклонялись в подводном храме — богу Роба (специально подбирал выражение, которое было бы ей понятно)? Она со смехом ответила: «Нет, мы поклонялись богу-акуле, чтобы акулы нас не ели». Теперь сижу и размышляю над ее словами.

Полагаю, с гор, где они жили две тысячи лет назад, они должны были привезти других богов. Обосновавшись здесь, они построили этот храм — в честь своих старых богов. Позднее, спустя несколько сотен лет или типа того, уровень воды в море поднялся, и храм затопило. Старые боги ушли, но прежде приставили к своему дому стражей — акул. Когда-нибудь море снова отхлынет. Антарктика снова покроется толстым и прочным ледяным покровом, Тихий океан обмелеет, и старые кровожадные боги гор вернутся. Вот так мне кажется, и если я прав, то мне радостно, что все это случится уже не при мне.

В Робова бога я не верю, следовательно, логика требует, чтобы я не верил и в этих богов. Но я в них верю. Наступила

новая эра, вот только мы все еще играем по старым правилам. Они придут и научат нас новым — чего я, собственно, и боюсь.

Валентинов день. Мэри ушла в мир иной. Так выразила бы эту мысль моя мама. Так должен выразиться и я. Эти слова я и пишу печатными буквами. Не могу заставить свои пальцы написать что-то еще. Пока не в силах.

Сможет ли хоть кто-нибудь разобрать мой почерк?

Ланги и я преподнесли ей венок из орхидей. И тогда венок был на ней. Как быстро это случилось. Какое безумие.

Столько крови. Мэри и дети истошно кричали.

Так, надо либо начать с самого начала, либо вообще бросить это дело.

Была устроена охота на кабанов. Я не пошел, помня, как худо мне было после шатаний по джунглям с Робом, но после охоты мы с Ланги посетили пир и угостились жареным мясом. Охота на кабанов — любимое времяпровождение мужчин; Ланги говорит, что больше охоты они любят лишь танцы. Собак они не держат, луками и стрелами тоже не пользуются. Охота состоит в том, чтобы выследить зверя. Обнаружив кабана, они убивают его копьями — опасное, должно быть, дело. Я разговорился с королем об охоте, и он объяснил, что они загоняют нужного им кабана в место, откуда он не может убежать. Тогда зверь разворачивается, бросает им вызов и может даже атаковать их; но если он не атакует, четверо или пятеро мужчин одновременно кидают в него копья. Король заявил, что именно его копье пронзило сердце этого кабана.

В общем, пир был роскошный. Ананасы, местное самопальное пиво, мой ром и целые горы свинины. Уже почти рассветало, когда мы вернулись сюда,— оказалось, что Мэри с Марком и Адамом уже спят.

И слава богу, поскольку это дало нам шанс искупаться и вообще привести себя в порядок. К их пробуждению Лан-

ги приготовила поднос с фруктами для завтрака и сплела венки из орхидей, которые нарвал я. Также я сварил кофе. По моему опыту, утром маленькие мальчики жутко ноют (может быть, из-за того, что мы не разрешаем им пить кофе?), но Адам и Марк были страшно поражены присутствием смуглой великанши и живого скелета, поэтому разговор получился. Они двойняшки и, кажется, вправду мои дети; по крайней мере оба — вылитый я в их возрасте. Ветер начал крепчать, но мы не обратили на это внимания.

— Ты очень удивился, когда меня увидел?

Мэри выглядела несколько старше, чем женщина, чей образ запечатлелся в моей памяти. У нее начал оформляться двойной подбородок.

— Я ужасно рад. Но Папаша меня уже предупредил, что ты ездила в Уганду, а потом отправилась сюда.

— На край света.— Тут она улыбнулась, и у меня сердце так и запрыгало в груди.— Никогда не думала, что на краю света так красиво.

Я заметил, что когда наши дети вырастут, все побережье застроят многоэтажными домами.

— Тогда давай порадуемся, что нам выпало жить именно сейчас.— Мэри обернулась к мальчикам.— Пока мы здесь, давайте постараемся все увидеть и все перепробовать. Другого такого шанса у вас не будет.

Я произнес:

— Надеюсь, вы проживете здесь очень долго.

— Ты хочешь сказать, что ты и?..

— Лангитокоуа.— Я помотал головой (вот он, решающий момент, а все мое отрепетированное вранье как корова языком слизала).— Мэри, был ли я хоть раз с тобой честен?

— Безусловно. Частенько.

— Я не был честен, и ты это знаешь. И я знаю. Я не имею права надеяться, что ты мне поверишь. Но я скажу тебе и себе правду, как на духу. Сейчас у меня ремиссия. Мы с Ланги вчера смогли сходить на праздник, поесть, по-

общаться с людьми, развлечься. Но когда мне худо, это кошмар. Я ничего не могу — только дрожу, вою и потею,— а еще я вижу то, чего нет. Я...

Мэри прервала меня, пытаясь утешить.

— Ты не так уж плохо выглядишь. Я ожидала худшего.

— Я знаю, как я выгляжу. Каждое утро вижу в зеркале, когда бреюсь. Вылитая смерть, которую разогрели в микроволновке,— и это не красивое сравнение, а почти что научная истина. В этом году болезнь должна меня доконать. Если я и выживу, приступы все равно будут донимать меня до конца жизни — которая вряд ли продлится долго.

Воцарилась тишина. Чтобы нарушить молчание, Ланги поспешила спросить, не хотят ли мальчики кокосового молока. Они сказали, что хотят, и, достав мой хелетей, она показала им, как вскрывать зеленые орехи одним ударом. Мы с Мэри тоже решили посмотреть и отвлеклись от нашего разговора — тут-то я и услышал прибой. Шум разбивающихся о берег волн еще ни разу не достигал моего бунгало — все-таки до моря далековато.

— Я взяла напрокат «рейнджровер». В аэропорту,— сказала Мэри тоном, который в ее случае обычно означал «я вынуждена говорить о том, о чем предпочла бы умолчать».

— Знаю. Видел.

— Пятьдесят долларов в день, Бад, плюс пробег. Я не смогу долго за него платить.

— Понимаю,— сказал я.

— Мы пытались позвонить. Я надеялась, что ты достаточно здоров и можешь нас встретить или кого-нибудь послать.

Я сказал, что одолжил бы у Роба его джип, если бы она мне дозвонилась.

— Я и не знала, где тебя искать, но мы встретили туземца, очень красивого мужчину, и он сказал, что знаком с тобой. Он проводил нас, чтобы показать дорогу.— В этот миг по лицам мальчиков я понял, что с туземцем все не

слава богу.— От денег он отказался. Может быть, я зря предложила ему плату? Но он вроде бы не обиделся.

— Нет, все нормально,— сказал я.

Я был готов отдать весь свет, лишь бы отвести мальчиков в сторонку и поговорить с ними начистоту. Но изменило бы это хоть что-нибудь? Читая это, вновь переживая то, что случилось, я понимаю, что на письме теряется одна деталь — тот факт, что все произошло очень быстро. Между пробуждением Мэри и тем мигом, когда Ланги побежала в деревню за Робом, не прошло и часа.

Мэри лежала вся белая; белее песка. Исхудалая и белая-белая, очень похожая на меня.

— Он думал, что ты на берегу, и хотел поискать тебя там, но мы слишком устали,— продолжала Мэри.

Пока все. Честно сказать, я выбился из сил. Слова, которые я пишу сейчас левой рукой, расплываются у меня перед глазами, а культя, которой я придерживаю ежедневник, ноет. Сейчас я лягу и буду плакать — это я знаю точно, и Ланги будет укачивать меня, как ребенка.

Завтра продолжу.

17.02. Из больницы прислали самолет за Марком, но для нас мест в салоне не нашлось. Моей болезнью доктор заинтересовался куда больше, чем моей культей. «Доктор Роббинс отлично ее обработал»,— сказал он. В понедельник мы сядем на самолет, который летит в Кернс.

Надо дописать историю. Но во-первых и в-главных: завтра я украду Робов джип. Так он мне его не даст, считает, что я не могу водить машину. Я-то знаю, что могу, хотя и медленно.

19.02. Стоим на взлетной полосе. Один двигатель барахлит. Хватит ли у меня теперь духу написать обо всем? Посмотрим.

Мэри рассказывала нам о своем проводнике, какой он красивый и сколько рассказал об островах, вещи, которых

я сам не знал. И словно удивившись, что не заметила его раньше, указала и произнесла:

— Да вот же он.

Вокруг никого не было. Точнее, никого, кто был бы виден Ланги, мне или мальчикам. Когда все кончилось, когда Роб осматривал Марка и Мэри, я поговорил с Адамом (с моим сыном Адамом, надо привыкать звать его так). Мне было велено стягивать бинт — крепко-крепко, изо всех сил. А рука у меня ослабла.

Адам сказал, что Мэри остановила машину, дверца раскрылась, и Мэри попросила его пересесть назад к Марку. ДВЕРЦА РАСКРЫЛАСЬ САМА СОБОЙ. Этот момент он помнит яснее всего, и я тоже до конца дней своих буду помнить. И потом всю дорогу Мэри разговаривала с кем-то, кого они с братом не видели и не слышали.

Мэри закричала, и всего на секунду возникла акула. Она была большая, как пирога, а ветер, сильный, как океанское течение, сдул нас в воду. Признаюсь честно: ума не приложу, как все это можно было бы объяснить.

Самолет пока не взлетел. Все-таки попытаюсь. Легко сказать, чего не произошло в тот миг. И безумно трудно — описать, что именно произошло. Слов нет. Акула не плавала в воздухе. Я знаю, как это звучит, но она (он!) не плавала. Мы не находились под водой. Отнюдь. Мы могли дышать, ходить и бегать точно так же, как он мог плыть, хотя и не так быстро, как он. Могли даже бороться с течением.

Хуже всего было то, что он то появлялся, то исчезал, исчезал и появлялся, и уже казалось, будто мы бежим от него или сражаемся с ним при вспышках молний, иногда он был Хэнгой — высоким, выше короля — и улыбался мне, а сам гнал нас, как стадо.

Нет. Самое гадкое — в стадо, которое он гнал, входили все, кроме меня. Он заставлял их — Мэри, Ланги, Адама и Марка — двигаться в сторону берега, как собака гонит овец,

а мне он позволил бы убежать. (Иногда я гадаю, почему не убежал. То был новый я, таким я себя вряд ли еще увижу.)

Его челюсти были вполне реальными — иногда я слышал их щелканье, не видя его самого. Я закричал, звал его по имени. Наверное, я кричал, что он нарушил наш договор, что причинять зло моим женам и сыновьям — все равно что мне. Следует воздать этому дьяволу должное — по-моему, он просто не понял. Король сказал мне сегодня, что старые боги очень мудры, но и их разуму не все подвластно.

Я схватил нож, хелетей, которым Ланги вскрывала кокосы. Думая о кабанах, я — Господь тому свидетель — пошел на них в атаку. Вероятно, мне было ужасно страшно. Точно не помню — припоминаю лишь, как полосовал ножом что-то или кого-то огромного, который то появлялся, то исчезал, а через миг возвращался вновь. Поднятый ветром песок впивался в кожу. Я оказался по горло в пенистой воде. Резал и рубил. Акула-молот с моим ножом и моя рука в ее пасти.

Мы всех их вытащили — мы с Ланги. Но Марк остался без ноги, а Мэри перекусили челюсти трехфутовой ширины. То был сам Хэнга, я уверен.

Вот моя версия. Думаю, он мог показываться лишь одному из нас кряду, потому-то и мерцал, то возникая, то исчезая. Он реальное существо (чертовски реальное!!!). Не совсем материальное в том смысле, в каком материален камень, но все равно материальное в непостижимом для меня плане. Материальное, как свет и радиация — и все же не совсем, как они. Он показывал себя каждому из нас, и всякий раз менее чем на секунду.

Мэри хотела иметь детей и поэтому, ничего мне не говоря, перестала принимать таблетки. Она сказала мне об этом по дороге к Северному мысу, в Робовом джипе (я был за рулем). Я боялся. В основном не Хэнги (хотя и его тоже) — но того, что Мэри на дороге не окажется. И тут

кто-то произнес: «Банзай!» Это слово прозвучало словно бы из уст человека, сидящего рядом со мной в джипе,— вот только в машине никого, кроме меня, не было. В ответ я тоже сказал: «Банзай». Он больше не отозвался; но после этого я понял, что найду ее, и стал дожидаться на краю обрыва.

Она вернулась ко мне, когда солнце спустилось к волнам Тихого, и чем больше темнело и ярче разгорались звезды, тем реальнее она становилась. Большую часть времени я по-настоящему ощущал ее в своих объятиях. Когда звезды поблекли, а на востоке забрезжил рассвет, она прошептала: «Мне пора»,— и шагнула с обрыва, и пошла на север, медленно тускнея. Солнце освещало ее справа.

Я оделся и вернулся назад в деревню, на том дело и кончилось. Итак, я записал последние слова, которые сказала мне Мэри через два дня после своей смерти.

Она вовсе не собиралась возвращаться ко мне; но потом услышала, как тяжело я заболел в Уганде, и предположила, что болезнь меня изменила. (Да, изменила. Что толку заботиться о людях «на краю света», если ты не можешь быть добр к своим собственным соотечественникам, и прежде всего к собственной семье?).

Взлетаем.

Наконец-то мы в воздухе. О, Мэри! Мэри, звезда моя.

Мы с Ланги отвезем Адама к его деду, потом вернемся, чтобы быть с Марком (в Брисбейне или Мельбурне), а когда он оправится, возьмем его домой.

Стюардесса разносит ленч, и впервые с того момента, когда все это стряслось, я чувствую легкое желание подкрепиться. Одна стюардесса, двадцать — тридцать пассажиров: самолет заполнен до отказа. Когда разнеслась весть о нападении акул, туристы валом повалили с острова.

Как видите, я могу выводить печатные буквы левой рукой. Когда-нибудь научусь писать по-человечески. Правая

ладонь чешется, хотя ее больше нет. Жаль, что нельзя ее поскрести.

А вот и еда.

Один из двигателей перестал работать. Пилот уверяет, что это не опасно.

Он там, снаружи, плывет бок о бок с самолетом. Минуту или больше я наблюдал за ним, пока он не исчез в грозовой туче. «Моя шляпа — дерево». О господи.

Господи ты боже мой!

Мой брат по крови.

Что делать?

Ф. Пол Уилсон

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА



— А святой отец говорит, что вампиров не существует,— сказала сестра Бернадетта Джайлин.

Сестра Кэрол Хэнарти подняла глаза от стопки контрольных по химии у себя на коленях — контрольных, которые, быть может, уже никогда не вернутся к ее второкурсникам,— и посмотрела, как Бернадетта ведет по городу старый «датцун», работая рычагом передач как заправский дальнобойщик. Ее милая подруга и коллега — сестра милосердия — была худа, даже до болезненности, у нее были большие синие глаза и короткие рыжие волосы, выбивающиеся по краям из-под плата. Она всматривалась в ветровое стекло, и свет заходящего солнца румянил чистую гладкую кожу круглого лица.

— Если его святейшество так говорит, мы обязаны верить,— ответила сестра Кэрол.— Но мы очень давно ничего от него не слышали. Я надеюсь...

Бернадетта повернулась к ней с расширенными в тревоге глазами.

— О, ты же не думаешь, что что-нибудь могло случиться с его святейшеством, правда, Кэрол? — сказала она, и в

© Перевод. М. Левин, 2005.

ее голосе чуть пробивался неистребимый ирландский акцент.— Они бы не посмели!

Кэрол сразу не нашлась, что сказать, и потому отвернулась к боковому стеклу, глядя на пролетавшие группы деревьев. Тротуары маленького городка Джерси-Шор были пустынны, и на дороге тоже почти не было машин. Им с Бернадеттой пришлось объехать три бакалейные лавки, пока они нашли такую, в которой еще было чем торговать. Кто припрятывал продовольствие, кому прекратились поставки, и найти еду было все труднее.

Это ощущали все. Как говорит поговорка? Что-то насчет чутья беды... неважно.

Она потерла замерзшие руки и подумала о Бернадетте. Моложе ее самой на пять лет — ей всего двадцать шесть — и с таким ясным разумом, умеющая так четко о многом думать. Но вера у нее почти детская.

Она появилась в монастыре Св. Антония всего два года назад, и между ними сразу установилась душевная связь. Очень много у них было общего. Не только ирландские корни, но и определенное одиночество. Родители Кэрол умерли много лет назад, а родители Бернадетты остались на старой родине. И они стали сестрами не только в том смысле, что принадлежали сестричеству одного ордена. Кэрол была старшей сестрой, Бернадетта младшей. Они вместе молились, вместе смеялись, вместе гуляли. Кэрол надеялась, что обогатила жизнь Бернадетты хотя бы вполовину так, как та обогатила ее жизнь.

Бернадетта была так невинна! Она, кажется, считала, что раз Папа непогрешим в вопросах веры или морали, он должен быть вообще безошибочен.

Она Бернадетте об этом не говорила, но решила не верить Папе в вопросе о нежити. В конце концов, ее существование — не вопрос веры или морали. Либо она существует, либо нет. А все новости из Восточной Европы в эту осень оставляли мало сомнений, что вампиры вполне реальны.

И что они наступают.

Каким-то образом они сумели организоваться. Они не только существовали, но их в Восточной Европе оказалось больше, чем мог подозревать самый суеверный крестьянин. Когда же рухнул коммунистический блок, когда все бывшие сателлиты и сама Россия лежали в хаосе, хапая территории и творя убийства во имя нации, расы и религии, вампиры воспользовались вакуумом власти и нанесли удар.

Нанесли удар по всем направлениям, и не успел остальной мир отреагировать, как вся Восточная Европа оказалась в их власти.

Если бы они просто убивали, с этим еще можно было бы справиться. Но поскольку каждое убийство было обращением, их численность росла в геометрической прогрессии. Что такое геометрическая прогрессия, сестра Кэрол понимала лучше других. Разве она не демонстрировала это многие годы подряд на занятиях по химии, бросая кристалл в пересыщенный раствор? Один кристалл превращался в два, два в четыре, в восемь, в шестнадцать и так далее. Видно было, как формируется кристаллическая решетка, сначала медленно, потом она растягивается нитями через весь раствор все быстрее и быстрее, и жидкость в пробирке превращается в твердую массу кристаллов.

Вот так это и было в Восточной Европе, а потом пошло на Россию и на Западную Европу.

Вампиры стали неудержимы.

Вся Европа много месяцев молчала. По крайней мере официально. Но пара старшеклассников из школы при монастыре Св. Антония, у которых были коротковолновые приемники, сообщили Кэрол о странных передачах, где говорилось о неимоверных ужасах по всей Европе под правлением вампиров.

Но Папа объявил, что вампиров не бывает. Так он сказал, но вскоре после этого и он, и Ватикан замолчали вместе со всей Европой.

Вашингтон отверг существование непосредственной угрозы, заявив, что Атлантический океан представляет собой естественный барьер для нежити. Европа под карантином, Америка в безопасности.

Потом пошли сообщения, вначале спорные и по-прежнему опровергаемые официально, о вампирах в Нью-Йорке. На прошлой неделе все радиостанции и телепередатчики Нью-Йорка прекратили вещание, и вот теперь...

— Ты же не веришь, что вампиры идут в Нью-Джерси, правда? — спросила Бернадетта.— То есть если бы они существовали...

— Ну, ведь в это трудно поверить? — ответила Кэрол, пряча улыбку.— Потому что в Нью-Джерси вообще никто по доброй воле не сунется.

— О, Кэрол, не надо шутить! Это серьезно.

Бернадетта была права. Это и в самом деле серьезно.

— Ну, если серьезно, то это совпадает с тем, что мои школьники слышали из Европы.

— Но боже милостивый, сейчас же Страстная неделя! Страстная пятница! Как они смеют?

— Если подумать, это лучшее время. Не будет ни одной мессы до Первой Пасхальной в воскресенье утром. Разве есть другой день в году, когда не служится ежедневная месса?

— Нет,— покачала головой Бернадетта.

— Вот именно.

Кэрол посмотрела на свои похолодевшие пальцы и почувствовала, как холодок ползет вверх по рукам.

Машина вдруг дернулась и остановилась, и послышался крик Бернадетты:

— Боже милосердный, они уже здесь!

С полдюжины фигур в черных мантиях столпились впереди на перекрестке, глядя в их сторону.

— Надо отсюда убираться! — сказала взволнованно Бернадетта и дала газ.

Старый мотор кашлянул и заглох.

— О нет! — взвыла Бернадетта, лихорадочно вертя ключом и давя на газ, а темные фигуры скользили к машине.— Нет!

— Тише, милая,— сказала Кэрол, кладя ей руку на плечо.— Ничего страшного. Это всего лишь дети.

«Дети» — это было не совсем точно. Два существа мужского пола и четыре женского, возраста около двадцати лет, но за густо накрашенными глазами угадывался тяжелый опыт взрослой жизни всех видов. Ухмыляясь и вопя, они собрались вокруг машины, четверо со стороны Бернадетты и двое со стороны Кэрол. Землистые лица были бледны от слоя белой пудры, насурьмленных век и черной губной помады. Черные ногти, кольца в ушах, бровях и ноздрях, хромированные штыри, пронзающие губы и щеки. Волосы всех цветов спектра, от мертвенно белого до угольно-черного. У мальчиков безволосая голая грудь под кожаными куртками, у девушек грудь почти голая в черных открытых бюстгальтерах. Ботинки из блестящей кожи или винила, сетчатые чулки, слой на слое кружева, и все черное, черное, черное.

— Эй, глянь! — сказал один из ребят. На шее у него был кожаный ошейник с металлическими остриями, угри под белым гримом лица.— Монашки!

— Пингвины! — добавил кто-то еще.

Это показалось им очень остроумным, и все шестеро зашлись в хохоте.

«Мы не пингвины»,— подумала Кэрол. Она уже много лет не носила полного облачения — только наголовный плат.

— Блин, и удивятся же они завтра утром! — сказала грудастая девица в шелковой остроконечной шляпе.

Еще взрыв смеха у всех — кроме одной. Высокая худощавая девушка с тремя вытатуированными на щеке большими черными слезами и белыми корнями крашеных в черное волос отодвинулась, будто ей было не по себе. Кэрол всмотрелась. Что-то знакомое...

Она опустила стекло.

— Мэри Маргарет? Мэри Маргарет Фланаган, это ты?

Еще хохот.

— Мэри Маргарет? — крикнул кто-то.— Это же Викки!

Девушка шагнула вперед и глянула Кэрол в глаза.

— Да, сестра. Так меня звали когда-то. Но я больше не Мэри Маргарет.

— Вижу.

Она помнила Мэри Маргарет. Милая девушка, исключительно способная, но очень тихая. Прожорливая читательница, ей всегда было не по себе с другими детьми. В первый год ее оценки резко упали, а на следующий она не вернулась. Когда Кэрол позвонила ее родителям, ей сказали, что Мэри Маргарет осталась дома. Она не была в состоянии ничего больше выучить.

— Ты сильно изменилась за то время, что я тебя не видела. Сколько — три года?

— Это ты говоришь о переменах? — сунулась в окно девушка в остроконечной шляпе.— Подожди до ночи. Вот тогда ты увидишь, как она переменится!

Она расхохоталась, показав хромированный шип в языке.

— Отвали, Кармилла! — сказала Мэри Маргарет.

Кармилла не реагировала.

— Они сегодня придут, сама знаешь. Владыки Ночи будут здесь после заката, и это будет смерть твоего мира и рождение нашего. Мы отдадим им себя, мы подставим им горло, чтобы они выпили нас, и мы станем ими. И будем вместе с ними править ночью!

Это было похоже на отрепетированную речь, которую она наверняка не раз повторяла своей облаченной в черное труппе.

Кэрол глядела на Мэри Маргарет поверх головы Кармиллы.

— И это то, во что ты веришь? Чего ты действительно хочешь?

Девушка пожала высокими худыми плечами.

— Получше всего, что мне светило бы.

Старый «Датцун» наконец ожил, трясясь. Кэрол услышала, как Бернадетта включает передачу. Коснувшись ее руки, Кэрол попросила:

— Погоди. Пожалуйста, одну минутку.

Она хотела еще что-то сказать Мэри Маргарет, но тут Кармилла ткнула пальцем почти ей в лицо и заорала:

— И тогда вы, суки, и тот занюханный бог, под которого вы, бляди, стелетесь, исчезнете на хрен!

С неожиданной силой Мэри Маргарет отдернула Кармиллу от окна.

— Езжайте лучше, сестра Кэрол,— сказала Мэри Маргарет.

Машина поехала.

— Какого ты хрена, Викки? — услышала Кэрол крик Кармиллы, когда машина отъезжала от темной группы.— В религию ударилась? Тебя, может, надо называть «сестра Мэри Маргарет»?

— Она одна из немногих, кто был со мной честен,— ответила Мэри Маргарет.— Так что отвали, Кармилла, на хрен.

Они остались позади, и разговор стал не слышен.

— Что за ужасные создания! — сказала Бернадетта, выглядывая из окна комнаты Кэрол. Она все никак не могла забыть происшествие.— Почти моего возраста и такие ужасные выражения!

Комната Кэрол в монастыре была оштукатуренной коробкой десять на десять футов с потрескавшимися стенами и отстающей на потолке краской. Здесь было одно окно, распятие, комод и зеркало, рабочий стол и табурет, кровать и ночной столик. Не много, но Кэрол рада была называть ее своим домом. Обет бедности она принимала всерьез.

— Наверное, мы должны за них помолиться.

— По-моему, им нужно больше чем молитва. Поверь мне, они плохо кончат.— Бернадетта сняла висевшие у нее на шее слишком большие четки с распятием и собрала их в руку.— Быть может, мы могли предложить им кресты для защиты?

Кэрол не смогла подавить улыбку.

— Очень гуманная идея, Берн, но не думаю, что они ищут защиты.

— Да, конечно.— Бернадетта тоже улыбнулась, но скорбно.— Нет, не ищут.

— Но мы будем за них молиться,— сказала Кэрол.

Бернадетта села на стул, просидела не больше секунды, встала снова, заходила по тесной комнате. Казалось, она не может сидеть спокойно. Она вышла в холл и почти тут же вернулась, потирая руки, будто умывая их.

— Все так тихо,— сказала она.— Так пусто.

— Очень на это надеюсь,— ответила Кэрол.— Сейчас только нам двоим полагается быть здесь.

Маленький монастырь был наполовину пуст, даже когда все его насельницы были на месте. А теперь на следующую неделю школа Св. Антония закрылась на каникулы, почти все монахи ни отправились по домам провести пасхальную неделю с братьями, сестрами, родителями. Даже до тех, кто мог бы в прошлые годы остаться вблизи монастыря, дошли слухи, что сюда движется нежить, и они разбежались на юг и на запад. Единственным среди живых родственников Кэрол был брат в Калифорнии, и он ее не пригласил; и даже если бы пригласил, она не могла бы себе позволить слетать туда и обратно в Джерси просто на Пасху. Бернадетта несколько месяцев уже не имела известий от семьи из Ирландии.

Так что они вдвоем и были оставлены удерживать форт.

Кэрол не боялась. Она знала, что в монастыре Св. Антония опасность им не грозит. Монастырь входил в комплекс, состоящий из самой церкви, дома священника, зданий младшей и старшей школы и приземистого старого

двухэтажного жилого здания, где сейчас был монастырь. Им с Бернадеттой достались комнаты на втором этаже, а на первом жили монахини постарше.

Всерьез не боялась, хотя ей бы хотелось, чтобы в комплексе остался еще кто-нибудь, кроме нее, Бернадетты и отца Палмери.

— Не понимаю я отца Палмери,— сказала Бернадетта.— Запереться в церкви и не дать прихожанам приложиться к кресту в Страстную пятницу. Где это слыхано, спрашиваю я? Просто не понимаю.

Кэрол думала, что понимает. Она подозревала, что отец Альберто Палмери боится. Этим утром он запер свой дом, забаррикадировал дверь и спрятался в подвале церкви.

Прости ее Господь, но, по мнению сестры Кэрол, отец Палмери был просто трус.

— Как мне хотелось бы, чтобы он отпер церковь, хотя бы ненадолго. Мне необходимо там побыть, Кэрол. Просто *нужно*.

Кэрол знала, что чувствует Берн. Кто это сказал, что религия — опиум для народа? Маркс? Кто бы он ни был, он не был совсем уж не прав. Для Кэрол сидение в прохладе и покое под готическими сводами церкви Св. Антония, молитва, сосредоточение и ощущение присутствия Господа было как ежедневная доза привычного наркотика. Доза, которой они с Берн сегодня были лишены. Муки абстиненции у Берн были сильнее, чем у Кэрол.

Младшая монахиня остановилась, проходя возле окна, и показала вниз на улицу.

— А это кто еще может быть, во имя Господа?

Кэрол встала и шагнула к окну. По улице ехала кавалькада блестящих новых автомобилей дорогих марок — «мерседес-бенц», «БМВ», «ягуары», «линкольны», «кадиллаки» — все с номерами штата Нью-Йорк, все выезжали со стороны парка.

Вид сверкающих в сумерках машин вызвал у Кэрол судорогу в животе. На волчьих лицах, видневшихся в окнах,

застыло выражение животной злобы, и выруливали они свои роскошные машины... будто вся дорога принадлежала им.

Проехал «кадиллак» с опущенным верхом, и в нем четверо угрюмых мужчин. Водитель в ковбойской шляпе, двое сзади сидят поверх спинки сиденья и пьют пиво. Когда Кэрол увидела, что один из них поднял глаза в их сторону, она отдернула Берн за рукав.

— Назад! Не давай им себя увидеть!

— Почему? Кто они?

— Не знаю точно, но я слыхала о шайках людей, которые делают для вампиров грязную работу в дневное время. Они продали души за обещание бессмертия и... и за другие вещи.

— Кэрол, ты шутишь!

Кэрол покачала головой:

— Хотела бы я, чтобы это было шуткой.

— О боже мой, а сейчас уже солнце зашло.— Она обратила к Кэрол перепуганные голубые глаза.— Ты думаешь, нам надо...

— Запереться? Непременно. Я знаю, что святой отец говорил насчет того, что вампиров не бывает, но он, быть может, переменил мнение и просто не может довести его до нас.

— Да, наверное, ты права. Запри здесь, а я проверю внизу, в холле.— Она спешно вышла, и Кэрол еще только услышала: — *Как мне жаль, что отец Палмери закрылся в церкви. Мне бы так хотелось там немножко помолиться...*

Сестра Кэрол снова выглянула в окно. Шикарные машины уже уехали, но за ними рокотала колонна грузовиков — больших, восемнадцатиколесных грузовиков, грохочущих по центральной полосе. Зачем они здесь? Что везут? Что они доставили в город?

Вдруг залаяла собака, потом еще одна, и еще, и еще, будто все псы в городе решили подать голос.

Подавляя беспокойство, нараставшее внутри как морской прилив, сестра Кэрол сосредоточилась на простейшей работе — закрыть и запереть окно и опустить шторы.

Но остался ужас, тошнотворная холодная уверенность, что мир падает во тьму, что ползучий край тени достиг этой точки глобуса, и если не будет чуда, прямого вмешательства гневного Бога, грядущая ночь изменит ее жизнь необратимо.

И она стала молиться об этом чуде.

Оставшиеся вдвоем сестры решили сегодня не зажигать света в монастыре Св. Антония.

И решили провести ночь вдвоем в комнате Кэрол. Они перетащили сюда матрас Бернадетты, заперли дверь и завесили окно двойным слоем покрывал с кровати. Осветили комнату единственной свечой и стали молиться вместе.

Но музыка ночи просачивалась сквозь стены, двери и шторы; приглушенный стон сирен, поющих антифон их гимнам, тихие щелчки выстрелов, отбивавших ритм в псалмах, поднявшиеся крещендо сразу после полночи и оборвавшиеся... молчанием.

Кэрол видела, что Бернадетте особенно тяжело. Она сжималась при каждом завывании сирены, вздрагивала при каждом выстреле. Разделяя ужас Бернадетты, Кэрол все же подавляла его, прятала поглубже ради подруги. В конце концов, Кэрол старше, и она знает, что сделана из материала покрепче. Бернадетта так невинна, так чувствительна даже по меркам вчерашнего мира, когда еще не было вампиров. Как же ей выжить в мире, который будет после этой ночи? Ей нужна будет помощь. И Кэрол поможет, насколько это в ее силах.

Но при всех ужасах, притаившихся за шумом ночи, безмолвие было еще хуже. Ни один людской вопль боли и ужаса не проникал в их святилище, но воображаемые крики страдающих людей отдавались в голове в невыносимом молчании.

— Боже милосердный, что же там происходит? — спросила Бернадетта, когда они прочли вслух двадцать третий псалом.

Она скорчилась на матрасе, набросив одеяло на плечи. Пламя свечи плясало в ее перепуганных глазах и заставляло плясать высокую сгорбленную тень на стене за ее спиной.

Кэрол сидела на кровати, скрестив ноги. Она прислонилась спиной к стене и старалась не дать глазам закрыться. Изнеможение лежало свинцовым грузом на ее плечах, облаком окутывало мозг, но она знала, что вопрос о сне даже не рассматривается. Не сегодня, не ночью, не до восхода солнца. А может быть, и тогда тоже нет.

— Спокойней, Берн...— начала Кэрол и остановилась.

Снизу, от входной двери монастыря, донесся еле слышный стук.

— Что это? — шепнула Бернадетта севшим голосом; глаза ее расширились.

— Не знаю.

Кэрол схватила подрясник и вышла в коридор, чтобы лучше слышать.

— Не оставляй меня одну! — крикнула Бернадетта, выбегая за ней, накинув на плечи одеяло.

— Тише,— успокоила ее Кэрол.— Слушай. Это у входной двери. Кто-то стучит. Я пойду посмотрю.

Она сбежала в вестибюль по широкой лестнице с дубовыми перилами. Здесь стук слышался громче, но все равно слабо. Кэрол глянула в глазок, прищурилась, но никого не увидела.

Но стук продолжался, хотя и слабее.

— К-кто там? — спросила сестра Кэрол, заикаясь от страха.

— Сестра Кэрол! — донесся слабый голос из-за двери.— Это я... Мэри Маргарет. Я ранена.

Кэрол инстинктивно потянулась к ручке двери, но Бернадетта схватила ее за руку.

— Подожди! Это может быть обман!

А ведь она права. Но потом Кэрол опустила глаза вниз и увидела перетекающую через порог кровь. Она ахнула и показала на алую лужу.

— Это не обман.

Она отперла дверь и потянула на себя. В луже крови на придверном коврике лежала Мэри Маргарет.

— Господи Иисусе милосердный! — вскрикнула Кэрол.— Берн, помоги мне!

— А если она вампир? — спросила застывшая от страха Бернадетта.— Они не могут переступить порог, если их не пригласить.

— Прекрати эти глупости! Она ранена!

Доброе сердце Бернадетты возобладало над страхом. Она сбросила одеяло, открыв выцинявшую синюю ночную рубашку до щиколоток. Вместе они втащили Мэри Маргарет внутрь. Бернадетта тут же закрыла и заперла дверь.

— Звони 911! — велела Кэрол.

Бернадетта побежала к телефону.

Мэри Маргарет стонала, лежа на кафеле вестибюля, сжимая кровоточащий живот. Кэрол увидела покрытый ржавчиной и кровью кусок металла, торчащий в районе пупка. По фекальному запаху она поняла, что у девушки пробит кишечник.

— О бедное дитя! — Кэрол опустилась на пол рядом с ней и взяла ее голову себе на колени, обернула одеялом Бернадетты дрожащее тело.— Кто это тебя так?

— Случайно,— выдохнула Мэри Маргарет. Настоящие слезы оставляли потеки туши на слезах татуированных.— Я бежала... упала...

— От чего ты бежала?

— От *них*. Господи... ужас... Мы их искали, этих Владык Ночи Кармиллы. И после заката мы одного нашли. Выглядел так, как мы всегда знали... понимаете, такой величественный, высокий, грациозный, соблазнительный и холодный. Он стоял возле грузовика — одного из тех, что

сегодня приехали. Мои друзья подошли, но я вроде как осталась сзади. Не была уверена, что я хочу, чтобы из меня высосали кровь. А Кармилла прямо пошла к нему, стягивая топ и обнажая горло. Она себя предлагала.

Мэри Маргарет закашлялась и застонала от приступа боли.

— Не надо говорить,— сказала Кэрол.— Береги силы.

— Нет,— ответила девушка слабым голосом, когда ее отпустило.— Вы должны знать. Этот Владыка так улыбнулся Кармилле, а потом махнул своим помощникам, и они открыли задние двери у того грузовика.— Мэри Маргарет всхлипнула.— Ужас! Там было полно этих... *тварей!* С виду люди, но грязные, голые, и они как звери. Они оттуда *хлынули* и сразу их целая банда налетела на Кармиллу. Я видела, как она упала и закричала, и я тогда попятилась. Другие мои друзья попытались бежать, но их тоже свалили. А потом я увидела, как один поднял голову Кармиллы, а Владыка этот говорит: «Вот так, детки. Отрывайте головы. Всегда отрывайте головы. Нас уже достаточно». И вот тут я повернулась и побежала. И пробегала через пустырь, а там упала... вот на это.

Бернадетта вбежала в вестибюль. Лицо ее было искажено от страха.

— Девять-один-один не отвечает! Там никого нет!

— Они во всем городе,— сказала Мэри Маргарет после еще одного приступа кашля. Кэрол едва ее слышала. Она тронула горло девушки — холодное.— Они поджигают дома и нападают на копов и пожарных, когда те приезжают. Их человеческие помощники врываются и вытаскивают людей на улицу, и там на них нападают. А когда эти твари выпьют кровь, они отрывают головы.

— Боже милостивый, зачем? — спросила Бернадетта, присев рядом с Кэрол.

— Я думаю... не нужно им больше вампиров. Много крови нужно, и они...

Она застонала в очередном спазме, потом вытянулась и затихла. Кэрол хлопала ее по щекам, звала по имени, но тусклые неподвижные глаза Мэри Маргарет Фланаган сказали ей все.

— Она...— прошептала Бернадетта.

Кэрол кивнула сквозь подступившие слезы. Бедное заблудшее дитя, подумала она, закрывая глаза Мэри Маргарет.

— Она умерла в грехе,— сказала Бернадетта.— Ей нужно немедленное помазание! Я приведу отца...

— Нет, Берн,— ответила Кэрол.— Отец Палмери не придет.

— Конечно же, придет! Он священник и он нужен этой бедной заблудшей душе!

— Поверь мне, он ни за что не выйдет из церковного подвала.

— Но он должен! — почти по-детски возвысила голос Бернадетта.— Он священник!

— Успокойся, Бернадетта, и мы сами за нее помолимся.

— Мы не можем того, что может священник,— возразила она, вскочив на ноги.— Это не одно и то же.

— Куда ты? — спросила Кэрол.

— Я... взять рясу. Здесь холодно.

«Бедная, милая перепуганная Бернадетта,— подумала Кэрол, глядя ей вслед.— Как я понимаю твои чувства».

— И захвати молитвенник! — крикнула она вдогонку.

Кэрол натянула одеяло на лицо Мэри Маргарет и осторожно опустила ее голову на пол. Она ждала возвращения Бернадетты... ждала... ждала... Почему так долго? Кэрол позвала ее, и ответа не получила.

Обеспокоенная, Кэрол поднялась на второй этаж. Коридор был пуст и темен, только бледный столб лунного света пробивался через дальнее окно. Кэрол подбежала к двери Бернадетты. Закрыта. Она постучала.

— Берн? Берн, ты здесь?

Тишина.

Кэрол распахнула дверь и заглянула. Пустота и лунный свет.

Куда она...

Внизу, почти под ногами Бернадетты, хлопнула задняя дверь монастыря. Что такое? Кэрол же ее сама закрыла — на закате задвинула засов.

Если только Бернадетта не спустилась по черной лестнице и не...

Она бросилась к окну и всмотрелась в лужайку между монастырем и церковью. Высокая и яркая луна превратила наружный мир в черно-белую фотографию, выбелив тусклым сиянием лужайку, очертив эбеновые колодцы возле кустов и деревьев. Она зажгла шиферную крышу церкви Св. Антония, вырезав длинную извилистую полосу ночи позади ее готического шпиля.

А через лужайку к церкви бежала худощавая фигурка, обернутая в длинный плащ, и луна выхватывала белую ленту ее плата, и черная вуаль билась тенью вокруг шеи — Бернадетта была слишком консервативна, чтобы позволить себе подойти к церкви с непокрытой головой.

— Берн! — прошептала Кэрол, прижавшись лицом к стеклу.— Берн, не надо!

Она смотрела, как Бернадетта подбежала к боковому входу церкви и застучала тяжелым медным молотком в толстую дубовую дверь. Чистый высокий голос еле слышно донесся через стекло.

— Отец! Отец Палмери! Пожалуйста, откройте! Там мертвая девушка в монастыре! Ее надо соборовать! Вы не пойдете, отец Палмери?

Она все стучала, все звала, но дверь так и не открылась. Кэрол показалось, что она увидела бледное лицо отца Палмери в окне справа от Берн — в новом, не цветном окне церкви. Оно мелькнуло на секунду и исчезло.

Но дверь не открылась.

Это не охладило настойчивости Берн. Она только сильнее застучала молотком и еще больше возвысила голос, и голос, отраженный эхом от каменных стен, отдался в ночи.

Сердце Кэрол устремилось к ней. Она понимала нужду Берн, если не ее отчаяние.

Почему отец Палмери хотя бы не впустит ее внутрь? Бедняжка такой шум устроила, что мертвого поднимет.

Внезапный ужас сковал морозом ее затылок.

...мертвого поднимет.

Берн слишком шумит. Она хочет только привлечь внимание отца Палмери, но что, если она привлечет внимание... других?

Не успела мелькнуть в голове эта мысль, как Кэрол увидела темную высокую фигуру на лужайке со стороны улицы. Фигура эта, перебираясь от тени к тени, подбиралась к ничего не подозревающей подруге.

— О боже! — вскрикнула Кэрол и задергала задвижку окна. Вывернула, рванула раму.

— Бернадетта! Сзади! — крикнула она.— Кто-то подбирается! Быстрее назад, Бернадетта! Быстрее!

Бернадетта обернулась и глянула на Кэрол, потом огляделась. При выкриках Кэрол черная фигура растворилась в тени. Но Бернадетта учуяла что-то в голосе Кэрол, потому что побежала обратно к монастырю.

И не успела сделать и десяти шагов, как темная фигура ее перехватила.

— *Нет!* — заорала Кэрол, когда черный силуэт прыгнул наперерез подруге.

Она застыла в окне, вцепившись пальцами в рамы, и тут вопль ужаса и боли разорвал ночь.

Бесконечный, беспомощный парализованный миг Кэрол смотрела, как эта фигура выволокла Бернадетту на лунную лужайку, разорвала плащ и упала сверху, смотрела, как забились в воздухе руки и ноги, а крики ее, о Боже милосердный на небесах, крики ее о помощи раскаленными тонкими гвоздями втыкались в уши Кэрол.

И тут уголком глаза Кэрол увидела все то же бледное лицо в окне церкви св. Антония. Оно поглядело секунду и снова растворилось в темноте.

Застонав от ужаса, боли, отчаяния, Кэрол оттолкнулась от окна и побежала, спотыкаясь, по коридору. По дороге она схватила футовой величины деревянное распятие со стены кельи Бернадетты и прижала его к груди двумя руками. Набирая скорость, переходя в бег, она стала кричать — не вопль страха, но длинный, непрерывный вой гнева.

Кто-то убивает ее подругу!

Гнев был на благо. Он прогнал страх, и оцепенение, и отвращение, парализовавшие ее. Он дал ей двигаться, бежать. Она открылась навстречу ярости.

Кэрол слетела по лестнице, вырвалась на лунную лужайку...

И остановилась.

Она не могла сориентироваться. Бернадетты не было видно. Где она? Где напавший?

И тут она увидела вертящееся пятно тени на траве, впереди, возле кустов.

Бернадетта?

Стиснув распятие, Кэрол бросилась туда, и на бегу поняла, что это и в самом деле Бернадетта, распростертая ниц, но не одна. На ней сидела верхом другая тень, шипя, как змея, щелкая зубами, и пальцы ее скрючились когтями, вцепившись в голову Бернадетты, будто пытаясь оторвать.

Кэрол среагировала не думая. С воплем она бросилась вперед на эту тварь, вдвинув распятие в подставленную спину. Вспыхнул и зашипел свет, и густой черный дым пошел маслянистыми клубами от места, где крест ударил в плоть. Тварь выгнула спину и взвыла, вертясь под крестообразным ожогом, задергалась, пытаясь выбраться из-под пылающего гнета.

Но Кэрол не отступила, упала на колени, преследуя ползущую тварь, вжимая пылающий крест все глубже и глубже в дымящуюся вскипевшую плоть, в спину, в позвоночник. Крики слабеющей твари стали почти жалобными, и Кэрол давилась густым черным дымом, но гнев не давал ей отступить. Она давила и давила, толкала деревянное распятие все глубже и глубже в спину твари, пока крест не провалился в грудную полость и не прожег сердце. Вдруг тварь поперхнулась, вздрогнула и затихла.

Вспышки погасли. Улетели с последним вздохом последние клубы дыма.

Кэрол вдруг выпустила древко распятия, будто от удара, и бросилась к Бернадетте. Упав на колени возле неподвижного тела, она перевернула его на спину.

— Нет! — вскрикнула она, увидев разорванное горло Бернадетты, расширенные, застывшие, невидящие глаза и кровь, много крови, залившей грудь.

Нет. Господи, прошу тебя, нет! Не может быть! Не может быть!

Из нее вырвалось рыдание.

— Нет, Берн! Не-е-е-ет!

Где-то невдалеке в ответ завыла собака.

Собака ли?

Кэрол поняла, что осталась без защиты. Надо вернуться в монастырь. Она вскочила и огляделась. Все вокруг неподвижно. В двух ярдах от нее лежала мертвая тварь, и крест торчал из ее спины.

Она подбежала подобрать распятие, но дернулась, коснувшись твари. Теперь было видно, что это человек — голый — или что-то очень похожее на человека. Но не совсем. Чего-то неуловимого в нем не хватало.

Это один из *них*?

Из той нежити, о которой говорила Мэри Маргарет. Но может ли этот... эта *тварь* быть вампиром? Скорее она действовала, как бешеная собака в образе человека.

Что бы это ни было, оно изуродовало и убило Бернадетту. Ярость бушевала в теле Кэрол как злая инфекция, расходясь с током крови, поражая нервную систему, угрожая поглотить целиком. Она подавила желание избить труп.

К горлу поднялась желчь; Кэрол проглотила ее и уставилась на лежащее перед ней неподвижное тело. Когда-то это был человек, может быть, у него была семья. Наверняка он не просил превращать его в злобную ночную тварь.

— Кто бы ты ни был,— шепнула Кэрол,— теперь ты свободен. Свободен вернуться к Богу.

Она взялась за древко распятия, но оно застряло в сожженной плоти, как стальной штырь в бетоне.

Снова что-то завыло. Ближе.

Надо было вернуться обратно, но она не могла оставить здесь Бернадетту.

Быстро подойдя к ней, Кэрол подсунула руки ей под плечи и колени и подняла на руки. Такая легкая! Боже мой, она почти ничего не весит!

Кэрол отнесла Бернадетту в монастырь так быстро, как позволили подгибающиеся ноги. Оказавшись внутри, она задвинула засов двери и тяжело пошла на второй этаж, неся на руках Бернадетту.

Она принесла сестру Бернадетту Джайлин в ее комнату. У нее не было сил снова перетаскивать матрас через холл, и она положила ее навзничь на пружины кровати. Выпрямив тонкие ноги Бернадетты, Кэрол скрестила ей руки на окровавленной груди, поправила, как могла, разорванную одежду и накрыла покрывалом с головой.

Потом, глядя на это неподвижное тело под покрывалом, которое она помогала Бернадетте вышивать, Кэрол рухнула на колени и зарыдала. Она пыталась сказать заупокойную молитву, но потрясенный горем разум забыл слова. И она только рыдала в голос и спрашивала Бога, за что? Как мог Он допустить, чтобы такое случилось с ми-

лой, доброй и невинной душой, которая только и хотела, что всю жизнь провести в служении Ему? *За что?*

Но ответа не было.

Когда Кэрол смогла наконец справиться со слезами, она заставила себя встать, закрыть дверь Бернадетты и выйти в холл. Увидела свет в вестибюле и поняла, что так его оставлять нельзя. Она заторопилась вниз, переступила через неподвижное тело Мэри Маргарет под пропитанным кровью одеялом. Две насильственные смерти в доме, посвященном Богу. Сколько же их за этими дверями?

Она выключила свет, но не нашла в себе сил поднять Мэри Маргарет наверх. Оставив ее там, где она лежала, Кэрол в темноте поспешила к себе в комнату.

Когда отключилось электричество, Кэрол не знала.

Она понятия не имела, сколько простояла на коленях возле своей кровати, то рыдая, то молясь, а когда она глянула на электрические часы на ночном столике, циферблат был темен и пуст.

Хотя неважно, есть электричество или нет. Она все равно проводила ночь при свече. От нее остался только дюйм, но это тоже не подсказывало, сколько времени. Кто знает, как быстро сгорает свеча?

Был соблазн приподнять покрывало на окне и выглянуть, но Кэрол боялась того, что может увидеть.

«Сколько до рассвета?» — подумала она, протирая глаза. Ночь казалась бесконечной. Если только...

Где-то за запертой дверью раздался еле различимый скрип. Это могло быть что угодно — ветер на чердаке, проседание старого дома, но звук был долгий, протяжный, высокий. Почти как...

Открываемая дверь.

Кэрол застыла, все еще на коленях, все еще со сложенными в молитве руками, опираясь локтями на кровать, и прислушалась. Но звук не повторился. Вместо него другой — ритмичный шорох... в коридоре... приближается к двери...

Шаги.

Сердце заколотилось, будто желая выпрыгнуть из ребер; Кэрол вскочила на ноги и встала рядом с дверью, слушая, чуть не касаясь ухом дерева. Да, шаги. Медленные. И тихие, будто босыми ногами по полу. Сюда. Ближе. Уже за самой дверью. Кэрол вдруг пробрало холодом, будто волна холодного воздуха пахнула сквозь дерево двери, но шаги не смолкли. Они прошли мимо двери, дальше...

И остановились.

Ухо Кэрол уже было прижато к двери. Она слышала грохот собственного пульса, пытаясь различить другие звуки. И вот они появились, снова шорох в коридоре, сначала непонятно какой, и снова шаги.

Возвращаются.

На этот раз они остановились точно за дверью Кэрол. Снова тот же холод, сырой, пронизывающий до костей. Он заставил Кэрол попятиться.

И ручка повернулась. Медленно. Дверь скрипнула под тяжестью навалившегося с той стороны тела, но засов держал.

И голос. Хриплый. Шепотом. Единственное слово, еле слышное, но даже вопль не мог бы напугать Кэрол больше.

— *Кэрол?*

Кэрол не ответила — не могла.

— *Кэрол, это я! Берн! Впусти меня!*

Тихий стон вырвался из губ Кэрол помимо ее воли. Нет, нет, нет, это не может быть Бернадетта! Ее холодеющее тело Кэрол оставила на кровати в комнате на той стороне коридора. Это какая-то ужасная шутка...

Так ли? А не стала ли Бернадетта одной из *них*, из тех, кто убил ее?

Но голос — голос за дверью не был голосом бешеной твари. Это был...

— *Пожалуйста, впусти меня, Кэрол. Я боюсь здесь одна.*

Может, Бернадетта все-таки жива? Мысли Кэрол заметались в поисках ответа.

Я же не врач. Я могла ошибиться. Она могла быть жива...

Она стояла, дрожа, разрываясь между отчаянным до боли желанием увидеть подругу живой и страшным опасением быть обманутым той тварью, в которую могла превратиться Бернадетта.

— *Кэрол?*

Если бы на двери был глазок или хотя бы цепочка, но ведь нет ни того ни другого, и что-то надо делать. Нельзя просто стоять, слушать этот жалобный голос и не сойти с ума. Она должна *узнать*... Не давая себе больше думать, Кэрол выдернула засов и распахнула дверь, готовая увидеть любое, что стоит там в коридоре.

— Бернадетта! — ахнула она.

Подруга стояла сразу за порогом, раскачиваясь и абсолютно голая.

Нет, не совсем. На ней еще был плат, хотя он и съехал набок, и полоска ткани обертывала шею, скрывая рану. В тусклом неверном свете свечи, падавшем из комнаты, Кэрол увидела, что кровь на груди смыта. Никогда еще она не видела Бернадетту раздетой, никогда не думала, что она так худа. Ребра ходили под кожей груди, исчезая лишь под подушечками маленьких грудей с приподнятыми сосками; по краям и внизу плоского живота выступали кости. Обычно светлая кожа была сейчас синевато-белой. Другими цветами были только темные озера глаз и оранжевые пятна волос на голове и на лобке.

— Кэрол,— прозвучал слабый голос,— зачем оставила ты меня?

От зрелища стоящей перед ней живой и говорящей Бернадетты силы покинули Кэрол, груз вины от слов подруги чуть не бросил ее на колени. Она прислонилась к дверной раме.

— Берн...— Голос отказал. Она с усилием проглотила слюну и попыталась начать снова.— Я... я думала, ты умерла. А где... где твоя одежда?

Бернадетта подняла руку к горлу.

— Разорвала рубашку на бинты. Можно мне войти?

Кэрол выпрямилась и распахнула дверь шире.

— Конечно, боже мой! Зайди. Сядь. Я тебе дам одеяло.

Бернадетта прошаркала в комнату, опустив глаза, глядя только на пол. Она была похожа на человека, опоенного наркотиком. Но после такой кровопотери вообще чудо, что она может ходить.

— Не надо одеяла,— сказала Берн.— Жарко. А тебе не жарко?

Она неуклюже опустилась на кровать Кэрол, потом подобрала ноги и села по-турецки, лицом к Кэрол. Про себя Кэрол объяснила тот факт, что Бернадетта так бесстыдно и небрежно себя выставляет, ее оглушенностью страшной травмой. Все равно это было неприятно.

Кэрол поглядела на распятие, висящее над кроватью над и позади Бернадетты. На миг, когда Бернадетта под ним уселась, ей показалось, что оно засветилось. Наверное, блик от свечи. Она повернулась и взяла из шкафа запасное одеяло, развернула его и обернула плечи и расставленные колени Бернадетты.

— Я хочу пить, Кэрол. Ты мне не дашь воды?

Что-то странное было в ее голосе. Он звучал ниже и хрипловато, но это естественно ожидать при травме горла. Нет, что-то было еще, но Кэрол не могла точно это уловить.

— Конечно, тебе же нужна жидкость. Много жидкости.

Туалет и ванная были всего за две двери от ее комнаты. Она подхватила кувшин, зажгла вторую свечу и оставила сидящую на кровати Бернадетту, похожую на индианку в шали.

Вернувшись с полным кувшином, она увидела пустую кровать. Но тут же заметила Бернадетту — у окна. Окно не было открыто, но драпировка из покрывала снята и штора поднята. Бернадетта стояла, глядя в ночь. Снова голая.

Кэрол поискала глазами одеяло и нашла. Оно висело на стене, над кроватью...

Закрывая распятие.

Половина сознания Кэрол вопила от страха, требуя бежать, бежать без оглядки, спрятаться. Но другая половина требовала остаться. Это ее подруга. С Бернадеттой случилось что-то ужасное, и теперь ей нужна помощь, нужна больше, чем когда-нибудь за всю ее жизнь. И если кто-то может помочь ей, то это Кэрол. И *только* Кэрол.

Она поставила кувшин на ночной столик.

— Бернадетта,— сказала она, и рот ее был сух, как бревна в этих старых стенах.— Одеяло...

— Мне было жарко,— ответила Бернадетта, не оборачиваясь.

— Я принесла тебе воды. Я налью...

— Потом выпью. Иди сюда и полюбуйся ночью.

— Я не хочу смотреть в ночь. Она меня пугает.

Бернадетта повернулась с неуловимой улыбкой на губах.

— Но темнота так прекрасна!

Она шагнула ближе, протянула руки к Кэрол, положила их ей на плечи и стала ласково разминать сведенные ужасом мышцы. Сладкое забытье потекло по телу Кэрол. Глаза стали закрываться... усталые... так давно она не спала...

Нет!

Она заставила себя поднять веки и сжала руки Бернадетты, отводя их от своих плеч. Зажала ее ладони между своими.

— Помолимся, Берн. Повторяй за мной: «Богородице, деве, радуйся...»

— Нет!

— «...благословенна ты...»

Лицо Бернадетты перекосилось злобой:

— Я сказала НЕТ, будь ты проклята!

Кэрол старалась удержать руки Бернадетты в своих, но та была слишком сильна.

— «...в женах...»

Вдруг сопротивление Бернадетты стихло. Лицо ее успокоилось, глаза прояснились, даже голос изменился — остался хриплым, но стал выше, легче, и она подхватила слова молитвы.

— «И благословен плот чрева твоего...»

Бернадетта попыталась произнести следующее слово — и не могла. Она стиснула руки Кэрол почти до боли и разразилась потоком собственных слов.

— Кэрол, уходи! Ради любви Божией, уходи, беги! От меня уже мало осталось, и скоро я буду как те, что меня убили, и я тогда убью тебя! Беги, Кэрол! Прячься! Запрись в часовне внизу, только беги от меня, *скорее!*

Кэрол теперь знала, чего недоставало в голосе Бернадетты — ирландского акцента. Но сейчас он вернулся. Она вернулась! Ее подруга, ее сестра — вернулась! Кэрол подавила всхлип.

— Нет, Берн, я тебе помогу! Помогу!

Бернадетта толкнула ее к двери.

— Никто мне уже не поможет, Кэрол! — Она рванула самодельный бинт на шее, обнажив глубокую рваную рану и висящие концы оборванных кровеносных сосудов.— Для меня уже поздно, для тебя еще нет. Они — создания зла, и я скоро буду одной из них, так что беги, пока...

Бернадетта вдруг застыла, и черты лица ее исказились. Кэрол сразу поняла, что короткая передышка, которую подруга тайком похитила у того ужаса, что овладел ее телом, окончена. Власть над Бернадеттой принадлежала уже не ей.

Кэрол повернулась и бросилась прочь.

Но чудовище-Бернадетта было поразительно быстрым. Кэрол не успела добраться до порога, когда стальные пальцы сомкнулись у нее на руке выше локтя и дернули обрат-

но, чуть не вывихнув плечо. Она вскрикнула от страха и боли, перелетев через комнату. Она ударилась бедром о расшатанный табурет возле стола, опрокинула его и рухнула рядом.

Кэрол застонала от боли. Она затрясла головой, пытаясь прояснить сознание, и увидела, как приближается к ней Бернадетта; движения ее скованы, но более уверены, чем раньше, зубы оскалены — очень много зубов, и куда длиннее, чем у прежней Бернадетты, пальцы скрючены, тянутся к горлу Кэрол. С каждой секундой в ней оставалось все меньше и меньше от Бернадетты.

Кэрол попятилась, руки и ноги лихорадочно заскользили по полу, когда она уперлась в стену спиной. Бежать некуда. Она схватила табурет и выставила его перед собой как щит против чудовища-Бернадетты. Лицо, принадлежавшее когда-то ее любимой подруге, скривилось презрительно гримасой, когда она отбила табурет небрежным взмахом руки. От этого у табурета отлетели ножки, сломавшись, как спички, разлетевшись резными щепками. Второй удар разломил сиденье пополам. Третий и четвертый разбросали остатки в разные стороны комнаты.

Кэрол осталась беззащитной. Теперь она могла только молиться.

— «Отче Наш, иже еси на небеси»...

— Поздно, это уже не поможет, Кэрол! — зашипела Бернадетта, выплюнув ее имя.

— «...да святится имя Твое»...— произнесла Кэрол, дрожа от страха, когда пальцы нежити сомкнулись на ее горле.

И тут чудовище-Бернадетта прислушалось и застыло. И Кэрол тоже услышала. Настойчивое постукивание. В окно. Чудовище обернулось посмотреть, и Кэрол за ней.

В окно заглядывало чье-то лицо.

Кэрол заморгала, но оно не исчезло. Это же второй этаж! Как же?..

И тут же появилось второе лицо, только вниз головой, заглядывая сверху окна. И потом третье, четвертое, и каж-

дое более зверское, чем предыдущее. И все они начинали стучать в стекло костяшками пальцев и ладонями.

— *Нет!* — крикнуло им чудовище-Бернадетта.— Нечего вам тут делать! Она моя! Никто ее не тронет, кроме меня!

Она обернулась к Кэрол и улыбнулась, показав зубы, которых никогда не было во рту у Бернадетты.

— Они не могут переступить порог, если их не пригласит кто-то, кто здесь живет. Я здесь живу — или жила когда-то. Но я не буду тобой делиться, Кэрол.

Кэрол глянула налево. До кровати всего несколько футов. А над ней — завешенный одеялом крест. Если добраться...

Она не колебалась. Под бешеную барабанную дробь от окна она подобрала под себя ноги и прыгнула к кровати. Вскочила на ноги, вытягивая руку, хватаясь за одеяло...

Браслет ледяной плоти схватил ее за лодыжку и грубо дернул назад.

— Ну нет, сука,— произнес хриплый, без акцента, голос чудовища-Бернадетты.— Даже не думай!

Тварь захватила двумя горстями фланель рясы сзади и метнула Кэрол через комнату, будто монахиня была не тяжелее подушки. Кэрол ударилась спиной о стену, у нее отшибло дыхание. Послышался хруст ребер. Она свалилась среди обломков стула, весь правый бок пронзила боль. Комната плыла и кружилась. Но сквозь рев в ушах все еще звучала настойчивая барабанная дробь по стеклу.

Когда зрение прояснилось, Кэрол увидела обнаженное тело чудовища-Бернадетты, махавшей руками тварям в окне — скопище слюнявых пастей и стучащих пальцев.

— Смотрите! — прошипела она.— Смотрите на мой пир!

Тут она испустила длинный воющий вопль и бросилась на Кэрол, выставив впереди скрюченные руки, изогнув тело в полете. Вопль, стук в окно, лица за стеклом, любимая подруга, которая теперь хотела только ее растерзать — это вдруг стало для нее слишком. Она хотела откатиться, но

не могла заставить шевелиться свое тело. Рука нащупала возле бедра обломок табурета. Инстинктивно она подтащила его ближе, закрыла глаза и отчаянно подняла обломок между собой и ужасом, летящим к ней по воздуху.

Удар прижал обломок сиденья к груди Кэрол; она застонала от электрического удара боли в ушибленных ребрах. Но победный жадный крик чудовища-Бернадетты резко оборвался булькающим кашлем.

Вдруг тяжесть свалилась с груди Кэрол, и обломок табурета вместе с ней.

И стук в окно стих.

Кэрол открыла глаза. Над ней стояло голое чудовище-Бернадетта, расставив ноги, держа перед собой сиденье табурета, кашляя и давясь, пытаясь оторвать его от себя.

Сначала Кэрол не поняла. Она подобрала ноги и отползла вдоль стены. И тут увидела, что произошло.

Три расколотых ножки, торчащих из сиденья,— и эти ножки глубоко вонзились в грудь чудовища-Бернадетты. Та бешено выкручивала сиденье, пытаясь вытащить дубовые кинжалы, но только обломала их у самой кожи. Она отбросила обломок сиденья и закачалась, как дерево в бурю, рот ее судорожно кривился, а руки дергались возле бескровных ран между ребрами и тонких древесных кольев, за которые ей было уже не схватиться.

С глухим стуком она внезапно рухнула на колени. В нескольких дюймах от Кэрол она привстала на вывернутых ногах, мука ушла из ее лица, и глаза закрылись. Она упала головой вперед рядом с Кэрол.

Кэрол обхватила подругу руками, притянула к себе.

— Берн, Берн, Берн! — простонала она.— Прости меня, прости! Если бы я чуть раньше прибежала!

Веки Бернадетты задрожали и раскрылись, и темноты в глазах больше не было. Осталась только ее обычная небесная синева, ясная, чистая. Уголки губ дрогнули, но раскрылись только в половине улыбки, и Бернадетты не стало.

Кэрол прижала к себе обмякшее тело, застонала в необъятном горе и муке среди бесчувственных стен. Заглядывающие лица стали отползать от окна, и она крикнула им сквозь слезы:

— Бегите! Давайте! Бегите и прячьтесь! Скоро будет светло, и тогда я пойду искать вас! Всех вас! И горе тем, кого я найду!

Она долго плакала над телом Бернадетты. Потом завернула его в простыню и стала укачивать на руках мертвую подругу, пока не наступил рассвет.

На рассвете прежняя сестра Кэрол Хэнарти осталась в прошлом. Мирной души, счастливой днями и ночами служения Господу, молитвами и постом, преподаванием химии непослушным детям, соблюдением обетов бедности, целомудрия и послушания, больше не было.

Новая сестра Кэрол переплавилась в горне этой ночи и отлилась в женщину беспощадно мстительную и бесстрашную до отчаяния. И, быть может, призналась она себе без стыда и сожаления, более чем малость безумную.

Она вышла из монастыря и начала охоту.

Томас Ф. Монтелеоне

РЕПЕТИЦИИ



оминик Кейзен брел в темноте, почти не сомневаясь: он здесь не один.

Догадка полоснула по сердцу, как бритва, когда он нашаривал выключатель. Где же эта хреновина? Панический страх захлестнул его, погнав к горлу горячую волну рвоты, но он овладел собой. Тут пальцы обнаружили выключатель.

И в одно мгновение возникло фойе, освещенное тусклыми светильниками.

Здесь не было ни души — как, впрочем, и во всем Барклаевском театре. Публика, актеры, технический персонал — все, кроме Доминика,— уже несколько часов как разошлись. И никому, кроме Доминика, не подобало здесь находиться. Дворник и ночной сторож «Барклайки», он привык к одиночеству — честно сказать, оно было ему по душе. Но уже третью или четвертую ночь Доминик никак не мог избавиться от чувства, будто во тьме по огромному зданию рыщет кто-то. Кто-то чужой.

И даже не «кто-то», а «что-то». Тварь, стерегущая его, Доминика.

© Перевод. С. Силакова, 2005.

Работать в одиночку ему нравилось — он почти всю жизнь был один. Он ничего не имел против того, чтобы работать практически в полной темноте; в темноте — в духовной — прошла почти вся его жизнь.

Но это ощущение чужого присутствия начинало его беспокоить, более того, пугать. А Доминику очень не хотелось разочаровываться в «Барклайке». По сути, театр был его единственным домом, да и работа ему нравилась. Помогать рождаться театральному волшебству — это вам не хухры-мухры. Реквизит и костюмы, фантастический, но такой зримый мир декораций и задников... Иногда он специально приходил на работу пораньше, просто, чтобы понаблюдать за слаженно снующими, как пчелы, актерами и рабочими сцены, ощутить, как вновь начинает биться сердце волшебного мира.

Всю жизнь ему словно бы дышала в затылок какая-то тварь. Безмозглая тварь, олицетворение неудач и отчаяния. Как бы он ни старался, она всякий раз нагоняла его и сталкивала в хаос. «Неужели она опять идет по моему следу?» — спросил себя Доминик.

Сегодня. Сегодня она вновь попытается запугать его, заставить сбежать.

А он так устал, так устал убегать...

...Убегать от своих хрупких детских грез, от катастроф своего отрочества и незаладившейся зрелости. Отец твердил, что все люди на свете делятся на два сорта — Добытчиков и Лохов. По мнению отца, его сын принадлежал, безусловно, ко второй группе.

Сейчас, в тридцать два года, Доминик был вынужден признать: старик не ошибался. Его биография являла собой изодранное лоскутное одеяло, сотканное из мук и поражений. Отслужив в армии, он скитался по стране, хватаясь за любую работу, которая не требовала специальных навыков.

Отупляющая сезонная работа на нефтепромыслах в Лаббоке, в доках Билокси, на бирмингемских заводах. Десять лет прошлялся, как цыган. Как цыганский лох.

Когда-то, еще в юности, Доминик пытался доискаться, почему же все на свете всегда выходит ему боком. Внешностью его Бог не так чтоб обделил: густые черные волосы, ясные голубые глаза.

Да и голова у него работала. Раньше он читал массу комиксов и книг, а по субботам обязательно ходил в кино. Он даже спектакли иногда смотрел — в прежние времена, когда по телевизору шли прямые трансляции из театров.

Но после того, как он ушел из дома, ни разу не оглянувшись, вся его жизнь покатилась под откос. Промыкавшись десять лет, он задумался, не следует ли вернуться домой и начать все с нуля. Письму, извещавшему о смерти его отца, исполнилось к тому времени уже пять лет. На похороны Доминик не поехал. Даже не ответил матери на письмо — и теперь его мучила совесть.

Терзаемый смутными угрызениями, он уволился с буровой и поехал автостопом на Восточное побережье через Юг. Пересек Луизиану и Миссисипи, Алабаму и Джорджию.

Как-то вечером он сидел в придорожном баре где-то под Атлантой, пил кружками «Будвейзер» и смотрел, как сидящий рядом элегантный субчик пытается утопиться в сухом мартини. Как водится в барах, они разговорились. Немолодой и явно преуспевший в жизни, этот субчик выглядел белой вороной в придорожном шалмане.

Доминик упомянул, что едет домой, возвращается в город, где родился. Щеголь захохотал и заплетающимся языком обозвал Доминика «Томасом Вулфом». Доминик поинтересовался, кто это такой. «Неужели не помните? — удивился щеголь.— Это ведь он сказал: "Домой возврата нет" и, чтобы это доказать, написал толстую, донельзя занудную книгу».

Что щеголь не просто так болтал языком, Доминик понял, лишь оказавшись на родине. То был крупный город на побережье Атлантики. За время отсутствия Доминика он страшно изменился. Памятные приметы местности точно сквозь землю провалились; улицы казались холодными, чужими.

Несколько дней он не решался вернуться в свой родной район, чтобы после долгой разлуки вновь встретиться с матерью. Набирался храбрости...

Но вот он созрел. Вышел к знакомому перекрестку. Нет, он не спутал адрес. Но дома своего не нашел.

Вся улица целиком — все беспорядочное, клаустрофобное скопление тесно прижавшихся друг к другу многоквартирных домов, коттеджей и одноэтажных магазинов — была стерта с лица земли. Программа реконструкции города обрушилась на квартал, смолола в порошок все кирпичи и известку, все до одного воспоминания.

На месте улицы высилось чудовищное здание — монолит из стекла, стали и железобетона с вывеской «Барклайский театр». Вначале Доминик возненавидел его, как оккупанта. Этот неуклюжий немой колосс не оставил камня на камне от его прошлого, занял место, где когда-то стоял крохотный домик Доминика. Похоже, этот самый Томас Вулф был не дурак.

Но поразмыслив, Доминик пришел к выводу, что это просто ирония судьбы. Это надо же, чтобы именно театр раздавил всю память Доминика о детстве и юности!

Обхохочешься.

После визита в родной квартал Доминик попытался разыскать мать, но так и не нашел. Она исчезла, и в каком-то смысле Доминик даже обрадовался. Уж очень ему не хотелось предстать перед ней человеком, у которого нет будущего — а теперь и прошлого. Невесть почему Доминик решил остаться в городе — поселился в христианской церкви, а на жизнь зарабатывал поденной работой.

Незаметно пришло лето. Доминик не обзавелся друзьями, не нашел постоянной работы, бросил разыскивать мать. Он читал библиотечные книги, ходил в кино на утренние сеансы и жил один, наедине со своими разбитыми мечтами. Иногда он прогуливался по своему прежнему району, словно надеясь хоть одним глазком увидеть свой дом. И всякий раз останавливался под одним и тем же фонарем, созерцая сверкающую тушу Барклайского театра.

Это здание чем-то влекло его — в запертой комнате его души просыпались давние мечты. Однажды, увидев в газете объявление: «Барклайский театр приглашает на работу ночного сторожа с выполнением обязанностей дворника», он бегом бросился на собеседование.

Его взяли с испытательным сроком, но Доминика это не смутило. Он старался вовремя приходить на работу и скрупулезно выполнять свои обязанности. День ото дня он чувствовал, что в его сердце растет нежность к «Барклайке»; театр стал для него тихой гаванью, олицетворением покоя. В этом месте он мог ужиться со своими былыми грезами.

Когда его трудолюбие вознаградилось штатной должностью и прибавкой к зарплате, Доминик страшно обрадовался. Он стал приходить заранее и смотреть спектакли, выучил жаргон, на котором изъяснялись рабочие сцены, актеры и режиссеры. Театральные условности стали для него реальностью; он вслушивался сердцем в великие трагедии, смеялся над остроумными комедиями.

Но больше всего он любил поздний вечер, когда толпы рассеивались. Он шел в зрительный зал и, слушая, как потрескивают, остывая, лампы, размышлял о сегодняшнем спектакле — сравнивал его с другими, сопоставлял со своей версией смысла, вложенного в пьесу драматургом. Впервые в жизни он был счастлив.

Но вдруг что-то изменилось. Ощущение чужого присутствия таилось в каждом темном углу и все нарастало, нарастало...

...и сегодня он почувствовал, что больше не может терпеть. «Беги отсюда без оглядки»,— звучал в его голове вкрадчивый голосок инстинкта самосохранения.

«Нет,— спокойно сказал он себе,— больше никаких побегов. Завязываю».

Точно гигантский, занесенный кузнецом молот, над Домиником нависал балкон. Он прошел в партер и прислушался к темноте. Покатый проход между рядами вел вниз, к сцене. Занавес был поднят, драпировки — раздернуты, открывая взгляду декорации текущей постановки. Медленно толкая пылесос по толстой ковровой дорожке, Доминик отметил про себя, что в театре стоит всем сумракам сумрак. Светящаяся табличка «Выход» на дверью казалась тусклой и далекой. Ряды кресел окружали его со всех сторон, точно притаившееся во мраке стадо округлых тварей.

Доминику почудилось, что он заперт в театре, как в склепе, в темной пустой гробнице. Он понял, что здесь есть кто-то еще. В его желудке точно кислота вскипела. Горло пересохло, как натертое мелом.

Он перевел взгляд с пустых кресел на сцену — и заметил: что-то не так. Что-то неладно.

Сейчас шел «Путь вашей жизни» Сарояна, и декорации изображали салун в Сан-Франциско под названием «У Ника». Но со вчерашнего дня эти декорации куда-то исчезли. Их вдруг взяли и заменили. Доминик знал, что такого просто не может быть — ведь «Путь» шел и сегодня, и пойдет завтра — однако, вглядываясь в сумрак, он отчетливо различал совсем иные декорации.

Подойдя поближе — и привыкнув к тусклому свету, источаемому указателями «Выход»,— Доминик рассмотрел декорации в подробностях. То была убогая гостиная с серыми стенами. Сбоку — ниша, служащая кухней.

Уныло-зеленые кресла, укрытые кружевными накидками, коричневый диван в серебряную полоску, стеклянный журнальный столик, бар красного дерева, на котором стоял древний телевизор «Эмерсон» с крохотным экраном.

Неуютная, голая комната.

Знакомая комната.

Догадка вызвала у Доминика дрожь отвращения. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. НЕВЕРОЯТНО. Но он узнал комнату, узнал каждую вещь. Казалось, художник-постановщик ограбил его воспоминания — декорации в точности воспроизводили гостиную в доме его родителей. В доме, находившемся там, где теперь стоял театр. Разглядывая сцену с недоверчивым изумлением, Доминик обнаружил, что декорации ничуть не расплываются, чего следовало бы ждать от галлюцинации. Перед ним было нечто четко очерченное, плотное. Материальный объект, не искаженный линзой памяти.

Не раздумывая, он сделал еще несколько шагов вперед — и тут внезапно зажглись софиты. Декорации, выхваченные из пепельного сумрака, обрели цвет. В груди у Доминика странно заныло — казалось, проснулась старая рана. Многолетняя боль многочисленных обид. Ему пришло в голову, что, возможно, кто-то решил сыграть с ним жестокую шутку, и он оглянулся на будку осветителя, расположенную над балконом. Но за стеклом было темно и пусто.

Скрипнула, открываясь, дверь. У Доминика сердце упало в пятки.

Вновь обернувшись к сцене, он увидел, что из левой кулисы на подмостки вышла женщина в бирюзовом домашнем халате и бежевых шлепанцах.

У нее было круглое одутловатое лицо и тусклые глазки-пуговки. На плечах невидимым грузом лежала вечная усталость.

Доминик почувствовал, что на глазах у него выступают слезы, а горло перехватило. Остолбенев, он смотрел на свою мать.

— Мама! Ма, что ты здесь делаешь? Мама? Ау!

Но она его не слышала. Мать механически начала накрывать на стол. Бумажные салфетки, фаянсовые тарелки, дешевые вилки. Подбежав к самой сцене, Доминик закри-

чал — но мать не обращала на него никакого внимания. Очевидно, она его не видела и не слышала — словно находилась в параллельном мире, словно сцена была отделена от зала зеркальным стеклом.

Что за фигня?

Доминик пытался не сойти с ума в этой безумной ситуации, докопаться до смысла морока. А наваждение продолжалось.

Дверь в дальней «стене» гостиной распахнулась, и на сцене появился отец Доминика.

При виде этого человека сердце Доминика словно бы сдавили в кулаке. Ведь отец умер! Однако же он стоял на пороге, ярко освещенный, весь в грязи и поту. Вызывающе набычившись, старикан злобно захлопнул за собой дверь. Он был одет в засаленные рабочие штаны и фланелевую ковбойку. В одной руке он держал помятый бидон с надписью «Кейзен», в котором брал с собой на работу обед, а в другой — вечернюю газету.

Оставив бидон на кухонном столе, отец Доминика быстро прошел к своему любимому креслу и развернул газету. Если он и обратил внимание на присутствие жены, Доминик проглядел этот момент. В сцене было что-то сюрреалистическое — она вселяла ощущение, будто у всего происходящего есть иной, потаенный, смысл. По предположению Доминика, это мог быть любой из вечеров за двадцать лет совместной жизни его родителей.

Доминик боролся с захлестнувшим его наплывом эмоций, пытаясь сосредоточиться на персонажах сцены. Его изумило, что мать оказалась дурнушкой — ничего общего с красавицей из его воспоминаний, а отец — куда меньше ростом. Где же его былой грозный вид? Доминик вновь удостоверился, что выпуклая линза памяти извращает факты.

Дверь в левой кулисе внезапно распахнулась, и в комнату вошел хилый, болезненно худой мальчик лет девяти.

У мальчика были оттопыренные уши, ясные голубые глаза и темные, прилизанные бриолином волосы. Доминик вновь остолбенел: в мальчике он узнал СЕБЯ.

До этого ему и не приходило в голову, что в детстве он выглядел столь хрупким и странным; Доминик болезненно скривился, услышав высокий голос мальчугана:

М а л ь ч и к: Здравствуй, папа!

Держа под мышкой кипу альбомных листов, мальчик подошел к отцовскому креслу.

М а л ь ч и к: Гляди, что мы с Бизи хотим сделать!

Приветствие было встречено молчанием. Отец продолжал закрываться газетой.

М а т ь: Джозеф, мальчик с тобой разговаривает.

О т е ц: Что? Чего ему надо?

М а л ь ч и к: Смотри, папа! Мы с Бизи поставим спектакль! Со всех ребят будем брать по десять центов! *(сует в руки отцу несколько листов бумаги)* Вот я тут нарисовал... Гляди, вот это дом Белоснежки, а это...

О т е ц: Спектакль? Белоснежка?.. Это которая в сказке?

М а л ь ч и к: Да, как в том мультике диснеевском, и...

Отец нехорошо рассмеялся.

О т е ц: Сказки? Сказки-пидоразки! *(взмахивает рукой, разбросав рисунки по всей комнате)* Это, сынок, дело не мужское! Пусть пидора спектакли ставят — или ты, малый, пидором стать хочешь?

М а л ь ч и к: Пап, но это же хорошая сказка и...

О т е ц: Вот что, убери эту мутотень и чтоб я больше ничего такого не видел. И не слышал! Дуй лучше в футбол играть... а эти пидорские фокусы брось!

Доминик стоял у сцены. От происходящего у него гудела голова. Как ему запомнился этот вечер! Отец буквально втоптал его в грязь, и маленький Доминик отказался от

игры в театр. В тот вечер он позволил умереть частице своей души.

Внезапная ярость охватила Доминика, когда он заставил себя вернуться в прошлое и припомнил, что случилось, когда он начал подбирать с пола рисунки.

На сцене его маленький двойник уже наклонился, потянувшись к разбросанным листочкам.

Подскочив к самой рампе, Доминик вскричал: «Берегись! Не подпускай его к ним... он их порвет!»

Тощий темноволосый мальчишка замер, окинул взглядом темный зал, словно прислушиваясь. Его родители, очевидно, ничего не слышали и вообще застыли так, точно время для них остановилось.

Мальчик *(глядя в направлении Доминика)*: Что вы сказали?

— Отец сейчас порвет твои рисунки... если ты ему не помешаешь,— сказал Доминик.— Так что собери их сам, и поскорей. Потом скажи ему, что ты обо всем этом думаешь. Выскажи, что у тебя на душе.

Мальчик: Кто вы?

Глубоко сглотнув, Доминик заставил себя спокойно и внятно произнести:

— Ты сам знаешь, кто я...

Мальчик *(улыбаясь)*: Ага, вроде догадываюсь...

Вновь обернувшись к сцене, мальчик проворно собрал все свои рисунки, к которым уже тянулась огромная лапища его отца.

Мальчик: Нет! Не смей их трогать! Оставь меня в покое!

Отец *(несколько шокированный словами мальчика)*: И что же ты хочешь делать? Прибабахнутым хочешь вырасти? Чем тебе бейсбол не потрафил? Небось слабо в бейсбол-то играть?

Прижав листочки к груди, мальчик замялся... отыскал глазами в темноте Доминика, после чего вновь уставился на отца. Мальчик тяжело дышал. Очевидно, ему было страшно, но в его позе чувствовалась какая-то новая сила. К его горлу подступали всхлипы, но он заставил себя четко выговаривать слова.

М а л ь ч и к: Да нет, бейсбол мне нравится. Но это вот мне нравится тоже. И... и плевать я хотел, если тебе это не нравится. Главное, чтобы мне самому нравилось! Только это и важно!

Мальчик выбежал из комнаты, унося рисунки. Отец некоторое время пялился на дверь, за которой скрылся сын, затем вернулся к своей газете, стараясь делать вид, будто эта краткая стычка его ничуть не смутила. Мать продолжала стоять у стола с поникшим, безрадостным лицом.

Софиты и огни рампы моментально погасли, и все погрузилось в сумрак. Доминик только глазами хлопал, наблюдая, как фигуры его родителей растворяются призраками в темноте, тают, оплывают.

Еще одно мгновение — и родители исчезли. Декорации медленно стали превращаться в интерьер салуна «У Ника».

Сердце Доминика безмолвно вскрикнуло, но было уже слишком поздно. Видение — или как там его назвать — испарилось.

Бухнувшись в первое попавшееся кресло, он перевел дух. Потирая глаза, ощутил на лице тонкую пленку испарины. Сердце громко, нервно стучало. Что за фигня с ним случилась?

Нет, он не спал — но чувствовал себя так, словно только что вышел из транса. Ясное дело: он сошел с ума — и все же четко сознавал, что произошедшее не было галлюцинацией. Иначе вся его прежняя жизнь тоже была кошмаром.

Как натурально все это смотрелось... Теперь потаенные механизмы, управлявшие жизнью его семьи, казались До-

мимику простыми, как дважды два. Он даже удивился, что в детстве не видел вещи такими, какими они были на самом деле. Или, может быть, все-таки видел...

Дети воспринимают жизнь на иной частоте, чем взрослые.

Дети еще не успели потратить массу времени на создание защитных механизмов и формулирование оправданий для всех мерзостей, происходящих в мире. Дети не подслащивают пилюли. Это позже мы начинаем сами себе вешать лапшу на уши.

Вскочив, Доминик обвел взглядом зал. Им завладело странное чувство: чудилось, будто он один остался в живых во всем мире. Он ощутил тотальное одиночество. И понял, что пора отсюда смываться. Хватит растравлять раны. Пора заглушить боль — разве не в этом смысл жизни?

Он вернулся в фойе и оттуда прошел по длинному коридору в свой кабинет. Погасил свет, запер дверь, направился к служебному входу. Поравнявшись с запасным выходом, он услышал за спиной шаги. Мгновенно обернулся — и увидел маленького, скрюченного негра с шваброй в руках.

— Вечер добрый, мистер Кейзен,— произнес негр.

— А, Сэм, здорово,— отозвался Доминик.— Ладно уж тебе надрываться. Спокойной ночи.

И вышел через запасной выход на автостоянку, а старый ночной сторож и дворник остался в здании один.

Наутро Доминик Кейзен почувствовал себя каким-то «другим», но объяснить себе это ощущение так и не смог. Свое вчерашнее приключение он забыл начисто, если не считать того, что в голове у него вертелось одно настырное сомнение. Должно быть, эту дикую мысль он вынес из увиденного во сне; тем не менее он решил кое-что уточнить.

По дороге в «Барклайку» он заглянул в мэрию и обратился в архив отдела городского планирования. Чиновники были радушны, как истинные бюрократы, но, потеряв

часа два с лишним, Доминик выяснил кое-какие пикантные факты.

Вечером после спектакля Доминик, как обычно, вернулся к своим служебным обязанностям администратора сцены. Он должен был проверить, весь ли реквизит расставлен по своим местам для следующего спектакля, в порядке ли декорации; не исчезло ли из будки осветителя и звукорежиссера расписание шумов и световых эффектов. Все это Доминик делал неторопливо, выжидая, пока огромное здание опустеет. Затем прошел в зрительный зал и уселся в первом ряду партера. Театр был тих. Доминик закрыл глаза, глубоко задумавшись. Перед его мысленным взором стоял документ, найденный им в архиве: оказывается, на месте просцениума «Барклайки» когда-то находился дом его родителей, стоявший в самой середине квартала.

Доминик медленно поднял веки, держа в поле зрения сцену. И, точно по его телепатическому приказу, софиты загорелись, ярко высвечивая один участок декорации за другим. На сей раз Доминик почувствовал не только страх, но и воодушевление, точно перед отъездом в долгожданное путешествие.

Подняв голову, Доминик увидел хорошо знакомую гостиную, согретую светом софитов...

Дверь открылась, и в комнату вошел отец. Он был в своей обычной рабочей одежде, с бидоном и вечерней газетой. Широкоплечий Джозеф Кейзен обычно был скор на шаг и буквально излучал энергию грубой силы, но сегодня он, как ни странно, понуро сутулился.

О т е ц: Луиза! Луиза, ты где?

Ему никто не откликнулся. Пожав плечами, отец уселся в свое любимое кресло. Начал было разворачивать газету, но тут же с раздражением швырнул ее на пол. В левой кулисе распахнулась дверь, и появилась мать Доминика с кухонным полотенцем в руках.

М а т ь: Джозеф? Что это ты так рано?

Джозеф сердито зыркнул на нее, кривя рот. Но внезапно гнев оставил его. Стараясь не глядеть на жену, он с усилием заговорил.

О т е ц: Нас сегодня опять рассчитали... Прораб меня вконец достал. Он нам всем говорит: «Завтра утром пусть никто не приходит». Ну, я взял да ушел. Пусть им папа Карло дорабатывает!

Лицо матери исказилось в болезненной гримасе.

М а т ь: Как всегда! И опять перед самым Рождеством! Это не по-божески.

О т е ц: Надо поскорее куда-нибудь пристроиться. А то за свет будет нечем платить. Вот только нигде сейчас не берут... ух, суки!

Мать подошла к отцу, положила руку ему на плечо.

М а т ь: Ничего, раньше терпели... и сейчас как-нибудь перебьемся.

Джозеф, замотав головой, в сердцах хлопнул себя ладонью по бедру.

О т е ц: Эх, Луиза, какой я тебе муж?! Мужчина должен о своих заботиться! Мужчина должен семью содержать!

Раскрылась центральная дверь, и вошел подросток — юный Доминик. Под мышками — пачка книг и куртка.

М а л ь ч и к: Привет, ма... ой, папа, а что ты так рано пришел сегодня?

О т е ц *(пропуская вопрос мимо ушей)*: Где таскаешься?

М а л ь ч и к: У нас после уроков была репетиция. Только что кончилась. *(Матери)*: Ма, можно мне яблоко или чего-нибудь еще поесть?

О т е ц: Ре-пе-ти-ция, говоришь? Опять шпектакли?

М а л ь ч и к: Ну пап, ты же отлично знаешь, у нас в школе будет конкурс одноактных постановок, и я участвую как режиссер. Я эту пьесу сам написал, помнишь?

Отец, медленно покачав головой, раздраженно вытер губы, затем покосился на жену.

О т е ц: Я тут бьюсь, как рыба об лед, чтобы семью прокормить, а он все лидерам пьески пишет!

Мать вновь прикоснулась к плечу Джозефа.

М а т ь: Джозеф, пожалуйста, не срывай на нем зло...

М а л ь ч и к: Вот именно, папа. Мы с тобой все это уже обсуждали, разве не помнишь?

Не говоря ни слова, отец Доминика вскочил с кресла и быстро, зло ударил подростка по лицу. Отлетев к стене, Доминик ударился головой и, шатаясь как пьяный, попятился в угол.

О т е ц: Что, еще хочешь? Еще получить хочешь? Умника из себя корчишь, щенок! С отцом так не разговаривают... смотри, не смей никогда больше!

Мать бросилась поддержать сына.

М а т ь: Зачем ты его так сильно?

О т е ц: А ты не подходи к нему, поняла? Это я его еще пожалел, вполсилы бил! Ишь ты, отца не уважает. В его года пора работать идти, здоровый уже мужик вымахал. Пора семье помогать!

Подросток устремил на отца глаза, полные ужаса. На фоне Джозефа он выглядел совсем беспомощным и, однако же, овладев собой, заговорил.

М а л ь ч и к: Чего тебе от меня надо? Что я тебе плохого сделал?

О т е ц *(издевательским тоном, жеманно блея)*: Мой милый, что тебе я сделала?

Ухмыльнувшись своей остроте, отец вновь занес руку над мальчиком — просто так, чтобы заставить его подергаться.

О т е ц: Я тебе скажу, что ты сделал... ведешь себя не как мужик! Что, скажешь, не плохо? Но этому конец. С сегодняшнего дня ты у меня будешь мужчиной.

М а л ь ч и к: Что ты имеешь в виду?

О т е ц: Работать пойдешь.

М а л ь ч и к: Но я уже работаю...

О т е ц: Ха! Работа! Газетки разносить! Найдешь настоящую работу. Где деньги платят! Пора уже и помогать нам с матерью.

М а л ь ч и к: А как же школа?

Расхохотавшись, отец презрительно уставился на сына.

О т е ц: Школа? Ты уже здоровый мужик... хватит, выучился! Я сам прошел три класса, два коридора, и ничего! Или ты лучше меня?

М а л ь ч и к: Но, папа, я не хочу бросать школу. Мне нельзя сейчас бросать школу.

О т е ц: «Не могу»? «Не хочу»? Хочется-перехочется. Клал я на твои дела с прибором! Я тебе отец, и я за тебя решаю, что делать! Все равно в этой школе тебе только мозги всякой мурней задуривают...

М а л ь ч и к: Папа, я ушам своим не верю...

О т е ц: Закрой хлебало и слушай, а не то опять получишь!

Доминик замер, как завороженный, с растущим гневом наблюдая это мерзкое зрелище. Теперь-то ему стала кристально ясна внутренняя механика его семейства. Доминик понял, что не позволит своему юному «я» подчи-

ниться безумным идеям отца, этого забитого жизнью неудачника.

Не раздумывая, он вскочил и окликнул Доминика-младшего:

— Эй! Скажи ему, чтобы руки не распускал! И предупреди, что, если он еще раз попробует, ты ему не позволишь

Как и в прошлый раз, ни отец, ни мать словно бы не услышали голоса Доминика. Но подросток среагировал молниеносно. Обернувшись к залу, он начал всматриваться в темноту.

Мальчик: Что вы сказали? Это опять вы?

— Да,— еле выговорил Доминик — у него перехватило горло.— Это я... а теперь повтори ему мои слова. Выскажи ему, что ты сейчас думаешь. Без обиняков.

Кивнув, мальчик вновь обернулся к отцу. В воздухе повисло огромное напряжение — так в сырую погоду чувствуется предвестье грозы.

Мальчик: Не смей меня больше бить.

Он стоял у стены, высоко держа голову, излучая новообретенную силу.

Отец: Чего-о?

Мальчик: Не смей меня бить. Ты не имеешь права. Я ничего плохого не сделал, и мне надоело, что ты мне все какую-то вину навязываешь.

Отец: Захочу — выпорю, ясно!

Мальчик: Нет! Не выпорешь! Я тебе не дамся!

Ухмыльнувшись, отец переступил с ноги на ногу, опустив руки по бокам — точно готовился к драке.

Отец: Футы-нуты! Или в тебе вдруг мужик проснулся? Долго же он спал!

Мальчик: Школу я не брошу. И ты меня не заставишь. У меня есть кое-какие планы на дальнейшую жизнь, а если я брошу школу, они не осуществятся.

Отец, несколько опешив, молча воззрился на сына.

Мальчик: Я хочу кое-чего достигнуть в жизни... того, чего ты никогда не достигнешь.

Отец: Это еще что за паскудные намеки?

Мальчик: Папа, заруби себе на носу. Я не собираюсь отдуваться за чужую жизнь... я отвечаю только за свою. А за твою я и тем более не отвечаю. Я не могу прожить твою жизнь за тебя — но свою я проживу по-своему.

Отец *(растерянно)*: Слушай, ты, засранец...

Мальчик: Нет, папа. По-моему, твоя очередь слушать. Попробуй меня выслушать хоть раз в жизни.

Повернувшись спиной, мальчик направился к центральной двери, взялся за ручку...

Мальчик: Пойду немного прогуляюсь.

И ушел со сцены. Отец так и остался стоять, онемевший, утративший власть над сыном.

Доминик опустился в кресло, а сцена меж тем моментально погрузилась в сумрак, персонажи и реквизит растворились в темноте.

В одно мгновение декорации исчезли. Все тело Доминика напряглось, в ушах у него стоял шум, похожий на рокот прибоя. Он чувствовал себя так, словно только что пробудился от сна. Но Доминик знал: то был не сон.

Воспоминание?

Возможно. Но в этот момент, сидя во тьме, он обнаружил, что воспоминаний у него нет. А семейный скандал, только что разыгравшийся на его глазах,— лишь вырванный из контекста момент, нечто вечное, что испокон веков мотается по волнам времени. Событие, существующее вне времени.

«ДА ЧТО СО МНОЙ ТАКОЕ?» — этот мысленный вопрос разъедал Доминика, как концентрированная кислота, вселяя в него безотчетную панику. Встав с кресла, он

понял, что надо срочно уходить. И направился к выходу из зала, приказав себе не оглядываться на темную сцену.

В освещенном фойе ему сразу полегчало. Страхи и безумные мысли отступали. Ничего. Надо просто вернуться домой. Зашагав к выходу, он услышал какой-то звук и замер. Щелчок дверной щеколды.

— Мистер Кейзен! — раздался знакомый голос.— Что это вы так припозднились?

Обернувшись, Доминик увидел, что у двери своего кабинета стоит Боб Игер, администратор «Барклайки».

— А, Боб, привет. Я тут... Так, кое-что повторял. Вот собираюсь уходить.

Игер с усмешкой погладил свою бороду.

— Нервы расшалились из-за премьеры, верно? Дело житейское.

Доминик неловко улыбнулся.

— Да, ничего нет хуже премьеры...

— А знаете, мистер Кейзен, вы сыграли отлично. Высший класс.

— Правда?

Игер с улыбкой кивнул.

— Хорошо, поверю вам на слово,— проговорил Доминик.— Ну что ж, двину-ка я домой. Доброй ночи.

Вернувшись в свой особняк, он обнаружил, что не может сомкнуть глаз. Его грызло ужасное ощущение, будто стряслась какая-то беда, будто что-то в его жизни поломалось, но что? С чашкой растворимого кофе он забрел в свой кабинет, где на огромном, заваленном всякой ерундой столе ждали пишущая машинка и толстая рукопись.

Он сел за стол и решил вновь повозиться с пьесой, которую пытался писать. Каждый актер мнит себя драматургом, верно ведь? Мысли заметались в голове, и Доминик принялся печатать. Лег он в ту ночь совсем поздно.

На следующий вечер спектакль прошел лучше, чем вчерашняя премьера, но все равно казался еще сыроватым. Доминик играл Алана в «Лимонном небе» Уилсона. Ре-

жиссер был доволен созданным им образом, но Доминик знал — можно было бы и лучше. Давным-давно он понял на опыте, что недостаточно понравиться публике — важнее понравиться самому себе.

Он остался у себя в гримерке, предаваясь ничегонеделанию, выжидая, пока все разойдутся. Остальные актеры решили еще посидеть в их любимом бистро. Доминик вежливо отказался. Светская жизнь никуда не денется. Сегодня его, как магнитом, тянуло вернуться назад в театр, назад в эту темную пустоту, где добывается и пропадает прахом слава. Он и сам не понимал, что заставило его задержаться. Но его одолевали чувства, а точнее, воспоминания. Возможно, то были сны... или воспоминания о снах... Или...

Он и сам не понимал, что с ним такое, но отчетливо знал: ответ ждет его в сумраке зрительного зала.

Наконец народ рассосался, и Доминик, покинув гримерку, направился окольным путем в зал. Войдя со стороны фойе, он обнаружил, что никого не видно — даже Сэм куда-то запропал. И ни одного огня — только светящиеся зеленым надписи «ВЫХОД». Шагая по центральному проходу, он почувствовал себя как в заброшенном соборе. Темнота сгущалась вокруг него, как густой туман, голова невесть от чего слегка кружилась. Окруженный со всех сторон бескрайним морем пустых кресел, он увидел за раздвинутым занавесом на сцене смутные очертания декораций — современного особняка в пригороде калифорнийского города Эль-Кахон.

И тут медленно, тихо потрескивая, софиты начали разогреваться... и сцена, озаренная внезапным светом, ожила. Темные силуэты вновь сменились объемным, полноцветным антуражем трудного детства.

Убогая гостиная, кухонька, истертые ковры, унылые шторы.

Раскрылась центральная дверь, и появилась мать Доминика, одетая в простой костюм от хорошего портного. Ее посеребренные сединой волосы были завиты и уложены.

Весь ее облик был исполнен строгой элегантности. Доминик, насколько ему помнилось, никогда не видел мать такой. Мать огляделась по сторонам, точно удивляясь, что дома никого нет.

М а т ь: Доминик, где ты? Доминик?

С озадаченным видом она закрыла за собой дверь. Вновь позвала сына по имени. Затем, обернувшись к рампе, нашла взглядом в зале Доминика, который остолбенело созерцал происходящее.

М а т ь: Ах, вот ты где. Иди сюда, Доминик! Иди ко мне...

Доминик удивился, но повиновался словам матери — безотчетно, точно во сне. В ситуации было что-то сюрреалистическое. Он интуитивно понял, что надо не сомневаться, а просто подыгрывать матери.

И он подыграл.

Забравшись на сцену, он ощутил на лице жаркие лучи софитов — и понял, что преодолел некий барьер.

Его охватило волшебное чувство, известное всякому актеру по моменту, когда занавес поднимается и ты выходишь на сцену... но к этому привычному ощущению примешивалось нечто совсем иное...

Д о м и н и к: А где папа? Его ведь там не было, правильно?

М а т ь *(отводя глаза)*: Нет, Доминик... Мне очень жаль. Не знаю даже, куда он подевался. Вообще не приходил еще с работы.

Она замялась, поправляя кружевную накидку на диване. Затем вновь обернулась к сыну.

М а т ь: Но, Доминик, это было просто чудесно! Самый красивый спектакль в моей жизни! И ты замечательно играл! Как я тобой горжусь, мой мальчик!

Улыбнувшись, Доминик подошел к ней и обнял. И поймал себя на том, что не может припомнить, когда вот так обнимал мать. Открытые проявления чувств в его доме были редкостью. Их чурались почти с ужасом.

Доминик: Спасибо, мама.

Мать: Я всегда знала: ты просто молодчина. Я всегда знала, что когда-нибудь буду тобой гордиться.

Доминик: Правда?

Отстранившись от матери, он заглянул ей в глаза.

Доминик: Тогда почему ты мне никогда этого не говорила, когда я был маленьким? Когда я действительно в этом нуждался.

Мать, отвернувшись, уставилась на раковину.

Мать: Тебе не понять, Доминик. Ты не знаешь, сколько раз мне хотелось что-нибудь сказать, но...

Доминик: Но он не давал, верно? Господи, мама, неужели ты до такой степени его боялась? Как ты могла спокойно стоять и смотреть, как он ломает жизнь твоему единственному сыну?

Мать: Не надо так говорить, Доминик. Я за тебя молилась, Доминик... Целыми ночами молилась, чтобы ты стал сильнее меня, чтобы ты дал ему отпор. Я делала все, что могла, Доминик...

Доминик: Мама, одних молитв мне было недостаточно... ну да ладно. Я понимаю. Извини, что я на тебя так ополчился.

Раздался скрежет ключа — должно быть, кто-то пытался попасть им в скважину. Громко, зловеще щелкнул замок. Дверь медленно распахнулась, и в проеме возникла привалившаяся к косяку фигура отца Доминика. Очевидно, он был пьян. Джозеф Кейзен ввалился в гостиную, не обращая внимания на жену и сына. Плюхнувшись в свое любимое кресло, он уставился куда-то в пространство.

Доминик: Где ты был?

Отец уставился на него со злостью, которую не смягчала даже осоловелость взгляда.

Отец: А тебя это е...?

Доминик: Да. Ты мой отец. Сыновья за своих отцов обычно беспокоятся... или это тебе в новинку?

Отец *(закашлявшись)*: Ты мне это, не мудри! Ща токо встану, как врежу — косточек не соберешь!

Доминик *(с печальной улыбкой)*: Ты знаешь какие-нибудь другие способы общения с людьми? Или все «врежу» да «врежу»?

Отец *(хихикая)*: Да что с тобой говорить! Ишь, учеными словами выражаешься... Хоть раз попробуй быть мужчиной!

Доминик: Папа, я так хотел, чтобы сегодня ты был в зале. И ты знал, что я хочу тебя там видеть — знал ведь?

Отец посмотрел на Доминика, и злоба в его глазах чуть-чуть рассеялась. Глядя себе под ноги, Джозеф Кейзен тихо проговорил.

Отец: Д-да... Я знал.

Доминик: Так почему же ты не пришел? Неужели это так уж приятно — заползти в одну из тех помоек, что ты зовешь барами, и нажраться, как свинья? Ты, что, думал, что если напьешься, все это исчезнет? Что ты...

Отец: Заткнись! Заткнись, а то врежу!

Отец Доминика прикрыл уши руками, чтобы не слышать обидных слов.

Доминик: Нет уж. По-моему, ты больше никому не врежешь. Никогда.

Отец: Ишь как расхрабрился! Чудак на букву «М»!

Доминик: Ты со мной о храбрости не заговаривай. Почему ты сегодня не пришел на спектакль? На мой спектакль! Спектакль, в котором играет твой сын!

О т е ц: Ты это куда клонишь, а?

Д о м и н и к: Чего ты испугался, папа? Что тебя увидят твои дружки? Что они скажут: «Джо пошел на лидеров смотреть»?

О т е ц: Ха! Гля, сам признался!

Мать Доминика встала между мужчинами.

М а т ь: О господи, поглядели бы вы на себя! Столько злобы... столько ненависти. Перестаньте, ради всего святого!..

Д о м и н и к: Ненависти? Нет, мама, ты не права. Любви особой я к нему не питаю, верно... но ненависть? Разница есть.

О т е ц *(глядя на сына)*: Да что ты понимаешь, сопляк?

Д о м и н и к: По-моему, в этом-то и состоит суть проблемы: любовь в нашем доме в дефиците. Ни капли любви. Ни капли тепла... ни капли любви.

О т е ц: Тьфу! Я тебе расскажу про любовь! Тридцать пять лет на твою мать работаю. Как папа Карло! Но зато она дома царствует и не ходит на работу, как у других мужей жены! Усек, паршивец?

Произнося каждое из этих слов, отец конвульсивно трясся. На опухшем багровом лице выступил пот.

Д о м и н и к: Папа, любовь проявляется не только в этом. Например, наши с тобой отношения... Когда я был маленьким, ты хоть раз подсаживался со мной поиграть? Рассказал мне хоть одну сказку? Пробовал меня рассмешить? А на рыбалку мы с тобой ходили? А змея запускали? Хоть разочек?

О т е ц: Мужчина должен работать!

Д о м и н и к: Ты, значит, до такой степени любил свою работу?

О т е ц: Ты это куды клонишь?

Д о м и н и к: Ты работу любил больше, чем меня?

О т е ц *(растерянно, со злостью)*: Ты это... попусту не бзди!

Доминик: Слово «бздеть» здесь неуместно. Послушай, когда я был маленький, то много времени проводил один. Ведь братьев и сестер у меня не было. Иногда я нуждался в ком-то, кто направлял бы меня, учил.

Отец: Я вас бросил? Нет! Я в жизни не пришел домой позже восьми... у матери спроси! Я всегда был дома, каждый вечер!

Доминик *(с печальной улыбкой)*: О да, твоя физическая оболочка присутствовала дома. Но в том, что касалось эмоций,— тебя дома не было! Разве ты не понимаешь? Я помню, как подглядывал на улице за другими ребятами — как они гуляют со своими отцами и занимаются всякими разностями. Я помню, как жгуче я их НЕНАВИДЕЛ — потому что чувствовал себя обделенным. Это было куда побольнее твоего ремня, намного больнее.

Отец смолчал, уставившись на свои колени, на бессознательно сцепленные руки.

Мать: Доминик, не трогай его сейчас. Давайте кофейку выпьем, а потом...

Доминик: Нет, мама. Давайте дойдем до конца. Давайте все друг другу выскажем. К этому давно шло. *(Отцу)*: Послушай, папа... ты знаешь, что ты ни разу на моей памяти меня не хвалил и не подбадривал? Разве что приказывал заниматься всей этой фигней. «Настоящий мужчина...»!

Отец: Ты что называешь фигней?

Доминик: Помнишь ту дешевую гитару? Я ее купил на заработанные деньги, когда газеты разносил.

Отец: И чего?

Доминик: Но, бьюсь об заклад, ты забыл, как на меня тогда разорался. «Нам не по карману тебе учителя нанимать!», «Музыканты — все пидора!»

Отец: Что-то не припомню...

Доминик: Зато я помню. А когда я тебе сказал, что сам выучусь играть, ты расхохотался, помнишь?

Отец: Так-таки и расхохотался?

Доминик: Да. И мне не надо напрягаться, чтобы это вспомнить. Оно врезалось в мое сердце. Вся эта треклятая сцена.

Отец: Да слыхано ли, чтобы кто-то выучился музыке сам? Чушь собачья!

Доминик: Может быть... но я-то выучился, разве нет! И играл в группе до того вечера, когда поздно пришел домой с танцев, а ты поджидал меня в прихожей. Помнишь, папа? Помнишь, как разбил мою гитару об раковину?

Отец отвел глаза. Похоже, ему все-таки стало стыдно.

Доминик: Вот какая у меня была жизнь, папа; я занимался всякими интересными вещами НАПЕРЕКОР тому, что получал от тебя. Или лучше сказать, чего я от тебя не получал.

Отец: Брешешь.

Доминик: Хотел бы я, чтобы это была брехня. Серьезно, хотел бы. Но все это правда, папа. Чистая правда.

Отец: Да заткнешься ты наконец?!

Доминик: Заткнусь. Когда все скажу. В чем проблема? Ты меня боишься, что ли? По-моему, тут-то и была зарыта собака с самого начала — тебе не нравилось, что твой ясноглазый мальчик интересуется миром?

Отец *(устало)*: Все чушь какую-то мелешь.

Доминик: Попробуем с другого конца. Ты боялся не только меня, но и всех вообще на свете. Всех, кого считал умнее себя, или образованнее, или богаче... всех их ты всегда старался обосрать, верно ведь?

Отец: Нет! Брешешь!

Доминик: Погоди! Я еще не все сказал. И вот, когда однажды утром ты проснулся и осознал, что твой чокнутый сын не вырастет мужланом с пивным брюхом, ты его бросил, верно?

Отец: Ты это куды клонишь?

Доминик: Я вот куда клоню: когда ты увидел, что твой собственный сын совсем не похож на тебя — но

очень похож на всех тех, кого ты боишься и потому презираешь,— ты просто перестал быть отцом этому странному сыну.

О т е ц: Чего?

Д о м и н и к: Разве ты не знал, что я нуждаюсь лишь в крохотной капле одобрения? Капле любви?

О т е ц: Ты так толкуешь, будто тебе все ясно... думаешь, ты доктор какой-нибудь? Профессор кислых щей?!

Д о м и н и к (улыбаясь): Нет. Не «профессор»... просто сын. И если мне еще не все ясно, я хотя бы пытаюсь разобраться. А ты даже не пробовал!

Отец, глядя на Доминика, попытался что-то сказать, но язык ему не повиновался. Его нижняя губа мелко тряслась от натуги.

Д о м и н и к: Разве ты не понимаешь, зачем я тебе все это говорю? Разве ты не понимаешь, что я пытаюсь всем этим сказать?

Отец быстро помотал головой. Из его уст вылетело односложное слово.

О т е ц: Нет...

Д о м и н и к: Мне больше ничего не приходит в голову. Не знаю уж, как тебе втолковать... остается лишь просто сказать тебе это, папа. Не знаю уж почему, но после всех этих лет, после всех этих страданий, я знаю, что все равно тебя люблю. Не могу тебя не любить.

Сделав несколько шагов к отцу, Доминик заглянул ему в глаза, надеясь найти там хоть тень понимания.

Д о м и н и к: Я тебя люблю, папа. *(Пауза.)* И мне очень нужно услышать те же самые слова от тебя.

Надолго воцарилось молчание. Отец и сын встретились взглядом. Доминик чуть ли не кожей чувствовал огромное облако энергии, повисшее над сценой. Затем он увидел, что у отца на глазах выступили слезы.

О т е ц *(шагнув к сыну)*: Эх, Доминик...

Отец неуклюже обхватил его и крепко прижал к себе. Секунду Доминик противился, но тут же расслабился, нежась в объятиях отца.

О т е ц: Сынок... что на нас такое нашло? *(Пауза.)* Я... тебя люблю! Я тебя люблю! Гад буду!

Осязая своей грудью могучую грудь отца, Доминик всеми фибрами души осознавал, какая это небывалая ситуация. Внезапно в ушах у него громко зашумело, и Доминик запаниковал, растерялся. Отцовские объятия ослабли, и Доминик, отстранившись, взглянул ему в лицо.

Доминик еле успел заметить, что софиты вдруг погасли, но в последнюю секунду перед тем, как воцарилась тьма, обнаружил, что отца подменили. На его месте стоял незнакомый человек.

Актер.

В рокочущем звуке послышалось что-то знакомое, и Доминик, обернувшись, поглядел в переполненный зал. Целое море людей. И все они, вскочив на ноги, бурно аплодировали.

Тут опустился занавес, отрезав Доминика от зрителей, от потока восторгов.

Доминик и не заметил, как его товарищи по сцене — актеры, игравшие его родителей,— подошли к нему с разных сторон и взяли за руки.

Софиты вновь загорелись. Занавес поднялся. Бурная овация набрала новую силу, и внезапно до Доминика дошло.

Тепло разлилось по его телу, и с чувством глубокой благодарности, благодарности неведомым силам, Доминик Кейзен вышел к рампе на поклоны.

Т. Е. Д. Клайн

СДЕЛАЙ САМ



Сладенькая, ты только послушай. Какая душещипательная история.

Журнал, вытащенный из середины стопки, пожелтел и пахнул плесенью. Херб облизал губы толстым языком, всмотрелся в страницу с загнутым уголком. «Дорогой мистер Почини! Этой весной в моей спальне на линолеуме появился круглый пузырь. А когда установилась теплая погода, он начал расти как на дрожжах. Мой муж, у которого и так слабое здоровье, вчера споткнулся об него и чуть не упал. Что это, какой-нибудь грибок? Как я смогу избавиться от этого пузыря, не снимая линолеум? Мы не можем позволить себе перестилать пол и очень надеемся на вашу помощь». Подпись: «Встревоженная».

— Меня ее тревога не удивляет,— ответила Ирис, окутанная ароматами лимонного масла и пчелиного воска. Она полировала старый столик и у нее чуть сбилось дыхание.— Кому охота делить ванную с поганками?

— Не волнуйся, мистер Почини держит ситуацию под контролем. «Дорогая Встревоженная! Похоже на то, что между линолеумом и досками попала влага. Зачастую при-

© Перевод. В. Вебер, 2005

чина тому — сырой подвал. Просверлите отверстие в потолке подвала, через которое и уйдет скопившаяся под линолеумом вода, а потом загерметизируйте этот участок мастикой или креозотом».— Херб потер подбородок.— Не так уж это и сложно.

— Только не в этом доме.

— Не понял.

— У нас нет подвала, помнишь? Тебе бы пришлось ложиться на живот и заползать под дом, в эту грязь.

— А ведь ты права! Удовольствие маленькое.— Живот Херба затрясся от смеха.— Слава богу, ванная у нас новая.

Собственно, ванная, чистенькая, недавно выложенная плиткой, и стала одной из основных причин, по которым они купили этот дом. Херб любил подолгу стоять под душем, а Ирис, у которой в отличие от первой жены Херба не нашлось времени на рождение детей, обожала полежать в ванне.

В остальном же дом требовал ремонта. Сливы прогнулись, в окна дуло, а если б они захотели жить в доме не только летом, но и круглый год, пришлось бы менять древнюю печь, которую топили углем. Со временем возникла бы необходимость добавить несколько комнат. В настоящее время жилым был только один этаж, а чердак прежние хозяева завалили сломанной мебелью, старыми матрасами, какими-то баулами. Кем они были, так и осталось тайной. Ни Херб, ни Ирис не сомневались, что в этом доме уже много лет никто не жил, хотя риэлторша утверждала обратное.

Оба, конечно, хотели купить что-нибудь получше: все-таки судьба свела их, когда значительная часть жизни осталась позади. Но алименты, которые выплачивал Херб, и неожиданный штраф, наложенный в апреле Департаментом налогов и сборов, заставил их поумерить аппетиты. Кроме того, они получили три акра леса, звезды, которые не могли видеть в городе, и кваканье лягушек, обитавших на соседнем болоте. Рядом с домом стояли сарай и гараж,

переделанный из амбара, а расчищенный участок земли на опушке леса, заросший мхом и поганками, риэлторша упорно называла огородом. Зато здесь они были вдвоем и принадлежали друг другу. А когда кто-то из приятелей спросил Херба, сможет ли он отремонтировать дом, тот небрежно отмахнулся: «Я смогу выписать чек, а остальное не так уж и важно».

Откровенно говоря, он лелеял мысли о том, что все сделает своими руками, хотя последний раз брал в руки молоток лишь в средней школе на уроках труда. Почему-то Херб не сомневался, что несколько тщательно подобранных руководств по ремонту дома и короткие курсы «Этот старый дом» позволят ему обойтись без посторонней помощи. Если уж для создания собственного «гнездышка» ему предстояло овладеть навыками плотника, маляра, сантехника, значит, он станет мастером на все руки.

И судьба, похоже, пошла ему навстречу. Среди наследства, оставленного прежними хозяевами, обнаружились полки со старыми журналами.

В общем-то не такими и старыми, конца семидесятых годов, но повышенная влажность добавила им годков, и выглядели они так, словно вышли в свет лет на двадцать раньше. Ирис хотела сразу их выбросить.

— Они такие противные.— Ирис сморщила носик.— И пахнут плесенью. Лучше мы используем полки под книги, которые купим на распродаже.

Но Херб не хотел этого слышать.

— В деревенском доме они просто необходимы. Ты посмотри, что это за журналы: «Домашний мастеровой», «Практичный садовод», «Овощи без удобрений», «Бережем здоровье». Отличное чтиво в дождливый день.

К счастью для Херба, в этой части света дождливых дней хватало. И после трех месяцев, проведенных в доме, ему стало ясно, что читать, к примеру, колонку мистера Почини, которая имела место быть в каждом номере журнала «Домашний мастеровой», куда увлекательнее, чем что-то

делать по дому. Ему ужасно нравилось покупать инструменты, часть гаража он превратил в мастерскую. Но когда инструменты замерли на крюках, вбитых в стены, и появилось место для работы, энтузиазма у Херба сразу поубавилось.

Более того, их обоих одолела лень. Может, причиной тому стала сырость. Лето выдалось очень уж дождливым. Количество выпавших осадков побило все рекорды. «Газета скидок», которую они каждую неделю доставали из почтового ящика, расползалась в руках. Страницы купонной книжки, которую купила Ирис, слиплись между собой. Долларовые купюры в бумажнике Херба давно уже не хрустели. Вот и сегодня тяжелые облака предвещали грозовые дожди. Херб отложил «Мастерового» и провел вторую половину дня, уткнувшись в «Кухню загородного дома». Ирис не удалось превратить приставной столик, который она притащила с чердака, в предмет старины, поэтому она убрала воск и ретировалась в спальню вздремнуть часок-другой.

Когда она проснулась, уже начало темнеть. Облака полностью затянули небо, но дождь так и не пошел. Несмотря на то что вторую половину дня они ничего не делали, на готовку сил не осталось. Поэтому они пообедали при свечах в придорожном ресторанчике, который находился в нескольких милях от их дома. Выпили по маленькой, пожелав друг другу здоровья.

Дом встретил их холодом, в воздухе стояла сырость. Им уже пришлось купить шерстяные подстилки, которые укладывались на матрасы, чтобы простыни не впитывали влагу. В этот вечер, чтобы изгнать сырость, Херб решил разжечь камин. Перед тем как занести дрова в дом, он внимательно осматривал каждое полено, чтобы соскочивший с него паук или какое-то другое насекомое не проникло за порог. Ему вспомнилась строчка из «Практичного садовода» насчет того, что надо постоянно остерегаться появления

«насекомых-паразитов на персиковом дереве и гусениц на бутонах роз».

А потом его вновь увлек «Домашний мастеровой». Журналы он просматривал уже не одну неделю, начав с тех экземпляров, которые лежали в самом низу, и поднимался все выше и выше. И пока Ирис, лежавшая на диване, зевала над очередным женским романом, Херб увлеченно читал о том, как обеспечить безопасность дровяной печи, построить внутренний дворик и, хотя и знал, что уж этим заниматься ему точно не придется, откачать воду из затопленного подвала.

Он вытащил из стопки очередной журнал, не столь пожелтевший, как остальные.

— Любопытное письмо,— нарушил Херб тишину.— От человека, который не мог выкорчевать пень у своего дома. Мистер Почини рекомендует как можно быстрее избавиться от пня, а не то в нем поселятся термиты.— Херб покачал головой.— Господи, да в деревенском доме нельзя терять бдительность ни на секунду. А вот еще одно, от человека, который построил трубу, пропускающую дым.— Он хохотнул.— Вот болван. Дым у него идет не на улицу, а на чердак.— Херб задумчиво оглядел камин, но его вроде бы построили по всем правилам. Поленья весело трещали, дым уходил куда следовало. Херб вернулся к журналу.— Какой-то парень спрашивает, как вывести пятна с бетонного пола. Мистер Почини рекомендует смесь на основе винного камня и какой-то «щавелевой кислоты»... Слушай, а вот еще одно письмо от той же женщины. «Дорогой мистер Почини! Совет, который вы нам дали, насчет того как избавиться от пузыря на линолеуме с помощью отверстия, просверленного в потолке подвала, нам не пригодился. Подвала у нас нет, а под дом ни я, ни мой муж залезть не можем. Пузыри...»

Ирис оторвалась от книги.

— Вроде бы вначале пузырь был один.

— Ты же знаешь, дорогая, как бывает с этими пузырями.— Перед его мысленным взором возникла Ирис, но лежащая не на диване, а в ванне.— Сегодня их нет, а завтра — есть.— Он дождался ее улыбки, прежде чем перевел взгляд на колонку мистера Почини.— «Пузыри увеличиваются в размерах, от них уже идет неприятный запах. Что же нам делать?» Подпись: «По-прежнему встревоженная».

— Бедная женщина.— Ирис потянулась.— Ты же не думаешь, что это радон, не так ли?

— Нет. Мистер Почини говорит, что, возможно, мы имеем дело с «досковой водянкой».— Херб поежился. Не понравилось ему это словосочетание.— «Вам нужно думать о сохранении уже не линолеума, а пола. Просверлите по центру каждого пузыря по два отверстия и осторожно закачайте в одно из них раствор, состоящий из равных долей пищевой соды, уайт-спирита и ванильного экстракта. Если результата не будет, я настоятельно рекомендую обратиться к специалисту».

— Вот это ей следовало сделать в первую очередь.— Ирис зевнула.— Хотелось бы знать, чем все закончилось.

— Мне тоже,— кивнул Херб.— Давай посмотрим, может, будет и продолжение.

Он пролистал еще несколько журналов «Домашнего мастерового». Мистер Почини советовал, что надо делать, если течет труба, плохо качается вода из колодца, перекашивается крыльцо. О пузырях на линолеуме речь больше не шла. Херб услышал, как заскрипел диван: Ирис улеглась на спину. Книжка упала на ковер. Глаза закрылись, рот, наоборот, чуть приоткрылся. Наблюдая, как в свете камина мерно опускается и поднимается живот жены, Хербу вдруг стало очень одиноко.

По крыше забарабанил дождь. Обычно этот звук его успокаивал, сегодня — нервировал. Он вдруг представил себе, как земля вокруг дома пропитывается водой и превращается в болото, в котором может завестись всякая гадость. Главное, он это знал, позаботиться о том, чтобы чер-

ный пол дома находился выше уровня земли, иначе дерево начнет гнить. Конечно, зазор, пусть и небольшой, между черным полом и землей защищал от влаги. Но он пожалел о том, что в доме нет подвала.

Тихонько, на цыпочках, чтобы не разбудить жену, он прошел в ванную, где все еще приятно пахло краской и лаком. Пристально всмотрелся в пол. Встревожился, когда заметил крошечную трещинку между двумя плитками. Но освещение оставляло желать лучшего, так что трещинка, возможно, была там с самого начала.

Когда он вернулся в гостиную, огонь в камине уже угасал. Он бы подбросил несколько полешек, но побоялся разбудить Ирис. Уселся на ковер рядом со стопкой журналов и вновь принялся просматривать «Домашнего мастерового», вплоть до последнего номера, полученного прежними хозяевами дома тремя годами раньше. Новых писем от Встревоженной Херб не нашел, но не мог сказать, разочаровал его сей факт или обрадовал. Скорее обрадовал, решил он. Значит, все разрешилось к всеобщему удовольствию.

Стопку «Домашнего мастерового» он заменил менее пожелтевшим и не столь толстым «Современным здоровьем». И этот журнал, естественно, не обошелся без колонки советов, которую вел доктор Забота. Протечки крыши уступили место герпесу на губах и мозолям на пятках, треснувшая штукатурка и прогнившие доски — сенной лихорадке и облысению.

«У меня ужасно распух большой палец правой ноги»,— с оттенком гордости начиналось одно письмо. «У меня грыжа, которую никто не хочет лечить»,— прочитал Херб в другом. Читатели жаловались на бородавки, боли в пояснице, кашель. Собственное тело — что дом, подумал Херб. И тут надо постоянно быть начеку. Рано или поздно что-то даст слабину, и начнется гниение. «Дорогой мистер Забота! — прочитал Херб на странице с загнутым уголком.— Нас с мужем совершенно замучила какая-то сыпь. От нее

кожа идет красными пятнами. Может, это какой-то грибок? Ничего не чешется, не болит, но по центру пятен появляются какие-то странные наросты». Написала письмо «Прикованная к постели».

Все эти письма о поломках и болезнях нагоняли тоску, а при упоминании постели Херб почувствовал жуткую усталость. Камин практически потух. Глянув на ответ доктора — тот советовал не отчаиваться, побольше бывать на свежем воздухе и увеличить в рационе долю свежих овощей и фруктов,— Херб поднялся. Из другой комнаты донесся скрип дерева, словно и дом отходил ко сну.

Ирис тихонько посапывала на диване. Выглядела она такой умиротворенной, что Хербу очень не хотелось ее будить. Но он знал, что она снова быстро заснет: бессонницей они не страдали. Звук дождя уже не будоражил Херба.

— Сладенькая,— прошептал он.— Пора баиньки.

Подошел к дивану, наклонился над Ирис, откинул со лба прядь волос, нежно поцеловал в щеку, розовую в отсвете догорающих углей.

Чет Уильямсон

ИЗБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ «АННАЛОВ НОВОГО ЗОДИАКА» И ДНЕВНИКОВ ГЕНРИ УОТСОНА ФЭРФАКСА

Название «Зодиак» носил нью-йоркский клуб гурманов, основанный в 1868 году и насчитывавший, согласно уставу, двенадцать членов. К «Зодиаку» принадлежали величайшие светские львы Нью-Йорка, сливки общества. Известно, что за счет клуба было опубликовано как минимум два тома анналов «Зодиака», запечатлевших драгоценные подробности его заседаний.



сентября 20... г.

Вчера перед сном прочел в газете одну статью. Автор уверял, что в корне всех пресловутых отвратительных деяний, совершаемых как детьми, так и взрослыми, лежит дефицит учтивости и миролюбия в обществе. Не могу не согласиться.

Последние десятилетия минувшего века были отмечены глубоким упадком учтивости, да и наше, новое столетие не обещает возврата к былой утонченности манер. Со всех сторон нас осаждает вульгарная реклама. Пресса описывает все события при помощи военной терминологии — как «битвы», «войны» и «зачистки»,— и даже я порой ловлю себя на том, что срываюсь на нынешний эрзац-язык.

© Перевод. С. Силакова, 2005.

Припоминаю (с глубоким раскаянием) свое выступление на совете директоров нашей компьютерной компании — было это не далее чем вчера. А именно я заявил, что мы не имеем права успокаиваться, пока не раздавим в лепешку компанию Тома Чэмберса — ибо, кроме нее, буквально никто не преграждает нам путь к юридически законной монополии на сетевые серверы. Наше состояние я в точности описал метафорой «горстка плохо вооруженных бойцов», в то же самое время отметив, что ключ к победе в войне — храбрость и смекалка, и объявил о своей готовности бросить в бой свежие наличные деньги из капитала других компаний Фэрфакса. Далее я приравнял Чэмберса к дьяволу, описав его как главу империи зла, которая не успокоится, пока не завладеет всеми компьютерами мира.

Безусловно, мои высказывания были правдивы — но не могу не стыдиться употребленных мной гневных гипербол, которые, несомненно, заставили бы краснеть и моих предков. В течение ста пятидесяти лет Фэрфаксы осуществляли свои многочисленные предприятия с хладнокровием и сдержанностью, и теперь мне чудятся горестные упреки теней минувшего — моего отца, деда и прадеда,— обвиняющих меня в измене традициям.

А посему, дабы искупить вину, я планирую учредить — точнее, возобновить — традицию, которая, насколько мне известно, долго пребывала в забвении. Надеюсь, с ее помощью практическая деятельность как минимум дюжины деловых людей — включая вашего покорного слугу и его основных конкурентов — вскоре проникнется духом миролюбия и учтивости...

КОНСТИТУЦИЯ

Статья 1. Настоящему Клубу присваивается наименование «Новый Зодиак». Он будет устроен по образцу первого «Зодиака», клуба гурманов, основанного в 1868 году.

Статья 2. В Клубе будет двенадцать членов, также называемых «Знаками», каждому из которых, согласно коллегиальному решению клуба, будет присвоено имя одного из знаков Зодиака. При обращении к членам настоящего Клуба следует использовать исключительно эти имена.

Статья 3. Обеды-заседания «Нового Зодиака» назначаются на последнюю субботу каждого месяца. Место встречи избирает хозяин обеда, также именуемый «Окормителем». Он же берет на себя все заботы по приготовлению обеда, цена же обеда будет разделена поровну между всеми Знаками. Вина и прочие спиртные напитки оплачивает сам Окормитель.

Члены-основатели

Водолей ..... М-р Фрэнк Рейнольдс
Рыбы ..... М-р Тодд Арнольд
Овен ..... М-р Джефф Конделли
Телец ..... М-р Ричард Рэнк
Близнецы ..... М-р Томас Чэмберс
Рак ..... М-р Эдвард Девор
Лев ..... М-р Джон Торнтон
Дева ..... М-р Кларк Тейлор
Весы ..... М-р Брюс Левин
Скорпион ..... М-р Кэри Блэк
Стрелец ..... М-р Дэвид Уолш
Козерог ..... М-р Генри Фэрфакс

25 ноября

Боюсь, что при отборе членов-основателей «Нового Зодиака» я совершил ряд промахов. Лишь Эд Девор и Джон Торнтон, подобно мне, происходят из старых аристократических семейств, остальные же — выскочки. Сила первого «Зодиака», по всей вероятности, зиждилась на том, что все Знаки принадлежат к нью-йоркскому обществу в те времена, когда слово «общество» пока еще что-то значило. В истории «Зодиака» оставили свой след такие блестящие фигуры, как оба Дж. П. Моргана — Старший

и Младший — а также преподобный Генри Ван-Дайк, Джозеф Х. Чоут и Джон Уильям Дэвис (оба — посланники в Сент-Джеймском дворце), сенатор Нельсон У. Олдрич и многие другие состоятельные, обладавшие огромной властью и, самое главное, чувством собственного достоинства люди, знавшие, как важно быть учтивым. Заботясь о демократичности клуба, я отбирал людей исключительно по принципу наибольшего богатства и влияния, надеясь преподать учтивость тем, кто в ней наиболее нуждается,— в том числе и вашему покорному слуге.

Однако первое заседание прошло не совсем так, как я предполагал, несмотря на все мои усилия следовать, насколько это возможно в наше время, подлинному меню самого первого обеда первоначального «Зодиака», имевшего место быть 29 февраля 1868 года...

ПРОТОКОЛ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ «НОВОГО ЗОДИАКА»

Нью-Йорк, «Хогтон-клуб».
24 ноября 20... года
Присутствуют все Знаки. Окормитель — брат Козерог.

Меню

Устрицы	Седло барашка
Потаж а-ля-Багратион	Арико-вер
Буше а-ля-Рейн	Салат-латук-о-фромаж
Террапэ а-ля-Мэриленд	Пуден глясе
Сюпрем-де-волейль	Пирожные
Спаржа	Фрукты
Пунш по-римски	Кофе

Вина

Крюг 1982 г.
Лафит 1969 г.
Шамбертэн 1947 г.
Старый бренди 1895 г.

Брат Близнецы предложил избрать брата Козерога, которому принадлежит честь учреждения этой серии обедов, секретарем клуба «Новый Зодиак». Кандидатура была одобрена единогласно, после чего брат Близнецы заметил, что дополнительные обязанности, вероятно, будут отнимать у брата Козерога много времени, так что он, дословно, «перестанет совать свой ср...й нос в мой бизнес». Заявление встречено дружным доброжелательным смехом. Брат Козерог согласился вступить в должность.

Обед, по-видимому, имел успех, хотя брату Овену пришлось напомнить, что в своих сотоварищей-Знаков не принято бросаться фруктами. «Мы же, в конце концов, называемся "Новый Зодиак", а не "Клуб трутней"»,— заметил брат Козерог.

— «Клуб трутней»? Что за хрень такая? — переспросил брат Овен и, получив соответствующие разъяснения, отметил, что никогда не слышал о П. Г. Вудхаузе. Со словами «а пошел он на х... этот Мудхауз», он швырнул ягоду клубники и, что немало развлекло собравшихся, попал брату Козерогу в левый глаз.

Возник вопрос, кто из собравшихся вызовется взять на себя роль окормителя на следующий месяц. Эту роль решил взять на себя брат Близнецы, получив заверения в форме честного слова каждого из Знаков, что все происходящее на обедах останется абсолютно конфиденциальным. Брат Близнецы, со своей стороны, также дал клятву, заявив, что в следующем месяце он «закатит Знакам настоящий пир, какого еще ни один миллиардер не видал,— мы ж это давно, б... заслужили. И все сегодняшнее вам г...м покажется — я вам не такие редкости заготовлю».

Брат Близнецы поинтересовался у брата Козерога, не одолжит ли тот ему два тома анналов изначального «Зодиака», чтобы он мог позаимствовать там идеи для меню. Брат Козерог охотно согласился.

Под конец вечера братья Телец, Весы и Рак поведали собравшимся несколько смешных историй об афроаме-

риканцах, а братья Дева и Стрелец — ряд фривольных анекдотов о дамах, входивших в штат подотчетных им учреждений.

Заседание закрыто.

Секретарь Козерог.

...Большинство вело себя с отменной вульгарностью. Признаюсь, я ничуть не удивился, когда даже Эд Делор подхватил тему этнических анекдотов. Он давно уже относится к чернокожим предвзято — в особенности с того момента, когда его компании запретили вести какую бы то ни было деятельность в ЮАР — стране, где та целый век получала высокие доходы. Что же касается Джона Торнтона, он покамест не опускался до идиотизма, проявленного большинством остальных, но, по моим впечатлениям, ждал лишь подходящего случая, чтобы дать себе волю. Полагаю, что на следующем же обеде он поведет себя весьма развязно.

По крайней мере, они были более или менее любезны друг с другом — для начала неплохо. Даже Конделли после моей реприманды перестал швыряться едой — разумеется, я не беру в расчет ту гордую клубничку, призванную доказать, что мои миллиарды ничуть не влиятельнее его миллиардов. Возможно, со временем они остепенятся. Есть также надежда, что, занявшись подготовкой обеда, Чэмберс на время отвлечется от дел своей компании и нам удастся отвоевать у него часть рынков. Однако интересно, чем же он собрался нас удивить...

ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОЕ

Штат Орегон, Портленд, «Медиа-башня»
29 декабря 20... года.

Присутствуют все Знаки. Окормитель — Близнецы.

Меню

Устрицы	Суфле-о-эпинар
Потаж-крем-де-орж-реганс	Яблоки «Монт-де-Ор»
Тимбаль-де-краб	Медальон-де-фуа-гра
Мясо в нарукавниках а-ля Помпадур	Салат «Арлезианский»
Яичница-глазунья «Виргинская-Чемпионская»	Спаржа в голландском соусе
Шампанское	Омлет-норвегьен

Вина

Монастырская сливовая наливка 1894 г.
«Моэт-Шандон» 1969 г.
«Шато-Латур» 1957 г.
«Мусиньи» 1954 г.
«Отель-де-Пари»
Мадера «Синяя трубка»
Рейнская мадера «Холмс» 1879 г.
Коньяк «Наполеон» 1890 г.

Это пышное пиршество, как сообщил нам брат Близнецы, почти в точности воссоздавало обед, данный в 1925 году Дж. П. Морганом: отличались лишь года вин, а также сорта мяса, использованного для приготовления двух блюд. Подробности он обещал сообщить после.

Также, подражая щедрости Дж. П. Моргана, брат Близнецы устлал стол, за которым восседали Знаки, льняной скатертью венецианской работы, на которой были вышиты все знаки Зодиака,— точной копией дара Моргана первому «Зодиаку».

При всем великолепии пищи (а также обстановки, в которой она была вкушаема, ибо брат Близнецы принял своих гостей в своем только что достроенном особняке с видом на Тихий океан) вина и ликеры были еще чудеснее. И лишь после того как всякий из Знаков продегустировал

все представленные на столе напитки и взбодрился несравненным коньяком, брат Близнецы открыл нам секретные ингредиенты «Мяса в нарукавниках а-ля Помпадур» и «Яичницы-глазуньи "Виргинская-Чемпионская"». Морган-младший потчевал своих гостей «Голубиным мясом в горшочке а-ля Помпадур» и «Яичницей а-ля Поль-и-Виргиния», и все Знаки с немалым любопытством пытались разгадать секрет вариантов, придуманных братом Близнецы.

Разгадка тайны была срежиссирована в неповторимо оригинальном стиле брата Близнецы. А именно по одному слову из уст последнего столовая превратилась в мультимедийный зал для презентаций. Повинуясь устройствам распознавания речи, с потолка спустились экраны, свет потух, и брат Близнецы объявил, что, хотя он берет на себя стоимость вин и прочих напитков (четверть миллиона долларов с хвостиком; цена вполне сходная, уверил он, с учетом того, как мало времени было отведено его сотрудникам на их приобретение), с каждого из Знаков за обед причитается восемьсот пятьдесят тысяч долларов.

Когда же Знаки испустили изумленный вздох, брат Близнецы поинтересовался у брата Козерога стоимостью предыдущего обеда, который был оплачен последним единолично, и узнал, что она составляла семнадцать тысяч долларов, не считая вин. Брат Близнецы признал, что между семнадцатью тысячами и десятью с гаком миллионами долларов есть определенная разница, но (пояснил он) его братья-Знаки поймут все сами, когда узнают, что именно вкушали.

Засим началась презентация — фильм, в котором с помощью документальных видеосъемок и фотографий были детально отображены все этапы производства и приготовления мяса. Части фильма носили названия: «Откорм», «Скотный рынок», «Забой» и, наконец, «Приготовление блюд». Многие сцены фильма отличались наглядностью и

откровенностью, не совсем соответствующей вкусам некоторых Знаков — в том числе вашего покорного слуги секретаря. Брату Раку и брату Весы обед и вина не пошли впрок: они извергли все содержимое своих желудков в шелковые мешочки на пластиковой подкладке, заботливо заготовленные предусмотрительным хозяином.

Однако все остались на своих местах, а после видеопрезентации, выслушав красноречивую и вполне логичную апологию брата Близнецы в поддержку и защиту избранных им блюд, почти все Знаки согласились с ним и обещали прислать чеки, покрывающие соответствующую долю расходов.

Следующим окормителем был назначен брат Овен, уверивший своих братьев-Знаков, что продолжит традицию, которой положил начало брат Близнецы.

На этом заседание было закрыто.

Секретарь Козерог.

...«Мясо в нарукавниках». Эд Девор и Джон Торнтон, мои старинные друзья, хохотали (Боже, даже не верится!) над этой зловещей метафорой. Возможно, это извращение чувства юмора — симптом наследственного размягчения мозгов (практика узкородственного размножения не проходит даром для аристократии Новой Англии). Правда, вначале Девора, как и Левина, вырвало, но, полагаю, тому виной были не сведения о происхождении съеденного ими мяса, а всего лишь визуальные аспекты презентации. Зрелище умерщвления быка на бойне наверняка вызвало бы у них не менее сильную тошноту — здесь же речь шла о человеке.

О, эти омерзительные каламбуры Чэмберса: «Мясо в нарукавниках», «Яичница-глазунья "Виргинская-чемпионская"»! «Яичница-глазунья» — намек на ингредиенты, а Кевин Дюпре, работавший в компании Чэмберса младшим менеджером по закупкам, в школе действительно победил на олимпиаде штата Виргиния по орфографии. Мы узнали это из его резюме, продемонстрированного на экране.

А в какие ужасные подробности углубился Чэмберс, чтобы провести параллели с откормом и покупкой скота! Нам продемонстрировали Дюпре на этапе «откорма» — на работе и в кругу семьи; нам показали душераздирающую сцену «на скотном рынке»: Чэмберс лично предложил выкатить семье бедняги десять миллионов долларов за то, что последний навсегда исчезнет; мы увидели, как до Дюпре медленно доходит, что теперь он принадлежит Чэмберсу душой и телом, а в случае отказа его и всю семью ожидает полный крах, причем не только финансовый, ибо большие деньги — залог всесилия.

Во время сцены забоя я весь похолодел и чуть не лишился жизни вместе с несчастным Дюпре; затем мы увидели, как мясо готовят и раскладывают по тарелкам и — самые жестокие кадры — как мы сами его поедаем (последнее было отснято скрытыми камерами всего час назад и тут же смонтировано людьми Чэмберса).

К концу фильма одни из Знаков позеленели, другие ерзали на месте, а третьи ухмылялись, как мальчишки, попавшиеся на воровстве сластей. Но стоило Чэмберсу заговорить, как на их лицах появилось совсем иное выражение. Этот субъект порой сквернословит, как рабочий с конвейера, но если ситуация того требует, он способен превзойти в изысканном красноречии самого дьявола. Он говорил, что все мы, все двенадцать,— подлинные лидеры нашей страны, новые повелители мира, а наши служащие, от самых скромных, остающихся для нас незримыми, до менеджеров высшего звена, работающих с нами бок о бок, не что иное, как предметы потребления, сырье, которое следует покупать, продавать и использовать, сообразуясь исключительно с необходимостью. «Наш ум, прозорливость и энергия,— заявил он,— дают нам власть обогащать, разорять... или пожирать, если мы того желаем».

И, помилуй меня, Боже, я никаким образом не мог бы втолковать остальным, что Чэмберс не прав. Он уже до-

казал свою правоту. Он совратил их — как моих друзей, так и моих конкурентов. Я буквально чувствовал, как крутятся шестеренки в их головах, изобретающих способы затмить пир Чэмберса. *В следующем месяце окормителем будет Конделли; судя по всему, он без ума от радости.*

Мое желание содействовать распространению учтивости дало начало совершенно противоположному процессу, и ума не приложу, как мне остановить его. Честь заставляет меня хранить молчание — и одновременно довести до конца то, что я затеял. Я готов осуществить свой замысел незамедлительно, но в случае, если это окажется невозможным, в запасе у меня почти год до того дня, когда мне вновь выпадет черед быть окормителем... А за год много воды утечет...

ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ

Штат Мэриленд, Балтимор, имение «Гавани»
6 января 20... года
Присутствуют все Знаки. Окормитель — Овен.

Меню

Куриный бульон
Карликовые баклажаны
Жареная нога Анри Баррашка в мятном соусе

27 января

...Баррашк был у Конделли директором европейского филиала. Вначале я предположил, что он пожертвовал свою ногу и выжил, поскольку стоимость обеда была куда ниже, чем в случае с Чэмберсом, *но мои источники сообщают, что Анри Баррашк бесследно исчез.*

Такой шаг — открытый вызов остальным Знакам. Баррашк играл не последнюю роль в успехах заморских предприятий Конделли. Складывается впечатление, буд-

то Конделли хотел этим сказать: «Любой может поступиться анонимным офисным трутнем, но я способен на истинные жертвы!»

ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Штат Техас, Даллас, ранчо «Двойное Р»
23 февраля 20... года
Присутствуют все Знаки. Окормитель — Телец.

Меню

Свиные колбаски
«Еврейские стряпчие»
Буровики, фаршированные перцем чили
Сыр (ой) «Первызам»
Горячие куриные крылышки
Картофель по-техасски

24 февраля

...мало того что Рэнк не пожалел двух руководителей своих оффшорных нефтепромыслов в Латинской Америке. Но какая же это глупость — самому себе вонзить нож в грудь, пустив своего первого зама по сбыту на бифштексы исключительно ради сомнительного созвучия «первый зам» — «пармезан». И, самое ужасное, он расправился со всеми своими юристами, приготовив из них всего лишь закуску. Конечно, он всегда может нанять новых, но все же его поведение граничит с безумием...

ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОЕ

Штат Массачусетс, Бостон, «Девор-хаус»
30 марта 20... года
Присутствуют все Знаки. Окормитель — Рак.

Меню

Черная икра
Динд-соваж-роти
Пари-о-маррон
Потаж-велюте-Шантильи
Желе-д-Эрелль
Жареные грудки
Минди в соусе «Нотэн»

31 марта

...приятное возвращение к истинным пиршествам после злосчастного техасского барбекю у Рэнка. Однако же Девор поднял дело на новую высоту — или же опустился до невиданных доселе низостей. Возможно, он предположил, что может превзойти Рэнка лишь в том случае, если его жертва будет иметь отношение не только к бизнесу. Не сомневаюсь, он любил Минди. Она семь лет была его содержанкой. В психологическом плане для человека и его фирмы подобная утрата опаснее, чем потеря служащих, и, как не укрылось от моего проницательного взгляда, Девор тяжело переживает кончину Минди. Интересно, что станется с его фирмой в ближайшие несколько месяцев? После прошлого обеда корпорация Рэнка как-то вдруг перестала расти. Возможно, после того как будет решена проблема Чэмберса, я попытаюсь взять измором «Рэнк-индастриз»...

ЗАСЕДАНИЕ СЕДЬМОЕ

Молочный генеральный менеджер...

ЗАСЕДАНИЕ ДЕВЯТОЕ

Медальоны «Совет директоров»...

ЗАСЕДАНИЕ ОДИНАДЦАТОЕ

Отец под шубой...

ЗАСЕДАНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Штат Флорида, Майами, «Тейлор-хаус»
30 ноября 20... года
Присутствуют все Знаки. Окормитель — Дева.

Меню

Уитр
Салат «Ницца»
Потаж-«борш полонез»
Веточная спаржа в соусе «муслен»
Бульон из молоденькой телочки
Бомб-Альгамбра
Сладкие хлебцы
Пти-пуа-о-бер
Барон-д-агио-Боарне
Помм-нуазетт

Вина

«Крюг» 1978 г.
«Шато-Латур» 1946 г., магнум
«Кло-де-Вожео» 1948 г.
Рейнская мадера 1886 г.
Коньяк «Наполеон» 1873 г.

В этот вечер большинство Знаков пребывали в печальном расположении духа, несмотря на великолепные яства, приготовленные братом Девой. Да и сам брат Дева был несколько мрачен (вероятно, в связи с злоключениями в делах, постигшими почти всех братьев по «Новому Зодиаку», а также, по-видимому, из-за некоторых ингредиен-

тов бульона); однако по мере дегустации вин и прочих напитков общее настроение начало меняться в сторону улучшения.

Некоторые Знаки шутливо поддразнивали брата Близнецы, имея в виду успешное насильственное поглощение его компании корпорацией брата Козерога. Последний возразил, что юридическая терминология не отражает истинного положения дел, так что он лично относится к брату Близнецы без малейшей вражды и надеется, что брат Близнецы ответит ему такой же доброжелательностью. В завершение своей речи брат Козерог заверил брата Близнецы, что для последнего всегда найдется место за этим столом, невзирая ни на какие капризы фортуны.

Поскольку с первого заседания «Нового Зодиака» истек целый год, брату Козерогу вновь выпал черед взять на себя роль окормителя. Он заявил, что приглашает всех братьев Знаков на обед, который даст в следующем месяце.

Засим заседание закрывается.

Секретарь Козерог.

1 декабря

...свою родную дочь. Они превратились в чудовищ, но заплатили за это вопиющую цену. Даже если ты суров и бессердечен, нельзя ничего не почувствовать, когда на стол подают твое детище, твою плоть и кровь.

Твой «бизнес» тоже не может уцелеть, когда от занятий делами тебя отвлекает совесть, когда ты сам пробиваешь зияющие бреши в своей корпоративной структуре, забивая на мясо тех, кто выстроил это здание.

Недолго же простоит здание, когда уцелевшие служащие получают информацию о случившемся из сообщений по электронной почте, которые, будучи прочитанными, бесследно стираются из памяти сетевых серверов «Фэрфакс-Текнолоджи», используемых ныне повсеместно.

9 декабря

Всем Знакам, кроме одного, пришел крах. Они стали жертвами собственного голода и аппетитов, которые пробудил этот голод. Благодаря конфиденциальной информации об их неприятностях, которой я располагаю, мне было легко скупить и проглотить их. Сегодня утром пал последний бастион.

Итак, фирмы Знаков «Нового Зодиака» можно считать поглощенными.

ПРОТОКОЛ ТРИНАДЦАТОГО И ПОСЛЕДНЕГО ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА «НОВЫЙ ЗОДИАК»

Нью-Йорк, «Фэрфакс-клуб».
28 декабря 20... года

Присутствуют все Знаки. Окормитель — Козерог.

Отсутствуют на своих местах: Водолей, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец.

Меню

Закуски а-ля Водолей
Рыбный суп
Паштет «Близнецы»
Жаркое из мяса льва в мятном соусе
Салат «Весы»
Раки в сметане
Пельмени «Стрелецкие»
Котлетки телецкие
Грудки «Девственные»
Тушеные скорпионы
Седло Овна

Вина

«Пол-Роджер» сухое 1956 г.
«Шато-Латур» 1947 г.
Мадера «Тихнер» 1868 г.
«Кафе-Англе» 1854 г.

Послеобеденная беседа продлилась недолго. Брат Козерог заметил, что иногда единственным средством против неучтивости в обществе может быть лишь насильственное удаление неучтивых элементов. Против этого замечания никто не возражал.

После краткой паузы брат Козерог предложил упразднить клуб «Новый Зодиак» в связи с недостаточным количеством членов. Решение было одобрено большинством голосов («За» — один голос, «Против» — ни одного).

Поскольку брат Козерог трапезовал в одиночестве, он вызвался оплатить полную стоимость обеда. Возражений не было.

Другие Знаки учтиво отправились наслаждаться миром и покоем.

На этом заседание было закрыто.

Секретарь Козерог.

Рэмси Кемпбелл

ЗАБАВА

Когда Шоун обнаружил, что он уже в Уэстингси, он различал только мелькавшие перед глазами обрывки дороги, извивающиеся, как гадюки, под хлынувшим ливнем. Бульвар, где он видел пенсионеров, вывезенных на колясках за ранней дозой солнечного света, и туристов с рюкзаками, набитых в вагоны, которые повезут их к Озерам, махал отдельными деревьям, которые казались слишком юными, чтобы выходить одним к серому морю, несущему сотни пенных гребней. Сквозь шум помех и шипение ветрового щитка местная радиостанция советовала водителям не выезжать сегодня на дорогу, и он чувствовал, что ему предлагают шанс. Сняв номер, он сможет позвонить Рут. В конце бульвара он объехал вокруг старого каменного солдата, вымокшего почти дочерна, и поехал вдоль приморских отелей.

Вид был довольно неприветливый. Знак перед самым большим и белым отелем говорил НЕТ, явно потеряв терпение перед тем, как осветить второе слово. Шоун свернул в первую узкую улочку меблированных комнат, из тех безликих, где он останавливался с родителями почти пятьдесят лет назад, но таблички в окнах были столь же него-

© Перевод. М. Левин, 2005.

степриимны. На улицах, которые, как он помнил, состояли из малых отелей, было меньше зданий, и все это были дома престарелых. Пришлось опустить окно, чтобы прочесть знаки на той стороне дороги, и когда он их прочел, правый бок у него уже промок. Ему нужна была комната — сил на возвращение в Лондон не хватит. Через полчаса он выедет на шоссе, около которого ему обязательно надо найти отель. Но он только достиг окраины города и притормозил на развилке, когда увидел руки, закрепляющие объявление в окне трехэтажного дома.

Он прищурился в зеркало, чтобы проверить, что не стоит ни у кого на дороге, потом опустил стекло на дюйм. Объявление либо упало, либо его сняли, но стоянка в конце короткой дорожки была не занята, и над высокой толстой слезящейся стеной висел знак, на котором кусты изо всех сил старались скрыть слово «ОТЕЛЬ». Он зарулил между столбами ворот и чуть не зацепил правую стену здания.

Через окно мало что можно было различить. Слой сетчатых занавесей, а может, и не один, защищал комнату от посторонних взглядов. За тяжелыми сиреневыми шторами, прилипавшими к влажному стеклу, внезапно погас свет. Шоун схватил сумку с заднего сиденья и выскочил на открытую веранду.

Дождь лил все время, пока он давил на медный звонок рядом с высокой дверью. Кнопки в нем уже не было, осталось только гнездо с грязной крестовиной, пружинившей с той же яростью, с которой давил на нее палец. Он не успел взяться за ржавый дверной молоток над нейтральной гримасой щели для писем, когда раздался голос женщины — то ли приветствие, то ли предупреждение,— распахнувшей дверь:

— Здесь кто-то есть.

Ей было за семьдесят, но одета она была в платье, которому не удавалось прикрыть пятнистые поганки коленей. Она согнулась, будто вес обвисшего горла тянул вниз ее лицо, такое же белое, как и волосы.

— Вы — «забава»? — спросила она.

У нее за спиной коридор в два роста Шоуна, оклеенный темными обоями с тисненными лозами, чем-то напоминавшими артерии, вел к главной лестнице, исчезавшей на верхнем этаже. Рядом с женщиной стоял длинноногий стол, заваленный смятыми проспектами местных аттракционов; над ним висел на стенке таксофон без номера на диске. Шоун пытался сообразить, действительно ли это отель, когда его огорошил этот вопрос.

— Я — кто?

— Не беспокойтесь, комната вас ждет.— Она хмуро посмотрела ему за спину и встряхнула головой, как мокрая собака.— И обед с завтраком ждут всякого, кто успокоит вот этих.

Он решил, что это относится еще к той ссоре, которая началась или возобновилась в комнате, где уже зажегся заново свет, погашенный на его глазах. Потеряв счет ссорам, с которыми ему приходилось иметь дело в детском саду в Хэкни, где он работал, он не видел, почему здесь должно быть иначе.

— Попытаюсь,— сказал он и пошел в комнату.

Комнату, несмотря на ее размер, заполняли всего две женщины — одна, дышавшая так глубоко, как широко было ее розовое платье; она пыталась подняться из кресла с помощью узловатой палки и рухнула обратно, покраснев, и ее компаньонка, тощая женщина в жакете от темно-синего костюма и юбке от серого, которая суетливо отходила от выключателя полистать страницы телевизионного журнала перед тем, как быстрее белки из мультфильма в телевизоре начать дергать шнур бархатных занавесов, каковое действие, как решил Шоун, должно было убрать извещение из окна, что бы оно ни значило. Обе женщины были точно не моложе той, что ему открыла, но он не дал этому факту себя обескуражить.

— В чем проблема? — спросил он и тут же вынужден был добавить: — Я не слышу, когда вы говорите обе сразу.

— Свет мне в глаза бьет,— пожаловалась женщина в кресле, хотя из шести лампочек в люстре одна перегорела, а другая отсутствовала.— Юнити все время его зажигает, когда я смотрю.

— Амелия весь день смотрит свои мультики,— ответила Юнити, ткнув в телевизор и начав постукивать пальцами по креслу.— А я хочу посмотреть, что в мире делается.

— Не дать ли нам теперь Юнити посмотреть новости, Амелия? Если это не то, что вы любите смотреть, вы не будете возражать против включенного света.

Юнити посмотрела на него злобно, а потом зарылась у себя в декольте в поисках предмета, которым в него запустила. Успев его перехватить, он определил, что это пульт от телевизора. Юнити бросилась у него этот пульт выхватывать, и когда появился диктор с войной у него за спиной, Шоун отступил. Он еще задержался, закрывая дверь, пока пытался решить, чем скрыты пейзажи на стене — туманом или пылью, когда человек у него за спиной буркнул:

— Выходите быстрее и закройте дверь!

Он был слишком тощим для своего костюма, серого, под цвет редким волосам. Несмотря на озабоченный взгляд красноватых глаз и постоянное пожимание плечами, будто в попытках избавиться от дрожи, он сумел выдавить улыбку в достаточной степени, чтобы показать часть зубов.

— Ну-ну, Даф сказала, что вы с ними разберетесь, и так оно и вышло. Можете остаться,— сказал он.

Среди вопросов, которые Шоун пытался решить, был и тот, почему этот человек кажется ему знакомым, но порыв дождя, такой сильный, что полилось из-под входной двери, сделал предложение человека неотразимым.

— Вы имеете в виду на ночь?

— Это как минимум,— начал свою речь менеджер и повернулся к сгорбленной женщине.— Даф проведет вас наверх, мистер?..

— Шоун.

— Как его зовут? — спросила Даф, будто собираясь его объявить.

— Том Шоун,— ответил Шоун.

— Мистер Томсон?

— Том Шоун. Том — это имя.

— Мистер Том Томсон.

Он мог бы заподозрить шутку, если бы не ее серьезнейший вид, и потому он обратился к менеджеру.

— Мне расписаться?

— Позже, не берите в голову,— ответил менеджер, отступая по коридору.

— А плата...

— Комната и стол. Условия всегда такие.

— То есть вы хотите, чтобы я...

— Устраивайтесь,— сказал менеджер и исчез за лестницей куда-то, откуда пахло неизбежным обедом.

Шоун почувствовал, что сумку сняли у него с плеча. Даф избавила его от груза и шагала по лестнице, то и дело поглядывая, идет ли он за ней.

— Он навсегда куда-то ушел, мистер Снелл,— сказала она и повторила: — Мистер Снелл.

Шоун подумал, не приглашение ли это ответить шуткой, но тут она сказала:

— Не беспокойтесь, мы знаем, каково это — забыть свое имя.

Она сказала, что это он путает, а не она. Если бы она не скрылась из виду, ответ его был бы так же резок, как нахлобучка воспитанникам, которые слишком ребячатся. Над средним этажом лестница склонялась к фасаду дома, и Шоун увидел, как неожиданно далеко зашло здесь запустение. Наверное, в этой части дома никто не жил, потому что коридор был темен и наполнен затхлым запахом. Взявшись за перила для скорости, он тут же понял, что по липкости они мало чем уступают обсосанному леденцу. Добравшись до верхнего этажа, он разозлился, обнаружив, что запыхался.

Дафна остановилась в конце коридора, освещенного — если такое слово подходит — редкими лампочками в стеклянных цветах, растущих из стен. Тени подчеркивали жилы обоев.

— Вот тут будете вы,— сказала Даф, толкая дверь.

Рядом с окошком под желтеющей лампочкой потолок уходил вниз почти до ковра, коричневого как грязь. Углом стояла узкая кровать напротив гардероба и ночного столика и умывальника под мутным зеркалом. По крайней мере на полочке возле умывальника был телефон. Даф отдала ему сумку, когда он вошел в комнату.

— Вас позовут, когда настанет время,— объяснила она.

— Время? Время...

— Обеда и веселья, тупица! — сказала она с таким резким смехом, что уши вздрогнули.

Она уже прошла полкоридора до лестницы, когда он решил к ней обратиться.

— А ключ мне не полагается?

— Он будет у мистера Снелла. Мистера Снелла,— напомнила она и ушла.

Надо будет позвонить Рут, как только он высушится и переоденется. Где-нибудь здесь должен быть туалет. Он закинул сумку на плечо, придерживая пальцем, и вышел в сумрак коридора. Не успел он пройти пару шагов, как над краем пола высунулась голова Даф.

— Вы нас не покидайте.

Дурость, но он почувствовал свою вину.

— Только в туалет схожу.

— Это там, куда вы идете,— сказала она достаточно твердо, чтобы это была команда, а не совет, и тут же исчезла в дыре лестницы.

Не может быть, чтобы она имела в виду соседнюю комнату. Когда ему удалось уговорить липкую пластиковую ручку повернуться, он увидел за дверью комнату, очень похожую на его собственную, только окно было в покатой крыше. На кровати в сумерках, уже переходящих в темень,

сидела фигура в голубом детском комбинезоне — плюшевый медведь с большими черными рваными глазами, а может, без них. Кровать следующей комнаты была усыпана фотографиями такими размытыми, что едва можно было разглядеть улыбки на каждой из них. В следующей комнате кто-то было вязал, но, видно, отвлекся, поскольку один рукав розовато-лилового свитера был вдвое больше другого. Каждый рукав был пришпилен к кровати вязальной спицей. Теперь Шоун был возле лестницы, за которой была задняя часть дома, такая же темная, как та секция нижнего этажа. Наверняка Даф ему сказала бы, если бы он шел не по той стороне коридора, а помещение за лестницей не было так заброшено, как казалось: из темноты пискливое бормотание, чей-то голос выговаривал жалобу так быстро, что слов было почти не разобрать, молясь с такой силой, что, казалось, даже не делает пауз на вдох. Шоун быстро миновал перила, окружающие три стороны лестничного колодца, и открыл дверь, которая была сразу за ними. Здесь был туалет, а те пластиковые шторы, которые кто-то задернул,— наверняка душ. Он отодвинул дверь локтем, и занавески душа шевельнулись, реагируя на его присутствие.

И не только они. Когда он дернул изношенный шнур, чтобы зажечь лампочку без абажура, откуда-то со стороны душа донеслось приглушенное хихиканье. Закинув сумку на крюк у двери, он раздернул шторы. На поддоне душа стояла на четвереньках голая женщина, такая худая, что не только ребра были видны, но и форма ягодичных костей. Она глянула вытаращенными глазами поверх расставленной узловатой руки, потом опустила руку, открыв широченный нос, в пол-лица, и радостно ощеренный беззубый рот, и выпрыгнула из душа. Не успел он отвернуться от сморщенных грудей и болтающегося бородатого живота, как она уже выскочила наружу. Слышно было, как она вбежала в комнату в темном конце коридора, выкрикивая что-то вроде «теперь ты» или «теперь тебе». Он не по-

нял, предназначены ли эти слова ему. Внимание его отвлекло то, что дверь была без засова.

Он оставил туфли в углу под петлями и сложил на них промокшую одежду, потом прошел босиком по липкому линолеуму к душу. Поддон был холоден, как камень, и просел с громким треском не меньше чем на полдюйма, когда Шоун встал в него под слепой медный глаз душа. После поворота скрипнувших кранов вода пошла сначала, будто дождь забрался в дом, но быстро стала такой горячей, что пришлось прижаться к холодной кафельной стене, чтобы достать до кранов, и только он успел снизить температуру до терпимой, как задергалась ручка двери.

— Занято! — крикнул он.— Здесь занято!

— Моя очередь.

Голос звучал так близко, что рот говорящего, наверное, был прижат к двери. Ручка застучала еще неистовей, и Шоун крикнул:

— Я недолго! Десять минут!

— Моя очередь.

Это был уже другой голос. Либо говоривший понизил тембр, чтобы устрашить Шоуна, либо там было их больше одного. Шоун потянулся к мылу в выступе кафельной плитки, но ограничился только водой, заметив, что мыло покрыто седыми волосами.

— Подождите там! — крикнул он.— Я уже почти кончил. Нет, не надо ждать, приходите через пять минут!

Стук ручки стих, и не менее одного тела стукнулось в дверь с мягким шлепком. Шоун отдернул шторы как раз вовремя, чтобы увидеть, как его одежда разлетелась по линолеуму.

— Прекратите! — рявкнул он и услышал, как кто-то убегает — то ли человек с серьезной инвалидностью, то ли не меньше двух человек стукаются в стены, устроив драку в коридоре. Хлопнула дверь, потом еще раз — или это была другая. К тому времени он уже вышел из-под душа и взял единственное банное полотенце с шаткой стойки. Из

полотенца выскочил паук с ногами как длинные седые волосы и телом размером с ноготь большого пальца и спрятался под ванной.

Своего полотенца у Шоуна с собой не было. Он собирался одолжить его у Рут. Взяв полотенце за два угла на вытянутых руках, он встряхнул его над ванной. Когда оттуда больше ничего не выпало, он вытер волосы и все тело как можно быстрее. Расстегнув сумку, он вытащил одежду, которую припас на ужин с Рут. Запасных туфель у него с собой не было, и когда он попытался надеть те, в которых пришел, в них хлюпнула вода. Собрав мокрую одежду и туфли, он положил их на сумку и быстро прошлепал к себе в комнату.

Ткнув дверь коленом, он услышал за ней звуки: прерывистый вздох, еще один, и голоса, льющиеся в темноту. Не успев пересечь комнату и сунуть сумку и мокрую одежду в шкаф, который, как и вся мебель, был привинчен к стене и к полу, он услышал вливающиеся в дом голоса. Наверное, прибывшая на автобусе группа — прерывистые вздохи издавали пневматические двери и тормоза. Пока что, судя по опыту, появление наплыва жильцов ничего привлекательного не сулило и только подогрело желание побыстрее поговорить с Рут. Сунув туфли между ребрами еле теплого радиатора, он сел на тощую подушку и поднял липкую трубку.

Услышав гудок, он начал набирать номер. Уже набрав больше половины одиннадцатизначного номера Рут, он услышал голос Снелла.

— Кого вам?

— Междугороднюю.

— Боюсь, из номера это невозможно. Внизу в холле есть телефон. Все остальное так, как вам хотелось бы, мистер Томсон? У меня тут люди приехали.

Шоун слышал их снаружи. Они не издавали звуков, если не считать неуверенного шарканья и приглушенного скрипа нескольких дверей. Можно было только предположить, что им было велено его не беспокоить.

— Здесь кто-то балуется,— сказал он.

— Они готовятся к сегодняшнему вечеру. Должны кое-что сделать, кое-кто из них. Все остальное в порядке?

— В моей комнате никто не прячется, если вы это имеете в виду.

— Никто, кроме вас.

Это уже Шоупу совсем не понравилось, и он был готов явно выразить свои чувства, спрашивая, где его ключ, когда менеджер сказал:

— Значит, скоро мы вас увидим здесь внизу.

Линия отключилась, оставив Шоуна в попытке отреагировать на все последние события недоверчивой ухмылкой. Он пытался поделиться ею со своим отражением над умывальником, но только сейчас заметил, что зеркало покрыто паутиной или трещинами. Эти нити усилили худобу его лица, обесцветили кожу и добавили морщин. Когда он приблизил лицо, чтобы убедиться, что это всего лишь иллюзия, то заметил какое-то шевеление в умывальнике. Предмет, который был длинным седым волосом, торчал из стока и блестел принадлежащим ему телом, продавливая себя прочь в трубу. Шоун напомнил себе переложить бумажник и деньги из мокрой одежды в то, что было на нем, и вышел из комнаты.

Ковер в коридоре был влажен от следов ног, большинство из которых он бы обошел, если бы его не отвлекли звуки из комнат. Там, где был плюшевый медведь, кто-то напевал: «К мамочке иди, резиновый». В следующей комнате голос выводил «Вот где вы все», очевидно, обращаясь к фотографиям, и Шоун был рад, что из комнаты с неряшливым вязанием не доносилось никаких слов, а только пощелкивание, такое быстрое, что казалось механическим. Не пытаясь разобраться в этих приглушенных шумах из комнат с темной стороны коридора, он прошлепал вниз так быстро, что два раза чуть не оступился.

В холле ничего не шевелилось, если не считать заливающегося под дверь дождя. Перед телевизором шло несколь-

ко разговоров, никак друг с другом не связанных. Шоун поднял трубку и сунул в телефон монеты, и его палец застрял над нулем на диске. Может, его отвлекла внезапная тишина, но он не мог вспомнить номер Рут.

Он оттянул ноль на диске до упора, будто это могло подсказать ему остальные цифры номера, и, пока диск возвращался на место, так и случилось. Еще десять поворотов диска наградили его звонком, заглушаемым потрескиванием, и казалось, что весь дом ждет, пока Рут ответит. Понадобилось шесть пар звонков — дольше, чем ей надо, чтобы пройти через всю квартиру,— пока раздались слова:

— Рут Лоусон.

— Рут, это я.— В ответ на молчание он попытался оживить старую шутку: — Старый безрутный бандит.

— И что дальше, Том?

Он позволил себе надеяться, что она хоть из вежливости засмеется, но раздраженный тон потряс его меньше, чем реакция из холла с телевизором: хихиканье чьего-то голоса, потом еще нескольких.

— Я просто хотел тебе сказать...

— Том, ты бормочешь. Я тебя не слышу.

Он просто пытался, чтобы его слышала только она.

— Я говорю, я хочу, чтобы ты знала, что у меня просто вышел очень плохой день,— сказал он громче.— Я на самом деле думал, что должен приехать сегодня.

— С каких пор у тебя такая плохая память?

— С... не знаю, кажется, с сегодняшнего дня. Нет, честно, ты ведь думаешь про свой день рождения? Я знаю, что я про него тоже забыл.

Волна веселья накатила из холла перед телевизором. Конечно, все там смеются над телевизором, у которого приглушен звук, объяснил он себе, пока Рут ему отвечала:

— Если ты это можешь забыть, ты все можешь забыть.

— Мне очень жаль.

— Мне еще жальче.

— А мне жальче всех,— рискнул он, и тут же пожалел, что выполнил этот ритуал, поскольку это не дало ему ни

малейшей реакции от нее, но больше потому, что из холла раздался рев смеха.— Послушай, я просто хотел, чтобы ты знала, что я не пытался тебя подловить, вот и все.

— Том!

Голос был такой сочувственный, как мог бы быть у кровати больного старого родственника.

— Рут,— ответил он и тут же глупо спросил: — Что?

— Мог с тем же успехом и пытаться.

— То есть... ты хочешь сказать, что я мог...

— Я хочу сказать, что ты почти это сделал.

— О! — И после паузы, такой же пустой, как было у него внутри, он повторил этот звук. На этот раз не с разочарованием, а со всем удивлением, которое смог собрать. Он мог бы дать и третью версию этого звука, несмотря на или благодаря последнему взрыву веселья в холле, если бы Рут не заговорила:

— Я сейчас с ним говорю.

— С кем говоришь?

Не договорив еще до конца, Шоун уже понял, что она говорила не с ним, а о нем, потому что услышал у нее в квартире мужской голос. И тон его был куда теплее дружеского, и голос был существенно моложе.

— Удачи вам обоим,— сказал он менее иронично и более бесстрастно, чем сам хотел бы, и рванул рычаг, вешая трубку.

Из щели вывалилась монетка и плюхнулась на ковер. Среди бешеного веселья у телевизора несколько женщин кричали: «Кому, кому», как стадо коров.

— А он хорош, правда? — заметил кто-то еще, и Шоун попытался понять, что ему делать со своим смущением на грани паники, когда раздался звон, уходящий в темную часть дома.

Это был небольшой, но гулкий гонг в руках у управляющего. Шоун услышал оживленный топот шагов в холле и еще топот наверху. Он замялся в нерешительности, и Даф вынырнула к нему из-за управляющего.

— Давайте я вас посажу, пока не началась суматоха,— сказала она.

— Я только возьму туфли у себя в комнате.

— Вы же не хотите столкнуться с этим старым стадом. Они же мокрые?

— Кто? — спросил Шоун, потом нашел в себе достаточно здравого смысла, чтобы самому с легким смешком ответить на свой вопрос.— Ах, туфли! У меня с собой только одна пара.

— Я вам что-нибудь найду, когда посажу на место,— сказала она, открывая дверь напротив холла с телевизором, и нагнулась еще ниже, подгоняя его.

Как только он вошел за ней, она пробежала через столовую и стала похлопывать по стоящему отдельно столику, пока он не сел на единственный за ним стул. Он был обращен к комнате и был окружен тремя длинными столами, каждое место за которыми было сервировано, как и его собственное, пластиковой вилкой и ложкой. За столом напротив висел бархатный занавес, бессильно шевелясь, когда окна дрожали от дождя. Стены покрывали подписанные фотографии — портреты комиков, которых он не мог узнать, с веселым или забавно-мрачным видом.

— Они у нас все,— сказала Даф.— Они нас поддерживают. Смех — вот что дает жизнь старикам.

Может, это она и не ему говорила, потому что уже выходила из комнаты. Он еле успел заметить, что гравюры на уэльском столике слева нарисованы на дереве во избежание поломок, как ввалились жильцы.

Споры о том, кому входить первому, стихли при виде его. Некоторые из столующихся еле смогли найти свои места, потому что не отрывали от него глаз, глядя куда пристальнее, чем он в ответ. Несколько было таких раздутых, что трудно определить их пол иначе как по одежде, и даже это непросто в случае с наиболее толстыми, у которых лица казались погружены в гнездо из плоти. Контрастом был мужчина столь высохший, что часы без стрелок со-

скальзывали с его запястья на костяшки пальцев. Юнити и Амелия сидели лицом к Шоуну, и, к его отчаянию, последнее из восемнадцати мест было занято женщиной, на которую он наткнулся в душе, теперь одетой от шеи до лодыжек в черный свитер и брюки. Когда она оглядела его с таким выражением лица, будто никогда не встречала и очень рада, что это наконец произошло, он попытался испытать некоторое облегчение, но в основном он испытывал чувство, что все обедающие, кажется, ждут от него чего-то. Их внимание начинало его парализовывать, когда снова появились Даф и мистер Снелл — из двери за уэльским столиком, которой Шоун не заметил.

Управляющий уставил левый стол тарелками супа, пока Даф подбежала с особо вместительной парой шлепанцев из белой материи, которые, как заметил Шоун, носили все жильцы.

— У нас только эти,— сказала она, бросая их к его ногам.— Они сухие, а это главное. Как вам они?

Шоун при желании мог бы засунуть обе ноги в каждый.

— Честно говоря, я в них малость как клоун.

— Ничего, вы же никуда не собираетесь.

Она сунула его ноги в тапочки и подняла их, чтобы проверить, есть ли у этой обуви шанс не свалиться. Тут же все жильцы разразились смехом. Некоторые затопали в качестве аплодисментов, и даже Снелл выдал мимолетную благосклонную улыбку, когда они с Даф скрылись на кухне. Шоун опустил ноги, что явно было достойно второго взрыва веселья. Оно миновало, когда Даф и Снелл появились с новыми тарелками супа, одну из которых управляющий принес Шоуну. Он опустил тарелку на стол через плечо гостя, а потом опустил руки на его плечи.

— Перед вами Томми Томсон,— объявил он и наклонился к уху Шоуна.— Так годится, правда? Лучше звучит.

В этот момент Шоуна меньше всего заботило его имя. Он жестом показал на пластиковый столовый прибор:

— Вы не думаете, что мне можно бы...

Не успел он попросить металлический прибор с ножом, Снелл двинулся прочь, будто его уносили взрывы радости, которую вызвало его объявление.

— Будьте сами собой,— сказали Шоуну его губы.

Ложка была такого размера, какой Шоун размешивал бы чай, если бы доктор недавно не запретил ему сахар. Когда он поднял ее, тут же воцарилась тишина. Он опустил ее в слабый бульон, где не удалось найти ничего твердого, и поднес к губам. Коричневатая жидкость имела вкус какого-то неопределимого мяса и ржавый привкус. Шоун был достаточно взрослым, чтобы не привередничать насчет еды, которую подают всем. Он проглотил ее, и когда тело его захотело восстать в протесте, он начал переливать в себя ложкой бульон как можно быстрее, в надежде скорее с ним разделаться.

Едва только его намерение стало очевидным, как жильцы принялись аплодировать и топать. Одни пытались имитировать его стиль поедания бульона, другие демонстрировали, насколько более театрально это умеют делать они, и сидевшие ближе всего к холлу подняли такой шум, что казалось, будто бульканье идет даже снаружи. Когда он с кривой ухмылкой глянул в их сторону, жильцы зафыркали, будто он отколол еще одну презабавную шутку.

Наконец Шоун бросил ложку в тарелку, только чтобы Даф вернула ее на стол с быстротой, не слишком отличающейся от грубости. Пока она и Снелл были на кухне, все остальные глазели на Шоуна, который почувствовал себя обязанным приподнять брови и помахать руками в воздухе. Один из раздутых толкнул другого, и оба они радостно залопотали, а всех остальных свалил неодолимый смех, который продолжался во время доставки второго, будто это была шутка, которую они очень хотели бы, чтобы он увидел. На тарелке оказались три кучки какого-то месива: белая, бледно-зеленая и коричневая.

— Что это? — решился он спросить у Даф.

— То, что всегда,— ответила она будто ребенку или кому-то, вернувшемуся в это состояние.— То, что нам нужно, чтобы поддержать наши силы.

Кучки оказались картофелем, овощами и чем-то вроде фарша с тем же запахом, что у бульона, только сильнее. Он изо всех сил старался есть естественно, несмотря на аплодисменты, которыми эти попытки были вознаграждены. Ощутив тяжесть в животе, он сложил прибор на тарелку, никак не чистую, и Даф тут же склонилась над ним.

— Я закончил,— сказал он.

— Еще нет.

Когда она протянула руки, он думал, что она хочет вернуть ложку и вилку на их законные места с обеих сторон тарелки. Вместо этого она убрала тарелку и начала убирать следующий стол. Пока он старался скрыть свою реакцию на эту еду, жильцы, как он заметил, жадно поглощали свои порции. Тарелки унесли в кухню, и повисла напряженная тишина, нарушаемая только беспокойным шарканьем. Куда бы он ни посмотрел, никто ногами не шевелил, и он сказал себе, что звуки издает Даф, появившаяся из кухни с большим пирогом, покрытым глазурью как памятник.

— Даф снова его сделала,— сказал самый толстый из жильцов.

Шоун решил, что это относится к портрету глазурью клоуна на пироге. Он не мог разделить общий энтузиазм по этому поводу; клоун казался недокормленным и угревато-краснолицым, и не было ясно, что за форму должны образовывать его широко раздвинутые губы. Снелл принес стопку тарелок, на которые Даф разложила куски пирога, разрезав его пополам и при этом отрезав клоуну голову с плеч, но распределение ломтей вызвало некоторые дебаты.

— Дайте Томми Томсону мой глаз,— сказал человек с выпученными красными глазами.

— Ему можно дать мой нос,— предложила женщина, которую он видел в душе.

— Я ему дам колпак,— сказала Даф, что было встречено одобрительным воем.

Выданный Шоуну кусок пирога почти точно следовал очертаниям остроконечного клоунского колпака. По крайней мере, как ему подумалось, это будет уже конец обеда и ничего такого страшного в пироге быть не может. Он не ожидал, что у пирога будет тот же неуловимый вкус, что у остальной еды. Может быть, поэтому он, вызвав бурю восторга, закашлялся и подавился. Очень не скоро Даф принесла ему стакан воды, которая, как он обнаружил, имела тот же вкус.

— Спасибо,— тем не менее выдохнул он и, когда его кашель и аплодисменты вокруг стихли, смог сказать: — Спасибо, все уже в порядке. Теперь, если вы меня извините, я думаю пойти спать.

Тот шум, что раньше поднимали жильцы, был ерундой с поднявшимся теперь ревом.

— Еще не было забавы,— возразила Юнити, вскакивая на ноги и от нетерпения подпрыгивая на месте.— Спеть надо за ужин, Томми Томсон.

— Никаких песен и никаких речей,— объявила Амелия.— У нас всегда бывает представление.

— Представление! — стали скандировать обедающие, хлопая и топая в такт движениям палки Амелии.— Представление! Представление!

Управляющий наклонился к столу Шоуна. Глаза его были краснее обычного и мигали несколько раз в секунду.

— Лучше с ними согласиться, а то они вам покоя не дадут,— тихо произнес он.— Ничего особенного им не надо.

Может быть, то, как наклонился к нему Снелл, показалось Шоуну знакомым. Может ли быть, что он управлял этим отелем, когда Шоун останавливался тут с родителями лет пятьдесят назад? Так сколько же ему должно быть сейчас? Шоун не мог сообразить, потому что вопрос был:

— Что они просят меня сделать?

— Ничего особенного. Ничего такого, с чем не может справиться человек вашего возраста. Пойдемте, я вас отведу, пока они не захотели играть в свои игры.

Было неясно, насколько это должно было быть угрозой. Сейчас Шоун был только благодарен, что его уводят от топанья и скандирования. Уход наверх перестал его соблазнять, и бежать к машине тоже не имело смысла, поскольку он только и мог шаркать по ковру, чтобы не спадали тапочки. Так что вместо этого он пошел за управляющим к двери в телевизионный холл.

— Давайте туда,— подтолкнул его Снелл с дерганой улыбкой.— Просто встаньте там. Вот они идут.

В комнате произошли существенные перемены. Число сидений увеличилось до восемнадцати с добавкой нескольких складных стульев. Все они стояли лицом к телевизору, перед которым был воздвигнут портативный театр, несколько напоминающий театр Панча и Джуди. Над пустой авансценой поднималась высокая остроконечная крыша, напомнившая Шоуну тот самый клоунский колпак. Слова, которые были когда-то написаны на основании фронтона, давно выцвели вместе со всеми цветами. Можно было только разобрать «ВХОД ЗДЕСЬ», пока он шаркал к театру, подгоняемый скандированием из холла.

Задником театра служил тяжелый бархатный занавес, черный там, где не отливал зеленоватым. В нем до высоты примерно четырех футов была сделана прорезь. Когда Шоун поднырнул под него, плесневелый занавес прилип к шее. Когда он выпрямился, его охватил запах сырости и затхлости. Локти уперлись в стены ящика, побеспокоив две фигуры, лежащие на полке под сценой. Их пустые тела были вытянуты, они лежали, перепутавшись лицами вниз, будто пытались теснее прижаться друг к другу. Он повернул их лицами вверх и увидел, что эти фигуры, с застывшими улыбками и глазами чуть слишком большими для того, чтобы забавлять, изображали мужчину и женщину, хотя на каждом пыльном черепе оставалось только несколько клоч-

ков волос. Он заставил себя прикоснуться к этим перчаточным телам, а тем временем жильцы с топотом заполняли зал.

Юнити подбежала к одному стулу, потом, не в силах успокоиться, к другому. Амелия плюхнулась в середину софы и медленно, постанывая, сдвинулась к краю. Несколько особо толстых устроились на складных стульях, что немедленно стало внушать опасения. Наконец рассаживание публики положило конец скандированию, но все глаза были прикованы к Шоуну. За спиной жильцов Снелл показал губами: «Наденьте их на руки».

Шоун подтянул к себе кукол открытыми концами и растянул выходы, опасаясь появления оттуда обитателей. Они, однако, оказались необжитыми, и потому он сунул в них руки, пытаясь сообразить, какие из детсадовских рассказов можно адаптировать к этому случаю. Коричневатая материя легко натянулась на руки, почти такая же удобная, как кожа, которую она изображала, и не успел он еще подготовиться, как большие пальцы стали руками кукол, а три соседних пальца поднимали трясущиеся кукольные головы, будто куклы просыпались ото сна. Зрители уже радостно вопили — отклик, от которого, казалось, черепа с кустиками полос поднялись над сценой. Их появление было встречено шумом, в котором все сильнее выделялись заявки:

— Пусть подерутся, как теперешняя молодежь!

— Пусть побегают, как звери!

— Пусть ребенком в футбол играют!

— Пусть головами стукнутся!

Шоун сказал себе, что они, наверное, имеют в виду Панча и Джуди — и некоторое желание смогло подавить все остальные.

— Давайте «Старый безрукий бандит».

«Старый безрукий бандит» превратился в скандирование, и топот возобновился — а руки Шоуна взметнулись на сцену столкнуть кукол. Все, что ему пришлось пережить

за этот день, сконцентрировалось в руках, и, быть может, это был единственный способ это избыть. Он кивнул мужчиной, которым стала его правая рука, лысеющей женщине и нетерпеливо каркнул:

— Что значит — «не мой день»?

Он встряхнул женщину и дал ей писклявый голос:

— А какой, по-твоему, день?

— Среда? Нет, четверг... погоди, конечно, пятница. То есть суббота.

— Сейчас воскресенье. Колокола слышишь?

— Я думал, это для нас, свадебные. Эй, что ты там прячешь? Я не знал, что у тебя есть ребенок.

— Это не ребенок, это мой дружок.

Шоун повернул фигуры лицом к публике. Куклы могли бы ожидать хохота или даже стона в ответ на старые шутки — он точно их ждал. Жильцы глядели на него в лучшем случае с интересом. С той минуты, как он начал представление, единственными звуками стали шорох кукол по сцене и голоса, которые он изображал хрипящим горлом. Управляющий и Даф пристально смотрели на него через головы жильцов; казалось, они забыли, как моргать или улыбаться. Шоун отвернул кукол от зрителей, как хотелось бы отвернуться и ему самому.

— Что с нами стряслось? — пискнул он, тряся головой женщины.— Что-то нам нехорошо.

— Ерунда, я все равно тебя люблю. Давай поцелуемся,— каркнул он и заставил вторую куклу сделать два смешных шажка и рухнуть лицом вниз. Громкий треск застал его врасплох, как и то, что от удара его пальцы застряли в голове куклы. Ее неуклюжие попытки подняться даже не надо было изображать.

— Клоунские эти ботинки! — буркнул он.— Как в них можно ходить? Шатаешься в них, как недоразумение.

— А кто ты еще есть? Ты скоро свое имя забудешь.

— Не хами! — каркнул он, не понимая, зачем он вообще продолжает это представление — разве что для того,

чтобы разогнать молчание, которое заставляло его вытягивать из себя слова.— Мы оба знаем, как меня зовут.

— Это пока у тебя дырки в голове не было. А теперь ты в ней вообще ничего не удержишь.

— Ха, это ты завралась! Меня зовут...— Он имел в виду куклу, а не себя, вот почему имя оказалось трудно произнести.— Ты знаешь, отлично знаешь. Не хуже меня.

— Видишь, его уже нет, ага!

— А ну-ка скажи, а то я тебя поколочу! — рявкнул Шоун со злостью, которая уже не принадлежала только кукле, и сдвинул ухмыляющиеся головы с треском, будто сломалась кость. Зрители наконец начали аплодировать, но он уже едва ли их замечал. От удара лица раскололись, обнажив верхние фаланги его пальцев, тут же застрявшие в щелях. Неуклюжие тела кукол прилипли к нему, а руки его боролись друг с другом. Вдруг что-то поддалось, и голова женщины отлетела от разорванного тела. Правый локоть ударился в стену театра, и конструкция повалилась на него. Он попытался ее подхватить, и в это время голова куклы подкатилась ему под ноги. Он отшатнулся назад к заплесневелому занавесу. Театр завертелся вместе с ним, и комната опрокинулась.

Он лежал на спине, а дыхание его было где-то в другом месте. Пытаясь не дать передней стенке театра упасть на него, он случайно стукнул себя по виску треснувшей мужской головой. Сквозь просцениум виднелся высокий потолок и доносился одобрительный вой публики. Прошло больше времени, чем Шоуну казалось необходимым, пока некоторые из зрителей приблизились.

То ли театр был тяжелее, чем он думал, то ли он ослабел от падения. Хотя ему удалось стащить куклу с руки, поднять с себя театр оказалось трудно, поскольку кукла лежала у него на груди, как испустивший дух младенец. Наконец Амелия наклонилась над ним, и он с ужасом подумал, что сейчас она на него сядет. Но она протянула руку, которая казалась почти вареной, к самому его лицу, схватилась

за просцениум и сняла с него театр. Кто-то подхватил театр и унес, а она схватила Шоуна за лацканы и, несмотря на то что трость ее потрескивала, подняла его с помощью нескольких рук, толкавших его сзади.

— Вы целы? — прохрипела она.

— Все в порядке,— ответил Шоун, не успев подумать. Он заметил, что все стулья снова отодвинуты к окнам.

— Сейчас мы вам покажем, как мы играем,— сказала Юнити у него за спиной.

— Вы это заслужили,— сказала Амелия, собирая обломки кукол и прижимая их к груди.

— Я думаю, я бы...

— Точно, мы так и сделаем. Покажем вам, как мы играем. У кого капюшон?

— У меня! — крикнула Юнити.— Кто-нибудь, завяжите его!

Шоун обернулся и увидел, как она натягивает черную шапку. Когда она надела ее на голову, он обнаружил, что у него опять перехватило дыхание. Когда Юнити опустила поля, оказалось, что шапка предназначена закрывать глаза игрока — скорее как реквизит волшебника, чем как предмет для игры. Человек с часами без стрелок, которые сваливались с руки, туго затянул тесемки капюшона и завязал узлом, потом повернул ее на месте несколько раз, и каждый раз она попискивала от удовольствия. Потом он отпустил ее и отошел на цыпочках назад к остальным у стен, а она еще раз повернулась.

Она стояла спиной к Шоуну — он остался возле стульев у окна, за которым стихал шум дождя. Она устремилась прочь от Шоуна, хлопая тапочками по ковру, потом дернулась в сторону ни к кому в отдельности и наклонила голову. Она была в стороне от дороги Шоуна к двери, где уверенно стояли Даф и управляющий. Надо только обойти эту женщину с повязкой на глазах — и он уже на пути в свою комнату, где можно либо забаррикадироваться, либо взять свои вещи — и к машине. Он двинул ногой внутри тапка, и Юнити метнулась к нему.

— Поймала! Я знаю, кто это. Мистер Томми Томсон!

— А вот и нет! — возразил Шоун со злостью на все, что привело к этому моменту, но Юнити бросилась на него. Схватив его костлявыми руками за щеки, она держала его крепко куда дольше, чем нужно было, чтобы развязать завязки капюшона правой рукой, левой не выпуская и поглаживая его подбородок.

— Теперь ваша очередь ходить во тьме.

— Мне кажется, на сегодня хватит, и если вы меня извините...

Это вызвало бурю протеста на грани возмущения.

— Ты еще не устал, такой молодой, как ты... Она старше тебя, а не безобразничает... Тебя поймали, ты должен играть... Так нечестно.

Управляющий отступил в дверь и вытянутой рукой сделал жест Шоуну, а Даф произнесла одними губами: «Сейчас время стариков». Ее слова и скандирование «Нечестно» вызвали у Шона чувство вины, усилившееся, когда Юнити открыла полные упрека глаза и протянула ему капюшон. Он разочаровал Рут; не следует теперь огорчать этих стариков.

— Хорошо, я буду играть,— сказал он.— Только не вертите меня слишком сильно.

Не успел он договорить, как Юнити натянула ему капюшон на голову и надвинула на брови. Ощущение было как от матерчатых тел кукол. Не успел он даже передернуться, как материя опустила ему веки, и он ничего не видел, кроме темноты. Капюшон прилип к скулам, и тут же быстрые пальцы завязали тесемки у него на затылке.

— Только не сильно...— успел он выдохнуть, когда его завертели через всю комнату.

Как будто его втянуло в воронку радостных воплей и выкриков, но слышался и неразборчивый говор.

— Он со мной баловался в душе.

— А нас он туда не пустил.

— Я из-за него мультики пропустила.

— Ага, и еще он пульт хотел отобрать.

Его так закрутило, что он уже не мог понять, где он.

— Хватит! — крикнул он, и в ответ немедленно наступила тишина. Когда чуть опало головокружение, он понял, что он уже в другой комнате, гораздо дальше в глубину дома. Сквозь тапочки ощущались протертые на ковре дыры, хотя этим трудно было бы объяснить чуть уловимое шуршание ног, окружившее его со всех сторон. Он подумал, что слышит шепот или постукивание какого-то предмета в пустом ящике на уровне головы. Тут в приступе паники, сверкнувшей в капюшоне белой слепотой, он понял, что последнее замечание Дафны предназначалось не ему и вообще никому, кого он здесь видел. Руки его взметнулись развязать капюшон — чтобы увидеть, не где он, а куда бежать.

С таким ужасом он нащупал мертвый узел тесьмы, что не сразу сообразил искать ее свободные концы. Потянув за них, он освободился. Просунув пальцы под край капюшона, он услышал легкие сухие шаги, стремящиеся к нему, и почувствовал что-то, о чем ему хотелось бы думать, что это рука, схватившая его за лицо. Он отшатнулся назад, вслепую отбиваясь от того, что это было. Пальцы напоролись на ребра, такие голые, как вообще не бывает, и просунулись между ними, коснувшись подрагивающего содержимого грудной клетки. Шоун содрогнулся всем телом, хватаясь за капюшон и сдергивая его прочь.

В комнате было то ли слишком темно, то ли недостаточно темно. Она была не меньше той, откуда он вышел, и в ней стояли с полдюжины продавленных кресел, блестящих от влаги, и более чем вдвое больше фигур. Некоторые из них раскинулись в креслах как небрежные связки палок с гримасничающими масками наверху, но при этом изо всех хилых сил старались хлопать дрожащими ладонями. Даже те, что качались вокруг него, казалось, оставили где-то большую часть своего тела. Все они были привязаны к веревочкам или нитям, блестевшим в полумраке и

уводившим его взгляд в самый темный угол комнаты. Там сбилась беспокойная масса — тело с неестественно большим количеством конечностей или груда тел, все более запутывавшихся друг в друге в процессе дряхления. Какие-то, хотя и не все, движения этой массы были как выбросы изнутри конечностей, строящих ее части, или уносящих фрагменты, или протягивающих еще нити к другим фигурам в комнате. Понадобилось усилие, напрягшее мозг, чтобы он смог заметить еще что-то: тонкую щель за шторами, голое окно дальше — слева, очертания двери холла. Когда ближайшая фигура низко поклонилась и Шоун увидел, что то, что осталось от ее глаз, выглядывает из-под волос, кокетливо спущенных на лицо, он бросился к двери холла.

Она отодвинулась в сторону, потому что у Шоуна кружилась голова. Тапочки зацепились за дыру в ковре и чуть не бросили пол в лицо Шоуну. Ручка двери отказалась повернуться в потной руке, даже когда он схватился за нее и второй рукой. Потом она поддалась, и пока пол за спиной зашуршал неуверенным, неявно направленным шарканьем, резко открылась. Он выпал за дверь и неуклюже побежал, хлопая тапочками, подальше от темной части холла.

Все комнаты были закрыты. Если не считать царапанья ногтей в дверь у него за спиной, была тишина. Он пробежал через холл, стараясь не потерять тапочки, не зная почему, зная только, что должен добраться до входной двери. Он сбросил щеколду, широко распахнул дверь и тут же ее захлопнул, вылетев из дома.

Дождь перестал, только с листьев еще капало. Галька блестела, как речное дно. Автобус, прибытие которого он слышал — старый частный автобус, заляпанный грязью,— стоял позади его машины, чуть не касаясь бампера. Отсюда ему не выехать. Он чуть не постучал в окно телевизионного холла, но вместо этого заковылял на улицу, к безмолвным отелям. Он понятия не имел, куда идет, лишь бы подальше от этого дома. После первых же шагов тапочки промокли, и ноги все сильнее саднили на каждом шагу, но тут из города показались быстро едущие фары.

Они принадлежали полицейской машине. Она остановилась возле, подмигивая аварийной сигнализацией, и с пассажирского сиденья вышел полисмен в форме, пока Шоун еще не успел слова сказать. Слегка полноватое озабоченное лицо полисмена в свете уличного фонаря имело здоровый розовый цвет.

— Помогите мне, пожалуйста! — взмолился Шоун.— Я...

— Не надо ничего говорить, старина. Мы видели, откуда вы вышли.

— Они меня заперли! То есть мою машину, вот, посмотрите! Если бы вы им только сказали, чтобы они меня выпустили...

С другой стороны подошел водитель, будто пытавшийся перещеголять своего напарника по части заботливого выражения лица.

— Успокойтесь, мы все сделаем. Что это у вас с головой?

— Стукнулся. Ударил по ней... вы не поверите, но это не важно. Все будет в порядке. Мне бы только забрать свои шмотки...

— Что вы потеряли? Это не может быть в доме?

— Да-да, в доме, наверху. Там мои туфли.

— Ноги болят, да? Неудивительно, если вы бродите в таком виде в такую ночь. Эй, возьми его под другую руку.— Водитель твердо взялся за правый локоть Шоуна и со своим напарником поднял и понес к дому.— Как ваше имя, сэр? — спросил водитель.

— Не Томсон, что бы там они ни говорили. Не Томми Томсон, и не Том, то есть Том, это да, но Том Шоун. Правда же, это не похоже на Томсона? Шоун, а не клоун. Одна девушка всегда говорила, что ей со мной всегда весело, хоть я и не клоун. Я вообще-то к ней сегодня ехал.

Он понимал, что говорит слишком много, а полисмены тем временем кивали, и дом с двумя светящимися окнами — у него в комнате и в телевизорном холле — поднимался и приближался.

— В общем, моя фамилия Шоун. Не Клоун, и не Слоун, и не Стоун. Шоун. Ш-о-у-н.

— Мы поняли.

Водитель потянулся к нустому гнезду кнопки звонка, потом просто стукнул в дверь. Она тут же открылась внутрь, явив стоящего за ней менеджера.

— Этот джентльмен — из ваших гостей, мистер Снелл? — спросил напарник водителя.

— Мистер Томсон! А мы вас обыскались,— объявил Снелл и распахнул дверь пошире. Весь народ из телевизорного холла построился вдоль стен, как зрители на параде. И скандировал:

— Томми Томсон!

— Это не я! — завопил Шоун, беспомощно дергая ногами, пока его шлепанцы не влетели в коридор.— Я вам сказал...

— Сказали, сэр,— успокоительно пробубнил водитель, а его напарник сказал даже еще тише: — Куда вы хотите, чтобы вас отвели, сэр?

— Наверх, просто...

— Мы знаем,— заговорщицки сказал водитель.

В следующий момент Шоуна понесли к лестнице и вверх по ней, с почти незаметной паузой, когда полисмены подобрали каждый по тапку. Скандирование из холла затихло, уступив тишине, которая, затаив дыхание, ждала в темной части дома. Имея полицейский эскорт, Шоун снова обрел уверенность в себе.

— Я теперь могу сам идти,— сказал он, но его только быстрее понесли к концу лестницы.

— Туда, где дверь открыта? — предположил водитель.— Где свет горит?

— Да, там я. То есть не я, в том смысле я, что...

Его внесли под локти в дверь и поставили на ковер.

— Эта комната никому другому принадлежать не может,— сказал водитель, бросая тапки перед Шоуном.— Ну вот, вы уже здесь.

Шоун посмотрел, куда уставились полисмены с таким сочувствием, что оно повисло в комнате как тяжесть. На фотографию, где он и Рут, обняв друг друга за плечи, на фоне далекой горы. Фотографию вынули из мокрого пиджака и поставили на полку вместо телефона.

— Я же только что ее принес! — возразил Шоун.— Смотрите, она еще мокрая!

Он заковылял через комнату натянуть туфли. И еще не дошел до них, как увидел себя в зеркале.

Он стоял, чуть покачиваясь, не в силах оторвать глаз. Он слышал, как полисмены поговорили вполголоса и отбыли, потом донесся двойной хлопок дверей и звук отъезжающей машины. Но собственное отражение все еще не позволяло ему шевельнуться. Без толку было бы говорить себе, что сеть морщин — это паутина, и волосы уже были не седеющие, а просто белые.

— Ладно, я вижу! — заорал он, понятия не имея сам, кому орет.— Я старый! Старый!

— Скоро,— произнес голос, подобный шипению газа в коридоре; он приближался, и лампы гасли одна за другой.

— Скоро с тобой будет очень весело,— донеслись остатки другого голоса откуда-то из комнаты.

Он не успел заставить себя посмотреть на его источник, что-то на конце остатков руки высунулось из-за двери и выключило свет. Темнота упала, будто ему отказало зрение, но он знал, что это начинается новая игра, и скоро он узнает, будет ли она хуже жмурок — хуже, чем первое липкое прикосновение паутины этого дома к лицу.

Ким Ньюман

МЕРТВЯКИ-АМЕРИКАНЫ В МОСКОВСКОМ МОРГЕ



вгений Чирков отстал от части на железнодорожной станции Бородино. Когда поезд замедлил ход, он спрыгнул из своего вагона на платформу, получив приказ по любой цене купить шоколад и сигареты. Но что-то случилось, и древний паровоз так и не остановился. Евгений споткнулся о винтовку, упал и не дотянулся до протянутых рук своих товарищей. Остальные солдаты, высовываясь из окон, смеялись и махали ему руками. Струя пара из паровоза, ехавшего в противоположном направлении, напугала Евгения, он отпрянул, опять зацепился ногой за винтовку и упал. Сержанта Трауберга пируэты Чиркова очень рассмешили, и он даже забыл, что сунул в руку рядового тысячу рублей. Чирков вскочил и побежал за набирающим скорость составом. Выскочил из-под навеса под падающий с неба снег на несколько секунд позже последнего вагона. Взглянув вниз, на рельсы, увидел человека в военной форме со связанными руками и ногами. Голова лежала по одну сторону сверкающего рельса, тело — по другую. Этот метод приобретал все большую популярность. Подальше от станций на рельсы укладыва-

© Перевод. В. Вебер, 2005.

ли сразу по двадцать, а то и по тридцать американов. Лишившись голов, они никому не могли причинить вреда.

С обожженными паром ногами, с лицом и руками, покусанными морозом, он брел по вокзалу. Стены обложили мешками с песком. Семьи сидели тесными группками, словно первопроходцы Дикого Запада в ожидании нападения индейцев, приберегающие последние пули для женщин и детей. Чирков мысленно сплюнул. Америка вторглась в его сознание, как и предупреждали политруки. Одни беженцы уходили из Москвы, другие, наоборот, тянулись в столицу. Каждый действовал на свой страх и риск. На огромный плакат с изображением нового Генерального секретаря кто-то плеснул чем-то черным. Бурое пятно запекшейся крови на стене указывало, что тут кого-то расстреляли. Американов хватало и в Бородино. Расположенное в семидесяти милях от Москвы, местечко это было музеем сопротивления нашествиям. Таблички, памятники, картины славили победы 1812 и 1944 годов. Тут же висел список местных чиновников, расстрелянных за участие в последней контрреволюции. В воздухе пахло гарью: при подавлении заговора пострадали не только люди, но и дома. И сейчас неподалеку что-то горело. Офицер приказал ему встать в очередь и ждать. Из Москвы прибывало гораздо больше поездов, чем уходило туда. Сие трактовалось однозначно: в столице практически никого не осталось.

Чирков решил покинуть вокзал. У дверей от снега расчистили небольшую площадку. Сугробы сверкали в двенадцати ярдах от ступеней. Солнечный свет слепил глаза. На Украине он к такому холоду не привык. Трое солдат с раскосыми глазами, заброшенные за тысячи миль от дома, предложили ему сигарету и попытались поговорить с ним по-русски. Он понял, что родом они из Амги. Где-то там была гора, с вершины которой просматривалась Япония. Он спросил, знают ли они, где найти какого-нибудь начальника. Они что-то зачирикали на незнакомом Евге-

нию языке, но тут он увидел первого американа. Тот появился меж сугробов и захромал к ближайшему КПП. Мертвяк выглядел так, словно действительно жил в Америке. Босой, в обтрепанных джинсах, рубашке с ярким попугаем на груди. На шее на тонкой веревке болтались солнцезащитные очки. Чирков указал часовым на американа. И как зачарованный уставился на шагающего мертвяка. На каждом шагу в американе что-то потрескивало. На коже тут и там виднелись ледяные наросты. Шел он медленно, уставившись прямо перед собой слепыми, замороженными глазами. Руки, как палки, висели по бокам.

Сержант осторожно подобрался к американу и ударил прикладом по колену: часовым строго настрого запретили тратить патроны попусту, потому что боеприпасов не хватало. Хрустнула кость, американ упал на колени, словно молящийся перед иконой. Сержант пнул американа в спину, тот повалился лицом в снег. Чирков думал, что от мертвяка должно вонять, но от этого, промерзшего насквозь, ничем не пахло. Розовая кожа становилась красной в тех местах, где ее разрывал лед. Мертвяк протянул руку к сержанту, теперь что-то хрустнуло в плече. Сержант увернулся от руки и сапогом придавил американа к бетону. Один из солдат вытащил из-за пояса штык-нож с лезвием в добрый фут и вонзил его мертвяку в затылок. Другой достал мачете и профессиональным ударом отрубил мертвяку голову.

Штык-нож требовался для того, чтобы пронзить череп насквозь и коснуться острием земли. Только так остатки души могли покинуть тело. Официального приказа на этот счет не было, но все солдаты знали об этом. То ли от одного из молдаван, то ли от человека, который общался с молдаванами. Молдаваны утверждали, что ходячие мертвяки им не в диковину. Голова американа развалилась, как арбуз. На внутренних поверхностях черепа засверкали серовато-красные кристаллы. Мертвяк разом перестал шевелиться. Сержант тут же начал снимать с него яркую рубашку, очень осторожно, словно мясник, свежующий лошадь.

Джинсы срослись с кожей, так что снять их не представлялось возможным. О чем все, конечно же, пожалели: из джинсов получились бы отличные шорты для симпатичной девчушки. Сержант предложил Чиркову солнцезащитные очки. Одного стекла не было, иначе он не проявил бы такую щедрость по отношению к незнакомцу. Из вежливости очки Чирков взял, решив, что выбросит их, как только уедет из Бородина.

Тремя днями позже, когда Чирков добрался до Москвы, выяснилось, что отыскать его часть невозможно. Диспетчер на центральном вокзале утверждала, что его часть переброшена в Орехово-Зуево, но ее начальник безапелляционно заявил, что часть уже девять месяцев как расформирована. Поскольку диспетчер не решилась возражать заслуженному партийцу, Чиркову пришлось смириться с тем, что части, в которой он служил, более нет. В результате его направили на Курорт. Там постоянно ощущалась нехватка персонала, и заявки Курорта всегда удовлетворялись в первую очередь. Служба на Курорте предполагала лишь охрану объекта да легкий физический труд: американы, попадавшие на Курорт, уже не могли оказать никакого сопротивления. Диспетчер выдала Чиркову стопку сопроводительных документов толщиной с французский сандвич и начала объяснять, как добраться до Курорта. Но очередь к тому времени начала нервничать, и Чиркову пришлось отправляться в неизвестность. Однако он не забыл прицепить к шинели синюю багажную бирку с размазанной печатью, которая служила пропуском. Отсутствие бирки каралось расстрелом на месте.

Автобусы ходили нерегулярно. Прождав час на улице у центрального вокзала, Чирков решил добираться до Курорта пешком, штурмуя бесконечные сугробы. Повсюду ему встречались пожарные бригады. Они шли следом за солдатами, которые методично сжигали дом за домом. С освобожденного пространства тут же убирался весь мусор. Везде

висели плакаты, призывающие остерегаться американов. Партия возложила всю ответственность за случившееся на Соединенные Штаты. По официальной версии, Америка развязала бактериологическую войну. Вирусы, разработанные в секретной лаборатории, доставили в Россию смертники, приехавшие под видом туристов. Этот вирус гальванизировал нервную систему покойников, активизировал животные инстинкты, побуждающие американов есть человеческое мясо. В выпусках новостей показывались тщательно подобранные отрывки из американских фильмов ужасов, дабы показать варварство западной цивилизации. Передачи «Голоса Америки», рассказывающие о том, что и там приходится бороться с ходящими мертвяками, глушились. Но в народе появление мертвяков связывали отнюдь не с американцами. Причины приводились разные; Чернобыль... Божья кара... результат исследований, начало которым положил Сталин во время Великой Отечественной войны... вирусы, занесенные на Землю космонавтами со станции «Новый мир»... заговор затаившихся в подполье контрреволюционеров... проклятие, о котором давно знали молдаваны.

К счастью, Курорт находился недалеко от Красной площади. Даже украинец, только-только прибывший в Москву, представлял себе, как добраться до Красной площади. Чирков так долго тащил винтовку, что ремень протер погон. Единственная обойма с патронами лежала у него во внутреннем кармане. Ему говорили, что Москва — самый красивый город мира, но под натиском зимы и американов ее красота заметно поблекла. Над головой кружили вертолеты, мощные динамики напоминали о грозной опасности и сообщали последние новости: трудящимся рекомендовалось оставаться на рабочих местах и выполнять порученное им дело; неизбежность победы над американской гидрой не вызывала сомнений; кризис близился к концу, гениальные стратеги предрекали скорый контрудар; покойников предлагалось обездвиживать и помещать в спе-

циальные сборные пункты; очередную группу предателей завтра ждал законный суд.

В церкви с куполом-луковкой солдаты разбирались с американами. Их привозили в крытых грузовиках и по одному заводили в двери. Когда Чирков проходил мимо, мертвая женщина в огромной шубе, похожая на медведицу, вывалилась из очереди. Солдаты тут же окружили ее, один из них пронзил голову штыком. Останки унесли в церковь. Чирков знал, что церковь сначала набьют битком, а потом подожгут. Это называлось очистительной жертвой. На Красной площади громкоговорители транслировали военные марши. Джон Рид все еще сражался на баррикадах. В мавзолей Ленина туристов уже не пускали. Сержант Трауберг обожал рассказывать историю о том, что произошло в мавзолее, когда американы начали подниматься. И все ему верили. Курорт находился рядом с площадью. До революции 1917 года в том здании располагался закрытый оздоровительный комплекс для членов царской семьи. Теперь его отдали под морг.

Чирков вручил свои бумаги тощему офицеру, который встретил его на ступенях, ведущих к дверям Курорта, и застыл по стойке «смирно» в ожидании, пока офицер просмотрит все бумаги. Потом ему приказали пройти в дом и найти Любашевского. Офицер же осторожно спустился по ступеням: под слоем снега их покрывала корка льда — еще один элемент защиты. Чирков понимал, почему американы поскальзывались и падали на льду: с равновесием у них было плохо. А с лежащим мертвяком справиться было легче. На дверях Курорта высотой в три человеческих роста Чирков насчитал больше трех десятков отметин от пуль, давнишних и совсем свежих. Незапертые и несмазанные, они противно скрипнули, когда Чирков их открывал. В вестибюле его встретили мраморные полы и потолки, разрисованные нимфами и атлетами. Бюсты Маркса и Ленина охраняли главную лестницу. Над первой площад-

кой висел портрет нового Генерального секретаря, не такой выцветший, как те, что попадались Чиркову на улицах.

Мужчина в гражданском, в котором он угадал Любашевского, сидел за столом и читал какую-то брошюру. На сгибе руки лежала початая бутылка водки. Он вскинул голову и сообщил Чиркову, что на прошлой неделе все стулья увезли в Комитет здравоохранения. Чирков отдал свои документы и сказал, что его послала сюда диспетчер. Любашевский ответил, что с центрального вокзала к ним постоянно присылают солдат, но он никак не может взять в толк зачем. Любашевский не брился как минимум три дня, а глаза у него были разного цвета. Он предложил Чиркову глотнуть водки, настоящей, крепкой, не того пойла, разбавленного талым снегом, которое он купил в Бородине, и уткнулся в документы, выискивая нужную подпись. В конце концов он решил, что Чиркову лучше остаться на Курорте. Открыв шкаф, он достал длинный белый халат, выпачканный на заднице. Чиркову не хотелось менять на него свою длинную теплую шинель, но Любашевский заверил его, что на Курорте практически ничего не пропадает. Люди, даже деклассированные элементы, предпочитали обходить это место стороной и появлялись здесь только в случае крайней необходимости. Прежде чем снять шинель, Чирков вспомнил про пропуск и прикрепил его к халату. Потом Любашевский взял винтовку Чиркова, похвалил за то, что оружие содержится в чистоте, убрал винтовку в шкаф, а взамен выдал Чиркову запылившийся револьвер, тяжелый и холодный. Откинув барабан, Чирков увидел, что патронов всего три. Русская рулетка, подумал он, шансы пятьдесят на пятьдесят. Кобуру ему не дали, поэтому револьвер пришлось сунуть в карман. Ствол тут же высунулся в дыру. За оружие попросили расписаться.

Любашевский велел отправляться в Бассейн и доложить о своем прибытии директору Козинцеву. Чирков спустился вниз в кабине поскрипывающего лифта и очутился в

огромном помещении размером с бальный зал. Бассейном работающие на Курорте называли подвал, где хранились трупы. До революции тут действительно был бассейн. Поколения Романовых рассекали в нем воду, пока их всех не смыло волной истории. Воду из Бассейна спустили еще в 1916 году, и в подвале царил такой холод, что конденсат, осаждаясь на мраморном полу, превращался в лед. Стены украшали золоченые фрески, отзвук каждого шага гулко разлетался по всему залу. Чирков подошел к краю Бассейна, посмотрел вниз на застеленные белым столы и лежащие на них неподвижные тела. Тонкие деревянные перегородки разделяли Бассейн на рабочие комнаты и узкие коридоры. Он обратил внимание на блондинку с собранными на затылке в пучок волосами. Губы ее блестели от ярко-алой помады, рукава халата она закатала до локтей, ковыряясь в грудной клетке трупа женщины, которая могла быть ее старшей сестрой. Во лбу трупа темнела черная дыра, на волосах что-то налипло, как догадался Чирков, вышибленные мозги. Чирков кашлянул, а когда блондинка подняла голову, спросил, где найти директора. Блондинка ответила, что надо пройти к Глубокому Концу, спуститься по лесенке и по коридорам добраться до середины Бассейна. Там и находился кабинет директора.

Выйдя на бортик Глубокого Конца, Чирков нашел лестницу, которая вела на дно Бассейна. Ее охранял солдат, который сидел, забросив ногу на ногу, с револьвером на колене и играл на варгане. Потом перестал играть и сообщил Чиркову, что это была народная американская песня про ковбоя, убитого адвокатом. Называлась она «Человек, который застрелил Либерти Вэленса». Часовой представился сержантом Толубеевым и спросил, не хочет ли Чирков купить кассеты с записями мистера Эдварда Кокрена и мистера Роберта Дилана. У Чиркова не было кассетного магнитофона, но Толубеев пообещал отдать свой за какие-то пять тысяч рублей. Из вежливости Чирков пообещал подумать, поскольку, по его разумению, сделка предлага-

лась выгодная. Толубеев предложил ему и другие предметы первой необходимости: презервативы, шоколадные батончики, зубную пасту, чистые носки, ароматизированное мыло, запрещенную литературу. Чирков знал, что в каждой государственной структуре Советского Союза, будь то военная часть или гражданская организация, обязательно служит такой вот Толубеев. Должно быть, и в Центральном Комитете Коммунистической партии один из секретарей приторговывал дисками и жевательной резинкой, которые покупали у него власти предержащие. Чирков решил для себя, что со временем обязательно потратит часть рублей, полученных от сержанта Трауберга, на нижнее белье и мыло.

Спустившись в Бассейн, Чирков сразу забыл, где что расположено. Он очутился в лабиринте и начал плутать по узким коридорам, изредка спрашивая дорогу у кого-нибудь из сотрудников. Обычно ему отвечали пожатием плеч, но он не терял надежды и продолжал путь. Каждый из специалистов самозабвенно резал трупы, используя для столь увлекательного занятия как визжащие дисковые пилы, так и острые сверкающие скальпели. Он прошел мимо блондинки, которую заприметил сверху: бирка на груди указывала, что блондинка — техник Свердлова, но она представилась Валентиной. Чирков обнаружил, что за время его блужданий по лабиринту Валентине удалось полностью обнажить грудную клетку трупа, над которым она работала. Вот так нынче выглядит утонченная москвичка, подумал Чирков. Невозмутимая и безупречная, пусть руки по локоть вымазаны человеческими останками. Прядка волос падала Валентине на глаза, она сдувала ее, но упрямая прядь возвращалась на прежнее место. Результаты своего исследования Валентина сразу надиктовывала на магнитофон. В теле мертвой девушки обнаружились некоторые аномалии. В частности, повышенная упругость мышц. Чирков с радостью остался бы у Валентины, но чувство долга звало его в путь. Попрощавшись, он вышел из ее закутка,

споткнувшись о ведро, чуть ли не доверху набитое часами, обручальными кольцами, очками. Валентина разрешила взять все, что ему понравится, но Чирков отказался. Наоборот, сунул руку в карман, достал разбитые солнцезащитные очки и бросил в ведро. Точно так же бросали копейку в источник, выполнявший желания, поэтому Чирков одно тут же и загадал. Валентина хихикнула, словно прочла его мысли. Густо покраснев, Чирков вышел в коридор.

Наконец он добрался до двери с табличкой «В. А. КОЗИНЦЕВ, ДИРЕКТОР». Чирков постучал, из-за двери донеслось бурчание, он открыл дверь, вошел. И в мгновение ока перенесся из морга в студию скульптора. На одном столе рядом с кипящим самоваром лежали мешочки с разноцветной пластичной глиной. В центре кабинета, освещенного люстрой, которая висела над Бассейном, директор Козинцев, с аккуратно подстриженной бородкой и в круглых очках, одетый в халат, работал над бюстом лысого мужчины. Работал одной рукой, длинные пальцы осторожно вдавливались в щеки. В другой руке он держал стакан с чаем. Отпил и тут же покачал головой, недовольный результатом. Мгновенно приняв Чиркова за своего, Козинцев попросил помочь ему вернуться в исходную точку. Поставил стакан на стол и закатал рукава. А потом в четыре руки они сжали мягкое лицо и потянули. Глина сползла, обнажив череп. Стеклянные глаза, удерживаемые в глазницах шариками из мятых газет, буквально загипнотизировали Чиркова. Он вспомнил, что слышал про директора: в Советском Союзе В. А. Козинцев был одним из самых известных специалистов по пластической реконструкции. Именно он работал с черепами, принадлежащими, согласно результатам многочисленных экспертиз, членам королевской семьи. Он воссоздавал лица первобытных людей, жертв насилия, Ивана Грозного.

Чирков доложил, что прибыл для выполнения служебных обязанностей, и директор предложил ему найти ка-

кое-нибудь полезное занятие. Выглядел Козинцев подавленным: трехдневные труды пошли прахом. Он объяснил, что одного черепа для восстановления лица недостаточно. Необходимы косвенные признаки, указывающие на взаиморасположение мышц и тканей. Объясняя Чиркову нюансы своего творчества, Козинцев скатал сигарету, сунул в рот. Похлопал по карманам в поисках спичек. Чирков понял, что Козинцев реализует очередной исторический проект под патронажем Министерства культуры. Проект, никак не связанный с основной деятельностью Курорта (тут пытались определить происхождение и способности американов), но привлекающий внимание и позволяющий выбить средства. И пока директор, глубоко затягиваясь, листал анатомический атлас, Чирков разлеплял кусочки разноцветной глины и раскладывал их на столе. Отдельно под стеклянным колпаком стоял «болван» с надетым на него черным париком, бровями, усами и бородой. Они должны были пойти в дело после того, как череп обрел бы свое лицо. Чирков спросил, чей это череп, и Козинцев небрежно ответил, что Григория Распутина. Пожаловался, что возникли проблемы с изготовлением точной копии глаз. Современники писали, что глаза у Распутина были сине-стальные, а зрачки превращались в точку, когда их владелец пытался в чем-то убедить своего собеседника. Или собеседницу. Чирков вновь посмотрел на череп и не увидел ничего особенного.

Каждый вечер ровно в девять часов директор проводил совещание. Присутствовали все сотрудники Курорта, включая Чиркова. Он поселился в этом же здании, в маленькой комнатке на верхнем этаже, приспособив под кровать массажный стол. Поскольку кормили его, пусть и не регулярно, в кафетерии, у Чиркова отпала всякая необходимость покидать Курорт. Достаточно быстро Чирков вошел в курс дела. Узнал, что начальник охраны — капитан Жаров, который с большей радостью патрулировал бы ули-

цы, но выбитое колено привело его на Курорт, а заместитель Козинцева и главный коронер — доктор Федор Дудников, знаменитый эксперт-криминалист, который консультировал полицию при расследовании многих политических убийств. Теперь же, когда в исследованиях, проводимых на Курорте, сменились ориентиры, его обширные знания оставались невостребованными. Текучка директора не интересовала, поэтому всеми делами на Курорте заправляли Любашевский, администратор, присланный из Министерства сельского хозяйства, и Толубеев, который справлялся с организацией охраны и снабжения куда лучше Жарова.

Девушка Чиркова, Валентина, несмотря на молодость, пользовалась на Курорте авторитетом. Она исследовала американов и на каждом совещании докладывала о достигнутых за день результатах. Суть ее открытий зачастую оставалась непонятной даже для коллег, но она верила, что американы — не просто ожившие мертвяки. Проводимые ею вскрытия показывали, что во многом американы функционируют, как обычные живые существа. Во всяком случае, их мышцы приспосабливались к новому состоянию, пусть тело и освобождалось от лишних тканей и кожи. Она привязалась к этим тихим, спотыкающимся созданиям и высказала предположение, что со временем американы становятся сильнее. Валентина все более склонялась к мнению, что американы — не ходячие покойники, а совершенно новый вид разумных существ, имеющий свои сильные и слабые стороны. На каждом совещании Валентина жаловалась, что для продолжения исследований мертвых тел недостаточно и для настоящего прорыва необходимы эксперименты с «живыми» мертвяками. Она представила рисунки с ее видением эволюции американов: скелеты, обтянутые мышцами, прямо-таки иллюстрации из анатомического атласа.

Ведущим оппонентом Валентины выступал А. Тарханов, утверждавший, что ее теории ведут в тупик. По его мнению, Курорту следовало сконцентрировать усилия на

выявлении бактериологического агента, ответственного за оживление мертвецов, с тем чтобы найти средство его уничтожения. Тарханов, член партии, настаивал на том, что они столкнулись с феноменом, созданным американскими специалистами по генной инженерии. Он с горечью говорил о том, сколь щедро финансируются капиталистическими картелями эти создатели чудовищ, жаловался на то, что от советской бюрократической машины ничего похожего ждать не приходится. Вот в этом вопросе между Валентиной и Тархановым царило полное взаимопонимание: оба в один голос твердили, что для их исследований катастрофически не хватает средств. Поскольку на этих совещаниях всем приходилось сидеть на полу (лишь директор Козинцев, скрестив ноги, устраивался на столе), предметом первой необходимости стали стулья, хотя ученые давно уже представили администрации длинные списки медицинских препаратов и инструментов, без которых они не могли продолжать работу. На все жалобы ученых у Любашевского был стандартный ответ: он зачитывал свой список, в котором указывались заявки, первичные и повторные, отправленные в соответствующие правительственные департаменты. На третьем для Чиркова совещании всеобщее оживление вызвало сообщение Любашевского о том, что Комитет гражданской обороны прислал на Курорт пятьдесят пять детских одеял. Одеяла они не заказывали, но Голубеев предложил провести бартерную сделку с детской больницей: отдать одеяла, получив взамен или овощи, или медицинские инструменты.

На том же совещании капитан Жаров доложил, что его люди успешно отразили попытку вторжения. Двух американов обнаружили на заре. Они сумели преодолеть скользкие ступени и стояли у парадных дверей, словно чего-то ждали. Один — у самых дверей, второй — ступенькой ниже. Словно в очереди. Жаров лично разделался с обоими, всадив в затылок каждому по пуле, а потом распорядился отвезти останки на сборный пункт, чтобы потом их вер-

нули на Курорт для исследований. Валентина тут же зачитала, что американов следовало взять в плен и запереть в отдельной комнате, к примеру в парной, для последующего наблюдения. В ответ Жаров процитировал пункты действующего приказа. Под занавес совещания Козинцев прочитал большую лекцию о Распутине, обосновав собственную версию о том, что духовный наставник последней царицы был далеко не сумасшедшим, как утверждало общественное мнение, и его влияние на царскую семью в немалой степени способствовало успеху революции. С особым энтузиазмом он говорил о приписываемых Безумному Монаху способностях исцелять больных, о его знаменитых руках, которые могли останавливать кровь у страдающего гемофилией царевича. По его твердому убеждению, Распутин был экстрасенсом. Причем очень сильным экстрасенсом. Но даже Чирков полагал, что это не более чем домыслы, особенно после того как директор признал, что очередная попытка реконструировать лицо Распутина не принесла успеха.

Вместе с Толубеевым он заступил на вахту в последнюю ночную смену, с трех часов ночи до девяти утра. В этот период часовые оставались в вестибюле, не выходя на улицу. Капитан Жаров и Любашевский никак не могли определиться с Чирковым, не знали, считать ли его солдатом или лаборантом. Поэтому ему приходилось выполнять обязанности и первого, и второго, иногда одновременно. Солдату после ночной вахты полагался сон, лаборанту предписали ровно в девять явиться к Козинцеву. Чирков особо не возражал: если привыкнуть к трупам, полагал он, на Курорте очень даже интересно. Тем более что здесь трупы *были* трупами. И пусть по личным причинам он всегда вместе с двумя другими учеными и поваром голосовал за предложение техника Свердловой привести на Курорт американов, его радовало, что всякий раз она оставалась в меньшинстве. Толубеев — бабушка у него была молдаван-

кой — постоянно рассказывал истории о вурдалаках и василисках и знал множество новых анекдотов. У Толубеева выходило, что все американы при жизни были членами партии, потому-то многие носили добротную одежду и имели при себе дорогие товары далеко не первой необходимости. Последним хитом среди мертвяков стали кассетные плееры с наушниками, причем не американского производства, а японского. Толубеев собрал целую коллекцию этих штуковин, позаимствованных у американов, которым размозжили головы; другие солдаты брезговали копаться в серовато-розовом желе. Сожалел Толубеев о том, что мертвяки не таскали с собой видеоплееров. Если бы у них появилась такая привычка, говорил он, сотрудники Курорта стали бы миллионерами не рублевыми, а долларовыми. У многих мертвяков находили иностранную валюту. Тарханов даже высказал гипотезу, что именно в деньгах содержался бактериологический агент, вызывающий это невиданное доселе заболевание, и через них и распространялась эпидемия. Толубеев никогда не снимал перчаток, а потому гипотезы Тарханова не вызывали у него тревоги.

Толубеев как раз распространялся о том, как весело бы они зажили, имея в своем распоряжении видеоплееры, когда раздался стук в дверь. По ней не барабанили, как бывало, если кто-то хотел войти. Нет, стукнули один раз, словно что-то случайно ударилось о дубовую панель. В тот же самый момент магнитофон Толубеева, радовавший слух новой аранжировкой мелодии Криденса Клиаутотера «Спустившееся с неба», вдруг замолчал. Толубеев попытался вынуть кассету, но оказалось, что машина ее зажевала. Сержант выругался: пленки были куда в большем дефиците, чем кассетники. Часы показывали половину пятого. Москва спала. Хотя шума хватало: завывал ветер, наверху кто-то надсадно кашлял, издалека доносились выстрелы. Чирков взвел курок револьвера, надеясь, что под ударником есть патрон, надеясь, что осечки не будет, надеясь, что патрон настоящий — не холостой. Стук повторился, такой же как

и первый. Просто стук, не несущий в себе требования открыть дверь. Толубеев приказал Чиркову выглянуть в глазок. Ему с трудом удалось сдвинуть латунную закрылку и приникнуть глазом к глазку.

Лицо мертвяка находилось по самому центру глазка. Пожалуй, впервые Чиркову пришла мысль о том, что американов-то можно и испугаться. На этот раз он с трудом разглядел в темноте пустые глазницы и постоянно жующий рот. На шее висело несколько фотоаппаратов и шелковый шарф с нарисованной на нем обнаженной женщиной. Чирков доложил об увиденном Толубееву, которого живо заинтересовали фотоаппараты. Он предложил открыть дверь, чтобы Чирков пустил пулю в голову американа. Толубеев не сомневался, что уж фотоаппараты они точно обменяют на стулья. А добыв стулья, они станут героями Курорта, имеющими права на определенные привилегии. Чирков хоть и сомневался в собственной храбрости, но согласился, и Толубеев принялся отодвигать засовы. Когда двери держали только руки Толубеева, вцепившиеся в ручки, Чирков кивнул, сержант потянул двери на себя и отступил в сторону. Чирков шагнул вперед, поднял револьвер и нацелил его американу в лоб.

Мертвяк пришел не один. Толубеев выругался и побежал за винтовкой. Чирков не стрелял, переводя взгляд с одного мертвого лица на другое. Четверо стояли друг другу в затылок, по одному на каждой ступеньке. За «фотографом» — мужчина в офицерской форме, с медалями на груди. Далее женщина в костюме в полоску и гангстерской шляпе. Последней — девочка в бейсболке, с золотыми волосами и зеленым лицом, тащившая за собой куклу. Толубеев вернулся, вставляя в винтовку обойму. Вскинул ее к плечу. Но тоже не выстрелил, поскольку не прочитал на лицах мертвяков никакой угрозы. Дул холодный ветер. Должно быть, от него по коже Чиркова побежали мурашки. Ему-то постоянно твердили, что американы всегда набрасываются на людей. Эти же стояли, чуть покачиваясь,

словно заснули на ногах. Глаза девочки смещались справа налево, а потом слева направо, как маятник. Чирков шепотом попросил Толубеева вызвать кого-нибудь из ученых, лучше всего Валентину. Когда сержант ретировался, вспомнил, что у него только три патрона, которых явно не хватит на четверых американов. Он отступил от дверного проема, не сводя с мертвяков глаз, и захлопнул двери. Ребром ладони задвинул пару затворов. Выглянув в глазок, увидел, что ничего не изменилось. Мертвяки по-прежнему стояли в очереди.

Спустилась Валентина в длинном, до пят, халате, наброшенном поверх пижамы. Босиком. Она же отморозит ноги, обеспокоился Чирков. Толубеев рассказал о ночных гостях, и Валентине пришлось напомнить ему о рапорте капитана Жарова. Эти американы вели себя точно так же, как и прошлой ночью: спокойно стояли в очереди. Она откинула волосы со лба и прильнула к глазку. Радостно вскрикнула, подозвала Чиркова, указала, куда надо смотреть. Взглянув поверх очереди, Чирков увидел бредущую к Курорту пятую фигуру. Этот мертвяк как-то странно загребал ногами, словно шел в ластах. Он пристроился в затылок девочке. Совершенно голый, разложившийся до такой степени, что отвалился половой орган. Скелет, кости которого сцепляли воедино лишь полоски мышц, напоминавшие мокрую кожу. Валентина сказала, что для изучения она взяла бы именно его, но ей нужен и кто-то еще. Толубеев напомнил ей о нестандартности ситуации и спросил, почему мертвяки выстраиваются в очередь на ступеньках Курорта. Валентина начала что-то говорить об остаточном инстинкте. Это, мол, горожане, которые при жизни долго и часто стояли в очередях, а у мертвяков, похоже, сохраняются какие-то остатки памяти, иначе они не копировали бы поведение живых людей, вот они и выстраиваются в очередь. Толубеев согласился помочь ей в захвате подопытных кроликов, но предупредил, что они должны проявить предельную осторожность и, не дай бог, не по-

вредить фотоаппараты. Он и Валентине сказал, что они могут стать миллионерами.

Валентина держала толубеевскую винтовку, как и положено солдату, прижавшись щекой к прикладу, направив ствол на мертвяков. Она стояла в дверном проеме, прикрывая Чиркова и Толубеева. Толубеев взял на себя «фотографа». Чиркову предстояло провести на Курорт ходячий скелет, хотя тот стоял последним в очереди, а в Москве попытка пролезть без очереди считалась куда более тяжким преступлением, чем матереубийство. Толубеев принес несколько холщовых мешков. Они решили сначала надеть мешок на голову американу, а уж потом заводить мертвяка в вестибюль. Толубеев ловко накинул свой мешок на «фотографа», затем веревкой начал связывать запястья рук. Из-под веревки на перчатки сержанта закапала зеленовато-красная жижа. Очередь бесстрастно наблюдала за манипуляциями Толубеева. И когда тот завел свою жертву в вестибюль, за дело принялся Чирков.

Начал спускаться к ступеньке, на которой стоял скелет, с раскрытым мешком в руках. Все американы скашивали на него глаза, когда он проходил мимо, в какой-то момент его охватила паника, он поскользнулся и упал, ударившись бедром о твердый край. С криком заскользил вниз. Грохнул выстрел, и маленькая девочка, которая выступила из очереди и заковыляла к Чиркову, осела на ступеньку, лишившись половины головы: Толубеев стрелял без промаха. У подножия лестницы Чирков поднялся. Горячая боль растеклась по бедру, бок онемел. Он огляделся. Еще три фигуры брели к Курорту. Чирков взлетел по ступенькам, забыв о покрывающей их ледяной корке. Лишь на секунду замедлил ход, чтобы схватить скелет за локоть и потащить за собой. Тот не сопротивлялся. Мышцы, как змеи, обвивали кости. Он втолкнул скелет в вестибюль, где их поджидал Толубеев со своей веревкой. Чирков повернулся и успел бросить короткий взгляд на площадь, когда Валентина уже закрывала двери. Американы все подходили.

Новые мертвяки стояли на ступеньках, которые чуть раньше занимали скелет и девочка, за ними пристроились две или три фигуры. Прежде чем окончательно закрыть двери, Валентина в щелочку оглядела очередь. Мертвяки стояли спокойно. А потом, словно по команде, все поднялись на ступеньку. Офицер занял место «фотографа», соответственно продвинулись и остальные. Валентина захлопнула двери, Чирков задвинул засовы. После этого техник Свердлова приказала отвести подопытных кроликов в парную.

На завтрак дали половину репки, на удивление свежей, пусть и прихваченной морозцем. Грызя ее, Чирков вышел из кафетерия и спустился в Бассейн, чтобы доложить о своем прибытии директору. Он полагал, что на вечернем совещании Валентина сама сообщит о подопытных кроликах, сидящих в парной,— не его дело распространять сплетни. Появившись в кабинете раньше директора, Чирков первым делом принялся кочегарить самовар: Козинцев жить не мог без горячего чая. Когда он поднес спичку к щепочкам, для растопки, сзади кто-то словно щелкнул каблуками. Он огляделся, но не увидел ничего необычного. Те же глина, парик, инструменты, череп, ящики, выполнявшие роль стульев. Щелчок повторился. Чирков вскипул глаза на люстру. И с ней ничего не изменилось. Самовар раскочегарился, забулькала вода. Чирков жевал репу и старался не думать о сне и американах.

Это утро Козинцев опять намеревался начать с реконструкции. Череп Григория Ефимовича Распутина буквально исчез под глиняными полосками. И очень походил на голову американа, которого Чирков вытащил из очереди, широкие красные полоски поддерживали челюсти, ныряя в дыры под скулами, фарфоровые фишки заменяли отсутствующие зубы, белея на серовато-желтом фоне, тоненькие волокна окружали глаза. Чиркову нравилось наблюдать за манипуляциями директора. На одной из полок лежала

стопка фотографий Монаха, но Козинцев не любил сверяться с ними. Его метод пластической реконструкции отталкивался от контуров костей, поэтому он не стремился добиться схожести с фотографиями. Крестьянский нос картошкой Распутина совсем его замучил. Хрящи давно сгнили, вот Козинцев менял и менял носы. Несколько, упавших на пол и раздавленных, превратились в глиняные кляксы. После революции фанатики вытащили тело целителя душ из могилы и вроде бы сожгли. И существовали серьезные сомнения, решительно отметаемые директором, а над распутинским ли черепом он работал?

На глазах у Чиркова челюсть Распутина отвисла, натягивая глиняные мышцы, а потом резко поднялась, так что клацнули зубы. Чирков подпрыгнул, с губ сорвался нервный смешок. Прибыл Козинцев. Сбросил пальто, надел халат, поздоровался, потребовал чаю, Чирков пребывал в полном замешательстве, гадая, а не пригрезилось ли ему случившееся. Череп вновь клацнул зубами. Козинцев движение уловил, снова потребовал чаю. Чирков, выйдя из ступора, подал ему полную чашку. Потом, впервые, налил чаю и себе. Козинцев не стал комментировать столь вопиющее нарушение субординации. Он с интересом вглядывался в оживающий череп. Челюсть медленно двигалась из стороны в сторону, словно череп что-то пережевывал. Чирков задался вопросом, а уж не его ли копирует Григорий Ефимович, и перестал жевать репку. Козинцев указал, что и глаза пытаются двигаться, но глине не хватает силы настоящих мышц. И начал рассуждать вслух, а не добавить ли ему нитей, чтобы имитировать строение человеческой плоти, хотя в пластической реконструкции такое и не принято. Рот Распутина широко раскрылся, словно в молчаливом крике. Директор поднес палец к черепу и торопливо отдернул, за мгновение до того, как щелкнули челюсти. Радостно рассмеялся и назвал монаха забавным типом.

Очередь по-прежнему стояла на ступеньках. Сотрудники Курорта по одному приникали к дверному глазку. Толубеев каждый час докладывал о сокровищах, навешанных на американах. Он клялся, что засек на одном драгоценнейший видеоплеер: Толубеев где-то раздобыл кассеты с фильмами «101 далматинец» и «Звездные шлюхи», но никак не мог их просмотреть. Капитан Жаров настаивал на том, чтобы расстрелять мертвяков, но Козинцев, поглощенный наблюдениями за черепом, не отдавал соответствующего указания, а офицер мог решиться на столь серьезные действия, лишь получив прямой приказ, предпочтительнее в письменном виде. Ради эксперимента он вышел на лестницу, спустился на несколько ступенек, наугад выбрал американа и прострелил ему череп. Тот, словно мешок с костями, вывалился из очереди. Жаров пнул останки, и труп, разваливаясь, катился вниз, пока не застрял в сугробе. После короткой паузы очередь передвинулась на одну ступеньку. Валентина была в парной со своими «подопытными кроликами». Новости о ее приобретении распространялись по Курорту, вызывая оживленные дискуссии. Тарханов заявился к директору, чтобы пожаловаться на коллегу, которая явно превысила свои полномочия, но ничего не успел сказать, потому что Козинцев пригласил его принять участие в изучении удивительного черепа. Доктор Дудников несколько раз позвонил в Кремль, сообщив о происходящих на Курорте и вокруг него событиях мелкому функционеру, который пообещал немедленно дать ход этой важной информации. Дудников надеялся, что тем самым удастся переориентировать на Курорт материально-технические ресурсы, которые шли в другие научные учреждения. Побудительный мотив оставался прежним: «Стулья для Курорта!»

Во второй половине дня Чирков задремал стоя, наблюдая за Козинцевым. Хотя челюсть продолжала двигаться, череп не проявлял агрессивности и более не пытался укусить директора. Тот реквизировал у Толубеева варган и вста-

вил его между шейных мышц в надежде, что варган сыграет роль примитивных голосовых связок. Распутин тем временем научился управлять своими невидящими глазами. Чиркову особенно не нравилось, когда он закатывал нарисованные зрачки под самый лоб, оставляя на обозрение лишь белки. Чирков знал, какие невероятные усилия потребовались, чтобы убить этого человека. Яда, которого скормили ему убийцы, хватило бы, чтобы уложить слона. Потом ему стреляли в грудь и спину, пинали в голову, били дубинкой и, наконец, завернутого в портьеру, бросили в прорубь. На черепе, кстати, Козинцев нашел отметину от аристократического пинка. Но людям убить Распутина не удалось: он умер, захлебнувшись ледяной водой. Работая, Козинцев напевал какую-то веселенькую мелодию, сочиненную Прокофьевым. Чтобы чем-то занять рот, он сунул между зубов сигарету. Директор пообещал Григорию Ефимовичу, что скоро у него появятся губы, но вот с легкими ничего не мог поделать. Он поделился с черепом (а заодно и с Чирковым) своей тайной мечтой: перенести предложенный им метод пластической реконструкции на весь скелет. К сожалению, как Распутин предрекал еще при жизни, большая часть монаха превратилась в пепел, который разнесло ветром.

Любашевский влетел в кабинет директора с телефонным аппаратом. Шнур протянулся сквозь лабиринт коридоров Бассейна, словно нить Ариадны. Звонили из Кремля. Чирков и Любашевский инстинктивно вытянулись в струнку, пока Козинцев вел задушевную беседу с Генеральным секретарем. То ли Дудников позвонил кому следовало, то ли Тарханов, которого все держали за осведомителя, стукнул в КГБ, но Генеральный секретарь оказался в курсе событий. Он похвалил Козинцева и обещал выделить для морга дополнительные ресурсы. У Чиркова сложилось впечатление, что Генеральный секретарь перепутал два проекта: Козинцева хвалили за исследования Валентины. Директора же обещание выделить дополнительные ресурсы

только порадовало: он мог использовать их для продолжения работы с черепом.

После телефонного разговора директор, естественно, пребывал в превосходном настроении. Он сообщил черепу, что они на пороге величайшего открытия, и требовал от Любашевского, чтобы тот услышал едва слышное звяканье варгана. Григорий Ефимович пытается с ними говорить, уверенно заявлял Козинцев. Спросил, помнит ли тот, как ел отравленный шоколад. После того как задвигалась челюсть Распутина, Козинцев прилепил к черепу глиняные уши. Оставив надежду оживить монаха, он пытался снабдить его органами чувств. Поскольку мозг Распутина сгнил или сгорел, оставалось загадкой, чего добивался директор, как, собственно, должны были функционировать эти органы. А потом доктор Дудников доложил по громкой связи, что Курорт окружен солдатами, которые закладывают взрывчатку и собираются взорвать здание. Григорий Ефимович вновь закатил глаза.

Саперы уже устанавливали заряды в вестибюле. В здание они вошли через черный ход, не столкнувшись с очередью американов, выстроившейся на лестнице, которая вела к парадной двери. Очередь все удлинялась. Командир саперов, толстяк с родимым пятном на лице (пятно это придавало ему сходство со спаниелем), представился майором Андреем Кобулинским. Он внимательно следил за работой своих подчиненных, гордо заявив, что его люди сровняют любое здание с землей, затратив минимум взрывчатых веществ. Кружа по вестибюлю и коридорам, Кобулинский указывал, куда должно поставить дополнительные заряды. На взгляд Чиркова, майор сам себе противоречил: его люди буквально обклеили стены семтексом*. Доктор Дудников запротестовал, ссылаясь на Генерального секретаря, который лично признал, что Курорт проводит важные иссле-

* Вид пластиковой взрывчатки.— *Примеч. пер.*

дования по ликвидации вторжения американов, но Кобулинского куда больше интересовали колонны, которые следовало подорвать, чтобы обрушить расписанный декадентами потолок. Работая, саперы напевали модную песенку «Девочки просто хотят поразвлечься».

Убедившись, что все заряды установлены в указанных им местах, майор Кобулинский не отказал себе в удовольствии прочитать собравшимся короткую лекцию об уже достигнутых и еще планирующихся успехах проводимой им кампании. На полу расстелили карту Москвы площадью три квадратных ярда. Тут и там на карте краснели квадраты. Каждый являл собой целый квартал или отдельный дом, взорванный саперами Кобулинского. Чирков понял, что майор не успокоится, пока на карте не останется только один цвет — красный. Тогда, по мнению Кобулинского, и кризису придет конец. Он заявил, что сделать это следовало еще в самом начале кризиса и американов надо только благодарить за то, что руководство страны перешло от слов к делу. Пока майор разглагольствовал, Толубеев и Любашевский — их активность не укрылась от Чиркова — пытались найти что-то пишущее в ящиках стола. Копались в куче ручек, мелков и маркеров, пробовали их на куске туалетной бумаги. Под столом кучей лежали динамитные шашки с вставленными в них детонаторами. Кобулинский взглянул на часы и сообщил, что они опережают график: взрыв грянет через полчаса. Любашевский поднял руку, чтобы привлечь к себе внимание майора, и выразил сомнение в том, что взрывчатки, уложенной под парадную лестницу, хватит для подрыва столь мощной конструкции. Поначалу Кобулинский грубо посоветовал тому не лезть не в свое дело, но потом прогулялся к лестнице, проверил установленные под ней заряды, решил, что кашу маслом не испортишь, и приказал установить еще пару десятков динамитных шашек.

Пока Кобулинский крутился у лестницы, Толубеев подкрался к карте, уперся коленями в Красную площадь, на-

клонился и красным фломастером замазал Курорт, расширив зону, в которой уже прогремели взрывы. Когда же Кобулинский вернулся к карте, Толубеев находился в другом конце вестибюля. Один из саперов, с новенькими наушниками, болтающимися на шее, указал майору на картографическую аномалию. Кобулинский соблаговолил посмотреть на карту, и глаза у него медленно вылезли из орбит. Карта однозначно указывала, что с Курортом его подразделение уже разобралось и на самом деле это не здание, а груда кирпичной и мраморной крошки. Другой сапер, с бейсболкой в заднем кармане брюк, достаточно убедительно припомнил, что три дня тому назад они минировали Курорт. Кобулинский вновь посмотрел на карту, опустился на четвереньки, пополз по улицам и площадям Москвы. Почесал затылок, потрогал родимое пятно. Директор Козинцев, сложив руки на груди и гордо вскинув голову, заявил, что для него вопрос закрыт, и потребовал от саперов немедленно убрать взрывчатку с вверенной ему территории. Кобулинский имел разрешение только на однократный подрыв Курорта и, согласно карте, уже произвел сие деяние. Повторить операцию он мог лишь на основании нового разрешения, а если такое разрешение будет затребовано, возникнут сомнения в эффективности подразделения Кобулинского: обычно саперы управлялись со зданием за один раз. Чуть ли не в слезах, сбитый с толку, майор приказал разминировать Курорт. С отеческой нежностью аккуратно сложил карту, убрал ее в кожаный чехол. Не принеся извинений, саперы отбыли.

В ту ночь американы Валентины выбрались из парной, и сотрудники целых три часа разыскивали их по всему Курорту. Чирков и Толубеев обследовали Бассейн. Электроэнергию вновь отключили, так что пришлось пользоваться керосиновыми лампами, которые не столько освещали, сколько нагоняли страха. Движущиеся тени нависали со всех сторон, что-то злобно шептали по-молдавски, словно

голодные хищные твари. На быстрый успех рассчитывать не приходилось. Сначала они обошли Бассейн поверху, поднося лампы к самому бортику, но большая часть Бассейна оставалась в чернильной тьме. Потом спустились по лесенке у Глубокого Конца и начали методично обследовать лабиринт, протискиваясь меж деревянных перегородок, натыкаясь на расчлененные трупы, целясь в вешалки для шляп. Толубеев без умолку шептал японскую молитву, охраняющую от мертвых: «*Санио, сони, сейко, мицубиси, панасоник, тошиба...*»

Наконец они добрались до середины Бассейна. Американы стояли в кабинете Козинцева и таращились на обмазанный глиной череп, словно видели перед собой цветной телевизор. Распутин стоял на подставке. Черное покрывало, наброшенное сверху, походило на волосы. Нервы Чиркова сочетания Распутина и американов не выдержали. Он вскинул револьвер и прострелил одному скелету голову. Грохот выстрела едва его не оглушил. Скелет повалился на пол. Когда к Чиркову вернулся слух, в Бассейн сбежались остальные сотрудники. Директора Козинцева более всего волновала сохранность черепа. Он ощупал его руками и облегченно вздохнул, убедившись, что Григорий Ефимович не пострадал. Валентину рассердила потеря одного «подопытного кролика», но она благоразумно держала язык за зубами, потому что второй американ повел себя безобразно. Вывалился из кабинета, раздвигая перегородки, переворачивая столы. Тарханов в шелковом халате оказался у него на пути, вовремя не отошел в сторону, и американ кусанул ему плечо. Далеко он, конечно, не ушел. Толубеев заплел ему ноги рукояткой топора, затем уселся американу на грудь и вогнал скальпель в переносицу. Американ ничем не подтвердил гипотезу Валентины. Пребывая в ожившем состоянии, мертвяк не эволюционировал: продолжал разлагаться. Но Валентина тем не менее утверждала, что американ, убитый Чирковым,— модель биологической эф-

фективности, отринувшая все лишнее, а потому потенциально бессмертная. Теперь, однако, американ больше напоминал груду костей.

Даже Козинцева, который прилаживал деревянные руки своему ожившему любимцу, обеспокоила растущая очередь американов. Она змеей извивалась по площади. Американы постоянно переминались с ноги на ногу, словно грели замерзающие ступни. Капитан Жаров установил в вестибюле пулемет, нацеленный на заложенные бревнами двери. Пока пулемет лишь служил элементом устрашения, потому что ленты с патронами соответственного калибра на Курорте отсутствовали. Чирков и Толубеев наблюдали за американами с балкона. В очереди царил железный порядок. Лишь когда кто-то из американов, совсем уже разложившийся, выпадал из очереди, стоявшие сзади продвигались на шаг. Толубеев разглядывал мертвяков в бинокль и составлял список сокровищ, которые надлежало реквизировать. Мобильные телефоны, электронные часы, синие джинсы, кожаные пиджаки, золотые браслеты, золотые зубы, шариковые ручки. Площадь превратилась в рай для карманников. Когда спустилась ночь, Чирков и Толубеев увидели, что окна не светятся даже в Кремле.

Наконец подачу электроэнергии восстановили. По радио на полицейской волне транслировали успокаивающую музыку из «Лебединого озера». На совещании собралось гораздо меньше народу, чем обычно, и Чирков вдруг понял, что часть сотрудников дезертировала. Доктор Дудников объявил, что никому не может дозвониться. Любашевский доложил, что угроза подрыва Курорта снята и едва ли возникнет вновь, но возникла новая опасность: учреждение, стертое с лица земли, могли лишить довольствия. На кухню поступила партия свежей рыбы. Оставшиеся сотрудники очень оживились, пропустив мимо ушей слова шеф-повара о том, что многие рыбины продолжают бить плавниками и прекрасно себя чувствуют на свежем воз-

духе. Валентина уже в сотый раз потребовала выделить ей для исследований живых мертвяков. Но голосование, пусть на этот раз сторонников Валентины и прибавилось, показало, что ее идеи еще не овладели массами. Козинцев официально известил всех о самоубийстве Тарханова, и собравшие почтили память коллеги, пусть и стукача, который докладывал в органы о каждом их шаге, минутой молчания. Толубеев предложил организовать вылазку на площадь, чтобы освободить стоящих в очереди американов от сокровищ, незаменимых для бартера. Никто не вызвался составить ему компанию, отчего сержант заметно погрустнел. Закрывал совещание, как и ожидалось, Козинцев. Реконструкция Григория Ефимовича продвигалась успешно. Руки с помощью простейших шарниров удалось прикрепить к подставке, на которой стоял череп. Глиняно-нитяные мышцы уже тянулись от лица к шее. Голова научилась управлять руками. Вытягивала их и напрягала мышцы запястьев, словно хотела сжать еще не существующие кулаки. Особенно вдохновляли директора звуки, которые практически непрерывно издавал варган. Хотя он и не мог сказать, музыка это или рудиментарная речь. Продемонстрировал череп и целительные способности: гайморит, которым страдал Козинцев, бесследно исчез.

Двумя днями позже Толубеев пустил американов в здание. Чирков не знал, кто подсказал сержанту такую мысль. Он просто поднялся из-за пулемета, подошел к дверям и начал откидывать бревна. Чирков не пытался его остановить, занятый совсем другой проблемой: как вставить в пулемет не подходящую к нему ленту. Тем временем Толубеев справился с бревнами, отодвинул засовы и распахнул двери. Первым, еще с того самого момента, как они завели в Курорт двух мертвяков, стоял офицер. Все это время лицо его продолжало разлагаться. Плоть слезала со скул, мешками набираясь на челюстях. Офицер, печатая шаг, двинулся в вестибюль. Любашевский, который спал на

кушетке, придвинутой к столу, поднялся, чтобы посмотреть, что происходит. Толубеев сорвал с груди офицера несколько медалей, две-три достаточно ценные сунул в карман, остальные бросил на пол. Офицер, прихрамывая, направился к лифту. За офицером в вестибюль вошла женщина в костюме в полоску. Толубеев снял с нее шляпу и нахлобучил себе на голову. У следующих американов Толубеев позаимствовал серебряный идентификационный браслет, кожаный пояс, карманный калькулятор, старую брошь. Добычу он складывал на полу за своей спиной. Американы заполняли вестибюль, выстраиваясь треугольником, вершиной которого являлся офицер.

Чирков предположил, что теперь мертвяки уж точно его съедят, и пожалел о том, что не попытался забраться в постель к технику Свердловой. В револьвере оставалось два патрона, то есть он мог уложить одного американа, прежде чем уйти из этого беспокойного мира. Выбирать было из кого, но ни один не проявил к нему ни малейшего интереса. Кабина лифта ушла вниз, а те, кто не вместился в нее, обнаружили лестницу. Их всех тянуло в подвал, к Бассейну. Толубеев по-прежнему продолжал собирать дань. Одних мертвяков хлопал по плечу, предлагая добровольно расстаться со своими богатствами, с других, которые выглядели совсем смирными, сдирал то, что ему нравилось. Любашевский пришел в ужас, глядя на толпу американов, но ничего не предпринял. Потом сообразил, что решение в такой ситуации может принимать только начальство. И попросил Чиркова рассказать Козинцеву о происходящем в вестибюле. Чирков резонно предположил, что директор сейчас в Бассейне, возится с черепом Распутина, а потому текущие события скоро перестанут быть для него тайной, но тем не менее начал пробираться сквозь толпу, с трудом подавляя желание извиниться за те толчки, что доставались мертвякам. Американы, в принципе, и сами расступались перед ним, поэтому скоро он уже обогнал толпу и с криком «Американы идут!» подбежал к бортику

Бассейна. Исследователи подняли головы, он увидел, как раздраженно сверкнули глаза Валентины, и подумал, что, наверное, уже поздно говорить с ней о сексе. Толпа мертвяков накатывала на Чиркова, прижимая его к кромке Бассейна. Он спрыгнул вниз, благо находился на Мелком Конце, и поспешил к кабинету Козинцева. Многие перегородки уже снесли, так что к директору вела широкая дорога. Валентина надула губки, взглянув на него, но тут же ее глаза широко раскрылись: она увидела ноги, окружающие Бассейн. Американы посыпались вниз, круша столы и трупы, многие, упав, уже не могли подняться. Однако самые крепкие продолжали продвигаться к цели, затаптывая и оттесняя техников. Люди кричали, по дну Бассейна текла кровь. Чирков выстрелил не глядя: пуля оторвала ухо у бородатого мертвяка в поношенном костюме. Потом повернулся и бросился к кабинету Козинцева. Влетев в кабинет, подумал, что директора нет, но потом понял, что ошибся. Уйдя с головой в работу, В. А. Козинцев соорудил деревянный каркас, который установил себе на плечи так, что голова стала сердцем нового тела, которое он сотворил для Григория Ефимовича Распутина. На голову, значительно прибавившую в размерах, спасибо глиняно-резиновым мышцам, директор уже нацепил парик и бороду. Появились на лице Распутина губы и кожа. Верхняя, деревянная, часть тела напоминала торс великана с огромными руками, но из-под него высовывались тоненькие ножки-спички директора. Чирков уж подумал, что такую громадину директор не выдержит, однако нет, он не падал, его даже не качало. Чирков посмотрел на гротескное лицо Распутина. Синие глаза сверкали, не стеклянные — живые.

Валентина, раскрыв рот, замерла рядом с Чирковым. Тот обнял ее и дал себе клятву, что при необходимости пуля, которую он оставил для себя, достанется ей. Он вдохнул аромат ее надушенных волос. Теперь они вдвоем смотрели на святого маньяка, который полностью подчинил себе женщину, а через нее и Европу, чтобы потом погу-

бить их обеих. Распутин коротко глянул на них, а потом перевел взгляд на американов. Они толпились вокруг, пилигримы, пришедшие в храм. Ужасная улыбка осветила грубое лицо. Вытянулась рука с ладонью-лопатой и пальцами, сотворенными из хирургических инструментов. Рука упала на лоб ближайшего из американов, офицера. Лицо мертвяка полностью исчезло под ладонью, пальцы охватили голову. Похоже, Григорию Ефимовичу хватало сил, чтобы расколоть череп, как яйцо, но пальцы лишь крепко обжимали его. Распутин вскинул глаза на люстру, из горла донесся долгий, монотонный, вибрирующий звук. Американ завибрировал, плоть и одежда посыпались с него, словно капустные листья. Наконец Распутин отпустил мертвяка. Теперь он напоминал скелет, который изучала Валентина, только выглядел куда более крепким и сильным. Он выпрямился во весь рост, потянулся. Хромота исчезла, поврежденный коленный сустав стал как новенький. Американ щелкнул зубами и огляделся в поисках свежего мяса. Второй американ занял его место под рукой Распутина. Григорий Ефимович излечил и его. А потом третьего, четвертого...

Томас Лиготти

ЭТА ТЕНЬ, ЭТА ТЬМА



ыло похоже, что Гроссфогель взял с нас грабительскую сумму за то, что предлагал. Некоторые из нас (всего нас было около двенадцати) винили себя и наш собственный идиотизм с той минуты, как мы оказались в этом месте, которое один опрятно одетый джентльмен тут же окрестил «Средоточием нигде». Тот же самый джентльмен, который несколько дней назад сообщил своим собеседникам, что он перестал писать стихи из-за отсутствия, как он считал, надлежащего преклонения перед его новаторской «герметической лирикой», а затем объявил место, где мы оказались, именно таким, какого нам следовало бы предвидеть и скорее всего именно таким, какое мы, идиоты и неудачники, вполне заслужили. У нас, объяснил он, не было ни малейших оснований ожидать чего-либо получше, чем мертвый городок Крэмптон в самой нигдешней области всей страны, да и всего мира, если на то пошло,— в самую унылую пору года, вклинившуюся между щедрой ослепительной осенью и тем, что обещает быть щедрой и ослепительной зимой. Мы в ловушке, сказал он, практически заперты в той области страны и всего мира, где в окружающем пейзаже налицо

© Перевод. И. Гурова, 2005.

все признаки этой унылой поры или, вернее, полное отсутствие каких бы то ни было признаков, где абсолютно все полностью ободрано до голого остова и где жалкая безличность форм в их неприкрытой наготе столь беспощадно бросается в глаза. Когда я указал, что гроссфогелевский проспект этой экскурсии, наименованной «физически-метафизической экскурсией», строго говоря, нигде прямо не вводил в заблуждение относительно цели нашей поездки, ответом мне были злобные взгляды соседей за нашим столиком, а также и сидевших за столиками вокруг в небольшой, почти миниатюрной, столовой, в которую втиснули всю нашу группу, под завязку набив зал любителями экзотики, которые, перестав на минуту-другую препираться, просто тупо смотрели в убийственной тишине на пустые улицы и полуразрушенные здания мертвого городка Крэмптон, видневшиеся в затуманенных окнах. Затем городок был язвительно назван «убогой бездной» — так выразился скелетообразный субъект, всегда представлявшийся «расстриженным академиком». Такое самообозначение обычно провоцировало вопрос о том, что, собственно, оно обозначает, после чего он пускался в подробные объяснения, как неспособность приспособить свое мышление к требованиям «интеллектуального базара», по его выражению, вкупе с неумением скрывать свои неортодоксальные изыскания и методики лишили его возможности получить пост в каком-нибудь пристойном академическом учреждении или любом другом учреждении, а также фирме. То есть он пребывал в убеждении, что его фиаско являются его высоким отличием, и в этом смысле он был типичен для всех нас — тех, кто сидел за несколькими столиками и у стойки этой миниатюрной столовой и жаловался, что Гроссфогель запросил с нас грабительскую сумму и в какой-то мере преувеличил в своем проспекте важность и смысл экскурсии в мертвый городок Крэмптон.

Вытащив из заднего кармана брюк мой экземпляр гроссфогелевского проспекта, я положил его перед тремя мои-

ми соседями по столику. Затем достал мои хрупкие очки для чтения из кармана старого джемпера под моим даже еще более старым пиджаком, чтобы еще раз проштудировать эти страницы и подтвердить подозрения, которые у меня возникли относительно их истинного смысла.

— Если вы имеете в виду мелкий шрифт...— начал мой сосед слева, фотограф-портретист, который обычно закашливался, стоило ему заговорить, как случилось и на этот раз.

— Мне кажется, мой друг собирался сказать следующее,— пришел ему на помощь мой сосед справа.— Мы стали жертвой аферы — и очень хитрой аферы. Я говорю от его имени, так как именно таков ход его мысли. Я прав?

— Метафизической аферы,— подтвердил мой сосед слева, на секунду перестав кашлять.

— О да, метафизической аферы,— повторил сосед справа с легкой насмешкой.— Мне и в голову не могло прийти, что я попадусь на подобную наживку, учитывая мой опыт и особые знания. Но, разумеется, это чрезвычайно тонкое и сложное мошенничество.

Я знал, что мой сосед справа — автор неопубликованного философского трактата, озаглавленного «Исследование заговора против человечества», но я не совсем понял, что он подразумевал под своим «опытом и особыми знаниями». Прежде чем я успел обратиться к нему за пояснениями, меня бесцеремонно перебила женщина, моя визави.

— Мистер Райнер Гроссфогель — шарлатан, вот и все,— сказала она достаточно громко, чтобы ее услышали все в зале.— Я, как вам известно, уже некоторое время знала о его надувательствах. Даже до его так называемого метаморфического озарения или, как он там это называет...

— Метаморфического исцеления,— подсказал я.

— Прекрасно! Его метаморфического исцеления, что бы это там ни значило. Еще до этого я замечала у него все признаки шарлатанства. И требовались только удачно сложившиеся обстоятельства, чтобы оно вырвалось наружу.

И тут — якобы неизлечимая болезнь, которая, по его утверждению, привела к этому — мне трудно даже выговорить — метаморфическому исцелению. И он получил возможность пустить в ход все таланты шарлатана, каким всегда намеревался стать. Я присоединилась к этой экскурсии, к этому фарсу, только чтобы иметь удовольствие увидеть, как другие поймут то, что я всегда знала и всегда говорила про Райнера Гроссфогеля. Вы все — мои свидетели,— докончила она, а ее глаза в кольце морщин и щедрого макияжа рыскали по нашим лицам и лицам остальных в зале в поисках искомой поддержки.

Эта женщина была мне известна только под ее профессиональным псевдонимом — миссис Анджела. До последнего времени она управляла тем, что все в нашем кружке называли «спиритуалистической кофейней». В числе угощений и услуг, предлагаемых этим заведением, имелся прекрасный выбор превосходных пирожных — творений самой миссис Анджелы — во всяком случае, так она утверждала. К несчастью, ни спиритуалистические сеансы, проводившиеся медиумами, нанятыми миссис Анджелой, ни превосходные пирожные с кофе по несколько завышенной цене не смогли обеспечить процветание ее заведению. Именно миссис Анджела первая во всеуслышание пожаловалась на качество как обслуживания, так и скромного подкрепления сил, которые ожидали нас в крэмптонской столовой. Вскоре после того, как мы прибыли днем и немедленно набились в единственное работающее заведение в городке, миссис Анджела подозвала молодую женщину, чьей обязанностью было единолично обслуживать нашу группу.

«Этот кофе нестерпимо горек! — крикнула она девушке, одетой в словно бы с иголочки новую униформу.— А плюшки зачерствели все до единой. Куда нас завезли? По-моему, этот городишко и все в нем — сплошной обман».

Когда девушка подошла к нашему столику и остановилась перед нами, я заметил, что ее костюм больше подошел бы больничной сестре, чем официантке в скромной

столовой. А главное, он мне напомнил униформу, которую я видел на сестрах в больнице, где лечился Гроссфогель и в конце концов исцелился от болезни, казавшейся крайне серьезной. Пока миссис Анджела всячески поносила официантку за качество поданных нам кофе и плюшек, которые составляли часть того, что гроссфогелевская брошюра превозносила как «ни с чем не сравнимую физико-метафизическую экскурсию», я перебирал все, что хранила моя память о пребывании Гроссфогеля в этой плохо оборудованной, подчеркнуто несовременной больнице, где он лечился — пусть совсем недолго — за два года до нашей поездки в мертвый городок Крэмптон. Он попал в убогую палату из приемного покоя, который был попросту черным ходом даже не в больницу в строгом смысле слова, а скорее импровизированный лазарет, помещавшийся в обветшалом старом доме в том же районе, где Гроссфогель и большинство знавших его вынуждены были жить из-за наших весьма ограниченных финансовых средств. Именно я был тем, кто отвез его на такси в этот приемный покой и сообщил регистраторше все необходимые сведения о нем, поскольку сам он был не в состоянии говорить. Позже я объяснил сестре, которую счел всего лишь санитаркой в костюме сестры, настолько скудными казались ее сведения в области медицины — что Гроссфогель упал без сознания в местной картинной галерее, на открытии скромной выставки его произведений. Я сообщил ей, что он впервые предстал перед публикой как художник и впервые же оказался жертвой внезапного обморока. Однако я не упомянул, что указанную галерею точнее было бы назвать пустующим складским помещением, которое время от времени подметали и сдавали под различные выставки и всякие художественные вечера. Весь вечер Гроссфогель жаловался на боли в животе, сказал я сестре, а потом повторил это заведующему приемным покоем, который также показался мне более похожим на санитара, чем на дипломированного врача. На протяжении вечера эти боли усиливались, сообщил я сестре и врачу, по моему мнению

из-за возрастающего волнения Гроссфогеля при виде собственных картин, выставленных на всеобщее обозрение, поскольку он всегда относился с подчеркнутым недоверием к своему таланту как художника — и с полным на то основанием, сказал бы я. С другой стороны, нельзя было исключить и серьезного физического недуга, признал я, когда говорил с сестрой, а позднее и с врачом. Как бы то ни было, но Гроссфогель рухнул на пол картинной галереи и с того момента был способен только стонать — жалобно и, если уж на то пошло, довольно-таки противно.

Выслушав мой рассказ об обмороке Гроссфогеля, врач предписал художнику лечь на каталку, ожидавшую в глубине скверно освещенного коридора, сам же врач вместе с сестрой удалился в противоположном направлении. Все время, пока Гроссфогель лежал на этой каталке среди теней этой скроенной на скорую руку больнички, я стоял подле него. Была уже глубокая ночь, и стоны Гроссфогеля заметно поутихли, но для того лишь, чтобы смениться тем, что в тот момент я принял за прерывистый бред. В течение этой бредовой декламации художник несколько раз упомянул какую-то «всепроникающую тень». Я сказал ему, что дело в скверном освещении коридора, и собственные слова показались мне несколько бредовыми из-за усталости, вызванной событиями этого вечера и в галерее, и в этой паршивой больничке. Но Гроссфогель — в бреду, я полагаю,— только обводил коридор взглядом, словно не видел, что я стою там, и не слышал моих обращенных к нему слов. Тем не менее он прижал ладони к ушам, словно оберегая их от какого-то мучительного оглушающего звука. Потом я просто стоял там и слушал бормотание Гроссфогеля, никак не откликаясь на его бредовые и все более усложненные фразы о «всепроникающей тени, которая вынуждает предметы быть тем, чем они не являются», а затем (позднее) о «вседвижущей тьме, которая вынуждает предметы делать то, чего они не делают».

Послушав Гроссфогеля так примерно с час, я заметил, что врач и сестра стоят почти вплотную друг к другу в даль-

нем конце этого темного коридора. Они, казалось, очень долго совещались и очень часто то по отдельности, то вместе поглядывали туда, где я стоял рядом с распростертым на каталке и бормочущим Гроссфогелем, гадая, долго ли еще они будут продолжать эту медицинскую шараду, эту больничную пантомиму, пока художник лежит тут, стонет и все чаще бормочет что-то про тень и тьму. Возможно, я на минуту, стоя, задремал, так как внезапно сестра очутилась передо мной, а врач исчез. В мрачном сумраке коридора белая униформа сестры словно светилась.

— Можете теперь вернуться домой,— сказала она мне.— Вашего друга примут в больницу.

После этого она покатила Гроссфогеля к лифту в конце коридора. Едва она приблизилась к дверям лифта, как они быстро и бесшумно раздвинулись, озарив темный коридор ярчайшим светом. Когда они разошлись до конца, я увидел, что в кабине стоит врач. Он потянул каталку в сияние кабины, а сестра подтолкнула ее сзади. Едва все они оказались внутри, как двери бесшумно сомкнулись, и коридор, в котором все еще стоял я, снова заполнили тени, словно бы более густые, чем раньше.

На следующий день я посетил Гроссфогеля в больнице. Его поместили в маленькую отдельную палату в дальнем углу верхнего этажа. Пока я шел к его палате, номер которой получил в справочной, мне показалось, что все остальные палаты на этом этаже пустуют. Только когда я увидел нужный номер и заглянул внутрь, моим глазам предстала занятая кровать, и внушительно занятая, так как Гроссфогель был весьма корпулентен, и ему потребовались вся длина и ширина старого продавленного матраса. Он выглядел настоящим великаном на этом маленьком казенном матрасе, в этой комнатушке без окон. Мне еле удалось втиснуться между стеной и кроватью художника, который словно бы продолжал бредить, как накануне ночью. Не было никаких признаков, что он заметил мое присутствие, хотя из-за тесноты я чуть ли не лежал на нем. Даже когда я несколько раз назвал его по имени, его слезящиеся глаза

не обратились на меня. Однако, едва я начал пятиться от кровати, как, к моему изумлению, Гроссфогель ухватил меня за плечо огромной левой рукой, той самой, которой он писал и рисовал творения, выставленные накануне в складском помещении, отданном под картинную галерею.

— Гроссфогель,— сказал я с надеждой, думая, что он наконец как-то отзовется на мое присутствие, хотя бы снова заговорив про всепроникающую тень (которая вынуждает предметы быть тем, чем они не являются), о вседвижущей тьме (которая вынуждает предметы делать то, чего они не делают). Однако через секунду-другую его рука расслабилась и соскользнула с моего плеча на самый край бугристого казенного матраса, на котором его тело вновь застыло в неподвижности.

Вскоре я вышел из отдельной палаты Гроссфогеля и прошел к посту дежурной сестры на том же этаже узнать о состоянии художника. Единственная сестра на посту выслушала мою просьбу и заглянула в папку с пометкой «Райнер Гроссфогель» в одном из верхних уголков. Поизучав меня несколько дольше, чем она изучала содержимое папки, касающееся художника, а теперь пациента этой больницы, она сказала просто:

— Ваш друг находится под строгим наблюдением.

— И это все, что вы можете мне сказать?

— Результаты его анализов еще не получены. Можете узнать о них позже.

— Позже, но сегодня?

— Да, позже сегодня,— ответила она и, взяв папку Гроссфогеля, скрылась за соседней дверью. Я услышал скрип выдвигаемого ящика и резкий стук, когда он был задвинут. Сам не знаю почему, но я стоял там и ждал, когда сестра выйдет из помещения, куда унесла папку Гроссфогеля. В конце концов я устал ждать и отправился домой.

Когда позже в этот день я позвонил в больницу, мне сообщили, что Гроссфогель выписан.

— Он поехал домой? — ничего другого мне в голову не пришло.

— Нам неизвестно, куда он направился,— ответила женщина, снявшая трубку, и тут же положила ее на рычаг. И никто другой не знал, куда девался Гроссфогель, потому что домой он не вернулся, а в нашем кружке никто понятия не имел, где он может находиться.

Прошло несколько недель — во всяком случае больше месяца после выписки Гроссфогеля из больницы и последовавшего его освобождения, когда по воле случая некоторые из нас встретились в складской картинной галерее, где художник упал в обморок в день открытия своей первой выставки. К этому времени даже я уже не вспоминал о Гроссфогеле и о том, как он без всякого предупреждения исчез с нашего горизонта. Тем более что он был далеко не первым из нас, пропавшим без вести: ведь наш кружок состоял из более или менее неуравновешенных, а то и опасно переменчивых людей, которые были вполне способны впутаться в какие-нибудь темные дела под влиянием тех или иных творческих либо интеллектуальных побуждений или просто в смятении духа.

По-моему, про Гроссфогеля мы упомянули, прохаживаясь в тот день по галерее, потому лишь, что его работы все еще были выставлены там, и куда бы мы ни смотрели, в глаза нам бросались то картина, то рисунок, то еще какое-либо его творение, которые, как я сам написал в каталоге к выставке, являли «воплощение видения исключительно одаренного художника-провидца», хотя на самом деле они все без исключения были пошловатыми образчиками того рода художественных поделок, которые по причинам, неизвестным никому из причастных к ним лиц, иногда приносят их создателю некоторый успех, а то и славу.

— Что мне делать с этим хламом? — пожаловалась женщина — владелица, а может, просто арендаторша складского помещения, сданного под картинную галерею.

Я уже собрался сказать ей, что возьму на себя избавление галереи от гроссфогелевских работ и, может быть, даже помещу их куда-нибудь на временное хранение, но тут

вмешался скелетообразный субъект, всегда представлявшийся «расстриженным академиком», и рекомендовал расстроенной владелице — или по крайней мере арендаторше — картинной галереи отправить их в больницу, где предположительно лечится Гроссфогель. Когда я спросил, почему он употребил слово «предположительно», то услышал:

— Я давно подозреваю, что это довольно сомнительное место, и в этом я не одинок.

Тогда я спросил, есть ли у него какие-нибудь факты для такой его уверенности, но он только скрестил костлявые руки на груди и взглянул на меня так, будто я его оскорбил.

— Миссис Анджела,— сказал он женщине, которая стояла неподалеку, рассматривая картину Гроссфогеля так пристально, словно серьезно подумывала, не купить ли ее. В то время спиритическая кофейня миссис Анджелы еще не доказала своей финансовой несостоятельности, и, возможно, ей казалось, что творения Гроссфогеля, хотя и очень посредственные с точки зрения искусства, тем не менее окажутся созвучными двусмысленности ее заведения, где клиенты сидят за столиками и получают советы от нанятых ею консультантов-медиумов, одновременно услаждая себя широким выбором превосходных пирожных.

— Вам следует прислушаться к тому, что он говорит про эту больницу,— сказала мне миссис Анджела, не отводя взгляда от картины Гроссфогеля.— У меня она давно вызывает сильное неприятное чувство. В некоторых ее аспектах есть что-то чрезвычайно сумбурное.

— Сомнительное! — поправил расстриженный академик.

— Да,— ответила миссис Анджела,— во всяком случае, это не то место, где я хотела бы оказаться, проснувшись однажды поутру.

— Я написал о ней стихотворение,— сказал опрятно одетый джентльмен, который все это время мерил шагами пол галереи, несомненно выжидая удобной минуты, что-

бы подойти к женщине, которая была владелицей или арендаторшей складского помещения, и убедить ее устроить то, о чем он без конца разглагольствовал, а именно «вечер герметической поэзии», гвоздем которого, разумеется, должны были стать его собственные произведения.— Я както прочел вам это стихотворение,— сказал он владелице галереи.

— Да, вы мне его читали,— подтвердила она без всякого выражения.

— Я написал его после того, как поздно ночью получил первую помощь в тамошнем приемном покое,— пояснил поэт.

— А что с вами было? — спросил я.

— О, ничего серьезного, как выяснилось. Через несколько часов я уже был дома. Рад сказать, в палату меня не положили. Это место (я цитирую свое стихотворение о нем) — «средоточие бездн».

— Прекрасно сказано,— сказал я,— но не могли бы мы поговорить более конкретно?

Однако, прежде чем я сумел вытянуть ответ у самопровозглашенного творца герметической лирики, дверь картинной галереи внезапно была распахнута с силой, которую мы все внутри тотчас узнали. Секунду спустя мы увидели перед собой корпулентную фигуру Райнера Гроссфогеля. Физически он в большей своей части словно был тем же человеком, которого я помнил до его падения на пол картинной галереи шагах в пяти от того места, где я стоял сейчас, и в нем не осталось ничего от стонущего, бредящего индивида, которого я отвез в приемный покой больницы для немедленного принятия мер. Однако в нем чудилось что-то иное, скрытая, но полная перемена в том, как он смотрел на то, что перед ним: если взгляд художника был привычно опущен или нервно отведен в сторону, его глаза теперь смотрели прямо и были исполнены спокойной целеустремленности.

— Все это я забираю,— сказал он, делая широкий, но мягкий жест в сторону плодов своего творчества, которые

заполняли галерею: ни единое не было продано ни в день открытия выставки, ни за все время его исчезновения.— Я был бы благодарен вам за помощь, если вы склонны ее оказать,— добавил он и начал снимать картины со стен.

Мы все соединили наши усилия с его усилиями, не задавая вопросов, ничего не говоря, и, нагруженные произведениями искусства, большими и малыми, последовали за ним из галереи на улицу к видавшему виды пикапчику, припаркованному у тротуара перед входом. Гроссфогель небрежно швырнул свои творения в кузов взятой напрокат, а может быть, одолженной машины (поскольку до этого дня никаких транспортных средств вроде бы у него не имелось), нисколько не заботясь о возможных повреждениях лучших образчиков, как он прежде считал, сошедших к этому моменту с его творческого конвейера. Миссис Анджела немного поколебалась, возможно, все еще прикидывая, как одно или несколько этих произведений будут смотреться в ее спиритически-кондитерской кофейне, но затем и она принялась выносить творения Гроссфогеля из галереи и швырять их в кузов пикапчика, где их куча росла все выше и выше, точно мусорная, пока стены и пол галереи полностью не очистились и она не обрела вид типичного пустующего складского помещения. Затем Гроссфогель сел за руль, а мы все стояли в изумленной тишине перед очищенной картинной галереей. Высунув голову в окошко взятого напрокат или одолженного пикапчика, он окликнул женщину, которая заведовала галереей. Она подошла к пикапчику со стороны водителя и обменялась с художником несколькими словами перед тем, как он завел мотор машины и уехал. Вернувшись туда, где мы продолжали стоять на тротуаре, она сообщила нам, что через несколько недель в галерее откроется новая выставка работ Гроссфогеля.

Вот такой была новость, облетевшая кружок художников и интеллектуалов, с которыми я общался: Гроссфогель после тяжелого приступа неизвестной болезни и обмороч-

ка на первой весьма неудачной выставке своих работ намерен устроить вторую выставку, после того как полностью очистил галерею от более чем посредственных картин, рисунков и всего прочего, уже предложенного им обозрению публики, и увез их в кузове пикапчика. Разумеется, новой выставке Гроссфогеля была устроена профессиональная реклама заботами женщины, которой принадлежала картинная галерея и которая могла получить финансовую выгоду от продажи того, что в рекламном проспекте этого мероприятия не слишком уклюже было названо «кардинальной и перепровидческой фазой в творчестве знаменитого художника-провидца Райнера Гроссфогеля». Тем не менее (из-за обстоятельств, связанных как с прошлой, так и с предстоящей выставкой) сразу же все было окружено туманом бредовых, а порой и жутковатых сплетен. Такое развитие событий вполне отвечало натуре тех, кто составлял этот кружок сомнительных (не говоря уже сумбурных) художников и интеллектуалов, в котором я нежданно занял центральное место. В конце-то концов, это я отвез Гроссфогеля в больницу после его обморока на выставке его работ, и именно больница — уже, как я узнал, обладавшая странной репутацией — мрачно маячила в тумане сплетен и предположений, сгустившемся вокруг предстоящей выставки Гроссфогеля. Намекали даже на особые процедуры и медикаментацию, которым подвергся художник за краткое пребывание там (чем объяснялось его непонятное исчезновение и последовавшее возвращение) для достижения того, что, по мнению многих, должно было оказаться «художественным провидением». Вне сомнения, именно эти ожидания, эта отчаянная надежда на нечто потрясающей новизны и ослепляющего блеска, которые некоторым индивидам со слишком горячечным воображением мнились как прорыв за пределы чистой эстетики и понудили многих в нашем кружке принять неортодоксальную природу следующей выставки Гроссфогеля, а также объяснило эмоциональное ощущение обманутости, поджидавшее тех из нас, кто пришел на открытие выставки.

И, сказать правду, произошедшее в галерее в тот вечер ничем не напоминало открытия выставок, привычные нам; стены и пол галереи оставались такими же пустыми, какими стали после того, как Гроссфогель приехал в «пикапчике» и увез все свои работы со своей прежней выставки, тогда как новая, как мы скоро узнали, приехав туда, должна была открыться в небольшой комнате в глубине складского помещения. Далее: с нас взяли солидную плату за вход в эту маленькую заднюю комнату, освещенную лишь несколькими очень слабыми лампочками, кое-где свисавшими на шнурах с потолка. Одна покачивалась в углу комнаты над столиком, накрытым обрывком простыни, под которым что-то крутилось. От этого угла с тусклой лампочкой и столиком под обрывком простыни расходились полукружья кое-как расставленных складных стульев. Эти неудобные стулья в конце концов были заняты теми из нас (всего десяток с небольшим), кто был готов уплатить солидную сумму за право увидеть то, что больше смахивало на незатейливый театр одного актера, чем на художественную выставку. Я слышал, как миссис Анджела на стуле позади меня снова и снова повторяла сидевшим рядом: «Что происходит, черт подери?» В конце концов она наклонилась ко мне со словами:

— Что еще затеял Гроссфогель? Я слышала, что с тех пор, как он вышел из больницы, его до одурения пичкали всякой дрянью.

Тем не менее художник, казалось, был в ясном уме и твердой памяти, когда минуту-другую спустя он прошел между кое-как расставленными стульями и встал рядом со столиком, накрытым обрывком простыни, над которым покачивалась тусклая лампочка. В тесноте задней комнаты картинной галереи корпулентный Гроссфогель выглядел почти великаном — точно так же, как он выглядел, когда лежал на казенном матрасе в своей отдельной палате. Даже его голос, который обычно бывал негромким, почти шепчущим, казалось, усилился, когда он обратился к нам.

— Благодарю вас всех за то, что вы пришли сюда сегодня,— начал он.— Много времени это не займет. Мне нужно сказать вам совсем немного, и мне хотелось бы кое-что вам показать. Право же, поистине чудо, что я стою здесь и говорю с вами вот так. Не столь давно, как некоторые из вас, возможно, помнят, в этой самой картинной галерее со мной случился тяжелейший припадок. Надеюсь, вы не против того, чтобы я сообщил вам некоторые сведения о природе этого припадка и его последствиях, ибо, по моему убеждению, это необходимо для должного восприятия того, что я должен показать вам сегодня.

Ну, так разрешите мне начать, указав, что припадок, сразивший меня в этой картинной галерее во время открытия моей выставки, на одном уровне по своей природе был простым желудочно-кишечным расстройством, пусть и очень серьезным для недуга такого рода. Это желудочно-кишечное заболевание, это расстройство моего пищеварительного тракта развивалось во мне уже долгое время. В течение многих лет это расстройство незаметно прогрессировало на одном уровне — в недрах моего организма, а на другом — в самом темном аспекте моего существа. Этот период совпал и, собственно говоря, был порожден моим горячим желанием, связанным с одной областью искусства: иными словами, моим желанием сделать нечто, то есть творить произведения искусства, а также моим желанием быть кем-то, то есть художником. На протяжении периода, о котором я говорю, а если на то пошло, то и на протяжении всей моей жизни я пытался сотворить что-то своим сознанием и особенно созидать творения искусства с помощью единственного, как я считал, средства, имеющегося в моем распоряжении, а именно: используя мое сознание или используя мое воображение или творческие способности, используя, короче говоря, некую силу или функцию того, что люди называют душой, или духом, или просто личностью. Но когда я лежал на полу галереи и позже, в больнице, испытывая невыразимую боль в брюшной полости, меня потрясло сознание, что у меня нет ни

духа, ни воображения, которыми я мог бы воспользоваться, и ничего, что я мог бы назвать своей душой,— все это нонсенс и пустые иллюзии. В моем жестоком желудочно-кишечном страдании я осознал, что хоть в какой-то степени существует лишь это физическое тело, размерами больше среднего. И я осознал, что сделать это тело ничего не может, кроме как функционировать в физической боли, и не может быть ничем, кроме того, чем является — не художником, не творцом чего-либо, а только грудной плотью, системой костей, тканей и прочего, терпящей муки, сопряженные с расстройством ее пищеварительного тракта, и все, что бы я ни делал, если оно не прямо проистекает из этих фактов — а уж особенно при создании произведений искусства,— было глубоко и полностью поддельно и нереально. И в то же время я осознал силу, которая скрывалась за моим горячим желанием что-то сделать и быть чем-то, и особенно за моим желанием творить полностью поддельные и нереальные произведения искусства. Иными словами, я осознал, что именно активизирует мое тело на самом деле.

Прежде чем продолжить это вступление, составлявшее первую часть его художественной выставки — или театра одного актера, как я мысленно ее определил,— Гроссфогель помолчал, словно оглядывая свою маленькую аудиторию, сидящую в задней комнате галереи. То, что он сообщил нам касательно своего тела и нарушения его пищеварительной функции, в общем, было достаточно понятно, несмотря на то что некоторые положения, которые он формулировал, выглядели в тот момент сомнительными, а взятые целиком — в некоторой степени не слишком привлекательными. Однако мы отнеслись к словам Гроссфогеля с терпимостью, так как, полагаю, нам казалось, что они подведут нас к следующей, возможно, более аппетитной фазе испытанного им, поскольку каким-то образом мы уже почувствовали, что оно не так уж чуждо нашему собственному опыту, идентифицируемся ли мы с его своеобразной желудочно-кишечной природой или нет. А пото-

му мы молчали, чуть ли не почтительно, если учесть неортодоксальность происходившего в тот вечер, и Гроссфогель продолжал излагать то, что должен был поведать нам, перед тем как совлечь покрывало с того, что доставил сюда показать нам.

— Все это так, так просто,— продолжал художник.— Наши тела ведь всего лишь одно из проявлений энергии той активизирующей силы, которая приводит в движение все предметы, все тела в этом мире и позволяющей им существовать так, как они существуют. Эта активизирующая сила несколько подобна тени, находящейся снаружи всех тел этого мира, но внутри, пронизывая их все насквозь,— вездвижущая тьма, которая сама по себе не имеет субстанции, однако движет все предметы в этом мире, включая и предметы, которые мы называем нашими телами. Пока я находился в муках моего желудочно-кишечного припадка в больнице, где меня лечили, я, так сказать, спустился в ту бездну сущности, где мог ощутить, как эта тень, эта тьма активизирует мое тело. Кроме того, я мог слышать ее движение не только внутри моего тела, но и во всем вокруг меня, так как производимый ею звук не был звуком моего тела. Собственно, это был звук этой тени, этой тьмы, могучий рев — звук неведомого звериного океана, накатывающегося на черные и бесконечные берега, непрерывно их пожирая. Точно так же мне было дано воспринять действие этой всепроникающей и вездвижущей силы с помощью обоняния и вкуса, а также осязания, присущих моему телу. Наконец, я открыл глаза, ибо почти на всем протяжении мучительного испытания, которому меня подверг мой пищеварительный тракт, мои веки оставались крепко сожмуренными от боли. А когда я открыл глаза, то обнаружил, что способен видеть, как все вокруг меня, включая и мое собственное тело, активизируется изнутри этой всепроникающей тенью, этой вездвижущей тьмой. И ничто не выглядело таким, каким я привык его видеть. До той ночи я никогда не воспринимал мир через мои физические органы чувств, каковые находятся в пря-

мом контакте с этой бездной сущности, которую я называю тенью, тьмой.

Должен признаться, что перед моим физическим коллапсом в этой самой картинной галерее я испытал психический коллапс — коллапс чего-то поддельного и нереального, какого-то — это разумеется само собой,— какого-то нонсенса и иллюзорности, хотя в тот момент все это представлялось мне подлинным и реальным. Этот коллапс моего сознания и моей личности был вызван холодностью приема, какой оказали моим художественным творениям посетители, собравшиеся на открытие моей первой выставки, тем, насколько неудачными они оказались как произведения искусства, постыдным фиаско даже среди поддельных и нереальных произведений искусства. Эта провалившаяся выставка показала мне, какое фиаско я потерпел в моих усилиях стать художником. Все посетители выставки могли видеть, какой неудачей оказались плоды моего творчества, и я видел всех и каждого в момент оценки моего ничем не смягченного провала как художника. Таков был психический кризис, который ускорил мой физический кризис и последовавший затем коллапс моего тела в спазмах желудочно-кишечной агонии. Едва мое сознание и ощущение себя как личности разрушилось, в действии остались только мои органы физических чувств, благодаря которым я получил возможность впервые напрямую ощутить эту бездну сущности, то есть тень, тьму, которая активизировала мое горячее желание добиться успеха, делать что-то и быть кем-то, и тем самым активизировала мое тело для движения в этом мире, точно так же, как активизируются все тела. И то, что я ощутил через прямые каналы сенсорного восприятия — зрелище тени внутри все и вся, вседвижущую тьму,— было неописуемо ужасно, и уже я не сомневался, что перестану существовать. В определенном смысле я действительно перестал существовать таким, каким существовал до этого вечера, поскольку мои чувства сенсорного восприятия теперь функционировали иначе — особенно слух и зрение. Без вмешательства моего созна-

ния и моего воображения — всех этих нонсенсов и иллюзий касательно моей души и моей личности — я был вынужден видеть все вещи в аспекте тени внутри них, тьмы, которая их активизировала. И это было невыразимо ужасно — настолько, что у меня нет слов, чтобы описать вам это.

Тем не менее Гроссфогель продолжал описывать в мельчайших деталях тем из нас, кто заплатил чрезмерную сумму за право увидеть его театр одного актера — описывать неописуемую ужасность того, как он теперь вынужден видеть мир вокруг себя, включая и его собственное тело в желудочно-кишечных муках, а также свою категорическую уверенность в том, что такое видение вещей вскоре станет причиной его смерти, вопреки всем мерам для его спасения, принятым, пока он находился в больнице. Гроссфогель утверждал, что у него осталась только одна надежда выжить: а именно, погибнуть полностью в том смысле, что личность, или сознание, или «я» того, что прежде было Гроссфогелем, действительно перестанет существовать. Это обязательное условие выживания, заявил он, толкнуло его физическое тело подвергнуться «метаморфическому исцелению». Через пару часов, сообщил нам Гроссфогель, он больше не испытывал острых болей в брюшной полости, которые привели его к коллапсу, и более того: теперь он мог терпеть свою необратимую обреченность видеть вещи, цитируя его, «в аспекте тени внутри них, тьмы, которая их активизирует». Поскольку человек, который был Гроссфогелем, погиб полностью, тело Гроссфогеля получило возможность существовать, как «преуспевающий организм», не тревожимый воображаемыми муками, которые прежде навязывали ему его сфабрикованное сознание и его поддельная нереальная личность. Как сформулировал он сам: «Я больше не оккупирован моей личностью или моим сознанием». Мы, сидящие в зале, теперь видим перед собой, сказал он, тело Гроссфогеля, говорящего голосом Гроссфогеля и пользующееся нервной системой Гроссфогеля, но без «воображаемого персонажа», известного как

Гроссфогель. Все его слова и действия, сказал он, теперь являются прямой эманацией той силы, которая активизирует каждого из нас, но понять это мы могли бы, только прибегнув к способу, которым он вынужден был воспользоваться, чтобы сохранить свое тело живым. Художник с жутким спокойствием подчеркнул, что он ни в каком смысле не выбирал свой уникальный путь к исцелению. Никто по доброй воле его не выбрал бы, заявил он. Всякий человек предпочитает существовать как сознание и личность, какую бы боль это ему ни причиняло, какими бы поддельными и нереальными они ни были бы, нежели принять очевидность того, что он всего лишь тело, приводимое в движение той бессознательной, бездушной и безличной силой, которую он обозначил как «эта тень, эта тьма». Однако, поведал нам Гроссфогель, именно эту реальность он вынужден был принять, чтобы это тело продолжало существовать и преуспело как организм.

— Это вопрос физического выживания и только,— сказал он.— Понятно это быть должно всем. И кто угодно сделал бы то же самое.

К тому же прославленное метаморфическое исцеление, в процессе которого Гроссфогель-особь исчез, а Гроссфогель-тело выжил, было настолько успешным, заверил он зрителей своего театра одного актера, что он немедленно отправился усердно путешествовать главным образом на недорогих междугородних автобусах, которые возили его на большие расстояния вдоль и поперек страны, чтобы он мог обозревать разных людей, разные места, используя свою новую способность видеть тень, которая пронизывала их, вседвижущую тьму, которая активизировала их, поскольку он освободился от заблуждений касательно мира, этих порождений сознания и воображения — этих противодействующих механизмов, которые теперь были удалены из его организма; не то чтобы он ошибочно воображал, будто кто-то или что-то действительно обладает душой или личностью. И повсюду, где он побывал, он наблюдал зре-

лище, которое раньше привело его в такой ужас, что ввергло в почти летальное состояние.

— Теперь я мог познавать мир прямо через органы чувств моего тела,— продолжал Гроссфогель.— И телом я увидел то, что не был способен увидеть сознанием или воображением, пока оставался художником-неудачником. Всюду, где я путешествовал, я видел, как всепроникающая тень, вседвижущая тьма использовала наш мир! Поскольку у этой тени, у этой тьмы нет ничего собственного, нет способа существования, кроме как активизируя силу, энергию, мы же имеем наши тела, и мы — только тела. Органические ли они тела или нет, человеческие или неорганические, никакой разницы не составляет — они все равно просто тела, не что иное, как тела без компонентов сознания, души или личности. А потому эта тень, эта тьма использует наш мир для получения того, что ей нужно, чтобы благоденствовать. У нее нет ничего, кроме активизирующей энергии. А мы — ничто, если не считать наших тел. Вот почему эта тень, эта тьма вынуждает предметы быть тем, чем они не являются, и делать то, что они не делают. Ибо без этой тени внутри них, вседвижущей черноты, активизирующей их, они были бы лишь тем, чем являются — нагромождениями материи, лишенной какого бы то ни было импульса, какой бы то ни было потребности процветать, добиться успеха в этом мире. Такое положение дел было бы названо именно тем, что оно есть,— абсолютным кошмаром. Вот в точности то, что я испытал в больнице, когда понял благодаря моим желудочно-кишечным страданиям, что не имею ни сознания, ни воображения, ни души, ни личности, что они все — лишь нонсенс и иллюзорные посредники, сфабрикованные для того, чтобы воспрепятствовать людям понять, что мы такое на самом деле: всего лишь бесчисленные тела, активизированные этой тенью, этой тьмой. Те из нас, кто в какой-то степени являются преуспевающими организмами, включая художников, достигают этого благодаря степени, в какой мы функционируем, как тела, а отнюдь не как обладатели сознания или

личности. Вот тут-то я и потерпел столь катастрофическое фиаско, ибо был чересчур категорично убежден в существовании моего сознания и моего воображения, моей души и моей личности. Моя единственная надежда заключалась в метаморфическом исцелении, в безоговорочном принятии кошмарного порядка вещей, чтобы я мог существовать и дальше, как преуспевающий организм, даже без защитного нонсенса сознания и воображения, без защитной иллюзии, будто я обладаю душой и личностью. Иначе я был бы уничтожен роковым травмирующим безумием, вызванным шоком от этого сокрушающего осознания. Поэтому особь, которая была Гроссфогелем, должна была погибнуть в больнице — туда ей и дорога! — чтобы тело Гроссфогеля могло, избавиться от своего желудочно-кишечного кризиса и отправиться путешествовать по разным направлениям, пользуясь разными видами транспорта, но главным образом: самым недорогим — междугородними автобусами,— и созерцать, как эта тень, эта тьма. использует наш мир тел для получения того, что ей нужно, чтобы благоденствовать. А насозерцавшись этого зрелища, я неизбежно доджем был запечатлеть его в какой-либо форме, не как художник, потерпевший фиаско, потому что опирался, на нонсенс, именуемый сознанием или воображением, но как тело, которому удалось обнаружить, как все в; этом мире функционирует на самом деле. И вот я здесь сегодня, чтобы показать вам это, выставить его перед вами.

Я, так же убаюканный или же взволнованный рассуждениями Гроссфогеля, как все остальные его слушатели, был почему-то изумлен, если не испуган, когда он внезапно завершил свою лекцию или фантастический монолог — ну, словом, то, чем в тот момент мне представлялись его слова. Казалось, он будет говорить и говорить без конца в задней комнате этой галереи, где с потолка на шнурах свисали тусклые лампочки, и одна из них — прямо над столиком, укрытым обрывком простыни. И вот Гроссфогель начал приподнимать этот обрывок простыни, чтобы наконец-то показать нам то, что сотворил не с помощью своего со-

знания или воображения, каковых, по его утверждению, не осталось так же, как его души или личности, но с помощью только физических органов чувств своего тела. Когда он наконец полностью снял со своего творения обрывок простыни и оно предстало перед нами целиком, освещенное висевшей прямо над ним лампочкой на шнуре, в первый момент никто из нас не продемонстрировал никакой реакции — ни положительной, ни отрицательной, возможно, потому, что наши сознания были оглушены всей этой словесной подготовкой к этому мигу совлечения обрывка полосы.

Видимо, это было что-то вроде скульптуры. Однако первоначально я не нашел для этого предмета никакого родового обозначения, как художественного, так и не художественного. Он мог быть чем угодно. Поверхность его повсюду была одинаково сияющей тьмой, глянцевой пленкой, под которой вихрился черный туман теней, словно бы находящихся в движении — эффект, вероятнее всего порождаемый покачиванием болтающейся над ним лампочки. И пока я смотрел на этот предмет, мне почудилось, что я слышу отдаленный рев, в котором, бесспорно, было и что-то звериное, и что-то океаническое, как перед тем сообщил нам Гроссфогель. В общих очертаниях проглядывало отнюдь не случайное сходство с какого-то рода существом, нечто вроде примитивной карикатуры на скорпиона или краба, поскольку из совершенно бесформенной середины тянулось довольно много клешнеподобных отростков. Кроме того, он словно бы содержал слагаемые, устремленные вверх,— подобия горных пиков или рогов, торчащих вверх примерно под прямым углом и завершающихся либо острием, либо мягкой выпуклостью, похожей на голову. Поскольку Гроссфогель так много говорил о телах, было только естественно увидеть их подобия, но в искажениях: то как основание чего-либо, то каким-то образом внедренными в него — хаотический мир всевозможнейших тел, контуров, активизируемых этой тенью внутри них, этой тьмой, которая вынуждает предметы быть тем, чем они

не являются, и делать то, чего они не делают. И среди этих телообразных контуров я ясно различил корпулентную фигуру самого художника, хотя значение того, что Гроссфогель имплантировал себя туда, осталось мной незамеченным, пока я сидел там, созерцая эту скромную выставку.

Что бы там скульптура Гроссфогеля ни воплощала в отдельных своих частях и взятая целиком, она бесспорно давала понятие о том «абсолютном кошмаре», который художник, так сказать, осветил в своей лекции или фантастическом монологе ранее в этот вечер. Тем не менее этого качества скульптуры даже для аудитории, не в малой степени ценившей кошмарные темы и контуры, было недостаточно, чтобы компенсировать чрезмерную сумму, которую с нас потребовали за право выслушать подробности гроссфобелевского желудочно-кишечного испытания и самопровозглашенного метаморфического исцеления. Вскоре после того, как художник обнажил перед нашими глазами свое творение, каждое наше тело поднялось с этих неудобных складных стульев и со всех сторон зазвучали ссылки на причины, не позволяющие остаться тут далее. Прежде чем удалиться в свой черед, я заметил, что рядом со скульптурой Гроссфогеля, не слишком на виду, покоится карточка с напечатанным на ней названием этого произведения: «Цалал № 1» — гласила она. Позднее я кое-что узнал про это определение, которое в словесном смысле и освещало, и скрывало природу предмета, который называло.

Скульптура Гроссфогеля (он затем создал целую серию из нескольких сотен, каждая из которых носила то же название, за которым стоял номер, указывавший ее место в ряду этих плодов художественного творчества) послужила темой, которую мы подробно обсуждали, пока толпились в столовой на главной улице мертвого городка Крэмптон. Мой сосед слева по столику — одному из немногих в зале — повторил свои обвинения против Гроссфогеля.

— Сначала он сделал нас жертвами художественного мошенничества,— сказал этот субъект, подверженный внезапным и длительным припадкам кашля,— а теперь делает нас жертвами метафизического мошенничества. Просто неслыханно! Содрать с нас такую сумму за эту его выставку, а теперь снова сдирает непомерную плату за эту «физически-метафизическую экскурсию». Нас всех надул этот...

— Этот законченный шарлатан,— сказала миссис Анджела, когда мой сосед слева не сумел завершить фразу из-за нового припадка кашля.— Не думаю, что он вообще тут появится,— продолжала она.— Он заставляет нас приехать в эту немыслимую дыру. Говорит, что именно здесь мы должны собраться для этой его экскурсии. Но что-то его нигде здесь не видно. Где он раскопал это место? В одном из путешествий на автобусах, о которых он всегда разглагольствует?

Казалось, нам приходилось винить только себя и свой идиотизм за то, что мы оказались в таком положении. Хотя никто вслух в этом не признавался, однако на тех из нас, которые присутствовали в тот день в галерее, когда туда вошел Гроссфогель и кротко попросил нас помочь ему побросать все его выставленные в галерее произведения в кузов «пикапчика», он произвел очень большое впечатление. Никто в нашем небольшом кружке художников и интеллектуалов никогда не совершал ничего хоть отдаленно похожего на такой поступок и даже помыслить не мог о том, чтобы сделать что-то столь бесповоротное и драматичное. С того дня нашим безмолвным убеждением стало то, что Гроссфогель нашел жилу, а нашим постыдным секретом — желание присосаться к нему, чтобы извлечь из общения с ним хоть какую-то выгоду. В то же самое время нас, разумеется, возмущало чересчур смелое поведение Гроссфогеля, и мы были вполне готовы приветствовать еще одно его фиаско, а может быть, и еще одно падение в коллапсе на пол галереи, где он и его произведения уже один раз потерпели фиаско (к полному всеобщему удовольствию). Такая путаница мотивов явилась более чем доста-

точной причиной, толкнувшей нас заплатить чрезмерную сумму, которую Гроссфогель потребовал за право посетить его новую выставку, от которой мы затем так или иначе пренебрежительно отмахнулись.

В тот вечер после вернисажа я стоял на тротуаре перед картинной галереей и снова слушал инвективы миссис Анджелы касательно метаморфического исцеления Гроссфогеля и источника его творческого вдохновения.

— Мистер Райнер Гроссфогель просто живет на медикаментах с того момента, как вышел из больницы,— сказала она мне, будто в первый раз.— Одна моя знакомая девушка работает в аптеке и отоваривает его рецепты. Она моя клиентка, одна из лучших,— добавила она, а ее глаза в кольце морщин и щедрого макияжа засверкали самодовольством. Затем она продолжила свои скандальные разоблачения: — Думаю, вы знаете, какого рода медикаменты выписываются при заболеваниях, как у Гроссфогеля, которое и не заболевание вовсе, а психофизическое расстройство, как я и все, кто работает у меня, могли бы ему сказать давным-давно. Мозг Гроссфогеля уже много месяцев купается во всевозможных транквилизаторах и антидепрессантах. Но и этого мало. Он сверх всего принимает еще препарат против спазм, помогающий при заболевании, от которого он якобы избавился столь чудотворным образом. Меня не удивляет, что он полагает, будто не обладает ни сознанием, ни какой-никакой личностью, да и в любом случае это чистое притворство, и ничего больше. Против спазм! — зашипела на меня миссис Анджела, когда мы стояли с ней на тротуаре перед картинной галереей после посещения выставки Гроссфогеля.— Вы знаете, что это означает? — спросила она и незамедлительно ответила на свой вопрос: — Это означает белладонну, ядовитый галлюциноген. Это означает фенолбарбитал — барбитурат. Девушка из аптеки рассказала мне все это. Он ублажает себя сверхдозами всех этих наркотиков, понимаете? Вот почему он видит все столь своеобразным образом, как пытался нам внушить. И вовсе не тень или как там он называл то,

что активизирует его тело, в чем он старался нас убедить. Уж об этом я бы что-нибудь да знала, ведь верно? Я же обладаю особым даром, который позволяет мне проникать в такого рода феномены.

Однако, вопреки ее предполагаемым дарованиям, а также подлинно прекрасным пирожным, спиритуалистическая кофейня миссис Анджелы в коммерческом смысле слова дышала на ладан, а в конце концов и вовсе обанкротилась. А вот скульптуры Гроссфогеля, которые он творил с большой плодовитостью и быстротой, пользовались колоссальным успехом, как у местных скупщиков художественной продукции, так и у торговцев предметами искусства, а также у коллекционеров по всей стране. И даже в какой-то мере вышли на международный рынок. Кроме того, Райнера Гроссфогеля превозносили в больших статьях, публиковавшихся и в ведущих журналах сферы искусства, и в журналах других сфер, хотя обычно он обрисовывался, заимствуя слова одного критика, как «художественный и философский балаган уродов в лице одного исполнителя». Тем не менее Гроссфогель теперь по всем меркам функционировал как крайне преуспевающий организм. Именно этот успех, даже подобия которого не удалось достичь никому из нашего маленького кружка художников и интеллектуалов, стал причиной, по какой те из нас, кто порвал с Гроссфогелем после его лекции о метаморфическом исцелении от тяжелейшего желудочно-кишечного расстройства и осмотра первой из необъятной серии скульптур Цалал, теперь вновь связали себя и наши провалившиеся карьеры с ним и его бесспорно преуспевающим телом без сознания и личности. Даже миссис Анджела стала ведущим знатоком «осознаний», которые Гроссфогель сначала изложил в задней комнате этой картинной галереи в помещении пустующего склада, а теперь развивал в нескончаемых философских брошюрах, за которыми коллекционеры принялись охотиться почти как за его серией скульптур Цалал. Вот почему, когда Гроссфогель распространил проспект среди художников и интеллектуалов не-

большого кружка, отношения с которым продолжал поддерживать даже после того, как добился столь поразительного финансового успеха и известности,— проспект, извещавший о «физически-метафизической экскурсии» в мертвый городок Крэмптон, мы более чем охотно заплатили грабительскую сумму, которую он запросил.

Именно к этому проспекту я и отослал моих соседей за столиком в крэмптоновской столовой — фотографа-портретиста, подверженного припадкам кашля, слева от меня, автора неопубликованного философского трактата «Исследования заговора против человечества» справа от меня и миссис Анджелу прямо напротив меня. Мой сосед слева все еще повторял и повторял с долгими перерывами на припадки кашля (которые я тут опущу) выдвинутое им обвинение: Гроссфогель устроил метафизическую аферу с помощью своей дорогостоящей «физически-метафизической экскурсии».

— Вся эта гроссфогелевская болтовня о тени, и черноте, и кошмарном мире, которые он якобы видел... и куда же нас это привело? В какой-то забытый Богом городишко, который заброшен уже давным-давно и в каком-то районе страны, где все решительно смахивает на перепроявленные фотографии. Я взял с собой камеру, готовый творчески запечатлевать портреты, лица, которые узрели гроссфогелевскую тенистую черноту или что еще им для нас приготовленное. Я даже придумал отличные названия и истолкования этих фотографических портретов, которые, полагаю, имели бы большой шанс быть опубликованы вместе как альбом или, на худой конец, появились бы на врезках ведущего фотографического журнала. Я думал, что по меньшей мере увезу с собой серию фотографических портретов Гроссфогеля, его огромной физиономии. Я мог бы поместить их в почти любом из лучших журналов сферы искусства. Но где знаменитый Гроссфогель? Он сказал, что встретит нас здесь. Он сказал, что мы постигнем все эти фигли-мигли с тенями, насколько я его понял. Кроме того я подготовил мой мозг для абсолютных кошмаров, про которые Гросс-

фогель распространялся в своих брошюрах и в этом его насквозь лживом проспекте.

— Этот проспект,— сказал я в одной из пауз, заполненной особенно надрывным кашлем,— ничего прямо не обещает касательно того, что в вашем воображении он предлагал. В нем специально подчеркивается, что это будет экскурсия, цитирую: «в мертвый город в момент, когда одно время года угасает, а другое только начинает свое движение к расцвету». В проспекте Гроссфогеля, кроме того, говорится, что это «конченный город, потерпевший фиаско город, поддельная и нереальная декорация, продукт непреуспевших организмов и, следовательно, город, представляющий собой идеальный образчик того предельного состояния фиаско, какое только может подействовать угнетающе на системы человеческих организмов, особенно на пищеварительный тракт, вплоть до ослабления ее иллюзорных и полностью сфабрикованных защит, то есть сознания, личности — и тем самым привести к кризису кошмарного осознания, влекущего за собой...» ну, я думаю, мы все знакомы с рассуждениями о тени-тьме, которые следуют дальше. Суть же в том, что в этом проспекте Гроссфогель не обещает ничего, кроме окружающей обстановки, которая смердит фиаско, своего рода парника для организмов-неудачников. Все остальное — чистые домыслы вашего воображения... а также и моего, могу я добавить.

— Ну,— сказала миссис Анджела, придвигая к себе проспект, который я положил на стол перед ней,— значит, я вообразила, что прочла вот это? Цитирую: «будет обеспечено адекватное питание». Горький кофе и черствые плюшки не отвечают моим представлениям об адекватности. Гроссфогель теперь богат, как известно всем,— и это лучшее, что он был способен обеспечить? До того дня, как я навсегда закрыла мою кофейню, там подавался великолепный кофе, не говоря уж о превосходных пирожных, даже если я теперь и признаю, что не сама их готовила. А мои спиритические сеансы — и мои личные, и всех, чьими услугами я пользовалась,— были потрясными, не меньше са-

мых прославленных. И вот новоявленный Крез и эта вот официантка практически отравляют нас этим горьким кофе и этими невообразимо черствыми уцененными плюшками. Аично я сейчас не отказалась бы от дозы средства против спазм, которое Гроссфогель принимает в таком количестве и так долго. И я уверена, у него с собой будет большой его запас, если (в чем я сомневаюсь) он тут все-таки появится после того, как поотравлял нас всех своим адекватным питанием. Вы меня извините.

Когда миссис Анджела прошла в глубину зала, я заметил, что перед единственной дверью с надписью «ТУАЛЕТ» уже выстроилась небольшая очередь. Я обвел взглядом тех, кто еще сидел за столиком или на табуретах у стойки. Среди них словно бы многие прижимали ладони к области желудка, а кое-кто так и нежно ее массировал. Я тоже начал ощущать некое кишечное беспокойство, которое можно было отнести на счет скверного качества кофе и плюшек, которые подала нам официантка, которую теперь нигде не было видно. Мой сосед слева тоже попросил извинить его и направился через зал. В тот момент, когда я уже готовился встать из-за столика, чтобы присоединиться к нему и прочим, мой сосед справа начал рассказывать мне про свои «изыскания» и «логические построения», которые легли в основу его неопубликованного трактата «Исследования заговора против человечества», и как они коррелируют с его глубочайшими подозрениями относительно Гроссфогеля.

— Мне следовало бы знать, что ни в коем случае нельзя было присоединяться к этой... экскурсии,— сказал он.— Но я чувствовал, что мне надо узнать побольше о том, что скрывается за историей Гроссфогеля. Я испытывал глубочайшие подозрения касательно его претензий и заявлений о его метаморфическом исцелении и многом другом. Например, его утверждение, его осознание, как он выражается,— что сознание и воображение, душа и личность всего лишь нонсенс и иллюзии. Но тем не менее он настаивает, что эта его тень, эта его тьма — Цалал, как именуются его

скульптурные произведения,— не нонсенс и не иллюзия, и что она использует наши тела «для получения того, что ей нужно, чтобы благоденствовать». Нет, но разве основой для отрицания его сознания, воображения и прочего не является всего лишь признание реальности его Цалал, которая выглядит продуктом некой иллюзии такого же нонсенса?

Скептические рассуждения этого человека оказались желанным отвлечением от давления, нараставшего в моем кишечнике. В ответ на его вопрос я сказал, что могу лишь повторить объяснение Гроссфогеля: он более не воспринимает предметы, то есть более не видит предметы с помощью своих предположительно иллюзорных сознания и личности, а воспринимает их своим телом, которое, как он утверждал далее, было активизировано и целиком оккупировано тенью, которая есть Цалал.

— Это отнюдь не самое нелепое откровение такого рода, во всяким случае, насколько известно мне,— сказал я в защиту Гроссфогеля.

— И насколько известно мне,— сказал он.

— Кроме того,— продолжал я,— оригинально названные скульптуры Гроссфогеля, по моему мнению, обладают достоинствами и интересны помимо строго метафизического контекста и предпосылок.

— Вам известно, что означает это слово — Цалал,— которое он использует как единственное название всех его скульптурных произведений?

— Нет. Боюсь, я не имею ни малейшего понятия о его происхождении или смысле,— с сожалением признался я.— Но, полагаю, вы бросите на это свет?

— Свет не имеет никакого отношения к этому слову, каковое взято из древнееврейского языка. Оно означает «становиться затемненным»... становиться, так сказать, «затененным». На термин этот я не так уж редко натыкался в процессе моих изысканий для моего трактата «Исследование заговора против человечества». Слово это, естест-

венно, встречается на многих страницах Ветхого Завета, этого плавильного тигля апокалипсисов, больших и малых.

— Возможно,— сказал я.— Однако я не согласен с тем, что гроссфогелевское употребление этого слова по необходимости ставит под вопрос искренность его утверждений или даже их обоснованность, если вы готовы зайти настолько далеко.

— Да, видимо, я не сумел достаточно ясно изложить вам мою мысль. С тем, о чем я говорил, мне пришлось столкнуться на ранних этапах моих изысканий и предварительных логических построений для моего «Исследования». Короче, я просто скажу, что у меня не было намерения подвергать сомнению гроссфогелевский Цалал. Мое исследование докажет мою ясную и твердую позицию в отношении этого феномена, хотя я никогда бы не прибегнул к несколько бьющему на эффект и довольно тривиальному подходу, который избрал Гроссфогель, чем в какой-то мере может объясняться потрясающий успех его скульптур и брошюр, с одной стороны, а с другой — неизмеримого провала моего трактата, который останется вовеки неопубликованным и непрочитанным. Но это в сторону. Я отнюдь не утверждаю, будто этот гроссфогелевский Цалал не является тем или иным образом подлинным феноменом. Я слишком хорошо знаю, что сознание и воображение, душа и личность — это не только нонсенс и иллюзии, какими их представляет Гроссфогель. На самом деле они не более чем маскировка — столь же поддельная и нереальная, как произведения Гроссфогеля, предшествовавшие его заболеванию и исцелению. Гроссфогель сумел познать этот факт благодаря крайне редкому обстоятельству, которое, без сомнения, находится в какой-то связи с его заболеванием.

— Его желудочно-кишечным расстройством,— сказал я, все сильнее и сильнее ощущая симптомы этого недуга в моем собственном теле.

— Совершенно верно. Именно механизм этого его переживания и заинтересовал меня настолько, что я вложил

средства в эту его экскурсию. Вот что остается столь неясным. Нет ничего явного, если мне дозволено так выразиться, ни в его Цалал, ни в механизмах Цалал, однако Гроссфогель выдвигает, на мой взгляд, увлекательные гипотезы и уточнения со столь подавляющей убежденностью! Но по меньшей мере в одном он ошибается или, возможно, подтасовывает. Я говорю это потому, что он прибегнул к фигуре умолчания, касаясь больницы, где его лечили. В процессе изысканий для моего «Исследования» я изучал подобные места и то, как они управляются. Мне совершенно точно известно, что больница, где лечили Гроссфогеля,— крайне прогнившее медицинское учреждение, абсолютно прогнившее. Все там — маскировка и прикрытие самых устрашающих манипуляций, в истинном размахе которых, мне кажется, не отдают себе отчета даже те, кто связан с подобными местами. И дело не в какой-либо извращенности или злонамеренности. Просто развивается своего рода тайный сговор, зловредный альянс между определенными людьми и местами. Они в союзе с... Если бы вы могли прочесть мое «Исследование», вы бы знали, с какого рода кошмаром Гроссфогель соприкоснулся в этой больнице, в месте, смердящем кошмарами. Только в подобном месте мог Гроссфогель столкнуться с этими кошмарными осознаниями, о которых он распространяется в своих бесчисленных брошюрах и которые изображает в своей серии скульптур Цалал, утверждая, что они не плод его сознания или воображения, души или личности, но плод того, что он видит своим телом и органами физических чувств — этой тени, этой тьмы. Сознание и все прочее, душа и все прочее — всего лишь маскировка, сфабрикованная маскировка, как говорит Гроссфогель. Они то, что нельзя увидеть телом, нельзя воспринять ни единым органом физических чувств. Ибо на самом деле — они несуществующие прикрытия, маски, личины для того, что активизирует наши тела способом, какой, объяснил Гроссфогель, активизирует их и использует для получения благоденствия, которое ей нужно. Они творения: собственно говоря, художествен-

ные творения самой Цалал. О, невозможно объяснить вам это изустно. Я хотел бы, чтобы вы прочли мое «Исследование». Оно объяснило бы все, совлекло бы покров со всего. Но как вы можете прочесть то, что никогда не было написано?

— Не было написано? — осведомился я.— Почему оно не было написано?

— Почему? — сказал он, умолк на секунду и сморщился от боли.— Ответ — это именно то, что Гроссфогель проповедовал и в своих брошюрах, и в своих публичных выступлениях. Вся его доктрина — если ее можно назвать так, если вообще возможно что-либо подобное в каком бы то ни было смысле — опирается на несуществование, на воображаемую природу всего, чем мы себя считаем. Вопреки его попыткам выразить произошедшее с ним он не может не знать, что нет слов, способных объяснить подобное. Слова — это полнейшее затемнение того самого фундаментального факта существования, того самого заговора против человечества, которые мог бы осветить мой трактат. Гроссфогель испытал на себе квинтэссенцию этого заговора — или, во всяком случае, он утверждает, будто испытал ее. Слова — всего лишь маскировка этого заговора. Они — конечное средство для маскировки, конечное художественное произведение этой тени, этой тьмы — ее конечная художественная маскировка. Поскольку существуют слова, мы полагаем, будто существует сознание, будто существует нечто вроде души или личности. Просто еще один из бесконечных покровов этой маскировки! Но нет сознания, которое могло бы написать «Исследование заговора против человечества», не существует сознания, которое могло бы написать такую книгу, как и сознания, которое могло бы ее прочесть. Нет никого, кто мог бы сказать хоть что-то про этот самый фундаментальный факт существования, никого, кто мог бы сообщить об этой реальности. И нет никого, кому бы можно было когда-либо сообщить про нее.

— Все это невозможно понять,— заметил я.

— Было бы возможно, так или иначе, имейся что понимать и кому понимать. Но подобные существа не существуют.

— Если это так,— сказал я, морщась от боли в брюшной полости,— кто в таком случае ведет этот разговор?

— Вот именно — кто? — ответил он отвлеченно-риторическим тоном.— Тем не менее я хотел бы продолжать говорить. Даже если это только нонсенс и иллюзии, я испытываю потребность увековечить все это. Особенно в данный момент, когда я ощущаю, как эта боль овладевает моим сознанием и моей личностью. Вскоре это все не будет значить ничего. Да,— сказал он мертвым голосом,— теперь это не имеет значения.

Я заметил, что он уже некоторое время пристально смотрел в окно столовой, созерцая город. И другие в зале смотрели туда же, оглушенные тем, что видели там, и терзаемые не менее меня тем, благодаря чему видели все это. Безликость пустых улиц городка и унылость времени года, которая окутывала окружающий пейзаж,— все то, что по прибытии сюда заставило нас жаловаться на отсутствие хоть чего-нибудь заслуживающего интереса, теперь в глазах многих из нас претерпевало зримую метаморфозу, словно происходило солнечное затмение. Однако то, что мы видели, не было тьмой, спускающейся с небес, но тенью, возникавшей изнутри мертвого городка вокруг нас, будто бешеный поток черной крови с ревом несся по его бледному трупу — с ревом дальнего океана, движущегося в зверином устремлении к своим берегам. Я вдруг заметил, что внезапно, сам того не зная, оказался среди первых, на. кого подействовала эта метаморфоза, даже хотя в буквальном смысле слова не имел ни малейшего понятия о происходящем: никакие сведения не поступали в мое сознание, которое перестало функционировать прежним образом и в тупой агонии оставило мое тело, чьи органы физических чувств регистрировали жуткое зрелище того, что меня окружало: другие тела, затемненные тенью, клубящейся у них под кожей, причем некоторые еще разговаривали, будто

были особями, обладающими сознанием и личностью,— воображаемыми единствами, которые все еще жаловались человеческими словами на боль, которую только-только начали замечать, перекрикивали нарастающий рев, требуя медикаментов, пока втягивались в «средоточие бездн», все еще видя своим сознанием вплоть до мига, когда сознание полностью их покинуло, рассеялось, точно мираж, способные говорить лишь о том, как все представлялось их сознаниям, как контуры городка за окнами столовой искривлялись, зазубривались, тянулись к ним, будто клешни, и устремлялись странными горными пиками и рогами в небо, которое уже не было бледным и серым, но клубилось всепроникающей тенью, вседвижущей тьмой, которую они наконец смогли увидеть столь ясно, оттого что теперь они видели своими телами, только своими телами, погруженными в великую ревущую черноту боли. И раздался один голос — голос, который одновременно и стенал, и кашлял, возвещая, что снаружи возникло лицо, «лицо поперек всего неба»,— сказал этот голос. И небо, и городок были теперь так темны, что, возможно, лишь тот, кто был сосредоточен на человеческих лицах, мог увидеть что-то подобное в мире кипящих теней за окнами столовой. Вскоре затем слова умолкли, ибо тела, испытывая истинную боль, не говорят. Последние слова, помнящиеся мне, были словами женщины, кричавшей, чтобы кто-нибудь отвез ее в больницу. И просьбу эту страннейшим образом предвосхитил тот, кто соблазнил нас отправиться в эту «Физически-метафизическую экскурсию» и чье тело уже постигло то, что наши тела еще только начинали постигать,— кошмар тела, которое используется, и знает, что именно его использует, вынуждая предметы быть тем, чем они не являются, и делать то, что они не делают. Я ощутил присутствие молодой женщины, которую прежде видел в униформе, белой, как марля. Она вернулась. И другие, подобные ей, двигались между нами, и их контуры были самыми черными, и они знали, как справиться с нашей болью для

нашего метаморфического исцеления. Нас не надо было доставлять в их больницу, потому что их больница со всей своей гнилостностью была доставлена к нам.

И как бы мне ни хотелось поведать обо всем, что произошло с нами в городке Крэмптон (чьи мертвенность и уныние мнятся иллюзией рая, после того как нашим глазам открылась его потаенная жизнь)... как бы мне ни хотелось поведать, каким образом мы покинули самую нигдешнюю область всей страны, это средоточие бездны, и вернулись домой... как бы мне ни хотелось поведать точно, какую помощь и лечение мы могли получить, которые извлекли нас из этого места и этой боли, я не могу поведать об этом решительно ничего. Ибо, когда тебя спасут от подобной муки, нет в мире ничего труднее, чем поставить под вопрос средства этого спасения: тело не знает да и знать не хочет, что именно освобождает его от боли, и оно не способно поставить это под вопрос. Ибо вот во что мы превратились — и вот во что мы почти превратились — в тела без иллюзорных сознаний или воображений, в тела без докуки души или личности. Со времени нашего... исцеления никто в нашем кружке не ставил под вопрос этот факт. И мы не говорим об исчезновении Гроссфогеля из нашего кружка, который более не существует таким, каким был прежде, то есть как собрание художников и интеллектуалов. Мы стали получателями того, что кто-то обозначил как «наследие Гроссфогеля», и это не просто метафора, поскольку художник действительно завещал каждому из нас в случае своей «смерти или исчезновения на указанный период времени» долю внушительного состояния, которое он скопил из доходов от продажи своих произведений.

Но это строго денежное наследство было лишь началом успехов, которые пришли к нам всем из рассыпавшегося кружка художников и интеллектуалов, семенем, из которого мы начали прорастать сквозь наше существование потерпевших фиаско сознаний и личностей в наши

новые жизни весьма преуспевающих организмов — каждый в собственной сфере дерзаний. Разумеется, в достижении того, к чему мы стремились, мы не могли бы потерпеть фиаско, даже если бы хотели, поскольку все, что мы испытывали, все, что мы создавали, было феноменом этой тени, этой тьмы, которая тянулась наружу, тянулась вверх из нас, чтобы пробиться, взобраться на высоты нагроможденных горами человеческих и нечеловеческих тел. Они — все, что у нас есть, все, что мы есть; они — то, что используется для благоденствия использователя. Я способен чувствовать, как мое собственное тело используется и культивируется, ощущать желания и импульсы, которые толкают его к успеху, буксируют его ко всяческим видам успеха. И нет способа, каким я мог бы противостоять этим желаниям и импульсам теперь, когда существую только как тело, которое ищет только надежного поддержания своего существования, чтобы оно могло быть использовано тем, чему оно нужно для благоденствия. И нет возможности сопротивляться тому, чему нужно нас использовать, нет возможности так или иначе выдать его. Медикаменты, которые я и остальные теперь поглощаем в таком изобилии, только способствуют дальнейшему процессу культивирования нас, этому толканию, буксированию и использованию наших тел. И даже, если это мое маленькое сообщение — мой собственный Цалал, если хотите (местоимения не важны), даже если эта маленькая летопись словно бы открывает тайны, которые могли бы подорвать указанный кошмарный порядок вещей, на самом деле она только поддерживает и усиливает этот порядок. Ничто не может воспротивиться этому кошмару или выдать его, ибо не существует ничего, способного сделать что-то и быть чем-то, которое могло бы добиться успеха в этом направлении. Самая идея о чем-то подобном — только нонсенс и иллюзии.

Никогда ничто не может быть написано о «заговоре против человечества», так как идея заговора требует множественности исполнителей, разделения на противоборствующие стороны, одна из которых так или иначе под-

рывает другую, а эта другая обладает существованием, которое можно подорвать. Но нет подобной множественности, подобного разделения, ни подрывания, ни сопротивления, ни выдачи той ли, другой ли стороны. Существует же только это толкание, эта буксировка всех тел этого мира. Но эти тела имеют коллективное существование только в таксономическом или, может быть, топографическом смысле и ни с какой стороны не составляют коллективного единства, деятеля или кого-то еще, кто мог бы стать объектом заговора. И коллективное единство, именуемое человечеством, не может существовать там, где имеется только конгломерат ничевошек, тел, которые сами всего лишь подсобное средство, и будут исчезать одно за другим — всем конгломератом,— все время приближаясь к нонсенсу, все время распыляясь в иллюзии. Не может быть заговора в пустоте, а вернее, в черной бездне. Может быть только буксировка всех этих тел — к тому заключительному успеху, который, видимо, осуществил мой корпулентный друг, когда наконец был использован в полной мере — его тело использовано до конца, полностью поглощено тем, что нуждалось в нем для своего благоденствия.

«Есть лишь один истинный и финальный успех,— провозгласил Гроссфогель в своей самой последней брошюре.— Есть только один истинный и финальный успех для вседвижущей черноты, которая вынуждает предметы делать то, чего они не делают»,— написал он. И это самые последние строки этой самой последней брошюры. Гроссфогель не смог объяснить себя или что-либо еще сверх этих незавершенных утверждений. У него иссякли слова, которые (цитируя того, кто останется безымянным настолько, насколько это дано только членам рода человеческого) суть высшее художественное произведение этой тени, этой тьмы — ее высшая художественная маскировка. И как он мог ей сопротивляться? Пока это тело буксировалось к этому заключительному успеху, он не мог выдать ее своими словами.

Более полно я осознал, куда клонили эти последние слова Гроссфогеля, зимой после экскурсии в Крэмптон. Однажды поздно вечером я стоял, глядя в окно, за которым кружил первый снег этой зимы, падая все более и более густыми хлопьями с каждым из темных часов, в течение которых я наблюдал его падение моими органами физических чувств. Я уже мог видеть то, что было внутри падающих хлопьев снега, точно так же, как я мог видеть то, что находилось внутри всех вещей, активизируя их своей силой. И видел я черный снег, под несмолкаемый рев валящийся из черного неба. В этом небе не было ни единой знакомой приметы — и уж конечно, не было знакомого лица, растянутого поперек ночи и вживленного в нее. Была только эта ревущая чернота вверху и эта ревущая темнота внизу. Была только эта всепожирающая, разрастающаяся, ревущая чернота, чей единственный и заключительный успех сводился всего лишь к поддержанию самой себя настолько успешно, насколько возможно в мире, где нет ничего такого, которое могло бы надеяться стать чем-либо, кроме того, в чем для своего благоденствия нуждается эта тень, эта тьма... пока все не будет полностью поглощено и во всем сущем не останется только одно: бесконечное тело ревущей темноты, активизирующей себя и осуществляющейся через вечный успех в глубочайшей бездне единства. Гроссфогель не мог ни сопротивляться ей, ни выдать ее, даже если она и была абсолютным кошмаром, высшим физико-метафизическим кошмаром. Он перестал быть личностью, чтобы остаться преуспевающим организмом. «И кто угодно сделал бы то же самое»,— сказал он.

И что бы я ни говорил, я не могу ни сопротивляться ей, ни выдать ее. Этого не может никто, потому что здесь никого нет. Только это тело, эта тень, эта тьма.



СОДЕРЖАНИЕ

Стивен Кинг. ДОРОЖНЫЙ УЖАС ПРЕТ НА СЕВЕР
Перевод Т. Покидаевой 5

Дэвид Морелл. ГОТИКА НА РИО-ГРАНДЕ
Перевод М. Левина 41

Нил Гейман. СУВЕНИРЫ И СОКРОВИЩА:
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ
Перевод А. Комаринец 104

Деннис Л. Маккиернан. ТЬМА.
Перевод И. Гуровой 125

Нэнси А. Коллинз. БЛЮЗ СОМОВЬЕЙ ДЕВЧОНКИ
Перевод Н. Эристави 142

Бентли Литтл. ТЕАТР.
Перевод Н. Эристави 156

Тим Пауэрс. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ.
Перевод Т. Покидаевой 171

Джо Р. Лэнсдейл. ЛЕТО БЕШЕНОГО ПСА.
Перевод М. Левина 187

Джойс Кэрол Оутс. РУИНЫ КОНТРАКЕРА.
Перевод И. Гуровой 259

П. Д. Кейсек. МОГИЛА.
Перевод Н. Эристави 325

Уильям Питер Блэтти. ГДЕ-ТО ТАМ.
Перевод Г. Перцевой 339

Рик Хотала. СТУК.
Перевод И. Гуровой 469

Эрик ван Ластбадер. ВОЗНЕСЕНИЕ К ТЕРМАГАНТАМ
Перевод М. Левина 481

Эдвард Ли. РЕАНИМАЦИЯ.
Перевод М. Левина 533

Эд Горман. ЭНДЖИ.
Перевод В. Вебера 551

Эл Сэррэнтонио. БЕЧЕВКА-БЕСОВКА.
Перевод С. Силаковой 571

Томас М. Диш. ФИЛИН И КИСКА.
Перевод М. Левина 580

Стивен Спрюлл. ГЕМОФАГ.
Перевод М. Левина 597

Майкл Маршалл Смит. КНИГА ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ.
Перевод М. Аевина 606

Питер Шнайдер. DES SAUCISSES, SANS DOUTE
Перевод И. Гуровой 624

Эд Брайант. СТИКС И КОСТИ.
Перевод В. Вебера 627

Джин Вулф. МОЯ ШЛЯПА — ДЕРЕВО
Перевод С. Силаковой 646

Ф. Пол Уилсон. СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА
Перевод М. Левина 680

Томас Ф. Монтелеоне. РЕПЕТИЦИИ.
Перевод С. Силаковой 710

Т. Е. Д. Клайн. СДЕАЛЙ САМ.
Перевод В. Вебера 738

Чет Уильямсон. ИЗБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ «АННАЛОВ НОВОГО ЗОДИАКА» И ДНЕВНИКОВ ГЕНРИ УОТСОНА ФЭРФАКСА
Перевод С. Силаковой 746

Рэмси Кемпбелл. ЗАБАВА.
Перевод М. Левина 763

Ким Ньюман. МЕРТВЯКИ-АМЕРИКАНЫ В МОСКОВСКОМ МОРГЕ.
Перевод В. Вебера 791

Томас Лиготти. ЭТА ТЕНЬ, ЭТА ТЬМА.
Перевод И. Гуровой 822

Литературно-художественное издание

999

Избранные произведения

Ответственный редактор *А. Етоев*
Художественный редактор *А. Сауков*
Технический редактор *О. Шубик*
Компьютерная верстка *К. Иванов*
Корректор *М. Ахметова*

В оформлении переплета использована иллюстрация художника *Луиса Ройо*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо» обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное ш., д.1. Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34.
www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12
(м. «Сухаревская», ТЦ «Садовая галерея»). Тел. 937-85-81.
Москва, ул. Ярцевская, 25 (м. «Молодежная», ТЦ «Трамплин»). Тел. 710-72-32.
Москва, ул. Декабристов, 12 (м. «Отрадное», ТЦ «Золотой Вавилон»). Тел. 745-85-94.
Москва, ул. Профсоюзная, 61 (м. «Калужская», ТЦ «Калужский»). Тел. 727-43-16.
Информация о других магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34
и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо»:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83.
В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.
В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8432) 70-40-45/46.
В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9.
Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49; e-mail: **sale@eksmo.com.ua**

Подписано в печать 18.05.2005
Формат 84×108 1/32. Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 45,36.
Тираж 6000 экз. Заказ 252.

ISBN 5-699-12422-5

9 785699 124220 >

Отпечатано с готовых диапозитивов издательства
на ОАО "Тверской полиграфический комбинат"
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон: (0822) 44-42-15
Интернет/Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru

ШЕДЕВРЫ МИСТИКИ ШЕДЕВРЫ МИСТИК

ISBN 5-699-12422-5



ШЕДЕВРЫ МИСТИКИ ШЕДЕВРЫ МИСТИК